

ОЧЕРКИ
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
(по миллю)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале прошлого года стал я печатать при «Современнике» «Перевод Оснований Политической Экономии» Милля, с прибавлением своих замечаний и дополнений. В течение года успел я напечатать таким образом из пяти книг переводимого трактата только одну первую, в которой излагается теория производства. Я увидел, что ошибся, когда считал удобным прилагать свой перевод к журналу. Одна первая книга уже составила около 27 печатных листов, и оказывается, что весь трактат будет составлять листов 100, если не больше. Я полагал, что не расширю его до такого объема. По шрифту, выбранному для печатания перевода, собственно перевод должен занимать около 55 листов. Я думал, что примечаний и дополнений сделаю немного, так что от них объем переводимого сочинения увеличится листов на 7, много на 10, и всего выйдет листов 65. В таком размере печатание перевода при «Современнике» можно было кончить в два года, то есть к концу нынешнего¹. Читатель видел, что мне не удалось удержаться в границах, которые, как теперь рассказываю, ставил я себе при начале печатания. Я увидел, что при размере, какой принимает моя работа, нет возможности продолжать ее издание в прежней форме: оно в этом случае растянулось бы по четырем годам журнала, а при такой растянутости, конечно, служило бы ему только обременением. Потому-то я только докончил печатание первой книги при «Современнике» и остановился.

Но остановился я только в печатании моей работы при «Современнике», а не в самой работе. Главную часть ее, — самый перевод Милля, — я теперь уже кончил, а на то, чтобы прибавить примечания, потребуется не очень много времени. Поэтому я рассчитываю, что издам остальные 4 книги трактата Милля отдельными томами довольно скоро.

Я считаю обязанностью напечатать прежде в «Современнике», взамен полного перевода, обзор остальных книг трактата Милля, в размере, удобном для журнала, так чтобы не имели надобности, для пополнения к первой книге, покупать отдельного издания читатели, которые не захотели бы иметь перевод этого сочинения без того обстоятельства, что первая книга была напечатана в получаемом ими журнале.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (Милль, книга вторая)

СОБСТВЕННОСТЬ

(Гл. I—II)

Рутинные политико-экономы выставляют все части экономического быта одинаково не зависящими в своих основных чертах от соображений человека о лучшем устройстве человеческого быта. На самом же деле принципы только одной части экономического быта, именно производства, налагаются на человека с необходимостью физических законов; остальные же элементы экономического быта устроиваются уже самим человеком и вполне подлежат власти исторических обстоятельств. Разъяснением этой важной разницы теории производства от теории распределения и обмена начинается Милль 2-ю книгу своего трактата.

Принципы, изложенные в первой части нашего трактата, сильно отличаются в некоторых отношениях от принципов, к рассмотрению которых мы теперь приступаем. Законы и условия производства имеют характер истин, о каких говорят естественные науки. В них нет ничего, зависящего от воли, ничего такого, что было бы можно изменить. Все производимое человеком должно быть производимо теми способами и под теми условиями, какие налагаются качествами внешней природы и внутренними свойствами физического и умственного устройства самого человека. Хочет или не хочет человек, но размер его производства все равно будет определяться размером его предварительного сбережения и при данном размере сбережения будет пропорционален энергии человека, его искусству, достоинству его орудий и благоразумному пользованию выгодами соединенного труда. Хочет или не хочет человек, но, удвоив количество труда, он не получит с данного пространства земли удвоенного количества пищи, если не произойдет улучшений в земледельческом процессе. Хочет или не хочет человек, но непроизводительный расход отдельных лиц будет вести к пропорциональному обеднению общества, и только производительным расходом будет обогащаться общество. Каковы бы ни были мнения или желания по этим вещам, они не изменяют характера самих вещей. Мы не можем сказать вперед, каких пределов не перейдут изменения в способах производства, каких пределов не превзойдет возрастание производительности труда при будущем расширении наших знаний о законах природы и при возникновении из этих новых знаний новых

промышленных процессов, о которых мы теперь не имеем и понятия. Но каковы бы ни были наши успехи в стараниях расширить пределы, полагаемые нам свойствами вещей, мы знаем, что непременно существуют эти пределы; мы не можем изменить коренных качеств ни материи, ни мысли, а можем только с большим или меньшим успехом употреблять эти качества на произведения феноменов, нужных для нас.

Не таковы принципы распределения богатства. Это распределение — чисто дело человеческого учреждения. Когда явились вещи, то люди, или как частные люди, или как общество, могут поступать с ними, как захотят. Они могут отдать их в распоряжение кому им угодно и на каких им угодно условиях. Далее: когда люди живут в обществе, то всякое распоряжение вещами может происходить только по согласию общества, или, точнее говоря, по согласию тех, которые располагают действительной силой общества; это согласие необходимо при всяком общественном устройстве, независимость от него бывает только в одиночестве совершенной пустыни. Даже вещи, произведенные одним своим личным трудом, без всякой чужой помощи, человек не может сохранять в своем распоряжении иначе, как по дозволению от общества. Мало того, что общество может их взять у него, — их могли бы взять и взять бы у него отдельные люди, если б общество осталось к этому равнодушно, если б оно не употребляло своего вмешательства в целом своем составе или не назначало и не содержало особенных людей, чтобы не давать никому нарушать его владения этими вещами. Таким образом, распределение богатства зависит от законов и обычаев общества. Правила, которыми оно определяется, бывают те, какие созданы мнениями и желаниями правящей части общества; в разные времена и в разных обществах эти правила очень различны и могли бы стать еще различнее от прежних, если бы того захотели люди ².

Из различных систем распределения продукта в нынешних цивилизованных обществах владычествует система частной собственности. Теперь, когда она уже господствует, все, кроме людей социалистического или коммунистического направления, утверждают, что сохранить ее надобно ради ее полезности. Но возникла она не из каких-нибудь соображений о полезности ее для общества, а из факта завладения предметом, факта, признанного потому судилищами за факт, нарушать который нет причины и который, следовательно, нет надобности отвергать; а впоследствии времени этот признанный факт вошел в закон. Но Милль уже замечал выше, что система частной собственности не единственно возможная форма экономического быта. История и даже современный быт представляют примеры других систем. Общества, построенные на этих других принципах, имеют размер незначительный, но привлекают к себе внимание исследователей в те эпохи, когда в людях сильнее обыкновенного пробуждается стремление к проверке основных принципов общественной жизни. Являются и привлекают к себе внимание мыслители, которые, опираясь на эти примеры, предлагают человечеству системы экономического быта, кажущиеся им лучше нынешней системы.

Новейшие европейские перевороты породили много мыслей такого рода, чрезвычайное внимание было обращено на разные формы, принятые этими идеями, и нельзя думать, чтобы это внимание уменьшилось, напротив, надобно полагать, что оно станет все больше и больше возрастать.

Противники принципа личной собственности могут быть разделены на два разряда: планами одних предполагается совершенное равенство в распределении материальных средств жизни и наслаждений; другие допускают неравенство, но основывают его на каком-нибудь истинном или мнимом принципе справедливости или общей пользы, говоря, что оно не должно зависеть только от случая, как зависят столь многие из существующих общественных неравенств. Во главе первого класса мы должны поставить Овена и его последователей, потому что Овен стал говорить об этом раньше всех других в нынешнем поколении. Позднее Овена приобрели известность, как приверженцы тех же мыслей, Луи-Блан и Кабэ (Луи-Блан, впрочем, предлагает равенство распределения только как переход к принципу еще высшей справедливости, требующему, чтобы каждый работал по своим способностям, а получал по своим потребностям). Эта экономическая система называется коммунизмом, слово, придуманное не в Англии, а на континенте, и только недавно введенное в Англию. Слово социализм, явившееся у английских коммунистов для обозначения их системы, употребляется теперь на континенте в смысле более обширном: под социализмом понимаются и такие системы, которые не требуют коммунизма, не требуют совершенного отменения частной собственности, а требуют только, чтобы земля и орудия производства были собственностью не отдельных лиц, а товариществ, или ассоциаций, или правительства. Из таких систем особенно высокие научные претензии имеют две, названные сен-симонизмом и фурьеризмом, по именам людей, которым действительно принадлежит или приписывается их составление. Сен-симонизм исчез как самостоятельная система, но в то недолгое время, когда он излагался публично, он посеял семена почти всех социалистских тенденций, столь широко распространившихся теперь во Франции. Фурьеризм имеет многочисленных последователей, дарованиями и усердием которых может гордиться.

Как бы ни думали мы о достоинствах или недостатках этих разных планов, но справедливость не позволяет сказать, чтобы они были неосуществимы. Ни один рассудительный человек не усомнится в том, что сельская община, состоящая из нескольких тысяч жителей, возделывающих по принципу общего владения такое пространство земли, какое кормит ныне это число жителей, и производящая по самым усовершенствованным процессам нужные для нее фабричные изделия, может производить количество продуктов, достаточное для доставления комфорта этим людям; он не усомнится и в том, что она может найти средства получить и, если потребуется, вынудить у каждого из способных к работе своих членов количество труда, нужного для достижения такого результата.

Обыкновенное возражение против системы общинной собственности и равного распределения продуктов состоит в том, что каждый постоянно будет стараться избегать выполнения надлежащей части труда, приходящейся на его долю. Это возражение указывает на действительное затруднение, но люди, делающие такое возражение, забывают о том, в каком огромном разmere существует то же самое затруднение при системе, по которой ведутся теперь девять десятых частей всего труда, совершаемого в обществе. Это возражение предполагает, что добросовестный и успешный труд может получаться лишь от людей, которые сами лично пользуются плодами своих усилий. Но как мала часть совершаемого в Англии труда, производимого лицами, работающими в свою собственную пользу, как мала эта часть во всех родах труда, от наименее вознаграждаемых до наиболее вознаграждаемых. От ирландского жнеца или чернорабочего до верховного судьи и государственного министра почти весь труд, совершаемый в обществе, вознаграждается поденною платою или определенным жалованьем. Фабричный работник имеет в своем труде меньше личного интереса, чем член коммунистической ассоциации, потому что трудится не в пользу товарищества, к которому принадлежит сам, как трудится член коммунистической ассоциации. На это, конечно, скажут: правда, сами работники почти никогда не имели личного интереса в своем труде, но за ними наблюдают, их трудом управляют и умственную часть дела исполняют люди, имеющие в нем личный интерес. Нет, и это

прилагается далеко не ко всем случаям. Не одна черная работа, но и контроль и наблюдение вверены наемным служащим во всех общественных предприятиях и во многих из самых обширных и самых успешных из частных предприятий. Польза «хозяйского глаза», когда хозяин заботлив и способен, засвидетельствована поговоркой; но должно вспомнить, что на социалистской ферме или фабрике каждый работник стал бы трудиться под хозяйским глазом не одного хозяина, а всех членов общины. Против крайних случаев закоренелого упорства в уклонении от надлежащей части труда община имела бы те же самые средства, какие теперь имеет общество для вынуждения людей соблюдать необходимые условия общественных отношений. Теперь против этих случаев существует одно средство — отпустить неисправного работника; но это средство бесполезно, когда всякий другой работник трудится не лучше своего предшественника; удалением неисправных работников хозяин только получает обычное количество труда, но этот обычный труд может быть очень неуспешен. Работник, теряющий свое занятие от лености или небрежности, не подвергается даже в самом дурном случае ничему, кроме разве надобности переносить дисциплину workhouse'a, и если желание избежать этого служит достаточным побуждением к труду и при нынешней системе, то было бы достаточно и при коммунистической системе. Я вполне ценю всю силу возбуждения, даваемого труду тем, когда вся выгода или значительная часть выгоды от особенного усердия принадлежит работнику. Но при нынешней системе промышленности этого возбуждения нет в огромном большинстве случаев. Если коммунистический труд и был бы менее энергичен, чем труд поселянина-собственника или ремесленника, работающего на свой собственный счет, то, вероятно, он был бы энергичнее, чем труд наемного работника, который вовсе не имеет личного интереса в деле. При нынешнем положении общества самый яркий факт составляет небрежность невоспитанных классов наемных работников в исполнении принятых ими на себя обязанностей. А по коммунистическому плану предполагается, что непременно все должны получить воспитание; при этом же условия ассоциации непременно будут исполнять свои обязанности столь же прилежно, как исполняются они большинством наемных служащих среднего и высшего сословий; а эти служащие не имеют такой репутации, будто они становятся недобросовестными от того, что, пока не удалены от службы, получают одинаковое определенное жалование, как бы небрежно, ни исполняли свою обязанность. Конечно, говоря вообще, вознаграждение посредством определенного жалования не развивает ни в каком классе служащих усердия до наивысшей возможной степени, и разве только это, а никак не больше, можно сказать против коммунистического труда.

Но можно ли сказать, что он непременно будет подвержен хотя этому недостатку? Это вовсе не так несомненно, как полагают люди, мало привыкшие думать о положении дел, различных от привычного им порядка. Люди способны проникаться общественным духом гораздо в большей степени, чем привыкли предполагать в нынешнее время. История свидетельствует об успехе, с которым многочисленные человеческие общества могут привыкать к тому, чтобы считать общественную выгоду своею собственною. Коммунистическая ассоциация была бы самую выгодную почву для развития этого чувства, потому что все честолюбие, вся физическая и умственная деятельность, которые теперь заняты заботами о частных личных выгодах, стали бы искать тогда занятия в другой сфере, и естественно, нашли бы его в заботах об общей пользе ассоциации. При коммунизме гражданин был бы связан с общиною тою же самою причиною, которой так часто объясняли преданность католического священника или монаха интересам его сословия: он не имел бы интересов, различных от общего интереса. Независимо от сочувствия общей пользе, каждый член ассоциации подчинялся бы влиянию самого всеобщего и едва ли не самого сильного из личных побуждений, влиянию общественного мнения. Никто не станет оспаривать, что это побуждение с очень большою силою удерживает нас от поступков, положительно порицаемых обществом. Соревнование также возбуждает к самым энергическим

усилиям для приобретения похвалы и удивления от других; об этом свидетельствует опыт всех тех случаев, в которых люди публично состязаются между собою, хотя бы даже предмет состязания был пуст или бесполезен для общества. Социалисты вовсе не отвергают соперничества, состоящего в состязании о том, кто больше сделает для общего блага. Таким образом, много ли уменьшилась бы коммунизмом энергия труда, да и подверглась ли бы она какому-нибудь уменьшению в общей сложности, — этот вопрос должен считаться еще нерешенным в настоящее время.

Другое возражение против коммунизма сходно с возражением, которое так часто делается против законов о пособии бедным. Говорят: если каждому члену общества будет обеспечено содержание для него и всех его детей, сколько бы детей ни было у него, под одним тем условием, чтобы он не отказывался работать, то уничтожилась бы задержка, поставляемая размножению людей собственным их благоразумием, и население стало бы возрастать в такой пропорции, которая привела бы общество через постепенные фазисы возрастающей нужды к смертности от голода. Действительно, это опасение было бы основательно, если бы коммунизм для сдерживания размножения людей не представлял таких побуждений, которые были бы равносильны устраненным побуждениям. Но коммунизм именно и есть такой порядок дел, при котором надобно ожидать, что общественное мнение самым энергическим образом будет восставать против этой эгоистической невоздержности. Размножение людей, от которого уменьшался бы комфорт, или увеличивался бы труд массы, производил бы тогда прямую и явную выгоду для каждого отдельного человека (чего не производит теперь); эту невыгоду нельзя было бы тогда приписывать ни скупости капиталистов, ни несправедливым привилегиям богатых. При такой перемене обстоятельств общественное мнение непременно стало бы порицать эту, как и всякую другую вредную невоздержность, убыточную для общины, и если бы порицания было мало для того, чтобы устранить вред, общественное мнение устранило бы эту невоздержность какими-нибудь наказаниями. Нельзя сказать, что к коммунистической теории прилагается возражение, основанное на опасности излишнего размножения числа людей; напротив, она имеет то преимущество, что с особенною силою ведет к предупреждению этого зла.

Основательнее то возражение, что трудно было бы справедливо распределять общественный труд между членами ассоциации. Труд бывает очень различен, и по какой норме стали бы мы соразмерять один род труда с другим? Кто будет судьей того, какое количество занятия приращением, или раздаванием товаров из магазинов, или кладкою стен и чищением труб равняется известному количеству занятия паханием земли? Коммунистические писатели очень сильно чувствуют затруднительность распределить поровну труд разных качеств, и потому большая часть их считают нужным, чтобы каждый поочередно занимался каждым родом полезного труда; а это устройство, прекращая разделение занятий, уменьшило бы выгоду сотрудничества в производстве в такой степени, что сильно уменьшилась бы производительность труда. Притом и в одинаковом деле внешнее равенство труда было бы в сущности таким неравенством, что справедливость возмущалась бы против такого требования. Не каждый равно способен ко всякому труду, и одинаковое количество труда не одинаковым бременем ложится на слабого и сильного, на живого и неповоротливого, на тупого и одаренного бойким умом.

Но если эти затруднения действительно есть, то все же нельзя сказать, чтоб они были непреодолимы. Распределение работ по силам и способностям людей, смягчение общего правила на те случаи, в которых оно оказалось бы тяжело, — это не такие задачи, которых не мог бы разрешить человеческий ум, руководимый чувством справедливости. Притом самое худшее, самое несправедливое распределение труда при системе, стремящейся к равенству, было бы так далеко от неравенства и несправедливости, с какою распределяется труд ныне (не говоря уже о том, как ныне распределяется вознаграждение), — так далеко, что не стоило бы и говорить об этой несправедливости по сравнению с нынешней. Надобно также вспомнить, что коммунизм,

как общественная система, существует только в идее, что для нас теперь гораздо виднее его затруднения, чем его средства к их устранению, и что человеческий ум только начинает придумывать способы организовать его в подробностях так, чтобы победить затруднения и извлечь наибольшую выгоду из представляемых им средств.

Потому, если бы надобно было делать выбор между коммунизмом со всем его риском и нынешним состоянием общества со всеми его страданиями и несправедливостями; если бы существование частной собственности имело необходимым своим последствием такое распределение продуктов труда, какое мы видим ныне, — распределение почти всегда обратно пропорционально труду, так что наибольшие доли достаются людям, вовсе не работавшим, потом самые большие из остальных людям, труд которых почти только номинальный, и т. д. по уменьшающейся пропорции, с уменьшением вознаграждения по мере того, как труд становится тяжелее и неприятнее, до того, что наконец утомительнейший и изнурительнейший физический труд не имеет верной надежды и на приобретение первых потребностей жизни, — если бы выбор был только между таким положением дел и коммунизмом, то, каковы бы ни были затруднения коммунизма, велики или малы, все равно, они были бы лишь песчинкою на весах этого сравнения. Но для того, чтобы сравнение было уместно, мы должны сравнивать наилучшую форму коммунизма не с таким, как теперь, положением дел при частной собственности, а с таким положением, какое можно устроить при ней. Принцип частной собственности еще ни в одной стране не был испытан на деле в надлежащем виде; а в Англии он испытан едва ли не меньше, чем в некоторых других странах. Общественное устройство стран новой Европы началось от распределения собственности, бывшего результатом не какого-нибудь справедливого разделения, не приобретения посредством труда, а результатом завоевания и насилия; и несмотря на все сделанное трудом в течение многих веков для пересоздания того, что создано насилием, нынешняя система еще сохраняет многочисленные и большие следы своего происхождения. Законы собственности до сих пор еще не приведены в сообразность с принципами, на которых основывается признание частной собственности законною. Законы эти обратили в собственность такие вещи, которым никогда не следовало становиться собственностью, и обратили в безусловную собственность такие вещи, которые должны быть собственностью только под ограничительными условиями. Эти законы не были беспристрастны к правам разных людей, а бременили затруднениями одних, давая выгоду другим; они преднамеренно покровительствовали неравенству и мешали каждому начинать карьеру с надлежащими средствами. Чтобы все начинали карьеру с совершенно одинаковыми средствами, это несовместно с законом частной собственности. Но если бы на смягчение неравенства, возникающего из естественного действия этого принципа, было обращено, не колебля самого принципа, столько же возможных забот, сколько было обращено на усиление этого неравенства шансов; если бы законы стремились благоприятствовать развитию, а не сосредоточению богатств, помогать разделению больших масс его, а не старались предотвращать их раздробление, то принцип частной собственности оказался бы не имеющим необходимыми своими последствиями тех материальных и общественных бедствий, которые во мнении почти всех социалистических писателей нераздельны с ним.

Когда защищают частную собственность, то почти все писатели, ее защищающие, понимают под нею обеспечение принадлежности плодов труда и сбережения тому, кто трудился и сберег. Когда частному человеку обеспечивается владение плодами труда и сбережения других, полученными от них без всякой заслуги, без всякого усилия с его стороны, это уже не самая сущность принципа частной собственности, а только случайное последствие его, последствие, которое при известной степени развития не помогает, а мешает целям, узаконяющим частную собственность. Чтобы судить об окончательном предназначении принципа собственности, мы должны предположить устраненным все, приводящее этот принцип к результатам, противоположным справедли-

вому принципу пропорциональности между вознаграждением и трудом, принципу, на котором основывают собственность все выдерживающие критику аргументы в пользу собственности. Итак, мы должны предположить существование двух условий, без которых и при коммунизме и при всяких других законах и учреждениях положение массы людей непременно будет низко и бедственно. Первое из этих условий — всеобщность воспитания; второе — надлежащее ограничение числа населения. С этими условиями не было бы бедности и при нынешних общественных учреждениях; и если предположить существование этих условий, то вопрос о социализме не будет, как обыкновенно говорят социалисты, вопросом о единственном спасении от бедствий, подавляющих теперь человечество, а только вопросом о том, какая система более выгодна, и решить это должно будущее. Мы слишком мало знаем о том, что может совершить индивидуальная деятельность в лучшей своей форме и социализм в лучшей своей форме, потому мы не можем сказать, которая из двух систем будет окончательно формой человеческого общества.

Если отваживаться на догадку, то, вероятно, решение будет зависеть главным образом от того, которая из двух систем допускает наиболее свободы и самобытной деятельности между людьми. По обеспечении средств продовольствия самое сильное из личных потребностей человека — свобода. Физические потребности по мере развития цивилизации становятся умереннее и легче сдерживаются рассудком, а энергия этой потребности не уменьшается, а возрастает по мере того, как развиваются умственные и нравственные способности. Идеалом общественного устройства и практической нравственности было бы обеспечение для всех людей полной независимости и свободы действий без всякого ограничения, кроме того, чтобы они не вредили другим. Люди лишились бы одного из возвышеннейших качеств человеческой природы таким воспитанием, которое научило бы, или такими общественными учреждениями, которые требовали бы, чтобы они отказывались от управления своими действиями за какое бы то ни было удобство или изобилие, или отказывались бы от свободы для равенства. Надобно рассмотреть, до какой степени совместно с коммунистическою организацией общества сохранение свободы и самобытной деятельности. Нет сомнения, что это возражение против социалистских планов чрезвычайно утрировано подобно всем другим возражениям против них. Ассоциации нет надобности принуждать своих членов иметь в жизни больше общности между собою, чем теперь, нет надобности в надзоре за тем, как кто из них будет располагать своею личною долею продукта и часами отдыха, число которых, вероятно, будет значительно, если ассоциация ограничится производством вещей, действительно заслуживающих труда; ей нет надобности привлекать людей к известному занятию или к известному месту. Узы коммунизма были бы свободною по сравнению с нынешним состоянием большинства людей. Почти все сословие работников в Англии и почти во всех других странах имеет так мало возможности избирать себе занятие или местожительство, оно практически так зависит от установленных правил и от чужой воли, что меньшую свободу могло бы пользоваться разве при совершенном рабстве. Я уже не говорю о совершенном семейном подчинении мужского полу женского, которому овенизм и почти все другие формы социализма (надобно сказать это в великую честь им) дают повава во всех отношениях равные с полом, до сих пор господствовавшим. Но о достоинствах коммунизма надобно судить не по сравнению с нынешним дурным состоянием общества; если коммунизм обещает больше личной и умственной свободы, чем сколько имеют теперь люди, которых теперь по правде нельзя назвать свободными, то этого еще недостаточно, — вопрос в том, останется ли при коммунизме какое-нибудь прибежище для индивидуальности характера, не будет ли общественное мнение тиранским игом, не сомнет ли всех в бесцветную однообразность мысли, чувств и действий совершенная зависимость каждого от всех и наблюдения всех за каждым. Эта однообразность уже составляет один из резких недостатков нынешнего общества, несмотря на то, что оно имеет в воспитании и образе жизни гораздо больше разностей, чем могло бы существовать при коммунистическом устрой-

стве, а совершенной зависимости отдельного человека от массы ныне гораздо меньше, чем было бы тогда. Нельзя назвать здоровым такого общества, в котором оригинальность служит предметом порицания. Совместна ли коммунистическая теория с разнообразным развитием человеческих натур, с многоразличными несходствами, с разнищами вкусов и талантов и разнообразием умственных взглядов, с этими разностями, от которых зависит значительная часть интереса человеческой жизни, которые даже служат источником умственного и нравственного прогресса, возбуждая умы столкновениями и представляя каждому множество таких мыслей, каких не составил бы сам он?— Вот вопрос, еще требующий исследования.

До сих пор я ограничивался в своих замечаниях коммунистическою теориею, составляющею крайний предел социализма; теориею, по которой не только орудия производства, земля и капитал составляют общую собственность ассоциации, но продукт разделяется между членами и труд назначается для них с соблюдением всевозможного равенства. Те справедливые или несправедливые возражения, которые делаются против социализма, всего сильнее прилагаются к этой форме его. Другие системы социализма различаются от коммунизма преимущественно тем, что не полагаются на одно чувство чести в промышленности (*point d'honneur*, по выражению Луи-Блана), а больше или меньше удеоживают побуждение к труду, проистекающее из личной денежной выгоды. Системы, говорящие, что вознаграждение должно быть соразмерно труду, уже различны от строгой теории коммунизма. Делавшиеся во Франции опыты практически осуществить социализм ассоциациями работников, ведущих дело на свой собственный счет, почти все начинали распределение вознаграждения поровну, не принимая в расчет количество труда, исполненного отдельным членом; но почти во всех случаях этот порядок скоро был покидаем и заменялся поштучною работою. Коммунистический принцип в коренном своем виде требует более высокой нормы справедливости и применяется к гораздо высшему нравственному состоянию людей. Соразмерность вознаграждения с количеством работы в сущности справедлива только тогда, когда разница в количестве работы зависит от воли самого человека; а если она зависит от природного различия силы или способности, то эта норма вознаграждения сама по себе несправедлива: она дает уже имеющему, назначает большую часть тому, кто уже получил от природы больше другого. Но она очень полезна, как сделка с эгоизмом характера, образующимся при нынешнем уровне нравственности и развивающемся благодаря нынешним общественным учреждениям; пока люди не будут возрождены новым воспитанием, эта норма вознаграждения имеет гораздо большую вероятность скорого успеха, чем стремление руководиться идеалом более высоким.

К двум разработанным системам некоммунистического социализма, известным под именем сен-симонизма и фурьеризма, совершенно неприменимы возражения, делаемые обыкновенно против коммунизма. Эти две системы могут поддежать другим возражениям, специально относящимся к той или другой из них, но справедливость требует причислить их к самым замечательным явлениям прошедшего и нынешнего времени по великой умственной силе, которая видна в них, и по представляющемуся в них широкому философскому решению некоторых из основных общественных и нравственных задач.

Сен-симонистская теория не думает о равенстве, а полагает неравенство в разделе продукта; она хочет, чтобы люди занимались разными делами, каждый, смотря по своему призванию или способности, а не все одинаковыми; должность каждому дается, как чин в полку, по назначению управляющей власти, а вознаграждение состоит в жалованье, какое власть эта находит соразмерным с важностью должности и заслугами лица, ее занимающего. Управляющая корпорация может быть устроена по разным основаниям без нарушения сущности системы. Она может быть назначаемая по выбору общества. Составители системы полагали, что правителями будут люди, отличающиеся дарованиями и добродетелью, по своему умственному превосходству получившие на свою власть добровольное согласие остальных. Надобно думать, что эта система могла бы с выгодой действовать при некоторых осо-

бенных положениях общества. История показывает пример удачности опыта в подобном роде; это — пример парагвайских иезуитов, о которых я уже упоминал³. Цивилизованные и образованные люди, соединенные между собою системою общности имущества, привели под свое умственное владычество племя дикарей, принадлежавших к такой части человеческого рода, в которой было столько отвращения от последовательности в труде для отдаленных целей, сколько не было еще ни в одном из племен, достоверно известных нам. Оно почтительно подчинилось безусловной власти этих людей, приучивших его к искусствам цивилизованной жизни и к занятию на общественный счет трудами, которыми дикари ни за что не стали бы заниматься каждый сам для себя. Эта общественная система существовала недолго, будучи преждевременно разрушена дипломатическими решениями и чужеземною силою. Возможность осуществить ее, вероятно, происходила от громадной разницы по умственному развитию и знаниям между малочисленными правителями и всем подвластным им обществом, так что не было и посредствующих переходов общественного или умственного развития между этими двумя степенями. Надобно думать, что при других обстоятельствах такое устройство совершенно не удалось бы. Оно предполагает полный деспотизм со стороны правителей-товарищей, и черта эта мало изменилась бы тем, если бы лица, которым вверяется власть, стали бы по временам сменяться посредством народных выборов. Но предполагать, что один или несколько человек, так или иначе выбранных, могут посредством той или другой организации второстепенных властей назначать каждому дело, соответствующее его способности, и распределять вознаграждение по заслугам каждого, хорошо распределять имущественную справедливость между членами общины, — предполагать, что все члены будут довольны тем, как они употребляют свою власть, и будут покоряться ей совершенно добровольно, это такое предположение, против которого едва ли надобно и спорить, потому что оно явная химера. Люди могут без ропота подчиняться определенному правилу, например, правилу равенства, или случаю, или внешней необходимости. Но чтобы несколько людей взвешивали каждого на своих весах, чтобы давали одному больше, другому меньше лишь потому, что так вздумали и рассудили, — этого люди не потерпят, если не считают этих людей существами высшими людьми, не трепещут их сверхъестественного могущества.

Из всех форм социализма искуснейшим образом и с наибольшею предусмотрительностью против всех возражений построен так называемый фурьеризм. Эта система не хочет уничтожения ни частной собственности, ни даже наследства; напротив, элементом в распределении продукта она формально принимает и капитал наравне с трудом. Она хочет, чтобы промышленные операции велись товариществами тысячи в две человек, вместе трудящихся на округе величиною около квадратной мили под управлением начальников, выбранных самими членами. При распределении сначала определяется известный *minimum* на продовольствие каждого члена общины, способен ли он к труду или нет, все равно. Остаток продукта, по известным вперед определенным пропорциям, распределяется между тремя элементами: трудом, капиталом и талантом.

Капитал общины может различными суммами принадлежать разным членам, которые в таком случае получают пропорциональный дивиденд, совершенно как в акционерной компании. Право каждого на долю продуктов, приходящуюся таланту, оценивается степенью или местом, какое каждый занимает в разных группах работников, к которым принадлежит; все эти степени даются по выбору товарищей. Получив вознаграждение, никто не обязан расходовать его в одном хозяйстве с другими: у каждого, желающего жить своим особым хозяйством, будет особое хозяйство, и общность жизни необходима только та, чтобы все члены ассоциации жили в одном большом здании для сбережения труда и издержек не только в постройке, но и во всех отраслях домашнего быта, и для того, чтобы все покупки и продажи общины производились одним агентом с целью возможного уменьшения той громадной доли продуктов, которая теперь поглощается прибылью коммерческих людей.

Эта система, по крайней мере в теории, не уничтожает ни одного из побуждений к деятельности, существующих в нынешнем состоянии общества, как уничтожает их коммунизм. Напротив, если организация будет действовать сообразно с намерениями своих составителей, то она даже усилит эти побуждения: при ней каждый имел бы уверенность лично воспользоваться плодами от увеличения своего искусства и своей умственной или физической энергии, имел бы этой уверенности гораздо больше, чем при нынешнем общественном устройстве может иметь кто-нибудь кроме людей, находящихся в слишком выгодных положениях или пользующихся чрезвычайною благосклонностью случая. Но кроме этих побуждений к труду фурьеристы имеют еще новое. Они полагают, что разрешили великую и основную задачу сделать труд привлекательным; они представляют очень сильные доказательства тому, что задача эта удобоисполнима; из этих доказательств особенно важно одно, общее у них с овеинистами: они говорят, что едва ли найдется между самыми тяжелыми из работ, исполняемых людьми по необходимости для пропитания, труд столь тяжелый, как те труды, которым добровольно предаются для удовольствия люди, имеющие уже обеспеченные средства жизни. Факт этот действительно очень знаменателен, и человек, изучающий общественную науку, найдет его очень поучительным для себя. Но нелегко утрировать делаемые из него выводы. Если занятия, очень неудобные и утомительные, исполняются многими по доброй воле как развлечение, то как же не видеть, что эти занятия служат развлечениями собственно потому, что люди предаются им по доброй воле и могут бросать их, как захотят. Свобода покинуть известное положение часто составляет всю разницу между неприятностью и приятностью этого положения. Из людей, живущих в одном городе, одной улице, одном доме с января до декабря, без всякого желания или мысли перенести квартиру, многие нашли бы жизнь на ней несносным тюремным заключением, если бы были прикованы к этой квартире приказанием.

По мнению фурьеристов, едва ли найдется хотя один род полезного труда такой, который неприятен по своей сущности, неизбежно неприятен. Если он почитается неприятным, это происходит оттого, что он или считается унижительным, или доведен до чрезмерности, или лишен привлекательности, даваемой симпатией и соревнованием. Они говорят, что никому не будет нужно подвергаться чрезмерной работе в обществе, где не будет ни праздных сословий, ни растраты труда на бесполезные вещи, на которые тратится теперь такое громадное количество труда; в обществе, которое вполне воспользуется могуществом товарищества и для увеличения успешности производства, и для экономии в расходах. Другие условия, нужные для придания труду привлекательности, найдутся, по их мнению, в том, что весь труд будет исполняться общественными группами и каждому будет можно одновременно принадлежать к какому угодно числу групп по его собственному желанию, а степень его в каждой группе будет определяться степенью пользы, какую оказывает он способным приносить в ней по оценке своих товарищей. Основываясь на различии вкусов и способностей, фурьеристы заключают, что каждый член общины будет принадлежать к нескольким группам, занимающимся разными трудами, умственными или физическими, и каждый будет способен занимать высокое место в какой-нибудь из этих групп, или даже в нескольких, так что практическим результатом этого будет равенство, или по крайней мере состояние, гораздо более близкое к нему, нежели может показаться на первый взгляд, и притом оно будет не из стеснения, а напротив от высочайшего развития разнообразных способностей, находящихся в каждом человеке.

Даже из этого столь краткого очерка читатель должен видеть, что эта система не нарушает ни одного из общих законов, управляющих человеческими действиями даже при нынешнем неудовлетворительном положении нравственного и умственного воспитания, и что было бы чрезвычайно опрометчиво сказать о ней, что она не может иметь успеха или осуществить значительную часть надежд, основываемых на ней ее приверженцами. Относительно фурьеризма, как и относительно всех других видов социализма, надобно желать, чтобы они получили возможность проверки на опыте, чего они

справедливо требуют. Все они могут быть испытаны в размере не очень большом, и без всякого риска для кого бы то ни было, кроме участвующих в опыте. Опыт должен решить, насколько способна и скоро ли способна та или другая из возможных систем общности имущества заменить собою «организацию промышленности», основанную на владении землею и капиталом по принципу частной собственности; а пока мы, не думая ставить границ дальнейшему развитию способностей человека, можем сказать, что политико-экономом довольно долго еще должен будет главным образом заниматься условиями существования и прогресса, принадлежащими обществу, основанному на частной собственности и на личном соперничестве, и что главной целью стремлений при нынешнем состоянии человеческого развития служит не низвержение системы личной собственности, а ее улучшение и доставление полного участия в ее выгодах каждому члену общества⁴.

Мы не намерены здесь излагать ни так называемых социалистических, ни так называемых коммунистических теорий. Мы ограничимся только несколькими словами о тоне, которым говорит о них Милль, и о последних словах приведенного нами отрывка. К этому мы прибавим разве только одно, да и то не теоретическое, а чисто историческое пополнение.

Общепринятый тон политико-экономических отзывов о коммунистах и социалистах не один раз изменялся с той поры, как эти тенденции заняли постоянное и видное место в умственной жизни. До 1848 года масса умеренных прогрессистов, в том числе и почти все политико-экономы, говорили о коммунистах и социалистах с любезною снисходительностью, как о мечтателях благонамеренных, хотя и заблуждающихся, но самыми своими заблуждениями отчасти содействовавших им, умеренным прогрессистам, в разъяснении истины. Над коммунистами и социалистами при случае подсмеивались с приятными претензиями на остроумие, без ожесточения, больше для препровождения времени, но говорилось это о них лишь при случае, не слишком часто и не слишком помногу. Они казались людьми неважными.

В 1848 году повсюду, где был переворот, бывали в нем более или менее заметны или у всей массы простонародья или у довольно больших отделов ее какие-то отчасти неясные тенденции, клонившиеся к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом. В то же время обнаруживалось, что бывшие защитники коммунизма и социализма в литературе думают воспользоваться этими тенденциями, которые были порицаемы даже и самыми радикальными из демократов, не бывших коммунистами или социалистами. Таким образом, раскрылось для всех, что между коммунистами и социалистами и всеми другими партиями есть коренная разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали в это время, что у них у обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди,

оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционера и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом. Например, предводители баденских инсургентов Геккер и Струве были социалисты, а ведь они успели овладеть Баденом и были побеждены уже только двинутыми на них прусскими войсками⁵. Но главным источником страха была, разумеется, Франция. Временное правительство нашло нужным льстить коммунистам и социалистам, чтобы выиграть время. Эти ловкие маневры имели вид такой искренности, что казалось, будто оно дает социалистам и коммунистам участие в управлении страной. На самом деле ничего такого не было сделано. Но имя Луи-Блана в числе членов временного правительства и люксембургские конференции, которыми или обманули этого тщеславного труса (если он тщеславный трус), или обольстили этого самоотверженного гражданина (если он был самоотверженный гражданин, не хотевший вести свою партию к победе путем междоусобной войны), — но национальные мастерские, устроенные врагами коммунизма, как лагерь против коммунистов, и однакоже очень хитро выставлявшиеся за создание коммунистов, — этого было уже довольно, чтобы вся Европа кричала: «коммунисты овладевают правительством во Франции!» А тут поднялось громадное июньское восстание, подавленное лишь после такой упорной битвы, какой еще никогда не бывало даже и в парижских междоусобицах⁶. Под влиянием этих событий все стали трепетать при одной мысли о коммунистах и социалистах, и ни на минуту не мог никто избавиться от мысли о них. В ту эпоху не в силах был человек написать ни одной страницы без того, чтобы не попали туда социалисты или коммунисты с приставкою надлежащих проклятий. Политическая экономия заразилась социализмофобией и коммунизмофобией (разумеется, в тех странах, которые подвергались перевороту, и в странах, повторяющих все с голоса тех стран. Англичане сохранили некоторое хладнокровие). Брань — настроение духа, одаренное очень большою живучестью. Трусовость также. Раз принявшись бранить и трусить социалистов и коммунистов, континентальные политико-экономы еще не успели оправиться от своего истерического припадка. Но 10 или 12 лет — порядочный срок времени, и нельзя, чтобы не случилось в такой срок ничего, могущего подействовать даже и на людей, упражняющихся в истерике. Оно и действительно возникли в это время два явления, отчасти подействовавшие на континентальных политико-экономов. Очень видное место в литературе занял писатель очень крутого нрава, Прудон. Кто он такой, социалист или не социалист, коммунист или не коммунист — этого никто из континентальных политико-экономов не умеет разобрать да и сам Прудон, быть может, не знает определенно. Но одно всем заметно:

он ужасно бранится, и так бранится, что на кого набросится, безвозвратно выставит глупцом. Бранит он социалистов и коммунистов — это хорошо; но попробуй кто-нибудь сказать что-нибудь против них, он так отделает этого господина, что тот жизни будет не рад: «если, говорит, я их называю глупцами, так другое дело — я понимаю их; а вы, милостивый государь, не понимаете их, вы сами гораздо глупее их, да и в политической экономии вы ни аза в глаза не знаете; какой вы политико-эконом! вы просто ахиною городите». Вот от страха перед таким чудовищем иной раз и боится политико-эконом не сделать милой улыбки коммунизму в извинение за то, что тут же выбрал коммунистов. А тут есть еще другое обстоятельство, коммунизм популярен: кому не хочется уловить частичку популярности? Вот политико-эконом, выбравши коммунизм, и прибавляет для партера: «что это я, дескать, только так говорю против крайностей и утопий, а что касается до здоровой части новых стремлений, так я до-нельзя люблю ее», и пойдет хвалить ассоциации, предрекать им великую будущность, заболтается до того, что сам уже ничего не разбирает, что говорит. Таким образом нынешний обыкновенный тон отзывов о коммунизме — смесь неистовств с сладкими улыбочками, проклятий с комплиментами.

Ничего такого нет у Милля. Он смотрит на ужасающие крайности других теорий очень спокойно и не видит в них ничего возмутительного. Пересматривая возражения, какие делаются против коммунизма, он не находит между ними ни одного основательного. Решительный вывод его о коммунизме тот, что, если система собственности будет усовершенствована, она, — почему знать? — может быть, окажется и лучше коммунизма, но в нынешнем своем виде далеко уступает ему. К социализму он обнаруживает еще более сочувствия и не видит в нем уже ровно ничего не только дурного, но и неудобного. Одно только сомнение выставляет он: нынешний уровень общественной нравственности очень низок; способны ли люди к принятию какого-нибудь хорошего устройства при этом нынешнем своем состоянии? Разумеется, это сомнение очень основательно, и надобно сказать, что оно применяется не к одному вопросу о коммунизме или социализме, а решительно ко всякому вопросу о каком бы то ни было существенном улучшении. Например, англичане владеют Ост-Индиею; можно ли ввести у индийцев цивилизованный порядок вещей, который был бы для них несравненно полезнее нынешнего? «При нынешнем состоянии общественной нравственности в Ост-Индии это очень сомнительно!» Можно ли уничтожить вывоз негров из Африки в Америку, чтобы негритянские племена не воевали между собою с целью захватывать пленных и продавать их на вывоз? «При нынешнем состоянии негритянских племен это очень сомнительно!» Можно ли устроить, чтобы друзья и марониты не резали друг друга, если

не будут удерживаться от резни страшными строгостями Фуад-Паши? ⁷ «При нынешнем состоянии нравов их это очень сомнительно». Но то дикие или полудикие страны, не угодно ли подумать вам о цивилизованных? Можно ли ждать, чтобы незуитская партия потеряла всякое влияние на значительную часть французов? ⁸ Или, чтобы английские простолюдины стали обращаться с своими женами хотя так, как обращаются французские? Или, чтобы немцы бросили свою дрянную кухню, развивающую между ними золотушные болезни? На все эти вопросы ответ тот же самый. — «При нынешнем состоянии это очень сомнительно».

Да это ли одно? В одних ли вещах важных сомнительна возможность скорой, полной перемены к лучшему? Возьмите какие хотите пустяки, во всяких пустяках она сомнительна. Например, можно ли быстро сделать, чтобы петербургские или московские вывески не отличались безграмотностью? или чтобы общие собрания акционеров русских акционерных компаний ⁹ стали держать себя благоразумно? или, чтобы русские журналы приняли одинаковую орфографию, чтобы не писались одни и те же слова в одних журналах большими буквами, а в других маленькими, чтобы во всех журналах писалось как-нибудь по-одному: или «тел'га», или «т'лега»? или, чтобы англичане, вместо нынешнего своего неудобного способа делать чай, завели самовары, которые сами они находят очень удобною посудой? или, чтобы бросили они в газетах некрасивый обычай печатать собственные имена особнным шрифтом, так называемой капителью? Или, чтобы немцы бросили дикое правило писать каждое существительное имя с большой буквы? или, чтобы французы, вместо своих никуда негодных каминов, с которыми страшно мерзнут, завели у себя порядочные камины вроде английских или порядочные печи вроде немецких? Кажется, все эти желания и удобоисполнимые, а между тем о каждом из них надобно решительно сказать, что очень скорого исполнения его ожидать нельзя.

«Разумеется, ничто на свете вдруг не делается!» И хорошо еще, если дело идет хотя медленно, но без остановок, без неудач, без поворотов к старому. Только идут так лишь неважные дела. В делах важных успех достигается после длинного ряда неудач, и за каждым движением вперед следует реакция, теснящая дело назад с таким упорством, что преодолевается только чрезвычайным напряжением сил, за которым, конечно, следует утомление с новым преобладанием реакции.

Есть люди, которые не ждут успеха ни при каком отдельном факте, а знают только, что в окончательном результате будет успех, — знают потому, что сомневаться в нем нельзя: неизбежность его доказывает себя математически. Распространяется ли грамотность в России? Сомневаться в этом просто глупо. Но если хотите, можете ждать неудачи при основании каждой воскре-

сн^{ой} школы ¹⁰, можете, если хотите, ждать, что и все нынешнее движение в пользу воскресных школ потерпит как-нибудь неудачу — что ж из этого? Только то, что от неудач унывать нечего, их надо предвидеть. Но если ждать неудачи, то как же браться за дело? Ведь и охота к нему пропадет. Полноте, будто это от наших мыслей зависит: станем ли мы иметь охоту? и будто, если скажет себе человек: «не стану я делать этого», так уж и точно не станет делать? Полноте; посмотрите на свои ежедневные поступки: сколько раз каждый из нас давал себе зарок, например, хотя бы не спорить о теоретических вопросах? Разве удавалось кому-нибудь переубедить противника в один вечер? Разве, расходясь, не говорил он себе каждый раз: «как однакоже я глуп, что спорил!» или разве не давал себе каждый из нас зарок не верить никому на свете или не любить никого на свете? И однакоже: разве исполняются эти зарок^и? Да, исполняются до первого случая, а как случай представился, натура и берет верх — и опять споришь и опять привязываешься, пока не износишься весь. А покуда ты износишься, подрастают другие на твое место терпеть те же неудачи, давать те же зарок^и и точно так же пробиваться по той же дороге. Стало быть, взгляд, нами изложенный, нимало не мешает усердию практических хлопот у людей, разделяющих его. А надобно заметить, что мы вовсе не полагаем, будто бы в какую бы то ни было данную минуту большинство людей, убежденных в известной истине, могло не находить, что она готова вполне осуществиться при первом не-сколько удобном случае силою одной попытки. Хладнокровно рассуждать о шансах любимого дела в то самое время, когда стараешься об исполнении его, — это возможно только или при сильной большой опытности, или при особенном темпераменте, в котором холодность ума соединяется с горячностью воли. Людей того и другого рода всегда бывает довольно мало. Остальных не разубедишь: им все будет казаться, что вот-вот представляется один из тех, почти беспримерных в истории случаев, когда с одного раза прочно приобреталось многое. Стало быть, взгляд наш на шансы близкого будущего не охладит никого. Кто разделяет или будет разделять его, тот уже не способен охлаждаться перспективою или полных неудач, или удач, слишком неполных, потому что он давно свыкся с этой перспективой, и действительность его происходит из необходимой потребности всей его натуры, а не из юношеской веры в свое счастье или в свое время. А кого оживляет доверчивость к своему счастью или своему времени, кто охладился бы, утратив ее, тот и не примет нашего сурового взгляда. Но он позволит нам не высказывать надежд, которых мы не имеем, и рассуждать о вещах не с угрозением ему, а сообразно своему взгляду. Мы совершенно согласны с Миллем, что нельзя ждать скорого замещения нынешней коренной институции экономического быта порядком дел,

основанным на ином принципе. Но следует ли из этого, что «политико-эконом долго должен будет заниматься условиями быта и прогресса», принадлежащими нынешнему господствующему принципу? Оно так, только не в том смысле, какой дает этому Милль. Разумеется, всего больше человек должен заниматься настоящим своим положением и будущим очень близким, но как он будет судить о нем? На основании ли того, что принимает он за истину, или <он> должен забывать эту норму, если она вполне не осуществима завтра или послезавтра.

У вас есть сын, мальчик лет девяти или десяти, едва начинающий учиться. Скоро ли он может попасть в университет? Но ведь вы думаете, что когда-нибудь ему следует быть в университете; вы находите, что это будет всего лучше для него; что ж теперь, разве вы не располагаете все его воспитание так, чтобы он стал способен поступить в университет и чтобы избежал лишних задержек, и разве, когда он спрашивает вас, к чему полезнее для него готовиться, — разве вы не рассказываете ему об университете? и если, сбиваемый с толку глупостями, которые слышит беспрестанно и от товарищей, а еще больше от людей, которых считает умнее себя, — он прибегает к вам с вопросом: не лучше ли быть гусарским юнкером, чем студентом? — разве вы отпускаете его с удовлетворительным решением: «мы, дескать, потолкуем с тобой об этом лет через семь». Благоразумно вы поступаете в подобном случае! Или, быть может, вы поступаете еще рассудительнее, поддакиваете мальчику, что точно, если студентом быть недурно, то быть гусарским юнкером еще полезнее для него: «пусть, дескать, в самом деле попробует, может быть, в самом деле хорошо, а увидит, что нехорошо, станет ходить в университет».

Кажется, что рассудительные люди так не поступают. Близка или далека цель, все равно, нельзя выпускать ее из мысли, нельзя, потому что как бы далеко ни была она, ежеминутно представляются и в нынешний день случаи, в которых надобно поступить одним способом, если вы имеете эту цель, и другим способом, если вы не имеете ее. Разумеется, не доедете вы в один день ни до Казани, ни до Берлина, но ведь на самом первом шагу путь разветвляется: в Казань одна дорога, а в Берлин — совершенно другая. Так не будете ли вы рассуждать так: «станция Московской <железной> дороги к моей квартире ближе, извозчик ближе, да и торцовая мостовая по Невскому удобнее, так проедусь я сперва несколько станций по дороге в Казань, а там где-нибудь сворочу на берлинскую дорогу. А то, может быть, и не сворочу — что ж, ведь и Казань хороший город!»

Мы ничего не говорим — выбирайте себе цель, какую хотите, Казань ли, Берлин ли, только выбирайте же, и если вы находите, что в Берлине быть вам лучше, чем в Казани, то уж так и направляйтесь. Но а с Казанью что ж делать в таком случае?

неужели забыть о ней? Разумеется, всего проще было бы не заниматься ею слишком много. Но, быть может, есть у вас приятели и советники, которые тянут вас в Казань. Если так, нечего делать, вам приходится рассуждать о Казани очень много; но в каком смысле, позвольте вас спросить, станете вы рассуждать о ней? Вы станете доказывать вашим приятелям и советникам, что ехать вам туда не следует, а следует вам ехать в другую сторону.

Или, быть может, вы еще не знаете, куда вам следует ехать? Да как же не знаете, вы уже едете? Ведь история не на диване, на котором лежит человек, не двигаясь с места, ведь она мчит вас куда-то, а вы еще не знаете куда? Так уж вы поскорее узнайте, куда это она вас мчит? Туда ли, куда вам нужно? и если туда, куда вам нужно, то напрасно вы и толкуете о других дорогах, а если не туда, куда вам нужно, то сворачивайте.

Милль рассуждает не совсем так: судя по всему, говорит он, надобно ехать в Берлин, однакож махнемте на нем рукою и поедем в Казань.

Заключение не совсем логическое. Мы уже видели, на каком соображении делается оно: при нынешнем низком состоянии умственного развития и нравственных понятий в обществе рано еще думать об осуществлении идей, которые хороши сами по себе. Мы видели, что если и правда, что рано ждать полного их осуществления, это нисколько не избавляет от надобности внимательно и подробно изучать их, потому что иначе мы будем сбиваться с дороги. Но рано в нынешнее время ждать осуществления лишь тех систем окончательного устройства экономических отношений, о которых об одних и говорил Милль. А разве не случается, что мыслитель, развивающий свою идею с одною заботою о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одною частью своей системы, удобоисполнимою и для настоящего? Спросили бы вы, например, Роберта Пиль¹¹, что ему кажется наилучшим по вопросу о заграничной торговле? Наверно он отвечал бы: совершенное уничтожение и таможенных пошлин и таможен. Да он и говорил это много раз. Что ж, значит, он был фантазер, и от его мыслей можно отделаться словами: «хорошо, но еще слишком рано думать нам об этом»... Нет, вы знаете, что Роберт Пиль, кроме рассуждения о безусловно и окончательно наилучшем, рассуждал и о том, в какой мере, какую часть этого наилучшего можно исполнить и теперь; он вовсе и не предлагал парламенту — раз, два, три, хлоп! и отменить все пошлины и разорить таможни. Известно, что в парламенте он предлагал вещи совершенно практические, исполнение которых оказалось и легко и полезно.

Вот то же самое и по вопросу, занимающему нас. Полное теоретическое изложение системы известного быта, основанного на

известном принципе, — вещь необходимая: нужно же знать, что в самом деле хорошо и справедливо, а сверх того, у кого не уяснены принципы во всей логической полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха. Но, если были на свете гениальные мыслители и нашли себе достойных учеников и приобрели популярность, то ведь надобно же положить, что или сами они, или некоторые из учеников их догадались же, кроме этих рассуждений об отвлеченной теории, поговорить и о возможном в современной действительности.

Оно так и было. Размеры статьи не допускают нам говорить о всех таких предложениях, имеющих в виду границы возможного для нынешней эпохи, да оно, может быть, и лишнее было бы перечислить много таких программ, потому что в существенном все они сходны. Ограничимся же одним примером, который приводил я в одной из прежних своих статей (Труд и капитал, «Современник», 1860 год, № 1, Русская литература, стр. 60—66).

Нам вздумалось взять в пример тогда Луи-Блана¹².

Не мешает сделать небольшую оговорку. Луи-Блан человек вовсе не из тех первоклассных мыслителей, каковы были Сен-Симон, Фурье, Роберт Овен. Он только человек очень даровитый, вроде Милля; выше Милля он в том отношении, что умел стать на почву новую и прочную, но далеко уступает он Миллю солидностью образования: он учился на медные деньги, не имел даже куска хлеба от черной работы, которая дала Прудону время долго учиться хотя на медные деньги. Стало быть, если хотите, можете ставить его, как теоретика, далеко ниже и Прудона и Милля. Значит, мы обращаем именно здесь внимание на него не потому, чтобы он сам по себе был выше других, — куда, далеко нет. Но литературный талант у него очень большой и при том совершенно такого рода, какой всего больше нравится французам: он пишет патетично (от этого чуть ли не больше всего и не пользуется он популярностью у нас, для которых более привычен теперь иронический тон). Благодаря этому он оказался популярнейшим человеком из всех людей новых экономических школ в 1848 году, и ему, а не другому кому привелось быть тогда представителем требований парижских работников во временном правительстве. Плохо ли, хорошо ли исполнял он эту обязанность, здесь для нас все равно. Фактически верно только одно: пока он сохранял хотя тень участия в правительстве, междоусобной войны в Париже не было. А может быть, он и был виноват этим, судите, как хотите. Но только все-таки он был представителем требований парижских работников, стало быть, на его голову и обрушилась вся ненависть к этим требованиям, и в тысяче книг подробно объяснено, что он злодей вроде Ваньки Каина: хотел перерезать половину французов, заграбить имущество перерезанных и т. д., и все это, видите ли, по мелкому тщеславию и по злобной трусливой завистливости. Оно,

может быть, и правда. Но дело не в том, что он за человек сам, — мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе и не имели бы, оттого что оригинального в них мало.

Оно, впрочем, тем и удобнее для нас взять его в пример, что оригинального у него мало. Посмотрим же, что такое он предлагал.

У Милля мы прочли, что он коммунист, требующий совершенного равенства, — не имуществ: какие уж имущества при коммунизме, отрицающем всякую собственность, — а доходов или выдачи содержания каждому члену нации. Ну, действительно, это вещь не слишком-то удобоисполнимая не только при нас, а и при внуках наших, да и при праправнуках. Да нет, прибавляет Милль, это еще не все, это еще только на первый раз думает он так сделать, а собственно требует он, чтобы каждый посвящал все свои силы на работу в пользу коммунистической кассы, а получал содержание, какое она положит ему по рассмотрении его надобностей, то есть это значит, что если она рассудит, что я могу существовать черным хлебом и толокном, то буду я работать, как вол, и будут посторонние мне люди кушать возделанный мною белый хлеб и говядину из выкормленного мною скота, а мне и понюхать никогда не дадут ни говядины, ни белого хлеба; ну, это еще неудобоисполнимое в нынешнее время; ведь нужно перевоспитать несколько поколений, чтобы соблюдаема была людьми справедливость при распределении доходов без всякой другой нормы, кроме общественной добросовестности. Ну, видно, что и глуп же этот Луи-Блан! Да и парижские работники что за олухи, что носили на руках такого фантазерного идиота.

Может быть, вы рассудите так, а может быть, навернется вам на ум другая догадка: если масса людей грамотных, довольно много читавших и очень опытных в житейском деле — а ведь парижские работники таковы, — выводила вперед своим представителем Луи-Блана, то, вероятно, его требования не были же до такой осязательности неудобоисполнимы для нынешнего времени. Обманет ли вас эта догадка, вы решите, прочитав следующий отрывок из статьи, на которую мы ссылались. Надобно сказать, что в том месте статьи, откуда берется он, мы рассматривали одно из обыкновенных возражений против новых экономических теорий, — говорят, будто ими стесняется свобода человека. Заметьте кстати, что у Милля, если нет этого пошлого возражения, то слегка высказывается мнение, что при тех усовершенствованиях принципа личной собственности, какие предполагает в будущем Милль, принцип этот давал бы человеку больше свободы, чем возможно при другом принципе, о котором теперь идет речь. Как там было бы в отдаленном будущем при усовершенствовании, предлагаемом Миллем, об этом

мы поговорим ниже, когда будем рассматривать, могут ли довести до цели, выставляемой Миллем, реформы, им предлагаемые. А теперь мы пока просим читателя не делать сравнений, а просто без всяких сравнений сказать: находится ли хотя малейшее стеснение для свободы человека в плане, который он сейчас будет читать, — если в нем нет ни малейшей тени стеснения, то можно будет, кажется, сказать нам впоследствии, что противоположный принцип уже ни при каких усовершенствованиях не превзойдет его своею просторностью для свободы.

Итак, говорили мы в нашей статье, мы просим читателей обратить внимание на то, стесняется ли свобода этим планом, который приспособлен к нравам стран, потерявших всякое сознание о прежнем общинном быте и только теперь начинающих возвращаться к давно забытой идее товарищества трудящихся в производстве. Надобно сказать также, что в государстве, для которого предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам, оптовым купцам, вывозящим за границу рыбу, и вообще оптовым торговцам. Кроме того, оно дает десятки миллионов взаймы компаниям железных дорог и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки.

Правительство назначает такую сумму, какая сообразна с его финансовою возможностью, для первоначального пособия основанию промышленно-земледельческих товариществ. За эту ссуду оно получает обыкновенные проценты, и ссуда погашается постепенными взносами в казну из прибыли товариществ.

Само собою разумеется, что пособия от казны предполагаются только для ускорения дела. Теперь есть много примеров, что товарищества основывались без всякой посторонней помощи. Но если оптовые торговцы и компании железных дорог получают пособия, то нельзя назвать излишней притязательностью предположение, что трудящийся класс также имеет некоторое право ожидать от государства такого содействия, которое не будет стоить ни одной копейки казне: получая проценты и постепенно возвращая выданный капитал, она тут не жертвовательница, а просто посредница между биржею и трудящимся классом.

Теперь идея товарищества дело еще новое, и для ее осуществления нужна некоторая теоретическая подготовленность. Поэтому на первый раз ведение дела поручается человеку, которого правительство признает представляющим надлежащие гарантии знания и добросовестности.

Приглашаются желающие участвовать в составлении товарищества. Число участников в каждом товариществе полагается от 1 500 до 2 000 человек обоего пола; они принимаются в товарищество с согласия директора, который отдает предпочтение

семейным людям над бессемейными. Таким образом, товарищество состоит из 400 и 500 семейств, в которых будет до 500 или больше взрослых работников и столько же работниц. Как поступили они в товарищество по своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему вздумается.

В государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Для товарищества всего выгоднее будет купить одно из таких зданий, поправка которого не требовала бы особенных расходов. Но если оно найдет выгоднейшим, то можно построить новые здания; словом сказать, дело это ведется совершенно по такому же расчету, как постройка или покупка здания для какого-нибудь обыкновенного промышленного заведения. Надобно только, чтобы при здании было такое количество полей и других угодий, какое нужно для земледелия по расчету рабочих сил товарищества.

Разница от обыкновенных фабрик и домов для помещения работников состоит в том, что квартиры устраиваются с теми же удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них. Так, например, квартира для семейного человека должна иметь число комнат, нужное для скромной, но приличной жизни. Число квартир устраивается приблизительно соразмерное с числом желающих пользоваться такими квартирами. Но кому не угодно жить в этом большом здании, тот может нанимать себе квартиру, где найдет удобным. Обязательного правила тут нет никакого.

При здании находятся принадлежности, которые требуются нравами или пользою членов товарищества. По нравам того народа и его потребностям такими принадлежностями считаются: церковь, школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека. Кроме того, разумеется, должна быть больница.

По архитектурным сметам, то есть цифрам, точность которых каждый может проверить, оказывается, что такое здание, со всеми своими принадлежностями и удобствами, будет стоить такую сумму, что лица, поселившиеся в нем, получают квартиру и гораздо лучше, и гораздо дешевле помещений, в каких живут ныне. Цена за квартиры полагается такая, чтобы за вычетом ремонта капитал, затраченный на здание, давал процент, обычный в том государстве.

Товарищество будет заниматься и земледелием и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности. Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на счет товарищества.

Словом сказать, товарищество находится относительно своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ними совершенно такие же счета, как фабрикант с работниками, до-

мохозяин с жильцами. Нового и неудобноисполнимого тут очень мало, как видим.

Теперь, когда здание готово и все нужное для работ приобретено, начинается дело.

Одним из важных экономических расчетов служит то, что земледелие требует громадного количества рук в недолгие периоды посева и уборки, а в остальное время представляет мало занятий. Товарищество должно пользоваться временем как можно расчетливее, потому во время горячих земледельческих работ все члены его приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами занимаются в свободное от земледелия время. Впрочем, обязанности и тут нет никакой: кто чем хочет, тот тем и занимается. В каждом промысле для каждого разряда работников существует та самая плата, какая обычна для него в тех местах. Какое же средство привлечь все руки к земледелию, когда оно требует наибольшего числа рук? Товарищество знает, что количество работы составляет сущность дела, потому во время посева и уборки назначает на земледельческую работу такую плату, чтобы огромное большинство членов его, занимающихся обыкновенно промыслами, увидело для себя выгоду обратиться на время к земледелию. Как видим, товарищество держится в этом случае обыкновенных в нынешнее время средств: оно держится их и во всех других случаях. Работники, не занимавшиеся до той поры земледелием, на первый год, конечно, будут пахать или косить хуже записных земледельцев; но под их руководством исполнят новое дело сносным образом, а на следующие годы и вовсе привыкнут к нему.

Мы говорили, что каждый занимается тою работою, какую знал или какую хочет выбрать. Разумеется, однакож, что товарищество и в этом случае руководится расчетом. Сапожники, портные, столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая работа: если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что, когда он непременно хочет заниматься только ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы, где ему угодно, а оно, товарищество, не может доставить ему мастерской такого рода. На первый раз этот разбор возможного и невозможного зависит от благоразумия директора, который набирает членов.

Но власть директора не ограничена только до того времени, пока записываются поступающие члены; как только состав товарищества определился, члены его по каждому промыслу выбирают из своего числа административный совет, согласие которого нужно во всех важных делах и вопросах, относящихся к этому промыслу; а все члены товарищества выбирают общий

административный совет, который постоянно контролирует директора и выбранных ими помощников и без согласия которого не делается в товариществе ничего важного.

Но вот прошел год; члены товарищества успели достаточно узнать друг друга и приобрести опытность в том, как ведутся дела. Власть прежнего директора, назначенного правительством, становится уже излишнею и совершенно прекращается. Со второго года все управление делами товарищества переходит к самому товариществу; оно выбирает всех своих управителей, как акционерная компания выбирает директоров. Быть может, опыт и наклонности членов товарищества указали неудобства некоторых определений устава, которым управлялось товарищество в первый год. В таком случае что же мешает товариществу изменить их по своим надобностям и желаниям? Конечно, если первоначальный директор был человек рассудительный, если он принимал людей в члены товарищества с осмотрительностью, то члены набрались такие, которые понимают, в чем сущность дела, к которому они присоединились. Они, вероятно, понимают, что товарищество существует для возможно-большого удобства и благосостояния своих членов, что сущность его состоит в устройстве, по которому каждый работник был бы свободным человеком и трудился в свою пользу, а не в пользу какого-нибудь хозяина. Вероятно, также, что эти люди будут люди, а не звери, то есть не станут забывать, что общество обязано по возможности заботиться о сиротах и других беспомощных своих членах; вероятно, они не захотят уничтожить ни школы, ни больницы, видя, что есть у товарищества достаточно средств для их содержания. А если так, то они останутся верны духу и цели своего товарищества и тогда, когда от них будет зависеть изменять, как им самим угодно, устав его. А если так, то надобно полагать, что устав этот они не испортят, а разве усовершенствуют. Что именно сделают они для его усовершенствования, это уже их дело, а наше дело только рассказать, какой порядок заводится в товариществе первоначальным уставом, действовавшим в первый год; одну часть его, относящуюся к производству, мы изложили; теперь займемся другою, относящеюся к распределению и потреблению.

Можно, кажется, предположить, что работники, получая от товарищества обыкновенную плату обыкновенным порядком, будут работать не хуже обыкновенного. Мы предполагаем, что управлению товарищества едва ли понадобится прибегать к исключению какого-нибудь члена товарищества за лень; а если понадобится — что делать! — оно исключит его, как отпускает фабрикант слишком ленивого работника. Но ленивых работников будет в товариществе меньше, нежели на частных фабриках; имея, как мы увидим, более прямую выгоду от усердия в работе, члены товарищества, вероятно, останутся верны об-

щему качеству человеческой природы, по которому усердие к делу измеряется выгодностью его, и потому надобно полагать, что работа в товариществе пойдет успешнее, чем на частных фермах и фабриках, где наемные рабочие не участвуют в прибыли от своего труда.

Если у фабриканта остается значительная прибыль, за вычетом заработной платы и других издержек производства, то остается она и у товарищества. Одна часть этой прибыли пойдет на содержание церкви, школы, больницы и других общественных учреждений, находящихся при товариществе; другая на уплату процентов по ссуде из казны и на ее погашение; третья на запасный капитал, который будет служить, так сказать, застрахованием товарищества от разных случайностей. (Если товариществ много, этот запасный капитал служит основанием для их взаимного страхования от разных невзгод. Когда же возращение его представит возможность, он также обращается на пособие вновь организованным товариществам). За покрытием всех этих расходов должна остаться значительная сумма, которая пойдет в дивиденд всем членам товарищества, каждому по числу его рабочих дней.

Наш устав написан именно в том предположении, что эта сумма, остающаяся для дивиденда, будет значительна. Почему мы так думаем? Просто потому, что хозяин частной фабрики также имеет все расходы, которые мы вычитали из прибыли товарищества: он также платит проценты по своим долгам и погашает их, также содержит, если только он человек честный, и церковь, и школу, и больницу (и надобно заметить, что чем больше он тратит на эти учреждения, требуемые понятиями или пользами его работников, тем больше остается у него чистой прибыли); наконец, он также застраховывает свою фабрику, — издержка, соответствующая образованию запасного капитала в товариществе, — и за всеми этими расходами у него все еще остается значительная сумма, которая одна собственно и составляет его прибыль: он бросил бы свою фабрику, если бы эта сумма, остающаяся у него в руках, не была значительна. Нет причины полагать, чтобы работа у товарищества шла менее успешно, нежели у него, а есть причина полагать, что она пойдет успешнее; потому-то мы и говорим, что дивиденд в товариществе будет значителен.

Этот дивиденд составляет одну сторону выгоды товарищества для его членов; он возникает из производства. Другую сторону выгоды доставляет посредничество товарищества в расходах его членов на потребление.

Мы уже говорили, что все желающие члены пользуются в общественном здании квартирами, которые лучше и дешевле обыкновенных. Точно так же они могут брать, если захотят, всякие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой

цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной. Кому, например, кажется удобным покупать сахар по 20 к. за фунт, а не по 30, как он продается в маленьких лавках, тот может брать его из магазина товарищества, которое покупает сахар прямо с биржи, стало быть, имеет его 30-ю процентами дешевле, чем получается он из мелких лавок. Но, разумеется, кому угодно платить не 20, а 30 коп. за фунт, тот может покупать его, где ему угодно. Для людей небогатых главный расход составляет пища. Кому угодно самому готовить свой обед, может готовить его, как хочет. Но кто захочет, тот может брать кушанья к себе на квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому угодно, тот может обедать за общим столом, который стоит еще дешевле, нежели покупка порций из общей кухни на квартиру.

Нам кажется, что во всем этом нет пока ровно ничего особенно ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и кроме обыкновенной платы получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда.

Вот именно этот самый план имеет свойство возбуждать в экономистах отсталой школы неимоверное негодование своею ужасною притеснительностью, своим противоречием со всеми правилами коммерческого расчета, своею противоестественностью и своим пренебрежением к личному интересу, без которого нет энергии в труде. Хороший отсталый экономист скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного или неудобноисполнимого.

Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и по всей вероятности долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз.

Последние жесткие слова не относятся к Миллю; он не прокликает и не перевирает, а сочувствует и защищает.

Очень может быть, что выписка, нами сделанная, не требует новых пояснений, но на всякий случай сделаем еще одно замечание.

В плане, нами представленном, дело, ведущееся совершенно самостоятельно, в первый год при самом слабом правительственном вмешательстве, ограниченном лишь выбором директора, который и тут ничего не значит без административного совета, избираемого самими участниками предприятия, со второго года уже решительно без всякой тени какого бы то ни

было правительственного вмешательства, начинается однако же при пособии ссуды, даваемой правительством. Мы уже говорили в приведенном отрывке, что, кажется, тут нет ничего чрезмерно гибельного для свободы соучастников, но толпа французских экономистов вопиет: «ужасно, ужасно! общество ставится в азиатскую зависимость от правительства! вводится демократическая централизация, пред которой ничто нынешняя чрезмерная французская административная опека!» Когда вы сами знаете произведение писателя, обвиняемого в таком злом намерении, вы только пожимаете плечами, слыша этот вопль. Ведь он принадлежит к партии, которая хочет обратить нацию в собрание самобытных федераций, так чтобы каждый округ был федерацией независимых городов и сел, департамент — федерацией округов, Франция — федерацией департаментов, откуда же могло возникнуть порицание за любовь к опекунской централизации, порицание вроде того, как если бы кто вздумал порицать кошек за любовь к собакам?

Главное основание тут вот какое: Луи-Блан — не теоретик, занятый отвлеченными соображениями о своих собственных симпатиях или антипатиях, а публицист или государственный человек, думающий почти исключительно о настоящем. Что же мы видим в настоящем у французов? Видим административное устройство, прямо противоположное английскому: в Англии правительство не может помешать частному человеку решительно ни в каком деле, кроме фактического преступления. Во Франции решительно нет возможности устоять коммерческому, промышленному, какому хотите предприятию, если администрация захочет помешать ему. Формальности бесчисленны; по контролю за исполнением каждой формальности полиция имеет очень широкий произвол, имеет не только что теперь, при восстановленной империи; нет, точно столько же произвола имела и при Луи-Филиппе и при Бурбонах¹³. Не то, что какой-нибудь опыт нового промышленного порядка с неизбежными при всяком опыте колебаниями, не то, что какое-нибудь дело, имеющее против себя биржу и всех капиталистов, нет, самая солидная купеческая фирма обанкротится через полгода, если захочет того администрация. Крайний случай будет такой: управляющий делами подозревается в неисправном ведении книг; он берется под арест, и на место его назначается администрацией новый управляющий делами, который находит и докладывает префекту или министру, что дела фирмы следует ликвидировать, они и ликвидируются. Но до этой крайности едва ли когда понадобится дойти: есть сотни способов расстроить предприятие и без нее.

Нравится или не нравится это вам ли, другому ли кому, например хоть Луи-Блану, не о том речь. Речь о том, что французы с незапамятных времен привыкли к такому порядку вещей,

они привыкали к нему по крайней мере со времен Ришелье, если не раньше, и в какие-нибудь 30 лет, прошедших между первым и второю империею¹⁴, разумеется, не могли много отвыкнуть от него. Что укоренялось в понятиях в течение многих поколений, то не изгладится из нравов иначе, как сменою нескольких поколений. Что же теперь делать? Политические формы могут сменяться, — они и сменялись во Франции; одни из них могут быть удобнее других для развития в народе известных привычек, для изглажения других; одни из них могут ближе соответствовать существующим привычкам, другие по своей тенденции быть дальше от них; но все-таки масса действий администрации при каких бы то ни было политических формах будет в духе народных привычек. Попробуйте завести в Азии европейские политические формы, какие хотите: очень долго при таких формах администрация будет действовать в духе, очень мало различном от прежнего. В доказательство посмотрите на английское управление в Ост-Индии, — чистое азиатство, или на французское в Алжире, — тот же самый Египет. Разумеется, администрация может получить другие цели, например, при Алексее Михайловиче она отстраняла от нас европейские формы, при Петре Великом вводила их; в Англии при Стюартах старалась распространять католичество, при ганноверской династии¹⁵ стеснять его, во Франции в первую республику уничтожать аристократию, в первую империю — создавать новую аристократию с возможным сохранением нового порядка вещей, при Бурбонах — восстанавливать старинную аристократию с восстановлением по возможности старого порядка вещей; все это так, цели могут быть очень различны, но характер действий изменяется очень медленно: быстро измениться он не может; народные привычки не дают ни материалов, ни опоры. Сделайте дровосека столяром, с первой же минуты он станет делать новое дело, а скоро ли приобретет он осторожные, осмотрительные приемы столяра? нет, долго будет попрежнему махать плеча. Или посадите ювелира бить камни для шоссе: скоро ли он приобретет размашистые привычки к полновесным ударам со всего плеча?

На что же теперь должен рассчитывать во Франции человек рассудительный, каких бы мнений сам ни был? По французским привычкам, какие хотите заводите формы, администрация долго останется так привязчива ко всему и сохранит такую власть над всяким частным делом, что против нее никакого частного дела нельзя вести; а не вмешиваться в него, этого она уже не может. Мало ли чего будет через 40, через 50 лет, а теперь, кого хотите определяйте префектом ли, мэром ли, полицейским ли комиссаром, полевым ли сторожем, каждый говорит одно: «я не могу не заботиться об общественном благе, поэтому мне до каждого дела есть дело; я буду изменник родине и своей

обязанности, если останусь в стороне от чего-нибудь; нет, если что хорошо, я должен помогать, если что дурно, я должен останавливать». А вздумай кто из этих администраторов оплошать, не вмешаться во что-нибудь, весь город закричит: «плохо, сударь, не исполняете своей обязанности! посмотрите-ка, вон в том переулке человек табаку понюхал, а вы ему не сделали ни помощи, ни задержки!» ну и застыдят человека: почувствует совесть, вмешается, сделает помощь или задержку.

Что же вы прикажете делать с таким народцем? Не о том спрашивается, к чему его направлять в будущем, а как устроить с ним какое хотите дело теперь? Администрация во Франции не может оставаться равнодушно ни к чему; она каждому делу непременно хочет и принуждается общественным мнением или помогать, или мешать; этого свойства вы никакими силами у нее в скором времени отнять не можете, и никакими средствами не можете вы в скором времени сделать, чтобы она не сохраняла чрезвычайного могущества над частными делами, так что не может идти никакое частное предприятие, которому она мешает. А всему, чему она не помогает, она мешает.

Но что же, скажите на милость, почтет нужным какой хотите заклятой англоман или американофил при таком положении, если он человек рассудительный, а не фантазер, воображающий, что вот завтра же французы обратятся в англичан? Разумеется, он рассудит: «если я хочу успеха своему делу, я должен иметь на своей стороне администрацию».

Только? Только и есть. Думай Луи-Блан вести свое дело у англичан, он и не подумал бы об администрации. Но что же ему было делать, когда он хотел вести свое дело у французов? Разумеется, ему приходилось видеть, что нужно содействие администрации. И если он высказывал это, видно только, что был не лгун и не совершенно лишен здравого смысла.

Нужно же иметь каплю здравого смысла и не автору только или оратору, а также и людям, которые берутся судить о нем.

«Но принцип невмешательства, о котором так прекрасно говорит политическая экономия?» Да сообразите же вы, из какого народа были, в какой стране жили, для кого писали Адам Смит, Мальтус, Рикардо: ведь они были англичане, писали для англичан. Виноваты ли были эти умные люди в том, что не привелось ни одному из их последователей в других странах быть таким же умным человеком, иметь самостоятельное соображение, чтобы понимать, какие результаты для практических способствования дел происходят от разности, пожалуй, неудовлетворительности континентальных привычек сравнительно с английскими? Английские политико-экономы говорят, например, что самая выгодная для простолюдина одежда — миткалевая и ситцевая. Ну чем они будут виноваты, если у нас кто-нибудь, не разобрав дела, начнет твердить, что наши мужики нерасчет-

ливы тем, что вместо миткаля и ситца носят обыкновенно холст? Чем английские ученые виноваты, что этот господин повторяет их слова, не разобрав дела, не разобрав, что у нас миткаль и ситец остаются еще дороже холста? Другое дело, если вы только говорите, что следует желать удешевления хлопчато-бумажных тканей у нас; и что, когда они подешевеют так же, как в Англии, нашему мужику откроется возможность покупать их для будничной носки, подобно английскому. Но ведь это еще когда-то будет, а пока еще совсем не то.

Словом сказать: теория административного содействия плану ли, изложенному нами, другому ли какому общественному делу, или частному предприятию, — не принадлежит к самой сущности мысли говорящего о том человека, а происходит лишь из соображений местных обстоятельств и народных привычек. Кажется вам, что в данном месте в данное время общественные привычки и практическая возможность ведения дел сходны с английскими, ну что ж, вы можете находить, что административного содействия не нужно для вашего дела, а если находите вы иное, тогда нечего делать, должны вы чувствовать нужду в том, что не было бы вам нужно при других обстоятельствах.

Но довольно об этом. Высказав нерешительное сочувствие к новому принципу распределения, Милль, как мы видели, обходит его отговоркою, что заниматься этим еще рано, а следует вникать в прежний принцип, нельзя ли его устроить так, чтобы он был бы лучше нового, которому, по признанию Милля, далеко уступает в нынешнем своем виде. Пойдем смотреть и мы вслед за Миллем, и сначала посмотрим глазами Милля.

Основание права собственности — право производителя на произведенное им. Тут прежде всего встречается обиходное возражение: «работники на фабрике произвели продукт; как же он принадлежит не им, а хозяину фабрики?» Это недоумение разрешается также обиходным образом: труд работников был лишь один из элементов труда, участвовавшего в производстве, другой элемент — капитал, то есть предшествовавший труд, реализованный в продуктах, нужных для производства (пища и все содержание работников во время производства, здание фабрики, машины, орудия и материал), принадлежал хозяину фабрики, стало быть, продукт должен делиться между этим прежним трудом, дававшим возможность новому, то есть между хозяином фабрики и новым трудом, то есть работниками; они получают следуемую им долю продукта в виде рабочей платы. Другое обиходное возражение: «но этот прежний труд обыкновенно не был личным трудом хозяина; капитал обыкновенно создан работою не самого капиталиста». И это сомнение устраняется обиходным замечанием: «все равно этот капитал, то есть продукт прежнего труда, перешел к нынешнему владельцу законным путем, обыкновенно по воле самих производителей».

Третье возражение: «но лицо, наследовавшее плоды труда других, имеет немало незаслуженное им преимущество перед теми трудящимися, которым ничего не оставлено их предшественниками». На это Милль отвечает уже не совсем обиходным образом: «я сам утверждаю, что это незаслуженное преимущество должно быть уменьшаемо на столько, на сколько допускается справедливостью к лицам, которые почли нужным распорядиться плодами своего сбережения в пользу своих потомков».

Из права производителя на продукт вытекает и право другого лица на продукт, добровольно переданный ему производителем, потому что иначе отвергалось бы право производителя располагать продуктом.

Таким образом право собственности касается только вещей, произведенных лицом или переданных ему производителем, и по основному принципу право собственности не признается за тем лицом, которое приобрело вещь иным путем, например, насилием или обманом или по незнанию лица, имеющего действительное право на вещь, о своем праве. Но для общественной пользы принимается исключение из этого принципа, если известное лицо владело долгое время собственностью бесспорно, то уже самая давность владения признается обеспечивающею собственностью за этим лицом, хотя бы первоначально собственность и была приобретена неправильно этим лицом, или другим лицом, от которого оно правильно получило ее. Конечно, этим несколько нарушается справедливость, но дело в том, что когда несправедливость просуществовала известное время, то исправление этой несправедливости вообще было бы еще большею несправедливостью, потому что первоначальный факт уже зарос, так сказать, последующими фактами, которые все пришлось бы уничтожить уничтожением первоначального факта.

Вот существенные черты принципа частной собственности по мнению Милля; изложив их, он переходит к рассмотрению того, до какой степени должны признаваться необходимыми последствиями принципа частной собственности или до какой степени оправдываются основаниями этого учреждения те формы, в которых оно существовало или продолжает существовать при различных состояниях общества.

Из собственности вытекает только право каждого лица на его способности, на вещи, производимые этими способностями или приобретаемые честным обменом за эти вещи, наконец, право отдавать эти вещи другому лицу по собственному выбору и право другого лица получать их и пользоваться ими.

Из этого следует, что право завещания или посмертного дарения составляет принадлежность идеи частной собственности; но право наследства, независимо от завещания, не составляет принадлежности понятия частной собственности. Хорошо или дурно постановление, что собственность лиц, не распорядившихся ею при жизни, переходит к их детям, а если нет детей, то к ближайшим родственникам, но это постановление не есть следствие принципа частной собственности.

Древность нынешних понятий об этом предмете не может служить сви-

детельством в их пользу. В первобытные времена собственность умершего лица переходила к его детям и ближайшим родственникам таким естественным и прямым путем, что не было возможности и представить себе другого перехода. Во-первых, наследники обыкновенно были тут налицо; они вступали во владение и, если не имели других прав, то уже имели право первого занятия, столь важное в первобытном обществе. Во-вторых, они уже были некоторым образом соучастниками владения еще при жизни умершего. Если собственность состояла в земле, она обыкновенно дана была государством не столько отдельному лицу, сколько роду; а если она состояла в скоте и движимом имуществе, то, вероятно, была приобретена и наверно была охраняема и защищаема общими усилиями всех членов семьи, способных по своим летам работать или сражаться. Исключительно личная собственность в новом смысле слова почти не входила в понятие тогдашнего времени; и, когда главный правитель ассоциации умирал, после него в сущности оставалась только доля, приходившаяся ему в дележе, и доля эта переходила к члену семейства, наследовавшему его власть. Распорядиться собственностью иначе — значило бы разрушить маленькую республику, соединенную понятиями, интересами, привычками, и рассеять ее по свету. Эти соображения не столько высказывались, сколько чувствовались, но имели такое сильное влияние на умы людей, что создали понятие о врожденном праве детей на имущество отца, который не имел власти лишать их этого права. Завещание редко признавалось в первобытном состоянии общества; если бы не было других доказательств, это одно ясно показало бы нам, что собственность понималась тогда совершенно иначе, чем теперь.

Но феодальный род, последняя историческая форма патриархальной жизни, давно исчез, и общественною единицею служит теперь не род или клан, состоящий из всех предполагаемых потомков общего предка, а отдельное лицо, и уже ни в каком случае не больше, как супружеская чета с неотделенными детьми. Собственность теперь принадлежит не родам, а отдельным лицам; дети, вырастая, не следуют занятиям и не пользуются богатством родителей. Если они получают часть денежных средств родителей, это уже зависит от воли родителей, которые обыкновенно дают детям в исключительное владение часть собственности, а не участия в общем владении и распоряжении всей собственностью. В Англии родители могут лишать наследства детей и оставлять свое имущество посторонним людям, если не препятствуют этому субституции или другие ограничения. Родственники, не столь близкие, как дети, вообще отделены от семьи и от ее интересов так, как будто они совершенно посторонние люди. Единственная претензия, которую они могут по общему мнению иметь по отношению к богатым родственникам, состоит в том, чтобы им предпочтительно оказывались дружеские услуги, если нет причин предпочитать им посторонних людей, и в случае крайности давалась некоторая помощь.

Такая огромная перемена в общественном устройстве должна в значительной степени изменять основания, по которым поступает собственность в наследство. Новые писатели, доказывая, что собственность лица, умершего без завещания, должно отдавать детям, а если их нет, то ближайшим родственникам, обыкновенно приводят на это следующие причины: во-первых, надобно предполагать, что, действуя таким образом, закон всего скорее может поступить так, как поступил бы владелец имущества, если бы выразил свою волю; во-вторых, жестоко было бы лишать наслаждений богатства и низвергать в бедность и нужду людей, живших со своими родными и участвовавших в их избытке.

Оба эти соображения не лишены основательности. Бесспорно, закон должен для детей и для людей, зависевших от лица, умершего без завещания, сделать то, что обязан был сделать их отец или покровитель. Насколько могут знать эти обязанности другие, кроме самого бывшего владельца, закон должен исполнить ее. Но закон не может руководиться отдельными случаями, а должен держаться общих правил, потому надобно рассмотреть, каковы должны быть эти правила.

Во-первых, надобно заметить, что никто без особенных личных причин не обязан оставлять денежного обеспечения родственникам по боковой линии. Никто из них не ожидает от него наследства, когда есть у него прямые наследники; никто не стал бы ожидать, когда у него и нет детей, если бы ожидание не возбуждалось постановлениями закона о наследстве без завещания. Потому я не вижу причин и вовсе существовать наследству по боковой линии. Бентам давно предлагал, чтобы собственность лица, умершего без завещания, переходила в руки государства, если нет наследников по нисходящей или восходящей линии; другие уважаемые авторитеты соглашались с ним в этом. По вопросу об отдаленных степенях родства по боковой линии едва ли кто и станет спорить против этого мнения. Мало найдется людей, которые назовут основательным постановление, чтобы имущество какого-нибудь бездетного скряги шло по его смерти (как иногда бывает) на обогащение отдаленного родственника, который никогда не видел его, пока не стал рассчитывать на наследство и имел нравственных прав на наследство не больше, чем имел бы человек совершенно посторонний. Но с этим случаем сходно по характеру получение наследства всеми родными по боковой линии даже в ближайших степенях. Эти родственники не имеют никаких основательных прав кроме тех, какие могли бы иметь и неродственники. А если основательные права на наследство принадлежат кому-нибудь, родственникам или неродственникам, то настоящее средство удовлетворить эти права — завещание.

Права детей не таковы: они действительно справедливы и неопровержимы. Но мне кажется ошибочною мера, обыкновенно полагаемая для объема этих прав: в некоторых отношениях размер того, на что имеют право дети, определяется слишком мало, в других, по-моему мнению, преувеличивается. В практике пренебрегается, а в теории с легкостью, постыдною для человеческого ума, едва упоминается одна из важнейших обязанностей человека, обязанность производить детей на свет только тогда, когда он может хорошо содержать их в детстве и воспитать их так, чтобы они имели средства содержать себя, когда вырастут. Но, если родители имеют собственность, то права детей на нее служат, мне кажется, предметом другой ошибки противоположного характера. Я не могу согласиться с тем, чтобы дети имели право только потому, что они дети, на всю собственность, наследованную или даже и приобретенную отцом, чтобы он был обязан оставлять их богатыми без всякой необходимости в труде. Я не мог бы согласиться с этим, если бы получать такое положение всегда и на верное было полезно для самих детей. Но еще очень сомнительно, будет ли это полезно и для них. Это зависит от личного характера. Я не буду брать крайних случаев и скажу вообще, что в большей части случаев польза не только общества, но и самих детей, была бы соблюдена лучше, если бы им оставалось не огромное, а умеренное наследство. Эта мысль — общее место и древних и новых моралистов; многие рассудительные родители чувствуют ее справедливость и гораздо чаще нынешнего стали бы поступать по ней, если бы не впадали в ошибку, чтобы обращать больше внимания на то, что полезно для детей, по мнению других, чем на то, что действительно полезно для них.

Обязанности родителей к детям — те обязанности, которые неразрывно связаны с фактом, что они дали существование этим людям. Родитель обязан относительно общества заботиться, чтобы сделать свое дитя хорошим и полезным членом общества, а относительно детей он обязан доставить им, насколько может, такое воспитание, такие способы и средства, чтобы они могли начать карьеру с вероятностью устроить себе своим собственным трудом хорошую жизнь. Все дети имеют право на это, и я не могу согласиться, чтобы кто-нибудь из них имел право на что-нибудь больше этого. Есть такой случай, в котором эти обязанности представляются в своем истинном свете, не будучи затемняемы или прикрываемы никакими внешними обстоятельствами; этот случай — обязанности к незаконнорожденным детям. Все понимают, что родители обязаны доставить этим детям средства, при которых дети могли бы расположить свою жизнь так, чтобы она была вообще недурна. Я полагаю, что родители, как родители вообще относительно всех

детей, имеют только ту обязанность, какая признается лежащею на них относительно незаконнорожденных детей, и я полагаю, что никакой сын, никакая дочь, когда относительно их исполнено это, не могут жаловаться, если остальное имущество родителей посвящается на общую пользу или отдается людям, отдать которым это имущество полезнее по мнению родителя.

Жаловаться могли бы дети лишь тогда, когда в них были пробуждены иные ожидания.

Дети имеют право получить возможность к хорошему устройству своей жизни; чтобы дать им эту возможность, вообще необходимо не воспитывать их с младенчества в роскошных привычках, удовлетворять которым не найдут они средств в последующую жизнь. Эта обязанность опять часто и слишком дурно нарушается людьми, которые живут пожизненными доходами и не могут оставить детям большого наследства. Если дети богатых родителей выросли, как, разумеется, и бывает, с привычками, соответствующими размеру расходов родительского дома, то родители вообще обязаны оставить им средств к жизни больше, чем было бы довольно для детей, воспитанных иначе. Я говорю только «вообще обязаны», потому что вопрос имеет и другую сторону. Не лишена большой справедливости мысль, что сильной натуре, пробивающей себе дорогу в тесных обстоятельствах, выгодно бывает и для формирования характера и для житейского счастья, когда она знала по раннему опыту некоторые из чувств, соединенных с богатством. Допустим, однакоже, что дети, приученные к потребностям роскоши, удовлетворять которым потом не будут в состоянии, имеют справедливую причину жаловаться и, следовательно, имеют основательное право на такое наследство, которое было бы соразмерно со способом их воспитания; но это право очень легко расширяется до требований, превышающих соображение, его узаконяющее. Это надобно сказать о младших детях аристократического и землевладельческого сословий. В этих сословиях главная масса имущества переходит к старшему сыну, а другие сыновья, которых обыкновенно бывает много, воспитанные в тех же роскошных привычках, как и старший брат, получают на свою долю такое наследство, с которым могут сами содержать себя, но не могут содержать семейства сообразно своим привычкам. Никто не должен жаловаться, если средства на содержание жены и детей принужден приобретать собственным трудом.

Потому я думаю, что родители обязаны доставить детям обеспечение только такого размера, какой признается удовлетворительным для незаконных детей и младших детей, словом сказать, признается удовлетворительным во всех случаях, когда принимаются в расчет только требования справедливости и действительные выгоды частных лиц, о которых идет речь, и общества; оставлять детям родители не обязаны, не обязано предоставлять и государство детям тех, которые умрут без завещания. Если остающееся имущество превышает этот размер, то я полагаю, что излишек справедливо может быть обращен на общественную пользу. Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что родители не должны никогда делать для детей больше того, чем насколько дети всегда имеют нравственное право. Иногда бывает должно, часто бывает похвально и всегда дозвоительно сделать гораздо больше, чем требует общая обязанность родителей. Но средство для этого предоставляется свободою завещания. Родители должны иметь право показать свою привязанность, вознаградить за заслуги и жертвы, распорядиться своим богатством по своему расположению или по своим понятиям о справедливости, — но это право родителей, а не детей.

Должно ли самое право завещания подлежать ограничению, — это другой вопрос и притом очень важный. Завещание — принадлежность права собственности, чего нельзя сказать о наследстве без завещания. Собственность не полна, если собственник не может передать свое имущество по своей воле по смерти или при жизни, и все те соображения, которые говорят в пользу существования частной собственности, применяются и к этому последствию права собственности. Но собственность не сама по себе цель, а только средство для цели. Как всеми другими правами, и даже больше, чем

многими другими своими правами, собственник может пользоваться правом завещания в противность постоянным интересам человеческого рода. Завещатель нарушает эти интересы, когда, не довольствуясь тем, что завещает именно известному лицу, предписывает, что по смерти этого лица оно должно перейти к старшему сыну, потом к сыну этого сына и т. д. Правда, надежда навеки основать именитый род побуждает иногда человека усерднее трудиться над приобретением состояния; но ценность этого побуждения к деятельности перевешивается вредом, какой приносит обществу эта вечная связанность имени, а побуждение приобретать состояние и без этой надежды достаточно сильно в людях, имеющих средства обогатиться. Точно так же злоупотребляется право завещания, когда человек, похвальным образом оставляя имущество на общественное дело, претендует навсегда предписывать подробности о том, на что должно употреблять это имущество; когда, например, основывая учебное заведение, он навеки определяет, чему и в каком духе должно учить в нем. Человеку невозможно узнать, чему и в каком духе должно будет учить через несколько веков по его смерти, потому закон должен утверждать подобные распоряжения не иначе, как с условием, чтобы по известным срокам надлежащая власть подвергала их пересмотру.

В этих случаях само собою ясно, что право завещания имеет свои ограничения. Но и самый простейший способ пользования этим правом, — определение лица, к которому собственность должна перейти немедленно по смерти завещателя, — всегда причислялся к привилегиям, которые могут быть ограничиваемы или видоизменяемы по требованию пользы. До сих пор он был ограничиваем почти только в пользу детей. В Англии это право по принципу безусловно, и почти единственным стеснением ему служит распоряжение, сделанное прежним собственником; тут настоящий владелец не может завещать своего владения, но только потому, что нет имущества, которое мог бы он завещать, имея только пожизненное пользование. По римскому праву, служащему главным основанием гражданских законов континентальной Европы, завещание первоначально вовсе не допускалось, а потом, когда оно было введено, принудительно была оставлена «законная часть» для каждого из детей; это правило еще остается законом у некоторых континентальных наций. По французским законам со времени революции отец или мать могут располагать только частью имущества, равною части одного из детей, а все дети получают равные части. Этот закон, который можно назвать общим фиденкомиссом массы каждого имущества в пользу всех детей, я считаю по принципу столь же не выдерживающим критики, как фиденкомисс в пользу одного сына, хотя он и не оскорбляет так прямо понятия справедливости. Я не могу согласиться, что родители обязаны оставлять детям даже то обеспечение, на которое дети, как я доказывал, имеют нравственное право. Дети могут лишиться этого права или дурными поступками относительно родителей или тем, что вообще окажутся недостойными его; они также могут иметь другие источники обеспечения, другие основания для своей карьеры; прежняя заботливость родителей об их воспитании и об устройстве их судьбы может уже вполне удовлетворять их нравственному праву; наконец, другие могут иметь больше права, чем они.

Чрезвычайное ограничение права завещания по французскому закону было принято как демократическое средство сокрушить обычай первородства и противодействовать стремлению наследственной собственности сливаться в большие массы. Я сам согласен, что цели эти очень хороши, но полагаю, что средства к их достижению выбраны не самые хорошие. Если бы я составлял законы по своим убеждениям о внутреннем их достоинстве, без внимания к существующим мнениям и обычаям, я положил бы ограничение не количеству имущества, какое может быть завещано, а количеству, какое может быть получено по завещанию или по наследству. Каждый мог бы располагать по завещанию всем своим имуществом, но не мог бы расточительно обращать его на обогащение одного лица выше известной меры, и этим высшим размером было бы постановлено количество, достаточное для обеспечения благосостоятельной независимости. Неравенство собственности,

происходящее от неравенства трудолюбия, воздержности, постоянства и способностей, а до известной степени и от неодинаковой благоприятности условий, — непрременная принадлежность принципа частной собственности, и если мы принимаем его, то должны принимать и это последствие его; но я не вижу ничего противного ему в определении границы того, сколько человек может приобрести просто по расположению других, без всякой собственной деятельности, так чтобы он должен был уже работать, если хочет увеличить свое состояние. Я не полагаю, чтобы стали считать такое ограничение тягостным стеснением те завещатели, которые ценят большое состояние по настоящему его значению, то есть по количеству удовольствий и выгод, какое можно купить на него. Имея состояние в пять раз большее, чем нужно для скромной независимости, человек имеет больше удовольствий и выгод, нежели имел бы только при ней; но как бы высоко ни ценились они, все-таки видит, что разница эта в счастье владельца незначительна по сравнению с наслаждениями и прочими пользами, которые были получены другими людьми, если бы четыре пятых имущества, доставшегося ему, достались не ему. Но теперь господствует в практике мнение, что наилучшее для любимых людей дело человек совершает тогда, когда до пресыщения осыпает их теми не имеющими внутренней ценности вещами, на которые почти исключительно расходуются большие состояния; пока это мнение будет господствовать, мало было бы пользы от введения закона, о котором я говорю, если бы даже и можно было ввести его, потому что все старались бы обойти его; он был бы бесполезен, если бы общественное мнение не поддерживало его энергически; ныне в Англии такой поддержки ожидать нельзя, но она может родиться при известных положениях общества и правительства, — так можно судить по сильной привязанности общественного мнения во Франции к закону принудительного раздела наследства. А если ограничение размера наследства может получить действительную силу, то оно принесет большую пользу. Богатство, перестав обращаясь на чрезмерное обогащение немногих, будет употребляться на общепользные дела или, отдаваясь частным лицам, будет распределяться между большим числом их. Станет гораздо меньше число тех громадных состояний, которые не служат ни для какой личной надобности, кроме тщеславия или вредного могущества, но значительно увеличится число людей, пользующихся благосостоянием, выгодами досуга и всеми действительными наслаждениями, даваемыми богатством, кроме наслаждений тщеславия; услуги, которых нация должна ожидать себе от своих сословий, имеющих досуг, будут гораздо лучше нынешнего исполняться этими людьми; больше пользы будет приносить нации и прямая их деятельность и их влияние на вкусы и наклонности общества. Кроме того значительная часть накоплений, делаемых успешным трудолюбием, будет, вероятно, обращаться на общественное употребление посредством завещаний или прямо в пользу государства или в пользу полезных учреждений, как и делается уже в очень большом размере в Соединенных Штатах, где понятия и практика в вопросе наследства гораздо рациональнее и полезнее для общества, чем в других странах*.

Теперь нам должно рассмотреть, по всем ли видам, признаваемым ныне подлежащими праву исключительной собственности, применяются те соображения, на которых основано учреждение собственности, и по каким другим

* «Богатые завещания и подарки в пользу благотворительных и воспитательных учреждений составляют яркую черту в новой истории Соединенных Штатов, особенно Штатов Новой Англии. У богатых капиталистов вошло в обычай завещать часть состояния общественным учреждениям, да и при жизни богатые люди делают им чрезвычайно щедрые пожертвования. В Соединенных Штатах нет ни обязательного закона о разделении собственности между детьми поровну, как во Франции, ни субституций или права первородства, как в Англии, так что богатые люди могут свободно разделять свое состояние между родственниками и обществом. Учредить майорат там невозможно, и родители часто имеют счастье видеть всех своих детей еще при-

основаниям можно защищать право собственности на те вещи, к которым не применяются эти общие основания.

Существенный принцип собственности — обеспечение каждому владения тем, что он произвел своим трудом и накопил своим сбережением; этот принцип не применяется к вещам, которые не производятся трудом, к необработанному материалу земли. Если бы земля получала свою производительную силу исключительно от природы, а не от труда, или можно было различить часть его производительности, происходящую от природы и происходящую от труда, то не было бы никакой надобности допускать присвоения частными лицами того, что дается природой, — напротив, это было бы верхом несправедливости. Пользование землею в земледелии по необходимости должно быть исключительным в течение периода обработки; надобно дать возможность пожать тому человеку, который вспахал и посеял; но можно было бы этому человеку занимать землю лишь на один год, как делалось у древних германцев; можно было бы также производить периодические переделы земли сообразно увеличению населения; наконец, государство могло бы быть единственным землевладельцем, а возделыватели его — арендаторами по срочному или бессрочному контракту.

Но если земля сама — и не продукт труда, то почти все ценные качества ее — продукт труда. Труд нужен не только для пользования этим орудием, но почти в такой же мере и для приготовления этого орудия для пользования. Часто нужен значительный труд в самом начале, чтобы расчистить землю для обработки. Часто и после того производительность придается земле только трудом и искусством. Возделывание требует также заборов и изгородей; они производятся исключительно трудом. Плоды этого труда не могут быть пожаты в короткое время; расходы на него делаются вдруг, а выгода распределяется по длинному ряду лет, быть может, по всей будущности. Человек, в пользовании которого находится земля, не станет совершать этого труда и расхода, если он обратится в пользу не ему, а чужим людям. Чтобы приняться за такие улучшения, ему нужно иметь впереди достаточный период для пользования выгодами их; а чтобы у него была уверенность всегда иметь впереди такой период, было сочтено необходимым дать ему вечное право на землю.

Вот основания, составляющие оправдание поземельной собственности с экономической точки зрения. Читатель видел, что они имеют силу только в том случае, когда собственник земли производит в ней улучшения. Если в известной стране собственники в общей своей массе перестают производить улучшения, политическая экономия не может ничего сказать в защиту поземельной собственности, учрежденной в этой стране. Никакая здравая теория частной собственности никогда не предполагала, что собственник земли — человек, только пользующийся синекурою.

В Великобритании поземельный собственник нередко производит улучшения. Но нельзя сказать, чтобы вообще поземельные собственники производили их. В большей части случаев поземельные собственники уступают другим право возделывать землю на таких условиях, которые мешают другим делать улучшения. В южных частях Англии, где срочные контракты не в обыкновении, прочные улучшения не могут производиться иначе, как на капитала землевладельцев; потому юг Англии сравнительно с ее севером и с

их жизни устроившими себе независимое положение. Я видел реестр сумм, завещанных и пожертвованных богослужебным, благотворительным и учебным заведениям в последние 30 лет в одном Массачусетсе; они простираются до суммы около 6 миллионов долларов, или более миллиона фунтов» (до 8 миллионов руб. сер.) Lyell's Travel in America, том I, стр. 263.

Если в Англии человек, имеющий близких родных, завещает сколько-нибудь значительную сумму на какое-нибудь общественное или благотворительное дело, он подвергается риску, что по своей смерти будет объявлен присяжными сумасшедшим, или что его имущество будет поглощено расходами по тяжбе, заведенной в опровержение завещания. *Прим. Милля.*

нижнему Шотландию чрезвычайно отстал в сельскохозяйственных усовершенствованиях. Лишь немногие землевладельцы могут производить дорогие улучшения иначе, как в долг, увеличивающий массу долгов, которыми уж всегда почти обременена земля, получаемая наследником. Но положение землевладельца, обремененного тяжелыми долгами, так стеснено, экономия так неприятна человеку, видимое состояние которого гораздо выше действительных его средств, а колебание ренты и цены, едва оставляющие ему некоторый доход за уплату процентов, так страшны человеку, не имеющему почти ничего, кроме этого небольшого остатка, что неудивительно, если лишь немногие землевладельцы находят возможность приносить жертвования в настоящем для будущей выгоды. Но и при всем желании землевладельцев только те из них могут делать улучшения надлежащим образом, которые серьезно занимались сельскохозяйственной наукою, а большие землевладельцы редко бывают людьми, занимавшимися чем-нибудь серьезно. Они могли бы разве доставлять фермерам выгоду делать то, чего не хотят или не могут делать сами. Но в Англии вообще жалуются, что когда они и соглашаются на срочные контракты, они связывают своих фермеров условиями, заимствованными из устаревшей и павшей сельскохозяйственной системы; а большая часть землевладельцев вовсе не соглашается заключать срочные контракты и, не давая фермеру обеспечения в пользовании землею далее одной жатвы, держат землю в положении почти столь же неблагоприятном для улучшений, как была она при наших предках варварах,

которым дают хлеб неразмежеванные поля,
ежегодно покидаемые ими.

...immetata quibus iugera liberas
Fruges et Cererem ferunt,
Nec cultura placet longior annua.

Поземельная собственность в Англии далеко не исполняет условий, которыми оправдывалось бы с экономической стороны ее существование. Но если эти условия не исполняются удовлетворительным образом в Англии, то в Ирландии они вовсе не исполняются. За немногими исключениями (иногда очень почтенными) ирландские землевладельцы только истощают производительность земли. К ним буквально применяется эпиграмма, сказанная при совещаниях о том, чем обременены земли: «величайшее обременение для земель — землевладельцы». Ничего не возвращая земле, они потребляют весь ее продукт, за исключением количества картофеля, необходимого для сохранения жителей от голодной смерти; а когда они вздумают сделать улучшения, то обыкновенным приступом к нему служит, что они отнимают даже и эту скудную долю у жителей, которых прогоняют питаться милостыней или умирать с голода. Когда поземельная собственность стала в такое положение, то прекращается возможность защищать ее, и настает время как-нибудь иначе устроить это дело.

Когда говорят о «неприкосновенности собственности», то никак не следовало бы забывать, что поземельная собственность вовсе не имеет этого качества в такой степени, как другие роды собственности. Земля не создана никем из людей; она — коренное наследие всего человеческого рода. Ее присвоение частным лицом — исключительно вопрос общей пользы. Когда частная поземельная собственность невыгодна, она несправедлива. Лишить человека участия в том, что произведено другими — не значит поступить с ним жестоко: другие не были обязаны производить для него, и он ничего не терит, не получая доли из того, что вовсе бы не существовало, если бы не было произведено только трудом других. Но должно назвать жестоким положение того, кто, родившись на свет, находит, что все дары природы уже захвачены другими, не оставившими места новому товарищу. Когда люди приобрели понятие, что им по их человеческому достоинству принадлежат какие-нибудь нравственные права, то примирить людей с этим положением можно не иначе, как убедив их, что право исключительной собственности

полезно для всего человечества и в том числе для них самих. Но человека в здравом уме никак нельзя было бы убедить в этом, если бы отношения между землевладельцем и земледельцем повсюду были, как в Ирландии.

Поземельная собственность не похожа на другие роды собственности, это понимают даже самые упорнейшие защитники ее прав. Где масса общества исключена от участия в поземельной собственности, ставшей исключительно принадлежностью небольшого меньшинства, там люди вообще старались примирить с нею свое чувство справедливости тем, что соединяли с нею обязанности по крайней мере в теории, и возвышали ее на степень нравственной и юридической должности. Но если государство может считать землевладельцев общественными сановниками, то остается уже лишь сделать один шаг, чтобы сказать, что оно может и отрешить их от должности. Право землевладельцев на землю совершенно подчинено общей государственной политике. Принцип собственности вовсе не дает им права на землю, а дает только право на вознаграждение за ту часть получаемых ими от земли выгод, которую государство по своим надобностям найдет полезным взять у них. Право их на такое вознаграждение неотъемлемо. Землевладельцы, как и владельцы всякой другой собственности, признанной государством, имеют право получать денежную ценность того, что берется у них, или годичный доход, равный тому, какой получали с этого имущества. Право это основано на общих принципах собственности. Если земля была куплена на продукт труда и сбережения нынешних владельцев или их предков, основанием их права на вознаграждение служит этот факт; если она приобретена ими и не этим способом, они все-таки имеют право это по принципу давности владения. Да и нет необходимости приносить какую-нибудь часть общества в жертву для совершения дела, от которого выиграет все общество. Если с собственностью соединены какие-нибудь особенные привязанности, вознаграждение должно превышать норму простой продажной ценности. Но на этих условиях государство имеет свободу располагать поземельною собственностью сообразно с требованиями общественных интересов и, если понадобится, оно может даже со всею землею поступить так, как поступает с некоторыми участками при проведении железной дороги или новой улицы. Общество имеет такую надобность в надлежащем возделывании земли, в исполнении условий, соединенных с владением землею, что не может оставить этих вещей на произвол сословия лиц, называемых землевладельцами, когда они показали себя неспособными исполнять свои обязанности. Если законодательная власть захочет, то может у всего сословия землевладельцев взять землю, дав им за нее облигации государственного долга или пенсий; тем больше оно может обратиться средние доходы ирландских землевладельцев в определенный доход, передав землю их фермерам с обязательством платить им эти деньги, разумеется, с тем условием, что если землевладельцы не согласятся на предложенные условия, то им дается право получить полную продажную ценность земли.

Мы будем иметь в другом месте случай говорить о разных видах поземельной собственности и пользования землею, о выгодах и невыгодах каждого из этих видов. Здесь мы занимаемся самим правом поземельной собственности, соображениями, оправдывающими его и простирающимися из этих соображений условиями, которые должны служить его границами. Права поземельной собственности должны истолковываться в самом тесном объеме, и во всех сомнительных случаях решение должно быть против собственника, — я считаю это правило почти аксиомою. Совершенно противное должно сказать о движимой собственности, о собственности на все, производимое трудом: собственник имеет безусловную власть исключительного пользования этими вещами, кроме тех случаев, когда происходил бы от того положительный вред для других. Но на землю не должно предоставляться никакое исключительное право частному лицу иначе, как тогда, если будет доказано, что от этого произойдет положительная польза. Получить исключительное право на часть общего наследства, между тем как есть другие люди, не имеющие в нем никакой части, — это само по себе уже привилегия, подлежащая

спору. Какое бы количество движимого имущества ни приобрел кто-нибудь своим трудом, это не мешает другим приобретать такое же имущество тем же средством. Но право собственности на землю по самой сущности дела лишает других пользования землею. Привилегию или монополию можно защищать только как необходимое зло; она становится несправедливостью, если доводится до того, что это зло не вознаграждается вытекающим из нее благом.

Например, исключительное право на возделывание земли еще не содержит в себе исключительного права проходить по этой земле, и исключительное право прохода по земле следует признавать только в пределах, необходимых для охранения продуктов от повреждения и для спокойствия собственника от неприятностей. Претензия двух герцогов запретить въезд остальным людям в один из округов Горной Шотландии, лишить всех остальных людей возможности видеть горные местности на множество миль кругом, чтобы не тревожить диких животных, эта претензия — злоупотребление, превышающее законную границу поземельной собственности. Если земля не предназначается к возделыванию, то вообще нельзя найти достаточных оснований к тому, чтобы она была частной собственностью, а если кому-нибудь уже позволено называть ее своей, то он должен знать, что владеет ею только по снисхождению общества и под тем непременным условием, чтобы его право, не могущее приносить обществу никакой пользы, по крайней мере не лишало общество тех польз, какие получались бы от этой земли, если бы она не была обращена в его собственность. Даже и человек, владеющий возделываемой землею, не должен думать, что когда ему одному из миллионов закон позволяет иметь на свою долю тысячи акров, то вся земля отдана ему в полный произвол, что он может поступать с нею, как хочет, и никому нет до того дела. В его исключительном распоряжении находится рента или прибыль, которую он может получать со своей земли; но по отношению к самой земле он подлежит нравственной обязанности и, в случае надобности, должен быть подвергнут юридической обязанности приводить свои интересы и удовольствие в сообразность с общественным благом, делать все, им требуемое, и не делать ничего, ему противного. Человеческий род сохраняет свое первоначальное право над землею населяемой им планеты, насколько оно совместно с целями, для которых он отказался от некоторой части этого права¹⁶.

В заключение Милль перечисляет важнейшие из тех предметов, присвоение которых в собственность уже вообще признано в цивилизованных обществах делом неправильным. Таковы: присвоение в собственность человеку другого человека (разные формы невольничества и крепостной зависимости), присвоение общественных должностей в собственность (например, покупка офицерских чинов, доньяне существующая в Англии¹⁷, покупка разных гражданских должностей, существовавшая в старинной Франции, и т. д.).

Мы не имеем надобности прибавлять здесь что-нибудь относительно тех сторон дела, в которые вникает Милль, во-первых, потому, что эти стороны рассмотрены у него удовлетворительно, во-вторых, что к важнейшим из них он еще возвратится в следующих частях своего трактата и мы успеем тогда прибавить к его мыслям свои замечания¹⁸. Но здесь должно обратить внимание на одну самую коренную черту, которая оставлена у Милля без исследования: какова общая тенденция естественных сил, призываемых принципом частной собственности [к господству] над распределением имуществ и доходов?

В те времена, когда создавалась господствующая экономическая теория¹⁹, вопрос этот не был поставлен с достаточною ясностью, или заглушались реакционным воплем против разрушительных стремлений революционной Франции те голоса, которые поставляли его в Англии. Поэтому ни у Адама Смита, ни у Мальтуса, ни у Рикардо мы не найдем об этом серьезных исследований. А когда вопрос этот был поднят так, что уже нельзя было оставлять его без решительного ответа, господствующая теория не имела деятелей, способных порядком разрабатывать вещи, не решенные Смитом, Мальтусом и Рикардо. В смитовской школе основались тогда, как и теперь существуют, только труженики, неспособные развивать науку, а лишь подыскивающие факты к заданным темам (вроде Рау и Рошера), или фразеры (вроде нынешних французских знаменитостей школы Сэ); труженики не могли заняться этим делом, потому что это не было указано и растолковано им учителями, а фразеры не затруднились, без дальнейших справок, отвечать на него голословными фразами, какие казались для них удобнейшими. Школа их уже была оттеснена ходом идей и событий в консервативное и отчасти в реакционное положение, потому удобнейшим оказалось для них толковать в следующем роде: «силы, призываемые принципом собственности к господству над распределением, имеют в себе свойство уравнивать свои результаты так, что ими самими исправляется неблагоприятность распределения, производимая ими. Например, в одном поколении собственность слишком сосредоточилась по наследству от бездетных родственников, но у этого же лица или у его сына будет много детей, и собственность действием того же наследства снова разделится до умеренной величины. Точно так же действуют и другие силы. Следовательно, уклонение с выгоднейшего пути тут бывают кратковременные, случайные, не успевающие далеко отойти от выгоднейшей для прогресса линии, взаимно вознаграждающиеся, так что в общей сложности результат действия этих сил совпадает с условиями наивыгоднейшего распределения».

На чем основана такая теория? Ни на чем, кроме желания построить ее именно в таком виде. Подтверждается ли она фактами или противоречит им, этого никто из болтунов, ее излагающих, не потрудился проверить.

В вступе о мальтусовой теореме я уже высказывал те недостатки, которые лишают меня возможности исследовать неразработанные научные вопросы с полнотою, какая была бы удовлетворительна хотя бы для меня одного. Я до сих пор мог лишь слегка касаться того, что требует трудов более продолжительных и знаний более обширных. Эту неудовлетворительность сам я указываю и в следующей небольшой работе, произведенной мною несколько лет тому назад для уяснения естественных действий принципа частной собственности с той сто-

роны, которая без точных исследований наименее может быть отгадываема верным образом.

Статья, отрывок из которой привожу я, принадлежала к ряду полемических статей — написана мною в защиту обычного нашего общинного землевладения²⁰. Называлась она: «О поземельной собственности» и была напечатана в «Современнике» года четыре тому назад. Я в ней говорил между прочим, что при общинном землевладении твердо держится в целом земледельческом сословии тот уровень благосостояния, какой допускается существующей степенью национального развития, а при разделе общинной земли на наследственные участки на этом уровне благосостояния удерживается лишь небольшая часть земледельцев, а масса упадает глубоко ниже его, между тем как возвышаются над ним лишь немногие. Эту вторую половину решения получил я разбором действия наследственности при правиле равного раздела между сыновьями. Привожу теперь отрывок, на который ссылаюсь:

Чтобы узнать направление, в котором действует поземельная наследственность, возьмем для примера хотя несколько генеалогических таблиц, и <чтобы> посмотреть, как разветвлялись роды в течение нескольких поколений, всего лучше было бы взять довольно большое село и проследить в трех или четырех поколениях генеалогическое его движение: но для таких родословных нет материалов, и мы должны заменить их генеалогиями сословий, имеющих родословные. Для этого мы берем 4-ю часть «Российской родословной книги» кн. П. Долгорукова²¹.

Нам хочется узнать, что было бы с правнуками тех общинников, при которых было бы уничтожено общинное владение.

Село, над которым надобно сделать этот анализ, должно быть довольно велико, чтобы вывод не мог быть случайностью, а имел общее значение.

Жители, его составляющие, должны находиться между собою во взаимных отношениях близкого или дальнего родства.

Группы [родственников] разнообразны и по числу лиц и по близости родственных отношений в каждой группе. Для удовлетворения этим условиям, существующим в действительности, мы возьмем несколько родов, а из каждого рода возьмем какое-нибудь из средних поколений от VII до X. Таким образом, в каждой группе родственников будут разнообразные степени родства.

Фамилии мы берем наудачу: в каждой фамилии берем одно из поколений, от VII до X, также наугад.

Фамилий мы набираем столько, чтобы в поколениях, нами взятых, насчиталось до 250 мужчин.

Вот фамилии и поколения, наудачу взятые нами из «Родословной книги» кн. Долгорукова.

Арсеньевы VIII; Бахметьевы IX; Вельяминовы-Зерновы X; Воейковы X; Жеребцовы IX; Игнатьевы IX; Квашнины VII; Колычевы VII; Орловы-Давыдовы VII; Шишковы X.

Все вместе эти поколения всех десяти родов имеют 251 мужчину.

Итак, мы имеем село в 251 лицо мужского пола. Эти лица соединены между собою родством в несколько групп, и в каждой группе есть разнообразные степени родства. Словом, генеалогические отношения в нашем примере совершенно соответствуют условиям действительности.

Будем же, анализируя родословные этих лиц, изучать действие принципа наследственности поземельной собственности. Для того, чтобы характеристические особенности этого принципа выставлялись яснее, мы не забудем сравнивать их с результатами, к каким приводит принцип общинного поземельного владения.

Посмотрим сначала, как разветвились родственные группы в четвертом поколении от того, с которого начался наш счет, иначе сказать, сколько в каждой группе явилось правнуков:

	Прадеды, число мужчин	Правнуки, число мужчин
№ 1 Арсеньевы	10	54
» 2 Бахметьевы	9	37
» 3 Вельяминовы-Зерновы	28	30
» 4 Воейковы	62	98
» 5 Жеребцовы	11	40
» 6 Игнатьевы	16	33
» 7 Квашнины	23	21
» 8 Колычевы	47	18
» 9 Орловы-Давыдовы	25	24
» 10 Шишковы	20	33
Итого	251	388

Итак, при смене трех поколений, число лиц увеличилось почти в полтора раза.

При прадедах было в селе общинное владение, и на каждую душу мужского пола приходилось 12 десятин.

Если общинное владение сохранилось при правнуках, каждая мужская душа имеет около $7\frac{3}{4}$ десятин. Каково же будет благосостояние правнуков сравнительно с прадедами?

В течение века земледелие сделало некоторые успехи; развилась торговля хлебом с близлежащими городами и с оптовыми торговцами, отправляющими хлеб в столицы и за границу.

Вследствие улучшений в земледелии каждая десятина дает средним числом на 50% более сбора, нежели при прадедах*.

Благодаря увеличению запроса (от возрастания населения и развития торговли) и понижению цены мануфактурных изделий (от усовершенствований в технологии и механике) ценность хлеба поднялась в течение века, сравнительно с другими продуктами, тоже на 50%**.

Посмотрим же теперь, каково при сохранении общинного владения благосостояние правнуков сравнительно с благосостоянием прадедов.

Если десятина земли давала прадеду житейских удобств на 4, то правнуку она дает тех же удобств на 9***.

Но прадед получал доход с 12 десятин, а правнук только с 8 десятин. Итак:

$$\begin{array}{l} \text{Благосостояние прадеда } 4 \times 12 = 48 \\ \text{» правнука } 9 \times 7\frac{3}{4} = 69\frac{3}{4}. \end{array}$$

* Это число очень умеренно; тут надобно принять в расчет: 1) разработку земель, прежде лежавших пустыми — прадеды распахивали из 3 012 десятин только 1 200, правнуки распахивают, вследствие увеличения числа рук, 1 800. Это одно уже увеличивает средний доход с десятины на 50%; 2) расширение культуры растений, дающих обильный сбор, например свекловицы и картофеля. Если на них обращено 200 десятин у правнуков вместо 100 десятин при прадедах, это одно увеличит средний сбор с десятины на 10%; 3) улучшения в обработке земли и ее удобрении положим хотя на 10% в течение века, — это слишком умеренно. Итак, мы имеем $1,50 \times 1,1 \times 1,1 = 1,815$; то есть при самых ничтожных улучшениях сбор хлеба увеличился на $81\frac{1}{2}\%$, а мы приняли только 50%.

** Это также слишком умеренно. Читатель заметит, что мы берем не цену хлеба, выраженную в звонкой монете — она может возрастать или уменьшаться, смотря по обилию благородных металлов и заменяющего их кредита, а также быстроте разменных оборотов, — нет, мы берем относительную ценность хлеба по сравнению с другими продуктами. Например, если при прадедах четверть ржи стоила 2 р., а пуд сахара 10 р. и аршин ситцу 20 коп., а при правнуках четверть ржи стоит 2 р. 40 коп., но пуд сахара стоит 6 р., а аршин ситцу только 12 коп., то за четверть ржи земледелец получает:

$$\begin{array}{l} \text{При прадедах 8 фунтов сахара или 10 аршин ситцу} \\ \text{« правнуках 16 « « 20 « «} \end{array}$$

Полагая, что цена покупаемых земледельцами продуктов понизилась так же, как цена сахара и ситцу, мы получим, что ценность хлеба увеличилась по сравнению с другими продуктами на 100%, хотя по отношению к звонкой монете цена его увеличилась только на 20%.

Каждый скажет, что мы принимаем слишком малый прогресс, если скажем, что в течение века мануфактурные изделия и так далее становятся только на $\frac{1}{3}$ обильнее, нежели были сто лет тому назад, — а этого уже достаточно, чтобы земледелец за свой хлеб получал разных изделий и удобств на 50% более, нежели его прадед получал за сто лет до него.

*** Второе число выводится из первого таким образом: $4 \times 1,5$ (вследствие увеличения сбора) $\times 1,5$ (вследствие возвышения цены) = 9.

Это пропорция вообще самая умеренная; если мы возьмем хотя цифры, указанные в примечаниях, впрочем, также слишком низко оценивающие верооятный прогресс торговли и промышленности в течение века, мы получим $4 \times 1,815 \times 2 = 14,46$.

Итак, в течение века, при сохранении общинного владения, благосостояние земледельцев увеличилось на 40%, хотя число населения и возросло в полтора раза.

Теперь посмотрим, что будет с этими правнуками при уничтожении общинного владения землею.

Уже один взгляд на число правнуков в разных родственных группах дает некоторое понятие о неравномерности их состояния, произведенной введением поземельного наследства. В группе № 1 наследство десяти прадедов разделилось между 54 правнуками, — у каждого из них средним числом только по $2\frac{1}{4}$ десятины земли, — и доходы правнука группы № 1 средним числом не превышают $2\frac{1}{4} \times 9 = 20\frac{1}{4}$, между тем как предок его получал 48. Правнуки в этой группе стали почти в два с половиной раза беднее прадедов, если даже предположить, что всем этим потомкам достались одинаковые доли прадедовского наследства.

Зато в группе № 8 от 47 прадедов произошло только 18 правнуков, — если даже предположить, что каждый правнук получил равную долю прадедовского наследства, все-таки окажется, что у каждого правнука с лишком по 31 десятина земли, а дохода по $31 \times 9 = 279$. Каждый стал в шесть раз богаче прадеда.

Вот вам и разгадка того, до какой степени основательны звонкие фразы о том, будто бы силою самого закона о наследстве восстанавливается равновесие.

Прадедам государство выделило равные средства к благосостоянию; благодаря успехам цивилизации, правнуки их могли бы пользоваться в полтора раза большим благосостоянием. Вместо того, по действию поземельного наследства 54 человека живут в два с половиной раза беднее, нежели прадеды; зато 18 человек стали богачами.

Но эти цифры еще только предположительные и далеко уступают своею неравномерностью действительным отношениям, которые мы получим, точнее проследив генеалогию каждой группы.

Мы предположили, что в каждой группе всем правнукам достаются равные доли наследства; на самом деле это вовсе не так.

У прадеда Захара было два сына, Иван и Петр; от Ивана произошло десять внуков, от Петра только один; последнему достается в десять раз больше, нежели каждому из его троюродных братьев; мало того: трое прадедов: Сидор, Карп и Федор были родные братья; из них только у одного Сидора остался правнук, — ясно, что этот правнук Сидора будет один иметь втрое больше, нежели все вместе потомки Захара, будет иметь в шесть раз больше, нежели внук Петра, которому досталась половина Захарова имущества, и в 30 раз более, нежели каждый из десяти внучат Ивана, между которыми разделилась другая половина Захарова имущества.

Кто проследит таким образом генеалогию, например, группы № 8 (Колычевы, поколение VII), тот увидит, что из 18 их прав-

нуков (X поколение Колычевых) двое будут иметь каждый по 138 десятин, а 6 человек только по 6, и 3 человека даже только по 4 десятины, то есть по действию наследства между людьми одной родственной группы, в которой прадеды имели одинаковое благосостояние, явятся через три поколения такие люди, которые будут иметь в двадцать и даже в тридцать раз менее своих родственников. То же самое и во всех других группах.

Точно так же и в 1-й группе один правнук будет иметь 12 десятин, а девятеро других только по 1 десятине, еще двое только по $\frac{3}{4}$ десятины и, наконец, четверо даже только по $\frac{3}{8}$ десятины, то есть будут люди в 16 и 32 раза беднее своего родственника.

Спрашивается теперь: каковы будут чувства между этими людьми? Будут или нет бедняки завидовать своему недалекому родственнику, который имеет больше их в 30 раз, между тем как еще прадеды их жили одинаково, и в семьях сохранилась о том свежая память? Не заменится ли злобою с одной стороны, презрением и опасением с другой чувство благорасположения, которому так легко было существовать между одинаково благосостоятельными прадедами?

Но все это только отдельные примеры; посмотрим, каков общий ход дел, как распределились все жители нашего села действием наследства через три поколения после того, как уничтожилось общинное владение.

Мы представляем общую таблицу этого распределения, составленную из свода генеалогических таблиц фамилий, нами указанных; кто захочет проверить выводы, нами составленные, может сделать это по «Родословной книге» князя Долгорукова, печатать же здесь все таблицы исследования, служащие материалами для составления окончательного результата, было бы неудобно, потому что они заняли бы слишком много места. Вот распределение земли по праву поземельного наследства в четвертом поколении* от людей, при которых уничтожается общинное владение**.

Прежде всего в этой таблице поражает громадное различие состояний, произведенное влиянием наследства; между правнуками людей, имевших каждый по 12 десятин, явились люди, получившие по наследству более ста десятин; зато другим досталось только по одной десятине и менее десятины; есть даже такие, которым досталось только по $\frac{4}{9}$ или даже только по $\frac{3}{8}$ десятины. Два крайние предела наследственных имуществ относятся между собою как 368 : 1. Так громадна неравномерность, произведенная наследством только в течение трех поколений.

* Арсеньевы поколение XI; Бахметьевы—XII; Вельяминовы-Зерновы—XIII; Воейковы—XIII; Жеребцовы—XII; Игнатьевы—XII; Квашнины—X; Колычевы—X; Орловы-Давыдовы—X; Шишковы—XIII.

** См. таблицу на стр. 383 — Ред.

Распределение земли по праву наследства между 388 правнуками людей, в числе 251 человека, владевших общинною землею в количестве 3012 десятин и при уничтожении общинного владения получивших каждый по 12 десятин в наследственную собственность

Число людей, имеющих каждый по	десятин	Число людей, имеющих каждый по	десятин
2	138	3	6,666
1	108	2	6,375
2	63	3	6,20
1	60	24	6
2	54	6	5,40
1	40	9	5
4	36	6	4,5
3	30,66	22	4
5	30	4	3,75
2	27	3	3,60
4	25,50	6	3,33
2	24	4	3,15
2	21	26	3
2	20,50	6	2,7
2	20	6	2,66
3	18	5	2,40
3	17	34	2
3	16	3	1,66
8	15	36	1,50
4	13,50	7	1,428
3	12,75	8	1,33
2	12,60	5	1,20
12	12	5	1,08
4	10,80	18	1
6	10,5	6	0,9
7	10	6	0,833
6	9	2	0,75
1	8	10	0,666
		6	0,444
6	7	4	0,375

С каждым поколением она увеличивалась по нашим генеалогическим таблицам, и если взять вместо 4-го поколения пятое, она будет еще огромнее, в 6 поколении еще громаднее и т. д.

Но сравнивать крайние пределы значит только говорить о счастье и несчастье немногих отдельных личностей. Чтобы понять действие общего принципа на массу населения, надобно подвести отдельные случаи под общие разряды.

Разряды составятся у нас следующим образом. Средний доход с десятины при правнуках мы будем считать в 27 рублей *. Нормальную цифру для безбедной жизни земледельца мы

* Цифра дохода в 27 рублей составляется у нас следующим образом: прадедов мы принимаем нашими современниками, доход их с десятины полагаем в 12 руб. сер. Удобства, доставляемые правнуку сбором хлеба с десятины, относятся к этому числу, как 9 к 4, — это отношение дает для десятины при правнуке 27 рублей.

примем в 100 руб. сер. дохода. Имеющий в шесть раз более будет жить в роскоши. Имеющий от 300 до 600 руб. будет жить в изобилии. Имеющий 140—300 будет зажиточным человеком. Имеющий 85—140 руб. живет безбедно. Имеющий 66—85 руб. нуждается. Имеющий 33—66 руб. часто голодает. Имеющий менее 33 руб. не имеет в своем имуществе средств к поддержанию жизни.

По этим группам правнуки, вследствие неравномерности своих наследств, распределяются следующим образом:

Число людей, имеющих каждый по	десятин	или рублей дохода
А. Роскошь 29	24—138	648—3 726
Б. Изобилие 44	12— 21	324— 567
В. Зажиточность 68	5,4 — 10,8	$145\frac{1}{5}$ — $291\frac{3}{5}$
Г. Безбедность 54	3,15— 5	$85\frac{1}{20}$ — 135
Д. Нужда 38	2,66— 3	72— 81
Е. Крайняя нужда . . . 98	1,2 — 2,4	$32\frac{3}{5}$ — $64\frac{1}{5}$
Ж. Нищета 57	0,375— 1,08	$10\frac{1}{8}$ — $29\frac{3}{20}$

Итак: из 388 человек только 141 (А, Б, В) имеют средства к жизни более, нежели безбедные; еще 54 не терпят нужды. Зато 193 человека, то есть ровно половина населения, нуждается; из них 155 человек близко знакомы с голодом и холодом.

А что будет, если общинное владение останется неприкосновенно? Из 3 012 десятин, принадлежащих селу, каждому из 388 мужчин будет принадлежать участок несколько более, нежели в $7\frac{3}{4}$ (7,76) десятин; с этого участка получается 209 руб. 50 коп. дохода.

Итак: при сохранении общинного владения все население будет жить очень зажиточно; каждый из 388 правнуков будет пользоваться таким довольством, которое при уничтожении общинного владения достается на долю только 97 из правнуков.

Потому предоставление земли в наследственную собственность было выгодно только одной четвертой части правнуков; остальные три четвертых остались обделены случайностями наследования; из того числа 212, то есть большая половина населения, обделены этими случайностями так, что не получили по праву наследства и половины того, что досталось бы им по праву общинного владения; из того числа 167 человек, то есть почти половина населения, обделены так, что не имеют и третьей части того, что имели бы при общинном владении.

Таково положение правнуков по теории. На практике оно изменится тем, что люди, слишком обделенные случайностями наследства, должны жить не обработкою своих мелких клочков, дающих слишком мало дохода, а заработною платою. Большею частью они продадут свои участки. Если же не продадут, поступят нерасчетливо: ничтожный клочок земли будет только мешать им наниматься в работники на круглый год, и, отрываясь

от батрачества для ничтожной работы на нем, они не выигрывают, а теряют.

[Итак, существование их зависит от заработной платы. Посмотрим, каково будет положение заработной платы.

При 388 душах на 3 012 десятинах на каждую душу приходится по $7\frac{3}{4}$ десятины.

Сообразим теперь, как распределена собственность земли между различными группами.

Число людей	Количество земель, принадлежащих всем им вместе	Средняя порция на каждого
А. 29	1 306	45
Б. 44	657,5	15
В. 68	508,15	$7\frac{3}{5}$
Г. 54	218,10	4
Д. 38	110,20	$2\frac{9}{10}$
Е. 98	165,666	$1\frac{3}{4}$
Ж. 57	46,1333	$\frac{4}{5}$

Из этого мы видим, что группа В, имеющая по $7\frac{3}{5}$ десятин на душу, не нуждается в найме работников и не имеет нужды наниматься — в ней на мужчину приходится именно столько земель для обработки, сколько приходится обрабатывать каждому мужчине.

Зато группа Б, <имея> вдвое более земли на душу, нежели приходится на обработку мужчине, должна нанять около 40 работников; она их с излишком найдет в группе Г, которая, имея по 4 десятины, считает у себя около 25 работников лишних, и в группе Д, которая, имея менее, нежели по 3 десятины на душу, считает 22 работника лишних. Тут еще могла бы удержаться цена найма, выгодная для работников, потому что группы Г и Д имеют средства существовать работою на собственных полях, и если у них остается излишнее время, то они могли бы торговаться, нанимаясь в работники, потому что не крайность принуждает их искать работы во что бы то ни стало, за какую бы то ни было плату, — нет, они действительно ищут выгодного употребления своих сил.

Но совсем не таково положение группы Е и группы Ж. Участки их так мелки, что на них они могут употребить только незначительную часть своего времени — группа Е одну четверть, группа Ж одну десятую своего времени; продукты, доставляемые этими участками, недостаточны для жизни. Этим людям во что бы то ни стало нужно найти работу.

Работу себе они находят у группы А.

Земли группы А требуют для своей обработки около 150 возделывателей; из них 29 сами владельцы; затем им нужно нанять около 120 работников.

А группы Е и Ж предлагают им 155 работников.

Что из этого следует?

Работы предлагается гораздо больше, нежели требуется. Результат ясен: цена работы падает.

До какого же предела простирается ее падение? До того предела, за которым она перестает быть достаточною для прокормления работников. Тогда только работники скажут: нам все равно приходится голодать, работая или не работая; будем же лучше голодать не работая — и только тогда уменьшится предложение. А до этого предела нет выбора работнику между работою за какую-нибудь плату и отказом от работы: отказываясь, он голодает; работая, он кормится. Ясно, что он не отстанет от работы, пока она кормит его.

Итак: заработная плата падает до той степени, чтобы только работник не умер с голоду.

Цена, по которой пускается в продажу главная масса товара, определяет цену, по которой будут продаваться и мелкие партии товара. 160 работников из группы Е и Ж, сбивающие взаимным соперничеством цену работы до последней крайности, заставят и остальных 47 работников из группы Г и Д сидеть сложа руки, или заниматься по цене, устанавливаемой группами Е и Ж. Разумеется, после того что им будет казаться выгодно заниматься хотя за эту цену — все же лучше, нежели сидеть сложа руки, не получая ничего.

Таким-то образом, из 388 человек 205 работают по цене, едва достаточной для самого скудного их прокормления.

Мы надеемся, что не нужно отвечать на вопрос: «не найдут ли они более выгодных условий в других селах?» — в других селах то же самое, — везде действует один и тот же принцип, и результаты его везде одинаковы повсюду: повсюду работа предлагается в большем количестве, нежели требуется.

Мы надеемся также, что не нужно отвечать на вопрос: «не найдут ли более выгодных условий в других промыслах?» Во-первых, все промыслы занимают слишком ничтожное число рук по сравнению с земледелием, во-вторых, и другие промыслы организовались под влиянием того же принципа.

Итак, во всех промыслах то же, что и в земледелии, и во всех земледельческих селах то же, что в нашем селе: везде и повсюду, вследствие излишества предложения работы над спросом, цена ее падает до последней крайности.

Эта вещь известная. Но теперь мы можем видеть, выдерживает ли критику известный припев мальтусианцев: «излишество предложения происходит от излишнего размножения населения; излишек населения виною всем бедам; ни люди, ни учреждения тут не виноваты, — народу расплодилось слишком много, вот отчего бедность и нищета на свете».

Будто в самом деле оттого?

В нашем селе приходится почти по 8 десятин на душу — стало быть население все еще очень малочисленно сравнительно с пространством, а все-таки существует излишек предложения работы над запросом, все-таки большинство населения сбивает цену работы до последней крайности, и из 388 человек 205 работают, можно сказать, за корку хлеба, и в том числе 160 человек колотятся, как рыба об лед.

Отчего это? Ответ ясен после наших таблиц.

Оттого, что большинство крайне обделено случайностями наследства.

На самом деле, рук мало; это видно из того, что далеко еще не вся земля разработана, из 3 012 десятин 1 212 лежат под выгонами и т. д., да из распахиваемых 1 800 десятин 600 лежат под паром — итого только 1 200 дают плод, 1 812 лежат себе чуть не задаром; люди не успевают их обрабатывать, да, рук мало для работы. Но село наше организовалось так, что все-таки оказывается «излишек предложения над запросом», и вследствие того большинство населения терпит нужду.

Что за нелепость? — Да, действительно нелепость — и чтобы убедиться в нелепости такой нужды, надобно только сравнить это положение с положением, которое дается сохранением общинного владения.

При случайностях поземельного наследства 388 человек не могут жить на 3 012 десятинах без того, чтобы большая половина их не видела себя в постоянной скудости.

А при общинном владении, как мы видели в начале этого исследования, на долю каждого приходилось бы по 216 рублей, — иначе сказать, каждый жил бы в таком изобилии, которое при случайностях поземельного наследства досталось на долю только одной четвертой части населения.

Мы сами первые заметим, что наша небольшая работа только первый шаг к статистическому определению стремлений, лежащих в натуре наследства. Важность вопроса такова, что можно и должно для возможно точного ответа на него разобрать генеалогию не 250 человек, а 250 000 человек всех времен, стран и сословий. Но это расширение объема исследований нужно только для строжайшего определения границ действия двух противоположных стремлений наследства; основной же закон их действия и огромное преобладание одной тенденции над другой достаточно указывается уже и таблицею, нами представленною. Выводы из нее таковы:

Действие наследственности относительно поземельной собственности состоит в том, что при смене каждого поколения другим, большая половина земли (около двух третей) сосредоточивается в меньшем (на половину меньшем) числе рук, нежели была при предыдущем поколении.

Из остальной меньшей половины одна часть (около одной

шестой всего пространства земли) остается во владении у такого же числа людей, как при прежнем поколении.

Другая часть (также около одной шестой всего пространства) раздробляется между гораздо большим количеством владельцев, нежели прежде.

Это раздробление очень быстро достигает крайних пределов физической возможности деления земли, и части, подлежащие раздроблению, должны переходить продажею в чужие руки, мимо наследников, которым делить их невозможно.

Более обширные исследования точнее определяют цифру каждой из этих трех частей. Но пределы, между которыми колеблются эти цифры, не могут отступать далеко от показанных нами приблизительных величин, потому что сумма случаев, взятых нами (250), довольно значительна. Самый же закон, управляющий этими величинами, совершенно непоколебим, именно:

Быстрое сосредоточение значительной части земли в немногих руках и столь же быстрое раздробление гораздо менее значительной части.

Очевидно также, что так как при смене каждого поколения следующим принцип действует одинаково, то действием каждой новой смены усиливается действие предыдущей, иначе сказать:

Сосредоточение с каждым поколением охватывает все большую и большую часть всего пространства территории, оставляя в умеренных участках и для раздробления на мелкие части все меньше и меньше пространства.

Мы представили незначительный по объему, но все же не лишенный значения анализ фактов для определения действий принципа наследственности.

Не он один управляет движением собственности. Но мы выбрали его, с одной стороны, потому, что объем его действия шире, нежели объем всех других содействующих ему принципов; с другой стороны, потому, что тенденция других принципов представляет менее нужды в математических доказательствах.

Количество поземельной собственности, переходящей в известное время, например в год, из рук в руки по принципам приданого, духовного завещания, дарения, вовсе не так значительно, как количество, переходящее по принципу наследства. Потому, если б даже они не имели одинаковой с ним тенденции, его действием далеко перевешивались бы все отклонения от его тенденции, производимые тенденциею других начал.

Но очевидно, что эти другие принципы действуют по той же тенденции сосредоточения, как и наследство, и действуют еще быстрее и одностороннее.

Приданое есть принадлежность брака. Вообще говоря,

браки бывают равные, — богатые женятся на богатых, бедные — на бедных. Исключения чаще встречаются в романах, нежели в действительности, и, конечно, не составляют одной десятой части всех браков. Итак, совершенно преобладающее действие приданого состоит в том, что человек богатый приобретает за женою новое богатство.

Этим ускоряется сосредоточивающее действие наследства. Без приданого (и наследства, достигающегося роду по женской линии) имение угасающего рода иногда перешло бы к дальним родным, которые из шести случаев в пяти случаях бедны. Эти шансы прекращаются наследством по женской линии, которое обыкновенно достается от угасающего рода другому роду, одинаково с ним стоящему на лестнице имущества; то есть имущество богатых, при содействии приданого и наследства по женской линии, чаще достается богатым, нежели было без того.

Дарственные записи и духовные завещания делаются обыкновенно в других направлениях: или имение передается какому-либо общественному учреждению, то есть выходит из сферы частной собственности, или передается имение какому-нибудь любимому лицу. Надобно ли говорить, что у каждого близкие люди обыкновенно принадлежат к одному с ним общественному классу, и потому богатый обыкновенно завещает или дарит свое имение богатому?

Этим опять уменьшаются шансы раздробления и увеличиваются шансы сосредоточения.

Остается еще один принцип — принцип продажи и покупки. В различные эпохи государственной жизни он действует различно, — иногда большие недвижимые имущества распродаются по мелким частям, иногда малые скупаются в одну массу. Надобно заметить, впрочем, что преобладание ломки больших имуществ посредством распродажи свойственно только эпохам экономических кризисов, оно является не иначе, как принадлежностью или коммерческого, или общественного банкротства класса больших землевладельцев. В периоды нормального, спокойного хода дел преобладает в продаже и покупке стремление к соединению мелких кусков в большие массы. Это обычный путь, по которому раздробившиеся клочки превращаются в крупные массы. Итак, кроме ненормального случая экономических кризисов, принцип продажи и покупки действует по одному направлению с наследством.

Общим результатом всего сказанного является несомненность следующего правила:

Принцип наследственности постоянно и быстро влечет земельную собственность к сосредоточению все в меньшем и меньшем числе рук, все более и более громадными массами. Действие этой преобладающей силы ускоряется действием

имеющих одинаковое с нею направление принципов приданого, дарения и завещания. В нормальном ходе экономических отношений по тому же направлению действует принцип покупки и продажи, чем еще больше ускоряется ход сосредоточения.

Таков закон самобытного действия экономических принципов, управляющих движением частной поземельной собственности. Быстрота и интенсивность их стремления к ее сосредоточению так велики, что смены немногих поколений достаточно было бы для соединения почти всей поземельной собственности целой страны в руках нескольких сот человек, если бы эти законы действовали беспрепятственно.

Но препятствия, лежащие вне сферы исчисленных нами экономических принципов, нарушают непрерывность их действия, вдруг разламывая на куски постоянно создаваемые этими принципами массы громадных поземельных владений.

Эти коррективные средства против абсолютного соединения поземельной собственности те самые, которые, по мнению Мальтуса, необходимы для поддержания равновесия между средствами существования и народонаселением, именно: война и насилие, пороки и болезни. Мы думаем, что для равновесия между населением и средствами существования эти средства вовсе не неизбежны; но против агломерации они неизбежны.

Порок и болезнь действуют неослабно. За богатством идет роскошь, за роскошью разврат и болезни. Это путь неизбежный, и каждый пресыщаемый случайностями наследства и т. д. род проходит быстро до конца это поприще, ведущее или к вымиранию фамилии или к ее разорению.

Эти коррективные средства, очевидно, начинают действовать уже только тогда, когда накопление недвижимой собственности достигает крайнего предела, начинает подавлять своей огромностью физические и нравственные силы того, на чью долю выпадает.

Другое коррективное средство, как известно, начинает действовать тогда, когда порча общественного организма вследствие чрезвычайной неравномерности имуществ и ее последствий, указанных выше, достигает размеров, несовместных с сохранением общественного порядка. Тогда-то частные кризисы, сливаясь в один общий кризис, начинают потрясать общественное тело, и этот кризис продолжается до тех пор, пока его потрясениями не будут разбросаны чрезмерно агломерировавшиеся массы.

Силою этих-то коррективных способов постоянно разрушается агломерация в тот самый момент, когда достигает своего апогея, достигает чрезмерности, превышающей человеческие силы. Реакция происходит с двух сторон: и посредством

изнеможения подавленных излишнею аггломерациею, и посредством гнева со стороны обделенных расширением этой аггломерации.

Кризисы эти, на языке некоторых ученых называемые ликвидациями общества, очень тяжелы и для ликвидирующих и для ликвидируемых, и нельзя не сказать, что драгоценны те учреждения, которые предотвращают нужду в подобных ликвидациях, неизбежных тогда, когда все отдано во власть рокового сосредоточивающего стремления слепых принципов, исчисленных нами выше.

Некоторые ученые доходят до того, что начинают находить завидными даже феодальные учреждения, ради того, что они удерживали в известных границах действия этих начал. Такое мнение, конечно, несправедливо, потому что феодальные учреждения, будучи основаны на притеснении, приносили вреда в миллион раз более, нежели пользы.

Но тем драгоценнее такие учреждения, которые, не имея стеснительности, представляют гарантию против безграничного действия принципов аггломерирующих.

Таково общинное устройство поземельной собственности. В Западной Европе оно погибло гораздо прежде разрушения феодальных учреждений; преимущественно эти учреждения и убили общинное устройство. У нас соответствующие феодализму Западной Европы учреждения не коснулись общинного устройства поземельной собственности, и надобно желать, чтобы оно пережило их. Оно и переживет их, если мы сами, без всякой нужды и в противность всякому здравому расчету, не будем хлопотать об его уничтожении].

Мне хотелось еще раз проверить приблизительную точность выводов, происшедших из генеалогического разбора 1-го собрания семейных групп, по которому следил я действие силы наследства в статье, отрывок из которой просмотрен читателем. С год тому назад, выбрав неделю свободного времени, я взялся опять за родословную книгу и набрал там новую коллекцию семейных групп до такого количества, чтобы число правнуков составилось ровно тысяча. Вот список этой коллекции семейных групп на случай, если бы кто захотел проверить мой труд. Скажу, впрочем, прямо, что едва ли кто из людей, твердящих о своей основательности, вопиющих против поверхностности и т. д., захочет принять этот мой вызов: болтать вздор по французским книжкам, без толку перевирающим теорию английских мыслителей, городить чепуху и воображать ее глубокомыслием — это гораздо легче, чем делать или проверять серьезные работы, или даже хотя понимать надобность их. Но пусть же и не оспаривают выводов, если не сумеют проверить их (см. таблицу на стр. 392. *Ред.*).

Фамилии	Поколение, принятое за основу первоначального надела	Число мужчин в нем	По 12 десятин на душу всей земли будет в наделе группы	Число мужчин в поколении правнуков
1. Хованские	XVI	6	72	24
2. Ададуровы	XX	22	264	22
3. Ковровы	XVI	4	48	20
4. Долгоруковы . . .	XXVI	27	324	40
5. Шереметевы . . .	I	1	12	23
6. Татищевы	XIX	3	36	15
7. Монастыревы . . .	XVI	1	12	23
8. Вяземские	XXX	25	300	33
9. Шаховские	XXIII	35	420	47
10. Глебовы	II	2	24	35
11. Шаховские	XIX	6	72	26
12. Замыцкие	IX	1	12	23
13. Львовы	XXIII	10	120	24
14. Козловские	XIX	6	72	22
15. Ухтомские	XXI	6	72	31
16. Колтовские	VI	1	12	24
17. Колычевы	III	1	12	23
18. Гагарины	V	28	336	34
19. Волконские	VIII	21	252	40
20. Волконские	XII	31	372	39
21. Кутузовы	IV	1	12	19
22. Новосильцовы . .	II	1	12	22
23. Голицыны	XV	26	312	71
24. Мещерские	XIII	35	420	51
25. Воейковы	VII	1	12	62
26. Толстые	XVI	14	168	56
27. Бутурлины	X	4	48	29
28. Бутурлины	XV	26	312	14
29. Мусины-Пушкины	XIV	10	120	36
30. Голенищевы-Ку-				
тузовы	IX	8	96	24
31. Мещерские	IX	3	36	48
Итого:	—	366	4 392	1 000

Я разобрал действия наследства в этих группах по тем же самым основаниям, которые были приняты для прежнего разбора. Я предположил, что люди поколения, с которого начинается генеалогический разбор (прадеды), пользовались землею по нашему обычному общинному принципу, и что при них он заменен принципом личной поземельной собственности с наследственностью участков. При этом каждое существовавшее тогда лицо мужеского пола получило 12 десятин земли. Посмотрим теперь, как должны будут раздробиться и соединиться эти участки в поколении правнуков (через три поколения), принимая, что происходит равный раздел отцовской земли между сыновьями и что по боковым линиям (при бездетности преж-

него собственника) наследство переходит на основании того же правила, братья получают поровну после бездетного брата.

Вот таблица распределения земли между правнуками по этому принципу:

Величина участка	Число участ- ков	Итого земли в этих участках	Всего земли в этих участках вместе с пре- дыдущими	Количество лиц, кото- рым при- надлежит вся эта сумма земли
204	1	204	204	1
90	1	90	294	2
72	1	72	366	3
(61 ¹ / ₃), 61,3333	1	61,3333	427,33	4
54	2	108	535,33	6
51	1	51	586,33	7
48	4	192	778,33	11
45	1	45	823,33	12
36	1	36	859,33	13
33	2	66	925,33	15
30	2	60	985,33	17
28,5	1	28,5	1013,83	18
(28 ⁴ / ₉), 28,4444	1	28,4444	1042,28	19
27	4	108	1150,28	23
24	14	336	1486,28	37
22	1	22	1508,28	38
21	1	21	1529,28	39
20	1	20	1549,28	40
19	1	19	1568,28	41
18	12	216	1784,28	53
16	2	32	1816,28	55
15	4	60	1878,28	59
(14 ² / ₃), 14,6666	3	44	1920,28	62
14,4	6	86,4	2006,68	68
14	3	42	2048,68	71
13,5	2	27	2075,68	73
12,75	1	12,75	2088,43	74
12	13	156	2244,43	87
11,25	2	22,5	2266,93	89
11	2	22	2288,93	91
(10 ³ / ₃), 10,6666	3	32	2320,93	94
10	3	30	2350,93	97
9,75	4	39	2389,93	101
9,5	2	19	2408,93	103
(9 ¹³ / ₂₇), 9,481481	4	37,925925	2446,85	107
9	16	144	2590,85	123
8	13	104	2694,85	136
7,5	18	135	2829,85	154
7,2	3	21,6	2851,45	157
(7 ¹ / ₈), 7,125	4	28,5	2879,95	161
7	4	28	2907,95	165
(6 ⁸ / ₉), 6,8888	1	6,8888	2914,84	166
6,75	3	20,25	2935,09	169
(6 ² / ₃), 6,666	2	13,333	2948,42	171
(6 ³ / ₈), 6,375	4	25,5	2973,92	175
(6 ⁴ / ₃), 6,333	7	44,333	3018,25	182
6	29	174	3192,25	211

Величина участка	Число участ- ков	Итого земли в этих участках	Всего земли в этих участках вместе с пре- дыдущими	Количество лиц, кото- рым при- надлежит вся эта сумма земли	
	5,5	4	22	3 214,25	215
(5 ¹ / ₃),	5,33	17	90,666	3 304,92	232
	5	19	95	3 399,92	251
(4 ² / ₃),	4,666	8	37,333	3 437,25	259
	4,5	8	36	3 473,25	267
(4 ¹ / ₆),	4,166	3	12,5	3 485,75	270
	4	13	52	3 537,75	283
	3,75	6	22,5	3 560,25	298
	3,6	2	7,2	3 567,45	291
	3,5	2	7	3 574,45	293
(3 ¹ / ₉),	3,444	4	13,777	3 588,23	297
(3 ³ / ₈),	3,375	4	13,5	3 601,73	301
(3 ¹ / ₃),	3,333	2	6,666	3 608,40	303
	3,2	4	12,8	3 621,20	307
(3 ³ / ₁₆),	3,1875	4	22,3125	3 643,51	314
(3 ¹³ / ₈₁),	3,160493	6	18,962962	3 662,48	320
	3	45	135	3 797,48	365
(2 ³ / ₃),	2,666	10	42,666	3 840,15	381
(2 ⁷ / ₁₂),	2,5833	4	10,333	3 850,48	385
	2,5	15	37,5	3 887,98	400
	2,4	8	19,2	3 907,18	408
(2 ¹ / ₃),	2,333	6	14	3 921,18	414
(2 ⁸ / ₂₇),	2,296296	1	2,296296	3 923,48	415
	2,25	7	15,75	3 939,23	422
	2,125	8	17	3 956,23	430
(2 ¹ / ₁₂),	2,08333	3	6,25	3 962,48	433
	2	33	66	4 028,48	466
	1,875	8	15	4 043,48	476
	1,8	5	9	4 052,48	479
(1 ¹³ / ₁₈),	1,7222	6	10,333	4 062,81	485
(1 ¹¹ / ₁₆),	1,6875	2	3,375	4 066,18	487
(1 ² / ₃),	1,666	3	5	4 071,18	490
(1 ⁵ / ₉),	1,555	3	4,666	4 075,65	493
	1,5	41	61,5	4 137,35	534
	1,25	7	8,75	4 146,10	541
	1,2	8	9,6	4 155,70	549
(1 ⁴ / ₂₇),	1,148148	8	9,185185	4 164,87	557
	1,125	6	6,75	4 171,62	563
(1 ¹ / ₁₆),	1,0625	3	3,1875	4 174,81	566
	1	34	34	4 208,81	600
(⁸ / ₉),	0,888	10	8,888	4 217,70	610
(⁶ / ₇),	0,857142	7	6	4 223,70	617
	0,85	10	8,5	4 232,20	627
	0,8	9	7,2	4 239,40	636
(³¹ / ₆₄),	0,796875	4	3,1875	4 242,59	640
(⁶² / ₈₁),	0,765432	3	2,296296	4 244,89	643
	0,75	41	30,75	4 275,64	664
(³¹ / ₃₂),	0,6888	10	6,888	4 282,53	694
	0,675	5	3,375	4 285,90	699
(² / ₃),	0,666	21	14	4 299,90	720
(³¹ / ₈₀),	0,6375	2	1,275	4 301,18	722
	0,625	4	2,5	4 303,68	726
	0,6	18	10,8	4 314,48	744

Величина участка	Число участ-ков	Итого земель в этих участках	Всего земель в этих участках вместе с предыдущими	Количество лиц, которым принадлежит вся эта сумма земель
0,592592	3	1,777	4 316,26	747
0,5	41	20,5	4 336,76	788
$(\frac{3}{7})$, 0,428571	7	3	4 339,76	795
$(\frac{17}{40})$, 0,425	6	2,55	4 342,31	801
0,4	14	5,6	4 347,91	815
0,375	12	4,5	4 352,41	827
$(\frac{1}{11})$, 0,3636	11	4	4 356,41	838
$(\frac{51}{144})$, 0,354166	9	3,1875	4 359,60	847
$(\frac{1}{3})$, 0,333	6	2	4 361,60	853
$(\frac{31}{160})$, 0,31875	8	2,55	4 364,15	861
0,3	12	3,6	4 367,75	873
$(\frac{2}{7})$, 0,285741	14	4	4 371,75	887
$(\frac{1}{15})$, 0,266	9	2,4	4 374,15	896
0,25	16	2	4 378,15	912
0,24	10	2,4	4 380,55	922
$(\frac{2}{9})$, 0,22	9	2	4 382,55	931
0,2	3	0,6	4 383,15	934
$(\frac{3}{16})$, 0,1875	4	0,75	4 383,90	938
0,15	23	3,45	4 387,35	961
0,125	18	2,25	4 389,60	979
0,12	15	1,8	4 391,40	994
0,10	6	0,60	4 392	1000

Сличим теперь распределение поземельного имущества по принципу нашего обычного общинного владения и по принципу наследственной собственности.

Когда население от 366 лиц (прадеды) размножилось до 1 000 лиц, то есть почти втрое, это значит, что и количество земледельческого продукта почти утроилось. Положим, что при прадедах получался, по раскладке продукта на все количество земли, в круглом счете, с каждой десятины, продукт, равный 4 четвертям ржи. При правнуках получается $4 \times 1\,000 : 366 = 10,92899$, положим для круглого счета продукт, равный 11 четвертям ржи. Увеличение это произошло от приложения к земле большего количества рук, от усовершенствования земледельческой техники и т. д. Небольшую прибавку для круглого счета против точной пропорции, 11 четвертей вместо 10,92899 четвертей, мы имели право сделать по уверению рутинных экономистов, что средняя цифра продукта по счету всего населения возрастает с успехами цивилизации; конечно, следовало принять эту прибавку по их уверениям не в ничтожном количестве 0,07101 четвертей, а гораздо больше, положить продукт с десятины не в 11, а в 15 или 20 четвертей, но ограничимся самую незаметною прибавкою лишь для удобства счета.

С увеличением населения и успехами цивилизации успешность производства всех других товаров, кроме земледельческих, растет быстрее, чем успешность земледельческих товаров. Это значит, что мануфактурные и всякие другие товары па-

дают в цене сравнительно с сельскохозяйственными; иначе сказать, цена сельскохозяйственных товаров растёт. Положим, что при прадедах цена четверти была 3 рубля, при правнуках она будет 4 рубля или больше, положим 4 рубля*.

Таким образом при прадедах получался с десятины доход $4 \times 3 = 12$ р.; при правнуках получается $11 \times 4 = 44$ р.

Положим, что при получении дохода на каждое лицо мужского пола —

по 1 000 руб.	люди живут	в богатстве;
» 175 »	»	» в изобилии;
» 150 »	»	» зажиточно;
» 125 »	»	» в благосостоянии;
» 100 »	»	» без нужды;
» 75 »	»	» в нужде;
» 50 »	»	» в большой нужде;
» 25 »	»	» в нищете.

Посмотрим сначала, каково было состояние прадедов при общинном принципе.

Каждый имел по 12 десятин земли, доход с десятины был 12 р. Следовательно, каждый имел по 144 р. Все жили в благосостоянии, были очень близки к зажиточности.

Посмотрим, каково было бы состояние правнуков при сохранении общинного принципа.

Общество, считающее в себе 1 000 человек, имеет 4 392 десятины земли. Каждый имеет по 4,392 десятины земли. С десятины доход 44 р. Каждый получает $44 \times 4,392 = 183$ р. 25 к. дохода. Следовательно, каждый пользуется уже не только полною зажиточностью, нет, полным изобилием, и уже открывается каждому возможность немножко пороскошничать, иной хлебопашец может дарить жене или дочери золотые серьги, другой может иногда угостить приятеля порядочным лафитом.

Посмотрим, наконец, каково состояние правнуков при принципе наследственности.

Для изобилия нужен доход 175 р., а десятина даёт 44 р. дохода; значит, для изобилия нужно иметь $3 \frac{43}{44} = 3,97728$ десятины. Таким количеством земли владеют только 283 человека из 1 000, ровно 2 человека из 7 человек.

Для зажиточности нужно 150 руб. дохода, то есть $3 \frac{9}{22} = 3,40909$ десятины. Таким количеством владеет только 297 человек из 1 000, то есть из 10 человек 3 человека.

* А если цена сельскохозяйственного продукта осталась прежняя, цены других товаров упали, — шелковое платье, стоявшее при прадедах 12 руб., при правнуках стало стоить только 9 руб. Это все то же самое: при прадедах оно получалось за 4 четверти, а при правнуках получается за 3 четверти ржи.

Для благосостояния нужно 125 р. дохода, то есть $2^{37/44} = 2,88054$ десятины. Таким количеством земли владеет 365 человек из 1 000, то есть 4 человека из 11.

Чтобы жить без нужды, надобно 100 р. дохода, то есть $2^{31/11} = 2,27273$ десятины. Таким количеством земли владеют 415 человек из 1 000, то есть 7 человек из 17.

Кто получает менее 75 р. дохода, то есть имеет меньше $1^{31/44} = 1,70454$ десятины, тот уже терпит нужду. Таких людей 515 человек из 1 000, то есть более половины из всего общества.

Кто получает менее 50 р. дохода, то есть имеет меньше $1^{13/22} = 1,13636$ десятины, тот уже терпит большую нужду. Таких людей 443, то есть из 9 человек в обществе терпят сильную нужду 4 человека.

Кто получает менее 25 р. дохода, то есть имеет меньше $2^{25/44} = 0,56818$ десятины, тот человек живет в нищете. Таких людей 253 человека из 1 000, то есть более одной четвертой части целого общества.

Мы видели, что при сохранении общинного землевладения общий уровень поземельного владения при правнуках был бы 4,392 десятины, каждый пользовался бы доходом в 183 р. 25 к. и жил бы в изобилии, имея возможность уже позволять себе небольшую роскошь. Теперь такую величину владения дохода и изобилия имеют только 267 человек из 1 000. Таким образом, для того, чтобы четвертая часть общества больше или меньше возвысилась над уровнем скромного изобилия, $3/4$ части общества должны больше или меньше потерять; слишком половина общества должна ниспасть с уровня изобилия в нужду, почти половина общества в сильную нужду, четвертая часть общества в нищету.

Очень вероятно, что читателю уже чрезвычайно наскучили цифры. Я сам знаю, что пристрастие к ним доходит у меня до излишества, но это излишество в полезную сторону. Ведь еще Мальтус сказал, что для распрямления искривленной палки надобно перегнуть ее в другую сторону. Политико-экономы грешат вообще тем, что слишком много болтают без справок с арифметикою. Надобно же кому-нибудь исправлять общий недостаток усердием к работе, пренебрегаемой большинством. Притом же цифры удобны для читателя тем, что прямо режут глаза, прямо провозглашают: «на этих страницах скука», значит, вы прямо имеете возможность перевертывать эти страницы и возвратиться к ним лишь тогда, если захотите, прочитав следующие страницы, справиться: на каком же это основании рассуждает человек не совсем так, как наши политико-экономы. Тогда вы просмотрите пропущенные страницы и увидите, на чем основаны выводы.

Оговорка, разумеется, делается всегда к тому, чтобы продол-

жать упорство прежней навязчивости. Возвратимся же к нашим цифрам.

Мы говорили о распределении благосостояния в обществе, посмотрим теперь на то, как распределилась земля по принципу наследственности. Всей земли, как мы знаем, 4 392 десятины. Число лиц в обществе 1 000. При сохранении общинного принципа каждый имел бы 4,392 десятины. Посмотрим, сколько лиц и в какой пропорции имеют больше и сколько меньше этой нормы при наследственности.

Величина участка сравнительно с нор- мою общинного владения	т. е. владение имеет величину от — до	Число лиц, владеющих такими участками (имуществва)	Количество земли, нахо- дящееся у них в руках	Какую долю всего количе- ства земли составляет эта земля
более 10	204,00—45,00	12	823,33	18,75%
от 10 до 4	36,00—18,00	41	960,95	21,88 »
» 4 » 2	16,00— 9,00	80	806,57	18,36 »
» 2 » 1	8,00— 4,50	144	882,40	20,09 »
» 1 » 0,5	4,16— 2,25	145	465,98	10,62 »
» 0,5 » 0,25	2,12— 1,12	141	232,39	5,29 »
» 0,25 » 0,1	1,06— 0,5	225	165,14	3,76 »
менее 0,1	0,42— 0,10	212	55,24	1,25 »

Сводя эти группы в средние цифры, мы видим, что по принципу наследственности

12 лиц получили в 15 раз больше,
41 » » » 5 » »
80 » » » 2½ » »

чем имели бы при сохранении принципа общинного владения; с другой стороны

141 лицо получили в 2⅔ раза меньше
225 » » » 6 » »
212 » » » 17 » »

Считая по колонне, в которой показано число лиц и участков, составим 10 групп, каждая в 100 лиц, и увидим, что из всего количества земли

первым 100 лицам принадлежит	2380,18	десятин или	54,19%
лицам 2-й группы	746,07	»	16,99 »
» 3-й »	472,11	»	10,75 »
» 4-й »	289,63	»	6,59 »
» 5-й »	198,37	»	4,52 »
» 6-й »	122,46	»	2,79 »
» 7-й »	77,76	»	1,77 »
» 8-й »	55,32	»	1,26 »
» 9-й »	33,25	»	0,76 »
» 10-й »	16,85	»	0,38 »

Кроме счета по десяткам, употребительны счета по третям и четвертям, мы сделаем и их.

Лица	Количество земли, им принадлежащее	Доля, какую состав- ляет эта земля в полной сумме	Итого с предше- ствующими долями
250	3 394,92	77,30%	—
250	691,44	15,39 »	92,69%
250	230,99	5,61 »	98,30 »
250	74,65	1,70 »	100,00 »
333	3 701,48	83,89 »	—
333	563,16	12,82 »	96,71 »
334	126,36	3,29 »	100,00 »

Или, может быть, вас интересует первая группа десятичного расчета? Быть может, вы хотели бы пристальнее всмотреться в ее состав? Извольте, и это можно сделать.

Число лиц	Количество земли, им принадлежащее	Доля, какую состав- ляет эта земля в полной сумме
Первые 10 лиц . .	740,33	16,85
первые 25 » . .	1 198,28	27,28
первые 50 » . .	1 730,28	39,40

Вот теперь и считайте, как хотите: хотите по десяткам, счет готов; хотите по пятерному делению — можете: одной пятой части населения досталось более двух третей имущества, зато другим двум пятым частям только одна двадцать четвертая часть. Или хотите считать по четвертям? — можете: одной четверти населения досталось более трех четвертей имущества, зато другим двум четвертям только одна тринадцатая часть. Или хотите считать по третям? — тоже можете: одной третьей части населения досталось более пяти шестых имущества, зато другой третьей части менее одной тридцатой части его. Или хотите считать первую из десятичных групп? — И это можно: пятидесяти лицам, то есть одной двадцатой части населения, досталось почти две пятых имущества; в том числе двадцати пяти лицам, то есть одной сороковой части населения, более одной четвертой части имущества; в том числе десяти лицам, то есть одной сотой части населения, более одной шестой части имущества.

Вот, значит, мы и соблюдали правило старой политико-экономической школы, предоставили вам полную свободу. Считайте, как хотите, мы на все согласны, лишь бы не стеснять вашего произвола. А то, может быть, вам хочется считать не по колонне лиц, а по колонне земли? Пожалуй, и это можно; и опять на все лады: по десятичному ли, по пятерному ли, по четвертному ли, по третнему ли счету, как хотите.

Может быть, вы хотите теперь начинать с прежнего конца, с третей, и кончить прежним началом, десятками? Извольте, можно и это: $4\,392$, деленное на $3 = 1\,464$; вот вам третной счет.

Доля земли	Самая близкая к точной цифре группа имуществ	Какому числу лиц принадле- жит эта земля	Сумма этого числа с пред- шествующими
33 $\frac{1}{3}$ %	1 462,28	36	—
33 $\frac{1}{3}$ %	1 466,46	132	168
33 $\frac{1}{3}$ %	1 463,28	832	1 000

Вот будет счет по четвертям ($4\,392 : 4 = 1\,098$).

25%	1 096,28	21	—
25%	1 000,15	62	83
25%	1 097,84	147	230
25%	1 097,73	770	1 000

А вот будет счет по десяткам ($4\,392 : 10 = 439,2$).

Доля земли	Самая близкая к точной цифре группа имуществ	Какому числу лиц принадле- жит эта земля	Сумма этого числа с пред- шествующими
10%	427,33	4	—
10%	463,00	10	14
10%	424,95	16	30
10%	430,00	21	51
10%	448,15	33	84
10%	442,36	45	129
10%	433,45	62	191
10%	441,50	83	274
10%	438,23	154	428
10%	440,02	572	1 000

Вот теперь и землю считайте по какому душе вашей угодно манеру. Считайте по третям: одна третья часть земли соединилась в руках одной двадцать восьмой части общества; две трети — в руках одной восьмой части общества; хорошо, но недурно и по четвертям: одна четверть соединилась в руках одной пятидесятой части общества; половина в руках одной двенадцатой части общества; три четверти в руках менее, чем одной четвертой части общества. Отлично. Но и по десяткам не хуже; целая десятая часть земли соединилась в руках 4 человек, то есть одной двухсотпятидесятой части общества; две десятых части всей земли в руках 14 человек, то есть одной семидесятой части общества; три десятых в руках 30 человек, то есть одной тридцать третьей части общества и т. д.; наконец, четыре пятых всей земли соединилось в руках 274 человек, то есть немногим больше, чем одной четвертой части всего общества, зато 572 человека, то есть гораздо больше, чем половина членов всего общества, владеют лишь одной десятой частью земли. Хорошо.

Хорошо, главным образом, то, что дана вам, читатель, нами полная свобода по требованию рутинных экономистов: как хотите, так и считайте. Все оказывается одинаково хорошо²².

Ну, вот, слава богу, цифры на нынешний раз кончились. Теперь выводы.

Две работы, выведенные в разное время, одинаково показы-

вают, что принцип наследственности действует чрезвычайно сильно по двум противоположным направлениям: одною стороною, захватывающею около 7-й доли, быть может, около одной пятой, быть может, около одной десятой части всего количества земли: наши вычисления не имеют такого широкого размера, чтобы могли мы твердо остановиться на какой-нибудь одной цифре между этими пределами, но цифра около одной седьмой доли кажется вероятнейшею, — итак одною своею стороною, захватывающею около одной седьмой части всего количества земли, принцип наследственности чрезвычайно сильно дробит эту незначительную долю земли, так что быстро превращает ее в ничтожные клочки, ничего не стоящие и почти ни на что негодные; другою своею стороною, захватывающею от четырех пятых до девяти десятых частей, вероятно, всех около шести седьмых частей всего количества земли, он чрезвычайно сильно сосредоточивает эту землю в очень незначительное число рук.

Таким образом, он действует в обе стороны, как разрушающая сила, — мы сказали бы, как революционная сила, но революции производятся людьми с каким-нибудь расчетом, стремятся к какой-нибудь цели, а эта сила действует без всякой цели, слепо, просто будто какая-то вулканическая сила, будто сила наводнений или урагана, только наводнений и ураганов, постоянно свирепствующих над обществом неотступно каждый день, каждый час. Разрушение производит он, как мы уже говорили в приведенном отрывке из прежней статьи, тем, что в малочисленном кругу лиц, на которых валит землю громадными горами, он низвергает благосостояние семейств баловством, отучением от труда и расчетливости, развитием расточительности. Отец наследовал и ждал наследств, дети его воспитались расточителем, проматывают наследственное богатство, получают новые наследства, также проматывают их и оставляют своих детей нищими, авантюристами. Этой судьбе подвергается общество одною стороною действий принципа наследственности. Другая сторона его, дробя незначительную долю земли между бесчисленным множеством лиц, заставляет их продавать или как-нибудь переуступать землю, переводить их в разрастающийся класс людей, лишенных недвижимого имущества, не имеющих никакого обеспечения в жизни.

Говорят, что экспроприация дело суровое, тяжелое. Еще бы нет, разумеется, но вы видите, какую силою постоянно совершается экспроприация в огромнейших размерах, — экспроприация, от которой не уходит ни одно семейство, которой почти каждая фамилия подвергается периодически через два-три поколения. Сила эта — принцип наследственности.

Если бы рутинные политико-экономы были достойными преемниками великих мыслителей, которых называют своими учителями (хороши ученики у таких учителей, — точно таким же у

Гоголя, по уверению г. Сен-Жульена, учеником оказался г. Григорий Данилевский, а по словам известного французского экономиста Воловского, — знаменитый бывший редактор «Весельчака» г. Львов)²³, — если бы эти жалкие эпигоны разрабатывали науку, как разрабатывали ее Адам Смит, Мальтус и Рикардо, они давно бы разобрали, какою силою вносится в общество всепоглощающая экспроприация. Тогда не пришлось бы нам утомлять читателя длинными страницами цифр, не пришлось бы показывать ему для проверки клочки черновой работы, скудные клочки, недостаточность которых мы слишком хорошо чувствуем, но которых еще нечем заменить более полным. Мы тогда представили бы одни только выводы, которые читались бы легко, и только прибавили бы: «это доказано трудами таких-то и таких-то достойных преемников Адама Смита, Мальтуса и Рикардо». Но куда же им, этим мнимым ученикам людей, не бывших похожими на них! Для них довольно гордиться вздор, перевирая старую теорию, которой они или не понимают или обыкновенно даже не знают.

Мы уже говорили в отрывке, приведенном из прежней статьи, что другие силы, вызываемые принципом частной собственности по соучастию с принципом наследственности во владычестве над обществом, действуют вообще одинаково с принципом наследственности и усиливают его тенденцию. Направление этих сил — дарения, отдачи в приданое и продажи — обнаруживается само собою довольно ясно для каждого.

Что же сказать нам в заключение? Да разве необходимо делать заключение? Ведь, по словам Сэ²⁴ наука не делает никаких заключений, даже не дает никаких советов, а только описывает факты, вероятно, вроде того, как делали наши почтенные летописцы, то есть без всякого смысла: «сразишася Суздальци и Ноугородци и побегоша, богу тако изволившу», кто побежал, суздальцы или новгородцы? извольте отгадывать, а за кем было сражение, об этом уж и не спрашивайте; «богу тако изволившу», — значит, толковать нечего. Так покажем мы себя хоть раз верными учениками Сэ: не сделаем никакого заключения да и баста.

А сделаем, пожалуй, два замечания. Если в известном обществе еще сохраняется обычное учреждение, смягчающее своим существованием суровое действие силы наследственности и других сил, действующих за одно с нею, то люди, имеющие в голове своей смысл, а не довольствующиеся попугайским повторением чужих непонятных мыслей, должны заботиться о сохранении этого обычного учреждения и его развитии; должны думать не об его искоренении за действительные или мнимые недостатки той формы, в какой оно дошло до нас, а разве о том, действительно ли существуют выставляемые в ней недостатки или только выставляются людьми, не понимающими дела; а

если действительно существуют, то принадлежат ли они сущности дела или только одной его форме, и трудно ли их исправить. Все, дошедшее до нас, не только из времен патриархальности, как это учреждение, а даже из времен сравнительно новых, грубо, дико по нынешним потребностям. Возьмите, что хотите, в той форме, какая придана вещи даже и не до Рюрика, а всего хоть за 100 лет — все дико и неуклюже: карета ли времен Людовика XV, немецкий ли уголовный кодекс половины прошлого века, английский ли обед при Георге III, итальянские ли трактиры, описанные Фон-Визиним, или белье у тогдашних великосветских французов, по его же описанию, все нигде не годится в той форме: карета — тяжела, в кодексе — пытки и четвертование, за обедом — гнуснейшее пьянство, в трактирах — вонь, белье — грязное и из грубой холстины. Ну что же из этого следует? разве карета — плохой экипаж? разве кто ест ростбиф — не может не быть пьяницей? разве немецкое право, по своим принципам, не гораздо выше римского²⁵? разве в Италии не может существовать порядочных гостиниц? разве французские светские люди не могут заботиться о хорошем и чистом белье? Следует только то, что даже за 100 лет в передовых странах Европы образованнейшие и богатейшие классы не были так требовательны, как мы, или не имели таких средств, как мы, чтобы устроить свой быт. А тут берут форму учреждения, какая существует в губерниях, где у телег нет шин на колесах, где рано еще быть какому-нибудь хозяйству, кроме трехпольного, где народ еще полудикий, да и кричат, что эта форма не соответствует желаниям Рикардо, да хорошо бы еще, если бы Рикардо (тот человек умный, понял бы, чего желать при таких обстоятельствах, и отчего происходит при них народная бедность), — нет, фантазиям каких-нибудь французских шарлатанов, которые порют дичь.

Разумеется, форма, в какой существует общинный принцип в губерниях, еще не нуждающихся в удобрении, не согласна с высокими ступенями прогресса. [Но позвольте спросить, какой же факт из нашей жизни в нынешнем своем виде согласен с ними?] Пустые щи или медные гребенки на поясах, или мазанье сапогов, или безумное битье лошаденки и кнутом, и хворостиною, и поленом, или в других сферах что-нибудь от пестрых жилетов до чтения романов Александра Дюма-сына²⁶, от прошлогодней истории со Штраусом до порядка, каким идут у нас процессы?²⁷ Что же после этого: разве щи должны исчезнуть из списка блюд, или мужик не должен чесать головы, или не должен носить сапогов, или не должен иметь лошадей? Или нельзя порядочному человеку носить жилетов и читать книг, или не следует в порядочном обществе быть концерту и не нужны судилища?

Говоря по-ученому, принцип щей, то есть приготовление су-

пов с кислой капустой, и пустые щи, грязная медная гребенка и принцип чесания головы и т. д. и т. д. — вещи совершенно различные.

«Но ведь принцип, противоположный нынешнему обычному земельному принципу, также может быть усовершенствован». Мы брали силы, действующие при нем теперь, а эти силы Милль предлагает ограничить. Ах, ограничить! Мы было и забыли. Только, во-первых, что труднее сделать: провести ли преобразование, предлагаемое Миллем, или не мешать развиваться другому принципу, не мешать ни прямыми мерами, ему вредными, ни голословными, но задорными криками против него? Во втором случае вы никому не мешаете, ничьих интересов не затрагиваете, а в первом случае вы должны бороться с каждым человеком, потому что если уже называет человек известное имущество своею собственностью, то противно всем его нынешним чувствам стеснять его право передачи его собственности детям. А во-вторых, если когда-нибудь введутся и будут исполняться реформы, предлагаемые Миллем, то позвольте полюбопытствовать, в каком виде будет тогда принцип? Многое ли останется из него? Останется какой-то урезанный кусочек, беречь который не стоит хлопот, — останется вроде того, как остается медведь, которого показывают российской публике: почти что безвреден, это правда, и когти обрезаны, и зубы повыдерганы, и глаза выколоты. Добрый человек, развитой человек думает, что легче было бы этому медведю умереть, чем, подвергнувшись таким истязаниям, влачить такую жалкую, презренную жизнь на общее посмешище.

КЛАССЫ, МЕЖДУ КОТОРЫМИ ДЕЛИТСЯ ПРОДУКТ

(Гл. III—X)

А. Соперничество как норма распределения

Принцип соперничества. Степень всеобщности его действий; степень егосообразности с наивыгоднейшими условиями производства и распределения; зародыш экономической истины, находящейся в этом принципе, и высший экономический принцип, поставляемый наукою на место соперничества.

Обыкновенные экономисты рассуждают так, как будто все промышленные операции совершаются под господством соперничества, кроме тех случаев, когда оно устранено монополией, так что случаи, в которых оно не действует, представляются исключениями, а его господство — общим правилом. Эту ошибку очень удовлетворительно разоблачает Милль в IV главе, которую мы и приводим здесь всю целиком.

При системе частной собственности продукт делится под влиянием действия двух сил: соперничества и обычая. Для нас важно узнать величину влияния той и другой силы и видоизменения, которым действие одной подвергается по влиянию другой.

Политико-экономы вообще, а в особенности английские, привыкли придавать почти исключительное значение соперничеству, почти не принимая в соображение противоположных ему действий обычая. Они часто выражаются так, как будто думают, что соперничество на самом деле всегда совершает тот результат, к совершению которого стремится по теории. Это отчасти объясняется тем, что только через принцип соперничества получает политическая экономия права на научный характер. Насколько определяется соперничеством величина ренты, прибыли, рабочей платы, цены, эти величины могут быть подведены под законы. Если мы примем, что они определяются исключительно соперничеством, то можно вывести принципы, по которым они видоизменяются, и эти принципы будут иметь высокую всеобщность и научную точность. Политико-эконом справедливо считает это своим прямым делом, и политическая экономия, как абстрактная или гипотетическая наука, не обязана и не может сделать ничего, кроме этого. Но совершенно искаженным понятием о действительном ходе человеческих дел была бы мысль, что соперничество на самом деле имеет эту неограниченную силу. Я не говорю о естественных и искусственных монополиях, не говорю о вмешательствах власти, изменяющих свободный ход производства и обмена, — политико-экономы всегда принимали в соображение эти влияния, нарушающие

действие соперничества. Я говорю о таких случаях, в которых действую соперничества нет никаких стеснений или препятствий ни от сущности дела, ни от искусственных затруднений, но в которых результат все-таки определяется не соперничеством, а привычкой или обычаем, и соперничество или совершенно не действует, или производит действия совершенно не такие, какие обыкновенно считаются естественным его результатом.

Соперничество лишь с недавнего времени стало оказывать сколько-нибудь значительное влияние на экономические условия между людьми. Чем отдаленнее от нас время, тем исключительнее влияние неподвижных обычаев на все сделки и обязательства. Причина тому очевидна. Обычай — сильнейший защитник слабых против сильных; единственный защитник слабых там, где законы или правительство не в силах защитить их. Обычай — преграда, которую больше или меньше понуждено уважать тиранство даже при самом угнетенном состоянии людей. Свобода соперничества — пустой звук для грядущего населения в бурном военном обществе; трудящиеся никак тут не могут спорить об условиях своего труда: тут всегда есть господин, кладущий на весы свой меч, и условия определяются такие, какие налагает он. Но хотя дела и решаются по праву сильнейшего, сильнейший не находит выгоды и вообще не имеет охоты настаивать на исполнении этих условий во всей их суровости, а каждое смягчение их имеет тенденцию становиться обычаем, всякий обычай становится правом. Не какое-нибудь соперничество, а права, возникшие таким образом, определяют при грубом положении общества ту часть продукта, которая предоставляется человеку, его производящему. В особенности определялись обычаями страны до новейших фазисов общественного развития все отношения между землевладельцем и земледельцем и все платежи земледельца землевладельцу. Только в последнее время условия пользования землею стали, вообще говоря, делом соперничества; во все прежние времена было не так: человек, возделывающий землю, обыкновенно считался тогда имеющим право сохранять за собою эту землю, пока исполняет обычные условия, и, таким образом, сделался как бы имеющим некоторое право собственности на землю, совместно с настоящим собственником. Даже и там, где земледелец не приобрел такой вечности пользования, условия пользования часто бывали постоянны и неизменны.

Например, в Индии и в других азиатских обществах, имеющих такое же устройство, райоты²⁸ или поселяне-фермеры не считаются такими фермерами, которых землевладелец может прогнать, когда хочет, или даже по истечении известного срока. Правда, почти во всех деревнях есть некоторые райоты, находящиеся в этом непрочном положении; но они — люди, поселившиеся тут недавно, или потомки людей, поселившихся не очень давно, во время еще памятное; а те, которые считаются потомками или представителями первоначальных жителей, почитаются имеющими право сохранять за собою свою землю, пока платят обычную ренту; это право признается и за многими переселенцами, если они давно уже наняли свою землю. Надобно сознаться, что почти везде уже затемнилось понятие о первоначальной или правильной величине этой обычной ренты: узурпация, тирания и иноземное завоевание значительно исказили факты, по которым определялась бы эта величина. Когда старинное чисто гиндусское владение переходит под власть британского правительства или под управление его агентов и когда начинается пересмотр системы доходов, то обыкновенно оказывается, что фискальное хищничество расширило требования государства, главного землевладельца, так что стерлись на практике все границы этих требований; но все-таки оказывается, что считалось необходимым придумывать особенное имя и особенный предлог для каждого лишнего требования, так что, сверх собственно так называемой ренты, требовалось иногда еще 30 или 40 других платежей. К этому окольному способу увеличивать платежи наверно не прибегли бы, если бы за землевладельцем было признанное право увеличить ренту. Употребление этого средства — доказательство, что некогда была обычная рента, которую нельзя было увеличивать, и что райот не на словах только, ее на самом деле имел

некогда право на землю, пока платил ренту, согласную с обычаями*. Британское правительство в Индии всегда упрощает систему повинностей крестьянина, соединяя все подати в одну; через это оно делает ренту не только на факте, но и по закону, вещь произвольной или, по крайней мере, подлежащей особому соглашению; но оно строго уважает право райота на землю, хотя до реформ нынешнего времени почти не оставляло ему земель больше, чем нужно для самого скудного пропитания (да и нынешние реформы, имеющие другой характер, еще не совсем приведены в исполнение).

В новой Европе земледельцы постепенно вышли из состояния личного рабства. Варвары, завоевавшие Западную империю, нашли, что легчайшим способом хозяйства над завоеванными землями будет для них — оставить эти земли в руках прежних жителей; они избавили себя от неприятного труда надзирать за толпами рабов, дозволив рабам сохранить некоторую свободу действий, под обязанностью снабжать господина провизией и трудом. Обыкновенным способом для этого было давать в исключительное пользование раба количество земли, считавшееся достаточным для его продовольствия, и заставлять его исполнять на других землях господина все работы, какие будут нужны. Эти неопределенные повинности постепенно преобразовались в определенную повинность — давать положенное количество провизии или положенное количество труда. Со временем господа полюбили употреблять свой доход не на содержание свиты а на покупку предметов роскоши, и платежи в натуре были заменены денежными платежами. Каждая из этих уступок давалась первоначально по произволу господина, который мог отменить ее, но постепенно получала силу обычая, а наконец признавалась законом и приобретала судебное охранение. Таким образом рабы постепенно возвысились до положения свободных фермеров, имевших землю в вечном пользовании на неизменных условиях. Эти условия были иногда очень тяжелы, и народ очень бедствовал. Но его повинности определялись обычаем или законом страны, а не соперничеством.

Где земледельцы никогда собственно не были в личном рабстве, там потребности бедного и малоразвитого общества породили другую систему, введенную и в остальных странах по уничтожении личного рабства; в некоторых частях Европы эта система оказалась настолько выгодною, что сохранилась доныне, несмотря на высокое развитие их земледелия. Я говорю о системе половничества. При ней земля разделена на мелкие фермы; каждая семья имеет такую ферму; землевладелец вообще дает капитал, считающийся нужным по местному земледельческому порядку, и вместо ренты и прибыли получает положенную долю продукта. Эта доля, вообще уплачиваемая натурою, обыкновенно составляет половину продукта, как и обозначают слова: половник, *métayer*, *mezzaiuolo* и *medietarius*. Но в некоторых местах, например, на богатой вулканической почве неаполитанских провинций, землевладелец берет две трети, а крестьянин, благодаря превосходному земледелию, все еще имеет средства к жизни. Но половину или две трети берет землевладелец, во всяком случае эта доля неизменная, одинаковая для всех ферм, не переменная при перемене фермеров: обычай страны служит всеобщим правилом, никто не думает возвышать или понижать ренту, или делать с фермером какие-нибудь другие условия несходные с обычными. Соперничество совершенно не действует на определение величины ренты.

Раньше ренты подвергались влиянию соперничества цены там, где нет монополий, и действие соперничества на цены имеет гораздо меньше исключений, чем его действие на ренты; но и тут, даже и при нынешней своей деятельности, торговое соперничество не имеет такого безусловного влияния, как предполагают некоторые писатели. В политико-экономических книгах

* Древние индийские законы называют надлежащей рентой шестую часть или четвертую часть продукта; но нет доказательств, чтобы правила, определяемые этими законами, когда-нибудь действительно соблюдались.
Прим. авт.

беспреданно встречается теорема, что не может быть двух цен на одном рынке. Действительно, таков естественный результат соперничества, не встречающего себе препятствий. Но каждый знает, что почти всегда на одном и том же рынке существуют две цены. В каждом большом городе, почти в каждой отрасли торговли, есть дорогие лавки и дешевые лавки; мало того, в одной и той же лавке часто продается один товар различным покупателям по разным ценам и, вообще говоря, в каждой лавке норма цен приспособлена к тому, каких покупателей она имеет. Оптовая торговля по главным товарам действительно находится под властью соперничества: тут и покупщики и продавцы — купцы или фабриканты, и в своих покупках руководятся не безрасчетностью или суетностью, а коммерческим расчетом. Поэтому об оптовых рынках можно вообще сказать, что на них действительно не бывает двух цен одной вещи в одно время: в каждом месте в данное время есть рыночная цена, которую можно обозначать в прейскуранте. Но в розничной торговле, где покупщиком бывает человек, действительно потребляющий вещь, цена очень медленно и не вполне подчиняется действию соперничества; даже там, где соперничество существует, результатом его часто бывает не понижение цен, а только разделение прибыли от высокой цены между большим числом торговцев. Потому-то столь значительная часть цены, платимой покупателем, поглощается барышом розничных торговцев, и тот, кто захочет узнать, какая доля из розничной цены доходит в руки людей, производящих покупаемую им вещь, часто удивится ничтожности этой доли. Правда, если рынком бывает большой город, в котором занятие розничною торговлею обещает достаточную выгоду большим капиталистам, то вообще они найдут выгодным для себя расширить свои обороты, подорвав других торговцев понижением цены, не довольствуясь тем, чтобы делиться с ними пролем оборотов. Такое влияние соперничества все сильнее и сильнее чувствуется в главных отраслях розничной торговли в больших городах. Быстрота и дешевизна перевозки, делая покупателей менее зависимыми от торговцев ближайших окрестностей, ведут к постепенному уподоблению всей страны большому городу. Но до сих пор только в больших торговых центрах розничные цены (вполне или хотя в значительной степени) определяются соперничеством. В других местах оно или вовсе не действует, или обнаруживает свое действие только временным колебанием цен; обыкновенной силой, их определяющей, остается обычай, по временам видоизменяемый существующими в умах покупателей и продавцов понятиями о какой-то справедливости или сходности цены.

Во многих отраслях торговли условия продажи определяются формальным соглашением между торговцами, общество которых всегда имеет средства сделать затруднительным или неприятным положение каждого из членов этой корпорации, отступающего от положенных правил. Известно, что до недавнего времени книжная торговля находилась в таком положении и что, несмотря на деятельное соревнование в ней, соперничество не производило своего натурального действия, не разрушало положенных торговцами цен. Во всех свободных профессиях вознаграждение определяется обычаем. Плата, получаемая медиком, адвокатами, почти одинакова для всех медиков и для адвокатов; все ходатаи по делам берут почти одинаковую плату. Причиной тому служит, конечно, не недостаток большого соперничества в этих профессиях. Но соперничество тут действует не тем, что понижает плату, а тем, что уменьшает шансы каждого к получению платы.

Мы видим, что обычай поддерживает борьбу с соперничеством очень успешно даже в тех случаях, где дух соперничества чрезвычайно силен, по многочисленности соискателей и по общей энергии стремления всех их к выгоде; если так, то наверное можно ожидать, что обычай держится еще тверже там, где люди довольствуются меньшими денежными выгодами, не столь дорожа ими по сравнению с своим удобством или удовольствием. Я уверен, что на континенте Европы мы часто найдем в одних местах гораздо высшие цены некоторых или всех товаров, чем в других местах, находящихся поблизости, и что не найдем для этой разницы никаких причин, кроме той, что

всегда было так, что покупатели привыкли и не ищут других цен. Предпримчивый соискатель с достаточным капиталом мог бы понизить цены и разбогатеть, понижая их; но таких предпримчивых соискателей нет. Капиталисты оставляют свой капитал попрежнему в других занятиях и не ищут большей прибыли, чтобы не беспокоить себя.

Эти замечания должны считаться общими оговорками ко всем выводам, которые будут изложены в следующих частях нашего трактата, касающихся до действий соперничества: все выводы о нем подлежат этим оговоркам, хотя б мы где-нибудь и не упомянули о том прямо. Вообще мы должны будем рассуждать так, как будто бы соперничество действительно производит свои общеизвестные естественные результаты всегда, когда не отстраняется какою-нибудь положительною преградою. Но где соперничество не существует, хотя могло бы существовать, или где его естественные последствия преодолеваются каким-нибудь другим явлением, там эти наши заключения будут не вполне приложимы, и для избежания ошибки в применении выводов политической экономии к делам действительной жизни мы должны соображать не только тот результат, какой произойдет при гипотезе полного действия соперничества, — мы должны также соображать, как видоизменится этот результат, если соперничество не оказывает полного своего действия²⁹.

Таким образом, хорош ли, дурен ли принцип соперничества, он не может считаться всеобщим принципом экономической деятельности. Лишь с недавнего времени, даже и в передовых странах, стал он господствовать хотя над некоторыми сторонами экономической жизни; прежде и тут он был слабее обычая. В других сторонах промышленной жизни обычай сохраняет перевес над соперничеством даже и в передовых странах, даже и до сих пор. Вообще можно провести между этими сферами такую границу: где покупателем является коммерческий человек, там условия сделки определяются соперничеством; это — область покупок не на собственное потребление, а на перепродажу; это — область биржевых дел и дел, имеющих коренное сходство с биржевыми операциями. Напротив того, где покупщиком бывает не коммерческий человек, а потребитель, там условия сделки вообще подчиняются обычаю; это — область покупок на личное потребление. Таково общее разграничение сферы соперничества от сферы обычая в покупке вещей, которые покупаются сначала купцом у производителя, потом потребителем у купца, как предметы потребления, — например, пища, одежда, топливо и разные принадлежности домашнего хозяйства, вообще так называемая движимая собственность. Недвижимая собственность, которая покупается не на потребление, а на получение от нее постоянного дохода, имеет несколько иной характер. Приобретение дома или участка земли обыкновенно бывает делом, совершаемым не наскоро, не без справок, не делом обыденным; тут покупатель, хотя бы и не был коммерческим человеком, старается действовать по коммерческим правилам: хлопотливо разыскивает, выжидает, подвергает предмет техническому осмотру и т. д. Следовательно, тут, повидимому, все сделки должны бы совершаться по принципу соперничества.

Действительно, покупатель и следует ему, насколько он допускается сущностью покупаемого предмета. Но самая сущность покупаемого предмета тут очень упорно отстраняет от себя точное действие коммерческого принципа соперничества. Одинаковых тюков хлопчатой бумаги, одинаковых кусков коленкора, одинаковых четвертей хлеба одного сорта существует одновременно в продаже бесчисленное множество в руках разных продавцов. Да и разные сорта каждого из таких товаров сравниваются очень легко, потому что всякий сорт беспрестанно проходит через руки коммерческих людей, этих, так сказать, пробирных мастеров по оценке всяких товаров. Недвижимая собственность вообще не идет через коммерческие руки, — она переходит от владельца, имевшего ее долговременным своим владением, прямо к такому покупщику, который также намерен постоянно держать ее в своем владении, а не то, что берет ее только на перепродажу. Если применить к этому делу термин «потребление» (в косвенном смысле пользования доходом, и в противоположность коммерческой покупке, имеющей свою целью не пользование доходом, а выигрыш от перепродажи, как можно более быстрой), то надобно сказать, что недвижимая собственность знает только потребителей, а купцов не знает. Банкир, покупая дом или поместье, является не биржевым человеком, а простым потребителем, все равно как когда заказывает обед. Таким образом, недвижимая собственность вообще и не подвергается такой правильной оценке, как движимая. Но если б и подвергалась, успех оценки не был бы так точен, потому что каждый предмет недвижимой собственности имеет в себе индивидуальность, и нет громадной массы совершенно одинаковых предметов, под цену которых можно было бы подвести его. Коленкор на манчестерской бирже и на калькутской бирже — это одно и то же; стоимость провоза вычисляется до последней копейки. Потому, при обыкновенном ходе биржевых дел, калькутские обороты коленкором определяются манчестерскими, и наоборот. Но найдете ли вы в целом свете хотя два дома, столь одинаковые, как две штуки одинакового коленкора? Найдете ли вы два поместья, совершенно одинаковые? Негоциант знает, что за тысячу бочек сала или тюков хлопчатой бумаги он может дать столько-то тысяч рублей со столькими-то сотнями, десятками, единицами рублей, столькими-то десятками и единицами копеек, — да копейка в копейку: одною копейкою больше это уже будет дорого,* нерасчетливо. Но сколько стоит этот дом? Около 20 000 р., — но, может быть, и не больше 19 тысяч, а может быть, и больше 21 тысячи, — тут на 10 %, даже на 15, на 20 % — неопределенность, неизвестность. Поместье — это своего рода такая же вещь относительно оценки, как, например, ум человека или какая-нибудь картина. Разумеется, дурака от умного отличить легко, а гениального человека от человека с

обыкновенным умом тоже легко отличить, но извольте-ка определить степени ума точным образом. Так легко видеть, что Осиновка должна стоить дороже Ивановки, а Павлово гораздо дороже самой Осиновки; а на сколько именно? Разумеется тут, по необходимости, останавливаются на какой-нибудь цифре, но зато уж и цифра такая, — по крайней мере два нуля на конце. Разве продается когда-нибудь берковец³⁰ сала на бирже ровно по 50 рублей? Разве стоит когда-нибудь какая-нибудь биржевая бумага ровно *at par*, без всякой премии и без всякого упадка? Как же этот дом может продаваться ровно за 20 тысяч рублей, а не за 21 378 рублей 19 коп. Это значит — точной оценки ему нет; это значит, в его цене существует значительная степень неизвестности.

Таким образом, из двух разрядов имущества принцип соперничества обыкновенно стремится господствовать над продажей недвижимой собственности, но по неудобству точной оценки предметов этого рода он вовсе тут не достигает определенности, в которой и заключается его сила; действуя тут постоянно, он постоянно тут действует слишком шатко. С полной определенностью он действует в биржевых и похожих на биржевые продажах другого разного рода имуществ — в продажах предметов движимой собственности; но опять слишком слаб оказывается в продажах от купца потребителям, а через этот вид продаж проходят все товары, подвергающиеся продажам первого вида, и кроме того, бесчисленное множество товаров, не подвергающихся продажам в виде биржевых.

Такое неполное действие принадлежит принципу соперничества при самом высшем его развитии в самых передовых странах; в других землях до сих пор остается, а до недавнего времени во всех странах был круг его действий еще несравненно теснее. Спрашивается теперь: что же может сказать нам господствующая теория политической экономии о всем этом большинстве экономических сделок, условия которых или вовсе не подчинены принципу соперничества или сильнее, чем ему, подчинены другим элементам экономической жизни? С обыкновенною своею добросовестностью Милль, как мы видели, прямо говорит, что эту часть экономических сделок она не в силах подвести ни под какие правила: «только принцип соперничества дает политической экономии возможность научного характера. Законы ренты, прибыли, рабочей платы, цен могут быть указываемы лишь на столько, на сколько определяются соперничеством».

Говорят: «те экономические сделки, которые еще не определяются соперничеством, находятся в неразвитом, неудовлетворительном положении». Но мы видели, что значительнейшая половина экономических сделок, вероятно, никогда не могут и подчиняться принципу соперничества на столько, чтобы войти

в теорию, основанную исключительно на нем; пусть эта часть экономической жизни называется не достигнуто высочайшего развития; но что ж делать, если она не может достичь его? Значит, она никогда не подойдет под господствующую ныне теорию; значит, эта теория, как бы хороша ни казалась сама себе, должна прямо сознаться, что она не теория экономической жизни, а лишь теория некоторых частных форм этой жизни, что она не наука, а лишь один отдел науки; к полной экономической теории она относится так же, как анатомия руки относится к целой науке, называемой анатомией, как монография об Англии относится к географии.

Как сама господствующая теория оказывается лишь одною частью целой экономической теории, так и принцип ее, соперничество, оказывается лишь частным видоизменением более общего экономического принципа, видоизменением, заимствующим свою частную особенность от частной особенности тех сторон экономической жизни, к которым применяется. После сделанных нами замечаний нетрудно открыть, в чем состоит особенность фактов, придающая частный характер общему экономическому принципу, который в этой своей частной форме является соперничеством.

Мы видели, что соперничество является в тех делах, где покупатель — коммерческий человек, покупающий не на потребление, а на перепродажу. Этот элемент сделки, — ее назначение служить лишь средством для новой продажи и составляет характеристическую особенность оборотов, принадлежащих сфере соперничества. Но форма перепродажи, конечно, всяким будет признана лишь за частную форму получения экономической выгоды, лишь за один из множества способов, какими стремится человек выиграть что-нибудь в экономическом отношении. Отбросим же эту частную черту, чтобы осталось у нас более общее понятие, — и каждому очевидно, какое понятие останется у нас: останется «расчет экономической выгоды», короче можно сказать, просто расчет выгоды (потому что экономическая наука и без всяких оговорок ясно указывает именно только на экономическую выгоду, когда говорит просто о выгоде), а еще короче можно сказать, просто «расчет» или «расчетливость» (потому что само собою разумеется, какова цель расчета — выгода).

Конечно, когда мы возводим в общий принцип науки, вместо понятия «соперничество», такое общее понятие, как «экономическая расчетливость», наука получает в основание себе идею, имеющую гораздо менее определенных признаков, уже без всякой переработки готовых на применение к тому или другому данному случаю. Но такова натура всей серии основных принципов во всех науках: удельный вес золота или воды — понятие с большим числом признаков, чем закон тяжести; а закон тяже-

сти на земле имеет гораздо больше признаков, чем закон всеобщего тяготения; законы пищеварения в человеческом организме определяются бóльшим числом признаков, чем общие законы пищеварения в животных организмах, а закон питания, обнимающий собою все органические существа, имеет еще меньше признаков. Что ж делать, — таково уже свойство природы и таков закон математики, что число признаков каждого принципа или понятия обратно пропорционально его обширности. Мы вовсе не то говорим, что частные принципы частных подразделений научного предмета не имеют важности или не хороши на своем месте, напротив, они драгоценны; напротив, прекрасно заботиться об их отыскании; сделайте одолжение, разъясняйте не только то, как совершается пищеварение у человека вообще, но и те видоизменения, какие оно имеет у эскимоса, питающегося жиром, и у гиндуса, питающегося рисом; сделайте одолжение, изучайте еще глубже частные случаи, — подразделяйте гиндуса на раджу, земиндара, простолюдина, описывайте пищу каждого, изучайте особенные влияния каждого из этих сортов пищи. Все это прекрасно и очень полезно; но рассудите же, что выйдет чепуха, если вы станете воображать общим законом предмета частный закон, проявляющийся лишь в одном видоизменении предмета: ведь нельзя же, например, повторить об эскимосе всего, что говорится о гиндусе, или вообще повторить об органическом существе всего того, что говорится о человеке. Ведь нелепо же, например, было бы советовать овце питаться говядиной или утверждать, что на Уране под тропиками растут финиковые пальмы. Есть еще другой источник непростительных натяжек; воображать, что какая бы то ни была форма предмета — безусловная форма, что вне этой формы не могут проявляться силы, ее создающие при известных условиях, и что какая бы то ни было из существующих форм проявлений какой бы то ни было силы не заменится со временем другою формою.

Обе эти ошибки делает господствующая экономическая теория со своим принципом соперничества. Форму, принимаемую силой экономического расчета лишь в некоторых особенных случаях, она хочет считать всеобщим законом целой экономической деятельности и провозглашает эту частную форму — самым высшим воплощением экономического расчета, идеалом, совершеннее которого люди не могут ничего ни создать, ни даже придумать. Первая ошибка, кажется, достаточно ясно раскрыта теперь; чтобы заметить ее, достаточно было лишь обозреть главные разряды экономических сделок. Чтобы очевидно обнаружилась вторая ошибка, нужно иметь лишь некоторую даже хоть и небольшую, привычку к логическому мышлению.

В самом деле, какое условие ставит логика для признания

известной формы явления за форму не то, что совершенно безупречную, а хотя бы за сколько-нибудь удовлетворительную? Логика говорит, что для этого форма дела должна соответствовать самой натуре дела, то есть общей совокупности всех коренных его качеств, а не одному какому-нибудь внешнему признаку или симптому дела. Например, удовлетворительно ли гражданское устройство южных штатов Северной Америки, где юридическое положение человека определяется не характером его, а цветом кожи? ³¹ Удовлетворительно ли такое лечение, которое основывается не на распознавании сущности болезни, а на внешних симптомах ее? Удовлетворительна ли зоологическая классификация не по устройству целого организма, а по какой-нибудь принадлежности его, например, по устройству зубов? Все такие случаи не выдерживают ни малейшей критики.

Точно так же неудовлетворителен и тот экономический расчет, который основывается не на качествах самого предмета, не на соображении потраченных на его производство элементов, не на стоимости предмета, а на его цене. Разумеется, цена предмета почти всегда находится в некоторой связи с его стоимостью, но связь эта никогда не бывает безусловно точна, а большею частью бывает вовсе неточна и очень шатка. В нынешнем году при употреблении данного количества труда и капитала на десятину, — назовем это количество 24, — родилось на десятине 6 четвертей хлеба; стоимость четверти будет 4 единицы труда и капитала, и цена четверти, положим, будет 4 рубля. В следующем году при той же затрате сил родилось только 4 четверти; стоимость четверти будет 6 единиц, но цена ее, как известно всякому, никак уже не будет 6 рублей, а непременно будет гораздо больше. На третий год при той же затрате сил родилось 8 четвертей; стоимость четверти будет 3 единицы, но цена ее никак не будет 3 рубля, а непременно будет гораздо меньше. Спрашивается теперь: удобна ли для прочного хода земледельческого хозяйства такая норма расчета, которая не имеет точной зависимости ни от количества употребляемых на хозяйство сил, ни от степени успешности результатов, достигаемых хозяйством? Политико-экономы очень подробно, горячо и превосходно доказывают, что экономические дела никак не могут идти успешно в обществе, в котором денежная единица не имеет совершенно точной определенности, совершенно неизменного постоянства. Прекрасная и очень важная истина. Но мы спрашиваем теперь: не точно ли таково же и влияние недостатка неизменной и точной пропорции между степенью успешности дела и количеством выручки за него? Ныне человек продает свой товар за 10 франков, и эти 10 франков составляют 50 граммов серебра; через год, продавая товар также за 10 франков, он получает в этих 10 франках только 45 граммов серебра, то есть получает право приобрести

на всемирном рынке только $\frac{9}{10}$ частей той суммы ценностей, на какую получал право год тому назад. Такая шаткость никуда не годится; при ней невозможен никакой путный порядок в экономической деятельности. Так; потому во всех цивилизованных странах принят принцип неизменности денежной единицы. Но и при неизменности ее разве не скрывается точно такое же зло в обстоятельстве, нами рассматриваемом? Пусть франк неизменен. Но разве человек не сбивается с толку в своей экономической деятельности, когда при затрате 200 франк. на возделывание гектара, он в нынешнем году, при урожае 12 гектолитров, получает по 20 франков за гектолитр, то есть 240 франков выручки с гектара, то есть 20% прибыли; в следующем году, при урожае в 10 гектолитров, получает по 30 франков за гектолитр, то есть 300 франков выручки с гектара, то есть 50% прибыли; а на третий год, при урожае в 13 гектолитров, получает лишь по 15 франков за гектолитр, то есть 195 франков выручки с гектара, то есть подвергается убытку в $2\frac{1}{2}\%$? Ведь это — путаница точно такого же рода, как от колебаний денежной единицы. Или нет, путаница гораздо худшего рода: там колебание шло независимо от успешности дела, и какие бы незаслуженные убытки или незаслуженные прибыли ни получал человек от перемены денежной единицы, все-таки чем успешнее шло его дело, тем меньше был убыток или тем больше была его прибыль. А здесь шаткая связь выручки с успешностью дела ведет к прямой противоположности выгод от дела с его успешностью: чем меньше собрано хлеба земледельческими хозяйствами, тем больше получают они прибыли; чем больше собрано ими хлеба, тем больше шанс для них потерпеть убыток. Согласитесь, что такая норма расчета — прямая премия за безуспешность труда, прямой штраф за успешность его, прямое возбуждение к неподвижности или ухудшению общественного положения, прямое отвлечение человека от охоты к улучшениям.

Мы вовсе не то хотим сказать, что общественное положение в какой бы то ни было стране становится хуже или хотя остается неподвижно; нет, мы положим, что оно постепенно улучшается во всех цивилизованных странах. Но мы говорим, что если в цивилизации, в успехах знаний лежит непобедимая сила улучшать общественный быт, то находясь в общественном быте элементы, мешающие этой силе прогресса, и что один из таких элементов — недостаточность точной и неизменной пропорции между успешностью дела и степенью выгод от него для трудившегося над ним, — шаткость, происходящая из неудовлетворительности нормы расчета, называемой соперничеством.

Человеку, сколько-нибудь сообразительному, смешно слышать толки рутинных политико-экономов о необходимости и неизбежности соперничества. Мы знаем, что принцип этот при-

меняется лишь к одному из обстоятельств экономической жизни, — к феномену покупки и продажи; мы знаем, что все труды и продукты, которые идут на собственное потребление производителя, не поступая в продажу, остаются не подвластны соперничеству и никак не могут стать подвластны ему *. Мы спрашиваем: неужели эти труды совершаются, эти труды производятся без всякого расчета экономической выгоды? Если, например, женщина шьет или чинит белье для своего семейства, а не на продажу, неужели не заботится она, чтобы работа ее шла успешно, чтобы материалы и орудия, — нитки, иголки, куски ситца и холста, — расходовались на работу как можно экономнее, словом сказать, чтобы стоимость продукта была наименьшая? Когда она готовит кушанье для своего семейства, разве не действует она с такою же расчетливостью? Когда муж ее производит разные починки по домашнему хозяйству, разве не поступает он точно так же? Значит, экономический расчет существует и без формы соперничества.

Да и как ему не существовать без нее? Разве может человек, с какою бы целью он ни работал, на себя или на других, для продажи или не для продажи, не заботиться о том, чтобы употребить для получения известного продукта как можно меньшее количество труда, или при употреблении известного количества труда получать как можно большее количество продукта или продукт как можно лучшего качества? Не руководится таким расчетом — это не в силах человека, как не в силах его не заботиться о том, чтобы вообще ему было лучше и легче**.

* Тут могут сделать возражение довольно тонкое. Известно, что человек перестает производить предмет на личное свое потребление, когда рассчитает, что выгоднее или, вообще, удобнее ему покупать этот предмет. Так постепенно перестают люди прясть и ткать холст и сукно для своего домашнего обихода, предпочитая покупать эти вещи. Следовательно, принцип соперничества захватывает под свою власть производство на собственное потребление, — захватывает тем, что уничтожает его, ставит вместо него покупку на свое потребление в обмен за товар, производимый на продажу. Так; но все-таки остается очень обширная область дел и продуктов, в которую не проникает это влияние. Как за обедом, изготовление которого поручено особенному ремесленнику, повару, человек оставляет самому себе изготовление некоторых принадлежностей обеда, например сам делает салат (повар, вероятно, сделал бы это искуснее; но что вы прикажете делать со мною, когда я не хочу поручать ему того!), так и в важных случаях экономического производства есть вещи, которые не поддаются влиянию соперничества, не покупаются, а производятся дома. Каждому приятно иметь овощи из своего огорода, хотя покупка их обошлась бы дешевле домашнего производства. Таких случаев очень много. Мы не станем перечислять их, потому что усердно занимаются такими перечнями рутинные экономисты, когда спорят против фаланстерянцев³² и всяких коммунистов, у которых, впрочем, вовсе не о том и речь идет, чтобы отнять у человека удовольствие иметь свой огород, свои комнаты, свою мебель и т. д.

** Пожалуй, и тут может представиться возражение, но только уже от совершенного непонимания предмета. Могут сказать: наемный работник, а еще гораздо заметнее — работник при обязательном труде не заботится ни о

Но если принцип сочетания труда и возникающий из него обмен составляет степень экономического развития высшую, чем патриархальная система производства всех предметов потребления в самом семействе только для этого семейства, то и форма соперничества, которую принимает экономический расчет на этой более высокой ступени развития, вероятно, должна заключать в себе при всей своей неудовлетворительности какие-нибудь элементы превосходства над формой расчета, существующего в патриархальном производстве. Конечно, так, и открыть эти элементы нетрудно. Какие данные для своей расчетливости имеет производитель в патриархальном быте? Только свой личный или фамильный опыт, с прибавкою довольно скудных сведений о производстве у некоторых соседей. Когда является биржа или возникают хотя зародыши ее, ярмарки и покупки товаров купцами для перепродажи, круг сравнения чрезвычайно расширяется. Являясь на базар, на ярмарку, на биржу, производитель видит свой товар сравниваемым с подобными товарами всех производителей целого обширного округа или целой страны, целого света; формою сравнения успешности производства тут служит цена. Производитель возбуждается к заботе об усовершенствованиях уже не одними своими личными наблюдениями и знакомствами, а всяким усовершенствованием у кого бы то ни было, где бы то ни было достигнутым. Словом сказать, перевес соперничества над патриархальными средствами расчета тот, что оно сближает расчеты гораздо большего числа производителей.

Есть у него и другое преимущество. При патриархальном

хорошем качестве продукта, ни о том, чтобы наработать много продукта. Разумеется, нет; он заботится исключительно об уменьшении своего труда о том, чтобы работать как можно меньше. Разумеется, каждый заботится о том, в чем заинтересован. Если человек исполняет работу в свою пользу, главная мысль у него наработать побольше или получше; если же не в свою пользу, то главная мысль у него получить плату за количество работы, как можно меньше, и если вы вникнете в этот второй случай, он окажется по принципу одинаков с первым, хотя и противоположен ему по результатам для хозяина. Наемный работник получает известные деньги, то есть право на приобретение известной суммы продуктов за свою работу; и когда он старается работать как можно более вяло, небрежно, он старается о том, чтобы эта сумма продуктов обошлась ему в количество труда, как можно меньшее. Точно такой же расчет и у работника, исполняющего обязательный труд. Негр содержится своим владельцем для работы; и когда работает лениво, он заботится собственно о том, чтобы назначенное ему содержание приобреталось для него сколь возможно меньшим количеством труда. Цель у работника-хозяина и у наемного работника одна и та же, — чтобы наименьшим количеством труда достигнуть наибольшего результата; только формы этого стремления различны, смотря по тому, какой из двух терминов пропорции принимается за величину определенную: если количество труда (как у работника-хозяина), то выгодность пропорции состоит в увеличении продукта; если же количество продукта, — выгодность пропорции достигается уменьшением количества труда.

расчете остается на произвол производителя принимать или не принимать даже и те усовершенствования, с которыми он знакомится из скудных источников сведений того быта. А в чело- веке, кроме экономического расчета, кроме стремления к выгоде существуют наклонности, прямо противоположные этому стрем- лению. Из них главные: наклонность пристращаться к рутине и обольщаться фальшивым самолюбием. «Э, проживем попреж- нему. Отцы и деды не глупее нас были» и т. д. — «Славны бубны за горами. Я сам не глупее других» и т. д. Нет надобно- сти говорить, как часто эти враждебные прогрессу наклонности подчиняют себе человека до того, что не позволяют ему учиться и изменять способ своих действий сообразно его выгоде. При форме соперничества расчет выгоды приобретает силу физиче- ской необходимости; в этой форме он довольно быстро одолевает и рутину и фальшивое самолюбие.

Мы не распространяемся об этих преимуществах, потому что они очень подробно и резко выставляются на вид в каждом рутинном курсе политической экономии. Но, признавая гро- мадный перевес формы соперничества над формами патриар- хального расчета, мы не можем скрыть, что она все еще далеко не представляет удобств, требуемых теориею науки. Просим читателя не приписывать нам того направления мыслей, кото- рое ясно отвергается всем ходом нашего изложения. Когда кто- нибудь находит недостатки в настоящем или новом, консерва- тивная толпа возражателей кричит, что он хочет возвратить старину. В большей части случаев крик этот поднимается только от ослепления. Но действительно случается довольно часто и то, что экономические реформаторы или употребляют неосторожные выражения, или даже и на самом деле допускают в своих понятиях примесь предубеждений о достоинствах ста- рины. Например, доказывая неудовлетворительность соперни- чества, выражаются или думают так, как будто лучше его были формы, им вытесняемые. Мы не имеем ничего подобного такому взгляду в своих мыслях и стараемся (не знаем, успеваем ли) выражаться так, чтобы не возбуждать ошибочных мыслей в этом отношении. Настоящее нисколько не представляется для нас удовлетворительным; новое не представляется идеалом совер- шенства. Но, кажется, ясно бывает из наших слов, что мы су- дим тут по требованиям науки, по средствам, какими снабжает она человека, а не по старинному еще менее удовлетворитель- ному быту. Не о том речь, лучше ли старого новое, удовлетво- рительнее ли настоящее прошедшего; речь о том, не следует ли искать еще лучшего и не имеет ли человек уже и теперь средств ввести в свой быт принципы, которые были бы на столько же лучше нынешних, на сколько нынешние лучше каких-нибудь чисто варварских старинных. Например: если мы видим, что положение наемного работника неудовлетворительно, а работа

его слишком неуспешна, разумеется, тут нет у нас ничего подобного пристрастию к какой бы то ни было форме невольничества, — наемный труд гораздо лучше невольнического, тут и рассуждать нечего, это доказывается в каждом курсе политической экономии, — нет, у нас в виду другое положение, положение хозяина. Точно так же мы говорим о принципе соперничества. Его недостатки — недостатки не по сравнению с патриархальными формами расчета, а с теми формами, каких требует разум.

Посмотрим же, удовлетворительно ли действуют даже те стороны соперничества, в которых состоит его преимущество над патриархальными формами расчета.

Оно облегчает производителю узнавать усовершенствования, сделанные в производстве другими и оценивать их. Но каким способом получают эти сведения? — прямым ли, самым ли простым и верным? Простота и верность способа, конечно, требуются теорией. Простейший и вернейший способ распространения сведений об известном деле — то, когда человек знакомится прямо с самим делом, а не с одними его результатами. Например, что лучше и выгоднее: знать тот факт, что известный производитель разбогател или сверх того знать также метод производства, которым он разбогател? Знать, что английские стальные инструменты хороши или знать метод их выделки? Соперничество знакомит только с результатом, а не с методом, которым достигается результат. Это — своего рода Пинетти³³: извольте смотреть, вот какие удивительные вещи умеет делать этот искусник; а как он их делает, какие приемы употребляет и по какому методу развил в себе способность к таким приемам, этого вы извольте доискиваться сами. Да, соперничество держится метода секретности. То, что уже придумано одним, должны придумывать после него еще сотни тысяч лиц. Экономно ли это? Способ распространения сведений по принципу соперничества неудовлетворителен. При неудовлетворительности способа, по которому распространяются сведения, конечно, должны быть неудовлетворительны и средства к практическому их применению. Лучше всего устраивается дело человеком, научившимся устраивать его. Моя польза в том, чтобы становился моим руководителем тот, кто искуснее меня. При соперничестве практическое искусство — такой же секрет, как и теоретическое знание. Кто выучился пользоваться изобретением, выгода того требует, чтобы другие как можно дольше не пользовались им. Мы не говорим о вещах нечестных (и очень убыточных для общества), до которых слишком часто доводит такое отношение: фабрикант старается мешать другому в заведении фабрики, ремесленник старается расстроить дела другого ремесленника; тут бывают бесчисленные интриги, обманы и т. д. Обратим внимание лишь на те черты дела, которых необходимо держаться ка-

ждому производителю, как бы ни был он честен. Он стал бы действовать во вред себе, то есть изменил бы своей обязанности к своему семейству, если бы помогал другим производителям принять усовершенствованный процесс, следовать которому научился. Он в положении нашей знахарки, лекарство которой теряет силу, как только она научит кого-нибудь другого его употреблению. Таким образом при соперничестве искусство должно осуществляться неискусными руками, знание должно распространяться незнанием.

Каковы способы и средства, точно такова же и норма оценки. Она ставится вне предмета, в его случайной принадлежности, — в продаже и в цене. Об этом мы уже говорили, заметили, что связь между стоимостью предмета и его продажной ценою слишком не верна, а для успешности производства необходимо, чтобы расчет производился по стоимости предмета.

Таким образом принцип соперничества действует далеко неудовлетворительно в облегчении производителю знакомства с усовершенствованиями и суждения о них; точно так же действует он и в том отношении, чтобы ставить производителя в необходимость руководиться в производстве приобретенным знакомством с улучшениями. То правда, что руководиться этим знакомством производитель будет принужден при соперничестве, но в каком смысле необходимо ему руководиться знакомством с улучшениями, в хорошем или дурном, в выгодном или убыточном для общества смысле, этого принцип соперничества не решает или, лучше оказать, часто решает это в убыточном смысле. Он внушает только ту заботу, чтобы производить успешнее других, иметь преимущество над другими; это преимущество достигается худою успешностью работы других, точно так же, как и усилением успешности собственной работы. Если взять верх усовершенствованием собственной работы нетрудно, производитель будет заботиться об этом; если же это окажется ему трудно, он обращается к легчайшему способу, — старается мешать другим.

Мы рассматривали неудовлетворительность принципа соперничества с теоретической точки зрения, излагали его недостатки в отвлеченных понятиях. Какими результатами отражается теоретическая неудовлетворительность его на практике, очень подробно изложено во многих книгах. Каждый читатель знаком с этою практическою стороною: промышленная неприязнь между разными странами, разными провинциями одной страны, разными производителями одной провинции; экономическая неприязнь между сословиями; слишком рискованные обороты, кончающиеся промышленными кризисами, — обо всем этом говорили мыслители, после которых наши слова о том же были бы слишком слабы. Мы хотели обратить внимание чи-

тателя на то, что все эти вредные явления практической жизни коренятся в самом принципе, в самой логике соперничества, никак не могут быть устранены от него, и обратим внимание лишь на одно из этих практических отношений по элементу, который с особенной силою выставляется Миллем при каждом удобном случае.

Курс Милля весь проникнут глубоким сознанием важности мальтусовой теоремы. Если размножение идет быстрее, чем следовало бы по прогрессу промышленного развития страны, масса населения необходимо терпит нужду; положение массы может улучшиться только тогда, если сократится размножение, — вот мысли, которые постоянно твердит Милль. Мы старались доказать, что коренная причина нужды теперь не в чрезмерности размножения, а в элементах, более фундаментальных; что при устранении этих элементов, зависящих от самого человека, размножение ни теперь, ни в течение долгих веков еще не могло бы вредить благосостоянию массы. Но если эти элементы остаются, то Мальтус вполне прав. Когда человек нездоров, ему необходимо воздерживаться от пищи, которая была бы не вредна, а здорова ему, здоровому. Так, при нынешних экономических отношениях вредно обществу размножение. Посмотрим же, какую связь с размножением имеет принцип соперничества.

Соперничество имеет в виду цену. Цена продукта складывается из разных элементов, из которых большая часть в последнем анализе оказывается только видоизменением рабочей платы. Следовательно, при соперничестве все наниматели труда влекутся понижать рабочую плату. Рабочая плата определяется уравнением запроса и снабжения. Чем больше людей, ищущих работы, тем ниже рабочая плата; следовательно, прямая выгода каждого нанимателя труда состоит в том, чтобы людей, ищущих работы, являлось как можно больше, то есть чтобы простонародье размножалось как можно быстрее. Смотрите же теперь, какое противоречие: чтобы улучшилось положение работника, должно уменьшиться размножение; чем меньше будет масса простонародья, тем лучше будет каждому простолюдину; но чем больше будет размножаться простонародье, тем выгоднее нанимателю труда; следовательно, на сколько размножение убыточно целому обществу и каждому простолюдину, на столько же оно выгодно сословию, господствующему над экономическими явлениями.

Почему Милль не выставляет этот результат соперничества так же настойчиво, как выставляет мальтусову теорему? Просто потому, что он не надеется на возможность формы экономического расчета, которая заменила бы собою соперничество. Надо действительно сказать, что практическое принятие обществом такой формы экономического расчета, которая была бы

удовлетворительнее соперничества, — дело очень трудное при наших привычках, требующее очень большого прогресса в понятиях и обычаях. Это мы должны видеть из характера тех самых недостатков, которые нашли в соперничестве.

Коренной недостаток соперничества тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его (не стоимость, а цену). Следовательно, чтобы принцип соперничества заменился хорошою формою расчета, нужна очень твердая привычка судить о вещах по их натуре, а не по внешним признакам или случайным последствиям. Чтобы сознательно и твердо держаться такого принципа, людям нужно приобрести гораздо большую твердость мыслей, чем к какой способно теперь огромное большинство не одних простолюдинов, но и образованных сословий. Если бы не существовало в массе общества элементов, сильно ведущих к такому укреплению, надобно было бы сказать, что перспектива эта слишком еще далека от нашего времени. Но существуют экономические элементы, сильно помогающие прогрессу расчетливости, требуемой теориею. Общество разделяется в экономическом отношении на две части. Одну, конечно, всегда малочисленную по количеству, составляют люди, из которых у каждого доход получается в последнем анализе не столько от его собственного труда, сколько от поступления в его пользу части труда нескольких или многих других людей. Человеку в таком положении невыгодна была бы оценка вещей и заслуг по их сущности. Весь или почти весь доход его извлекается из преувеличенной оценки его трудов или заслуг по какому-нибудь предубеждению, или по рутине, или по какому-нибудь фальшивому признаку. Не таков интерес другой, несравненно многочисленной части общества, составляемой людьми, из которых каждый не только не получает в свою пользу часть труда или продукта других, но и продуктом своего труда или заслуг пользуется не вполне, оставляя большую или меньшую долю его в пользу кого-нибудь из первой части общества. Для человека, который должен рассчитывать лишь на свой труд, лишь на свои действительные заслуги, оценка вещей по их существенному достоинству выгодна. Как только кто из таких людей приобретает привычку мыслить, он влечется своими мыслями к переоценке предметов по их сущности, находя под возбуждением личного интереса неосновательными те оценки, какие установились по интересу классов, живущих чужим трудом. Необходимость честной трудовой жизни делает человека нерасположенным к обольщению. А масса нации в каждой цивилизованной стране просвещается теперь если и не с восхитительною быстротою, то все-таки довольно заметно, и не очень далеко время, когда она приобретет способность судить о вещах своим умом по своим интересам. Соразмерно успехам ее умственной

жизни, будет входить в экономические дела и норма расчета, сообразная с выгодами человечества.

Другой недостаток соперничества, — то, что оно, кроме хорошего способа приобретать выгоду, оставляет человеку и противоположный, дурной способ: человек выигрывает при соперничестве не только от успешности своей работы, но и от неуспешности работы других. Очевидно, что этот второй вред происходит из первого коренного недостатка, о котором мы сейчас говорили. Существенное достоинство предмета находится в качествах самого предмета, а не в том, лучше или хуже его другие предметы того же разряда. Говорят: «годность предмета узнается по сравнению». Действительно, но по сравнению с чем? С требованиями, какие надобно иметь от этого предмета, с потребностями человеческой природы, которые должны быть удовлетворяемы этим предметом: Хорошая ли для торговых дел река — река Темза? Очень хорошая, потому что самые большие суда ходят по ней свободно, и настолько она широка, что просторно на ней всем судам, сколько бы ни пришло их. После этого какая же надобность рассуждать, что Миссисипи гораздо шире Темзы, а какая-нибудь речка Безъимянка гораздо уже и мельче ее? От этих сравнений Темза нисколько не оказывается более удобною или менее удобною для торговли, чем без них. Хорошая ли река — река Темза по снабжению людей водою для питья? Решительно негодная река, потому что вода в ней грязная и вонючая. Что же может она проиграть в этом отношении чрез сравнение с Невой, в которой вода для питья прекрасная? Ведь и без этого сравнения вода Темзы уже оказывалась совершенно непригодною для питья. Или что она выиграет от сравнения с той же речкой Безъимянкой, которая завалена навозом, так что вода в ней не просто грязная и вонючая вода, а густейший навозный настой? Разве меньше грязи и вони будет в воде Темзы, если мы скажем, что существуют речки, еще более вонючие? Норма сравнения для предмета — потребности того человеческого дела, на которые должен служить предмет. По степени свой пригодности к делу предметы одного разряда распределяются на хорошие и дурные, очень или просто хорошие или дурные. Но самое отношение известного предмета к делу, то есть существенное достоинство этого предмета нимало не выигрывает и не проигрывает от того, много ли предметов находится в классах высших, чем он, и в классах низших, чем он. Вам угодно судить об этом куске сукна, продающегося по два рубля за аршин. На что вам нужно это сукно? На то, чтоб иметь платье теплее бумажного, или полотняного, или шелкового? Если так, вы не найдете сукна, которое лучше этого куска удовлетворило бы вашей надобности: оно плотно, прочно, нетяжело, мягко. Всеми этими качествами обладает оно, если говорить практически, в совершенстве. Сравняйте

его с каким хотите сукном, эти его качества не увеличатся и не уменьшатся. Рассматривайте со всевозможною внимательностью самый этот кусок, чтобы убедиться в его качествах, а сравнивать его ни с сермягою, ни с высшими сортами сукна нет вам никакой надобности.

Или нет, есть надобность: надобно удостовериться, стоит ли он по 2 рубля аршин. Но эта надобность не принадлежит к сущности дела; она происходит оттого, что вы не знаете ни стоимости этого сукна, ни того, правильно ли назначается купцом цена. Следовательно, чтобы судить о продукте по его собственным качествам, а не по сравнению с другими предметами того же рода, нужны два условия: надобно, чтобы производство предмета велось открыто, как ведутся счетные книги акционерных обществ; надобно также, чтобы предметы оценивались столь же открыто по этой явной для всех стоимости. Вот условия, без которых невозможно замещение принципа соперничества формою экономического расчета, более удовлетворительную. Чтобы производство велось открыто, для этого нужно, чтобы сам потребитель был хозяином-производителем. Счеты по коммерческому делу открыты лишь хозяевам дела. Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, для этого опять нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, то есть опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешних формах производства, при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность. Подумайте только: ведь тут предполагается, что кто пашет землю, тот имеет на своем столе хлеб, лучше которого нет ни у кого в целой нации; а кому угодно носить бархатное платье, тот сам должен сидеть за станком, чтобы выткать бархат (мимоходом говоря, надобно думать, что при таком условии мало нашлось бы охотников до бархата). Читателю известны формы экономического устройства, посредством которых должны быть достигнуты эти условия. Тут главное дело в том, чтобы работники приобрели искусство сами управлять предприятиями, в которых работают: цель новых форм та, чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами; а хозяин, разумеется, должен сам иметь неослабный надзор за предприятием и за всеми его людьми, которые заведывают тою или другою стороною его. При нынешнем своем развитии большинство простолюдинов, даже и в передовых странах, еще слишком мало подготовлено к этому. Но и здесь опять мы должны сказать, что время подготовки значительно сокращается очевидностью большой выгоды новых форм для простолюдинов.

После этих разъяснений уже сам собою ясен становится характер той высшей формы экономического расчета, которою должно заместиться соперничество, когда заинтересованные в

этой замене сословия приобретут самостоятельность мысли и привычку к ведению промышленных предприятий. Нормой расчета по требованию теории должна быть самая сущность рассчитываемого дела, то есть стоимость продукта. Производители, работая сами на себя, будут, конечно, соображать не случайную принадлежность продукта, цену, потому что главная масса их продуктов вовсе и не пойдет на рынок, не будет выходить из их рук, стало быть, и не будет искать себе цены; работая на собственное потребление, они будут соображать коренные элементы дела: мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами на удовлетворение разных своих надобностей? Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее <настоятельных> или более настоятельных. Чтобы яснее было, рассмотрим гипотетический случай.

Предположим, что существует акционерное общество, состоящее из 2 000 населения, в числе которых находятся 500 взрослых работников. (Мы для краткости будем считать труд работника представителем труда и работницы и детей или стариков, составляющих одну единицу домашнего быта с этим работником). Предположим, что, за исключением праздничных дней и болезней, приходится 300 рабочих дней в году на человека и что рабочий день считается в 10 часов.

В таком случае общество имеет в течение года 1 500 000 рабочих часов. Вот фонд, которым оно располагает на удовлетворение своих надобностей. Теперь следует ему сообразить свои потребности.

Пища, едва достаточная на поддержание жизни (скудная по количеству, дурная по качеству), может быть произведена количеством труда 100 часов на человека; для снабжения целого общества такою пищею потребуется 200 000 рабочих часов. Для снабжения человека изобильною и разнообразною пищею хорошего качества нужно вдвое больше труда, 200 часов на человека или 400 000 на общество. Для доставления роскошного стола с разными прихотями нужно еще вдвое больше труда, 400 часов на человека, 800 000 часов на общество.

Постепенное обзаведение хорошими жилищами и ремонт их, вместе с топливом, требует 150 часов на человека или 300 000 на целое общество. Очень дрянные жилища, кое-как отапливаемые, потребуют втрое меньше труда, 50 часов на человека, 100 000 на общество; а роскошные жилища — втрое больше, 450 часов на человека, 900 000 на целое общество.

Для снабжения человека порядочною одеждою в нужном

количестве надобно 100 часов на человека, 200 000 на целое общество. Если людям ходить оборванными или полунагими, на это потребуется труда вчетверо менее, по 25 часов на человека, 50 000 на общество. Роскошные наряды будут стоить труда, в четыре раза большего, 400 часов на человека, 800 000 на целое общество.

Соединяя в одну статью все мелкие надобности домашнего быта, мы положим, что на порядочное удовлетворение их нужно 50 часов работы на человека, 100 000 на целое общество; но кое-как перебиваться можно количеством работы, в пять раз меньшим: 10 часов на человека, 20 000 на общество; а роскошь в этих мелких потребностях будет требовать труда в пять раз большего, то есть 250 часов на человека, 500 000 на общество.

Но кроме домашних надобностей каждой отдельной группы близких между собою людей есть надобности целого общества; например, ему нужны общественные заботы о воспитании, о путях сообщения, об охранении продуктов и лиц. Скучное удовлетворение этим надобностям обойдется в 20 часов на человека, в 40 000 на общество; хорошее удовлетворение потребует труда, в 5 раз большего, то есть 100 часов на человека, 200 000 на целое общество. При роскошном удовлетворении понадобится, конечно, еще гораздо больше труда, но тут всякая излишняя трата против того, что нужно для хорошего удовлетворения — уже, очевидно, бывает не удовлетворением общественных надобностей, а просто общественным дурачеством; и вот открывается еще один предмет, стоящий расходов труда.

Общественные дурачества. По предметам действительной общественной надобности сюда принадлежат, как мы сейчас сказали, расходы на придание делу фальшивого блеска, бесполезного или даже вредного для дела. Но гораздо обширнейший предмет расхода составляют по разряду общественных дурачеств дела, не только при излишней роскоши исполнения, но и при всяком исполнении, скучном, посредственном, роскошном, прямо вредное благосостоянию общества: например, расходы на приобретение перевеса над другими обществами в могуществе или политическом влиянии, главным образом войны с разными своими принадлежностями. При хорошем общественном расчете таких дурачеств вовсе не делается. Самое скучное удовлетворение таким дурачествам обходится очень дорого, положим, в 200 часов на человека, 400 000 на целое общество; а роскошное удовлетворение обходится несравненно дороже, например, 500 часов на человека, 1 000 000 на целое общество.

Вот теперь мы имеем данные для соображения расходов, каких потребует удовлетворение общественным надобностям и прихотям в разных степенях.

Общество имеет на удовлетворение своим надобностям и желаниям 1 500 000 часов. Стало быть, о роскошном удовлетворении потребностей в полном их размере нечего ему и думать: разумеется, при нынешнем состоянии понятий и привычек роскошь приятнее простого изобилия; но что же делать, когда недостает для нее средств? Ведь если бы общество из любви к роскоши в домашнем быту и удержалось от всяких общественных дурачеств, если бы оно пожертвовало для той же цели и всеми общественными надобностями, все-таки на одну роскошь

	Скучное удовлетворение		Хорошее удовлетворение		Роскошное удовлетворение	
	На человека	На общество	На человека	На общество	На человека	На общество
Пища	100	200 000	200	400 000	400	800 000
Жилище	50	100 000	150	300 000	450	900 000
Одежда	25	50 000	100	200 000	400	800 000
Мелкие домашние надобности	10	20 000	50	100 000	250	500 000
Общественные надобности . .	20	40 000	100	200 000	100	200 000
Общественные дурачества . .	200	400 000	»	»	500	1 000 000
Итого . .	405	810 000	600	1 200 000	2 100	4 200 000

в домашнем быту понадобилось бы 3 000 000 часов, — вдвое больше, чем имеет общество. Но свои 1 500 000 часов оно может распределить по удовлетворению разных надобностей и желаний очень различными способами. Например, оно может расположить дело таким манером:

Пусть одна десятая часть членов общества (200 человек) имеет полную роскошь в своем домашнем быту; для этого нужно по 1 500 часов на человека, следовательно, на 200 человек 300 000 часов

Пусть вдвое большее число людей, то есть 400 человек, или две десятые доли общества, живут в домашнем быту изобильно; для этого нужно по 500 часов на человека, то есть на 400 человек 200 000 »

Остальная масса общества, то есть семь десятых частей его, или 1 400 человек, пусть живет в домашнем быту скудно; для этого нужно по 185 часов на человека, то есть на 1 400 человек 259 000 »

Общественные надобности пусть удовлетворяются скудно, на это нужно 40 000 »

Всего из 1 500 000 часов расходуется на эти предметы 799 000 »

Следовательно, остается на общественные дурачества . 701 000 »

Вот таким манером обыкновенно и распределяется общественный труд, когда дело ведется без точного соображения рас-

ходов со средствами, без внимания к степени настоятельности той или другой человеческой надобности, по безрасчетным прихотям, по всяким случайным капризам. Общий вид истории до сих пор был в этом роде, лишь с очень немногими, да и то почти во всех случаях кратковременными отступлениями от обычной безрасчетливости. Тут не надобно нисколько винить человеческую натуру; да и размер общественных средств тут виноват лишь в обществах совершенно диких и еще не познакомившихся с способами придавать труду успешность. В обществах не то, что цивилизованных, а даже и во всех тех, которые успели выйти хотя из грубейшего дикарства, стали оседлыми, земледельческими, — не только в нынешней Англии или в Германии, а даже в Англии IX века, в Германии X века, в нынешней Персии, в нынешней Малой Азии труд по степени своей внутренней успешности уже мог бы содержать общество в благосостоянии, а человеческая натура опять-таки не виновата, если дело выходит плохо, когда человек действует безрасчетно, наудачу: тут виноват только недостаток расчета. Как бы ни был умен, распорядителен, деятельен банкир, как бы ни был он скромнен в личных своих расходах, осторожен и добросовестен в своих операциях, его дела тотчас расстроятся, он обанкротится сам и разорит всех имевших с ним дело, если ведет дела без бухгалтерских книг, полагаясь на одну свою память и сообразительность. А общественное хозяйство несравненно обширнее, многосложнее всякого банкирского дела. Наугад, по памяти, по глазомеру можно вести лишь свое частное хозяйство человеку, у которого оно очень невелико, да и у него, как бы благоразумен ни был он, часто будут оказываться в хозяйстве прорехи, если не ведет он прихода-расходных книг. А таких книг еще ни в одном обществе не заведено. Сколько рабочих сил находится, положим, во Франции? Это никому не известно; говорится об этом лишь наугад, в таком роде: число взрослых мужчин, способных к работе, вероятно, около 9 000 000, а может быть, только 7 000 000; из них производительным трудом занимаются четыре пятых части, а может быть, только три пятых части; число взрослых здоровых женщин, помогающих труду, может быть, таково же, а может быть, и гораздо меньше, потому что слишком многие женщины даже и в рабочем классе отвлечены от дельной работы хлопотами, в которых труд тратится слишком безуспешно; а может быть, число женщин, помогающих мужчинам в дельной работе, и больше мужчин, занятых ею, потому что женщина не берется в солдаты, не берется в бюрократические должности; стало быть, число женщин, работу которых надобно считать производительной, можно считать от 3½ милл. (половина из 7 милл.) до 8 милл. (восемь девятых частей из 9 миллионов); отношение успешности труда этих женщин к труду мужчин можно считать только за одну половину единицы мужского

труда, а можно считать и за три четверти. Посмотрите же, какая удовлетворительная точность получается из этих глазомерных соображений:

Производительных работников во Франции		
от	$(7\ 000\ 000 \times 0,6 =)$	4 200 000
до	$(9\ 000\ 000 \times 0,8 =)$	7 200 000
Труд женщин, участвующих в производительном труде,		
составляет таких же единиц труда		
от	$(3\ 500\ 000 \times 0,5 =)$	1 750 000
до	$(8\ 000\ 000 \times 0,75 =)$	6 000 000
<hr/>		
Итого Франция имеет единиц производительного		
труда от		5 950 000
до		13 200 000

Какой прочный фундамент для хорошего ведения дел! Как вы полагаете, может ли хорошо вести свои дела негоциант, который, задавая себе вопрос: «как велик мой капитал?», умеет ствечать себе только: «не знаю, а вероятно, не меньше 60 тысяч и не больше 130 тысяч»; который, спросив себя: «сколько у меня работников на фабрике?», умеет отвечать себе только: «не знаю хорошенько, а должно быть, не меньше 600 и не больше 1 300», — как вы полагаете, могут ли хорошо идти экономические дела этого негоцианта, и отчего идут они плохо? Оттого ли, что работники у него — плохой народ, или оттого, что капитал у него мал? Нет, работники, может быть, очень хороши и капитал достаточен; вся беда оттого, что он не соблюдает первого условия экономических дел, — не ведет счетов.

Что мы говорили о расчете рабочих сил, которыми располагает общество, точно то же надобно сказать и о количестве труда, требующегося на хорошее удовлетворение той или другой потребности. Спросите, кого хотите, никто не умеет сказать вам, сколько рабочих дней нужно, чтобы производить обильное снабжение всех серьезных надобностей для известного числа людей. Только по постройке жилищ делаются сметы подобного рода архитекторами, да и тут счет не доводится до конца: считается, сколько рабочих дней должны употребить на постройку дома каменщики, столяры, кровельщики — работники, прямо трудящиеся над этим домом; а какого количества работ стоит ремонт орудий, ими употребляемых, и производство материалов постройки, этого никто не считает: кирпич, лес, железо вносятся в смету не количеством рабочих сил, каких стоили, а своею рыночною ценою; ремонт орудий не составляет особенной статьи, а без всякого расчета входит в оценку рабочей платы. Стало быть, и по постройке жилищ не подведен расчет способам, какого требует наука. Но ведь постройка жилищ — лишь одна часть расходов труда на этот предмет: нужен ремонт построен-

ных жилищ; по этой статье расхода не составляются полным образом сметы даже и по такой неполной форме, как для постройки.

А по удовлетворению других надобностей домашнего быта ни о чем подобном еще и не думал никто ни из экономистов школы Адама Смита, ни из людей, имеющих прямое влияние на общественные дела. Составлялись бюджеты средних расходов семейства в том или другом общественном положении и сметы доходов его, преимущественно в простонародном быте и в быте мелких чиновников; но бюджеты расхода составлялись по ценам вещей, а бюджеты доходов по вознаграждению в денежном счете; а это все совершенно не то, что нужно сделать.

Не знаем, удалось ли нам возбудить в читателе отчетливое представление о положении дел, нами рассматриваемом. Если удалось, он, пожима плечами, говорит: «чего путного можно ждать при таком отсутствии расчета? Количество средств, какими располагает общество, совершенно неизвестно; количество средств, нужное для удовлетворения той или другой человеческой потребности, в том или другом размере также совершенно неизвестно. Какого тут можно ждать порядка, какой можно ждать рассудительности в экономических делах общества?»

Рутинные политико-экономы нимало не конфузятся этим: по их мнению, и нет надобности ни в каком счете, ни в какой сообразительности обществу: все рассчитывается и улаживается без помощи сознательного рассуждения со стороны общества, естественным действием механизма цен и индивидуальных интересов. Об этом, вероятно, придется нам подробнее говорить, когда будем излагать содержание III-й книги Милля, об обмене. А теперь, не вдаваясь в технические подробности, которым будет место в одной из следующих статей, мы рассудим об основном принципе такого мнения.

Мало ли есть в природе разных естественных сил, действием которых движутся человеческие дела и живет сам человеческий организм; мало ли есть и в самом человеческом организме сил и стремлений, действующих самобытно и без всякого преднамеренного расчета человеческой сообразительности. Что же, есть ли из этих бесчисленных сил природы и человеческого организма хотя одна, которая сама собою, без управления сознательным человеческим соображением, действовала бы так, как нужно для пользы человека? Вот идет дождь, падает роса, сами собою; что же, всегда нива получает от них самих столько влаги, сколько нужно для успешного роста хлеба? Нет, из 100 лет разве в одно ³⁴ время и количество дождя и время сухой погоды расположатся сами собою наивыгоднейшим образом для роста хлеба; в остальные 99 лет дождя падает или больше или

меньше, чем нужно, или не тогда, когда нужно; быть может, в половине этих лет отступления от нужной для человека нормы не чрезмерно велики, и хлебу удастся вырасти порядочно, хотя вырос бы он лучше, если бы в этот раз дождь упал несколькими днями раньше, в другой несколькими днями позже, в этот раз был несколько посильнее, в другой раз не был так силен. А сколько бывает лет очень тяжелого неурожая то от чрезмерной засухи, то от чрезмерного количества дождей? Значит, сила дождя и ясной погоды действует само собою неудовлетворительно для человеческих надобностей. Можете говорить, что человек еще не в состоянии руководить действиями этих сил; но не говорите же, что не нуждался бы он в том, чтобы руководить ими; что они уже и сами собою действуют, как нельзя лучше для него. Да и в том, что еще не может он теперь руководить ими, вы будете правы лишь отчасти: кое-что он уже может сделать, кое-что он уже и делает: он устраивает искусственную поливку, он устраивает дренаж. Разумеется, эти опыты пока еще слабы, ничтожны сравнительно с общей массой нив. Но ведь силы человека растут, скоро он будет в состоянии делать гораздо больше; да и теперь уже мог бы делать значительно больше, если бы употребил на то все силы, какими может располагать, если бы не тратил этих сил на пустяки, если бы научился ценить дела по их истинной важности да не сбивался бы с толку предрассудком, что дескать и само собою все хорошо идет. Возьмите, какую хотите другую естественную силу природы, вы увидите то же самое: каждая действует без всякого постоянного отношения к надобностям человека: иной раз, как нужно для них, в другой раз во вред им, как случится; только чрезвычайно редко случается, чтобы когда-нибудь какая-нибудь сила действовала совершенно так, как нужно человеку, а слишком часто, что она действует чрезвычайно вредно для него. И рассудите сами, может ли быть иначе, когда она действует сама собою, без управления человеком? Разве она берет в расчет его нужды или желания? Бросайте горошину на сомонов круг³⁵, иной раз упадет она и на ту цифру, какой вам хочется, нередко упадет близко к этой цифре; ну, а большею частью как она упадет? Вовсе не так, как вам хочется.

Или вы думаете, что силы самого организма человека не нуждаются в руководстве соображением? Ведь если бы мы не рассуждали об интересе своего здоровья или не рассчитывали неприятных ощущений от излишнего обременения желудка, почти каждый из нас был бы обжорою, почти каждый пьяницею и беспрестанно каждый из нас ел бы и пил бы ядовитые вещества, — разве нет между ними очень приятных на вкус? Посмотрите на ребенка, на бушмена, у которых нет соображения в этом деле: они беспрестанно обжираются, и готовы есть и есть бог знает какую дрянь. Всякая другая потребность орга-

низма, всякое другое стремление человека точно так же нуждается в руководстве соображения. Возьмите расположение к физической любви или к идеальной доверчивости, возьмите добродушие, разговорчивость, — всякая из этих наклонностей делает человеку неисчислимый вред, когда нисколько не руководится рассудком. Да и как быть иначе? Ведь что такое называется соображением, рассудком, расчетливостью? Сложение всех данных, всех фактов и обстоятельств, причин и вероятных последствий; ведь только эта сила соображения — представительница целого человеческого организма со всеми его потребностями, силами и зависимостями от внешней природы; ведь только через посредство ее человек является полным человеком. Все другие силы — частные силы, односторонние, не обнимающие ни всего организма, ни всей его обстановки. Разумеется, по одному данному почти всегда выйдет не то, что сообразно со всею совокупностью данных.

Что же за исключение были бы из общих законов природы и человеческого организма экономические наклонности и привычки действия, если бы каждая из них сама собою постоянно действовала именно так, как полезно для целого человека, если бы действия каждой из них в отдельности не нуждались в подведении к общим выгодам целого организма? Это — слишком неправдоподобное мнение.

Мы видели один из маневров, по которым распределяются общественные силы, когда общество не соображает ни своих средств, ни потребностей. Все эти маневры, несмотря на неограниченное свое разнообразие, имеют точно тот же существенный характер, как и приведенный нами для примера: непременно оказывается недостаток средств в одних частях общества, изобилие в других. Иначе и быть не может при таком порядке дел: откуда же явилась бы соразмерность распределения сил с потребностями, когда неизвестны ни размер сил, ни размер потребностей? Но читатель видел, что с тем же самым размером средств и потребностей общество пользовалось бы полным изобилием, если бы распределяло свои средства рассудительно: в самом деле, на изобильное удовлетворение всех общественных и частных потребностей нужно только 1 200 000 рабочих часов, а общество располагает средствами, равными 1 500 000 рабочих часов, то есть, за полным удовлетворением всех рассудительных надобностей, у него остается еще 300 000 часов в излишке; оно может теперь, удовлетворив своим настоятельным надобностям, располагать этим излишком средств уже как ему угодно, — вот доля, законно представляемая рассудком игре фантазии, страстей, прихотей: за удовлетворением всех ваших нужд, у вас остается излишек; вы, не рискуя быть безрассудным, можете потешать себя на этот излишек, — но не больше, как на него. Из 1 200 000 рабочих часов вы не можете ни одного терять на

безделье или на дурачества, — это воспрещает рассудок, а остающиеся затем 300 000 часов употребляйте, как хотите. Вы можете пожертвовать ими на уменьшение вашего труда: работайте, вместо 10 часов в день, только по 8; или, если роскошь манит вас сильнее, чем отдых, употребляйте два эти лишние часа каждого рабочего дня на производство предметов роскоши.

Вот принцип экономического расчета, поставляемый теориею. Но мы уже несколько раз говорили, что только с изменением форм производства возможно осуществление условий, им требуемых. Главное из этих условий — точный счет общественных сил и потребностей. При нынешних формах производства никак нельзя составить сколько-нибудь удовлетворительной оценки их. Правда, правительства передовых стран уже предпринимают обширные статистические работы с этою целью. Так, в Соединенных Штатах при каждой десятилетней переписи³⁶ перечисляются не только население по возрастам, но переписываются и оцениваются все главные статьи имущества и производства. Не говорим уже о том, что многие и важнейшие из этих статей оцениваются только по денежному счету, слишком неточно выражающему действительные качества предмета. Главная важность в том, что научные, теоретические желания оказываются недостаточными для приведения в известность тех данных, которые стараются тут определить. Дело определяется только самым делом. Что не нужно для дела, то никак не будет исполнено удовлетворительно. Возможно ли, чтобы переписчики или оценщики добивались точных показаний, когда самим людям, к которым обращаются они за сведениями, нет никакой практической надобности хлопотать над точною оценкою своих средств? Да большая часть этих людей при нынешнем порядке производства не могут и оценить своих средств точным образом, по норме, требуемой наукою. Знает ли фабрикант или даже может ли знать он, сколькими часами работы произведен продукт его фабрики? Он мог бы знать только число рабочих дней, да и по ним он не хранит счетов: он хранит счета только по количеству денег, выданных рабочим. А скольким рабочим дням соответствовала эта сумма, он уже не помнит через полгода, быть может, через месяц или даже через неделю; а записки об этом брошены по ненадобности их для его расчетов. Да если б он и хранил эти счета рабочих дней, дело не слишком много подошло бы к точности: сколько часов рабочего дня употребил тот или другой работник ныне, вчера на действительную работу и сколько пропало у него в безделье, и сколько часов он занимался делом с полным усердием и занимался ли им с полным усердием хотя один час в день, — этого не знает хорошенько никто, кроме самого работника, и много-много двух-трех его соседей по месту в фабричной комнате. Смешно требовать и глупо надеяться,

чтобы взрослые люди, вся деловая жизнь которых руководится только расчетом надобности и выгоды, стали терять время на верный счет тому, чего считать нет им надобности или чего не могут они усчитать. Точный счет рабочих сил, точный счет количеству труда, нужному на получение известного продукта, на удовлетворение известной надобности, будет веден лишь тогда, когда на этом счете будет основано производство, которое теперь основано не на нем, а на слишком неверной принадлежности его, цене.

Мы изложили только одну сторону дела — общий принцип его. Каков должен быть или, по всей вероятности, будет способ его осуществления и в каких формах оно осуществится? Способ осуществления в каждом деле много зависит от обстоятельств. Одна и та же цель достигается в иных случаях свободным действием индивидуальных лиц, в других — силою распоряжений общественной власти. О том, который способ лучше сам по себе, не нужно было бы по-настоящему и говорить нам: как мы думаем об этом предмете, должно быть понятно читателю, сколько-нибудь желающему вникать в наш образ мыслей; да и сам по себе вопрос очень ясен. Но в истории слишком часто задача бывает не в том, какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при данных обстоятельствах. Если я сам в силах отстранить человека, несправедливо мешающего мне идти своей дорогой, я сам отстраню его; но если я не в силах отстоять своих прав один, я призову против неправильно мешающих мне вмешательство общественной власти. Из этого еще не будет следовать, что я люблю полицейскую расправу или судебные тяжбы и уголовные процессы; но войдите же в мое положение, что мне делать, кроме этого? Очень может быть, что в некоторых странах, где народ имеет нравы вроде английских и северо-американских, дело исполнится исключительно или преимущественно частным образом. Мало ли что делается в таких странах частными силами? Вот, например, где на свете слыхано, чтобы война велась не правительством, а добровольным соглашением частных людей? а теперь ведется же она так в Северо-Американских Штатах: собираются частные люди и решают, что быть войне. Война объявляется. Собираются частные люди и решают, что столько-то надобно выставить войска, и составляют из себя войско. Соображают они, куда идти войску, и посылают его туда. А правительство только принимает и обнародует факты, совершающиеся не по его инициативе. Мало ли что бывает в иных странах! В Индии, например, растут пальмы, ходят по лесам слоны; следует ли из этого, что во всех странах возможны такие явления? Мало ли что бывает при ином развитии общественных нравов? В свободных штатах Северной Америки, например, девушка может ездить по каким угодно дорогам одна, и не только по дорогам ездить, по боль-

шим улицам в больших городах может ходить одна и не подвергнется оскорблению; а если б и нашелся наглец, который вздумал бы привязаться к ней, не нужен был бы ей родственник или провожатый: каждый посторонний наказал бы негодяя. Следует ли из этого, что во всех странах можно теперь ждать того же? Со временем, о, со временем, конечно, везде так будет, и даже лучше будет; ну, а теперь что прикажете делать в странах, где не так? Нечего делать, приходится родственнику или знакомому сопровождать девушку. «По одежке протягивай ножки», — эта поговорка прилагается не к одним экономическим делам, а ко всяким; впрочем, мы здесь и говорим об экономических делах, к которым она прямо и относится. [Иначе сказать: если ты живешь не в английском, а в тунисском обществе, то и не воображай, что дела будут идти по английскому, а не по тунисскому способу. Иное дело находить, что английское общество лучше, желать, чтобы тунисское стало не хуже его, хлопотать о том, — все это прекрасно; но когда-то еще вашими хлопотами, а главное самим ходом вещей исполнится ваше желание; а до той поры понимайте, в какой среде вы живете, и не воображайте, что уже могут дела в ней идти таким способом, каким еще не могут. Это прилагается почти ко всему континенту Западной Европы. Нравы в нем почти повсюду еще таковы, что ни одно важное дело не обходится без вмешательства общественной власти].

Теперь скажем несколько слов и о формах хозяйства производительного и потребительного, требуемых удовлетворительною формою экономического расчета. Если бы мог стоять дом без фундамента, если бы можно было иметь теплоту в комнатах без печей, разумеется, не было бы никакой надобности ни в фундаменте, ни в печах; а если бы можно было быть сытым без пищи, не нужна была бы и пища. Если бы верная оценка продуктов и разных видов труда по их внутренним качествам, если бы хорошее распределение продуктов, если бы успешнейший ход производства или экономное потребление возможны были без известных форм экономического быта, то, разумеется, не нужны были бы эти формы. Но из перечисленных нами условий национального благосостояния ни одно невозможно без известного экономического устройства. Например, в теории производства мы видели, что для его успешности нужны такие формы быта, при которых каждый работник был бы хозяином, а единица производительного хозяйства должна иметь такой огромный размер, что нужны для ней сотни работников; следовательно, форма производительного устройства должна быть такова, чтобы в каждом предприятии был не один хозяин, а сотни хозяев и чтобы никто не касался дела кроме хозяина, иначе сказать, чтобы всякий касающийся был хозяином его на столько, на сколько касается. Теперь точно такое же требование мы на-

ходим в условиях удовлетворительного экономического расчета. Он возможен лишь тогда, когда каждому потребителю известна точная стоимость потребляемого продукта, количество рабочих сил, употребленных на производство; а это может быть известно лишь хозяину производства; следовательно, каждый потребитель продукта должен быть его хозяином-производителем. А по принципу сочетания труда не только все продукты, нужные для отдельного человека, но и ни один из этих продуктов в отдельности не должен быть произведением работы одного человека, а должен проходить в своем производстве через десятки и сотни рук (чем больше дробятся производительные операции на свои простейшие элементы, тем успешнее идет производство). Стало быть, и тут, вместо отдельного хозяина отдельного продукта, требуется соединение множества людей, занимающихся в своей совокупности производством разных продуктов по разным человеческим потребностям, и притом такое сочетание, в котором каждый участник по труду был бы соучастником в праве хозяйства.

Мы говорим только об общем принципе формы хозяйства, требуемой теориею. О подробностях должны мы будем говорить при обзоре следующих отделов трактата Милля; и — почему знать? — быть может, и станем говорить о них когда-нибудь в противность принятому нами правилу — не говорить о том, о чем должно: ведь человек не ангел и погрешает иногда против правил самых хороших и самых любимых.

В. Формы распределения продукта при принципе частной собственности по принципу соперничества или нормам экономического расчета, еще менее удовлетворительным

Мы говорили о форме экономического расчета, требуемой научною теориею, и на этот раз по своему правилу отказались от изложения той формы распределения, которая происходит из хорошего расчета и о которой по всем соображениям здравого смысла следовало бы нам теперь говорить. Мы, впрочем, и не жалеем об этом: к чему наполнять страницы рассуждениями о том, чего еще нет? ведь несуществующее не существует, стало быть, ничтожно. [Мы доходим до такого оптимизма, что хотим пренебрегать всякою теоретическою истиною, если она не внесена в законы, пренебрегать всяким требованием рассудка, если оно не охраняется полицейскою и судебною властью].

Вы, например, говорите мне, что я не должен расстраивать своего здоровья обжорством, не должен портить судьбу близких мне людей мотовством; я — простите «наую резкость выраженья» — оборачиваюсь к вам спиною: «можете ли вы поддержать силу ваших замечаний судебным порядком? можете ли

представить меня к суду для наказания за образ жизни, который называете вы безрассудным и вредным для меня и для других? Не можете? Так что же мне за охота слушать ваши речи, которые неприятны для меня и которые я называю поэтому глупыми? Я уважаю только закон, да и то лишь когда за законом стоит судебная власть со своими наказаниями и я не могу от них уйти. Пожалуй, я уважаю отчасти и обычай, потому что за обычаем стоит общественное мнение со своими наказаниями, и очень часто с полицейскими наказаниями. Остального ничего я знать не хочу. Так вот и теперь будемте говорить лишь о тех формах распределения, которые существовали или существуют по воле закона или обычая: эти формы уже доказали свою возможность: что делалось или делается в действительности, то, конечно, возможно. А всякие другие формы я называю утопическими мечтаниями и не хочу знать их.

Впрочем, при моем нынешнем расположении духа, понятие утопии становится у меня очень широко: мне кажется, что всякое требование здравого смысла — утопия. «Надобно заботиться о просвещении народа» — утопия! Народ так невежествен, что не чувствует надобности в просвещении: зачем же навязывать ему ненужное? Народ обременен материальной работою, ему некогда просвещаться. «Надобно заботиться, чтобы не было людям причин становиться обманщиками, плутами, ворами» — утопия! Негодяю на роду написано быть негодяем, а честный человек устоит против всяких искушений, даже сильнее разовьет себе честность борьбою против них; да и нельзя устранить этих искушений: когда, в каком обществе не существовало их? да и нельзя сделать, чтобы в обществе не было множества плутов и воров: когда же в каком обществе не было их? Следовательно, все это вздор, подобно мечтаниям о каких-то лучших формах экономического распределения. Займемся исключительно формами, доказавшими свою возможность на практике.

Производство имеет три элемента: землю, труд и капитал; смотря по тому, разделяется владение этими элементами по разным классам или соединяется в одном классе, продукт распределяется между разными классами или весь остается в руках одного класса.

Самая невыгодная из форм экономического устройства — рабство. Все виды обязательного труда сходны в этом отношении со своим первообразом, рабством. Каждый, сколько-нибудь знакомый с политической экономией, очень хорошо знает это, и потому нам нет надобности останавливаться на этом предмете.

При рабстве и разных видах обязательного труда весь продукт принадлежит землевладельцу. Ему принадлежат все три элемента производства: и земля, и капитал, и личность трудя-

щихся. Рабы не получают доли из продукта, а только содержатся своим владельцем, как содержится им домашний скот. Есть несколько других форм, в которых продукт делится между двумя классами, потому что одному из них принадлежат два из трех элементов производства. Одна из этих форм — половничество, до сих пор остающаяся очень распространенной на континенте Западной Европы, между прочим в Италии и многих провинциях Франции. Оно имеет много видов. В одних — земельным капиталом должен запастись сам работник, в других — капитал дается ему от землевладельца, в третьих — известная часть капитала дается от землевладельца, а известную часть должен запастись сам работник; в одних видах половничества уплата от половника землевладельцу производится натурой, в других — деньгами; в одних — она составляет половину продукта (отчего и произошло название половничества), в других — только третью или четвертую часть продукта, а две трети или три четверти остаются у половника. Но общий признак всех видов половничества тот, что доля, отдаваемая половником землевладельцу, определяется не соперничеством, а обычаем. Уже из этого ясно, что половничество может держаться лишь в тех местностях, где новая промышленная деятельность еще не обратилась на земледелие, где оно еще остается в средневековом экономическом положении. Вообще говоря, половники пользуются несколько лучшим, а часто и значительно лучшим благосостоянием, чем наемные земельные работники; но об этой форме устройства мы не будем распространяться, потому что она, очевидно, должна уничтожиться в довольно скором времени и там, где еще удержалась до сих пор, а не то, чтобы могла распространяться на такие места, где не существует. Она заметно и уничтожается, заменяясь или господством хозяйства с наемными работниками или фермованием земли по принципу соперничества, или обращением платы владельцу из известной доли продукта в неизменную сумму, которая уже составляет не то, что форму распределения продукта, а род определенного налога, — только налога, платимого поселением не государству, а частному лицу; через несколько времени (иногда, конечно, очень нескоро) этот налог капитализуется и выкупается.

Итак, половничество — та форма распределения продукта между двумя классами, в которой пропорция раздела определяется обычаем, а не соперничеством. Когда же пропорция раздела земельного продукта между двумя классами определяется соперничеством, то происходят две главные формы раздела: во-первых, хозяйство может вести сам землевладелец посредством наемных работников; во-вторых, хозяйство может вести работник, арендующий землю по принципу соперничества. Первый случай надобно назвать господским хозяйством

с наемным трудом; второй случай очень хорошо знакомый английским политико-экономам известен у них под именем коттерства.

О господском хозяйстве с вольнонаемным трудом Милль говорит очень мало и лишь мимоходом, потому что в Англии оно совершенно неупотребительно. Большие землевладельцы совершенно не способны успешно вести хозяйство, по единодушному отзыву всех английских политико-экономов, очень хорошо знакомых с большим землевладением. Вот что говорит об этом Милль:

Большие землевладельцы повсюду бывают праздным сословием, и если трудятся, то разве в таких отраслях деятельности, которые доставляют больше удовольствия, чем сельское хозяйство, и везде захвачены высшими сословиями. «Напрасно и нерассудительно было бы ожидать, говорит Джонс, чтобы порода знатных собственников, огражденных привилегиями и титулами, привлекаемых к военной и политической карьере выгодами и привычками своего положения, могла когда-нибудь сделаться сословием хороших сельских хозяев». Каждый может сам рассудить, каковы были бы результаты даже в Англии, если бы сельское хозяйство в поместьях велось самими землевладельцами. Мало было бы примеров знания и энергии, довольно много было бы отдельных примеров посредственного успеха, а общее положение земледелия было бы нигде негодно ³⁷.

При обязательном труде форма господского хозяйства владе-
личествуется во многих странах оттого, что тут слишком мало
бывает капиталистов, желающих брать поместья в аренду, а
денежной платы несвободные работники часто не могут вносить
в количестве, какого желал бы владелец. Но с вольнонаемным
трудом эта система хозяйства не может долго удержаться. Если
по уничтожении обязательного труда не производится выкупа
земли законодательным путем или не устанавливается, также
законодательным путем, неизменная рента, а предоставляется
дело влиянию соперничества, то происходит одно из двух: когда
в стране много капиталов и много капиталистов, находящихся
выгоду вести земледельческое хозяйство на свой капитал ком-
мерческим способом, являются капиталисты-фермеры и продукт
делится между тремя классами: землевладельцами, капитали-
стами-фермерами и наемными работниками; а когда нет ни ка-
питала, ни выгоды возникать классу капиталистов-фермеров и
существуют лишь два класса, землевладельцы и вольные работ-
ники, происходит форма, называемая у английских писателей
коттерством. О законах, которым подчинено распределение про-
дуктов в первом случае, мы будем говорить в особенной статье
подробно, потому что эта форма — распределение земледель-
ческого продукта между тремя классами, — принимается в
школе Адама Смита за нормальную, ближе всех остальных форм
экономического быта соответствующую требованиям науки. Со
свойствами второго случая теперь же пусть познакомит нас
Милль, очень основательно рассматривающий его в двух главах

(IX и X гл. II-й книги). IX-ю главу мы приведем здесь вполне, X-ю почти вполне, выпуская из нее лишь немногие небольшие места, не имеющие для нас интереса³⁸.

Общим названием коттерства я обозначаю все без исключения системы, по которым работник снимает землю без посредства капиталиста-фермера, а условия, на которых берет он землю, и в особенности величина ренты определяется не обычаем, а соперничеством. Главный пример этой системы в Европе — Ирландия, из которой и заимствовано слово коттер*. Почти все Земледельческое население Ирландии составляют коттеры; только в Эльстере фермеры, пользующиеся правом вознаграждения (tenant right), служат исключением. Правда, существует в Ирландии многочисленный класс таких работников, которые не могут получить даже и малейшего клочка земли в постоянное пользование, потому что их собственники или фермеры, снявшие землю, не хотят увеличивать раздробление участков. Но по недостатку капитала в Ирландии господствует обычай вознаграждать работника не деньгами, а землею; даже люди, нанимающиеся на время в работники у коттеров или у больших фермеров (где встречаются в Ирландии большие фермеры), обыкновенно получают плату не деньгами, а дозволением на одно лето возделывать себе кусок земли, которая обыкновенно дается им от фермера уже удобренной и называется конэкр. За этот кусок они обязываются уплатить ренту деньгами, часто по несколько фунтов за акр, но в действительности денег не платится, а свой долг зарабатывают они днями по денежной оценке**. По системе коттерства продукт разделяется на две части, ренту и вознаграждение работника; очевидно, что величина одной части определяется величиною другой. Работнику остается то, что не берется землевладельцем. Положение работника зависит от величины ренты. А рента, определяя соперничество, зависит от отношения между запросом на землю и предложением ее. Запрос на землю зависит от числа соперничающих сьемщиков; а такими сьемщиками являются все поселене. Таким образом, система эта имеет своим результатом то, что принцип населения действует не на капитал, как в Англии, а прямо на землю. При этом положении дел рента зависит от пропорции между населением и землею. Но земля составляет определенную величину, а население имеет беспредельную способность размножаться; потому, если размножение не удерживается чем-нибудь, соперничество в запросе на землю скоро поднимет ренту до крайней высоты, при которой только может оставаться в живых народ. Таким образом результаты коттерства зависят от границы, на которой способность населения размножаться удерживается или обычаем, или личным благоразумием, или истощением от голода и болезнями.

Нельзя безусловно сказать, что коттерство решительно ни в каком случае не допускает благосостояния рабочего класса. Если бы возможно было предположить, что оно существует у народа, у которого высокий уровень благосостояния вошел в привычку, который так требователен на житейские удобства, что не станет предлагать за землю ренты, не оставляющей ему хороших средств к жизни; который размножается с медленностью, так что нет в нем

* Словом «коттер» обозначается фермер, снимающий у другого мелкого фермера избу с одним акром или двумя акрами земли; но в экономической литературе значение этого термина давно расширилось, так что он обозначает и мелких фермеров, снимающих землю прямо у землевладельцев, и вообще обозначает всех поселян-фермеров, ренты которых определяются соперничеством. — *Прим. Милля.*

** Конэкрная система вышла из употребления в Ирландии после голода 1846 и 1847 годов. Но она должна сохранить свое место в нашем опыте характеристики коттерства, служа естественной принадлежностью и следствием коттерской системы. Поэтому мы оставили текст в прежнем виде, как он был написан до 1846 года. — *Прим. Милля.*

незаятых людей, поднимающих ренту своим соперничеством, когда увеличение земледельческого продукта от усовершенствования техники не дает народу возможности повысить ренту без вреда для себя, — если бы можно было представить такое положение дел, то при системе коттерства землепашцы могли бы иметь не меньшее вознаграждение, чем при какой-нибудь другой системе, могли бы пользоваться значительным благосостоянием. Но все-таки, при зависимости ренты от произвола, они не имели бы ни одной из тех особых выгод, которые получают по тосканской системе половники от прочного пользования землею. Они не имели бы в своем распоряжении капитала, принадлежащего землевладельцам, и недостаток капитала не вознаграждался бы у них энергическими побуждениями к усердному физическому и умственному труду, существующими в поселянине при неизменности ренты. Напротив, увеличение ценности земли от усердной работы поселянина вело бы только к возвышению ренты во вред ему или на следующий год, или по истечении прежнего контракта. Правда, землевладельцы могли бы иметь честность или расчетливость, чтобы не пользоваться выгодой, какую давало бы им соперничество; но не у всех землевладельцев эта воздержность была бы одинакова. А вообще никак нельзя ожидать, чтобы какое-нибудь сословие стало поступать в противность прямой своей денежной выгоде; и легчайшее сомнение было бы тут почти столь же губительно, как положительная уверенность, потому что, если человек соображает, делать ли ему усилие или пожертвование в настоящем для будущего, то решение повернется против заботы о будущем при самом малейшем риске, что плоды труда или пожертвования будут отняты у него. Единственной оградой от этих сомнений было бы возникновение обычая, обеспечивающего неотъемлемое пользование землею поселянину с возвышением ренты лишь тогда, когда возвышение утверждалось бы общим мнением всего населения. Такой обычай — право фермера на вознаграждение (tenant right), существующее в Эльстере. Значительность суммы, получаемой сменяющимся фермером от его преемника за уступку фермы *, ограничивает круг соискателей людьми, могущими заплатить такую сумму, видно также из этого факта, что землевладелец не вполне пользуется выгодами даже и от такого ограниченного соперничества, потому что рента, им получаемая, не составляет всей суммы, платимой новым фермером. Новый фермер платит прежнему выкуп, в полной уверенности, что рента не будет увеличена; это гарантируется ему обычаем, который не признан в законе, но получает свою обязательную силу от другой санкции, очень хорошо известной каждому в Ирландии **. Без той или иной из этих опор не может в стране, делающей экономические успехи, возникнуть обычай, которым бы ограничивалась поземельная рента. Если богатство и население будут в неподвижном состоянии, то вообще будет в нем и рента; а несколько времени просуществовав без перемен, она, вероятно, станет считаться не подлежащею переменам. Но вся-

* «Нередко фермер, не имеющий контракта, продает просто только привилегию занимать эту ферму, несколько им не улучшенную, за сумму от 10 до 16, даже 20 и даже до 40 годовых платежей ренты с этой фермы» (*Digest of Evidence taken by Lord Devon's Commission, Introductory Chapter*). Составитель этого отчета прибавляет: «тишина, которою пользуется Эльстер сравнительно с другими ирландскими провинциями, может быть приписана преимущественно этому факту». — *Прим. Милля*.

** «В огромном большинстве случаев выкуп — не вознаграждение прежнего фермера за издержки или за улучшения, а просто за страхование жизни или покупки личной безопасности» (*Digest, ut supra*) [См. выше. — *Ред.*] «Нынешний фермерский выкуп в Эльстере надобно считать зародышем состояния арендаторов-собственников» (copyhold), справедливо замечает составитель отчета. — «Если право выкупа нарушено и фермер прогнан без уплаты ему уступочной цены, то вообще следует убийство или поджог» (гл. 8). — «Беспорядки, господствующие в Типперари, и земледельческие заговоры по всей Ирландии следует считать систематизированной войною для получения эльстерского права выкупа». — *Прим. Милля*.

кое увеличение богатства и населения ведет к возвышению рент. При половничестве есть установившийся способ для землевладельца непременно получить часть увеличения в сельскохозяйственном продукте. Но при коттерстве он может получить эту часть только изменением условий контракта, и в прогрессирующем обществе это изменение почти всегда будет выгодно ему. Потому его выгода решительно противна возникновению обычая, придающего ренте неизменную величину.

Где величина ренты не ограничена законом или обычаем, там коттерство имеет невыгоды самого худшего половнического устройства, почти не имея ни одной из выгод, которыми они вознаграждаются в половничестве лучшего устройства. При коттерстве почти все возможности земледелия находятся не в жалком положении. Но положение земледельцев может не быть несчастным. И при этой системе соперничество в запросе на землю может быть сдерживаемо достаточными препятствиями размножению людей; этим может предотвращаться крайняя бедность; привычка к благоразумию и к высокому уровню благосостояния, однажды установившись, может сохраняться. Но и в этих благоприятных обстоятельствах побуждение к благоразумию будет значительно слабее, чем у половников, подобно тосканским, защищенным обычаем от опасности лишиться своих участков. Пользуясь такою защитой, семья половников может обеднеть лишь от собственного неблагоразумия в размножении, а неблагоразумие других семей в этом отношении не повредит ей. Напротив, как бы ни была благоразумна и воздержна семья коттера, рента может быть поднята во вред ей размножением других семей. От этого зла коттеры могут найти себе защиту лишь в том, когда по всему сословию распространено спасительное чувство обязанности или достоинства. Должно сказать, что это чувство может доставлять им значительное ограждение. Если обычный уровень потребностей в целом сословии будет высок, то молодой человек не захочет предлагать ренту, при которой стал бы в положение худшее своего предместника; точно так же может установиться (и действительно установился в некоторых странах) общий обычай не жениться иначе, как при существовании незанятой фермы.

Но дело в том, что никак не представится нам случая рассматривать <результаты> коттерства при положении вещей, когда в привычках рабочего класса укоренилась высокая норма благосостояния. Коттерство встречается лишь там, где обычные потребности сельских работников чрезвычайно низки, где поселяне размножаются до самого предела голодной смерти, где население сдерживается лишь болезнями и недолговечностью от недостатка в необходимом для поддержки физического существования. К несчастью, таково положение огромного большинства ирландских поселян. Когда народ упал до такого положения, когда он находится в нем с незапамятного времени, коттерство бывает почти непреодолимым препятствием ему выдти из этого положения. Когда привычки народа таковы, что размножение сдерживается лишь невозможностью физического пропитания, и когда пропитание получается народом лишь от земледелия, то все условия и договоры относительно величины ренты бывают чисто номинальными: соискательство на землю заставляет снимающих ее обещаться платить более, чем возможно платить, и, уплатив все, что могут, они почти всегда будут оставаться в долгу.

«Об ирландских поселянах, говорит Ривенс, секретарь комиссии, исследовавшей действия законов о бедных в Ирландии (Irish Poor Law Enquiry Commission *); можно сказать, что в каждой семье, не имеющей достаточно земли для своего прокормления, один или несколько человек ходят по миру; из этого легко понять, что поселяне всячески стараются снимать мелкие

* *Evils of the State of Ireland, their Causes and their Remedy*, стр. 10. Эта брошюра содержит, между прочим, превосходный свод показаний из массы свидетельств, собранных комиссией, председателем которой был архиепископ Гуэтли. — *Прим. Милля*.

участки, и предлагаемая ими рента не основывается ни на достоинстве земли, ни на собственной их возможности заплатить обещанные деньги: они просто обещают плату, какую угодно, лишь бы получить участок. Почти никогда не могут они уплатить обещанной ренты и потому, как только вступили в пользование землею, становятся должниками людям, у которых сняли ее. В уплату ренты они отдают весь продукт земли, за исключением картофеля, нужного на их прокормление; но вся эта плата бывает обыкновенно меньше обещанной ренты, потому долг их постепенно растет. Иногда обещанная рента бывает больше всего самого урожайного продукта, какой когда-либо случался на участке, или какой может дать участок в наилучшее лето, при существующей системе обработки; поэтому если поселянин исполнил условие договора с землевладельцем, которых почти никогда не может исполнить, то он возделывал бы землю задаром и еще давал бы землевладельцу премию за пользование возделывать ее. В приморских местах рыбаки, а в северных графствах поселяне, имеющие ткацкий станок, часто платят за землю больше, чем стоит по рыночной цене весь продукт ее. Можно бы предположить, что они стали бы жить несколько лучше вовсе без земли. Но рыбная ловля может прекратиться на неделю или на две; может останавливаться недели на две и запрос на продукты ткацкого станка; в это время они умерли бы с голода, если бы не имели земли, с которой собирают пищу. Редко платят коттеры всю обещанную ренту. Поселянин постоянно находится в долгу у землевладельца; продажей его жалкого имущества — нищенской одежды его и его семьи, двух-трех стульев и нескольких штук глиняной посуды, — продажей всего имущества, находящегося в его жалкой избушке, не покрывшись бы постоянный и вообще возрастающий долг. Почти все поселяне бывают должны уплатою за целый год, и извинением в неисправности бывает у них нищета. Если в какой-нибудь год продукт участка будет больше обыкновенного или как-нибудь получит поселянин какое-нибудь имущество, его благосостояние не увеличится, он не может есть лучше прежнего или больше прежнего, не может прикупить себе мебели и посуды, одеть жену и детей лучше. Все полученное им должно пойти к тому, у кого снимает он землю. Случайное увеличение дохода послужит только к уменьшению его долга, к отсрочке времени, когда его прогонят за неплатеж долга. Но выше этого не должны простирались его ожидания.

Из показаний, собранных комиссией, бывшею под председательством лорда Девона, мы приведем факт, засвидетельствованный Герли, коронным секретарем (Clerk of the Crown) графства Керрийского; из этого показания видно, до какой крайности доходит соперничество в запросе на землю и до какой чудовищной высоты иногда поднимает оно номинальную ренту: «я знаю случай, когда нанималась ферма, дающая в год, как в точности известно мне, 50 фунтов; соперничество подняло цену до того, что она была сдана за 450 фунтов».

При таком положении дел — какую пользу принесет земледельцу, снимающему землю, величайшее трудолюбие, величайшее благоразумие, какой убыток принесет ему безрассудство? Если землевладелец потребует полной уплаты, у коттера не останется хлеба на собственное пропитание. Если чрезвычайным усердием он удвоит продукт своего участка, если по благоразумию не станет рождать детей, он выиграет только то, что больше останется у него на уплату землевладельцу; а если у него будет хотя 20 человек детей, все-таки землевладелец возьмет у него лишь то, что останется за прокормлением его семьи. Из всех людей, живущих на свете, почти один только ирландский коттер в таком положении, что как бы ни поступал он, он не может ни улучшить, ни ухудшить своего положения. Если он трудолюбив и благоразумен, от этого выиграет только его землевладелец; если он ленив или невоздержан, убыток от этого только землевладельцу. Никакое воображение не может представить устройства, при котором было бы меньше побуждений к труду или благоразумию. Тут уничтожены побуждения, управляющие свободными людьми, и не заменены побуждениями, управляющими рабом. Ирландец не имеет ни надежд, ни опасений, кроме опасения быть прогнанным

с участка; а против этой беды он ограждает себя посредством ultima ratio *, оборонительной междоусобной войны. «Рокизм» и «уайтбоизм»³⁹ — вот судьба народа, который может назвать своим лишь тот кусок плохой пищи, который съедает ныне, и не хочет лишаться этого куска в угоду другим.

И после этого люди, претендующие быть нашими наставниками, отсталость ирландской промышленности, недостаток в ирландцах энергии к улучшению своего быта — приписывают особенной лени и беззаботности, свойственной кельтскому племени, — не надобно ли назвать это горькою сатирою на манеру, по которой составляются мнения о важнейших вопросах человеческой природы и жизни? Приписывать разницу в образе действий и в характере врожденному естественному различию, — это самый обыкновенный и пошлый способ из всех пошлых способов уклоняться от надобности принимать в соображение действия общественных и нравственных влияний на человека. Какое племя не стало бы ленивым и беспечным при таком устройстве дел, что предусмотрительность и трудолюбие не приносит никакой пользы? Если племя живет и работает в такой обстановке, удивительно ли, что порожденная ею беспечность и апатия не отбрасываются в один миг, когда представляется случай трудиться с действительною пользою для себя? Очень натурально, что народ, любящий удовольствия и впечатлительный, каков ирландский народ, не так наклонен к рутинному труду, как англичане, потому что жизнь имеет для него много привлекательных сторон независимо от труда; но ирландцы способны к труду не менее своих кельтских братьев французов, не меньше тосканцев или древних греков. Люди впечатлительные способнее всех других одушевляться усердием в работе, лишь бы находили достаточное побуждение к ней. Если люди не работают, когда не имеют побуждений к труду, это еще вовсе не свидетельствует, чтобы они не были способны к трудолюбию. Никто не работает усерднее ирландца в Англии или в Америке, но не работает ирландец усердно, когда он коттер.

Многолюдное население, возделывающее землю в Индии, находится в положении, довольно сходном с коттерством и в то же время на столько различном от него, что сравнение этих двух систем поучительно. В большей части Индии теперь находится, и вероятно всегда находилось, только два сословия, участвующие в разделе продукта: землевладелец и поселянин; землевладельцем вообще бывает государь; исключением служат лишь те случаи, когда государь особенным документом уступил свои права другому лицу, становясь ему его представителем. Но размер уплат, производимых поселянами, или, по индийскому названию, райотами, почти никогда или вовсе никогда не был определяем соперничеством, как определяется в Ирландии. Местные обычаи были до бесконечности разнообразны, и не было такого обычая, который на практике мог бы устоять против воли государя, но всегда было в известном округе какое-нибудь общее правило; сборщик не торговался с отдельным поселянином, а налагал на каждого плату по той же норме, как на других. Таким образом сохранялось понятие, что землепашец имеет на землю право собственности или по крайней мере вечного владения, и возникло аномальное сочетание наследственной принадлежности земли поселянам-фермерам с произвольною властью землевладельца увеличивать ренту.

Когда туземные индийские правители в большей части Индии были заменены моголами⁴⁰, правительство стало действовать по другому принципу. Была произведена подробная перепись земли, и на основании этой переписи был распределен налог, назначавший, сколько с каждого участка должно платиться правительству. Если бы эта норма осталась ненарушимой, районы были бы в довольно выгодном положении поселян-собственников, платящих тяжелую, [но неизменную] ренту. На самом деле было иное. По отсутствию всякого серьезного ограждения от незаконных вымогательств, эта перемена улучшила положение поселян почти только номинальным образом; за исключением тех редких случаев, когда местный правитель был гуманен и энергичен,

* последнего довода. — *Ред.*

поборы не имели на практике никакого предела, кроме невозможности райота заплатить больше.

Таково было положение дел, сменившееся в Индии властью англичан. Английские правители рано почувствовали надобность положить конец этому произвольному характеру поземельного дохода и определить точный предел правительственным требованиям. Они не захотели возвратиться к норме налога, определенной моголами. Английское правительство в Индии вообще мало смотрело на то, как представлялись туземные учреждения в теории, а исследовало только, какие права существовали и уважались на практике, старалось оградить и расширить эти фактические права туземцев. Принцип этот был очень хорош, но долго английские правители понимали факты очень фальшивым образом, грубо ошибались во взгляде на существующие обычаи и права. Ошибки их происходили от неспособности людей обыкновенного ума представить себе общественный быт, радикально различный от быта, с которым они практически свыклись. Англия привыкла к большим поместьям и к большим землевладельцам, и английские правители считали делом несомненным, что Индия тоже имеет больших землевладельцев с большими поместьями; они стали искать класса людей, которые могли бы соответствовать такому понятию, и на глаза им попался род сборщиков налога, называемых земиндарами. «Земиндар, говорит автор научной «Истории Индии» (Mill's *History of British India*, кн. VI, гл. 8), имел некоторые права, принадлежащие землевладельцу: он собирал ренту с известного округа, управлял его земледельцами, жил окруженный блеском, и, по его смерти, наследовал ему сын. Из этого, не задумываясь, заключили, что земиндары были собственниками земли, составляли аристократию, владеющую поместьями в Индии. Но земиндары, собирая ренту, не оставляли ее в своих руках, а за вычетом небольшого процента, отдавали всю собранную сумму правительству, — этого английские правители не сообразили. Не сообразили они и того, что если земиндары управляли райотами, имели над ними во многих отношениях деспотическую власть, то управляли ими не как своими фермерами, не как людьми, снявшими их землю по срочному или бессрочному контракту. Райот владел своею землею наследственно; земиндар не имел права согнать его с этой земли; земиндар обязан был давать отчет в каждом фартинге, полученном от райота; и если он сверх небольшого процента, который предоставлялся ему в плату за труд собрания, удерживал из собранной им суммы хотя одну ану, это было воровством.

«В Индии представлялся нам случай, подобного которому никогда не встречалось в истории, продолжает Милль*. После государя главнейшее право на землю принадлежало самим хлебопашцам. Земиндаров легко было бы вполне вознаградить за их права, то есть за права сборщиков. С целью улучшить земледелие было принято великодушное решение пожертвовать правами собственности, какие имел государь. Английские правители справедливо находили, что право собственности сильно возбуждает людей к усовершенствованию земледелия; это право можно было дать людям, на которых оно действовало бы несравненно сильнее, чем на людей всякого иного класса, дать его людям, которые во всех странах необходимо бывают главными деятелями в земледельческих усовершенствованиях, — дать это право тем самым людям, которые возделывают землю. Такая мера была бы достойна считаться одним из величайших благодеяний, когда-либо оказанных какой-нибудь стране, она вознаградила бы индийский народ за бедствия, которым так долго подвергался он от дурных правительств. Но законодателями были английские аристократы и они поступили по аристократическим предвзвешенностям» (Mill's *History of British India*, кн. VI, гл. 8).

Принятая ими мера оказалась совершенно неудачною по отношению к результатам, которых ждали от нее благонамеренные законодатели. Не при-
выкнувши соображать видоизменения, каким подвергается действие известного

* Джемс Милль, автор «Истории Британской Индии», цитуемой здесь автором «Оснований политической экономии», отец его.

учреждения в разных местах даже одного королевства, они воображали, что создали в бенгальских областях английских землевладельцев, а на деле оказалось, что они создали ирландских землевладельцев. Новые поземельные аристократы обманули всю надежду, возлагавшуюся на них. Нисколько не заботясь об улучшении своих поместий, они позаботились быстро разорить самих себя. Правительство не приняло на себя труда дать землевладельцам возможность не бояться последствий расточительности, как сделало в Ирландии, и всю землю в Бенгале пришлось секвестровать и продать за долги или неплатеж податей; в одно поколение исчезли почти все прежние землевладельцы. Теперь занимают их место другие фамилии, большую частью потомки калькутских банкиров или туземных чиновников, и живут такими же бесполезными трутниами на земле, отданной им. Правительство пожертвовало своими денежными выгодами для создания этого класса; пожертвование оказалось совершенно напрасным или прямо вредным для страны.

В тех частях Индии, где британская власть установилась позднее, англичане не сделали такой ошибки, не подарили бесполозному сословию больших землевладельцев государственного дохода. Почти во всем мадрасском президентстве и в некоторой части бомбейского президентства рента платится прямо правительству самими землепашцами. В северо-западных провинциях правительство заключает условия со всею сельскою общиною, определяя, сколько должен платить каждый земледелец, но соединяет их общою ответственностью друг за друга в недоимках. При всем том в большей части Индии землепашцы не получили вечного пользования с платежом неизменной ренты. Правительство ведет свое хозяйство по принципу, по которому хороший ирландский землевладелец поступает в своем поместье: оно не подвергает землю соперничеству, не хочет брать с хлебопашцев всего, сколько обещались бы они платить, а само определяет, сколько они в состоянии заплатить, и ограничивается этим в своем требовании. Во многих округах есть землепашцы, считающиеся фермерами других землепашцев, которые называются наследниками первоначальных поселенцев или завоевателей деревни; правительство обращается со своими требованиями только к этим поселянам, число которых бывает во многих местах велико. Рента определяется иногда только на один год, иногда на три года, или на пять лет, но повсюду правительство стремится ныне ввести контракты с долгими сроками, доходящими в северных провинциях Индии до 30 лет. Этот порядок дел существует еще не так много времени, чтобы опыт мог показать, в какой степени слабее вечного пользования действуют долговременные контракты относительно развития в землепашцах побуждений к усовершенствованию. Но системы годичных условий и контрактов на недолгий срок уже безвозвратно осуждены. Эти системы могут назваться успешными только по сравнению с прежними безграничными поборами. Никто их не одобряет, и с самого начала считались они только переходными мерами, которые предполагалось прекратить, когда полнейшее знакомство с средствами страны доставит данные для более прочного устройства.

Когда составлялось мною и печталось первое издание этой книги⁴¹, настоятельнейшим из всех практических вопросов для английского правительства был вопрос, что делать с коттерами. Большинство населения, простиравшегося до 8 миллионов человек, долго страдало в безнадёжной апатии и крайней нищете под господством коттерства, было доведено им до того, что кормилось самую плохую пищу и не имело ничего кроме этой пищи, было доведено до неспособности сделать что-нибудь или захотеть чего-нибудь для улучшения своей участи; наконец неурожаем своей плохой пищи оно было повергнуто в состояние, при котором не оставалось ему ничего иного, как или умереть с голоду, или содержаться чужим пособием, или перейти к другому экономическому устройству, радикально различному от несчастного устройства, под которым жило оно до той поры. Такое положение дел привлекало к себе внимание законодательной власти и нации; но трудно сказать, что законодательство и нация успели разрешить вопрос. Бедствие происходило от системы поземельных отношений, отнимавших у народа вся-

кие побуждения к труду и бережливости, кроме побуждения, даваемого страхом голодной смерти; а средство, придуманное парламентом, уничтожало и это побуждение, давая народу законное право жить милостынею. Для отстранения причины зла не было сделано ничего; ограничили пустыми жалобами, купив отсрочку решения 10 миллионами фунтов стерлингов из национальной казны.

«Нет надобности (замечал я тогда) тратить доказательства на то, что коренная причина экономических бедствий Ирландии находится в системе коттерства, что ожидать трудолюбия, полезной деятельности, каких-нибудь других задержек размножению, кроме смерти, ожидать хотя какого-нибудь уменьшения бедности в народе, когда землепашцы этого народа платят ренты, определяемую соперничеством, — значит, ждать смокв от репейника и гроздов от терновника. Если наши государственные люди еще не созрели до понимания этого факта, или, признавая его в теории, они еще не так осязательно чувствуют его практическую силу, чтобы основать на нем свой образ действий, то существует чисто материальный аргумент, уклониться от которого не найдут они возможности. Если единственное растение, которым до сих пор питался народ, будет давать плохие урожаи и в следующие годы, то нужен будет какой-нибудь новый сильный толчок земледельческому искусству и трудолюбию, или ирландская земля не будет в состоянии кормить нынешнего своего населения. Весь продукт с западной половины острова, без всякого вычета ренты, не может содержать из года в год население этой половины Ирландии; он по необходимости будет ежегодно содержаться на счет государственных доходов, пока эмиграцию или голодную смертью уменьшится до числа, соответствующего низкому состоянию ирландской промышленности; это неизбежно, если не найдены будут средства сделать ирландский труд более производительным».

После того, как были написаны эти слова, непредвиденные никем события избавили английских правителей Ирландии от затруднений, которые были бы справедливым наказанием за их невнимательность и непредусмотрительность. Ирландия под владычеством коттерства не могла прокармливать своего населения. Парламент прибег к мерам, усилившим размножение населения и нимало не усилившим производство. Но неожиданным путем явилась помощь, которой не дала ирландскому народу мудрость политических людей. Народ начал эмигрировать без пособия правительства; первые переселенцы накопили деньги на плату за проезд следующим переселенцам; это исполнение узкфильдовой системы в гигантском размере уменьшило теперь число жителей Ирландии до количества, которое может находить себе занятие и средства к жизни при нынешней земледельческой системе. Ценс 1851 г. показал уменьшение населения в полтора миллиона сравнительно с ценсом 1841 года⁴². Ирландцы нашли себе путь на тот цветущий материк, на котором в течение поколения может без уменьшения благосостояния помещаться весь излишек людей с целого света; ирландские поселяне стали обращать свои взоры на земной рай за океаном, как на верное убежище и от угнетения саксов и от тирании природы; как бы ни уменьшалось впоследствии занятие для земледельческого труда всеобщим распространением английского способа хозяйства по Ирландии, люди, остающиеся без занятий, станут переселяться в Америку с такою же быстротою, как переселился туда миллион ирландцев в три года с 1848 до 1850 г. И точно так же переселение не потребует расходов от государства; весь излишек из Ирландии успеет переселиться туда, хотя бы вся Ирландия была обращена в пастбище, подобно графству Со-терлендскому⁴³. Люди, думающие, что земля страны существует для нескольких тысяч землевладельцев и что, пока ренты платятся, общество и правительство могут оставаться довольны собой, — такие люди могут видеть в этом переселении счастливое прекращение ирландских затруднений.

Но теперь не такое время, чтобы могли удержаться эти надменные мнения, и расположение умов не благоприятствует им. Земля Ирландии, земля всякой страны принадлежит народу этой страны. Отдельные лица, называе-

мые землевладельцами, не имеют по суду нравственности и справедливости права ни на что иное, кроме ренты или вознаграждения по продажной ценности ренты. Что же касается самой земли, главное дело тут в том, какая форма собственности и возделывания может доставить от земли больше пользы общей массе ее жителей. Для собственников ренты может быть очень выгодно, чтобы масса жителей, отчаявшись получить справедливость в стране, где жили и страдали она и предки ее, пошла на другой материк искать того, что отнято у ней на родине поземельное владение. Но законодателям государства следует иными глазами смотреть на вынужденное переселение миллионов людей. Когда жители страны массово покидают страну оттого, что правительство страны не хочет давать им места для жизни в ней, правительство осуждено. Парламент обязан преобразовать поземельное устройство Ирландии. Нет необходимости лишать землевладельцев из одного фартинга из денежной ценности их законных прав; но справедливость требует, чтобы люди, возделывающие землю, получили возможность стать в Ирландии тем, чем станут они, переселившись в Америку, — стать собственниками земли, ими возделываемой.

Политическое благоразумие требует этого и не удовлетворяется ничем меньшим. Люди, не знающие ни Ирландии, ни какой иностранной земли, берущие единственно нормою общественного и экономического процветания английское устройство, предлагают, как единственное лекарство для бедствий Ирландии, обращение коттеров в наемных работников. Но это проект об улучшении ирландского земледелия, а не об улучшении положения ирландского народа. Состояние поденщика не имеет в себе волшебной силы, чтобы влить предсмотрительность, бережливость и воздержность в народ, лишенный этих качеств. Если бы ирландские поселяне могли быть мгновенно обращены в наемных работников, при сохранении нынешних привычек и нравственных особенностей, мы только увидели бы 4 миллиона или 5 миллионов людей, живущих в состоянии наемных работников столь же бедственно, как жили они в состоянии коттеров: они точно так же пассивно переносили бы все лишения, так же безрассудно размножались бы и, быть может, даже работали бы так же небрежно, потому что всех их целою массою нельзя было бы прогнать, а если бы можно было, это значило бы только отдать их на прокормление деньгами налога для бедных. Совершенно иное будет последствие, если сделать их поселянами-собственниками. Народ, не знающий расчетливости и любви к труду, признаваемый всеми за один из самых отсталых в Европе народов по умению трудиться с успехом, нуждается, для своего возрождения, в самых могущественных возбуждениях к трудолюбию и расчетливости, а право собственности на землю — сильнейшее из этих побуждений. Вечная принадлежность продукта земли хлебопашу служит почти неизменной гарантией неутомимейшего трудолюбия; она служит если и не вполне несомненно, то все-таки наилучшим из всех известных нам предохранительных средств от излишнего размножения, и где она не приведет к цели, там едва ли привело бы к цели какое угодно другое экономическое устройство; в этом случае зло было бы непобедимо одними экономическими средствами.

Потребности Ирландии сходны с потребностями Индии. В Индии мы делали иногда большие ошибки, но все-таки никто даже не предлагал под предлогом земледельческих усовершенствований прогнать райотов или поселян-фермеров с их участков; достичь усовершенствований в земледелии предполагается там доставлением более прочного владения райотам, и споря лишь о том, нужно ли вечное владение или достаточен будет долгий срок контрактов. Тот же самый вопрос представляется в Ирландии. Нельзя не признать, что долговременные контракты при таких землевладельцах, какие встречаются иногда, произведут чудеса даже в Ирландии. Но для этого при долговременных контрактах необходима низкая рента. Без нее не следует ожидать, чтобы коттерство устранилось одною долговременностью контрактов. С тех пор, как существует коттерство, контракты в Ирландии всегда были долговременные; обыкновенные сроки были 21 год или

три жизни. Но рента определялась соперничеством, назначалась больше того, чем можно заплатить, потому поселянин не приобретал и никаким трудом не мог приобрести выгоду от снятой земли, и контракт нисколько не обеспечивал его в действительности. В Индии, где правительство не уступило безрассудно своих прав собственности земиндарам, оно может предотвращать это зло; будучи само землевладельцем, оно может определять ренту по своему собственному расчету. Но если земля принадлежит частным лицам, рента определяется соперничеством, а когда соискатели — поселяне, бывшие из-за куска хлеба, то неизбежны номинальные ренты, если само соперничество не остается чисто номинальным по малочисленности населения. Большинство землевладельцев будут жадны к немедленному получению больших доходов и власти; и пока находятся коттеры, предлагающие им какую угодно ренту, напрасно будет ожидать, чтобы землевладельцы, с пожертвованием собственных выгод, стали сдерживать это вредное соискательство.

Вечность владения сильнее долговременного контракта возбуждает к усовершенствованию: самый долговременный контракт, прежде чем окончиться, проходит через все постепенности кратковременных контрактов до самого уничтожения контрактной гарантии. Кроме того, есть другие причины, еще более важные для предпочтения вечности владения. Даже в делах чистого расчета было бы грубою ошибкою забывать о влиянии воображения: в понятии «на вечное время» есть сила, которой лишен самый продолжительный срок. Если даже срок этот обнимает жизнь детей и всех людей, лично дорогих для человека, человек не станет с полным усердием увеличивать ценность земли, с каждым годом уменьшающейся в своей ценности лично для него; противного можно ожидать от человека лишь тогда, когда он достигнет высокой степени умственного развития, при которой господствующим соображением у него становится общественное благо, для чего также нужна вечность связи личной выгоды с общим. Притом же во всех европейских странах поземельная собственность вообще соединена с вечным владением; при таком порядке дел временное владение, хотя бы на очень долгий срок, непременно должно казаться чем-то менее важным и почетным, чем поземельная собственность, и, следовательно, люди с меньшим жаром будут стремиться к нему, а, получив его, чувствовать к нему менее привязанности, чем к собственности. Но в стране, где господствует коттерство, вопрос о вечности владения лишь второстепенный вопрос по сравнению с важнейшим делом — с ограничением ренты. Безопасно можно предоставить соперничеству ту ренту, которую платит капиталист, снимающий землю для прибыли, а не для своего пропитания; но не следует предоставлять соперничеству ренту, платимую работниками, если работники не достигли такой степени просвещения и благосостояния, какой еще нигде они не достигли и едва ли могут достичь, пока, рента, ими платимая, определяется соперничеством.

Рентам, платимым поселянами, никогда не следует быть произвольными, никогда не следует зависеть от землевладельца; эти ренты необходимо должны быть неизменно определены обычаем или законом; и где не установился, как в тосканском половничестве, взаимно выгодный обычай, там рас судок и опыт требуют, чтобы рентам была назначена неизменная величина государственной властью, то есть чтобы рента обращена была в неизменную плату, а фермер в поселянина-собственника.

Самый простой способ произвести эту перемену в таком размере, чтобы совершенно уничтожилось коттерство, — прямой законодательный способ: совершение дела парламентским актом, который объявил бы всю ирландскую землю собственностью занимающих ее хлебопашцев, обязав их платежом рент, какие теперь они действительно платят, то есть действительных, а не номинальных рент. Под именем «вечного пользования» (*fixity of tenure*) это было одним из требований рипилёров в успешнейший период их агитации; гораздо лучше выразил это Коннер, самый первый, самый пылкий и неутомимый проповедник этого решения, словами: «оценка на вечные времена»

(a valuation and a perpetuity) ⁴⁴. В последнее время под именем «Лиги фермерского выкупа» (tenant Right League) образовался союз, имеющий своей целью между прочим и направление общественного мнения к этому решению. Такая мера не имела бы в себе ничего несправедливого, лишь бы землевладельцы были вознаграждены за нынешнюю ценность шансов возрастания ренты, отказ от которой потребовался бы у них. Потрясение существующих общественных отношений, конечно, было бы тут не сильнее того, какое произвели Штейн и Гарденберг ⁴⁵, когда рядом эдиктов в начале нынешнего века совершили революцию в поземельной собственности Прусского государства и увековечили свои имена в числе величайших благодетелей своей страны. Просвещенные иностранцы, писавшие об Ирландии, фон Раумер и Гюстав де Бомон, считали это средство столь прямо и верно соответствующим болезни, что трудно им казалось понять, как до сих пор не исполнено такое дело.

Эта мера не превышала бы пределов справедливой законодательной власти и не была бы нарушением собственности, если бы землевладельцам было предоставлено право, при несогласии на ограничение ренты, взять за свои земли полную ценность, капитализованную по обыкновенному проценту из нынешнего дохода; но я знаю, что есть против такой меры серьезные возражения. Во-первых, такая мера — полная экспроприация высших сословий Ирландии; по принципам, нами изложенным, такой переворот совершенно оправдывается, но только в таком случае, если он единственное средство к достижению великого общественного блага. Во-вторых, само по себе не очень выгодно для нации, если вовсе уже нет никаких поземельных собственников, кроме поселян. Важную часть хорошей земледельческой системы составляют большие фермы, возделываемые большим капиталом и принадлежащие лицам, получившим самое высокое воспитание, по своей образованности способным оценивать научные открытия, имеющим средства для рискованных, продолжительных и дорогих опытов. Даже и теперь есть в Ирландии много таких землевладельцев, и вредно для нации было бы прогонять их из поместий. Кроме того, между нынешними участками, конечно, находится много слишком мелких, на которых нельзя было бы собственнику вести хозяйство выгодным образом, а из людей, занимающих ныне участки, не все таковы, чтобы нашлись в них качества, нужные для поселян-собственников, заводящих свое хозяйство. Для многих из них было бы полезнее получить надежду на приобретение поземельной собственности трудолюбием и бережливостью, чем прямо получить собственность.

Но если самый прямой и энергичный способ создать поселян-собственников имеет свои неудобства, то он все-таки гораздо лучше, чем оставление дела в нынешнем виде. Если правители Ирландии не позаботятся заблаговременно достичь великой общественной цели средствами, менее разрушительными для нынешних общественных отношений, то, вероятно, дело это будет вынуждено у них необходимостью обстоятельств, при которых уже не будет в их власти руководить условиями исполнения.

Но если бы они искренне желали дать это благо Ирландии и заботились бы только о том, чтобы совершить его с наименьшим нарушением частных отношений и ожиданий, то доступны для них меры, которые не подлежат ни одному из возражений, противопоставляемых «Лигою фермерского выкупа», и которые, будучи проводимы с крайнею энергиею, могли бы в довольно значительной степени осуществить требуемое дело. Одна из таких мер состояла бы в том, что человек, желающий возделывать пустую землю, становится собственником ее, с обязанностью платить прежнему владельцу неизменную ренту, составляющую умеренный процент с нынешней ценности этой земли в ее невозделанном положении. Разумеется, необходимо принадлежностью этой меры было бы возложение на землевладельцев обязанности уступать невозделанную землю (если она не имеет орнаментального значения) лицу, желающему возделывать ее.

Когда общественное устройство страны требует не исправления подробностей, а радикального изменения, и когда затруднения, представляемые им

правительству, должны быть не сглаживаемы слегка, а прямо устранены людьми, способными возвыситься над собственною беспечностью и над своими и чужими предрассудками, [то будем надеяться, что вместо нынешней ленивой, апатичной, беспечной, непредусмотрительной и беззаконной Ирландии возникнет новая Ирландия, состоящая из поселян-собственников с имуществом, которое будут беречь они, и наемных работников с возможностью приобрести имущество; что поселяне-собственники будут миролюбивы и деятельны, как собственники, а работники, как люди, надеющиеся стать собственниками; что ирландское земледелие будет введено тогда отчасти по наилучшей системе малого хозяйства, отчасти по наилучшим принципам большого хозяйства и сочетания труда. Можно надеяться, что, когда число наемных работников будет соразмерно пространству земли, требующей работников, и успокоение страны откроет возможность безопасно переносить в нее английский капитал, то величина рабочей платы будет достаточна для установления привычки к довольно высокой норме благосостояния, и дух сбережения, возбуждаемый желанием приобрести земли, не даст этой норме снова упасть от неблагоприятного размножения].

При многообразии сцепления человеческих дел и полезные, и вредные действия причин всегда остаются на практике не достигающими полного теоретического размера. Но история не лишена примеров тому, что были перемены, подобные изменению, очерк которого я сделал, и результаты этих перемен не лишены поучительности. В продолжение французской истории три раза были поселяне покупателями земли, и за этими периодами тотчас же наступали три главные эпохи земледельческого благосостояния Франции.

«Во времена очень тяжелые, говорит Мишле (*Le Peuple*, часть 1, гл. 1), в эпохи всеобщей бедности, когда и богатч становится бывает принужден продавать, бедняк видит себя в состоянии покупать; не является никаких покупателей; приходит в лохмотьях поселянин со своим луидором и приобретает клочок земли. За этими временами разорения, когда поселянин мог дешево приобретать землю, всегда следовало внезапное возвышение изобилия, которого не умели объяснить. Например, около 1500 года, когда Франция, истощенная Людовиком XI, довершает свое разорение в Италии, дворянство, идущее в поход, принуждено продавать; земля, перейдя в новые руки, вдруг расцветает; народ работает, строится. Это прекрасное время на языке монархической истории называется временем *добротого Людовика XII*.

«К несчастью, оно непродолжительно. Едва земля приведена в хорошее положение, на нее обрушивается фиск; начинаются религиозные войны, истребляющие все, что есть на земле, начинаются ужасные бедствия, страшные голодные годы, в которые матери едят своих детей. Можно ли поверить, что страна оправится? Но едва окончилась война, на этом опустошенном поле, из этой дымящейся хижинны является поселянин с деньгами, которые успел сберечь. Он покупает; через 10 лет лицо Франции изменилось; через 20 или 30 все именья удвоились, утроились в ценности. Эта эпоха также называется именем короля, именем *добротого Генриха IV* и великого Ришелье».

О третьей эпохе не нужно и говорить, — это была эпоха революции. Кто хочет изучать картины, противоположные этим, пусть сравнит эти исторические периоды, ознаменованные раздроблением большой и созданием малой собственности с тяжелым страданием нации, сопровождавшим изгнание мелких йоменов для очищения места большим пастбищам, с этим великим экономическим событием английской истории в XVI веке и с продолжительным ухудшением в положении рабочих классов после этого события.

Эти факты и мысли возбуждают много соображений, имеющих прямой интерес для нас; но статья и без того вышла уже

очень длинна, потому отложим наши замечания для другого удобнейшего случая.

Затем, кроме формы, в которой хозяйство ведется капиталистами-фермерами, остается еще только одна форма земледельческого быта — хозяйства поселян-собственников. По вопросу о распределении эта форма имеет внешнюю одинаковость с формою невольнического производства: как там, так и здесь продукт вовсе не распределяется между разными классами, а весь остается в одних руках землевладельцев. Но этот землевладелец — работник, трудящийся сам в свою пользу, и во всех возможных отношениях, — в политическом, нравственном, экономическом, — результаты этой формы прямо противоположны результатам невольнического труда. При невольничестве работник, говоря вообще, не получает ничего сверх необходимейшего для поддержания жизни; в быте поселян-собственников работник пользуется всем благосостоянием, какое только возможно для простолюдина по политическому и промышленному положению страны. Высок ли или довольно низок этот наибольший размер возможного благосостояния — дело, зависящее от степени населенности страны, климатических условий и уровня цивилизации в ней; но каков бы ни был этот наивысший размер, работник пользуется им. Каково бы ни было благосостояние поселянина-собственника в известной местности, половник в той же местности имел бы вдвое меньше благосостояния, коттер (поселянин, нанимающий землю у владельца на условиях соперничества) еще меньше, наемный работник также гораздо меньше, не говоря уже о человеке несвободном. Столь же резок результат быта поселян-собственников относительно успешности труда. Высока или низка наибольшая возможная успешность труда в данной стране, дело, опять зависящее от политических и климатических условий и от того, какой метод производства употребляется. Но каков бы то ни был этот максимум, работа поселянина-собственника всегда достигает его, между тем, как, при тех же условиях, работа половника имела бы гораздо менее успешности, работа вольного наемщика — еще меньше, не говоря уже об обязательном труде. Английские политико-экономы, вместе со всею английскою публикою, вообще почти не имеют понятия о быте поселянина-собственника, уцелевшем лишь в немногих и маленьких темных уголках Англии, куда еще не успела проникнуть новая коммерческая жизнь. Потому Милль, ставящий эту форму земледельческого быта выше всех других перечисляемых им, описывает ее результаты очень подробно и в особенности выставляет изумительное усердие поселянина-собственника в работе, — усердие, изумляющее людей, подобно англичанам не привыкших с малолетства видеть его. Он рассказывает своим читателям о трудолюбии поселян-собственников таким тоном, каким стал бы рассказывать, напри-

мер, нашему простонародью русский писатель о чудесах кристального дворца⁴⁶ или тропической природы: в каждом слове так и слышится прибавка: «да поймите же это, ведь вы сроду об этом понятия не имели; да поверьте же, что это возможно, что это так, что я не обманываю вас сказками». Нам, русским, это — не новость, не редкость: мы знаем, как работает поселянин на своей ниве. Потому из множества примеров и свидетельств, собранных у Милля, приведем лишь небольшие отрывки для примера отношений его и английской публики к этому вопросу. Вот начало отдела о поселянах-собственниках, показывающее, до какой степени чуждо обыкновенному английскому воззрению это понятие.

Когда земля принадлежит поселянам-собственникам, то весь продукт, как при системе рабства, достается одному собственнику земли, и нет раздела его на ренту, прибыль и рабочую плату. Во всех других отношениях эти две формы общественного устройства составляют крайние противоположности: одна из них — состояние величайшего угнетения и унижения рабочих классов, а при другой они имеют полнейшую независимость в своей судьбе.

Но выгодность мелкой поземельной собственности составляет один из самых спорных вопросов в политической экономии. На континенте благотворность существования многочисленного сословия собственников представляется для громадного большинства аксиомой, хотя и есть некоторые люди, несогласные с господствующим мнением. Но английские авторитеты или вовсе не знают о мнении континентальных агрономов, или считают достаточным для его отстранения говорить, что эти агрономы не имели случая видеть, как полезна большая собственность в благоприятных для нее обстоятельствах. Выгода большой собственности, говорят английские авторитеты, обнаруживается только там, где и земледельческие хозяйства велики, а для больших ферм нужно накопление капиталов значительнее того, какое обыкновенно встречается на континенте, и потому большие континентальные поместья за исключением обработанных под пастбища, почти все отдаются на обработку мелкими участками. В этих словах есть часть правды, но тот же самый аргумент можно обратить и против английских авторитетов: если континент мало знает по опыту земледельческие хозяйства большого размера с большим капиталом, то английские писатели вообще столь <же> мало знакомы по практике с хозяйством поселян-собственников и почти все имеют самое ошибочное представление о их положении и образе жизни. А между тем и в Англии старинные предания говорят в пользу мнения, господствующего на континенте. Йомены, которых называли славою Англии, пока они существовали, о которых так часто жалеют теперь, когда они исчезли, — эти йомены были мелкие собственники или мелкие фермеры, и если большинство их были фермеры, а не собственники, то тем замечательнее репутация энергической независимости характера, какую они пользовались. Есть в Англии уголок, к несчастью слишком маленький уголок, в котором еще много поселян-собственников; я говорю о statesmen, «государственных людях» Комберленда и Уэстморленда. Они собственники, хотя (впрочем, сколько я знаю, не все, а только большая часть их) платят некоторые обычные повинности; эти повинности неизменны, потому не мешают им быть настоящими собственниками, как не мешает тому поземельный налог. Только они в целой Англии могли послужить оригиналом, с которого писаны «Картины сельской жизни» Уордсворта⁴⁷.

Но общая система английского земледелия не такова, чтобы англичане по опыту знали характер и результаты хозяйства поселян-собственников; а земледельческое устройство других стран вообще совершенно незнакомо

англичанам, так что самое понятие о поселянах-собственниках чуждо английскому уму и нелегко проникает в него. Самые выражения английского языка мешают этому: собственник земли обозначается обыкновенно словом *landlord* (землевладелец или помещик), — термином, который всегда пробуждает мысль об арендаторах-фермерах, снимающих у него землю (*tenants*). Когда в недавнее время проникла в парламентские и газетные прения мысль, что надобно сделать ирландских поселян собственниками для улучшения состояния Ирландии, то нашлись писатели, претендовавшие на знакомство с делом и, однакоже, до такой степени не понимавшие самого слова *proprietor* (собственник), что воображали, будто бы поселяне-собственники, о которых идет речь, то самое, что ирландские коттеры, берущие в наймы землю мелкими участками. При таком плохом знакомстве с предметом необходимо, прежде чем излагать его теорию, позаботиться о разъяснении фактического положения дела; по этой необходимости я изложу вопрос подробнее, чем следовало бы по общему размеру частей моего трактата; я представлю несколько свидетельств о состоянии земледелия, о благосостоянии и довольстве землевладельцев в тех государствах или провинциях, где большая часть земель не имеет никаких ни лендлордов, ни фермеров, кроме самих земледельцев, паших землю ¹⁸.

Мы привели этот отрывок, чтобы он свидетельствовал, как медленно проникает в науку влияние фактов, которые не находились прямо под глазами у людей, основавших науку. Кажется, что может быть сообразнее с принципами теории Адама Смита, как не признание быта поселян-собственников выгоднейшего формою экономического устройства? А вот мы видим, что до сих пор большинство английских политико-экономов даже не поняло, что такое значит выражение поселянин-собственник, и Милль явился почти что первым политико-экономом в Англии, решительно признавшим превосходство этой формы над другими. Мы тут можем также подумать еще вот о чем: до какой степени нуждается в переделке теория, составившаяся при незнании такого факта, как быт поселянина-собственника? Читатель знает, что в господствующей школе эта переделка не только не произведена, а даже и не считается нужною. Именно то, что мы допускаем к должному участию в установлении политико-экономических принципов понятие о поселянине-собственнике, и служит одною из главных причин разницы наших мнений от господствующих.

Вот общая характеристика хозяйства поселян-собственников, приводимая Миллем из Ленга:

«Если мы послушаем большого фермера, ученого агронома» (английского) «политико-энома, то хорошее хозяйство должно погибнуть с погибелью больших ферм; им кажется нелепостью самая мысль о том, что хорошее хозяйство может существовать без больших ферм, возделываемых большим капиталом; дренаж, удобрение, расчетливое распределение земли, расчистка ее, правильные севообороты, хороший скот, хорошие орудия, — все это, по их словам, исключительно принадлежит большим фермам, которые возделываются большим капиталом и наемным трудом. На бумаге доказывать это легко, но если мы обратим глаза с их книг на их поля и хладнокровно сравним хозяйство наилучших округов, возделываемых большими фермами, с хозяйством наилучших округов, возделываемых малыми фермами, то мы увидим во Фландрии, восточной Фрисландии, Гольштейне и по всей полосе удобной

земли на континенте от Зунда до Кале, что хлебопашество тут лучше, чем на противоположном берегу Англии на такой же почве и под теми же градусами от Фортского залива до Дувра. При одинаковости почвы и климата земля, очевидно, получает высшую производительность там, где внимательным трудом возделываются мелкие участки, составляющие собственность земледельцев, как это мы видим во Фландрии и голштейнском Дитмарсене. Наши агрономы не смеют утверждать, что наши большие фермеры, даже в графствах Бервикском и Роксберкском или в Лотаямском округе приближаются к тому совершенству, каким отличается хозяйство мелких фландрских фермеров, что они так внимательно удобряют, дренируют и очищают землю или получают от нее столько продуктов, сколько собирают во Фландрии с небольших участков, имеющих от природы почву не очень плодородную. Даже в тех приходах Шотландии или Англии, где существует наилучшее хозяйство, на больших фермах бросается без пользы очень много земли по углам и краям полей и пропадает под полевыми дорогами, которые необходимо должны быть широки по дурному своему состоянию и дурны по своей широте; пропадает много земли в невозделанных клочках под общественными выгонами, под бесполезными закраинами, под дрянными кустарниками, — пропадает столько земли, что если бы все эти пропадающие клочки соединить и возделывать, их достало бы на содержание всех бедных прихода. Но когда прилагается к хозяйству большой капитал, то, разумеется, он обращается лишь на лучшую почву. Он не может прилагаться к маленьким непроизводительным клочкам, оплодотворение которых требовало бы больше труда и времени, чем дается надобностью в скорой выручке капитала. Время и труд наемных работников не могут быть употреблены с выгодой на возделывание таких участков; но если бы работник был собственником, он нашел бы выгоды возделывать их. На первое время он довольствуется и тем, что может кормиться от своей земли. Но трудом поколений сообщается этим клочкам плодородие и ценность. Средства к жизни улучшаются, и достигаются очень высокие способы обработки. Дренаж, кормление скота в стойлах целое лето, жидкое удобрение — это вещи общеупотребительные в маленьких хозяйствах Фландрии, Ломбардии, Венеции. У нас, при системе больших ферм, эти усовершенствования только еще начинаются в округах с самым лучшим хозяйством. В странах, где земля принадлежит мелким собственникам-поселянам, мы находим даже хозяйство, основанное на молочных скопах⁴⁹, выделку огромных сыров сотрудничеством многих маленьких хозяев*; взаим-

* Достоин внимания способ, по которому швейцарские поселяне соединяют свои капиталы для выделки сыра. «Каждый швейцарский приход для выделки сыра нанимает особенного человека, обыкновенно уроженца Грюйерского округа (во Фрейбургском кантоне). На 40 коров считается нужным иметь одного сырника с помощником, или выжимальщиком, и пастуха. У каждого хозяина коров есть книжка, в которой каждый день отмечается, сколько молока дано каждой коровой. Сырник и его помощники доят коров, сливают их молоко вместе, делают из него сыр, и в конце лета каждый поселянин получает количество сыра, соразмерно тому, сколько молока дали его коровы. При таком сотрудничестве поселянин вместо маленьких, негодных на продажу сыров, какие мог бы делать из молока трех или четырех своих коров, получает большие, годные на продажу сыры лучшего качества; они имеют хорошее качество потому, что делаются людьми, специально занимающимися этою работою. Сырник и его помощники получают известную плату с каждой коровы деньгами или сыром, или нанимают коров у хозяев и платят за них деньгами или сыром» (Notes of a Traveller, стр. 315). Подобная система существует во Франции в департаменте Жюры. В этом интересном примере сочетания труда очень замечательную черту составляет доверие к честности людей, выделяющих сыр, — дело не могло бы производиться, если бы такое доверие не существовало и не оправдывалось опытом. — *Прим. Милля.*

ное застрахование от огня и града соединением сил мелких хозяев, производство самой мудреной и обширной из всех новых сельскохозяйственных операций, — производство свекловичного сахара; эти мелкие хозяева снабжают европейский рынок льном и пенькою; в этих странах даже беднейшие люди каждый день имеют в изобилии овощи, плоды, птицу за своим столом, а у нас даже средние классы совершенно лишены такого разнообразия в пище; это разнообразие и составляет существенную принадлежность мелких сельскохозяйственных хозяйств. Все эти факты заставляют наблюдателя усомниться в справедливости мнения наших агрономов, будто бы большие фермы, возделываемые наемным трудом и большим капиталом, извлекают из земли наибольший продукт, снабжают население страны наибольшим количеством предметов необходимости и комфорта; и будто бы при иной системе это невозможно»⁵⁰.

Предубеждение, будто бы хозяйство фермеров-капиталистов лучше хозяйства поселян-собственников, подкрепляется тем, что сравнивают результаты, получаемые при первой из этих форм в Англии, с результатами, каких вторая успевает достигать в других странах, где обстановка гораздо менее английской благоприятна успехам сельского хозяйства. Тут забывают, что сравнивать достоинства двух принципов надобно при одинаковых условиях для действия обоих и что успешность английского сельского хозяйства происходит не от формы его, а от выгодности общей обстановки всяких промышленных дел в Англии. Милль находит пример быта поселян-собственников в условиях, в каких действуют фермеры-капиталисты, и обнаруживает на этом примере, что хозяйство поселян-собственников при одинаковости условий несравненно успешнее хозяйства фермеров-капиталистов.

Острова Британского канала служат таким решительным примером полезных результатов, производимых принадлежностью земли поселянам, что я не могу не прибавить к сделанным мною многочисленным выпискам отрывка из описания экономического устройства их. Отрывок этот беру я из Уильяма Торнтона, писателя, соединяющего личные наблюдения с внимательным изучением сведений, собранных другими. Его «*Plea for Peasant Proprietors*» — книга, которую надобно назвать классической по вопросу о пользе принадлежности земли поселянам: так превосходно собраны и обработаны в ней материалы. Вот что говорит он об устройстве Гернзи (стр. 99—104): «этот маленький остров посылает на рынок гораздо большее количество продуктов, чем посылают в самой Англии округа такой величины, — факт, уже сам по себе доказывающий, что поселяне на Гернзи должны быть далеки от бедности, потому что, будучи полными собственниками всех своих продуктов, они, конечно, продают только ту часть их, которая остается не нужна им самим. Удовлетворительность их положения очевидна каждому наблюдателю. Из всех обществ, какие случалось мне видеть, говорит мистер Гилль, самое зажиточное нашел я на маленьком острове Гернзи; — куда бы ни пошел на этом острове путешественник, говорит сэр Джордж Гед, везде он увидит, что господствует на нем благосостояние. Англичанина, который идет или едет в поле из Порта св. Петра, прежде всего поражает вид домов, рассеянных по пейзажу. Многие из этих домов так хороши, что в Англии могли бы принадлежать только людям среднего сословия; англичанин не может сообразить, какие же люди живут в этих домах, которые не так велики, как дома английских фермеров, но почти все слишком хороши для работников. За исключением нескольких рыбацких шалашей на целом

острове нет ни одного дома, который можно было бы сравнить с обыкновенным жилищем английского земледельческого работника. Посмотрите на дрянные жилища английских земледельческих работников, говорит Делиль Брок, бывший балли острова Гернзи, и сравните их с домами наших поселян! Нищие из Гернзи совершенно неизвестны; пролетариев также почти нет, по крайней мере нет пролетариев между людьми, способными к работе. Сберегательные кассы также свидетельствуют о всеобщей зажиточности рабочих сословий на Гернзи. В 1841 году в Англии, при населении около 15 миллионов, имели деньги в сберегательных кассах менее 700 000 человек, то есть 1 на 20 человек населения, и средняя величина вкладов была 30 фунтов. На Гернзи в том же году из 26 000 человек имели вклады 1920 человек, и средняя величина вкладов была 40 фунтов». То же самое мы читаем о Джерзи и Альдерни.

Торнтон подробно показывает успешность и производительность мелких земледельческих хозяйств на островах Британского канала, и вывод из этих подробностей выражает следующими словами: «Мы видим, что на двух главных из этих островов земледельческое население гораздо многочисленнее, чем в Великобритании, — на одном в два раза, на другом в три раза: в Великобритании приходится только один земледелец на 22 акра возделанной земли, а на Джерзи один на 11 акров, на Гернзи один на 7 акров. А кроме земледельцев, население этих островов содержит неземледельческое население, которое также гораздо гуще, чем в Великобритании, — на Джерзи в четыре раза, а на Гернзи в пять раз. Разница эта происходит не от того, чтобы почва или климат на островах Британского канала были лучше, — нет, почва на них от природы менее плодородна, а климат такой же, как в южных графствах Англии. Вся разница происходит от неумолимой заботливости земледельцев и изобильного удобрения (Торнтон, стр. 38).

«В 1837 году, говорит он (стр. 9), средний урожай пшеницы на больших фермах Англии был только 21 бушель с акра, и в самом плодородном из всех графств средний урожай не превышал 26 бушелей. Самый высокий средний урожай, о каком только слыхивали в Англии — 30 бушелей. На Джерзи, где средняя величина земледельческих хозяйств только 16 акров, средний урожай пшеницы в 1834 году был, по словам Инглиса, 36 бушелей, а по официальным таблицам за пятилетие 1829—1833 годов мы знаем, что он был 40 бушелей. На Гернзи, где размер хозяйств еще меньше, урожай в 4 квартала с акра считается, по словам Инглиса, хорошим, но очень обыкновенным». «30 шиллингов за акр земли среднего достоинства считалось бы в Англии очень хорошей рентой, но на островах Британского канала только уже очень плохая земля не даёт 4 фунта ренты за акр» (Торнтон, стр. 32).⁶¹

Вот наконец общий вывод Милля о поселянах-собственниках:

Мне кажется, что этим исследованием прямых действий и косвенных влияний принадлежности земли поселянам я доказал, что нет необходимой связи между этою формою поземельной собственности и несовершенством производительных искусств; что если она в некоторых отношениях и неблагоприятна успешнейшему пользованию силами земли, то не менее важны и другие отношения, по которым она благоприятна ему; что из всех существующих систем земледельческого устройства она производит самое выгодное влияние на трудолюбие, умственное развитие, бережливость и благоразумие народа и самым сильнейшим образом удерживает людей от предусмотрительного размножения; что поэтому нет из существующих устройств ни одного, столь благоприятного нравственному и физическому состоянию населения. По сравнению с английскою системою обработки земли наемным трудом она должна считаться чрезвычайно полезною для рабочего класса. Сравнить ее с системою общей принадлежности земли товариществу работников мы здесь не имеем обязанности.⁶²

Милль упоминает, что в некоторых отношениях хозяйство поселян-собственников представляется не самою выгодною формою землевладельческого устройства; тут разумеются известные элементы преимущества большого хозяйства над малым: большое сочетание труда, употребление более могущественных способов производства и предполагаемый многими перевес большого хозяйства в некоторых специальных отраслях сельской промышленности, наприм. в овцеводстве. Мы на этот раз можем ограничиться ссылкой на дополнение наше к той главе 1-й книги Милля, где рассматривается в общем принципе вопрос о большом и малом размере производства (перев. Милля, I, стр. 200—214). Довольно будет заметить, что нет рациональных причин считать сельское хозяйство исключением из общих законов промышленной деятельности. Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными процессами, требующими обширных размеров производства, так велик, что ни в какой отрасли экономического быта мелкое хозяйство не может выдерживать соперничества с большим, как скоро процесс технологии и механики открывает возможность усовершенствованных процессов в этом деле и начинает прилагаться к делу капитал большими массами: никакое усердие в труде не спасает мелкого хозяина, когда являются у большого хозяина усовершенствованные процессы, не доступные мелкому. Если при нынешнем общественном устройстве поселяне-собственники еще сохранялись на континенте Западной Европы, это лишь потому, что земледелие в их местах еще сохранило неразвитые процессы производства и в больших хозяйствах. Когда оно станет (а оно уже начинает становиться) не патриархальным, а коммерческим делом, мелкие хозяйства должны погибнуть при нынешнем экономическом устройстве. Чтобы сохранились они и чтобы животворились усовершенствованные процессы усердною работою работников-хозяев, для этого нужно другое устройство, то самое, выгодность и неизбежность которого обнаруживается при внимательном рассмотрении и каждого частного вопроса и каждого общего принципа экономической науки.

Вот наша статья почти уже и кончена. Но читатели, конечно, заметили в ней один важный пробел: он слишком резко чувствуется в обозрении форм сельского хозяйства, делаемом писателем, защищающим наше обычное общинное землевладение. Об общинном землевладении Милль ни слова не говорит в главах, содержание которых мы пересматривали, а мы не дополнили этого пропуска, понятного в английской книге, не натурального у нас. Что же делать! Будто уж всегда действуешь натурально: иной раз поступаешь так, что сам пожимаешь плечами. Отложим этот предмет до другого случая; оно тем извинительнее будет, что дело об общинном землевладении принадлежит не столько частному, занимавшему нас теперь вопросу о клас-

сах, между которыми делится продукт, сколько общему принципу всей теории распределения. Когда нам удастся говорить об этом общем принципе, поговорим о многом, оставляемом в стороне теперь, между прочим и об общинном землевладении.

В сельском хозяйстве владение капиталом очень часто отделяется от владения землею. В фабричном деле и в других отраслях промышленности это бывает слишком редко; а когда и бывает, доля землевладельца невелика сравнительно с долей капиталиста. Во всех больших промышленных предприятиях (кроме сельскохозяйственных) участок земли, на котором стоит промышленное заведение, и самое здание, в котором оно помещается, составляет обыкновенно собственность того же лица, которое ведет предприятие на свой капитал: фабрика принадлежит фабриканту, завод — заводчику и т. д. Следовательно, тут существуют лишь два класса: капиталисты-землевладельцы и работники. Когда бывает иначе, когда, например, фабрика или завод отдается в аренду, большая часть суммы, платимой арендатором-хозяином предприятия собственнику-хозяину арендуемой фабрики, платится не за землю, а за здание с его обзаведением, то есть за капитал, принадлежащий к разряду основного капитала. Доля, платимая собственно за землю, остается за этим вычетом уже невелика и не заслуживает большого внимания. А выдел той части продукта, которая бывает велика, служит выделом от одного капиталиста другому. Действительно, тут два капиталиста: одному принадлежит оборотный капитал и некоторая часть основного (напр., машины ставит или по крайней мере ремонтирует арендатор), а другому — часть основного капитала (здание и, быть может, машины). Раздел остающейся на долю капитала части продукта между этими двумя капиталистами следует обыкновенной пропорции раздела между двумя соучастниками по величине вклада, даваемого каждым из них в общую сумму. Таким образом, распределение продукта в остальных отраслях производства гораздо проще, чем в сельскохозяйственной, и представляет гораздо меньше разнообразных форм. Поселянам-собственникам соответствуют те мелкие ремесленники и мастера, которые работают в своих мастерских поодиночке, при помощи лишь своей семьи, да разве двух-трех несовершеннолетних учеников. Коттерам соответствуют те работники мануфактур, которые занимаются работою у себя на дому, получая работу от большого хозяина. Но масса работников во всех заводских, фабричных и ремесленных производствах быстро переходит в состояние наемных работников, а в отраслях промышленности, где наиболее усовершенствованы процессы производства, уже вся сполна перешла в это положение.

Господствующая экономическая теория возникла и развивалась, как мы видели из предшествующего очерка, в таком обществе, которое не знало о существовании поселян-собственников. Французские и немецкие политико-экономы знали этот быт, и многие из них очень высоко ценили его. Но не было из них ни одного человека, равнявшегося умом Адаму Смиту, Мальтусу и Рикардо; все они оказывались бессильны проникнуть до самых оснований теории, чтобы восполнить, на основании известного им факта, пробел, вкравшийся в нее у Адама Смита и не пополненный ни Мальтусом, ни Рикардо. Сочувствие быту поселян-собственников оставалось у них как будто бы делом внешним, не успевало войти в самую теорию. Они были только популяризаторами (например, Жан Батист Сэ) и учеными компиляторами (например, Рау и Рошер), а творческого духа не было в них: они умели только растолковывать чужие мысли или подбирать к ним факты. Милль несравненно выше их логическою силою, но и он не из тех людей, которые бывают в состоянии переработать науку. Главная сила его в том, что он — мыслитель совершенно честный и человек сочувствующий добру. Сойти с точки зрения, на какую он поставлен своими учителями, Мальтусом и в особенности Рикардо, он не может. Он умеет только ценить все хорошее, что успевает заметить с этой точки зрения. Он заметил, что есть мыслители, считающие положение работников-хозяев единственным нормальным. Как человек добросовестный, он вник в этот взгляд и нашел его справедливым. Поэтому он при всяком удобном случае выражает желание, чтобы работник возвысился до положения хозяина. Но он не в силах пересоздать по одобряемой им идее теорию, созданную людьми, не имевшими этого принципа. Потому остается у него почти бесплоден разбор разных форм распределения продукта. Мы видели, что в этом разборе он с благородным восторгом учит англичан понимать все экономическое превосходство быта поселян-собственников над другими формами общественного быта. Но за разбором разных существующих форм общественного устройства следует у него анализ распределения продукта по трем элементам производства, — анализ в духе Адама Смита и Рикардо, которые, не имея идеала, замеченного Миллем, рассуждали в том предположении, что это распределение продукта по трем разным классам составляет совершеннейшую форму экономического устройства, — точка зрения, не согласная с мыслями самого Милля о поселянах-собственниках.

Мы не к тому ведем речь, что не нужен в науке разбор участия, какое принадлежит при производстве продукта каждому

из трех элементов производства; и не к тому мы ведем речь, что не нужно было в науке раздробление продукта на три части (ренду, прибыль и рабочую плату), соответственно каждому из трех элементов производства (земле, капиталу и труду). Напротив, это очень нужно, совершенно необходимо для теории. Теория непременно должна стараться о разложении факта на самые коренные, простейшие элементы. Геодезия непременно раздробляет всякую местность на простейшие составные части, треугольники: пока многоугольник не разбит на треугольники, его нельзя вычислить. Так и политическая экономия непременно должна разлагать продукт на доли, соответствующие разным элементам производства, ренду, прибыль и рабочую плату. Мы увидим, что не бесполезно для науки провести дробление еще дальше, различить в каждой из этих трех долей еще новые доли по разным разрядам ренты, капитала и труда. Но эту часть дела, на которой останавливается господствующая теория, еще не исчерпывается вся задача науки. Геометрия не ограничивает своих соображений геодезическим раздроблением данной плоскости на треугольники: она рассуждает также о том, какое сочетание треугольников наиболее удовлетворительно для разных надобностей человека; например, она показывает, что если нужно иметь как можно меньшую периферию при данной вместимости, то надобно строить правильный многоугольник с возможно большим числом сторон, так что десятиугольник тут будет удовлетворительнее треугольника, стоугольник еще удовлетворительнее, а идеальная фигура с этой точки зрения — круг; геометрия прибавляет, что с математической точностью этого идеала нельзя достигнуть в практике: совершенно правильного круга нет в природе и не может он быть начерчен человеком; но с тем вместе она говорит, что эту недостижимостью идеала не нужно огорчаться и не следует ставить ее возражением против надобности округлять данную площадь: если безусловно точного круга человек начертить не может, то легко человеку начертить фигуру, которая не будет иметь никакой заметной разницы от круга, так что в практике она ничем не будет отличаться от математически совершенного круга; а пока заметно в практике различие начерченной фигуры от круга, человек не должен успокоиваться, должен видоизменять фигуру, пока приблизится она к кругу до совершенной незаметности различия от него в практическом отношении.

Точно такова же задача и требовательность экономической теории. Разложив продукт на доли, соответствующие разным элементам производства, она должна искать, какое сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практический результат. В чем тут состоит задача, понятно каждому: надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства данное количество производительных сил дает наибольший про-

дукт. Когда теория покажет такую форму сочетания, то само собою будет разумеется, что безусловного совершенства в осуществлении формы этой достичь невозможно человеку не только теперь, но и решительно никогда: таково уже общее свойство всех требований всякой науки; ни одно из них не может быть осуществлено в безусловном совершенстве, потому что безусловного совершенства вообще никогда ни в чем не бывает и не может быть: нельзя начертить безусловно правильного круга; нельзя начертить ни безусловно правильного квадрата, ни безусловно правильного треугольника с какими бы то ни было углами, ни вообще какой бы то ни было геометрической фигуры. Точно так же невозможно безусловное совершенство ни в каком другом деле: невозможно получить безусловно чистую воду или умыться до безусловной чистоты лица или рук или до безусловного совершенства овладеть хотя бы своим родным языком. Что же из этого следует? То ли, что заботы о получении чистой воды или заботы об опрятности надобно назвать утопиею и бросить как химеру и что не надобно мыть рук и изучать языки? Каждому понятно, что если бы человек высказал такое заключение, он высказал бы лишь свое тупоумие (когда сам верил бы тому, что говорит) или свою недобросовестность (когда употребляет такой аргумент лишь для полемических целей, сам понимая, какую пошлость говорит, но рассчитывая на непривычку большинства к научному мышлению). Каждому известно, что во всех этих делах легко достигается человеком та степень совершенства, какую по свойствам данного случая принимает человек на практике за абсолютное совершенство. На что вам вода? для питья? Во многих реках и родниках она имеет ту степень чистоты, что вы не можете заметить на вкус никаких нечистот; а всякая вода может быть доведена фильтровкою до этой степени чистоты, не различаемой вами от абсолютной чистоты по критериуму, даваемому вашими невооруженными чувствами. Но, быть может, у вас другая потребность, для химических занятий вам нужна вода, несравненно более чистая, без всяких примесей. Такой воды нет готовой в природе; и фильтрация тут недостаточна; вы должны дистиллировать воду, и легко получите ее в такой чистоте, что никакими реагентами не откроете в ней уже никакой примеси. Значит ли это, что вы получили воду абсолютно чистою? Вовсе нет: как бы хорошо ни была она дистиллирована, в ней все-таки будет некоторое количество газов и минеральных частиц. Но что же вам огорчаться этим, когда они незаметны и для ваших вооруженных чувств, когда вода эта не различается заметным образом от абсолютно чистой воды. Для чего вы умываетесь? для опрятности? Этой степени совершенства каждый день достигает каждый опрятный человек. Под микроскопом вы заметите некоторый пот, некоторую пыль на его руках. Но ведь вы

не смотрите на них в микроскоп, вы не замечаете этого. Следовательно, чистота его рук в практике равнозначительна абсолютной чистоте. Но, быть может, вам представилась особая надобность, требующая гораздо высшей степени чистоты, — быть может, вы хотите наблюдать в микроскоп ход физиологических процессов в сосудах кожи. И до такой степени можно очистить руку, нужно только употребить технические средства для достижения технической цели: взять для мытья рук препараты, более тонкие, чем мыло. То же самое и с искусством говорить на каком-нибудь языке. Вы хотите говорить на родном языке. Вы хотите говорить так, чтобы круг общества, в котором вы живете, не замечал никаких недостатков в ваших разговорах со стороны правильности языка. Этой степени совершенства достигает каждый: каждый говорит на своем языке так, что речь его кажется совершенно правильною кругу, в котором он выучился говорить. Вам угодно достичь высшего совершенства? Для этого уже нужны технические средства: займитесь грамматикой, изучайте книги, писанные хорошим языком, следите внимательно за оборотами вашей речи, и вы легко достигнете того, что люди, говорящие самым правильным языком, будут находить вашу речь совершенно правильною.

Так во всяком деле; так и в деле о сочетании элементов производства наивыгоднейшим образом. Абсолютное совершенство недостижимо, но достижима всякая степень совершенства, какая потребуется на практике соответственно надобностям человека, так чтобы не чувствовал он практически разницы между идеальным совершенством и фактическим положением дела. Если это еще не достигнуто, если практически заметно несовершенство данного положения, значит, человек еще не позаботился сделать всего, что нужно для усовершенствования дела, значит, ему нужно думать и работать над усовершенствованием дела.

Само собою разумеется, что на каждой данной степени этого прогресса усовершенствований дело будет идти в некоторых случаях успешнее, чем в других, так что случаи второго рода будут оказываться практически неудовлетворительными по сравнению с случаями первого рода, которые в ту эпоху прогресса практически представляются сходными с идеалом совершенства. Для уравнивания менее удовлетворительных случаев с этими вполне удовлетворительными человек будет придумывать новые улучшения; от приложения этих новых улучшений к случаям, бывшим прежде наиболее успешными, сами эти случаи окажутся лучше прежнего, и оттого поднимется норма, считающаяся практическим совершенством. Сравнительно с нею будут казаться несовершенными менее удовлетворительные случаи, хотя бы и доведены они были произведенными улучше-

ниями до высоты, прежде казавшейся практическим совершенством. Разумеется, от этого возникнет охота придумывать новые улучшения, и таким образом ход прогресса бесконечен: вечно будут оказываться случаи менее других удовлетворительные, и от придумывания средств к их улучшению будут улучшаться также удовлетворительнейшие случаи, и от этого вечно будет оставаться разница успешнейшего и менее успешного хода дел, — разница, требующая новых улучшений. Но если постоянно будет являться надобность в новых улучшениях, из этого вовсе не следует, чтобы чувство неудовлетворенности менее успешными случаями оставалось без уменьшения, иначе сказать, чтобы человек не чувствовал себя все довольнее и счастливее с каждым усовершенствованием. Расстояние между безусловным совершенством и достигнутою степенью совершенства остается все меньше и меньше; а человеческие потребности удовлетворяются все полнее и полнее с каждым новым успехом. А чем меньше остается разница между безусловной и достигнутой полнотою удовлетворения, тем менее болезненно становится чувство этой разницы, и очень скоро достигается в серьезных потребностях такая степень удовлетворения, что болезненность или прискорбность разницы между абсолютною и достигнутою полнотою удовлетворения совершенно исчезает, и впечатление, ощущаемое человеком от этой разницы, принимает другой характер, — характер светлого состояния души, когда человек чувствует; «мне и теперь хорошо, а если я буду работать над улучшением, будет мне еще лучше». Серьезные, реальные потребности человека удовлетворяются до такой степени светлого наслаждения не слишком высокою степенью совершенства. Например, до бесконечности может простирается усовершенствование качества в породах рогатого скота, воспитываемых для мяса; точно так же до бесконечности может простирается усовершенствование кухонного искусства. Но очень легко получить такую говядину, из которой можно приготовить уже очень вкусное блюдо, и очень легко приготовить эту говядину так, чтобы блюдо было очень вкусно. Точно то же во всяком другом сорте порядочной пищи; точно то же и в одежде и в помещении; точно то же и в удовлетворении всех других реальных, серьезных потребностей, — тех потребностей, которые вытекают из органического устройства, которые признаются рассудком за потребности основательные, разумные, неудовлетворенность которых производит в человеке физическое или нравственное страдание серьезного рода, признаваемое за действительное страдание добрыми и умными людьми. Другое дело — те фальшивые потребности, при неудовлетворенности которых в известном человеке рассудительные люди не сочувствуют его жалобе, а смеются над ним или презируют его. Эти потребности никогда не могут быть удовлетворены настолько, чтобы допускали по-

стоянное светлое наслаждение в человеке, ими заразившемся: они всегда приносят ему больше огорчений, чем удовольствия. Но не об удовлетворении таких потребностей рассуждает наука. Она рассуждает об искоренении обстоятельств, подвергающих человека этим нравственным болезням.

Все это мы говорим к тому, что формулу абсолютно выгоднейшего сочетания элементов производства наука может давать лишь самым отвлеченным образом, лишь в самых общих выражениях, не представляющих никакой определенной картины нашему воображению. Силы воображения совершенно недостаточны для того, чтобы представились нам в отчетливой картине подробности, которыми определялся бы реальный очерк не только этого математического совершенства, но хотя бы какой-нибудь степени совершенства, довольно близкого к нему сравнительно с нынешнею действительностью. Фантазия — способность очень слабая, она не в силах отдаляться от действительности. Она не в силах создать для своих картин ни одного элемента, кроме даваемых ей действительностью. В действительности по вопросу о пользовании продуктом труда высший элемент, знакомый нашему воображению, — положение помещика-собственника. Все теории коренных улучшений человеческого быта построены на этом понятии. Со временем, конечно, будет представлять действительность данные для идеалов, более совершенных; но теперь никто не в силах отчетливым образом описать для других или хотя бы представить самому себе иное общественное устройство, которое имело бы своим основанием идеал более высокий. Да, из этого скромного основания возникают и только эту скромную цель действительно имеют в виду все так называемые утопии: дайте нам такой быт, в котором каждый человек мог бы занимать положение помещика-собственника или другое положение, равнозначительное ему, в котором каждый человек мог бы работать действительно в свою пользу. Судите же теперь сами, до какой степени следует называть утопиею такое скромное требование.

Конечно, люди, у которых доставало силы соображения, чтобы отчетливо представить себе результаты удовлетворения этому скромному требованию, предвидели, что с его осуществлением уровень благосостояния чрезвычайно возвысится; конечно, некоторые из них очень яркими красками описывали довольство, какого следует ожидать от предполагаемой ими реформы; конечно, были и такие, которые старались во всех подробностях предугадать перемену чувств, какая произойдет от столь значительной перемены экономического положения; конечно, в подобных случаях краски выходили иногда слишком блистательны, подробности оказывались иногда соображенными не безошибочно. Но что ж такое? Разве не случается того же самого с каждым, успевшим понять выгоду какого бы то ни было полезного

дела? Разве каждый изобретатель или нововводитель в каком бы то ни было деле от саче-пез до электрических телеграфов, от хромолитографии до воскресных школ не преувеличивает некоторых сторон пользы, какую принесет его дело, и не ошибается в некоторых подробностях при развитии своей мысли? Что же из этого?

Конечно, для осуществления самого простого, скромного и практического требования нужна бывает иногда очень большая переделка обстановки. Но если эта переделка и представляется вам трудною, трудность находится не в характере самого требования, а в обстановке, какая была у известного человека или у известного общества. Например, что может быть проще и скромнее того требования, чтобы люди не продавали пленных в рабство? Мы видим, что это требование безусловно принято всеми сколько-нибудь цивилизованными народами, принято до того, что ненатурально им кажется и подумать о его нарушении. Попробуйте же рассудить, какая переделка быта понадобится у племен западного берега Африки, чтобы осуществилось у них это требование. Им нужно совершенно перевоспитаться, отбросить большую часть своих нынешних понятий и обычаев, приобрести совершенно новые для них мысли и привычки. Очень может быть, что для них ваше скромное требование представится утопией. Смутит ли вас такое возражение? Разве не готов у вас неопровержимый ответ на него? Вы, наверное, скажете: «чем труднее западно-африканским племенам осуществить это требование при своем нынешнем быте, тем, значит, хуже их нынешний быт и тем сильнее выказывается надобность переделки его». К этому вы, конечно, прибавите, что переделка эта — необходимость, налагаемая на них историею, и что от этой необходимости не уйти им ни в каком случае, как бы ни были кому-нибудь из них милы нынешние их порядки. Да, есть возражения, которые служат только сильнейшим подтверждением пользы и неизбежности дела, против которого выставляются. Если, например, вы полагаете, что человеку не следует быть пьяницей, и если какой-нибудь человек станет спорить против вас, у вас только появляется мнение, что именно к нему-то и применяется сильнейшим образом ваша мысль: по всей вероятности, он — или несчастный пьяница, или стоит в каком-нибудь вредном для общества положении, в котором получает пользу от существования пьяниц⁵³. Чем упрямее спорит он с вами, тем больше утверждаетесь вы в мысли, что надобно ему изменить обстановку, влияние которой мешает ему принять мысль, что пьяница вреден себе и другим.

Но мы выходим от предположения, что возможно сочетание элементов производства более выгодное, чем принимаемая господствующею теориею форма, при которой существуют три разные класса, делящие между собою продукт по трем элемен-

там производства, так что один класс получает ренту, другой — прибыль, третий — рабочую плату. Мы видели, что даже из последователей господствующей теории предпочитают этому устройству другой порядок дел все те, которые знакомы с бытом поселянина-собственника и одарены самостоятельным рассудком на столько, чтобы не оставаться попугаями, повторяющими слова первых основателей политической экономии, не знавших этого быта. Но с тем вместе мы видели, что даже у Милля, самого сильного из них по уму, сочувствие к быту поселянина-собственника остается почти бесплодным, или по крайней мере не имеющим влияния на общий характер теории. Не следует ли заключить из этого, что симпатия к положению поселянина-собственника происходит лишь от филантропии, бессильной перед необходимостью вещей? Не надобно ли думать, что каковы бы то ни были результаты трехчленного деления продукта по трем классам, это деление неизбежно требует промышленным прогрессом, и всякая другая форма, хотя бы и казалась благотворнее для массы, должна неминуемо уступать место трехчленному делению? Ответ на это легко найти в самой господствующей теории. Мы видели, что трехчленное деление сама господствующая теория находит только в земледелии. Мы спрашиваем теперь: почему же нет подобного трехчленного деления в заводской и фабричной промышленности? Ведь и в ней есть элементы, на которых мог бы построиться подобный порядок. Здание фабрики с находящеюся под ней землею и с долговечными машинами могло бы принадлежать собственнику, отдельному от капиталиста, снимающего в аренду ведение фабрикации на свой оборотный капитал. Но ведь не существует же такого раздела: выгоднее для производства оказывается, чтобы капиталист, ведущий фабрикацию, был и собственником фабрики. А между тем фабричная промышленность стоит гораздо выше земледелия по техническому совершенству своих процессов, и ее обороты гораздо ближе соответствуют условиям экономической теории, чем земледельческие обороты. Из этого мы можем заключить, что есть такие формы двухчленного деления продукта, которые должны и по господствующей теории считаться выше трехчленного деления, применяющегося в значительном размере лишь к самой отсталой по техническому совершенству отрасли производства. Если же при известном способе сочетания двух элементов в руках одного класса производство становится совершеннее, чем при трехчленном делении, то естественно является предрасположение думать, что для дальнейшего усовершенствования производства нужно сочетание всех трех элементов в одних и тех же руках. Каковы должны быть условия такой формы производства и на каком расчете должно основываться приистекающее из нее распределение продукта, это мы рассмотрим когда-нибудь в другой раз, а теперь займемся обозрением свойств

трехчленного деления, рекомендуемого господствующей теорией. Этот обзор доставит нам материалы для окончательного признания неудовлетворительности такого деления и покажет, какие перемены существующего устройства нужны для соответствия с принципами самой господствующей теории, — принципами, которым противоречит трехчленное деление, являющееся в ней чрезвычайно несообразностью, какими, впрочем, вообще она изобилует.

Форма трехчленного распределения предполагает, как известно читателю, что из трех элементов производства каждый особо принадлежит отдельному классу, и доля из продукта, достоящаяся этому классу, определяется соперничеством. Класс, которому принадлежит труд, является при этой форме быта со-словием наемных работников, получающих рабочую плату; капитал принадлежит классу промышленных антрепренеров, получающих прибыль, а земля — классу владельцев недвижимой собственности, не принимающему никакого личного участия в ведении предприятия, но получающему от предпринимателя ренты за дозволение пользоваться недвижимою собственностью (землею), как орудием и помещением для промышленного предприятия. Свой анализ трех долей распределения Милль начинает с рабочей платы.

Рабочая плата

В разных занятиях рабочая плата имеет неодинаковую величину; причины, от которых зависит эта разница, излагаются господствующей теорией очень удовлетворительно, так что нам довольно будет сказать о них несколько слов в конце отдела, а главное внимание надобно обратить на вопрос о величине рабочей платы вообще или платы за массу обыкновенного черного труда, не требующего ни особенной подготовки, ни чрезвычайных физических или нравственных сил. Чем определяется величина этой обыкновенной рабочей платы при трехчленном делении продукта? Милль говорит:

Рабочая плата, подобно другим экономическим элементам, определяется или соперничеством, или обычаем. В нашей земле (Англии) мало найдется таких родов труда, вознаграждение за которые не было бы ниже нынешнего, если бы хозяин вполне пользовался выгодой соперничества. Но все-таки соперничество при нынешнем состоянии общества должно считаться главным регулятором рабочей платы, а обычай или личный характер только видоизменяющим обстоятельством и притом слабым сравнительно с соперничеством.

Итак, рабочая плата главным образом зависит от отношения между спросом и предложением труда или, как часто говорят, между населением и капиталом. Под населением разумеется тут лишь численность рабочего класса или, точнее говоря, людей, работающих по найму; а под капиталом только оборотный капитал, и даже не весь оборотный капитал, а лишь та часть его, которая расходуется на прямую покупку труда. Но к ней тут

прибавляются все суммы, которые, не составляя части капитала, платятся в обмен за труд, как, например, плата солдатам, домашней прислуге и всем другим непроеизводительным работникам. К сожалению, нет общепотребительного слова, которым можно было бы обозначить то, что мы обозначим выражением «фонд рабочей платы» известной страны. Плата за производительный труд составляет почти всю массу этого фонда, потому обыкновенно оставляют без внимания меньшую по величине и по важности часть его, говоря, что рабочая плата определяется величиною населения и капитала. Для простоты мы будем употреблять это выражение, но не должны забывать, что в буквальном смысле оно не вполне соответствует делу.

Понимая таким образом термины «население и капитал», надобно сказать, что рабочая плата, определяющаяся относительно величиною капитала и населения, зависит при господстве соперничества исключительно от этого отношения. Рабочая плата (то есть, разумеется, общая величина ее) может подниматься только от увеличения суммы фондов, употребляемых на наем работников, или от уменьшения в числе соискателей, нанимающихся работать: падать она может только или от уменьшения фондов, определенных на плату за труд, или от увеличения в числе работников, получающих плату⁵⁴.

Есть факты, на первый взгляд кажущиеся несогласными с этой теориею; но они только подтверждают ее при точнейшем разборе. Например, говорят, что в одной и той же стране, при данном числе рабочего населения, рабочая плата возвышается в эпохи успешного хода промышленных и коммерческих дел, понижается в периоды застоя, — следовательно, величина рабочей платы зависит не от пропорции между капиталом и населением, а от успешности или неуспешности коммерческих дел. Делать такое возражение, значит, не понимать факта, на который ссылаешься. Во время застоя часть капитала, шедшего прежде на рабочую плату, удерживается без употребления на нее, в ожидании выгоднейших обстоятельств; в периоды оживленного хода коммерческих дел обращается в капитал, идущий на рабочую плату, часть средств, оставляемых в другие времена без употребления или потребляемых непроеизводительно. Следовательно, в том и другом случае величина рабочей платы изменяется от изменения в количестве капитала, служащего фондом рабочей платы.

Это разъяснение совершенно верно; но не возбуждает ли оно мысли о том, что необходимо для высоты рабочей платы, то есть для благосостояния массы, такое устройство, при котором как можно большая часть средств страны обращалась бы в фонд рабочей платы, и как можно меньшая часть этих средств оставалась бы без занятия или потреблялась бы непроеизводительно. До какой степени можно было бы ожидать прочной пользы из этого источника, мы рассмотрим ниже по поводу замечаний Милля о разных планах для возвышения рабочей платы.

Другим возражением против зависимости рабочей платы от пропорции между населением и капиталом служит мнение, что величина рабочей платы изменяется соответственно цене хлеба.

Часто утверждают (говорит Милль), что рабочая плата (то есть, разумеется, денежная величина рабочей платы) изменяется с ценою пищи: поднимается при ее возвышении, опускается при ее падении. Я нахожу, что это мнение справедливо не вполне, а только отчасти, и справедливая сторона его нисколько не противоречит зависимости рабочей платы от пропорции между капиталом и трудом, потому что когда цена хлеба действует на величину рабочей платы, то действует на нее через посредство этого закона. Разница в цене пищи по разным временам года не имеет влияния на рабочую плату (если это влияние не устанавливается искусственно, законом или благотворительностью) или, скорее, имеет некоторую тенденцию действовать на рабочую плату способом, противным обыкновенному мнению: когда запас пищи скуден, работники вообще должны работать больше, и таким образом они понижают рабочую плату во вред себе. Но если дороговизна или дешевизна пищи бывает продолжительна и может быть предусмотрена заранее, то она может иметь влияние на рабочую плату. Во-первых, если работники получают не больше того, сколько нужно им на поддержание своей способности к труду и на прокормление обыкновенного числа детей (а рабочая плата часто не превышает этого уровня), то, когда пища надолго вздорожает без возвышения рабочей платы, преждевременно станет умирать больше детей, чем прежде; от этого рабочая плата напоследок возвысится, но только потому, что число людей станет меньше, чем было бы при дешевизне пищи. Во-вторых, если рабочая плата даже и имеет такую высоту, что цена пищи могла бы повыситься без отнятия возможности пропитания у работников и их семейств, то работники, быть может, не захотят переносить скудость, которую мог бы выносить человеческий организм. Быть может, некоторый комфорт стал для них по привычке необходимостью, и скорее, чем отказаться от него, они станут еще более прежнего воздерживать свою способность к размножению, так что рабочая плата повысится не от увеличения числа умирающих, а от уменьшения числа рождающихся. Мы видим, что в обоих этих случаях рабочая плата приходит в соответствие с ценою хлеба, но приходит только через период времени, почти равняющийся жизни поколения. Рикардо полагает, что под эти два случая подводятся все возможные случаи⁵⁵. Он принимает, что везде существует наименьшая величина рабочей платы, равняющаяся или самой низкой плате, при которой может не вымирать население от голода, или самой низкой, при которой соглашается народ не уменьшаться в числе. Он принимает, что общий уровень рабочей платы всегда клонится к этой наименьшей величине; что оставаясь ниже этой величины он может только на то время, какое нужно для осуществления результата, производимого ослаблением размножения людей, и выше этого уровня рабочая плата никак не может удержаться долго. Такая теория имеет в себе на столько истины, что может быть принимаема в соображениях отвлеченной науки; а вывод, делаемый Рикардо из этой теории, тот вывод, что рабочая плата в расчете продолжительных периодов возвышается и понижается сообразно долговременным изменениям цены пищи, — это заключение, подобно почти всем заключениям Рикардо, справедливо гипотетически, то есть в том случае, когда существуют посылки, из которых делается вывод. Но в приложении к практике не следует забывать, что может изменяться самая норма наименьшей величины рабочей платы, в особенности если эта норма определена не физическими, а нравственными потребностями. Если рабочая плата была так высока, что могла быть доступна уменьшению, и если препятствием для уменьшения была привычка работников к высокой норме благосостояния, то возвышение цены пищи и всякая другая невыгодная для работников перемена обстоятельств может произвести двойной результат: она может уравновеситься повышением рабочей платы через постепенное действие расчетливой воздержности работников от размножения или может понизить благосостояние работников, если их прежние привычки относительно размножения окажутся сильнее их прежних привычек относительно благосостояния. В этом случае вред, понесенный им, останется вечным; новое положение, худшее прежнего, станет новою наименьшею вели-

чиною рабочей платы, и эта величина будет иметь тенденцию держаться неизменно, как прежде имела прежняя, не столь скудная наименьшая величина. К несчастью, надобно полагать, что этот последний результат повышения цены пищи бывает почти всегдашним или по крайней мере обыкновенным результатом, так что в практике не имеют никакой силы все теории, говорящие, будто бы бедствия, которым подвергается рабочий класс, исцеляются сами собою. Есть большое число фактов, доказывающих, что не раз в нашей истории положение земледельческих работников в Англии подвергалось большому постоянному ухудшению от причин, результатом которых было уменьшение запроса на хлеб. [Эти причины имели бы лишь временное действие, если бы воздержностью от размножения работники привели свое число в соразмерность с требованиями прежней нормы благосостояния, но, к несчастью], бедность, в которую на много лет были повергнуты они, отучила их от этой нормы, и следующее поколение, никогда не знавшее прежнего благосостояния, стало в свою очередь размножаться, не делая никаких попыток возвратить его.

Когда цена предметов, необходимых работникам, понижается земледельческими усовершенствованиями, отменой хлебных законов и другими тому подобными причинами; когда работники за прежнюю рабочую плату могут получать больше условий благосостояния, чем прежде, то происходит обратное явление. Рабочая плата упадет не тотчас; она может даже возвыситься; но напоследок она упадет до того, что положение работников станет не лучше прежнего, если в продолжение благоприятного времени не возвысится прочным образом норма благосостояния, считаемого работниками за необходимость для себя. К несчастью, никак нельзя рассчитывать на это благотворное последствие. Норма благосостояния, пользоваться которым считают работники делом более необходимым, чем жениться и иметь семейство, — эта норма падает легко, но возвышается вовсе не так легко. Если работники станут только пользоваться большим благосостоянием, пока оно продолжается, а не привыкнут считать его необходимостью, они размножатся до прежней нормы образа жизни. Если прежде они не могли по бедности хорошо выкармливать детей, теперь они будут выкармливать детей больше прежнего, и когда дети вырастут, то своим соперничеством понизят рабочую плату, понизят ее вероятно, на всю ту пропорцию, в какой удешевилась пища. Если не этим, то другими такими же способами, например, увеличением числа бракосочетаний, более ранним вступлением в брак или увеличением числа рождающихся от каждого брака, будет произведен такой же результат. Все факты свидетельствуют, что за периодами дешевизны пищи и живого запроса на труд непременно следует значительное увеличение в количестве браков. Потому я не могу приписывать отмене хлебных законов ту важность для благосостояния работников, какая часто ей приписывается; не могу также придавать важности ни одному плану небольших улучшений в положении работников, ни одному из этих планов, попеременно бывающих в моде. Небольшая перемена в положении работников не сделает прочного изменения в их привычках и требованиях, и скоро они опустятся до своего прежнего положения. Для произведения прочного улучшения временная причина, действующая на них, должна быть так сильна, чтобы значительно изменить их положение, так сильна, чтобы изменить его на многие годы, несмотря на то, что от нее же увеличится размножение работников в течение всей жизни целого поколения. Если улучшение имеет такую большую силу, если явится поколение, с детства привыкшее к улучшенному положению, то привычки этого нового поколения относительно размножения сформируются по высшей норме наименьшей рабочей платы, и положение работников улучшится прочным образом. Самый замечательный пример такого случая представляет Франция после революции. Большинство населения внезапно перешло от нищеты к независимости и лучшему житейскому положению; немедленным следствием этого было беспримерно быстрое размножение населения, несмотря на истребительные тогдашние войны: благодаря улучшению обстоятельств выросло много детей, которые без того умерли бы, да и самое число

рождений увеличилось. Но все-таки новое поколение выросло в привычках, совершенно непохожих на прежние, и хотя никогда не было в Франции такого благосостояния, как теперь, ежегодное число рождающихся в ней почти не возрастает, а население возрастает чрезвычайно медленно.

Итак, рабочая плата определяется пропорцией между числом рабочего населения и капиталом или другими суммами, назначенными для покупки труда (для краткости будем просто говорить: капитал). Если в данное время или в данном месте рабочая плата выше, чем в другое время или в другом месте, и класс наемных работников пользуется лучшею пищею и большим благосостоянием, причина этому только то, что капитал находится в большей пропорции к населению. Для рабочего класса важна не абсолютная величина накопления или производства, даже не абсолютная величина сумм, назначенных к распределению между работниками, а пропорция между этими суммами и числом людей, по которому они разделяются. Положение рабочего класса может улучшиться не иначе, как изменением этой пропорции в его пользу, и всякий план улучшения, не основывающийся на этом, составляет обольщение, не могущее дать никакой прочной пользы⁵⁶.

Этот взгляд имеет в себе очень суровую сторону, и редкий из континентальных политико-экономов имеет мужество держаться его неизменно, как держится Милль. Но что же делать, когда это так. Мы старались доказать, при разборе мальтусовой теоремы, что в каждой стране, как бы густо ни была она теперь населена, размножение могло бы продолжаться в течение нескольких поколений со всевозможною быстротою, не понижая уровня благосостояния, если бы он зависел только от законов природы и естественных средств страны. Но когда прибыль и рента отделяются от рабочей платы, являются, как мы показывали в том же этюде, искусственные задержки надлежащему возрастанию продукта, так что с увеличением числа работников непременно должна уменьшаться доля, достаемаяся каждому работнику; и к трехчленному делению продукта прилагается в полной своей силе мальтусов закон. Эта система имеет тенденцию отвлекать от выгодных для общества производств к убыточным как можно большее число рук, стремясь оставлять на выгодные производства как можно меньше рук (перев. Милля. Т. I, стр. 62—75 и стр. 148—151). Исключением бывают лишь те редкие случаи, когда, по недостаточности числа работников, сословие работников приобретает влияние на пропорцию, по которой распределяются его труды между выгодными и убыточными занятиями. Это бывает лишь в странах, только что начинающих населяться; в них работник, имея возможность располагать своею судьбою, вводит в общественную промышленность такой порядок, что прежде всего озабочивается она производством предметов необходимости, требуемых простолюдинами. Вот собственно по этому обстоятельству, по сильному влиянию просто-народных надобностей на ход общественной промышленности, производство предметов необходимости растет в новых странах быстро, и население может в них размножаться без вреда благосостоянию массы. Во всех других случаях общественная про-

мышленность при трехчленном делении продукта слишком сильно направляется влиянием прибыли и ренты к производствам, убыточным для общества, и части продукта, нужные для простолюдинов, растут слишком медленно. Почему так бывает, мы отчасти показывали в этюде о мальтусовой теореме, а полное покажем на следующих страницах этой статьи. При таком порядке дел население действительно не может быстро возрасти без вреда благосостоянию массы, и тут слова Милля совершенно справедливы. Если размножение не сдерживается какими-нибудь средствами, рабочая плата быстро падает до *minimum*, и дальнейшее ее понижение задерживается только физической невозможностью поддерживать жизнь при меньшей величине ее. Постоянно возникающий излишек населения постоянно уносится последствиями материальной нужды, — пороком и болезнью. Поэтому при трехчленной системе распределения необходимо приискивать искусственные средства, чтобы отвратить излишек размножения и избавить общество от его убийственных последствий. Милль переходит к перечислению этих средств.

Если где-нибудь рабочий класс, не имевший, кроме рабочей платы, ни собственности, ни надежды приобрести ее, удерживался от слишком быстрого размножения, то, по моему мнению, всегда бывала тут особенная причина — или фактическое законодательное препятствие, или какой-нибудь обычай, от которого непреднамеренно и незаметно давалось направление образу действий работников или возбуждался в них прямой расчет не жениться. Публика мало знает о том, что в очень многих европейских странах закон ставит прямые препятствия заключению непредусмотрительных браков. [Значительная масса сведений об этом находится в отчетах, доставленных нашими посланниками и консулами из разных частей Европы первой комиссии, рассматривавшей законы о бедных (*Original Poor Law Commission*). Синьор в предисловии к этим сведениям (приложение к общему отчету комиссии, напечатанное также отдельно книгою)] говорит, что в странах, где закон признает за бедными право на вспоможение, «повсюду запрещено вступление в брак лицам, получающим пособие, и очень редко дозволяется вступать в брак лицам, у которых не предполагается средств к независимому существованию». Так, в Норвегии нельзя жениться, не представив священнику удостоверения о прочных средствах к существованию, ручающихся за возможность содержать семейство⁵⁷.

Подобные законодательные меры, запрещающие брак, существуют во многих немецких государствах. Особенно поразительно их существование в Швейцарии, стране, где законодательная власть принадлежит самим простолюдинам⁵⁸.

«Швейцарский народ, говорит Кэ, очень хорошо знает по опыту, как полезно, чтобы молодые люди не спешили браком; государственные советы 4 или 5 самых демократических кантонов постановили законы, по которым подвергаются тяжелому штрафу молодые люди, которые женились, не доказав начальнику округа, что имеют средства содержать семейство (не забудем, что эти советы избираются всеми совершеннолетними людьми кантона). Такие законы давно существуют в Люцерне, Аргау, Унтервальдене и, если не ошибаюсь, Санкт-Галлене, Швице и Ури»⁵⁹.

При недостатке подобных законов точно такое же влияние имеют иногда народные обычаи, — например, обычай, по которому родители отдают дочь за человека лишь тогда, когда он обзавелся самостоятельным хозяйством; или обычай, по которому наемные работники и работницы живут в одной квартире с семейством хозяина, так что останутся без места, если вступят в брак: хозяин, конечно, не найдет удобным, чтобы его семейство стеснялось присутствием другого семейства в том же помещении.

Люди, у которых нет понятия об устройстве лучшем, чем рассматриваемое нами теперь трехчленное устройство, могут очень подробно и глубокомысленно рассматривать сравнительные выгоды и невыгоды этих двух систем задержки размножению. Мы не обязаны рассуждать о подробностях дела, когда самый принцип его кажется нам неудовлетворителен. Довольно будет сказать, что законодательное препятствие вступлению совершеннолетних людей в брак ведет только к замене правильных брачных отношений другими, совершенно такими же по сущности, но отвергаемыми обществом за неправильность формы, потому что располагающими мужчиною к эгоизму, а женщину обрекающими на бесчисленные лишения и оскорбления. Что же касается до обычая, — он сила, принадлежащая патриархальному быту и исчезающая с развитием самостоятельной личности. Потому нигде в больших городах он не держится, падает и в деревнях с распространением новых форм жизни; в Англии, например, он уже совершенно упал даже между земледельческими работниками, не говоря уже о других классах простолюдинов. По этой неудовлетворительности законодательных мер и обычая, вопрос о размножении населения представляется по господствующей теории очень затруднительным. Мы замечали, что из континентальных политико-экономов почти ни у кого недостает характера, чтобы понимать всю суровость представляющейся им задачи. Еще менее понимается она большинством публики, и Милль говорит:

К несчастью, люди, рассуждая о подобных предметах, руководятся обыкновенно не здравым смыслом, а сентиментальностью; растет сочувствие к несчастиям бедняков и готовность признавать их права на помощь со стороны других людей; но с тем вместе почти никто не хочет прямо взглянуть на истинную причину их тяжелого положения, никто не хочет сообразить условий, необходимых по законам природы для улучшения их материального быта. Никогда и нигде в целом мире не было столько, как теперь в Англии, рассуждений о положении работника, сожалений о его бедственности, выходов против людей, кажущихся равнодушными к нему, разных проектов для его улучшения; но рассуждающие как будто согласились между собою совершенно не думать о принципе, определяющем рабочую плату, или мимоходом отделываться от него какою-нибудь фразою, вроде выражения «безжалостный малтусианизм»; как будто бы не в тысячу раз безжалостнее бывает говорить людям, что они могут рождать бесчисленное множество существ, наверное обреченных нищете [и почти неизбежно обре-

ченных пороку, не говорить людям, что они не должны этого делать. Тут забывают, что привычка, порицать которую называют делом жестоким, — что эта привычка в отце составляет унижительное порабощение животному инстинкту, а у матери обыкновенно бывает следствием беспомощной покорности возмутительному злоупотреблению власти].

Пока люди оставались в полуварварском положении, имели беспечность дикарей с неразвитыми потребностями, вероятно, было бы вредно сдерживать размножение. На этой степени развития материальная нужда, быть может, служила человеку необходимым возбуждением к трудолюбию и умственной деятельности для совершения величайшего из всех исторических переворотов в человеческом быте, — переворота, по которому промышленная жизнь восторжествовала над охотничьескою и пастушескою и над воинственным или хищническим бытом. В те времена имела свою пользу крайняя бедность, как имела свою пользу даже рабство; быть может, и теперь остаются на земле такие страны, в которых она еще не потеряла своей пользы, хотя легко потеряла бы ее при помощи более образованных обществ. Но в Европе, если когда-нибудь существовало, то давно уже прошло время, когда материальная нищета могла сколько-нибудь содействовать, чтобы люди трудолюбивее работали или цивилизовались. Напротив, каждый видит, что если бы положение земледельческих работников улучшилось, они стали бы более усердными работниками и более хорошими гражданами. Теперь я спрашиваю: правда ли, что они стали бы получать более высокую плату, если бы число их было меньше? В этом состоит вопрос, и напрасно отвлекать внимание от него нападениями на какую-нибудь второстепенную мысль Мальтуса или какого-нибудь другого писателя и уверениями, что опровергнуть эту мысль значит опровергнуть принцип населения⁶⁰.

Действительно, нет ничего смешнее опровержений мальтусовой теоремы у большей части континентальных последователей Адама Смита и у многих английских публицистов той же школы. Они обыкновенно основываются на совершенном непонимании смысла мальтусовой теоремы. Вместо того, чтобы дополнить пробелы, оставшиеся после исследований Мальтуса, эти возражатели обыкновенно отвергают и ту часть истины, которая уже обнаружена Мальтусом. На этом незнании основаны разные планы облегчить участь массы наемных работников возвышением рабочей платы.

Самым простым средством к тому представляется — законодательным путем определить *minimum* рабочей платы, установить для нее таксу, обеспечивающую порядочные средства к жизни работников. Против этого мнения Милль говорит:

Определить наименьшую величину рабочей платы будет бесполезно, если не принять мер, чтобы находилась работа или по крайней мере рабочая плата для каждого требующего. Это составляет необходимую часть плана и принимается многими людьми, несогласными на юридическое или нравственное определение наименьшей величины рабочей платы. В обществе распространено мнение, что на богатых людях или на государстве лежит обязанность доставлять занятие всем бедным. Если нравственное влияние общественного мнения не заставляет богатых ограничивать свое потребление на столько, чтобы дать всем бедным работу за «удовлетворительную плату», то вменяется в обязанность государству устанавливать для этой цели налоги по округам или по всему государству. Этим способом предполагают изменить пропорцию между трудом и фондом рабочей платы в пользу работников, не через задержку размножению, а через увеличение капитала.

Если бы это требование от общества могло быть ограничено нынешним поколением; если бы нужно было только обязательное накопление, достаточное на снабжение существующего числа людей постоянной работою за хорошую плату, то никто не был бы таким ревностным поборником этого предложения, как я. Общество состоит главным образом из людей, живущих физическим трудом; и если общество, то есть если работники ограждают своею физическою силою безопасность людей, пользующихся излишком, то они имеют право ограждать их только под условием облагать этот излишек налогами для общественной пользы, и ограждение всегда давалось только под этим условием; а из предметов общественной пользы самый первый — продовольствование народа. Никто не отвечает за то, что он родился; потому нет такой денежной жертвы, которую люди, имеющие излишек, не были бы обязаны сделать для доставления довольства каждому из людей, уже родившихся на свет.

Но совершенно иное дело, когда требуют, чтобы люди, которые произвели и накопили капитал, воздерживались от потребления, пока снабдят пищею и одеждою не только всех, существующих ныне людей, а также и всех, которым эти люди или потомки заблагорассудят дать жизнь. Принятие и исполнение такого обязательства уничтожило бы все положительные и предупредительные задержки размножению; население стало бы беспрепятственно размножаться со всею возможною быстротою; а естественное возрастание капитала было бы никак не быстрее прежнего; потому для покрытия возрастающего дефицита налог стал бы возрастать в той же гигантской пропорции, как население. Конечно, общество стало бы пытаться требовать труда взамен вспоможению. Но опыт показал, какой работы следует ожидать от людей, содержимых общественною благотворительностью. Когда не плата дается за работу, а работа приискивается для платы, неуспешность работы — дело известное. Заставить действительно трудиться работников, которым нельзя отказать в работе — этого можно достичь только бичом. Конечно, есть способ устранить это возражение. Фонд, собираемый налогом, можно вообще разделять всему рабочему рынку, не давая ни одному незанятому работнику права требовать вспоможения в каком-нибудь особенном месте, у особенного чиновника, — кажется, так и предполагали сделать французские приверженцы «права на работу» (*droit du travail*). Тогда осталась бы возможность отказывать в работе отдельным работникам; правительство только стало бы создавать добавочную работу в случае недостатка работы, представляя себе выбор работников, как имеют его другие хозяева. Но как бы успешно ни работало возрастающее население, оно не могло бы увеличивать продукта пропорционально своему размножению, — мы говорили об этом много раз; излишек, остающийся за прокормлением всех членов общества, составлял бы все меньшую и меньшую пропорцию сравнительно с целым продуктом и населением; при размножении народа по постоянной прогрессии и возрастании продукта по уменьшающейся прогрессии был бы со временем поглощен весь излишек, налог на содержание бедных поглотил бы весь доход страны; лица, платящие налог и содержимые на него, слились бы в одну массу. Тогда уже нельзя было бы отсрочить действия задержки размножению; смерть или благоразумие должны были бы вдруг начать задерживать его, а между тем в предыдущий период погибло бы все, чем человеческий род возвышается над обществом муравьев или бобров.

Эти результаты были столько раз и так ясно высказываемы знаменитыми писателями в общеизвестных и общедоступных книгах, что незнание их непростительно образованным людям. Еще бесчестнее человеку, берущему на себя претензию учить общество, игнорировать эти доводы, проходить их молчанием и рассуждать или декламировать о налоге в пользу бедных так, как будто эти доводы не то что могут быть опровергнуты, но как будто они вовсе не существуют.

Каждый имеет право жить. Это мы предполагаем бесспорно. Но никто не имеет права давать жизнь существам, которых обязаны будут содержать другие люди. Кто хочет настаивать на первом из этих прав, должен отка-

заться от всякой претензии на второе. Если человек не может содержать даже самого себя, без помощи других, эти другие имеют право сказать, что не берут на себя обязанности содержать всех детей, произвести которых на свет имеет он физическую способность. А между тем, есть множество писателей и ораторов, и в том числе людей с самыми хвастливыми претензиями на возвышенность чувств, — множество писателей и ораторов, которые имеют на жизнь такой животный взгляд, что называют жестокосердием мешать нищим рождать наследственных нищих в самом уоркгаузе. Потомство некогда с изумлением станет спрашивать, что это был за народ, в котором такие проповедники могли находить прозелитов.

Государство могло бы гарантировать работу с хорошою платою всем уже родившимся на свет. Но если оно сделает это, оно для самоохранения и по требованию всех целей, для которых существует правительство, должно принять меры, чтобы не родился ни один человек без его согласия. При отстранении обыкновенных естественных побуждений к самообладанию, на место их надобно поставить другие побуждения. Необходимы будут ограничения права вступать в брак, не менее строгие, чем существующие в некоторых немецких государствах, или строгие наказания людям, которые рожают детей, не будучи в состоянии содержать их. Общество может кормить нуждающихся, если берет под свой контроль их размножение, или, будучи лишено всякого нравственного чувства к несчастным детям, может оставить размножение на произвол нуждающихся, оставляя их самих без помощи. Но оно не может безнаказанно принять на себя прокормление нуждающихся, оставляя им свободу размножаться.

Щедро давать воспроизведение народу под именем благотворительности или работы — значит расточать средства благотворительности, не достигая цели, если народ вместе с этим не окружается влияниями, сообщающими силу побуждениям к воздержности. Оставьте народ в таком положении, чтобы его благосостояние явным образом зависело от числа людей, — в этом случае принесет наибольшую прочную пользу всякое пожертвование, делаемое с целью улучшить материальное благосостояние нынешнего поколения и возвысить через это привычки подрастающего поколения. Но если вы устранили зависимость рабочей платы от числа людей, если законом или общественным мнением обеспечите людям известную плату, то какое бы ни дали вы благосостояние людям, они и их дети не поймут, что собственная воздержность должна служить истинным средством поддержать это благосостояние; они только будут с ожесточением требовать, чтобы вы продолжали обеспечивать судьбу их и всего потомства, какое могут они иметь⁶¹.

В применении к системе трехчленного распределения продукта это возражение совершенно достаточно. Если из писателей, предлагавших когда-нибудь установить «право на работу» или возложить на общество обязанность снабжать работою каждого желающего и способного работать, кто-нибудь останавливался мыслью на системе трехчленного деления продукта, как на окончательной форме экономического устройства, тот действительно говорил несообразность, когда вместе с этою обязанностью давать работу не возлагал на общество и обязанность сдерживать размножение какими-нибудь принудительными средствами. Мы видим на факте, что во всех старых странах население уже размножилось до крайнего предела, допускаемого системою трехчленного деления продукта, и степень благосостояния массы при этой системе действительно зависит от медленности размножения. Другое дело было бы при системе, до-

пускающей нацию вполне пользоваться естественными средствами страны: в разборе мальтусовой теоремы мы видели, что при нынешнем состоянии технических знаний, страны, имеющие ныне самое густое население, могли бы производить продовольствие для населения в 8 раз большего, чем нынешнее, и производить этот продукт пропорцией труда не большею, а меньшею нынешней, то есть не с обременением, а с облегчением быта массы. А при наибольшей физиологически возможной быстроте размножения три периода удвоения* не могли бы занять собою меньше целого столетия времени**; а в это время технические знания, конечно, успеют двинуться вперед, и развитием их срок снова удлинится. Таким образом, мы тут имеем очень продолжительную перспективу отсутствия надобности сдерживать размножение и можем предоставить эту заботу нашим отдаленным потомкам, нравы которых, вероятно, не будут сходны с нашими, так что еще неизвестно, о чем придется заботиться этим отдаленным потомкам: о том ли, чтобы население в их время не размножалось, или о том, чтобы оно хотя не уменьшалось. Мы держимся такого взгляда. Но ведь он основан на предположении устройства, допускающего нацию извлекать полную выгоду из естественных средств страны. При системе трехчленного деления, отвлекающей труд от выгодных занятий к убыточным, — это невозможно. При ней нет вековой отсрочки времени, когда страна будет чувствовать излишек населения, при ней каждая страна уже имеет излишек населения, как скоро перестала быть пустыней. При ней, действительно, существует для каждой европейской нации дилемма: или общество не может обеспечивать работу каждому желающему работать, или принуждено принимать меры против размножения.

Но это — все-таки дилемма, то есть возможность выбора между двумя решениями, а не неизбежность только одного единственного решения, как утверждают последователи рутинных понятий, уверяющие, что «право на труд» — утопия. [Это немало не утопия даже при нынешнем экономическом устройстве; это вещь, осуществить которую очень легко и при нем. Но при нем, обеспечивая благосостояние работников, общество будет в необходимости подвергать некоторую часть работников тем ограничениям, которым теперь почти без всякой пользы для себя и для общества подвергаются очень многочисленные разряды работников или по обычаю или по закону, как мы упоминали выше. Утопии тут нет, но есть необходимость некоторого стеснения свободы довольно многих лиц]. Если бы мы были приверженцами стеснения, мы без всякого неудовольствия провозглашали бы «право на работу» идеально хорошим решением

* Нужные для того, чтобы население увеличилось в 8 раз.

** Без эмиграции; а с эмиграцией срок этот удлинится на несколько веков.

социального вопроса. Если бы мы признавали окончательною формою экономического быта систему трехчленного деления продукта, мы сказали бы: «право на работу соединено с условиями, неприятными для наших понятий о свободе личности, но все-таки оно — лучшее из всех возможных решений социального вопроса», — как и говорит Милль на страницах, отрывки из которых мы приведем ниже. Но, не будучи ни приверженцами стеснений, ни приверженцами теории, не умеющей выбиться из системы трехчленного деления, мы думаем, что социальный вопрос находит себе решение, несравненно лучшее, чем простое «право на работу», провозглашенное людьми, которые не имели решимости идти до конца, но не имели бездушного тупоумия говорить, что общество ничего не может сделать в пользу массы. [«Право на труд» — идея людей половинчатого образа мыслей, — людей, добросовестность и доброжелательность которых мы ценим, но присоединяться к которым не позволяет нам логика].

Простое «право на работу», не сопровождаемое мерами к возвышению общества из системы трехчленного деления к более выгодному устройству, — дурно тем, что требует подвергать некоторую часть работников некоторому стеснению. Оно неудовлетворительно и тем, что обеспечивает степень благосостояния гораздо низшую, чем какая возможна при лучшем решении вопроса. Но должно сказать, что известную степень благосостояния оно действительно обеспечивает работникам [и эта степень все-таки гораздо выше нынешнего их положения]. Совершенно иное значение имеют другие планы облегчения участи работников, — планы, основанные не на половинчатом признании верного принципа, который гораздо лучше уже признавать вполне, а на незнании законов, управляющих рабочею платою при системе трехчленного деления.

Общий характер этих планов тот, чтобы общество, оставляя работника добывать наймом работу, давало ему в той или другой форме прибавку к плате, какую получает он за свой труд под влиянием соперничества. Из разных форм, какие придумывались в этом роде, для нас интересна система, которая в Англии известна под именем участковой системы, *Allotment System*, и которую на этот раз мы оставим под английским названием, не приискивая соответствующего русского имени. Она состоит в том, чтобы давать работнику небольшой участок земли, недостаточный для полного его обеспечения, так чтобы он имел нужду наниматься в работу. Вот что говорит об этом Милль:

Поправлять недостаточность рабочей платы средствами, дающими чистую прибавку к валовому продукту страны, конечно, не то, что покрывать этот недостаток суммами, собираемыми посредством налогов. Помогать работнику через посредство его собственного труда, конечно, не то, что да-

вать ему пособие способом, развивающим в нем беззаботность и праздность. В обоих этих отношениях участковая система имеет бесспорное преимущество над системой прибавочного пособия от прихода. Но я не вижу причин думать, чтобы две эти системы существенно разнились по своему влиянию на рабочую плату и на размножение. Все пособия, пополняющие рабочую плату, дают работнику возможность брать меньше вознаграждения и потому в окончательном результате понижает цену труда на всю ту сумму, какую получает работник из этих источников. Иначе может быть лишь в том случае, если изменяются понятия и потребности рабочего класса, если удовлетворение своим инстинктам начинает считать он делом, менее важным для себя, чем увеличение житейского благосостояния своего и своих близких. Мне кажется, нельзя ожидать, чтобы такую перемену в характере работников могла произвести участковая система. «Владение землею делает работника предусмотрительным», говорят нам на это некоторые писатели. [Его делает предусмотрительным поземельная собственность или равносильное ей право вечного владения на неизменных условиях, но простой наем земли на годичный срок никогда не обнаруживал такого действия. Делает ли владение землею предусмотрительным ирландского работника?] Правда, есть много свидетельств о том, что получение участков имело полезное влияние на характер и состояние работников. Я не оспариваю достоверности этих свидетельств. Таков и должен быть результат, пока лишь немногие работники имеют участки, пока это люди привилегированного класса, стоящие выше общего уровня и не желающие упасть до него. Притом же это всегда бывали с самого начала люди отборные, взятые из самых лучших людей между работниками. (Это преимущество соединено однако же с тою невыгодой, что тут облегчается женитьба и рождение детей именно для тех, которые были бы всего готовее удерживаться от размножения (благоразумием)). Но по своему влиянию на состояние всего рабочего класса эта система кажется мне или пустою или вредною. Если участки даются лишь немногим работникам, они естественно даются тем, которые лучше других жили бы и без участков, и целому сословию нет никакой пользы. А если бы система обобщилась, и каждый или почти каждый работник имел участок, результат, по моему мнению, был бы тот же самый, как если бы каждый или почти каждый работник получал пособие в пополнение рабочей платы. Если бы в конце прошлого века вместо системы пособий была принята по всей Англии участковая система, то несомненно, что она точно так же уничтожила бы прежние задержки размножению, что население стало бы размножаться точно с такою быстротою, и через 20 лет рабочая плата вместе с участком точно так же не превышала бы прежней платы без всякого участка, как рабочая плата с прибавочным пособием не превышала прежней платы без пособия. На стороне участковой системы было бы одно то преимущество, что по ней сам народ вырабатывал бы пособие себе.

Я готов совершенно согласиться в том, что при известных обстоятельствах рабочая плата не понижается, а возвышается, если масса работников имеет землю даже и не в собственности, а в найме за умеренную ренту. Но обстоятельства эти состоят в том, когда земля делает работников независимыми от наемной работы в получении средств пропитания. Положение народа, живущего рабочею платою и получающего от земли только прибавочный доход, совершенно не таково, как положение народа, который может в случае необходимости жить одним продуктом своей земли и нанимается в работу лишь для увеличения своего благосостояния. Рабочая плата едва ли может не быть высокой там, где никто не принужден крайностью продавать свой труд. «Люди, имеющие собственность, на которой могут работать, не станут продавать свой труд за такую плату, которая не даст им пищи лучше картофеля и маиса, хотя бы по бережливости они питались преимущественно картофелем и маисом. Путешествуя по континенту, мы часто удивляемся тому, как высока там рабочая плата сравнительно с изобилием и дешевизною пищи. Это оттого, что на континенте много местностей, в которых масса

народа владеет землею; там нет необходимости или расположения работать по найму, потому наемный труд редок и сравнительно с ценою продовольствия дорог» (Notes of a Traveller, стр. 456)⁶². Есть на континенте такие места, где даже между горожанами почти ни у одного средства к жизни не ограничены исключительно тою профессиею, которой он занимается в особенности; только этим объясняется высота платы, какой требуют они за свой труд, и равнодушие их к тому, имеют ли они работу по найму. Но совершенно не таков был бы результат, если бы земля и другие источники их пропитания давали бы им лишь часть пропитания, не уменьшая для них необходимости продавать свой труд за плату на переполненном рынке. Тогда их земля лишь давала бы им возможность брать меньшую плату и более нынешнего размножаться, отдаляя предел наименьшей рабочей платы, ниже которого они не могли бы или не захотели бы спуститься⁶³.

Показав ничтожность этой паллиативной меры, Милль переходит к средству, которое считает наилучшим. Прочным образом судьба работников может улучшиться только при изменении нравов их, говорит он.

Ни одно из тех средств, которые не действуют на понятия и привычки народа и не действуют через посредство их, не имеет ни малейшей вероятности успеха повысить рабочую плату. Когда понятия и привычки остаются без перемены, даже те способы временно улучшить положение беднейших людей, которые были бы успешны, только ослабили бы узы, которыми прежде сдерживалось размножение; потому они имели бы прочное действие лишь в том случае, если бы возбуждающим тяготением налога капитал был принужден возрастать столь же быстро, как население. Но этот процесс не мог бы длиться много времени, а его остановка оставила бы страну с увеличенным числом беднейшего класса и с уменьшенною пропорциею всех условий, кроме беднейшего; если бы он продолжался до крайности, не осталось бы никого, кроме беднейших людей. [К такому результату необходимо приводят все общественные распоряжения, которые отстраняют естественные задержки размножения, не заменяя их другими задержками⁶⁴].

Совершенная правда. Но нравы и привычки людей какого бы то ни было названия, — работников ли, купцов ли, китайцев ли, англичан ли, все равно, — не могут же улучшиться иначе, как от перемены обстоятельств, которая порождает такое улучшение. Ведь без причины ничего не бывает. Если человек держит себя неблагоприятно или дурно, на это есть причины; отстраните их, он изменится к лучшему; а без того ждать, чтобы он изменился, значит убаюкивать себя наивною иллюзиею, совершенно непристойною для положительной науки. Милль рассуждает об этом очень странно, — наполовину говорит очень справедливые вещи, а наполовину поддается рутинным иллюзиям. Если бы, говорит он, не было возможности устроиться делу так, чтобы наемные работники получали хорошую плату, политическая экономия была бы очень печальною наукою.

Но такое воззрение на человеческие дела неосновательно. Подобно почти всем другим бедствиям, бедность существует потому, что люди без должной рассудительности следуют своим животным инстинктам. Но общество именно потому и возможно, что человек может не оставаться животным. Цивилизация во всех своих сторонах — борьба против животных инстинктов. Она доказала, что человек может приобретать достаточную власть

даже над такими инстинктами, которые принадлежат к числу сильнейших. Своим искусственным влиянием она так преобразовала значительные массы человеческого рода, что едва остается в них след или воспоминание многих из самых естественнейших наклонностей. [Если она еще не обуздала инстинкт размножения на столько, на сколько нужно, то не забудем, что она еще и не заботилась об этом серьезно ⁶⁵].

Тут Милль указывает предрассудки, поддерживающие вредную беспечность в людях. Так, предрассудки вредны, но объяснять серьезные вещи одними ими очень недостаточно. Против очевидной выгоды предрассудок не может долго держаться; если он держится, значит он поддерживается какими-нибудь эгоистическими расчетами. Размножение вредно для массы при нынешнем устройстве; но не приносит ли оно выгоды кому-нибудь? Низкость рабочей платы, происходящая от излишества в населении, неприятна для работников; но нет ли в обществе таких членов, которым она приятна? На это отвечает сам Милль:

Можно усомниться в том, существовало ли когда-нибудь в каком-нибудь классе общества, кроме беднейшего сословия, искреннее и серьезное желание, чтобы рабочая плата была высока. Другие классы всегда очень сильно желали, чтобы налог в пользу бедных был невелик. Но затем они очень усердно желали, чтобы рабочие классы были бедны. Из тех людей, которые сами не работники, почти каждый нанимает работников и не станет горевать, что они продают свой труд дешево ⁶⁶.

Этого довольно. При трехчленной системе общество делится на два сословия, интересы которых оказываются прямо противоположными по вопросу о рабочей плате. Класс, которому выгодна низкость ее, управляет ходом экономических дел; теперь явна причина, по которой и рабочая плата низка, и размножение чрезмерно; причина эта — трехчленное деление продукта, раздельность рабочей платы от прибыли, то, что один человек нанимается, а другой нанимает в работу. Но Милль, забывая обстоятельство, которое сам выставил на вид, ждет, что какими-то судьбами может распространиться в сословии наемных работников решимость не размножаться, что эта решимость будет создана силою убеждения в том, что человек, производящий на свет детей, судьбу которых не в состоянии обеспечить, поступает дурно. Хорошо; но разве нет множества вещей, которые считаются за дурные каждым их совершающим и от которых однакоже не удерживается почти никто из людей, находящихся в известном положении? Например, в каком классе общества не убеждены решительно все, что пьянство — дело убыточное и дурное? Но разве мешает такое общее убеждение владычеству пьянства в тех классах, в которых обстоятельство благоприятно развитию этого порока? [Возьмем пример, который еще убедительнее, потому что относится к тому самому делу, о котором рассуждает Милль. Из всех лиц, принадлежащих к католиче-

скому духовенству, не найдется ни одного человека, который не знал бы очень твердо, что, нарушая обет целомудрия, он поступит дурно. Кому же не известно, что большинство католического духовенства живет не согласно с этим убеждением? Исключений много, но они все-таки исключения, остающиеся без влияния на общий образ жизни сословия]. Дело в том, что мысль сама по себе слишком слаба перед тяготением действительности, убеждение в огромном большинстве людей оказывается бес- сильно перед житейскими надобностями. Потому все внушения о воздержности останутся напрасны относительно огромного большинства людей. Нужны средства более действительные, чтобы люди в жизни стали соблюдать правило, рекомендуемое для них теориею о вреде излишнего размножения. Милль сам чувствует это и приискивает доводы, которыми оправдывалась бы его надежда на благотворное влияние мысли о вреде излиш- него размножения в случае принятия этой мысли большинст- вом. Он говорит:

Не надобно забывать, что если распространится мнение, о котором мы говорим, то оно будет иметь сильных помощниц в огромном большинстве женщин. Многочисленность детей никогда не бывает следствием желания жены, на которой, кроме физических страданий, лежат все невыносимые домашние хлопоты, происходящие от слишком большого числа детей, и ко- торая не меньше, если не больше мужа терпит от бедности. Избавиться от этого положения показалось бы счастьем для множества женщин, которые теперь никак не отваживаются предъявить этого требования, но предъявили бы его, если бы нашли опору в нравственных мнениях общества. [Из всех остатков варварства, еще не переставших пользоваться защитою закона и моральных убеждений, самый отвратительный бесспорно тот, что дозволяется человеку считать себя имеющим право на личность другого].

Если бы утвердилось в рабочем классе мнение, что для благосостояния работников нужно известное ограничение числа их детей, то работники солидного и почтенного характера будут поступать сообразно этому требова- нию, а нарушателей его станут лишь те, которые вообще не уважают общест- венных обязанностей. Тогда очевидным образом можно будет оправдать об- ращение в законную обязанность нравственной обязанности не производить на свет детей, которые были бы обременением для общества. Мы имеем много таких случаев, когда, благодаря общественному мнению, под конец возла- гаются законом на упорное меньшинство такие обязанности, которые для общей пользы должны соблюдаться всеми и которые огромное большинство добровольно приняло на себя по убеждению в их пользе. Но законодатель- ных постановлений не понадобится, если женщинам даны будут равные с мужчинами гражданские права, которые несомненным образом и должны быть даны им. Пусть обычай перестанет делать для женщин единственным средством для жизни и единственным источником влияния одну физическую функцию, и женщины получат тогда в вопросах об этой функции равный с мужчинами голос, которого никогда не имели. Из всех полезных реформ, какие можем мы теперь предусматривать в будущем, эту реформу надобно считать самую обильнейшую всевозможными полезными последствиями для людей в нравственном и общественном отношениях.

Теперь нам надобно рассмотреть, существует ли надежда, чтобы распро- странились между рабочими классами убеждения и правила, основанные на законе зависимости рабочей платы от количества населения, и какими сред- ствами могут быть распространены эти убеждения и правила. Конечно,

многие прямо готовы сказать, не разбирая дела, что надеяться на это — нелепо; и прежде, чем излагать основания надежды, я замечу, что если нельзя удовлетворительно отвечать на предложенные мною вопросы, то безвозвратно осуждено господствующее в Англии экономическое устройство, по которому весь рабочий класс общества живет платою за свою работу, исполняемую по найму, — это устройство, которое многие писатели считают *pes plus ultra* * цивилизации. Мы теперь рассматриваем, следует ли считать неизбежным последствием такого устройства чрезмерное размножение и низкое положение рабочего класса. Если размножение не может сдерживаться в разумных границах при системе наемного труда, то система эта гибельна, и главною целью экономической политики должно быть то, чтобы какими бы то ни было преобразованиями собственности и переменами способов производства подвержнуть работников влиянию сильнейших и простейших побуждений, сохранять в размножении рассудительность, которая не дается системою наемного труда ⁶⁷.

Первая половина этого соображения совершенно справедлива: когда голос женщин будет участвовать в составлении общественного мнения, национальных нравов и учреждений наравне с голосом мужчин, вопрос о размножении, конечно, станет в удовлетворительное положение. Но само признание прав женщины обуславливается высоким умственным и нравственным развитием массы, то есть высоким благосостоянием массы, потому что без благосостояния ни ум, ни нравственность не могут развиваться. Следовательно, ход благотворной перемены не может совершиться иначе, как в порядке противоположном тому, какой, повидимому, предполагается здесь Миллем. Благосостояние массы должно возвыситься прежде чем будут признаны права женщины: когда права женщины будут признаны, ее интересы оградят общество от чрезмерного размножения; натуральное приведение животной способности размножения в границы, требуемые общественным благосостоянием, является уже как последний результат общественного благосостояния, которое должно искать других источников для своего возникновения.

Милль как будто думает иначе. Он спрашивает, совместна ли с бытом класса наемных работников воздержность в размножении, от которой должна произойти, по его мнению, высокая рабочей платы и благосостоятельность работников. Он даже отвечает на этот вопрос утвердительно. Наемные работники могут понять, что величина рабочей платы обуславливается пропорциею между капиталом и населением, и, поняв это, они могут воздержаться от размножения. Подобным образом решают вопрос и все рутинные политико-экономы. Но вслед за тем Милль как будто понимает, что такой ответ слишком наивен. Он сознается, что огромное большинство наемных работников до сих пор остается неспособно понять и сохранить принцип воздержности, и приписывает это двум обстоятельствам:

* Высшей ступенью — *Ред.*

невежеству и нищете. Чтобы достичь цели, нужно, по его мнению, устранить эти препятствия.

Таким образом для изменения привычек работников нужно действовать вместе и на их ум и на их материальное положение. Первая необходимость заключается в общенародном серьезном воспитании детей работников; вместе с тем необходима система мер для истребления крайней бедности на целое поколение, [— как истребила ее революция во Франции]⁶³.

Рутинные политико-экономы обыкновенно удовлетворяются рекомендациею первого средства: «просвещайте народ, больше ничего не нужно», говорят они. Милль справедливо находит что заботиться об одном этом значит напрасно тратить слова.

Воспитание, направленное к развитию здравого смысла в народе и к доставлению ему тех знаний, которые нужны людям, чтобы судить о своих поступках, — такое воспитание наверное возбудит общественное мнение к порицанию невоздержности и непредусмотрительности всякого рода, хотя бы и не внушало прямо таких мнений; непредусмотрительность, переполняющая трудовой рынок, подверглась бы тогда строгому осуждению, как вредная общему благу. Мне кажется, что если образуется такое мнение, то несомненно оно уже будет достаточным, чтобы сдерживать размножение в надлежащих границах; но самое образование такого мнения не следует предоставлять только воспитанию. Воспитание несовместно с крайнею бедностью. Невозможно серьезным образом учить нуждающееся население. Трудно сделать, чтобы стали чувствовать цену благосостояния люди, никогда им не пользовавшиеся, понимать бедственность необеспеченной жизни люди, ставшие беспечными от привычки жить со дня на день. Отдельные люди часто выбиваются из бедности в благосостояние: но от целого народа можно ждать лишь того, чтобы он умел сохранить благосостояние. Улучшить привычки и возвысить потребности массы чернорабочих поденщиков будет делом трудным и медленным, если не придумать средств к тому, чтобы возвысить весь класс их до порядочного благосостояния и удержать в нем до той поры, пока вырастет новое поколение⁶⁴.

Разумеется, это правда; но какими же средствами можно дать массе наемных работников благосостояние, без которого не может она просветиться? Милль рекомендует два средства: быстрое ведение колонизации в обширном размере правительственными средствами, так чтобы вдруг удалить из страны значительную часть рабочего населения, и раздачу невозделанных общинных земель наемным работникам, с выдачею им (из общественных сумм) пособия на обзаведение хозяйством. При этом он справедливо замечает:

Но ни то, ни другое средство, ни оба они вместе не принесут большого облегчения рабочему классу, если не будут исполняться в таком размере, чтобы вся масса земледельческих наемных работников, остающаяся на родине, получила не только занятие, но и большую прибавку к нынешней плате, — такую прибавку, чтобы стала она жить и воспитала детей в благосостоянии и независимости, которые до сих пор оставались чужды ей. Когда наша цель — прочное улучшение народного быта, то мелкие меры не производят даже и мелких результатов, а вовсе не производят никакого результата. Если благосостояние не будет сделано столь же привычным целому поколению, как привычна теперь нужда, то не будет сделано нами ровно

ничего; слабыми полумерами только расточаются средства, которые гораздо лучше беречь до той поры, пока прогресс общественного мнения и воспитания создаст государственных людей, которые не будут холодными к плану реформы лишь за то, что он обещает быть очень полезным⁷⁰.

Конечно, так; есть вещи, которые остаются без всякого влияния, когда производятся в слишком малом размере. Но мы думаем, что и сами по себе подлежат этому отзыву предлагаемые Миллем средства, в каком бы размере ни были применены: они слишком слабы. В каждой густо населенной стране составляют незначительное пространство те земли, которые соединяли бы в себе три условия, определяемые Миллем: не были бы населены, не были бы уже обращены в частную собственность и были бы хорошего качества. Пусть * земель везде много, даже в самой Англии, но они почти все или слишком дурны, или уже обращены в частную собственность. Что же касается до колонизации, она может лишь удерживать существующий уровень быта, но не может значительно возвышать его: человек расстаётся с родиной лишь тогда, когда гонит его мысль: «мне приходится на родине слишком плохо», то есть когда ему приходится на родине хуже, чем как он привык. Если же не становится ему на родине хуже прежнего, он не покинет ее добровольно. (Милль, конечно, говорит о добровольном переселении; о принудительном не следует и думать). Милль предлагает паллиативные меры, ничему в сущности не помогающие.

Вспомним, что мы слышали от него самого; низкость рабочей платы выгодна для нанимателей труда; желать, чтобы рабочая плата возвысилась, они не могут, потому что это было бы противно их выгоде. После этого какую пользу может принести чья бы то ни было забота об уменьшении излишка наемных работников раздачею земли в собственности некоторым из них или выселением какой бы то ни было части их, — какую пользу могут принести эти меры, пока ведение промышленных дел остается в руках предпринимателей, которым выгодна низкость рабочей платы, то есть выгодно, чтобы число людей, желающих наняться на работу, было чрезмерно велико? ⁷¹ Положим, что труд вздорожал в Англии от эмиграции или раздачи общинных земель, — положим, что случилось так, хотя случиться этого не может по недостаточности подобных средств для такого результата. Английские наемные работники стали дороги. Наниматели труда ищут дешевых работников и вызывают в Англию немцев, бельгийцев. Это — факт известный и неизбежный при трехчленном делении продукта. Каждый раз, как работники в известной отрасли промышленности потребуют возвышения платы, наниматели труда в Англии отвечают им: «мы выпишем себе дешевых работников из-за границы»; и действительно,

* Возможно — пустых. — Ред.

выписывают каждый раз, когда английские работники медлят отказаться от требований.

Повторим же коротко наш вывод из анализа, сделанного не нами, а самим Миллем.

При данном состоянии нации величина рабочей платы определяется пропорциею между суммою капитала, идущего на рабочую плату, и числом людей, нанимающихся на работу. Чем больше число этих людей, тем ниже уровень рабочей платы. Чем ниже уровень рабочей платы, тем больше выгоды нанимателям труда. Это говорит сам Милль. Из этого следует, что размножение может войти в надлежащие границы, а рабочая плата может иметь удовлетворительную высоту лишь тогда, когда ход промышленных дел будет основываться не на наемной работе; иначе сказать, величина рабочей платы может быть удовлетворительна лишь тогда, когда в действительности не будет наемного труда, то есть не будет и рабочей платы, — когда в действительности этот элемент будет сочетаться в одних руках с прибылью, когда отдельные классы наемных работников и нанимателей труда исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе.

До сих пор мы вслед за Миллем говорили о законах платы за обыкновенный черный труд, не представляющий никаких специальных особенностей, — тот труд, которым в каждой стране занята главная масса наемных работников. Но известно, что есть много занятий, отправляемых по найму с платою, отличающуюся от платы за обыкновенный труд. Причины этих отступлений от общего уровня излагаются в господствующей теории очень удовлетворительно. Вот некоторые из них.

Если занятие особенно приятно, самая приятность его служит частью вознаграждения, и соразмерно тому уменьшается рабочая плата. Наоборот, она возвышается соразмерно неприятности занятия. Верное занятие находит для себя работников за меньшую плату, чем рискованное. Если подготовка к занятию требует долгого времени и значительных затрат на обучение, рабочая плата возвышается настолько, чтобы вознаграждался капитал, затраченный для приготовления работника к делу. По правилу, ясно обнаруживающемуся из этих частных случаев, можно легко составить очень длинный перечень бесчисленного множества обстоятельств, имеющих свойство понижать плату в отдельных занятиях выше общего уровня или спускать ее ниже его. Вообще всякая особенная приятность, легкость или доступность занятия имеет тенденцию понижать плату за него, а всякое противоположное обстоятельство — возвышать ее. Нам довольно и этих немногих слов, чтобы заметить факт, довольно важный для теории: в плате, получаемой работ-

ником, есть много элементов, кроме того элемента, который надобно назвать рабочею платою в точном смысле слова.

Во-первых, в плату наемному работнику входит обыкновенно страховая премия в большем или меньшем размере. В плате матросу есть доля, служащая вознаграждением за небезопасность его ремесла. В плате носильщику, дожидаящемуся нанимателя на углу улицы или на рынке, есть доля вознаграждения за то, что он рискует иной день остаться без работы.

Во-вторых, всегда есть в рабочей плате элемент вознаграждения за затрату капитала на подготовку работника к делу. Плотник получает больше землекопа, между прочим, потому, что дольше землекопа должен учиться своему делу. Громадных размеров достигает эта доля в плате за труд высокого специального характера, — в плате медику или адвокату, технологу или инженеру. Но и воспитание человека, занимающегося самым простым черным трудом, составляет значительную затрату капитала. Взрослый работник получает известную долю платы собственно потому только, что взрослые работники вообще должны затрачивать часть своей платы на воспитание детей. Тут как будто бы круговая порука поколений: каждое поколение в рабочие годы вознаграждается за затрату капитала предыдущим поколением на его воспитание.

Можно было бы отметить еще несколько элементов, входящих в рабочую плату, но для нашей цели достаточно выставить эти два. Мы хотим сказать, что если полагать совершенство экономического устройства в существовании отдельного класса людей для каждого элемента, участвующего в производстве, то не следует останавливаться на трехчленном делении продукта, а надобно принять деление, гораздо многосложнее: каждый из трех главных элементов производства распадается опять на несколько элементов. Страховая премия и вознаграждение за капитал — элементы, ставимые господствующею теориею под разряд прибыли. Мы теперь видим, что они входят и в рабочую плату. Не следует ли желать, чтобы они отделились от нее, чтобы наемный работник получал именно только рабочую плату в строгом смысле слова? Можно придумать устройство, при котором так и будет. Воспитанием детей и приготовлением молодых людей для специальных профессий может заняться особенный класс предпринимателей, которые и будут потом выручать затраченный на то капитал, отдавая приготовленных ими работников в наем на таком условии, чтобы работник отдавал им известную долю из получаемой платы. Не правда ли, такой порядок будет гораздо ближе соответствовать принципу разделения занятий, если принцип этот понимать в смысле, в каком понимают его рутинные экономисты, то есть что для каждого занятия должно быть отдельное сословие людей, уже ничем, кроме того, не занимающихся? А то, посудите сами: наемный работ-

ник, кроме того, что работает, воспитывает детей, — на что это похоже? Ведь одно занятие должно мешать другому, не правда ли?

Что касается до страховой премии, она уже выделяется и из рабочей платы и из прибыли теми страховыми обществами, которые состояются не чрез взаимное ручательство самих застраховывающихся лиц, а чрез образование особенных страховых компаний, извлекающих для себя особенный доход от своего занятия. До сих пор эти компании не подумали застраховать работу для того работника, который согласится выделять им часть своей платы. А ведь это очень возможно. Правда, работник, кроме известной доли своей платы, терял бы тогда и самостоятельность; но что ж такое? Зато не оставался бы он без работы.

Если рассуждать по понятиям рутинных экономистов, надобно придти к таким выводам. Действительно, чтобы отдельный элемент производства был в чистой своей отдельности принадлежностью особенного класса людей, из нынешней рабочей платы должны выделиться страховая премия и затрата капитала. Иначе наемный работник все еще остается не собственно только наемным работником, а какою-то смесью работника с страхователем и предпринимателем. Полное разделение занятий еще не достигнуто. Оно, конечно, если осуществить его, то наемный работник переходит в состояние человека, закабаленного капиталисту, его воспитавшему, и капиталисту, его застраховавшему. Но этим не следует смущаться: так и нужно для удовлетворения рутинному взгляду на принцип разделения занятий. Рутинные политико-экономы не смущаются такими пустяками, как переход работника из положения более самостоятельного в менее самостоятельное. Но вот беда: последовательным проведением их взгляда на принцип разделения занятий уничтожается и класс наемных работников. Человек, закабаленный другому чем бы то ни было, принимает экономический характер невольника. Значит, остаются только разные разряды капиталистов, которые отдают своих кабальных людей, своих невольников в работу другим капиталистам; значит, и рабочая плата, очищаясь от примеси других элементов, сама исчезает: вместо нее остаются расходы хозяина на воспитание и содержание невольников. Это уж не годится и по господствующей теории.

Конечно, до этого еще не дошло, да и не дойдет, потому что начинается поворот к другому устройству, противоположному той форме, которая превозносится господствующею теориею. Не успев дойти до полного развития, она будет вытеснена из науки и жизни принципом совершенно иного характера. Но если бы она не встретила этого противника, она сама себя уничтожила бы своим развитием. Она привела бы к восстановлению невольничества под новым каким-нибудь именем.

Вот еще какую особенность формы трехчленного распреде-

ления замечает Милль: она в сущности равносильна тому восточному устройству, которое так поносят политико-экономы, когда читают о нем у Геродота. Известно, что в Египте существовали касты. Известно также каждому политико-эконому, что он по своему званию должен находить существование каст вещь самою нелепою, самою несообразною с принципами своей теории. Посмотрите же, какое признание делает честный Милль:

Разделение между разными разрядами работников до сих пор остается так твердо, и линия разграничения между ними так резка, что результат почти равняется наследственному разделению на касты: каждое занятие пополняется главным образом детьми людей, уже занимавшихся им, или профессиями, равными ему в общественном мнении, или детьми людей, которые, родившись на низшей степени, успели подняться своею энергиею. Свободные профессии пополняются почти исключительно сыновьями людей тех же профессий или праздного класса; высшие разряды механических занятий пополняются сыновьями людей, занимавшихся ими, или торговцев, стоящих на одной с ними степени; точно так же и в низших разрядах технического труда; а чернорабочие, за исключением отдельных случаев, остаются наследственно в своем прежнем состоянии. Поэтому величина платы в каждом из таких разрядов до сих пор определяется не столько степенью размножения общего населения страны, сколько размножением людей этого самого разряда⁷².

Он говорит это, как видит читатель по последним словам отрывка, все для разъяснения зависимости рабочей платы от размножения. А мы возьмем засвидетельствованный им факт и рассудим, случайная ли принадлежность или одно из коренных свойств превозносимого господствующею теориею порядка этот факт. Впрочем, можно и не рассуждать об этом долго: дело ясно само собою.

Есть известное число положений, более выгодных, чем другие. Кем будут вообще заняты эти положения? Захотят ли лица, занимающие их теперь, позаботиться, чтобы передать их своим детям? Этого следует ждать, судя по законам человеческой природы. Успевают ли отцы в этом стремлении? Они по самому преимуществу своих положений имеют средства приготовить своих детей к этим положениям; у других отцов этих средств нет. Результат не подлежит сомнению.

Заметим еще одно обстоятельство, также указываемое Миллем. Если в семействе находятся не один человек, а два человека, способные работать, то выгодно ли для общества, чтобы работал только один из них, а другой содержался на его счет в бездействии или в занятии пустом, пригодном лишь для занятия пустого времени какими-нибудь ненужными хлопотами, чтобы человек от праздности убивал время на вздор? Для общества это не выгодно, но для самой семьи тут нет невыгоды при трехчленном делении продукта. Послушайте, что говорит Милль. Он замечает, что если наемный работник, кроме главного своего занятия работой по найму, получает некоторый доход от какой-нибудь домашней работы, то рабочая плата за его главное за-

нятие уменьшается соразмерно этому побочному доходу. Ведь он может жить на уменьшенную плату, благодаря своему побочному доходу; следовательно, может довольствоваться уменьшенной платою; а если может, то чего ж ему еще? Соперничество принудит его довольствоваться ею. Заметив это, Милль про-должает:

По той же самой причине оказывается, что при равенстве других условий вообще бывает хуже плата в занятиях, в которых жена и дети помогают труду работника. В этих занятиях доход, требуемый привычками сословия, — доход, до которого почти непременно понижается плата от разномножения, — составляется заработками всего семейства, между тем как в других занятиях тот же доход должен получаться трудом одного мужчины. Вероятно даже, что все заработки всей семьи будут составлять сумму меньше заработка одного мужчины в других занятиях, потому что благоразумная воздержность в заключении брака чрезвычайно слаба, когда единственным прямым следствием брака кажется улучшение быта, — соединив свои заработки мужчина и женщина могут завести хозяйство лучше после свадьбы, чем имели до свадьбы. Так и бывает у ткачей при ручных станках. Почти во всех отраслях ткачества женщина может получать и получает столько же, как мужчина, а дети работают с очень ранних лет. Но нет почти ни одного занятия, в котором целое семейство получало бы дохода так мало и где люди женились бы так рано, как в сословии ткачей. Замечательно то, что есть известные отрасли ткацкой работы, в которых плата гораздо выше обыкновенной ткацкой платы, и что эти отрасли — именно те, в которых не работают ни женщины, ни дети. Факты эти засвидетельствованы комиссией, исследовавшею положение ткачей (Handloom Weavers Commission), отчет которой издан в 1841 году. Но нельзя выводить из этого аргументов об исключении женщин от свободного соперничества на трудовом рынке. Если труд мужчины и женщины дает им даже и не больше платы, чем получил бы один мужчина, то очень важна выгода для женщины, что существование ее не зависит от господина. Но дети по необходимости должны быть в зависимом положении, потому понижение платы от их соперничества на трудовом рынке служит важным обстоятельством в вопросе об ограничении труда их для того, чтобы могли они лучше воспитываться⁷³.

Очень милая вещь — этот принцип трехчленного деления. Чем больше вы всматриваетесь в него, тем яснее обнаруживается прелестная ответственность его с коренными идеями экономической науки. Если муж работает один, он получает известную плату. Если жена, вместо пустой траты времени на вздорные дразги, станет работать дельным образом подобно мужу, она вместе с мужем будет получать плату не больше той, какая прежде давалась одному мужу. Если дети станут помогать родителям, положение родителей и детей нисколько не улучшится. Какое прекрасное поощрение людям к тому, чтобы занимался дельною работою каждый, кто в силах заниматься ею, — какое хорошее возбуждение к трудолюбию и какая справедливая сообразность вознаграждения с количеством труда.

Порядочную кипу рекомендаций в пользу трехчленной системы распределения доставил нам анализ одного из элементов этой системы. Посмотрим, что найдется в анализе двух остальных.

Прибыль

При трехчленном делении продукта затраты на производство делает капиталист; за вычетом этих расходов остается ему из продукта доля, называемая прибылью. Она состоит из нескольких элементов. Часть ее служит капиталисту вознаграждением за то, что он обратил на производство свой капитал; эта часть называется в строгом смысле слова процентами на капитал. Из остающегося, за вычетом этих процентов, излишка прибыли часть служит вознаграждением за риск предприятия. Другая часть излишка служит вознаграждением за труд управления делом. Каждый из этих трех элементов прибыли очень часто отделяется от других. Капиталист имеет иногда наемного распорядителя, при котором сам уже вовсе не вмешивается в дело; этот распорядитель получает вознаграждение за ведение дела, а капиталисту остаются только проценты с капитала и страховая премия. Но часто предприниматель занимает на ведение дела капитал у другого капиталиста, которому и выделяет проценты, а сам получает только страховую премию и вознаграждение за управление делом, — если же имеет при этом наемного распорядителя, то одну только страховую премию. Чтобы велись промышленные дела при системе трехчленного деления продукта, прибыль должна иметь величину, достаточную на образование всех этих трех элементов прибыли в размере, какой нужен по состоянию данного общества в данное время. Но при разном состоянии общества величина каждого из трех элементов прибыли бывает очень различна. Чем больше спокойствия и благоустройства в обществе, тем ниже бывает страховая премия и величина процентов. Чем более распространены в обществе знания и нравственные качества, нужные для управления коммерческим делом, тем ниже бывает величина вознаграждения за управление им.

Как видоизменяется средний уровень элементов прибыли, смотря по разнице в положении наций, точно так же бывают отступления от этого среднего уровня в разных занятиях, смотря по различию в характере занятий. В занятии более рискованном страховая премия стоит выше среднего уровня; в занятии особенно приятном вознаграждение распорядителю бывает ниже среднего уровня; словом сказать, тут применяются все те соображения, по которым устанавливается и различие между рабочею платою в разных занятиях. За вычетом этих неравенств, соответствующих особенностям каждого дела, величина прибыли во всех занятиях имеет тенденцию уравниваться. Часть прибыли, составляющая проценты на капитал, подчиняется этой тенденции так легко, что величина процентов при одинаковом достоинстве обеспечения действительно бывает одинакова во всех занятиях. Займодавцу все равно, на какое

дело будет употреблен его капитал; потому, когда являются занимать капитал два лица из разных занятий, представляя кредитору одинаковое обеспечение, он всегда предпочтет того, кто дает больший процент; взаимным соперничеством эти лица принуждаются возвыщать проценты до такой величины, что весь готовый идти в ссуды капитал разделяется между ними на одинаковых условиях пропорционально их надобности и пропорционально величине представляемого ими обеспечения. А по соперничеству между лицами, дающими капитал в ссуду, величина процентов останавливается на таком уровне, при котором предприниматели находят выгодным взять в ссуду весь предлагаемый в ссуду капитал. Если капиталист ведет дело и на свой, а не на занятой капитал, он руководится точно таким же расчетом; и когда капитал при затрате на одно занятие стал бы давать ему меньше процентов, чем в другом занятии, он старается перенести его в другое занятие.

Но кроме процентов на капитал в прибыль входят страховая премия и вознаграждение за искусство управления делом. Эти элементы не так легко подчиняются действию уравнивающей тенденции. В одном и том же занятии распорядитель более искусный лучше избежит потерь и лишних растрат, то есть получит больше прибыли, чем распорядитель менее искусный. Много тут зависит и от случая; потому величина валовой прибыли различна у разных предпринимателей в одном занятии. Но все-таки средняя вероятность получения прибыли для одинаковых предпринимателей должна быть одинакова в разных занятиях; если в одном занятии шанс этот будет лучше, чем в другом, капитал будет переливаться из занятия, обещающего меньшую прибыль, к занятию, обещающему большую прибыль, пока средняя величина ожидаемой выгоды в обоих занятиях уравнивается (конечно, за вычетом разностей, происходящих от особенного характера разных занятий, о чем говорили мы выше).

Вот понятие о том, что называется среднею или обыкновенною величиною прибыли или средним уровнем прибыли. Но мы видели, что этот средний уровень сам то понижается, то повышается. От чего же зависит его величина? Трудami английских экономистов, в особенности Рикардо⁷⁴, вопрос этот превосходно разъяснен, и у Милля, достойного ученика Рикардо, он изложен как нельзя лучше. Приводим слова Милля:

Человеку, незнакомому с наукою, представляется, будто бы прибыль коммерческого дела зависит от цен. Производитель или торговец получает свою прибыль, повидимому, тем, что берет за свой товар больше, чем он стоил ему, и можно подумать, будто прибыль — результат покупки и продажи. Незнакомые с наукою люди полагают, будто производитель получает прибыль только от того, что есть покупщики на товар; будто бы запрос — покупщики — рынок товара, вот причина выгод, получаемых капиталистами, которые продажею своих товаров возобновляют свой капитал и увеличивают его массу.

Но думать так, значит смотреть только на внешнюю поверхность экономического механизма общества. На самом деле мы находим, что самые деньги, переходящие от одного лица к другому, никогда не бывают сущностью дела в экономических феноменах. Если мы посмотрим поближе в операции производителя, мы заметим, что деньги, получаемые им за товар, вовсе не служат причиной того, что он имеет прибыль, а служат только способом, которым выплачивается ему его прибыль.

Причина прибыли то, что труд производит больше, чем требуется на его содержание. Земледельческий капитал дает прибыль потому, что люди могут производить пищи больше, чем необходимо на их прокормление в то время, пока растет пища (и пока они заняты устройством орудий и исполнением всех других нужных приготовлений). Из этого следует, что если капиталист возьмется кормить работников на условии получить продукт, то кроме возвращения своей затраты он получит несколько лишнего. Иными словами теорема эта выразится так: капитал дает прибыль потому, что пища, одежда, материалы и орудия живут больше того времени, какое было нужно для производства их; так что если капиталист снабжает партию работников этими вещами, с условием получить все, что они производят, то они за воспроизведением потребляемых ими предметов необходимости и орудий будут иметь в остатке часть своего времени для работы в выгоду капиталиста. Прибыль возникает, как мы видим, не от постороннего обстоятельства, не от обмена, а от производительной силы труда, и общая прибыль страны всегда бывает соразмерна производительной силе труда, все равно хотя бы и не происходило никакого обмена. Если бы не было разделения занятий, то не было бы ни покупки, ни продажи, но прибыль все-таки была бы. Если работники страны все вместе производят на 20% больше своей рабочей платы, то прибыль будет 20%, каковы бы ни были цены. Случайная величина цены может на время давать одному разряду производителей больше 20% выгоды, а другому меньше, когда один товар ставится выше своей натуральной ценности относительно других товаров, а другой ниже, и это будет продолжаться, пока цены снова уравниваются; но в общей сложности производители будут непременно получать ровно по 20%.

Для развития этих кратко выраженных мыслей я подробнее покажу теперь способ, которым определяется величина прибыли.

Я предположу исключительное господство того порядка вещей, который с немногими исключениями преобладает во всех обществах, где работники и капиталисты составляют разные сословия, — предположу, что капиталист затрачивает вперед все расходы, в том числе и все вознаграждение работника⁷⁵.

При этом предположении все затраты на производство делаются капиталистом и весь продукт получается им. Прибыль его (продолжает Милль) составляется излишком продукта над затратами; а процент прибыли будет та пропорция, какую составляет этот излишек сравнительно с суммою затраты. Но из чего состоят затраты капиталиста?

Значительную часть расхода каждого капиталиста составляет прямая выдача рабочей платы. Кроме этого, расход его составляют материалы и орудия, считая в числе орудий строения. Но материалы и орудия производятся трудом, а наш предполагаемый капиталист должен представлять собою не отдельное предприятие, а тип производительной промышленности всей страны, потому мы можем предположить, что он сам делает свои орудия и добывает их посредством предварительных затрат, которые опять состоят единственно из рабочей платы. Если мы предположим, что он не сам производит, а покупает орудия и материалы, сущность дела не изменится: он в этом случае уплачивает предшествующему производителю рабочую плату, которую израсходовал этот предшествующий производитель. Правда, он вы-

плачивает ему ее с прибылью; а если бы сам произвел эти вещи, то сам получил бы прибыль на эту часть своего расхода, как получает ее на все другие части. Но остается тот факт, что во всем процессе производства, начинающемся материалами и орудиями и кончающемся готовым продуктом, все затраты состояли исключительно из рабочей платы; разница только в том, что некоторые из участвовавших в процессе капиталистов получили уплату своей части прибыли до окончания операции, — так было удобнее для них и остальных капиталистов. Вся та часть окончательного продукта, которая не составляет прибыли, служит возвращением капиталисту затрат, сделанных на рабочую плату.

Таким образом оказывается, что выигрыш капиталистов зависит исключительно от двух обстоятельств: во-первых, от величины продукта, иначе сказать, от производительной силы труда, и, во-вторых, от того, какую часть этого продукта получают сами работники от пропорции между вознаграждением работников и всею суммою, ими производимую. Эти два элемента служат данными, которыми определяется вся сумма, разделяющаяся в виде прибыли между всеми капиталистами страны. Но *величина* прибыли, процентное отношение ее к капиталу, определяется только вторым из этих элементов, — тем, какую долю получает работник, а не суммою, разделяемою между работником и капиталистом. Если продукт труда удвоится и работники будут получать такую же пропорцию из него, как прежде, то есть если их вознаграждение так же удвоится, то капиталисты, правда, получат вдвое больше прежнего, но так как они затратили вдвое больше прежнего, величина их прибыли не увеличится, а останется прежней.

Таким образом мы приходим к выводу Рикардо и других политико-экономов, доказавших, что величина прибыли зависит от рабочей платы, повышается по мере падения рабочей платы и падает по мере ее возвышения⁷⁶. Но, принимая эту теорию, я нахожу нужным сделать перемену в ее терминологии, — перемену, решительно необходимую. Вместо того, чтобы говорить: прибыль определяется рабочей платою, мы скажем; она определяется *стоимостью труда*, о которой и думал на самом деле Рикардо, делая свой вывод.

Рабочая плата и стоимость труда, — сумма, получаемая за труд работников, и сумма, которой стоит труд капиталисту, — это два понятия, совершенно различные, и помнить различие между ними чрезвычайно важно. А чтобы не смешивать их, необходимо не обозначать их одним термином, как обозначают почти все политико-экономы. В парламентских прениях и в литературе на рабочую плату гораздо чаще смотрят с точки зрения платящих, нежели с точки зрения получающих ее; потому беспрестанно говорят о высоте или низкости рабочей платы, когда думают только о высоте или низкости стоимости труда. Большею частью сущность дела бывает наоборот; часто стоимость труда бывает самая высокая, когда рабочая плата бывает самая низкая. Это происходит от двух причин. Во-первых, дешевый труд может быть неуспешен. Из всех европейских стран самая низкая рабочая плата в Ирландии (по крайней мере такова она была там прежде). Вознаграждение земледельческого работника на западе Ирландии не превышает половину самой низкой платы, какую получает английский работник, — платы дорсетширскому работнику. Но если по меньшему своему искусству и усердию ирландец в два рабочих дня исполняет работы не больше, чем английский работник в один день, то труд ирландца стоит не дешевле, чем труд англичанина, хотя сам ирландец получает гораздо меньше. Прибыль капиталиста зависит от того, сколько стоит труд, а не от того, сколько получает работник. Что разница в успешности ирландского и английского труда действительно так велика, доказывается многочисленными свидетельствами, а главное тем фактом, что, несмотря на низкость рабочей платы, прибыль на капитал никогда не бывала в Ирландии выше, чем в Англии.

Разница в стоимости предметов, потребляемых работником, — вот вторая причина, по которой рабочая плата не может служить мерою стоимости труда. Если эти предметы дешевы, рабочая плата может быть высока в том смысле, какой важен для работника, между тем как стоимость труда

низка. Если они дороги, то работник может иметь слишком мало, хотя его труд стоит капиталисту много; таково бывает положение земли, в которой население слишком велико сравнительно с количеством земли; пища тогда дорога, и скудость действительного вознаграждения работнику не мешает труду стоить много для покупателя; при низкой рабочей плате тут низка и прибыль. Примером противного служат Северо-Американские Штаты. Работник там пользуется таким изобилием житейских удобств, как нигде в мире, кроме некоторых новых колоний; но благодаря дешевой цене этих удобств (и большой успешности труда), стоимость труда капиталисту значительно ниже, чем в Европе. Это мы видим из того, что величина прибыли там выше, как доказывается величиною процентов; в Нью-Йорке платится 6%, когда в Лондоне платится 3% или $3\frac{1}{4}\%$.

Итак, говоря математическим языком, стоимость труда есть функция трех изменяемых: успешности труда, рабочей платы (то есть, существенного, а не денежного вознаграждения работнику) и стоимости, по которой могут быть производимы или покупаемы вещи, составляющие это существенное вознаграждение. Ясно, что стоимость труда для капиталиста зависит от каждого из этих трех обстоятельств и что только эти три обстоятельства имеют на нее влияние. Следовательно, ими определяется и величина прибыли, и величина эта может изменяться только от их влияния. Если труд вообще станет более успешен, а вознаграждение за него не возвысится; если вознаграждение за труд упадет, а стоимость предметов, составляющих это вознаграждение не увеличится, и сам труд не станет менее успешен; или если предметы, составляющие вознаграждение работнику, станут дешевле, а работник будет получать их не больше прежнего, — то в каждом из этих трех случаев прибыль возвысится. Если же, напротив, труд станет менее успешен (что может произойти от уменьшения физической силы в народе или от ухудшения в его воспитании); или если работник станет получать больше вознаграждения без уменьшения стоимости составляющих вознаграждение вещей; или если он будет получать и не больше прежнего, но стоимость получаемых им вещей будет больше, — то во всех этих случаях прибыль подвергается уменьшению. Кроме этих случаев, нет других комбинаций обстоятельств, от которых могла бы падать или возвышаться общая величина прибыли в стране во всех отраслях промышленности⁷⁷.

Та сторона дела, которая изложена здесь, изложена совершенно удовлетворительно. Но не все стороны дела изложены здесь. Пользуемся случаем, чтобы напомнить читателю о коренных чертах разницы нашего взгляда на экономические дела от взгляда, выдаваемого за абсолютно верный рутинными политико-экономами. Первая черта разницы — та, что за основание своих понятий мы берем экономическую теорию в том виде, какой получила она от своих великих основателей Смита, Мальтуса и Рикардо⁷⁸, а не в той жалкой переделке, какой подвергается эта теория у континентальных болтунов или компиляторов, недобросовестно или бессмысленно искажающих ее суровый, но благородный характер, набивающих в нее без разбора всякую дрянь. Вот, например, Рикардо доказал, что прибыль есть остаток продукта за вычетом стоимости труда, или, при гипотезе наемного труда, остаток продукта за вычетом рабочей платы. У континентальных политико-экономов эта суровая истина замазывается разными вздорами схоластического или риторического характера. Мы не согласны на эту пошлую переделку и вслед за Рикардо говорим, что при данном положении

производства величина прибыли обратно пропорциональна величине рабочей платы. Делайте из этого вывод, какой хотите, но мы не намерены утаивать истину.

Вот первая причина разницы нашего взгляда от господствующей теории. Мы не допускаем искажений, внесенных в науку континентальными риториками и компиляторами. Но, принимая за истину главные результаты исследований великих английских основателей науки, мы не думаем, что их трудами исчерпана вся истина. Вообще говоря, у них очень удовлетворительно объяснены те стороны дела, которые исследованы ими внимательно; но они были все-таки не боги, а люди, и, заметив многое, многое оставили без внимания. Их труды нуждаются в пополнениях. Эти пополнения сделаны мыслителями, которых мы признаем своими прямыми учителями ⁷⁹.

Вот, например, хотя бы в вопросе о прибыли. Ни Рикардо, ни кто другой из политико-экономов смитовской школы не обратили надлежащего внимания на результаты, происходящие от свойства прибыли и в особенности от свойства процентов расти по геометрической прогрессии. Отчасти надобно объяснять такую забывчивость видимым разноречием действительных фактов с математическим законом. Но все-таки очень странна эта забывчивость, потому что закон возрастания процентов и вообще прибыли представляет точную параллель мальтусовой теореме. Каждому известно, с какою огромною силою растет капитал, когда проценты прилагаются к первоначальной сумме и снова дают на себя проценты. Каждому известен расчет, по которому для курьежа доказывается, что если бы Адам положил в банк одну копейку, то ныне каждому из нас пришлось бы получить из банка массу золота, гораздо большую, чем какая могла бы поместиться в шарообразном мешке, диаметром своим равняющемся всему поперечнику солнечной системы, до орбиты Нептуна. Мы не будем забавлять читателя подобными курьезными расчетами и ограничим свои соображения небольшим периодом времени, обозреваемым очень легко, например, одним столетием. Вот таблица, показывающая, до скольких рублей возрастает в 25, 50, 75 и 100 лет капитал, первоначально равнявшийся 100 рублям, при разных величинах процентов от 3 до 10.

До какого числа рублей возрастает первоначальная сумма 100 рублей

при величине процента	в 25	в 50	в 75	в 100 лет
3	209	438	918	1 921
4	266	711	1 894	5 050
5	339	1 147	3 883	13 150
6	429	1 842	7 906	33 930
7	543	2 946	15 988	86 772
8	685	4 690	32 121	219 970
9	864	7 436	64 119	552 900
10	1 083	11 739	127 190	1 378 050

Читатель знает, что в самой Англии, где величина процентов самая наименьшая, она постоянно держится выше 3% по ссудам, дающим наименьший процент (по фондам государственного долга), а по коммерческим векселям наилучшего качества (по векселям, дисконтируемым в английском банке) вообще платится гораздо больше, обыкновенно от 4 до 5%, а очень часто до 6% и даже 7%. Но эти ссуды составляют лишь незначительную часть коммерческих ссуд в Англии: по главной массе ссуд под самое верное обеспечение платится процент выше требуемого английским банком. В континентальных странах и в Северной Америке проценты выше, чем в Англии. Коммерческий человек во Франции, Германии полагает, что заключил заем очень выгодный, если должен платить только 6%; обыкновенно платит он больше. Из таблицы ми видим, что при 3% капитал в течение одного века возрастает слишком в 19 раз; при 6% — слишком в 339 раз; при 8% — почти в 2 200 раз, наконец при 10% — слишком в 13 500 раз. Величина 10% по хорошим ссудам — вовсе не редкость, не только у нас, но и в континентальной Западной Европе. Она не слишком редко является даже в Англии.

Но собственно так называемые проценты, платимые по ссудам, составляют лишь часть коммерческой прибыли, которая вообще несравненно больше. В Англии, например, принимается, по словам Милля, за правило, что в розничной торговле надбавка цен должна составлять 50% против оптовой цены товара⁸⁰. Конечно, из этих 50% должны быть покрыты расходы по содержанию лавки и потери от пропавших долгов на некоторых покупателях. Но если неискусному розничному торговцу остается не очень много чистой прибыли за этими вычетами, у торговца искусного чистая прибыль остается велика, — 30%, быть может, 40%, быть может, и больше на его оборотный капитал, потому что капитал у него успевает в год сделать несколько оборотов. Посмотрим же, как будет расти капитал при разных величинах прибыли от 10% до 40%. Считать тут по четвертям столетия и продолжать счет до целого столетия значило бы приходить к цифрам, которые не поместились бы в строку таблицы. Например, при 40% прибыли, из 100 рублей делается через 100 лет более 41 000 950 000 000 000 рублей, — для ясности попробуем произнести эту цифру: сорок одна тысяча биллионов, девятьсот пятьдесят тысяч миллионов рублей, — сумма, в сравнении с которой совершенно ничтожна вся сумма богатств, находящихся на всем земном шаре; если положить население земного шара в 1 000 миллионов человек и разделить между ними эту цифру, на каждого человека придется по 41 000 950 рублей, — на каждого человека такая сумма богатства, какую едва ли владеет вся фамилия Ротшильдов. Чтобы соображение наше могло справиться с цифрами, какие будут получаться у нас, мы

должны ограничить расчет времени, соответствующим деятельности одного поколения, тридцатью годами; сделаем счет по десятилетиям:

До какого числа рублей возрастает первоначальная сумма 100 рублей

при величине прибыли	в 10	в 20	в 30 лет
10%	259	673	1 741
15 »	404	1 637	6 621
20 »	619	3 834	23 738
25 »	931	8 674	80 780
30 »	1 379	19 004	262 000
35 »	2 011	40 427	812 850
40 »	2 892	83 663	2 420 240

Возможно ли коммерческому человеку получать по 40 % чистой прибыли? Да, это очень возможно; иначе не было бы примеров тому, что, начав свои торговые обороты лет в 20 с какою-нибудь сотнею рублей, человек становится в 50 лет миллионером. Таких примеров мало; отчего мало, мы увидим ниже; но сама по себе чистая прибыль в 40 % вовсе не редкость: мы беспрестанно видим примеры тому, что в какие-нибудь 5 лет начинающий мелкий торговец увеличивает свой капитал в 5 раз, — это значит, что каждый год капитал увеличивался на 40 % прибавкою из чистой его прибыли. Но не будем останавливаться на этих 40 %, не будем останавливаться ни на 35 %, ни на 30 %, ни на 25 %, ни даже на 20 %, — остановимся только на 15 % чистой прибыли. Это процент уже очень умеренный, слишком умеренный; очень плох или очень несчастлив тот мелкий торговец, который не наживает в год 150 рублей прибыли на 1 000 рублей своего капитала. Все товарищи должны жалеть или осмеивать его. При этом проценте, который ниже обыкновенного, капитал в течение одного поколения возрастает в 66 раз.

Спрашиваем теперь, бывало ли когда-нибудь и возможно ли было когда-нибудь, чтобы сумма богатств, принадлежащих нации, возросла в течение каких-нибудь 30 лет — не говорим в 66 раз, а хотя в 30 раз, хотя в 20 раз? Соединенные Штаты представляют поразительнейший пример самого быстрого возрастания суммы богатств общества, имеющего такую численность, чтобы можно было назвать его отдельным целым в экономическом отношении. С 1800 до 1860 г. население Соединенных Штатах возросло в шесть раз⁸¹; если бы богатство страны возрастало хотя в 20 раз в каждое 30-летие, в 60 лет оно возросло бы в 400 раз ($20^2=400$); разделив это увеличение на цифру, в какой увеличилось население, мы получили бы, что каждый житель Соединенных Штатов в 1860 г. был средним числом слишком в 60 раз богаче, чем был его дед в 1800 г. Это — явная нелепость. Едва ли можно предположить, чтобы стал он богаче хотя в 4 раза, — вероятно, и того нет, — едва ли

общий уровень благосостояния поднялся в эти 60 лет хотя в 2 раза. Но положим, что он поднялся в 6 раз; а население возросло, как мы знаем, также в 6 раз, значит сумма богатств в 60 лет возросла в 36 раз, значит, в каждые 30 лет возрастала в 6 раз ($6^2=36$).

Что же мы имеем теперь? По слишком высокой оценке сумма богатств нации в случае самого быстрого увеличения возрастала в 6 раз в 30 лет. А прибыль по слишком низкой оценке возросла в эти 30 лет в 20 раз. Что из этого следует?

Мы знаем, что величина прибыли есть остаток продукта, за вычетом рабочей платы (рента тут в счет нейдет, потому что она сама — только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства, как мы увидим ниже; когда дело идет о прибыли, в расчет входит только рабочая плата). Мы видим, что одна из двух долей продукта растет гораздо быстрее, чем вся сумма продукта. Это значит, что другая доля продукта уменьшается. Чтобы яснее было это, представим таблицу процентного содержания рабочей платы и прибыли в продукте Соединенных Штатов по гипотезе возрастания, нами принятой.

Мы положили, что сумма продукта растет в 6 раз в 30 лет; это значит, что годичный процент возрастания продукта 6,15. Мы положили, что прибыль растет только в 20 раз в 30 лет; это значит, что ежегодный процент ее возрастания 10,5, — цифра, очевидно слишком малая, потому что недалеко от такой величины в Соединенных Штатах процент по ссудам, составляющий лишь часть всей чистой прибыли.

Попробуем же сосчитать, как будут расти по десятилетиям при этой гипотезе сумма продукта и сумма прибыли, какую часть из суммы продукта будет составлять сумма прибыли, и какая доля продукта будет оставаться на рабочую плату. Положим, что первоначально продукт был = 10 000, и прибыль составляла в нем десятую долю = 1 000. Мы будем иметь:

Годы	Сумма продукта	Сумма прибыли	Сколько из суммы продукта остается на ра- бочую плату	Какую долю из суммы продукта составляет сум- ма прибыли	Какая доля из суммы продукта остается на ра- бочую плату
1-й	10 000	1 000	9 000	10%	90%
11-й	18 171	2 714	15 457	15 »	85 »
21-й	33 019	7 681	25 338	22 »	78 »
31-й	60 000	20 000	40 000	33 »	67 »
41-й	109 030	54 288	54 942	48 »	52 »
51-й	198 120	147 360	50 760	74 »	26 »
61-й	360 000	400 000	—40 000	111 »	—11 »

Вникнем в смысл этой таблицы. Мы предположили общество, в котором продукт растет быстрее, чем население. Следует

ожидать, что благосостояние всех классов общества будет увеличиваться. По крайней мере нет к тому естественных препятствий.

Но мы знаем как факт, что при трехчленном делении продукта одна из долей этого продукта, прибыль, растет быстрее суммы продукта. Чтобы видеть результат этого факта, мы приняли в первый год периода сумму прибыли, незначительную сравнительно с продуктом. По этой своей первоначальной незначительности она в первые десятилетия еще не может поглощать всю прибавку продукта: она захватывает себе все большую и большую долю в нем, и доля рабочей платы уменьшается, но безотносительная сумма фонда рабочей платы еще растет. Через несколько времени прибыль разрослась настолько, что захватывает уже всю годовичную прибавку продукта, а потом больше годовичной прибавки. Начинает уменьшаться уже и безотносительная величина фонда рабочей платы. С каждым годом этот процесс идет быстрее, потому что прибыль разрастается очень быстро, и скоро она поглощает весь продукт, готова была бы поглотить даже больше, чем весь продукт, оставляя на долю рабочей платы нуль, а потом отрицательную величину.

Очевидно, что этот окончательный результат представляет собою практическую невозможность. Он выражает теоретическую тенденцию прибыли уничтожить рабочую плату и поглотить все, что могло остаться в руках наемного работника от платы, получавшейся в прежние годы.

Мы не приняли тут в расчет, размножается или не размножается класс наемных работников. Если он и не размножается, все-таки очевидно, что рабочая плата начнет через несколько времени падать. Очевидно также, что если население и размножается, то при первоначальной незначительности суммы, какую берет прибыль из продукта, рабочая плата будет возрастать при нашей гипотезе, что сумма продукта растет быстрее, чем размножается население. Вот таблица, сопоставляющая оба эти случая. Левая половина таблицы показывает величину рабочей платы при населении нерамножающемся. В правой половине таблицы мы приняли, что население в течение 60 лет увеличилось в 6 раз, — цифра близкая к тому, что было в Соединенных Штатах. Годичный процент размножения в этом случае 3,03.

Годы	Фонд рабочей платы	Насел. нерамножающееся		Насел. размножающееся	
		Число рабочников	Величина рабочей платы	Число рабочников	Величина рабочей платы
1-й . . .	9 000	1 000	9,00	1 000	9,00
11-й . . .	15 457	1 000	15,46	1 351	11,47
21-й . . .	25 338	1 000	25,39	1 817	13,94
31-й . . .	40 000	1 000	40,00	2 449	16,33
41-й . . .	54 942	1 000	54,94	3 302	16,66
51-й . . .	50 760	1 000	50,76	4 451	11,40
61-й . . .	40 000				

Невозможное состояние общества

В том и другом случае мы видим одинаковый ход дела. Пока прибыль не успела разрастись, рабочая плата возвышается; через несколько времени прибыль разрастается до того, что уменьшает своими захватами величину фонда рабочей платы, и рабочая плата начинает падать; ее падение идет несравненно быстрее, чем шло ее возвышение; действительно, понижается она от прибыли, захваты которой растут по прогрессии, гораздо быстрее, чем по какой возрастает продукт, часть прибавки к которому шла прежде на увеличение фонда рабочей платы. Этот ход дела одинаков и при неразмножающемся и при размножающемся населении. Разница лишь в том, что при населении неразмножающемся рабочая плата сначала возвышалась бы значительно, чем при размножающемся.

Теперь мы видим, что при трехчленном делении продукта понижение рабочей платы происходит не собственно от размножения людей, как показалось Мальтусу. Причины этого феномена при существующем устройстве совершенно иные. Они заключаются в самом этом устройстве. Две из них мы уже видели при анализе мальтусовой теоремы: ныне общественный быт таков, что прибавка к населению поглощается городами; число людей, занимающихся неземледельческими отраслями промышленности или ничем не занимающихся, растет слишком быстро сравнительно с числом земледельцев, которое или почти вовсе не растет или даже уменьшается. Другая причина, как мы говорили в анализе мальтусовой теоремы, заключается в том, что слишком многие из земледельческих улучшений, нужных для благосостояния нации, не представляют достаточной выгоды капиталисту. Этими двумя причинами объясняется недостаточность земледельческого продукта, то есть и недостаточность рабочей платы, в которой главную статью составляет продовольствие. Теперь мы видим третью причину низкости рабочей платы: прибыль имеет постоянную тенденцию развиваться до того, чтобы захватывать как можно большую долю из фонда рабочей платы; она стремится поглотить весь этот фонд и останавливается в таком стремлении лишь материально невозможностью для работника существовать иначе, как при известной величине рабочей платы.

Но все наши таблицы кончались цифрами физически невозможными; по таблицам возрастания процентов оказывалось, что капитал, даваемый в ссуду, очень скоро должен далеко превзойти всю сумму богатств, существующих или могущих когда-либо существовать на земном шаре; по таблицам возрастания чистой прибыли оказывалось, что каждый торговец, начавший торговать рублей на 200 или на 300, должен сделаться лет через 24 или 30 миллионером, если не особенно несчастлив; по другим таблицам возрастания чистой прибыли оказывалось,

что она должна поглощать всю рабочую плату. Отчего же не доходит дело до подобных результатов при столь сильном стремлении прибыли доходить до них? Что мешает ей развиваться, как бы следовало по ее натуре?

Причины, задерживающие ее развитие, известны каждому, кто сколько-нибудь вникал в ход житейских дел. Они лежат в натуре человека.

По натуре прибыли, коммерческое дело быстро расширяется, если хозяин его не подвергается особенным несчастьям и оставляет хотя часть чистой прибыли идти на расширение дела; тут действует сила сложных процентов, сила очень быстро увеличивающая капитал в 5, в 10, во 100, в 1000 раз. Но при этой тенденции прибыли к быстрому расширению дела, каким образом изменяется отношение к делу человека, бывающего хозяином дела? Известно, как оно изменяется.

Чем обширнее становится дело, тем больше выходят его подробности из-под прямого контроля хозяина. Все большая и большая часть надзора за ведением дела переходит в руки наемных распорядителей. Кто же не знает, как ведется дело наемным распорядителем? Почти всегда небрежно и едва ли не в большинстве случаев недобросовестно. Наемные распорядители стараются прибирать себе хозяйские деньги. Известно, какая трата порождается плутовством. Чтобы украсть рубль, почти всегда бывает нужно дать погибнуть многим рублям, иногда многим десяткам рублей. Таким образом, если наемные распорядители успевают присвоивать себе десятую часть прибыли, это значит, что кроме десятой части, попадающей в их руки, еще целая половина прибыли теряется, не доходя ни до чьих рук. А та потеря, которая происходит не от плутовства, а только от небрежности наемных распорядителей, остается уже вся чистою потерю.

Большому делу нужны наемные распорядители; они небрежны. Но и в самом хозяине большею частию развивается небрежность соразмерно увеличению его капитала. По нашей поговорке «копейка рубль бережет»; но скучно следить за копейками тому, у кого прежние рубли разрослись в тысячи.

Надзор хозяйского глаза все меньше и меньше может проникать все дело, да и сам становится все плоше по мере увеличения дела. От этого процент прибыли уменьшается с увеличением имущества, на которое идет прибыль. Это — факт до такой степени всеобщий, что в Англии уже никто не станет спорить, если вы скажете: процент прибыли, получаемый коммерческим человеком с его капитала, обратно пропорционален размеру его капитала. Кто торгует на миллион фунтов, получает с каждой тысячи фунтов меньше прибыли, чем тот, кто торгует на десять тысяч фунтов; а кто торгует на одну тысячу, полу-

чает с нее больший процент прибыли, чем торгующий на 10 тысяч с каждой своей тысячи. Чем больше становится дело, тем меньше становится процент прибыли от усиливающегося участия небрежности и недобросовестности в распоряжениях. Но это еще не все. Пока благосостояние человека растет до степени, сообразной с его разумными нуждами, человек становится все рассудительнее и рассудительнее. Но есть размер средств, превышающий силу обыкновенного человеческого благоразумия. Каждый знает, верна ли поговорка «с жиру бесится». Если у человека гораздо больше дохода, чем ему действительно нужно, он начинает делать пустые, глупые расходы, приобретает привычку к дурачествам, которые скоро переходят в мотовство. Очень нередки примеры людей, глупеющих по мере своего обогащения. Еще чаще видим, что разбогатевший человек проматывает деньги, которые достались ему так тяжело и которые он так благоразумно берег, пока не почувствовал себя очень богатым. Но если часто встречаются и примеры противоположного, если остаются до конца бережливы и благоразумны люди, разбогатевшие собственными усилиями, то редко уже бывают таковы их дети: то, что накоплено отцом, проматывается сыном, — это обыкновенная история. [Над этим безумным мотовством много смеются, — как будто можно смеяться над вещью, происходящей из коренного свойства человеческой природы, — над вещью, которая, несмотря на свою безумную форму, все-таки соответствует тому отношению к богатству, какое лежит в самой натуре вещей. Богатство накапливается для потребления. Не потреблять его нелепость, противная и его природе и природе человека. Что же такое, если накапливается столько богатства, что превышает оно размер разумного потребления? Естественно, оно требует безумного потребления. Если льется в стакан слишком много вина, оно перельется через край, разольется понапрасну, без пользы кому бы то ни было, даже с порчею всему, чего коснется, — перепачкает скатерть, стол, наделает грязные лужи на полу, — чему тут удивиться? Таков закон природы.]

Вот силы, развивающиеся из самой прибыли, когда она отделяется от рабочей платы, и постоянно мешающие ей достигать результата, к которому она постоянно стремится. Эти силы: недобросовестность, небрежность и мотовство, силы чисто экономические, действующие на благосостояние общества совершенно одинаково с силами пожаров и наводнений].

Не к выгодным мыслям о системе трехчленного деления приводит нас анализ характера прибыли в ее отдельности от рабочей платы. Посмотрим, к чему приведет нас анализ ренты в ее отдельности от прибыли и рабочей платы.

Рента

Землевладелец получает из продукта долю, называемую рентой, не за то, что участвует чем-нибудь в производстве, а за то, что позволяет другим пользоваться землею, ему принадлежащею. Плодородие разных участков земли различно. Есть такие участки, которые сверх рабочей платы и прибыли обыкновенного размера дают излишек; есть такие, которые не дают этого излишка, но дают прибыль обыкновенной величины, — земли этого сорта могут возделываться капиталистами для прибыли только в том случае, когда за выдачею рабочей платы весь продукт остается у капиталистов. Землю худшего сорта, которая не дает прибыли обыкновенного размера, уже не может возделывать капиталист для прибыли, а может возделывать только работник для своего прокормления. Но при системе трехчленного деления промышленные дела ведутся капиталистами для прибыли, потому земля этого последнего сорта не возделывается, и возделывание не спускается ниже того сорта земли, который, за вычетом рабочей платы, оставляет капиталисту обыкновенную прибыль без всякого излишка. За право возделывать этот сорт земли капиталист не может платить владельцу ничего: если б землевладелец стал требовать платы, у капиталиста не осталось бы обыкновенной прибыли и он бросил бы возделывание. Землевладелец уступает ему пользование землею этого сорта задаром. (Разумеется, надобно понимать это относительно тех участков последнего сорта, которые лежат небольшими клочками среди лучшей земли. Они возделываются благодаря своему местоположению, но ничего не прибавляют к плате, получаемой землевладельцем за лучшую землю). Этот самый низший из возделываемых сортов земли служит нормою, по которой определяется величина ренты, даваемой каждым из высших сортов земли.

Если же (говорит Милль) из возделываемых земель наименьший доход употребленному на нее труду и капиталу даст та часть, которая дает только обыкновенную прибыль на капитал, не оставляя ничего для ренты, этим дается норма для определения ренты, даваемой всяким другим сортом земли. Каждый сорт земли дает ровно столько больше обыкновенной прибыли на затраченную сумму, сколько больше самого худшего из возделываемых сортов дает он. Этот излишек — сумма, которую фермер может платить в ренту землевладельцу; если бы он не уплачивал этого излишка, он получал бы прибыль больше обыкновенной, и соперничество других капиталистов, — соперничество, уравнивающее прибыль на разные затраты капитала, — дало бы землевладельцу возможность взять этот излишек. Таким образом рента, даваемая известным сортом — излишек продукта над тою суммою, какая получилась бы на такой же капитал, употребленный для обработки худшего из возделываемых сортов земли. Земля, отдаваемая капиталисту-фермеру, никак не может давать постоянным образом ренту больше этой, а если дает меньше, то лишь оттого, что землевладелец уступает фермеру часть суммы, которую, если захочет, может получить⁸².

Вот теория ренты, прочно введенная в науку трудами Рикардо. Против нее было много возражений, но они возникали только из непонимания дела. Только одно из них, придуманное Кери, должно быть упомянуто здесь, потому что успело спутать мысли довольно многих и у нас, благодаря знаменитому Бастиа, заимствовавшему его у Кери и рекомендовавшему континентальной публике как свое собственное изобретение⁸³. (Впрочем, может статься, и подлинно Бастиа не заимствовал, а сам изобрел его; ведь случалось же иногда, что делалось двумя мыслителями, одним независимо от другого, какое-нибудь великое открытие, — ведь изобрели же и Ньютон и Лейбниц, каждый сам по себе, дифференциальное исчисление; так почему же две головы противоположного сорта не могут изобрести одинакового вздора, независимо одна от другой?) Нам от себя не нужно ничего говорить в опровержение этой нелепости, потому что достаточно обнаружена ее несообразность Миллем. Вот в чем эта история.

К ренте обыкновенно причисляются некоторые платежи, составляющие собственно не ренту, а прибыль на капитал. Например, часть суммы, платимой землевладельцу, арендатор фермы дает за пользование жилищем и другими постройками, — эта часть платежа не рента в строгом смысле слова, а прибыль на затраченный в постройках капитал с процентами погашения этого капитала, разрушаемого временем. Но если затрачен капитал на улучшение самой земли, та часть платы, которая делается за этот капитал, скорее может назваться, по мнению Милля, рентою, чем вознаграждением за капитал. Если так, часть ренты с некоторых земель — вознаграждение за капитал, а другая часть ренты с тех же земель и вся рента с других — вознаграждение за силы природы. Заметив это, Милль продолжает:

Американский политико-эконом Кери уничтожает различие между этими двумя источниками ренты, совершенно отрицая один из них; он считает всякую ренту результатом затраченного капитала. В доказательство тому он утверждает, что вся денежная ценность всей земли какого угодно государства, напр., Англии или Соединенных Штатов, далеко меньше суммы, какая была израсходована или какую надобно было бы израсходовать теперь, чтобы довести эту страну до нынешнего положения из состояния первобытного леса. За эту резкую мысль схватились Бастиа и другие писатели, как за средство защитить поземельную собственность аргументом более сильным, чем все другие аргументы. Очевиднейший смысл теоремы Кери равнозначителен тому, что если бы вдруг прибавилась к землям Англии неводеланная территория, равная этим землям по естественному плодородию, то не стоило бы жителям Англии приниматься за ее возделывание, потому что прибыль от этой операции не равнялась бы обыкновенным процентам на израсходованный для того капитал. Если можно думать, что требуется ответ на такое мнение, то довольно будет заметить, что в Англии постоянно обращается под обработку земля не равного, а гораздо низшего качества, чем земли уже возделанные, и что расходы на это вполне выплачиваются рентою с такой земли в небольшое число лет.

Но мысль Кери не совершенно такая, какой могла бы показаться по этим его словам, без других его объяснений. Он утверждает не то, что земли

какой угодно страны по среднему выводу не стоят сумм, употребленных на их улучшение, и что улучшение земли в общей сложности было ошибочным расчетом для хозяев. В свою оценку капитала, положенного в землю, он включает все расходы на сооружение дорог и каналов, то есть не на увеличение ценности земель, уже возделываемых, а на открытие доступа к другим землям, соперничающим с прежними. Но и с этою поправкою его теория почти столь же неосновательна, если придавать ей тот смысл, в котором она только и может служить опорой его выводов. Положим, как мы полагаем, что прибавилась к нынешней Англии вторая Англия, по природе столь же плодородная; может ли кто-нибудь усомниться, что люди, которым была бы отдана новая земля, нашли бы в денежном отношении выгодным делом устраивать дороги, нужные для доставления продукта на рынок, по мере того, как возделывалась бы земля? Кери, вероятно, отвечал бы, что устройством этих дорог они могли бы возвысить свои ренты, но наверное понизили бы ренты старой английской территории. Ответ совершенно верен и показывает обманчивость критерия, принятого Кери. Может быть, что вся земля на свете не имеет продажной цены, равной сумме издержек, сделанных на ее приведение в нынешний вид, с прибавлением издержек на устройство всех существующих путей сообщения. Усовершенствование путей сообщения имеет тенденцию понижать существующие ренты, уменьшая монополию земли соседней с местами, где собраны большие массы потребителей. Дороги и каналы строятся не затем, чтобы поднимать ценность земли, уже снабжающей рынки, а затем (между прочим), чтобы удешевлять предложение товара доступом на рынок продукта других земель, более отдаленных; и чем успешнее достигается эта цель, тем сильнее понижается рента. Если бы вообразить, что железные дороги и каналы Соединенных Штатов не просто удешевляют перевозку, а исполняют свое дело так успешно, что совершенно уничтожают расходы перевозки и дают возможность продукту Мичигана достигать нью-йоркского рынка так же быстро и дешево, как достигает продукт Лонг-Айленда⁸⁴, то уничтожилась бы вся ценность всей земли Соединенных Штатов (кроме земли, по своему положению удобной для построек), или, точнее сказать, наилучшая земля продавалась бы лишь за сумму, какой равняется расход на расчистку ее и плату по 1¼ доллара за акр, взимаемую правительством при отводе новой земли, потому что с такими расходами можно получать в безграничном изобилии землю в Мичигане, равняющуюся достоинством наилучшей земле Соединенных Штатов. Но странно то, что Кери почел этот факт противоречащим теории ренты Рикардо. Если согласиться со всем, что он говорит, все-таки останется справедливым, что пока есть земля, не дающая ренты, то земля, дающая ренту, дает ее вследствие какого-нибудь преимущества своего по плодородию или близости к рынкам над землею, не дающею ренты; и мера этого преимущества служит также мерою ренты. А причина, почему эта земля дает ренту, — то обстоятельство, что она обладает естественною монополиєю оттого, что количество земли, пользующейся равными с нею выгодами, недостаточно для снабжения рынка. Эти мысли составляют теорию ренты, изложенную Рикардо, и если они справедливы, я не вижу, какую важность имеет то обстоятельство, больше или меньше рента, даваемая ныне землею, чем проценты капитала, израсходованного на возвышение ее ценности, вместе с процентами капитала, израсходованного на понижение ее ценности*.

Правда, что редко возделывание начинается с земель, расчистка и осушение которых требуют наибольшего труда: вероятно, справедливо то, что в новых странах возделывание обыкновенно начинается на холмах и спускается с них в долины; потому часто может случаться (хотя, разумеется, неперменного правила тут нет), что плодороднейшие земли остаются невоз-

* В своем последующем сочинении «The Past, the Present and the Future» Кери приводит другое основание опровергать теорию ренты Рикардо; он ссылается на исторический факт, что земли, возделанные раньше всех других, были не самые плодородные, а бесплодные: «мы находим что пересе-

деланными дольше других земель, природная производительность которых меньше даже и по пропорции труда и расхода, требуемого их возделыванием. Но Кери едва ли может сказать, что в какой бы то ни было старой стране невозделанные земли — вообще земля такого сорта, который был бы наимыгоднейшим для возделывания. Впрочем, сделаем даже и эту уступку: предположим, вместе с Кери, что расширение нив идет к лучшим землям, от бесплодных к плодоносным, а не к худшим, не от плодоносных к бесплодным, и что, например, невозделанная земля Англии, Шотландии и Ирландии составляет именно ту часть этих стран, которая назначена со временем давать наибольшее вознаграждение земледельческому труду. Читатель согласится, что это уступка довольно большая; но даже и она не послужит возражением против закона ренты, изложенного нами в этой главе. Если болота и скалы вроде Дартмура и Шеп-Фельза — плодороднейшие земли в Англии, то когда они обратятся под возделывание, они будут давать наибольшую ренту, а земли, которые тогда вовсе не станут давать ренты, будут, вероятно, нынешние плодороднейшие земли, вроде Эссекской равнины и Carse of Gowrie. В каком бы порядке ни обращались земли под возделывание, но цену земледельческого продукта непременно будут определять те земли, возделывание которых дает наименьшую выручку по пропорции употребляемого на них труда; а все другие земли будут платить ренту, прямо равняющуюся излишку их продукта над этим minimum⁸⁵.

Рента представляет собою сбережение расхода на земле лучшего качества сравнительно с худшею землею, которая не платит ренты. Из этого видно, что от платежа ренты только уравниваются расходы капиталистов, возделывающих земли разного качества, но несколько не возвышается размер расхода, нужного для возделывания земли худшего сорта. А при соперничестве цена продукта должна быть одинакова, хотя бы часть продукта получалась с одним расходом, другая часть — с другим. Из этого заключают, что рента вообще не увеличивает собою расходов производства. Если смотреть на дело только со стороны продажных цен при трехчленном делении продукта, оно действительно кажется так. Если бы капиталист не платил ренты, то кажется, что он продавал бы хлеб все-таки за ту же цену, за какую продает его при платеже ренты. Но совершенно иное открывается, когда мы, не останавливаясь на цене, феномене внешнем и случайном, разберем сущность дела.

Предположим, что общество имеет в своем распоряжении 1 000 рабочих дней, которые могло бы употребить на земледелие. Предположим, что этому обществу нужно 40 четвертей хлеба. Предположим, что земля, находящаяся под руками этого общества, разделяется на три сорта. На земле лучшего сорта 1 четверть хлеба получается трудом 15 дней. Земля этого сорта

ленцы всегда занимали землю в верховьях долин, где слой растительной почвы тонок, землю, легко расчищаемую и не требующую осушения, вознаграждающую труд малым урожаем; потом всегда спускались они все ниже и ниже, очищая и осушая плодородные низменности по мере того, как росло население и богатство. Когда население малочисленно и земли много, возделывание начинается и всегда должно начинаться с почв небогатых. С возрастанием населения и богатства всегда расширяется возделывание на другие почвы, более плодородные, так что вознаграждение за употребленный на них труд постоянно растет». — *Прим. Милля.*

имеет такое пространство, что с нее можно получить 20 четвертей. На земле второго сорта 1 четверть хлеба получится трудом 30 дней, а на земле третьего сорта трудом 40 дней; земля каждого из этих двух сортов имеет такое пространство, что можно с каждого сорта получить по 10 четвертей. Предположим, что это общество составляет одно хозяйство, — гипотеза, не превышающая размера нынешних хозяйств: 40 четвертей хлеба соответствуют потреблению семьи, имеющей около 15 человек в своем составе. Посмотрим, что будет с потребностью семейства в земледельческом продукте при гипотезе платежа и при гипотезе неплатежа ренты в чужие руки.

Если семейство не платит ренты в чужие руки, оно, конечно, позаботится употребить на земледельческий продукт все силы, какими может располагать для этого дела. Земледельческая часть его хозяйства будет иметь такой вид:

Какой сорт земли возделывается	Сколько дней труда употребляется на каждую четверть	Колич. полученного продукта	Колич. дней, употребленных на получение продукта
1-й	15	20	300
2-й	30	10	300
3-й	40	10	400
Итого	—	40	1 000

Семейство получает земледельческий продукт в полном количестве, какое нужно ему, благодаря тому, что употребляет на земледелие все те рабочие дни, какие может употребить на него без вреда для других своих потребностей.

Предположим теперь, что рента платится в чужие руки. В сущности, все платежи производятся трудом, — деньги только служат векселями на получение труда, а требование уплаты продуктом вместо уплаты трудом имеет лишь тот смысл, что сокращает для получающего уплату период между получением уплаты и обращением ее на потребление. Примем же для простоты, что форма платежа соответствует его сущности, что рента и по форме уплачивается рабочими днями, как всегда уплачивается ими в существе дела. Тогда мы будем иметь:

Если бы семейство возделывало только земли первого сорта, никакого платежа ренты не было бы. Но с этой земли получается только 20 четвертей, а нужно 40 четвертей. Из 1 000 рабочих дней употреблено только 300; остается в распоряжении семейства еще 700 дней. Конечно, оно обратит их на увеличение земледельского продукта, станет возделывать землю второго сорта. Земля второго сорта дает 10 четвертей с употреблением на то 300 рабочих дней. Она еще не платит ренты, но земля первого сорта уже платит ренту, по 15 рабочих дней с каждой четверти даваемого ею хлеба. Подведем теперь расчет.

Сорты земли	Сколько дней употребляется на четверть	Количество получаемого продукта	Количество дней, употребленных на получение продукта	Количество дней, употребленных на уплату ренты	Всего израсходовано дней
1-й	15	20	300	300	600
2-й	30	10	300	—	300
Итого . .	—	30	600	300	900

Но продукта все еще недостаточно, а рабочих дней израсходовано только 900 и остается в распоряжении семейства еще 100 дней. Конечно, они будут употреблены на пополнение продукта. Так ли вы полагаете? Если так, возделывание расширится на земли третьего сорта. Посмотрим, что тогда будет. На земле 3-го сорта 1 четверть требует 40 дней труда; значит, 1 четверть хлеба с земли 2-го сорта будет платить 10, а 1 четверть хлеба с земли 1-го сорта — 25 рабочих дней в ренту. Положим, что будет сначала употреблено на землю 3-го сорта количество рабочих дней, нужное на получение только 1 четверти хлеба. Мы будем иметь:

Сорты земли	Число дней на четверть	Полученный продукт	Число дней, употребленных на получение продукта	Число дней, уплаченных в ренту	Всего израсходовано дней
1-й	15	20	300	500	800
2-й	30	10	300	100	400
3-й	40	1	40	—	40
Итого . .	—	31	640	600	1240

Мы видели, что семейство без вреда для других своих потребностей могло употреблять на земледелие только 1 000 дней; но ведь было же у него кроме этих 1 000 дней известное количество дней, употреблявшихся на другие потребности, — вот теперь ему и представляется выбор поступить как угодно: или не возделывать землю третьего сорта и остаться с недостаточным количеством земледельческого продукта, или переносить на увеличение этого продукта рабочие дни от других потребностей, которые останутся уже не вполне удовлетворены. На практике вопрос решается тем, имеет ли семейство достаточное число дней, чтобы перенесением их на земледелие мог пополниться земледельческий продукт до нужного количества 40 четвертей. Положим, что весь фонд рабочих дней в других занятиях составлял 800 дней. Если перенести на земледелие все дни, нужные для пополнения земледельческого продукта, счет будет таков:

Сорты земли	Число дней на четверть	Полученный продукт	Число дней, употреблен- ных на получение продукта	Число дней, уплаченных в ренту	Всего израсходо- вано дней
1-й	15	20	300	500	800
2-й	30	10	300	100	400
3-й	40	10	400	—	400
Итого . .	—	40	1000	600	1600

При этом счете потребность в земледельческом продукте была бы удовлетворена хорошо; но на все другие потребности, вместо нужных 800 дней, оставалось бы только 200. Лишения по этим другим потребностям были бы слишком уже тяжелы, и потому принимается средний путь: часть рабочих дней переносится от других занятий на земледелие, но в таком размере, что земледельческий продукт получается не в полном количестве, зато другие потребности удовлетворяются не на одну четвертую часть, как было бы при получении полного земледельческого продукта, а на целую половину или на пять осмых, — положим на половину; тогда положение семейства будет:

из 800 дней от всех других потребностей перенесено на земледелие 400 дней; земледелие имеет 1400 дней; земледельческий продукт получается в таком количестве:

Сорты земли	Число дней на четверть	Полученный продукт	Число дней, употреблен- ных на получение продукта	Число дней, уплаченных в ренту	Всего израсходо- вано дней
1-й	15	20	300	500	800
2-й	30	10	300	100	400
3-й	0	5	200	—	200
Итого . .	—	35	800	600	1400

Вместо нужных 40 лотов хлеба съесть только 35 лотов, — это значит остаться лишь немножко голодным; а по нужде можно назвать себя и сытым после такой еды. Употреблять на одежду, жилище и т. д. только половину труда, какой был бы нужен, — это значит иметь одежду плохую, жилище дрянное, но все-таки еще не оставаться без одежды и жилища. Чего же больше? Жить можно.

Вот влияние ренты, когда она отделяется от рабочей платы. Если угодно, вы можете доказывать, что рента не входит в издержки производства, что она не составляет лишнего расхода, а выражает собою только экономию труда в лучших условиях

сравнительно с трудом в менее хороших условиях. Положим, что все это так; но как бы там ни было, рента составляет долю продукта; если она отделяется от рабочей платы, это значит, что у человека, занимающегося производством, остается ровно настолько меньше продукта, насколько выделяется из продукта рентой. Такова сущность дела. Каким способом она проявляется при нынешнем устройстве, когда распределение совершается посредством обмена, это мы увидим, когда будем рассматривать вопрос о ценах.

Известно, что рента, подобно прибыли, имеет тенденцию захватывать все большую и большую долю из продукта. Никто из серьезных политико-экономов не сомневается в этом. Из маленьких таблиц, приведенных нами, уже можно заметить, что величина ренты имеет свойство возрастать гораздо быстрее, чем растет сумма продукта. Но чтобы этот ход дела был еще виднее, приведем таблицу, составленную для разъяснения именно этой стороны дела.

Положим, что земля известной страны разделяется по своему плодородию на 10 сортов, из которых лучший даст при известном количестве труда 10 четвертей, второй — 9, третий 8 и т. д., а самый низший только 1 четверть пшеницы с десятины. Положим для простоты, что пространство всех сортов земли одинаково, например каждого сорта находится по 100 десятин. Посмотрим теперь, как будет возрастать доля ренты по мере распространения хлебопашества на низшие сорта земли.

Пока возделывается только земля первого сорта, ренты нет. Продукт (100×10) = 1 000 четвертей.

Когда возделывание спускается на второй сорт, продукт увеличивается на 900 четвертей (100×9); земля первого сорта дает ренту по 1 четверти с десятины; всего получается 1 900 четв. продукта; из них 100 четв. идут в ренту.

Продолжив этот счет до последнего сорта земли, мы будем иметь следующую таблицу.

Сорт земли, до которого расширилось возделывание	Сумма продукта с этого и вышних сортов земли	Из этого продукта идут в ренту	Остается на рабочую плату и прибыль	Какую долю в сумме продукта составляет рента	Какая доля из продукта остается на рабочую плату и прибыль
1-й (10 четв.) . . .	1 000	00	1 000	00%	100%
2-й (9 ») . . .	1 900	100	1 800	5 »	95 »
3-й (8 ») . . .	2 700	300	2 400	11 »	89 »
4-й (7 ») . . .	3 400	600	2 800	18 »	82 »
5-й (6 ») . . .	4 000	1 000	3 000	25 »	75 »
6-й (5 ») . . .	4 500	1 500	3 000	33 »	67 »
7-й (4 ») . . .	4 900	2 100	2 800	43 »	57 »
8-й (3 ») . . .	5 200	2 800	2 400	54 »	46 »
9-й (2 ») . . .	5 400	3 600	1 800	67 »	33 »
10-й (1 ») . . .	5 500	4 500	1 000	82 »	18 »

Мы тут видим, что рента играет относительно прибыли и рабочей платы точно такую же роль, какую прибыль играет относительно рабочей платы. Она развивается по быстрой прогрессии, чем сумма продукта. Но начинается она маленькою величиною, так что на первых порах прибавка к продукту еще не вся поглощается ее развитием: уменьшается только процентное содержание части, остающейся на прибыль и рабочую плату, но еще растет абсолютная величина этой части; потом рента становится уже так велика, что вся прибавка к продукту поглощается ею; дальше вся эта прибавка оказывается недостаточна, рента захватывает все больше и больше из части продукта, оставшейся прежде на прибыль и рабочую плату, так что и абсолютная величина этой части начинает уменьшаться все быстрее и быстрее.

Но в действительности рента редко достигает такой силы, чтобы уменьшать абсолютную величину части, остающейся на рабочую плату и прибыль; обыкновенно возрастание ренты держится на таком пределе, что уменьшается только пропорция, составляемая в возрастающем продукте прибылью и рабочей платою, но абсолютная величина фонда прибыли и рабочей платы остается без уменьшения или даже несколько возрастает, только возрастает во всяком случае гораздо медленнее, чем сумма продукта. Чем производится эта задержка поглощающему возрастанию ренты? При трехчленном делении она производится действием двух сил, совершенно противоположных по влиянию на общественное благосостояние, но совершенно одинаково действующих на ренту.

Первая из этих сил — сила совершенно посторонняя трехчленному делению продукта, сила цивилизации, прогресса, усовершенствований. Общая формула всякого прогресса состоит в том, что он уменьшает силу неравенств. В применении к земледельческому производству каждое усовершенствование, возвышая успех дела в лучших обстоятельствах, обыкновенно еще значительно возвышает его в обстоятельствах менее хороших, а во всяком случае устраняет надобность вести дело в обстоятельствах, бывших прежде самыми худшими. Напр., если от замены сохи хорошим плугом на земле первого сорта будет родиться 12 четвертей вместо прежних 10, то на земле пятого сорта будет в большей части случаев родиться вместо прежних 6 четвертей не 8, а 9; а во всяком случае от значительного увеличения продукта с этих первых пяти сортов земли отстранится надобность возделывать землю шестого сорта, которая возделывалась прежде, давая только 5 четвертей. Таким образом низшая норма успешности дела, норма, определяющая ренту, значительно облегчается. Например: предполагая даже, что продукт земли пятого сорта возвысился от усовершенствования не больше, чем продукт земли первого сорта, и предполагая, что обществу ну-

жен продукт в 4 500 четвертей, мы будем иметь следующие очень различные положения дел до усовершенствования и после усовершенствования (полагаем, что все сорта земли равны по пространству, как полагали выше).

До усовершенствования:

Сорта земли	Продукт с десятины	Сумма продукта	Рента с десятины	Сумма ренты	Доля, остающаяся на прибыль и рабочую плату
1-й	10	1 000	5	500	500
2-й	9	900	4	400	500
3-й	8	800	3	300	500
4-й	7	700	2	200	500
5-й	6	600	1	100	500
6-й	5	500	—	—	500
Итого . .	—	4 500	—	1 500	3 000

По усовершенствовании:

Сорта земли	Продукт с десятины	Сумма продукта	Рента с десятины	Сумма ренты	Доля, остающаяся на рабочую плату и прибыль
1-й	12	1 200	4	400	800
2-й	11	1 100	3	300	800
3-й	10	1 000	2	200	800
4-й	9	900	1	100	800
5-й	8	800	—	—	800
Итого . .	—	5 000	—	1 000	4 000

Таким образом, между тем, как продукт увеличился от усовершенствования на 500 четв., рента уменьшилась на 500 четвертей; до усовершенствования она захватывала третью часть продукта, после усовершенствования берет только пятую часть его; уменьшилась на третью часть прежнего количества и абсолютная величина ренты; зато увеличилась на третью часть прежнего количества абсолютная величина доли, остающейся на прибыль и рабочую плату.

Другая сила, задерживающая возрастание ренты при трехчленном делении, находится в самой чрезмерности стремления ренты возрастать: рента идет к поглощению прибыли и рабочей платы, то есть к низвержению трехчленного деления продукта, к замене его формою устройства, еще менее удовлетворительною, — формою, при которой и предприниматель и работник потеряли бы самостоятельность, сделались бы принадлежностью землевладельца, частью его собственности; [рента при трехчленном делении идет к восстановлению невольничества, как идет к

тому и прибыль, но] прибыль идет при этой системе к подчинению работника капиталисту, а рента идет к подчинению работника и капиталиста вместе землевладельцу. Само собою разумеется, что такая ретроградная тенденция отражается на производстве уменьшением его успешности, то есть рента при трехчленном делении идет не только к уменьшению доли продукта, остающейся на рабочую плату и прибыль, но и к уменьшению самой суммы продукта, то есть ведет к уменьшению населения; а при уменьшении населения, конечно, прекращается надобность возделывать последний из возделывавшихся прежде сортов земли, и от этого рента подрывает сама себя. Эта тенденция ренты уменьшать сумму продукта, конечно, борется с силою прогресса, стремящегося увеличить его, и в новые времена сила прогресса стала уже на столько велика, что одерживает постоянный перевес, и действие ренты в новой истории является не уменьшающим продукт, а только уменьшающим его увеличение. .

По характеру книги Милля и наш очерк, держащийся этой книги, имеет характер чисто теоретический, отвлеченный; мы только анализируем принципы, предоставляя самому читателю соображать факты, соответствующие принципам в действительности; мы почти не приводим ни статистических, ни исторических фактов, потому что довольно обильные материалы для этого существуют в памяти каждого читателя, а мы стараемся, подобно Миллю, об уменьшении числа страниц, которое все-таки выходит очень велико. Лишь в некоторых крайних случаях надобности мы отступаем от своего правила и к теоретическим соображениям присоединяем краткое указание на факты. Так, например, здесь мы должны сослаться на историю и статистику, чтобы засвидетельствовать, с какою точностью подтверждается всею суммою фактов теоретический анализ, представленный нами.

[Мы видим, что прогресс противоположен возрастанию ренты. Класс, которому выделяется рента, всегда был классом консервативным, боровшимся против всяких усовершенствований. Корень этой исторической его роли лежит в самой сущности экономического его положения].

Мы видели, что рента в чрезмерности своего стремления расширяться идет к уменьшению суммы продукта, отвергая успешнейшие формы производства для осуществления своей тенденции поглотить прибыль и рабочую плату. Вся Англия служит подтверждением тому. Лендлорды враждебны срочным контрактам, которые были бы выгоднее контрактов бессрочных, оставляющих лендлорду власть удалить фермера, когда хочет. Рента стремится подчинить себе прибыль и рабочую плату, — в переводе на действительные факты это значит, что лендлорд враждебен самостоятельности фермера и работника; и мы видим в Англии,

что лендлорд старается держать их в этой зависимости от себя даже с убытком для всех, в том числе и для самого себя.

Мы видели, что прибыль стремится поглотить рабочую плату; это значит, что капиталисту нужно держать работника в такой же зависимости от себя, в какой лендлорду нужно держать и капиталиста и работника. История всех цивилизованных стран—одно непрерывное свидетельство постоянства этой тенденции.

Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.

Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом. [Замечательный пример тому — история Франции с 1830 года.

Мы видели, что сами прибыль и рента стремятся разрушить трехчленное деление продукта, — рента стремлением поглотить прибыль и рабочую плату, прибыль — стремлением поглотить рабочую плату, и через то самым успехом своим низвергают устройство, через которое достигают успеха. Мы видим в истории, что за торжеством сословия, получающего ренту, или сословия, получающего прибыль, неизбежно следовал каждый раз переворот, низвергавший это сословие].

Надобно ли нам заканчивать статью кратким перечнем результатов, полученных из анализа системы трехчленного деления? Быть может, это нужно, потому что статья длинна и следует напомнить выводы, рассеянные по ней. Но ведь конец одного дела служит началом другого; почему же перечень, которому следовало бы служить заключением этой статьи, не послужит началом для другой? — пусть послужит когда-нибудь. Нам кажется, что на этот раз и без всякого заключения довольно ясно останется в читателе то общее впечатление, что система трехчленного деления не соответствует требованиям экономической теории.

Теория говорит, что успешность труда зависит от качеств труда, то есть от качеств работника. Теория принимает за аксиому, что хорошие качества в чем бы то ни было обуславливаются у человека благосостоянием. Следовательно, успешность труда зависит от благосостояния работника. При трехчленном делении рабочая плата не может быть удовлетворительна, работник не может быть хорош. Прибыль стремится при этом делении оставить ему как можно меньшую долю продукта.

Теория говорит, что прибыль должна служить возбуждением к деятельности и бережливости. При трехчленном делении прибыль постоянно развивается до степени излишеств, повергающей человека в праздность и мотовство.

[Теория заботится об устранении препятствий к промышленному прогрессу. Устройство, отделяющее ренту от рабочей платы и прибыли, создает в ренте силу, враждебную прогрессу.

Эти свойства находятся в самой натуре трехчленного деления продукта. Оно несообразно с требованиями] экономической теории не какими-нибудь случайными принадлежностями своими, а самую сущностью своею. Противоречие с наукою и с условиями человеческого благосостояния лежит не в подробностях, которые могли бы измениться с сохранением принципа, а в самом принципе трехчленной системы распределения.

ОБМЕН

(Милль, книга третья)

ЦЕННОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

(Гл. I—VI)

В теории распределения встречали мы такие отделы, которые достаточно разработаны основателями господствующей теории и у Милля изложены совершенно удовлетворительно. Еще больше мы найдем подобных отделов в теории обмена. С опасностью наскучить читателю слишком частым повторением одной и той же мысли, мы скажем и здесь, что совершенно ошибаются люди, полагающие, будто бы разница учения, разделяемого нами, от господствующей теории состоит в опровержении теорем, найденных Смитом и с наибольшею точностью формулированных Рикардо. Вовсе нет. Почти все эти формулы совершенно справедливы, и мы даже защищаем их против неверных учеников господствующей теории, старающихся замаскировать их силу разными пустыми возражениями. Так, например, теория ренты Рикардо имеет в нас самых усердных защитников. Но науку в том виде, в каком оставил ее Рикардо и в каком с небольшими улучшениями излагает Милль, мы считаем только началом экономической науки, — началом в обоих смыслах этого слова; и в том смысле, что дальнейшее развитие науки выводится из этого начала, и в том, что в следующем развитии глубже и полнее исследуется значение формул Рикардо, делаются из них выводы, которых еще не сделано вначале. Если хотите, вульгарное, но очень верное сравнение, тут — первая часть арифметики и вся арифметика. Первые четыре действия над целыми и отвлеченными числами служат основанием для всего остального. Если хотите, они и в своей отдельности от всего остального чрезвычайно важны и полезны. Но не следует приверженцу их скрывать от себя, что без вытекающего из них учения об именованных и

дробных числах, о тройном правиле и т. д. далеко не уйдешь в разрешении житейских задач, требующих решения от арифметики.

В теории обмена главное понятие — ценность и притом меновая ценность. Были политико-экономы, ставившие это понятие основным понятием всей науки, которая у них имела почти исключительным предметом своим теорию обмена; о производстве и распределении говорили они лишь для объяснения законов, по которым происходит обмен. Милль справедливо вооружается против такого взгляда, заметного у большей части нынешних последователей Адама Смита не только на континенте, но и в самой Англии. Уже тот самый факт, что из пяти книг своего трактата мог Милль изложить целых две книги, почти не касаясь ценности, достаточно свидетельствует, по его словам, о чрезмерной узкости взгляда, им опровергаемого.

Очевидно, что из двух великих отделов политической экономии понятие ценности относится лишь к распределению богатства, не относясь к его производству; да и распределения касается оно лишь в той мере, в какой распределяющей силой является соперничество, а не обычай или обыкновение. Условия и законы производства остались бы точно те же, как ныне, если бы устройство общества не зависело от обмена или не допускало его. Даже и при нынешнем устройстве промышленной жизни, когда занятия разделены очень дробно и вознаграждение всех участвующих в производстве определяется ценою какого-нибудь одного товара, даже и тут обмен не служит основным законом распределения продукта, — все равно как дороги и фуры не служат существенными законами движения, а составляют лишь часть механизма, посредством которого идет движение. Смешивать эти понятия значит, по моему мнению, делать не только логическую, но и практическую ошибку. В политической экономии слишком часто делают ту ошибку, что не различают необходимость, возникающую из существа дела, от необходимости, создаваемой общественным устройством, и это, мне кажется, всегда производит два противоположные дурные последствия. С одной стороны, политико-экономы ставят часто временные истины своего предмета в ряд вечных и всеобщих его законов; а с другой стороны, от того же самого многие принимают вечные законы производства (как, например, законы, на которых основана необходимость сдерживать размножение людей) за временные и случайные последствия нынешнего общественного устройства, последствия, которыми можно пренебрегать при составлении новой системы общественного устройства⁸⁶.

Но при нынешней системе распределения понятие ценности очень важно. Если хотите, оно останется столь же важно и при более удовлетворительной системе распределения. Но важность будет придаваться тогда не тому видоизменению этого понятия, которое выставляется теперь на первый план, а другому, о котором господствующая теория говорит очень мало. Читателю известно, что сама эта теория различает два вида ценности: внутреннюю и меновую. О внутренней ценности она забывает тотчас же, как только скажет мимоходом, что есть кроме меновой ценности внутренняя, и сосредоточивает все свое внимание на

одной меновой. Мы считаем это недостатком и, рассмотрев законы меновой ценности, исследуем, насколько позволяют нам пределы статьи, вопрос о том, какое влияние на экономическую судьбу общества должна произвести та неизбежная перемена, когда при развитии рассудительности люди станут прилежнее нынешнего всматриваться во внутреннюю ценность предметов. Итак, сначала о меновой ценности.

Есть прием, посредством которого очень легко усвоить себе понятие меновой ценности, несмотря на его высокую отвлеченность. Что такое цена вещи, это очень ясно для каждого. Теперь: цена вещи именно и есть ее меновая ценность, выраженная в денежном счете. Замените именованные числа рублей и копеек отвлеченными числами, проще сказать, отбросьте эти слова — рубль и копейка, оставьте только цифры, при которых они стоят, и вы будете иметь меновую ценность вещи. Положим, что в известное время в известном месте четверть пшеницы стоит 5 рублей, за рабочий день плотнику платится один рубль, за кубическую сажень березовых дров 15 рублей. Это цены. Отбросьте теперь слово рубль, и у вас останутся меновые ценности, состоящие в цифрах, 5, 1, 15. Имея только эти цифры, вы уже будете рассматривать не то, сколько денег нужно на покупку известной вещи, а то, в какой пропорции одна вещь обменивается на другую. Понятие о деньгах отвлекает ваше внимание от того факта, что четверть пшеницы (5) обменивается на 5 рабочих дней плотника (1) или на одну третью часть кубической сажени березовых дров (15). А вот в этом самом отношении, в этой пропорции и заключается сущность дела. Меновая ценность вещи есть покупательная сила вещи, степень власти к приобретению других вещей взамен за эту вещь. При нынешнем устройстве общества меновая ценность вообще совпадает с ценою, потому очень долго эти два понятия смешивались не только практикою, а даже и теориею. Но наука должна стремиться к разложению всякого сложного понятия на основные. Мы видим, что понятие цены составляется из двух понятий: меновая ценность и деньги. Поэтому наука должна отдельно исследовать каждое из этих двух понятий. Приступая к анализу понятия меновой ценности, Милль делает предварительное замечание, небесполезное для нашей специальной цели, — для показания недостаточности господствующей теории и того порядка, к которому одному приложима она. Вот что говорит Милль:

Прежде, чем начать исследование законов ценности и цены, надобно сделать еще одно замечание. Я должен раз навсегда предупредить, что случаи, рассматриваемые мною, — те случаи, в которых ценности и цены определяются одним соперничеством. Лишь насколько ценности и цены определяются им, настолько и можно подвести их под определенные законы; надобно полагать, что покупщики столько же заботятся о дешевой покупке, сколько продавцы о дорогой продаже. Таким образом, ценности и цены, к которым применяются наши выводы, — ценности и цены коммерческие;

например, те цены, какие выставляются в прейскурантах, цены оптовых рынков, на которых и покупка и продажа — коммерческое дело, в которых покупщики озабочиваются узнать и, вообще говоря, знают наименьшую цену, по какой можно получить товар известного качества и на которых потому имеет действительную силу аксиома, что не может существовать на одном рынке двух цен одному товару одного качества. Далеко не так безусловно будут применяться наши выводы к ценам розничной торговли, к ценам, платимым в лавках за товар, покупаемый для личного потребления. Тут часто бывает одному товару не только две цены, а много разных цен в разных лавках и даже в одной лавке, потому что привычка и случай в этом деле имеют не меньше участия, чем общие причины. Покупку для личного употребления даже и торговые люди делают не всегда по коммерческому принципу: чувства, руководящие делом получения и делом расходования своего дохода, часто у них бывают чрезвычайно различны. По лености или беспечности, или по амбиции, запрещающей торговаться при покупке вещи, из четырех человек, могущих заплатить цену выше настоящей, трое платят гораздо дороже, чем было бы можно; а бедные платят дороже надлежащего по незнанию и несообразительности, по недостатку времени на розыски и справки, а нередко и по явному или покрытому принуждению. От этих причин розничные цены не следуют влиянию определяющих оптовые цены причин с такою правильностью, какой иные могли бы ожидать. Влияние этих причин напоследок обнаруживается на розничных рынках и служит истинным источником тех перемен в розничных ценах, которые имеют общий и прочный характер, но соответственность эта не регулярна и неточна. Сапоги одного сорта продаются в разных лавках по очень различным ценам, и от понижения цены кожи может не понизиться цена, какая берется с зажиточных людей за сапоги, но все-таки цена сапог уменьшается, и когда она уменьшается, причину тому всегда бывает какое-нибудь общее обстоятельство, — вроде понижения цены кожи; а когда кожа дешевеет, то, если цена сапог и не изменяется в лавках, где покупщики богатые люди, — мастеровой и чернорабочий вообще начинают покупать сапоги дешевле, и чувствительно уменьшаются подрядные цены, по которым ставятся сапоги для полка солдат или уоркгауза. При всех соображениях о ценах надобно под-
разумевать оговорку: «в том предположении, что все участники дела заботятся о своей выгоде»; забвение этих ограничений часто вело к тому, что отвлеченные принципы политической экономии прилагались к фактам неправильно, а еще к тому, что колебалось убеждение в этих принципах из-за того, что они прилагались к фактам, неподходящим под них и не могущим быть в гармонии с ними ⁸⁷.

Быть может, читателю казалось, что мы говорили что-нибудь новое, — и почему знать? — что-нибудь недостоверное, когда мы в прошлой статье говорили о неудовлетворительности той формы экономического расчета, которая называется соперничеством. Теперь он видит, что мы взяли эту мысль из самой господствующей теории. Вот, например, Милль говорит, что по расчету соперничества покупает только торговец для перепродажи, а покупка для личного потребления не находит себе достаточной гарантии в этой форме. Только это и говорили мы в сущности, когда показывали неудовлетворительность соперничества. Чем же наши понятия отличаются от понятий самого Милля? Если хотите, ровно ничем не отличаются. Но мысль, общую нам и ему, мы выставили на первый план, между тем как у него она спряталась в каком-то уголке, где и не заметит ее невнимательный читатель. Мы обратили внимание на то, о чем он упоминает лишь

мимоходом. От этого произошла и другая разница: если эта форма неудовлетворительна, то надобно искать другой, удовлетворительной, — и стали искать ее. Согласитесь, что этот вывод необходимо следует из факта, замечаемого и господствующего теориею. Но она не замечает, что этот факт важен, и потому не заботится подумать о том, какой вывод из него следует. По нынешнему порядку гораздо более половины обменов (покупка на личное потребление) производится в таких условиях, при которых покупающая сторона не умеет охранить своего интереса: из остальных покупок (покупка от производителя торговцем на перепродажу) в большей части не умеет охранить своего интереса продающая сторона. Не следует ли из этого, что для экономического порядка нужна другая форма обмена, которая ограждала бы интересы потребителя и производителя, страдающие при нынешнем порядке? Важнейшая часть обменов производится при нынешнем порядке под влиянием незнания, небрежности, лени. Сообразно ли это с условиями экономического благосостояния страны или хотя бы с условиями правильной торговли?

Но это мы замечаем здесь лишь мимоходом для нового подтверждения идей, изложенных в предыдущей статье; а здесь мы должны поспешить к анализу меновой ценности. Чтобы предмет имел меновую ценность, нужно, во-первых, быть ему годным на известное употребление, — по мнению покупателя. Никто ничего не даст за то, что ему ни для чего непригодно. На языке политической экономии это выражается так: меновую ценность имеют лишь те предметы, которые имеют внутреннюю ценность. Но никто ничего не даст за предмет самый необходимый или полезный, если он приобретается без всякого затруднения, одною силою желания иметь его. Итак, затруднительность приобретения служит вторым элементом, необходимым для составления меновой ценности.

Эта затруднительность приобретения бывает различного рода. Есть вещи, количество которых нельзя увеличить. Таковы, например, древние статуи. Но большинство обмениваемых вещей таково, что затруднительность приобрести их заключается только в количестве труда и издержек, требуемом для их производства. Одни из них могут быть производимы в каком угодно количестве, без возвышения пропорции труда, требуемого производством. Таковы мануфактурные товары. Количество других товаров может быть увеличиваемо так же неопределенно, но не иначе, как с постоянным возвышением пропорции труда по мере увеличения их количества. Таковы земледельческие продукты, характер которых с этой стороны выставлен в особенности мальтусовою теоремою и теоремою ренты Рикардо.

Если количество известного предмета может быть увеличиваемо по произволу, меновая ценность его определяется уравне-

нием снабжения* и запроса, то есть меновая ценность этих вещей имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу. От увеличения ценности запрос уменьшается, а снабжение возрастает; от уменьшения ценности бывает противное. Потому, если при известной высоте ценности запрос будет больше снабжения, ценность предмета станет возвышаться, пока снабжение увеличится, а запрос уменьшится настолько, что оба эти элемента сравняются. Если же, наоборот, снабжение будет больше запроса, тот же результат будет произведен понижением ценности.

Таков основной закон меновой ценности. Прямым образом и с физической необходимостью действует он лишь в немногих товарах, количество которых вовсе не может увеличиваться. Но искусственным образом может быть подведен под его прямое действие всякий предмет при монополии, если монополист имеет возможность производить или продавать не все то количество товара, какое мог бы производить или продавать, а лишь то количество, при котором товар дает ему наибольшую сумму чистой прибыли, за вычетом издержек производства. А все остальные товары подводятся под силу уравнения запроса и снабжения косвенным путем, посредством элемента, называемого стоимостью производства. Этот элемент имеет применение не к одной только системе быта, основанной на соперничестве, в которой одной существует меновая ценность, отдельная от внутренней ценности, — он входит основным элементом во всякую систему экономического устройства; он не есть результат частного исторического факта, как меновая ценность, а вытекает из неизменной природы вещей; потому он должен обратить на себя все наше внимание. Выставить его с полной силою тем полезнее, что в обыкновенных курсах политической экономии слишком заслоняется он производною формою меновой ценности, как вообще коренные законы природы заслоняются в ней частными случаями действия этих законов при форме, которую она воображает или единственно возможною или наилучшею. Потому, чрезвычайно сокращая те отделы III-й книги Милля, которые говорят о предметах, достаточно развиваемых и рутинными курсами, мы приведем здесь вполне две главы, в которых говорит наш автор о стоимости производства.

Может ли или не может безгранично увеличиваться количество товара, производимого трудом и расходом, все равно есть *minimum* ценности, необходимо нужной для его безостановочного производства. В каждое данное время ценность его — результат запроса и снабжения и всегда бывает такова, какая нужна на то, чтобы существующее снабжение находило себе сбыт. Но производство товара не будет продолжаться, если эта ценность недостаточна

* Я заменяю термином «снабжение» слово «предложение», явившееся у нас как перевод слова *l'offre*, которым французы неудачно перевели английский термин *supply*.

на вознаграждение стоимости производства с прибавлением прибыли по обыкновенному расчету. Капиталисты не захотят постоянно производить убыток: не станут производить и с прибылью, меньшею той, какая нужна им на то, чтобы жить ею. Люди, капитал которых положен в дело и не может легко быть вынут из него, довольно долго будут продолжать производство и без прибыли, продолжают его иногда и с убытком себе, в ожидании лучшего времени. Но не станут они продолжать такого производства вечно и не имея признаков, что время для них улучшится. Новый капитал не будет затрачен в дело, если оно не обещает прибыли, и притом прибыли равной той, какую обещают в этом месте и в это время другие занятия, по своему свойству имеющие одинаковую степень привлекательности. Когда очевидно нельзя ожидать такой прибыли, то капитал или вынимается из дела, или по крайней мере не замещается новым, по мере того, как потребляется. Потому стоимость производства, с прибавлением обыкновенной прибыли, можно называть необходимой ценою или ценностью всех предметов, производимых трудом и капиталом. Ни у кого нет охоты производить с перспективою убытка. Кто производит в убыток, производит лишь по ошибке в расчете, которую поправляет при первой возможности.

Если товар, производимый трудом и капиталом, может быть произведен ими в безграничном количестве, эта необходимая ценность, этот *minimum*, которым могут удовольствоваться производители, будет также и *maximum*, которого они могут ожидать, когда соперничество свободно и деятельно. Если ценность товара такова, что стоимость производства оплачивается ею не с обыкновенным, а с более высоким процентом прибыли, то капитал устремляется участвовать в этой лишней выгоде и, увеличив снабжение товаром, уменьшает его ценность. Это не простое предположение или догадка, а факт, известный каждому, знающему коммерческие операции. Если представляется новый род дела, обещающий чрезвычайную прибыль, или если существующая отрасль промышленности или торговли считается дающей прибыль больше обыкновенной, то наверное в скором времени производство или ввоз товара увеличится до того, что не только исчезнет излишек прибыли, но и упадет она ниже нормы, а ценность упадет настолько же ниже необходимой величины, насколько прежде была выше ее, пока наконец излишек снабжения устранился временным прекращением или уменьшением дальнейшего производства. Эти колебания в размере производства, как мы уже говорили, могут и не влечь за собою ни для кого надобности переманять занятия. Те, у которых дело идет живо, увеличивают свое производство, сильнее пользуясь кредитом; а те, которые не получают обыкновенной прибыли, уменьшают свои обороты и, по фабричному выражению, работают неполные часы. Этим способом непременно и быстро уравнивается, если и не действительная прибыль, то вероятность прибыли в разных занятиях.

Следовательно, общее правило таково, что предметы имеют тенденцию обмениваться друг на друга по таким ценностям, которые оплачивают каждому производителю стоимость производства с обычною прибылью; иными словами — которые дают всем производителям одинаковый процент прибыли на их расход. Но чтобы на равный расход, то есть на равную стоимость производства была равная прибыль, предметы должны в среднем выводе обмениваться друг на друга пропорционально стоимости своего производства; предметы, стоимость производства которых одинакова, должны иметь одинаковую ценность, потому что лишь в этом случае будет равная выручка с равного расхода. Если фермер капиталом, равным 1 000 кварталов хлеба, может производить 1 200 кварталов, дающих ему прибыль в 20%, то всякий предмет, производимый в то же время капиталом в 1 000 кварталов, должен стоить 1 200 кварталов, то есть обмениваться на 1 200 кварталов; иначе производитель получил бы не 20% прибыли, а больше или меньше.

Адам Смит и Рикардо называют пропорциональную стоимость производства предмета его натуральною ценностью (или натуральною ценою). Под этим они разумеют цифру, около которой колеблется и к которой постоянно стремится возвратиться ценность; центральную ценность, к кото-

рой, по выражению Адама Смита, постоянно тяготеет рыночная ценность предмета и всякое отклонение от которой бывает лишь временною неправильностью, самым своим возникновением вызывающего действие сил, стремящихся исправить ее. Если взять число лет, достаточное для того, чтобы колебания в одну сторону по этой центральной линии могли вознаграждаться колебаниями в другую сторону от нее, то средняя рыночная цена совпадает с натуральной ценностью; но очень редко она совершенно совпадает с нею в какую-нибудь данную минуту. Море всегда стремится к уровню, но никогда не бывает с точностью в уровне; поверхность его постоянно колеблется волнами и часто возмущается бурями. Довольно того, что нет по крайней мере на открытом море ни одной точки, которая постоянно была бы выше другой. Каждый пункт моря поочередно поднимается и падает, но океан сохраняет свой уровень.

Тайное влияние, заставляющее ценности вещей в среднем выводе быть сообразными со стоимостью производства,—это тайное влияние состоит в том, что иначе изменился бы размер снабжения товаром. Снабжение возросло бы, если бы предмет продолжал продаваться выше, чем соразмерно со стоимостью его производства; оно уменьшилось бы, если бы ценность предмета упала ниже этой соразмерности. Но из этого мы не должны заключать, что снабжению на практике необходимо уменьшаться или возрастать. Предположим, что стоимость производства предмета удешевилась от какого-нибудь механического изобретения или увеличилась от налога. Ценность предмета, если не тотчас, то скоро, упадет в первом случае и возвысится во втором; это будет потому, что без того снабжение в первом случае возрастало бы, пока не упадет цена, а во втором уменьшалось бы, пока она не поднимется. Поэтому его по ошибочному представлению, будто бы ценность определяется пропорцией между запросом и снабжением, многие предполагают, что эта пропорция должна изменяться, лишь только изменится ценность товара; что ценность не упадет от уменьшения в стоимости производства, если снабжение не возрастет постоянным образом; и наоборот — что ценность не поднимется, если снабжение не уменьшится также постоянным образом. Но это не так; нет надобности размеру снабжения действительно изменяться; а если он изменяется постоянным образом, то его изменение бывает не причиною, а следствием изменения ценности. Если бы снабжение не могло возрастать, то уменьшение стоимости производства действительно не понизило бы ценности; но вовсе нет необходимости в том, чтобы снабжение действительно возросло. Часто достаточно бывает и одной возможности; негодичанты понимают, чего им следует ждать, и взаимное соперничество заставляет их предупреждать этот результат понижения цены. Возрастет ли постоянным образом снабжение товаром по удешевлению его производства, это зависит от совершенно иного вопроса, именно от того, понадобится ли товара больше прежнего при уменьшении его ценности. Почти всегда надобится его больше прежнего; но этого может и не быть. «Товар, немедленно идущий на личное потребление, человек покупает охотнее и в большем количестве, когда он дешевле», говорит де-Квинси (Logic of Political Economy, стр. 230—231). Если вдвое подешевеют шелковые носовые платки, их станут покупать, быть может, втрое больше. Но паровых машин человек не купит больше прежнего оттого, что они подешевели. Размер его запроса на паровые машины почти всегда вперед определен обстоятельствами его положения. Если он и стесняется размером расходов, то не расходом на покупку машины, а расходом, какого требует ее работа. Есть также много товаров, размер сбыта которых безусловно и исключительно определен существующей системой, в которой эти товары служат подчиненными частями или членами. Можем ли мы искусственно дешевизною сделать, что часовых диферблатов будет продаваться больше, чем часовых механизмов или пружинок? Может ли продажа бочек увеличиться без увеличения продажи вина? Может ли увеличиться сбыт инструментов корабельного плотничества, пока не увеличится постройка судов?.. Предложите городу, имеющему 3 000 жителей, несколько катафалков, — никакая дешевизна не склонит этот город

купить больше одного. Предложите несколько яхт, — главная издержка тут на жалование и содержание экипажа, на починку яхт; уменьшение в цене самой яхты не соблазнит купить ее никого, кто уже не был расположен к такой покупке по своим привычкам и наклонностям. То же надобно сказать об особенном платье, какое носят епископы, адвокаты, оксфордские студенты. Но никто не сомневается, что при уменьшении стоимости производства этих вещей, цена и ценность их понизилась бы. Причиной понижения бывает опасение, что явятся новые соперники и снабжение увеличится. Но сильный риск, которому подвергался бы новый соискатель в товаре, сбыт которого не может значительно увеличиться, дозволил бы прежним торговцам удерживать прежнюю цену гораздо дольше, чем может она держаться в товаре, представляющем более поощрений к соперничеству.

Предположим наоборот, что стоимость производства увеличилась, например, от наложения пошлины на товар. Ценность поднимется и, вероятно, тотчас же. Уменьшится ли снабжение? Лишь в том случае, если возвышение ценности уменьшит запрос. Уменьшился ли запрос, это не замедлит обнаружиться; и если он уменьшился, то подымавшаяся ценность несколько понизится по излишку снабжения, пока не уменьшится производство; тогда она вновь поднимется. Есть много товаров, в которых нужно очень значительное возвышение цены на то, чтобы запрос чувствительно уменьшился. В особенности таковы предметы необходимости, например, обыкновенная пища народа, какую служит в Англии пшеничный хлеб. При цене довольно дорогой его потребляется, вероятно, столько же, сколько и при цене значительно меньшей. Но особенно в таких предметах большинство и смешивает дороговизну с недостаточностью запаса. Хлеб может быть дорог от недостаточности запаса, например после неурожая. Но дороговизна, происходящая, например, от налогов или от хлебных законов, не имеет ничего общего с недостаточностью снабжения; от таких причин количество хлеба в стране не уменьшается сильным образом; от них скорее уменьшается количество других предметов, чем хлеба, потому что люди, платящие дороже за хлеб, меньше могут издержать на другие предметы, и производство их сокращается соразмерно уменьшению запроса.

Таким образом, ценность предметов, количество которых может увеличиваться по произволу, определяется уравнением запроса и снабжения лишь иногда, да и то лишь на срок, нужный для их производства, а общий ход дела иной: не ценность этих предметов определяется уравнением запроса и снабжения, а напротив — само это уравнение определяется ценностью, — таков точный закон. Есть запрос на известное количество товара по его естественной цене, и снабжение постоянно стремится сообразоваться с этою ценою. Если когда оно отстает от нее, причина тому — или ошибка в расчете, или какая-нибудь перемена в элементах задачи: в естественной ценности, то есть стоимости производства, или в запросе — от перемены во вкусе общества или в числе или богатстве потребителей. Эти причины колебания являются очень часто, и как явится одна из них, — рыночная ценность предмета уклоняется от его естественной ценности. Естественный закон запроса и снабжения, уравнение между ними и тут не перестает действовать; если ценность, отступающая от естественной ценности, необходима для уравнения запроса с снабжением, рыночная ценность отклонится от естественной; но отклонится лишь на время, потому что само снабжение имеет постоянную тенденцию соразмеряться с запросом, какой по опыту оказывается существующим при продаже товара по естественной ценности. Если снабжение превышает эту норму или становится ниже ее, это лишь временное положение, и при нем получается прибыль, которая или выше или ниже обыкновенной, а при свободном, сильном соперничестве это не может оставаться долго.

Вот краткий перечень наших выводов: уравнение запроса и снабжения управляет ценностью всех тех предметов, количество которых не может увеличиваться по произволу; но даже и для них, если они производятся промышленностью, существует *minimum* ценности, определяемый стоимостью

производства. А во всех тех предметах, количество которых может безгранично увеличиваться, уравнения запроса и снабжения определяются лишь колебанием ценности в течение периода, который не может быть продолжительнее времени, нужного для перемены в размере снабжения. Управляя этими колебаниями ценности, само уравнение запроса и снабжения подчиняется более коренной силе, действием которой ценность тяготеет к стоимости производства и которая установила и навсегда держала бы ценность на этой величине, если бы не возникали постоянные новые колеблющиеся влияния, отклоняющие ценность от этой точки. Запрос и снабжение постоянно стремятся к равновесию, но положение «устойчивого равновесия» (по нашему метафорическому языку) — то, когда предметы обмениваются друг на друга соразмерно стоимости своего производства, или, по прежнему нашему термину, когда предметы имеют свою естественную ценность⁸⁸.

Составные элементы стоимости производства были показаны в первой части нашего исследования (том I, стр. 100). Мы нашли, что главный из них — труд, перед которым ничтожны все остальные. Предмет обходится производителю или ряду производителей во столько, сколько стоит израсходованный на него труд. Если мы рассматриваем, как производителя, капиталиста, делающего затраты, — слово «труд» можно заменить словом «рабочая плата»; предмет обходится производителю во столько, сколько рабочей платы пошло на него. На первый взгляд, правда, кажется, что это лишь часть расхода, потому что капиталист не только платил рабочим, а также и снабжал их орудиями, материалами и, быть может, строениями. Но эти орудия, материалы и строения произведены трудом и капиталом, и ценность их, подобно ценности предметов, производству которых они служат, определяется стоимостью производства, которая опять приводится к стоимости труда. Стоимость производства сукна состоит не из одной рабочей платы ткачам, которые одни получают плату прямо от суконного фабриканта. Она состоит также и из рабочей платы прядильщикам и чесальщикам, к которым можно прибавить и пастухов, — всем им суконный фабрикант заплатил, когда купил пряжу. Она состоит также из платы работникам, строившим фабрику и делавшим кирпичи на постройку, — суконный фабрикант заплатил им деньгами, отданными подрядчику за постройку фабрики. Отчасти состоит она из платы работникам, делавшим машины, выделавшим железо из руды и выкопавшим руду. К ним надобно прибавить работников, перевозивших все нужные для производства вещи на то место, где теперь ткут сукно, и перевозящих самое сукно на место продажи.

Таким образом, ценность товаров главным образом определяется количеством труда, требующегося на их производство, включая в понятие производства и доставку на рынок. (Исключительно ли этим главным элементом определяется ценность, мы увидим ниже.) «Рассматривая меновую ценность, например, чулков, мы найдем, говорит Рикардо (*Principles of Political Economy and Taxation*, гл. I, отд. 3), что их ценность сравнительно с ценностью других предметов определяется количеством всего того труда, какое нужно, чтобы произвести чулки и доставить их на рынок. Во-первых входит в эту сумму труд, нужный на обработку земли, произрастающей хлопок; во-вторых, труд перевозки хлопка в страну, где будут сработаны чулки; в этот труд входит часть труда, употребленного на постройку корабля, перевозящего хлопок, и эта часть оплачивается фрахтом хлопка; в-третьих, труд прядильщика и ткача; в-четвертых, часть труда механика, кузнеца, каменщика и плотника, построивших здание и машины, помощью которых идет обработка материала; в-пятых, труд розничного торговца и многих других лиц, перечислить которые нет надобности. Суммою всех этих разных родов труда определяется количество других предметов, за какое обмениваются эти чулки. А точно такой же счет разных количеств труда, употребленного на эти другие предметы, точно так же определяет, какое количество их дается за чулки.

«Чтобы убедиться, что таково действительное основание меновой ценности, предположим, что сделано какое-нибудь улучшение, сокращающее труд

в каком-нибудь из разных процессов, через которые должен пройти хлопок, чтобы явиться на рынок готовыми чулками для обмена на другие предметы, и посмотрим, что из этого произойдет. Если нужно стало меньше людей на возделывание хлопка, или меньше матросов на привозащем к нам хлопок корабле, или меньше рабочих на постройку этого корабля; если меньше рук было занято постройкой здания и машин, или посредством этих машин и здания можно стало сделать больше работы, — то ценность чулок непременно упадет и станет получаться других предметов меньше за них. Чулки упадут, потому что меньше труда стало нужно на их производство, и потому они станут обмениваться на меньшее количество тех предметов, в которых не произошло такого уменьшения труда.

«Сбережение в труде непременно уменьшает относительно ценность товара, все равно в чем бы ни сделано было сбережение: в труде ли, потребном на выделку самого товара, или в труде, потребном на образование капитала, помощью которого производится товар. Если меньше будет занято делом людей, непосредственно нужных для выделки чулок, — белильщиков, прядильщиков и ткачей, — или меньше станет занято делом людей, косвенно участвующих в нем, — матросов, извозчиков, механиков — в том и другом случае цена чулок упадет. В первом случае на чулках отзовется весь размер сбережения в труде, потому что весь труд этого сорта был занят одними чулками; во втором случае отзовется на чулках лишь часть сбережения, а другая часть его разложится по всем другим товарам, производству которых способствуют строения, машины и транспортировка».

Читатель заметит, что Рикардо выражается так, как будто количество труда, которого стоит производство предмета и доставка его на рынок, — единственная вещь, определяющая ценность товара. Но стоимость производства для капиталиста — не труд, а рабочая плата, и количество труда остается одинаково при высокой и при низкой рабочей плате; потому казалось бы, что ценность продукта определяется не исключительно количеством труда, а количеством труда вместе с размером вознаграждения за него, и что ценности определяются отчасти размером рабочей платы. Чтобы решить это, надобно сообразить, что ценность — явление относительное, что словом «ценность» товара обозначается не какое-нибудь внутреннее и существенное качество самого предмета, а количество других предметов, какое можно получить в обмен за него. Когда говорится «ценность предмета», всегда должно подразумеваться «относительно другого предмета» или «относительно предметов вообще». А взаимное отношение предметов не изменяется от причины, действующей одинаково на оба предмета. Общее возвышение или упадок рабочей платы — факт, одинаково действующий на все товары и потому не дающий основания для изменения пропорции, в какой обменивались они друг на друга. Предположить, что от высокой рабочей платы возвышаются цены значит предположить, что возможно такое явление, как общее возвышение ценностей; а оно — логическая несообразность: возвышение ценности некоторых предметов равнозначительно упадку ценности других. Недоразумение это возникает оттого, что смотрят только на цены, а не на ценности. Общее возвышение ценностей невозможно, но общее возвышение цен — дело возможное. Как только поймем мы ясно, что такое ценность, мы увидим, что высота или низкость рабочей платы не может иметь никакого отношения к ценностям. Но что от высоты рабочей платы возвышаются цены, это мнение очень распространенное. Всю ошибочность его мы поймем вполне лишь тогда, когда займемся теорией денег; теперь довольно будет сказать, что если бы оно было справедливо, то действительное возвышение рабочей платы было бы невозможностью: если бы рабочая плата не могла возвышаться без пропорционального возвышения цены всех предметов, то и возвышение рабочей платы не могло бы иметь никакого существенного смысла... Это *reductio ad absurdum** достаточно показывает изумительную нелепость мнений, которые еще могут становиться и ста-

* Доведение до абсурда. — Ред.

новятся и долго остаются политико-экономическими аксиомами в умах большинства. Надобно также вспомнить, что если произошло общее повышение цен, то оно не может давать никакой пользы ни производителю, ни торговцу по их делам; если увеличивается у них денежная выручка, то и все их расходы увеличиваются в той же степени. Капиталисты никаким способом не могут вознаградить себя за возвышение стоимости труда; никакая перемена ценностей или цен не вознаградит их, не отвратит понижения прибыли от возвышения стоимости труда. Если работники действительно стали <станут> получать больше прежнего, то есть стали получать продукт большего количества труда, то на прибыль, конечно, останется процент меньше прежнего. Этот закон распределения, основывающийся на арифметическом законе, не отвращается никаким способом. Механизм обмена и цены может прикрывать его от нас, но решительно бессилии изменить его.

Общая высота или низкость рабочей платы не имеет влияния на ценность; но если в одном занятии рабочая плата выше, чем в другом, или если она надолго повышается или падает в одном занятии, оставаясь без перемены в других, эти неравенства действительно оказывают влияние на ценности. Причины разницы рабочей платы в разных занятиях мы уже рассматривали в одной из предыдущих глав. Если в известном занятии постоянно существует рабочая плата выше средней величины, соразмерно тому и ценность предмета, производимого этим занятием, будет выше уровня, определяемого простым количеством труда. Например, предметы, производимые техническим трудом, обмениваются за продукт гораздо большего количества чернорабочего труда, и только потому, что плата за технический труд выше. Если бы образование распространилось настолько, что от увеличения числа работников, способных к техническим занятиям, уменьшилась бы разница между платою им и чернорабочим, то все предметы, производимые высшими сортами труда, упали бы в ценности сравнительно с предметами, производимыми черною работою, и о продуктах черной работы можно бы сказать тогда, что ценность их поднялась. Мы уже говорили, что по трудности перехода от известного рода занятий к занятиям гораздо высшего рода в каждом разряде работников, отделенном от других очень резкою чертою, плата гораздо больше <большая>, чем иной предположил бы, зависла до сих пор от степени размножения самого этого класса отдельно от других классов; мы говорили также, что неравенство в вознаграждении за труд гораздо значительнее того, какое существовало бы, если бы соперничество общей массы работников практически касалось каждого отдельного занятия. Из этого следует, что рабочая плата в разных занятиях поднимается и падает не одновременно, а бывает иногда не надолго, а иногда даже и надолго почти независимо в одном занятии от другого. Все такие неравенства, очевидно, изменяют *относительную* стоимость производства разных товаров и потому вполне отражаются на их естественной или средней ценности.

Из этого мы видим, что когда некоторые из первоклассных политико-экономов говорили, будто бы рабочая плата не входит в расчет ценности, — то они придавали своей теореме слишком широкий размер, несогласный с истинною и с сущностью их собственного понятия о деле... Рабочая плата входит в расчет ценности. Относительным *размером рабочей платы* за труд производства разных товаров определяется их ценность точно так же, как относительным количеством труда. То правда, что абсолютная величина рабочей платы не имеет влияния на ценность; но не имеет его и абсолютное количество труда. Если бы оно одновременно и ровно изменилось во всех занятиях, то ценности не изменились бы. Если, например, общая успешность всякого труда возросла, так что все без исключения предметы производятся в прежнем количестве меньшим количеством труда, то в ценностях предметов не обнаружился бы никакой след этого общего уменьшения стоимости производства. В ценностях может произойти лишь та перемена, которая представляет неравенство влияния, произведенного улучшением на разные предметы; она состоит в том, что подешевеют предметы, в которых размер сбережения труда был наибольший, а ценность предметов, в которых сбережение

труда было не так велико, поднимется. И так, строго говоря, размер рабочей платы имеет точно такое же влияние на ценность, как и количество труда. И ни Рикардо, ни кто другой не отрицал этого факта. Но если мы станем рассматривать причины *изменений* в ценности, то важнее всех будет количество труда; когда изменится оно, то обыкновенно изменится в данное время лишь в одном или в немногих товарах; а изменения в рабочей плате (кроме мимолетных колебаний) относятся обыкновенно ко всем предметам и не имеют значительного влияния на ценность.

Мы говорили об одном элементе стоимости производства, — о труде или рабочей плате. Но в первой книге, разбирая элементы производства, мы нашли, что, кроме труда, есть еще другой необходимый элемент его — капитал. Он — результат воздержания, и продукт или ценность продукта, кроме вознаграждения за весь требуемый труд, включает в себе вознаграждение за воздержанность всех лиц, затраты которых служили вознаграждением для разных разрядов работников. Вознаграждением за воздержание служит прибыль. А прибыль, как мы видели, состоит не из одного излишка, остающегося капиталисту за покрытием его расхода, — она почти всегда составляет немаловажную часть и самого расхода. У хозяина льняной прядильни часть издержек состоит в покупке льна и машин, в цене которых он, кроме платы за труд, возрастивший лен и сделавший машину, уплачивает прибыль хозяину, возделывавшему лен, хозяину, который обмял лен, хозяину рудника, железному заводчику и фабриканту машин. Вся сумма этих прибылей, вместе с прибылью самого прядильного фабриканта, также вперед уплачивается хозяином ткацкой фабрики в цене, какую он заплатил за свой материал, — льняную пряжу; вместе с тем он еще уплачивает прибыль другому ряду машинных фабрикантов и хозяевам рудников и железным заводчикам, снабдившим их железным материалом. Все эти затраты составляют часть стоимости производства полотна. Таким образом, прибыль, подобно рабочей плате, входит в стоимость производства, определяющую ценность продукта.

Но, будучи явлением чисто относительным, ценность не может зависеть от абсолютной величины прибыли, как не зависит и от абсолютной величины рабочей платы; она зависит только от относительного неравенства разных прибылей. Общее возвышение прибыли, подобно общему возвышению рабочей платы, не может возвышать ценностей, потому что общее возвышение ценностей — нелепость и логическая несообразность. Часть прибыли, входящая в стоимость производства всех предметов, не имеет влияния на ценность никакого предмета. Только тот излишек прибыли, который входит в стоимость производства лишь некоторых предметов, оказывает влияние на ценность их.

Например, мы видели, что по некоторым причинам необходим должен быть в некоторых занятиях постоянный процент прибыли выше, чем в остальных, чтобы служить вознаграждением за риск, хлопотливость и неприятность. Его может доставить только продажа товара по ценности выше той, какая приходилась бы по количеству труда, нужного на производство. Если бы порох обменивался на другие предметы не выше пропорции труда, употребленного на весь процесс его производства, то никто не захотел бы устроить пороховой завод. Мясники несомненно получают больше хлебников и, вероятно, подвержены не большему риску, чем хлебники, потому что, сколько известно, банкротятся не чаще их. Прибыль более высокая, чем у хлебников, получается ими, конечно, только оттого, что соперничества для них меньше, по неприятности и некоторой непопулярности их промысла. А если они получают более высокую прибыль, это значит, что товар их продается по ценности более высокой, чем какая приходилась бы соразмерно труду и расходу их. Все необходимые и постоянные неравенства прибыли выражаются в относительных ценностях товаров.

Но если и нет разницы между двумя занятиями в *проценте* прибыли, прибыль может составлять в элементах производства одного товара более значительную долю, чем в элементах другого. Один товар может требовать

прибыли за более долгий срок времени, чем другой. В пример тому обыкновенно приводят вино. Положим, что известное количество вина и известное количество сукна произведены одинаковым количеством труда, по одинаковой рабочей плате. Сукно не улучшается, а вино улучшается от того, что становится старше. Положим, что для достижения требуемого достоинства нужно вино простоять пять лет. Производитель или торговец не станет беречь его пять лет, если по их истечении не может продать его настолько дороже сукна, насколько должна возрасти прибыль за пять лет по сложным процентам. Первоначальный расход на производство сукна и вина был одинаков; стало быть, относительная естественная ценность этих двух товаров соразмеряется тут не с одною стоимостью их производства, а еще с иным элементом, прибавляющимся к ней. Впрочем, чтобы подвести этот случай под общую формулу, мы можем включить в стоимость производства вина ту прибыль, от которой в течение пяти лет отказывается винный торговец, и смотреть на эту сумму как на особенный вид прибавочного расхода, который делается им сверх других затрат и за который он должен быть вознагражден результатом.

О всех товарах, производимых машинами, надобно сказать приблизительно то же, что мы говорили в предыдущем примере о вине. Прибыль составляет в стоимости их производства более значительную долю, чем в предметах, работающих исключительно непосредственным трудом. Возьмем два товара, на производство которых одинаково нужен годичный срок и капитал, выражаемый нами на этот случай в деньгах, 1000 фунтов. Товар А работает исключительно непосредственным трудом, и все 1000 фунтов идут в нем прямо на рабочую плату. Товар В выделяется посредством труда, стоящего 500 фунтов, и машины, стоящей 500 фунтов и изнашивающей годичною работою. Оба товара будут иметь совершенно одинаковую ценность, — если считать ее на деньги, полагая прибыль в 20%, она будет 1200 фунтов. Но из этих 1200 фунтов в товаре А только 200 фунтов, или шестая часть ценности, составляет прибыль; а в товаре В, кроме этих 200 фунтов, есть еще прибыль машинного заводчика, вошедшая в цену, какая заплачена за машину; если мы положим, что производство заняло также год, прибыль эта в 500 фунтов (цена машины) составляет опять одну шестую часть. Таким образом, в товаре А прибыль только $\frac{1}{6}$ всей выручки, а в товаре В $\frac{1}{6}$ всей выручки с прибавкою еще $\frac{1}{6}$ из значительной части остальной выручки.

Чем значительнее часть капитала, состоящая из машин, строений, материала и других предметов, которые должны быть заготовлены до начала непосредственного труда, тем значительнейшую часть будет составлять прибыль в издержках производства. Не столь очевидно с первого взгляда, но столь же верно и то, что большая прочность части капитала, состоящей из машин и строений, имеет точно такое же значение, как больший размер капитала. Мы предполагали ту крайность, что машина совершенно изнашивается от годичной работы; предположим теперь противоположную и еще сильнейшую крайность, — что машина вечна и не требует ремонта. В этом предполагаемом случае, который годится для разъяснения дела столько же, как если б и был возможным на практике, фабриканту никогда не понадобилось бы получать в продукте выручку за 500 фунтов, заплаченных за машину, потому что у него вечно цела сама машина, стоящая 500 фунтов; но попрежнему он должен получать прибыль на нее. Потому товар В, которому в прежнем примере приходилось продаваться за 1200 фунтов (чтобы 1000 фунтов шло на возвращение капитала, а 200 фунтов в прибыль), может теперь продаваться за 700 фунтов (500 фунтов надобно на возвращение рабочей платы, а 200 в прибыль на весь капитал). Таким образом, в ценности В прибыль составляет 200 фунтов из 700 фунтов, то есть две седьмых части, или $28\frac{2}{7}\%$, между тем как в ценности товара А, как мы видели, прибыль составляет лишь одну шестую долю, или $16\frac{2}{3}\%$. Разумеется, этот случай чисто идеальный, потому что никакая машина, никакая другая часть основного капитала не остается цела вечно; но чем больше в

них прочности, тем ближе подходят они к этому идеальному случаю, тем значительнее доля прибыли в выручке. Если, например, машина, стоящая 500 фунтов, теряет от годичной работы пятую часть ценности, то для вознаграждения этой потери должно прибавиться к выручке 100 фунтов и цена товара будет 800 фунтов. Тогда прибыль будет составлять 200 фунтов в 800 фунтах, или четвертую долю, что все еще гораздо более шестой доли, какую составляют в товаре А 200 фунтов в 1200 фунтах.

Из неравенства доли, которую в разных занятиях составляет прибыль в затратах капиталиста, а потому и в необходимом для него выручке, происходят относительно ценности два последствия. Первое из них то, что предметы обмениваются не по простой соразмерности количеств требующегося на их производство труда и даже не по той соразмерности, какая оказалась бы по расчету неравенств постоянного вознаграждения за разные разряды труда. Мы уже объяснили это примером вина; приведем еще пример — ценность товаров, производимых машинами. Возьмем попрежнему товар А, производимый расходом 1000 фунтов на непосредственный труд. Но вместо товара В, производимого непосредственным трудом в 500 фунт. и машиною в 500 фунт., возьмем товар С, производимый непосредственным трудом в 500 фунт., при помощи машины, произведенной также непосредственным трудом в 500 фунт.; положим, что нужен год на то, чтобы сделать эту машину, и что она изнашивается годичною работою, а прибыль попрежнему положим 20%. Товары А и С произведены одинаковыми количествами труда, получавшего одинаковую плату; расход прямого труда на товар А — 1000 фунтов; на С только 500 ф., но эта цифра доводится до 1000 ф. трудом, израсходованным на постройку машины. Если бы труд (или вознаграждение за труд) был единственным элементом стоимости производства, оба эти продукта обменивались бы друг на друга. Но так ли будет теперь? Разумеется, нет. Машина сделана в течение года расходом в 500 ф., а прибыль составляет 20%; потому естественная цена машины — 600 фунт.; таким образом выходит, что фабрикант С сделал сверх остальных своих расходов еще прибавочную затрату в 100 ф., которые должны выручаться ему с прибылью в 20%. Таким образом, товар С не может иметь постоянную цену меньше 1320 ф., между тем как товар А продается за 1200 ф.

Второе последствие — то, что от общего понижения или возвышения прибыли ценности изменяются неизбежно. Изменение состоит не в том, чтобы являлось в них общее возвышение или понижение (это, как мы уже часто говорили, логическая несообразность и невозможность), а в том, что изменяется доля ценности разных предметов, имея в себе долю прибыли за неодинаковые сроки времени, изменяется не в одинаковой пропорции. Если два предмета, произведенные равным количеством труда, имеют неодинаковую ценность оттого, что один должен давать прибыль за большее число лет или месяцев, чем другой, то эта разница ценностей увеличится при возвышении прибыли и уменьшится при ее понижении. Вино, которое должно давать прибыль за 5 лет больше, чем сукно, гораздо значительнее будет превосходить своею ценностью сукно при прибыли 40%, чем при прибыли в 20%. Товары А и С, произведенные одинаковыми количествами труда, продавались: один за 1200, другой за 1320 фунтов, — разница составляла 10%; а если прибыль уменьшится на половину, они будут продаваться: один за 1600, другой за 1155 фунтов, и разница будет только 5%.

Из этого следует, что даже и общее возвышение рабочей платы несколько изменяет ценности, если соединено с действительным увеличением стоимости труда. Оно изменяет их не так, как предполагают обыкновенно, — оно не возвышает все ценности. Но от увеличения стоимости труда понижается прибыль; потому понижается естественная ценность предметов, в ценности которых прибыль составляет долю больше средней, и возвышает ценность предметов, в которых прибыль составляет долю меньше средней. При понижении прибыли падает относительная ценность всех товаров, в производстве которых значительно участвуют машины (особенно, когда машины эти очень прочны), или, что то же самое, сравнительно с ними поднимается

ценность других предметов. Теорему эту выражают иногда так: от возвышения рабочей платы поднимается ценность предметов, производимых трудом, относительно предметов, производимых машинами. Такой способ выражения прост, но неправилен; предметы, производимые машинами, производятся трудом точно так же, как и другие предметы, именно тем трудом, которым производятся сами машины; разница лишь в том, что в производстве предметов, делаемых помощью машин, прибыль составляет несколько большую долю, хотя и тут главная статья расхода все-таки труд. Потому лучше представлять этот факт, как последствие упадка прибыли, чем как результат возвышения рабочей платы, тем более что последний способ выражения очень двусмыслен: он возбуждает вовсе не идущую сюда мысль о возвышении реального вознаграждения работника вместо идущей к делу мысли о возвышении стоимости труда хозяину.

Кроме естественных и необходимых элементов стоимости производства, — кроме труда и прибыли, — есть в ней другие элементы, искусственные и случайные, напр. налог. Налог на бумагу и на солод составляет часть стоимости производства этих товаров, наравне с рабочей платою. Расходы, налагаемые законом, подобно расходам, налагаемым сущностью дела, должны быть с обыкновенною прибылью вознаграждаемы ценностью продукта, или производство предметов прекратится. Но влияние налога на ценность подлежит тем же самым условиям, как влияние рабочей платы и прибыли. Влияние на ценность имеет не общая высота или низкость налога, а разница между его величинами. Если бы все продукты были обложены пошлинною, берушего равный процент из всех прибылей, отношение между ценностями нисколько не изменилось бы. Если подвергаются налогу лишь некоторые товары, ценность их поднимается; если остаются свободны от налога лишь некоторые предметы, ценность их падает. Если обложить налогом половину товара, а другую не облагать, первая половина поднимется, а вторая упадет, по взаимной оценке. Эти перемены ценностей необходимы для уравнивания вероятности прибыли во всех занятиях, без чего обложенные налогом занятия были бы, если не точчас, то через несколько времени, покинуты. Но общий налог, равно лежащий на всем и не изменяющий взаимного отношения продуктов, не может иметь никакого влияния на ценности.

До сих пор мы предполагали, что все силы и принадлежности, входящие в стоимость производства товаров, сами в своей ценности определяются стоимостью производства. Но иные из них принадлежат к разряду предметов, количество которых не может быть увеличиваемо по произволу и которые потому приобретают ценность недостачи, если запрос превышает известный размер. Для многих орнаментальных вещей, изготовляемых в Италии, материалами служат вещества, называющиеся *rosso*, *giallo* и *verde antico*, о которых, — не знаю, справедливо или нет, — утверждают, будто бы они могут добываться лишь из разрушения древних колонн и других орнаментов, потому будто бы, что каменоломни, из которых первоначально получены эти камни, уже истощены или затеряны. Если существует большой запрос на материал такого рода, он будет иметь ценность недостачи: она войдет в стоимость производства, стало быть, и в ценность изготовленного товара. Повидимому, близко время, когда ценность дорогих мехов подвергнется влиянию недостачи материала. До сих пор уменьшение числа пушных зверей, доставляющих эти меха, в пустынях Сибири и на берегах Эскимосского моря, действовало на ценность их лишь тем, что для получения известного количества этого товара становилось все больше и больше труда, — а употребляя больше труда, чем употребляется, конечно, еще можно было бы в течение некоторого времени добывать этих мехов больше, чем теперь.

Но главным образом увеличивается стоимость производства ценностью недостачи в предметах, производимых самою природою. Если силы ее, действующие в производстве, не обращены в частную собственность и могут быть в руках каждого желающего, они не входят в стоимость производства, а входит в нее лишь труд, какой понадобится на приспособление к делу. Если же они и обращены в частную собственность, то получают ценность,

как мы видели, не от самого этого факта, а лишь от недостатка их, то есть от ограниченности снабжения ими. Но то достоверно, что они часто имеют ценность недостатка. Предположим водопад в таком месте, где нужно больше мельниц, чем сколько могут снабдиться водою; пользование этим водопадом будет иметь ценность недостатка, а высота этой ценности будет такая, чтобы или запрос понизился до существующего снабжения, или чтобы оплачивалось создание искусственной силы, — паровой или какой-нибудь другой, — равняющейся своим действием силе воды.

Сила природы остается вечным имуществом и служит человеку лишь продуктами, производимыми постоянным ее занятием; потому обыкновенный способ получать выгоду от такой собственности — ежегодная уплата из продукта, получаемого от нее лицом, пользующимся ею. Эта уплата всегда может называться и обыкновенно называется рентою. Потому вопрос о влиянии, какое имеет на ценность обращение сил природы в частную собственность, часто поставляется в такой форме: входит ли рента в стоимость производства? Лучшие политико-экономы отвечают на него отрицательно. Такие безоговорочные теоремы очень соблазнительны даже для людей, замещающих издержки, с которыми должны приниматься подобные выражения; действительно, они напечатлевают общий принцип в уме тверже, чем когда бы он и в теории огорожен был всеми исключениями, являющимися в практике. Но с тем вместе они смущают, ведут к ошибкам и производят невыгодное для политической экономии впечатление, будто бы она пренебрегает очевидными фактами. Нельзя не согласиться, что иногда рента входит в стоимость производства. Если я покупаю или беру в аренду кусок земли и строю на нем суконную фабрику, рента этой земли действительно составляет часть издержек моего производства, издержек, которые должен уплатить продукт. А все фабрики строятся на земле и почти все строятся в местах, где земля особенно дорога, потому средняя величина ренты за землю должна вознаграждаться в ценностях всех предметов, производимых на фабриках. Но в каком смысле справедлива теорема, что рента не входит в стоимость производства и не имеет влияния на ценность земледельческого продукта, это мы увидим в следующей главе⁸⁰.

Из теоремы Мальтуса и теории ренты Рикардо мы знаем, что каждая прибавка к земледельческому продукту получается по большей стоимости производства, чем прежние части продукта, стало быть, и естественная или необходимая меновая ценность этой прибавки выше. Но высшая ценность сообщается и всем другим частям продукта, потому что, если необходимо одну четверть пшеницы продавать не ниже ценности 5, то нет препятствия брать также по 5 и за всякую другую четверть пшеницы того же сорта, хотя бы стоимость производства этой другой четверти была меньше. Таким образом, прежние части продукта, обходящиеся производителю дешевле последней, продаваясь по одной ценности с последнею, будут давать производителю лишнюю прибыль; эта лишняя прибыль передается под именем ренты землевладельцу силою соперничества между капиталистами, снимающими землю. Стало быть, рентою не повышается ценность продукта, определяемая стоимостью производства последней его части, не платящей ренты. — То же самое, что с земледельческим продуктом, бывает в этом отношении и со всеми товарами, количество которых может увеличиваться неопределенно, но с возвышением стоимости производства при каждом увеличении их количества. К этому разряду принадле-

жат все так называемые сырые или непереработанные продукты.

Мы сделали огромную выписку из Милля и, кроме некоторых маловажных замечаний относительно второстепенных подробностей, ровно ничего не можем сказать против изложенного им взгляда. Во всем, что мы слышали от него, надобно совершенно с ним согласиться. Но все ли мы слышали от него, что надобно знать о предмете?

Если вы читаете его с одною только мыслью — проверить, справедливо ли все, что он говорит, вы дойдете до конца его анализа, не заметив никаких ошибок в нем. Но если вы станете перечитывать те же страницы с другою, более широкою мыслью, — посмотреть, не остается ли пробелов в этом анализе, — вы будете шокированы некоторыми выражениями, прямо выдающими неполноту анализа. Довольно будет напомнить одно из них. Говоря о товарах, ценность которых определяется стоимостью производства, он замечает, что если при производстве данного количества такого товара эта естественная его ценность не соответствует уравнению запроса и снабжения, действующему тут через уравнение прибыли этого производства с другими производствами, то производство этого товара увеличивается или уменьшается соответственно уравнению прибыли. Совершенно так; но он прибавляет: «эти изменения в количестве производимого товара не требуют, чтобы кто-нибудь изменял свое занятие. Если дело идет очень хорошо, производство расширяется через усиленное пользование кредитом, а если производство идет дурно, оно уменьшается через уменьшение размера операций и уменьшение рабочего времени». Кто же теперь эти люди, из которых «никому» нет необходимости изменять прежнее занятие от перемены в размере производства? Существует суконная фабрика, занимающая 500 работников. Суконное дело идет очень прибыльно. Нет необходимости основываться новой фабрике, нет надобности делаться суконным фабрикантом капиталисту, занимавшемуся другим делом. Хозяин прежней фабрики расширяет ее операции; производит вдвое больше прежнего. Если дело идет неприбыльно, ему нет необходимости бросать свое занятие, — он только уменьшает свои операции, производит сукна вдвое меньше. Из капиталистов действительно «никому» нет необходимости переменять свое занятие от этих перемен. Если мы имеем в виду только капиталистов, Милль говорит совершенную правду. Но то ли дело с работниками? Если суконная фабрика вдвое увеличит свою фабрикации, она займет 1000 работников, вместо прежних 500, — прибавочные 500 работников перейдут на суконное производство от какого-нибудь другого занятия. Если она вдвое сократит производство, она займет только 250 работников, вместо прежних 500, — остальные 250 должны бросить суконное производство, обратиться к другому занятию. Стало быть, слова Милля к ра-

ботникам не прилагаются. Его «кто-нибудь» — только капиталисты. А работники у него — «никто». Об них он позабыл. Угодно ли вам прямое свидетельство, что это так? Вот, например, через несколько страниц он говорит: главный элемент стоимости производства — труд. «Если производителем мы станем считать капиталиста, делающего затраты, слово «труд» можно заменить словом «рабочая плата»; стоимость продукта производителю — количество рабочей платы, израсходованное им на продукт». — «Если, — если, то «да»; а «если нет», тогда что? Что тогда, это неизвестно. Милль забыл, что его «если» не имеет безусловного значения; ему не представляется надобности подумать о случаях, к которым не применялось бы это «если». Без капиталиста нет производства или по крайней мере нет такого производства, о котором стоило бы думать теории.

Да, весь анализ стоимости производства, прочтенный нами, замечает только капиталиста, который для него все, между прочим и истинный производитель; работники являются только принадлежностью капиталиста; стоит ли смотреть на дело по отношению к ним! Разумеется, не стоит, «если» капиталист — «производитель».

А если нет? Если нет, то анализ стоимости производства неполон, неполон и анализ меновой ценности. Мы видели, как подробно исследуются у Милля законы этой меновой ценности; целые две главы, приведенные нами, посвящены мануфактурным товарам; целая глава, из которой мы представили лишь краткое извлечение, посвящена земледельческому продукту; нашлось место сказать даже о «древних статуях»: видно, что очень полно перечисление товаров, когда не забыт даже такой маловажный в экономическом отношении товар. Но как же это мы ничего не видели о самом главном товаре, — о труде? Неужели о нем нет ничего у Милля? Как не быть! есть, именно вот что. В конце анализа меновой ценности товаров, количество которых не может быть увеличиваемо и которые прямо подлежат уравниванию снабжения и запроса, Милль говорит: «наконец есть товары, количество которых может увеличиваться или уменьшаться до значительной и даже неопределенной степени, но ценность которых всегда зависит исключительно от уравнивания запроса и снабжения. Таков в особенности товар, называемый трудом; о ценности его мы подробно говорили в предыдущей книге». Только и всего; далее ни слова о нем. Но ведь теория ренты Рикардо была также подробно изложена в предыдущей книге, а между тем нашел же Милль нужным посвятить вопросу о ренте еще новую главу в анализе меновой ценности. Почему же не понадобилось этого сделать относительно труда? Ясно почему: анализ ведется с точки зрения капиталиста; для капиталиста труд только — элемент стоимости про-

изводства; о стоимости производства сказано достаточно, следовательно, о труде толковать нечего.

Но если мы вспомним, что труд — единственный или важнейший товар для огромного большинства людей, то, вероятно, нелишним будет взглянуть на меновую его ценность повнимательнее.

Если не сделать коренного вопроса об этом странном товаре, то ничего особенного и нельзя будет сказать о его меновой ценности: товар — как товар; подчинен уравниванию снабжения и запроса, только и всего. Милль прав, что не распространяется об этом. Но коренной-то вопрос состоит в том: следует ли труду быть товаром, следует ли ему иметь меновую ценность?

Что такое — товар? Или продукт человека, или предмет природы, обращенный в частную собственность; в том и другом случае — нечто существующее отдельно от человека. А труд? что это такое? Тоже нечто существующее отдельно от человека? Нет, он больше ничего, как часть человеческого существа, никаким способом не могущая существовать отдельно от человека. Продаются перчатки для рук, но рука человека не продается; продается книга, но мозг писателя не бывает на рынке. То есть мы выражаемся неправильно: если писатель обязался за деньги писать все, что ему прикажут, то мозг его продается⁹⁰. Но ведь не говорится же, что этот писатель продал свой мозг, — говорится просто, что он продал себя. Точно так же продаются и руки человека: бразильский португалец, покупая негра, покупает собственно только руки этого негра. Итак, мозг и руки человека действительно продаются, только не иначе можно продать или купить их, как вместе с самим человеком. Точно так же и труд: продажа и покупка его — не иное что, как продажа и покупка человека. Если труд — товар, то это не может быть иначе, как если сам человек — товар. Следует ли человеку быть товаром, об этом можно думать различно; но политическая экономия утверждает, что не следует. А если так, то продажа и покупка труда противоречат основному требованию господствующей теории, и о меновой ценности труда говорит она не тем тоном, каким говорит о меновой ценности бразильских негров лишь потому, что забыла подумывать хорошенько об отношении труда к человеческому организму, о том, что труд — не предмет, отдельный от человека, то есть не такой предмет, который дозвоительно покупать и продавать, не такой предмет, которому следует иметь меновую ценность.

Законами стран, отвергнувших невольничество, воспрещается человеку продавать себя. Политическая экономия не находит, чтобы этим запрещением стеснялась свобода человека. Напротив, она только ограждает свободу человека от губительного действия его опрометчивости. Чем же отличается покупка

труда от покупки человека, воспрещенной законами этих стран? Только двумя обстоятельствами: во-первых, продолжительностью времени, на которое совершается продажа, во-вторых, степенью власти, какую дает над собою продающийся покупателю. Но очевидно, что то и другое различие — различие только количественное, а не качественное, только по степени, а не по основному характеру. И притом прямо так называемая покупка человека может принимать формы, ничем не отличающиеся от так называемой покупки труда и по этим обоим отношениям.

В странах, где существует невольничество, человек может продавать себя и не на всю жизнь, а только на известный срок, не в вечную, а во временную кабалу. Если работник запродаст свой труд на месяц или на неделю, то и в кабалу может он поступить только на месяц или на неделю; договор первого рода недозволителен в образованных государствах; зачем же называть дозволенным договор второго рода? «Но если договор о кабале может не отличаться от договора о продаже труда сроком, на который заключается, то очень значительное различие между ними по размеру власти, какую дает над собою продающий себя и продающий только свой труд». Конечно, кроме права требовать от невольника исполнения работы, невольничество обыкновенно дает господину право судить самому, исполняет ли невольник свои обязанности, и взыскивать за их неисполнение. Но это бывает только в грубейшей форме невольничества. В его смягченных формах судебная и исполнительная власть господина постепенно уменьшается [так что есть формы, в которых господину предоставляется только жаловаться на невольника]. Да и в тех формах, где господин сам бывает судьей и исполнителем, эта власть присвоивается ему только как второстепенная принадлежность главного права, — права требовать труда; присвоивается лишь для облегчения настоящих судей и администраторов. Если же они берут на себя из рук господина разбор его требований, они, конечно, облегчают положение невольника, но с тем вместе облегчают и господина, который все-таки остается господином. Сущность невольничества не в этой судебной и административной власти, а собственно в праве на труд. Мы вовсе не то говорим, что продажа труда равняется грубейшей форме невольничества; напротив, мы хотим только сказать, что она представляет существенное сходство с наиболее смягченными его формами, представляет собой как бы очищение невольничества от грубых его неудобств для самого господина, с сохранением основной черты его — власти частного человека над экономическими силами другого человека.

Юрист и администратор могут интересоваться разницею между покупкою труда и невольничеством; но политико-эконом,

[находящий сущность неволеничества в обязательном труде, бывает неверен самому себе, если находит существенно различными от неволеничества те договоры, по которым человек подчиняется обязанности трудиться на другого человека].

Можно спорить о том, удобоисполнимо или неудобоисполнимо в данном состоянии общества то или другое требование экономической или какой угодно другой науки. Есть политико-экономы, находящие, что в некоторых странах еще рано желать уничтожения неволеничества даже и в грубейшем его виде. Подобным образом, пожалуй, могут другие политико-экономы находить, что еще ни в одной из передовых стран не пришла пора заботиться об уничтожении последней формы неволеничества, называющейся покупкою труда. Это будет вопрос практики, а с практической стороны может ловкий диалектик очень благовидно защищать интересы, противные общему благу. [Но в отвлеченной теории ложь обнаруживается гораздо яснее. Для теории очевидно, что обязательный труд есть обязательный труд, каким бы способом ни возникало обязательство — взятием ли в плен на войне, покупкою ли человека на рынке или заключением с человеком договора о том, что он обязался работать на другого человека].

Мало ли что бывает товаром на практике, — бывает товаром и любовь, бывает товаром и труд. Но теория должна признавать обе эти функции человеческого организма предметами, составляющими неотчуждаемую собственность организма, такими принадлежностями его, власти над которыми сам человек не должен отнимать у себя, вроде того, как не может отказываться от права иметь свое мнение или действовать по собственному убеждению. Ум или совесть, чувства или честность, впечатлительность нерв, деятельность мускулов — все это такие вещи, которые принадлежат к порядку явлений, несовместному с понятием меновой ценности. Известное состояние или обнаружение этих качеств или деятельностей организма может приносить человеку и целому обществу экономическую пользу; но по своей натуре это — вещи непродажные, если непродажная вещь сам человек.

Конечно, не так легко дойти до понятия о непродажности труда, как до понятия о непродажности некоторых других функций человеческой жизни, как, например, совести или чувства. Но эта разница зависит лишь от особенностей быта, к которому мы привыкли. Были другие состояния общества, в которых дело это было ясно каждому. Свободный грек или римлянин считал наниматься в работу вещью такою же унизительною для себя, как теперь считается у нас поступать мужчине на содержание какой-нибудь капиталистки. Многие ошибочно думают, что в классическом мире считался унизителен для свободного человека самый труд. Нет, считался унизительным для

него только наемный труд. Много раз мы имели случай говорить, что трудность приобрести известное убеждение при данном состоянии общества нисколько не свидетельствует против этого убеждения, а свидетельствует только о неудовлетворительности быта, в котором трудно для человека признать известную истину.

Если же труд по своей неотделимости от самого человека не должен быть предметом покупки и продажи, то есть не должен иметь меновой ценности, то окажется недостаточно принимаемое господствующею теориею основание для определения стоимости производства других товаров. Действительно, мы видели, что она складывается из меновой ценности труда, употребленного на предмет, и прибыли на этот труд. Если один из этих двух элементов, и притом важнейший, не должен иметь меновой ценности, то чем же определится стоимость производства? Очевидно, что она должна получить какую-нибудь другую норму, и нетрудно увидеть, в чем будет состоять эта новая норма.

Мы нашли, что понятие труда не должно соединяться с понятием меновой ценности. Следовательно, от прежней нормы надобно отбросить понятие меновой ценности, и что тогда остается у нас? Остается только коренное понятие о количестве труда.

Не знаем, удалось ли нам изложить свой взгляд так ясно, чтобы читатель нашел излишними дальнейшие наши пояснения.

Приписывать труду меновую ценность значит сравнивать его с предметами, посторонними для человека. Положим, например, что четверть пшеницы мы оценим в 5 рабочих дней, имеющих по 12 часов. Это значит, что 60 часов человеческого труда мы ставим равными одной четверти пшеницы. Пусть читатель рассудит, годится ли ставить знак равенства между такими понятиями? Труд есть деятельность человеческого организма, не могущая быть подведена к одному знаменателю ни с чем иным, кроме деятельности того же организма. Мы все говорим, что, например, в известном человеке влечение к вину сильнее заботы о здоровье, в другом человеке эти две силы уравновешиваются, в третьем забота о здоровье сильнее. Что ж, подобные выражения правильны; тут сравниваются предметы одной и той же сферы понятий или явлений. Точно так же можно сравнивать между собою всякие другие наклонности или влечения, мотивы действий человека. Но ведь не сравниваем же мы пуд с саженью или свет с звуком; не говорим же мы, что два дюйма равны или не равны одному золотнику, а звук фортепьяна сильнее или слабее света стеариновой свечи.

Точно так же можно сравнивать между собою продукты труда; но нельзя сравнивать их с трудом; это — предметы несоизмеримые. Положим, что труд превращается в продукт,

но все-таки сравнивать их друг с другом точно так же не следует, как не следует звук фортепьяна сравнивать с деревом и железом, из которых возникает этот звук. Конечно, чем больше труда, тем больше продукта; конечно, чем лучше труд, тем лучше и продукт. Но точно так же, чем толще струна, тем сильнее звук, чем лучше металл и дерево, тем лучше звук. Мало ли какой предмет превращается в какой другой предмет или какое явление в другое явление, но, несмотря на происхождение одного из другого, все-таки нельзя же их сравнивать, если они совершенно разнородны.

Но если так, если труд и продукт — величины несоизмеримые, то какое же основание может быть найдено для экономического расчета? Надобно только вникнуть в способ, которым создается самое понятие меновой ценности продукта, чтобы заметить это основание.

Мы заметили, что предметы совершенно разнородные не могут быть сравниваемы между собою. Каким же образом подводятся под одну норму меновой ценности сукно и хлеб, дрова и картина? Мы знаем, что пропорция ценности их дается уравнением снабжения и запроса, или прямо или косвенно, через стоимость производства. Теперь, что же такое запрос, и что такое снабжение? Запрос — это известная энергия человеческих побуждений к приобретению предмета; снабжение — это известная энергия человеческих побуждений к производству предмета. Таким образом все сводится к одному общему знаменателю, — к энергии человеческих побуждений. Вот мы и нашли коренную норму всякого экономического расчета; она заключается в человеческих побуждениях, наклонностях и потребностях. Сообразно этому анализу уравнение запроса и снабжения обозначает ни больше, ни меньше, как тот факт, что сила побуждений к производству предмета бывает соразмерна силе побуждений к пользованию предметом. Чем сильнее у человека надобность в продукте или влечение к нему, тем сильнее человек и обращается к производству его. Только и всего. А этот факт известен каждому из ежедневного житейского опыта.

«Только-то!» — скажут в первую минуту рутинные политико-экономы: «стоило же толковать так долго, чтобы придти к такому выводу! Да ведь ваше открытие написано бывает в первых строках каждого курса нашей школы. Мы сами с того и начинаем, что основная пружина и коренная норма всех экономических явлений заключается в потребностях человека. Нечего сказать, сделали вы открытие». — Точно так; каждый курс политической экономии начинается с этой истины. Жаль только, что она в рутинных курсах не проникает дальше первого параграфа. Наше дело только в том и состоит, что мы не забываем этого основного принципа и стараемся возводить к нему каждый вопрос, между тем как рутинная школа совершенно забы-

вает о нем, заменяя его по каждому частному вопросу какою-нибудь рутинною иллюзией.

«Но позвольте, однако», — говорят через несколько времени рутинные политико-экономы: «мы обманулись на первый взгляд, подумав, будто ничего важного не следует из ваших рассуждений о человеческих потребностях, по поводу вопроса о меновой ценности. Нет, следует из этого, что вы хотите отрицать меновую ценность. Как же это можно! Ведь от этого вся наука рухнет!» — Отрицать меновую ценность не мы хотим, а хочет тот самый принцип, который провозглашают основным началом политической экономии сами последователи рутинной школы. Наука от этого не разрушается, а только исправляются те погрешности в ней, которые произошли от забвения об основной идее при разборе частного вопроса. А «как это можно», то есть как можно исправить эти погрешности, — мы сейчас увидим.

Через подведение частного вопроса о меновой ценности под основную идею всей экономической науки понятие меновой ценности превращается в понятие внутренней ценности. Действительно, измерение ценности потребностями человека дает норму уже вовсе не меновой, а внутренней ценности. Мы видим, что по сущности дела меновая ценность должна совпадать с внутреннею и отклоняется от нее только вследствие ошибочного признания труда за товар, которым труду никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую ценность от внутренней свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними. Теория должна смотреть на раздельность меновой ценности от внутренней точно так же, как смотрит на невольничество, монополию, протекционизм. Она может и должна изучать эти явления со всевозможною подробностью, но не должна забывать, что она тут описывает отклонения от [разумного и выгодного] порядка. Она может находить, что устранение того или другого из этих [нездоровых] феноменов экономической жизни потребует очень долгого времени и очень значительных усилий; но как бы далек ни представлялся ей срок излечения той или другой экономической болезни, не должна же она не представлять, каково должно быть здоровое положение вещей. [Ведь, например, ни один рассудительный политико-эконом во Франции не надеется же, что завтра или послезавтра откажется его страна от всяких таможенных пошлин; но все-таки говорит же он, что принцип свободной торговли — единственный принцип, допускаемый его теориею, и разъясняет же он действия этого принципа, хотя и знает, что сам не дожидется полного применения его к французской жизни].

Точно так и мы говорим об отделении меновой ценности от внутренней, как о феномене болезненном, отвергаемом теориею.

Легко ли и скоро ли вполне избавиться от него действительная жизнь, — это другой вопрос [и если справедливо то мнение, что наука имеет влияние на жизнь, то нельзя не думать, что распространение здравых понятий об этом предмете должно помогать практическому исполнению дел, а поддержка рутинного заблуждения самими теоретиками задерживает ход прогресса]. Если кто-нибудь говорит, что, например, чесотка — такая болезнь, которая собственно не должна была бы существовать, которая неизбежно исчезнет при известных благоприятных переменах в быте сословий, ныне подвергающихся ей, следует ли порицать его за непрактичность? А впрочем, судите как хотите о практичности или непрактичности его мыслей, но что ж ему делать с своими мыслями, когда они кажутся ему справедливыми? Неужели скрывать их из опасения показаться утопистом?

Скоро ли могут произойти в быте и привычках какой-нибудь нации такие перемены, после которых труд перестанет быть товаром и меновая ценность совпадет с внутренней, — это вопрос о будущем, историю которого с обозначением годов мы не беремся рассказывать. [Довольно того, если мы знаем, к чему идут вещи, и к чему раньше или позднее они придут]. Мы видим, что прогресс ведет к уничтожению невольничества; что в передовых странах он уже давно устранил грубейшие его формы и постепенно устраняет остатки его, продолжающие существовать в смягченных формах⁹¹. Сам человек перестал быть товаром в некоторых странах; понемногу перестает быть им и в других; надобно думать, что со временем перестанет быть товаром и труд.

Надобно ли говорить о том, какое влияние на экономическую жизнь окажет слияние меновой ценности с внутренней, — слияние, которое возникнет из того, что труд перестанет быть товаром? Мы видели, каким запутанным способом устанавливается меновая ценность при своей отдельности от внутренней. Действие человеческих потребностей организма тут затемняется и спутывается многосложностью форм, через которые идет к своему результату, так что не только жизнь, но и сама теория теряет из виду эту первоначальную силу, прячущуюся в денежных ценах с их колебаниями. Если же дело упрощается чрез его подведение под закон внутренней ценности, то есть прямо под расчет человеческих потребностей, то гораздо легче становится различать в экономической жизни нужное от ненужного, убыточное от выгодного, или, что то же самое — глупое от умного, безрассудное от рассудительного.

Берем в пример хотя бы город Париж. В нем в 1859 году было 1 500 129, — положим, 1 500 000 жителей. Предположим, что у каждого из них есть желудок, требующий пищи (может быть, это предположение ошибочно, но мы и не выдаем его за

факт, а приводим только как гипотезу). Предположим, что из этих 1 500 000 человек у 1 миллиона потребность желудка в пище удовлетворяется плохо. Прекрасно (то есть очень дурно), что же делают эти миллион человек? Они очень усердно работают. Над чем же это они работают? — Они делают фортепьяны, бронзовые вещи, духи, помаду и т. д. и т. д. Умно или нет употребляют они свои силы? Начинаете вы разбирать дело по механизму меновой ценности в ее отдельности от внутренней, — и начинает мелькать перед вашими глазами такой бесконечный ряд продаж и покупок (из которых каждая очень выгодна сама по себе), что вы считаете, пока достаёт у вас охоты, и все-таки до конца не досчитываетесь, и в утомлении восклицаете: «должно быть, что все это очень умно и выгодно!» Не можете досчитаться ни до чего ясного вы, человек начитанный, может быть, ученый, — где же тут досчитаться до настоящего баланса этим беднякам-парижанам? Вообразите себе, вот этот парижанин работает у знаменитого Эрара; за свою работу получает он деньги. Эрар отправляет рояль в Казань; из Казани за него отправляется сало в Лондон; из Лондона стеариновые свечи едут в Шеффилд, где покупаются за них бритвы; бритвы эти идут в Нью-Йорк; из Нью-Йорка идет за них хлопчатая бумага в Ливерпуль и т. д. и т. д., — и каждая сделка выгодна. Восторг, восторг! Только позвольте вас спросить; что же наконец, каким образом выросла из работы эрарова работника та говядина или пшеница, которая нужна ему и выросла ли она из его работы? Конечно, говорите вы; потому что он не остается без пищи. Следовательно, так или иначе, его работа над роялем произрастила пшеницу. Может быть, по вашей догадке так и выходит (ведь вы только догадываетесь, вы не проследили до конца, вы не можете проследить до конца ряд обменов, начинающихся этим роялем, вы не знаете, как обратился этот рояль в пшеницу, вам только угодно предполагать, что он обратился в нее); а если вы, оставив восхищение рядом обменов, проследить которого вы не можете по его запутанности, который, быть может, и обманывает вас, — если вы потрудитесь обратиться от этого механизма обменов к простой сущности дела, то найдете ли вы правдоподобным, что из эрарова рояля вырастает пшеница? Если этот рояль сжечь и обратить его пепел на удобрение, то, без сомнения, из него вырастает пшеница; кроме этого способа я не вижу других способов сделать этот рояль полезным для желудка.

«Софизмы наглого невежества!» воскликнет рутинный политико-эконом: работник, сделавший фортепьяно, произвел своим трудом пшеницу, потому что не остается же он без пищи». — Вот в том-то и дело, что вовсе не произвел: пшеница, которую он потребляет, просто взята у другого для отдачи ему; количество хлеба, произведенное одним, делится на

двух, — вот почему недостает продовольствия ни тому, ни другому; вот почему плох стол и у парижского работника, делающего рояль, и у нормандского землепашца, который кормит этого работника. — «Нет, это не так», продолжает рутинный политико-эконом: «у некоторых лиц есть излишек хлеба; эти лица покупают рояли, то есть отдают часть своего хлеба работникам, делающим рояли; кто покупает рояль, тот не терпит нужды в продовольствии, он не отнимает у себя нужного хлеба; прокормление эрарова работника берется из излишка хлеба». — Пусть берется он из излишка других; пусть покупатель рояля не терпит нужды в продовольствии; но эраров работник терпит ее, стало быть, если не для чьего-нибудь другого, то для его собственного продовольствия невыгодно то, что он получает от других, а не сам производит его. Если известное дело не дает хорошего прокормления, то выгодное ли это дело? Бродя по бесконечной цепи обменов, вы теряетесь в многосложной путанице их; но приведите вопрос к простейшему виду, к тому факту, что у эрарова работника плохое продовольствие, и вы сознаетесь, что этому работнику следовало бы заботиться о производстве хлеба, в котором нуждается, а не о производстве роялей, которые ему не нужны и которыми он не пользуется. Рутинные политико-экономы любят твердить афоризмы вроде следующих: *laissez faire, laissez passer*, «свобода деятельности», — *chacun chez soi, chacun pour soi**, «каждый заботься о самом себе» и т. д., в этом роде; они воображают, что этими афоризмами очень крепко защищается их система. Напротив, стоит только покрепче взяться за любой из таких афоризмов, и окажется, что каждым из них разбивается система, в защиту которой он придуман. Об афоризме: *laissez faire, laissez passer* мы поговорим с этой стороны когда-нибудь в другой раз, а теперь возьмемся за афоризм: *chacun chez soi, chacun pour soi*. Точный смысл его в устах рутинных политико-экономов: «каждый пусть будет полным хозяином в своих делах, каждый пусть работает на себя». Что ж, по нашему мнению, это превосходный поступают, мы принимаем его вполне, — только принимаем уже на самом деле, уже серьезно, чтоб он был не пустым звуком, произносимым и забываемым по произволу, а прочным критерием экономических дел. — «Каждый пусть будет полным хозяином в своих делах», *chacun chez soi*, — ну вот этого мы именно и добиваемся: каждый пусть будет хозяином; а наемный работник какой же хозяин? — Каждый пусть работает на себя, *chacun pour soi*, — отлично как раз идет к предмету нынешней нашей речи. Да, пусть каждый работает на себя. Стало быть, кому нужен рояль, тот пусть сам и делает рояль. Разумеется, люди сходного положения, с одинаковыми надобностями, могут

* Дословно — каждый у себя, каждый для себя. — Ред.

обмениваться своими однородными продуктами; мне нужен рояль, нужна коляска, нужны золотые часы; вам тоже нужны все эти предметы; нашему с вами приятелю г. Пеночкину также нужны все эти вещи; что ж, согласно принципу разделения труда, мы можем заняться каждый одним делом; я буду делать рояли, вы коляски, г. Пеночкин золотые часы, и каждый из нас посредством обмена будет снабжать своим продуктом двух остальных. Наши продукты и потребности однородны. Но в какой обмен мы, порядочные люди изящных потребностей, вступим с Пантелеями, Сидорами, Прокофьями, Кондратьями? Какую компанию нам могут составлять эти необтесанные мужики? Прилично ли красоваться золотым часам на зипуне Захара? Какую фигуру представила бы развезжающая в коляске Матрена, законная супружница Макара? Не смешна ли была бы за роялем Дементьева дочь Ульяна? Не к лицу им наши с вами прекрасные занятия и милые вещи. Да они и не нужны им. Чем же мы будем с ними обмениваться? Наши продукты не нужны им. Они — грубые обжоры, все думают о еде (и какое количество ржаного хлеба может поглотить каждый из них, если станет есть досыта, — это ужасно! Мы все втроем: я, вы и г. Пеночкин — не можем скушать столько, сколько съест один Потап), — все только и думают о еде. Я, как порядочный человек, с надлежащим презрением к ним восклицаю: «*chacun pour soi!*» — я, порядочный человек, буду делать для себя и для вас, порядочных людей, рояли и не стану ничего брать у этих людей, не давая им ничего из своих прекрасных продуктов. Пусть обходятся без меня, как знают, а мне, порядочному человеку, стыдно и думать, что я могу нуждаться в них. Так ли?

Если меновая ценность должна совпадать с внутренней, а внутренняя ценность измеряется потребностями человека, то нетрудно дойти до следующих выводов:

Соразмеряться между собою прямым образом могут только потребности однородные, — например, разные виды потребностей, относящихся к физическому благосостоянию организма. Потому должны иметь меновую ценность относительно друг друга предметы первой необходимости. Но не должны быть сравниваемы прямо между собою потребности совершенно разнородные. Например, как вы станете определять отношения между потребностью еды и потребностью чтения, или между потребностями в обуви и музыке? Потому и продукты, удовлетворяющие разнородным потребностям, прямо не должны иметь меновой ценности относительно друг друга. Во сколько раз меньше или больше, чем сапоги, нужна человеку скрипка? Во сколько раз меньше или больше, чем жилище, нужна ему бронза? Это вещи несоразмеримые прямым образом.

Итак, во-первых, является у нас по вопросу о ценности классификация потребностей — с экономической точки зрения они

делятся на потребности материального благосостояния, потребности умственной деятельности и эстетического наслаждения. Каждый из этих трех разрядов потребностей имеет свои особенные свойства, особенным образом, видоизменяющие норму для оценки предметов, удовлетворяющих им.

Потребности эстетического наслаждения никак не могут уже и сами по себе идти в сравнение с потребностями материального благосостояния. Наслаждаться чем-нибудь изящным удобно человеку лишь тогда, когда его материальные потребности удовлетворены. Выражаясь, быть может, слишком сурово, но совершенно верно, надобно сказать, что эстетическое наслаждение годится собственно лишь на то время, которого уже ни на что другое неспособен человек употребить или по отсутствию всяких надобностей, или по истощению сил предшествующим трудом; оно всегда бывает или отдыхом или праздностью. Но отдых и праздность, конечно, не должны иметь меновой ценности. Потому не следует иметь ее и предметам эстетического наслаждения. Разумеется, мы очень хорошо знаем, что они имеют ее теперь; за вход в театр собирается плата, картина или статуя продается. Но мы говорим, что этим оскорбляется самая природа подобных вещей. Красота и изящество не должны иметь никакой цены, — если эта фраза покажется вам жестка для этих уважаемых вами предметов, можете выразить тот же принцип самым лестным для них образом: они бесценны или неоцененны. Ставьте их несравненно ниже или несравненно выше предметов, нужных для физического благосостояния, это как вы хотите; но сравнения между ними нет никакого. Точно то же вы должны будете сказать, если от потребностей, которым они удовлетворяют, вы обратитесь к способу их происхождения. Один из них производится самою природою, без человеческого усилия, как, например, красота природы и человеческая красота. Для произведения других нужна специальная, преднамеренная деятельность человека; таковы танцы, драматические представления, картины; но деятельность, их производящая, не может быть названа трудом в экономическом смысле слова; она сама по себе уже составляет наслаждение для занимающегося ею; она принадлежит к тому разряду деятельностей, к которому принадлежит принятие пищи или любовь. Вознаграждение за такие деятельности не должно состоять в чем-нибудь внешнем, они по своей сущности отвергают всякую идею о вознаграждении. Кто декламирует или играет на скрипке, сам наслаждается своею декламациею или игрою, — которая по-настоящему и хороша бывает, которая по-настоящему и для других может служить источником наслаждения лишь тогда, когда служит наслаждением для де-

кламирующего или играющего *. Потому деятельность, производящая предметы эстетического наслаждения, не должна иметь никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия, чувствуемого занимающимся ею человеком. О меновой ценности не должно быть тут никакого помина и с этой стороны.

Точно так же не должна иметь меновой ценности и та умственная деятельность, которая имеет своим результатом развитие самого человека, ею занимающегося, а источником своим имеет потребность узнать истину. Сюда принадлежит, во-первых, всякая ученая деятельность; во-вторых, деятельность учащегося. Учащийся должен по-настоящему учиться только из желания выучиться, из потребности знания. Точно так же ученый должен заниматься наукою только из желания овладеть ею или двинуть ее вперед. Самая успешность в том и другом случае бывает соразмерна преобладанию этой, так сказать, самонаслаждающейся любви к делу над всякими другими расчетами.

Но есть умственная деятельность другого рода, составляющая не самонаслаждение, а жертву для занимающегося ею. Это деятельность педагогическая. Конечно, воспитатель или учитель бывает хорош лишь тогда, когда занимается своим делом усердно, добросовестно; а для этого нужна и некоторая привязанность к делу. Но и по своему внутреннему характеру и по своему отношению к другим чувствам этого человека такая привязанность ничем не отличается от привязанности всякого порядочного работника, плотника или ткача к ремеслу; ведь и каменщик должен любить свое дело, заниматься им усердно и добросовестно. Эта привязанность — просто привязанность честного человека к исполнению принятого на себя долга. Она возникает только из нежелания быть обманщиком и сознания о полезности данного дела. Это — далеко еще не такое чувство, как органическая потребность заниматься именно известным предметом, — потребность, которая создает и живописца, и актера, и ученого, — не такая потребность, которая принадлежит к деятельности, противоположным понятию внешнего вознаграждения. Педагог — такой же чернорабочий, как землекоп или портной. Его труд должен иметь экономическую ценность.

Но лишь в некоторых частных случаях эта экономическая ценность педагогического труда может прямо соразмеряться с ценностью труда, производящего внешние предметы. Это надобно сказать о ремесленном или вообще техническом обучении. Обучение плотничеству приносит лишь ту пользу, что делает человека способным успешнее производить внешние предметы,

* Если вы замечаете, что актер играет не по влечению природы, а только по найму, его игра уже отвратительна для вас.

ценностью которых может определиться ценность обучения. Но совершенно иное дело — то воспитание или обучение, которое развивает умственные или нравственные достоинства человека, окончательный продукт которого не предмет, посторонний человеку, а сам человек. Этим делом удовлетворяются надобности совершенно иного рода, чем надобность в домах или стульях, в сапогах или рубашках. Прямой соразмерности нельзя тут найти, и педагогический труд общего нравственного или научного воспитания не может быть оценен сравнительно с трудом, производящим внешние предметы.

Что касается этого труда, разные отрасли его имеют общую норму, потому что предметы, им производимые, имея одно общее назначение, находят меру своей ценности в том, насколько каждый из них нужен для этого общего результата. В предыдущих статьях мы уже имели случай рассматривать классификацию этих предметов и потребностей. Мы говорили о предметах первой необходимости, предметах комфорта и предметах роскоши; мы говорили о потребностях основательных и неосновательных при данном положении дел, о производстве выгодном и производстве убыточном.

Необходимость бесконечно сильнее комфорта, а роскошь ничтожна пред комфортом. Если у человека нет сапог, перчатки бесполезны ему; если у человека нет перчаток, ему бесполезны перстни, — наше выражение соответствует господствующей терминологии, основанной на понятии обмена, а не на понятии потребления или пользования; по ней следует сказать так: если человек, имеющий перстни, не имеет перчаток, рассудительность требует, чтобы он продал перстень для покупки перчаток; если он, не имея сапог, имеет перчатки, ему следует продать перчатки, чтобы купить сапоги. Но господствующая терминология в этом случае не удовлетворяет двум коренным приемам метода политической экономии. Первый из этих приемов состоит в том, чтобы рассматривать не готовый, не подвижный факт, а силы, производящие этот факт; рассматривать продукты не как произведенные, а как производимые (оно действительно так и следует, потому что масса существующих продуктов всегда незначительна перед массой продуктов, требуемых постоянным потреблением общества: земледельческий продукт производится только на один год, запас других продуктов еще меньше). Другой коренной прием науки состоит в том, чтобы рассматривать каждое данное положение экономических сил или фактов как самостоятельное целое, не спутывая его с посторонними делу феноменами. Сообразно этим приемам, должны мы взять отдельного человека или целое общество как самостоятельную единицу, производящую предметы своего потребления. В настоящем случае мы имеем три предмета: сапоги (предмет необходимости), перчатки (предмет ком-

форта) и перстни (предмет роскоши). Рассматривая вопрос о них по изложенным нами приемам, мы так и должны будем сказать, как выразились в самом начале: пока нет сапог, бесполезны перчатки; пока нет перчаток, бесполезны перстни, или: не имея сапог, нельзя заниматься производством перчаток, не имея перчаток, нельзя заниматься производством перстней. А что бесполезно, то не имеет ценности.

Таким образом, мы видим следующее отношение между предметами необходимости, комфорта и роскоши: пока нет достаточного количества предметов необходимости, не должны иметь никакой ценности предметы комфорта; когда нет достаточного количества предметов комфорта, не должны иметь никакой ценности предметы роскоши.

[Пусть не останавливают нас напоминаниями о том, что действительность не соответствует излагаемым нами принципам, — вероятно, мы сами очень хорошо это помним, когда все только к тому и говорим, чтобы обнаружить это несоответствие действительного положения с надлежащим положением].

Теперь: по какой же норме должно устанавливаться отношение между ценностью предметов необходимости и предметов комфорта или роскоши? — Увидеть это очень просто.

Предположим, как уж несколько раз предполагали в предыдущих статьях, семейство, состоящее, например, из 20 человек, сумма труда которых равна труду 10 работников. Полагая в год по 300 рабочих дней, мы будем иметь 3 000 рабочих дней. Предположим, что все предметы необходимости подведены под следующие четыре разряда:

1) Пища, переведенная в счет на пшеницу; пшеницы нужно семейству в год 60 четвертей; это количество производится трудом 1 500 рабочих дней.

2) Одежда, переведенная в счет на аршины сукна; его нужно в год 100 аршин; они добываются трудом 500 дней.

3) Топливо, в кубических саженьях дров; нужно 10 саженьей, добываемых трудом 500 дней.

4) Жилище с принадлежностями, переведенное на счет тысяч кирпича; нужно в год 5 тысяч, добываемых трудом 500 дней.

Все 3 000 дней идут на эти предметы необходимости; предметов комфорта некогда производить; они не имеют никакой ценности, потому что не существуют. Угодно ли вам знать ценность предметов необходимости? Вы видите сами, как она определяется:

Четверть пшеницы	стоит	$(1500 : 60) = 25$	раб. дней
Аршин сукна	»	$(500 : 100) = 5$	» »
Кубич. саж. дров	»	$(500 : 10) = 50$	» »
Тысяча кирпича	»	$(500 : 5) = 100$	» »

Предположим теперь, что благодаря усовершенствованиям предметы необходимости стали производиться количеством труда, меньшим прежнего на одну пятую долю. Из 3 000 рабочих дней, на эти предметы стало нужно только 2 400; остальные 600 дней могут (и почему же теперь не должны?) употребляться на предметы комфорта. Подведем их для краткости под один разряд хорошей мебели, переложенной в счет диванов, положим, что диван производится 60 днями работы; счет ценностей будет:

Четверть пшеницы	20
Аршин сукна	4
Куб. саж. дров	40
Тысяча кирпича	80
Диван	60

Предположим новые усовершенствования, уменьшившие труд производства еще на четвертую долю этого количества; остается опять 600 свободных рабочих дней. На что употребить их? Достаточно ли было прежнее количество предметов комфорта? Положим, что нет, что вместе 10 диванов нужно было для полного удобства 20 диванов. Тогда мы будем иметь:

	Нужное количество	Ценность	Итого
Пшеница	60	15	900
Сукно	100	3	300
Дрова	10	30	300
Кирпич	5	60	300
Диваны	20	45	900

Итого 2 700

Остается 300 свободных дней. Их можно употребить на предметы роскоши, которые все сведем к счету на бархат. Аршин бархату производится в 5 рабочих дней; его ценность 5.

«Послушайте, однако, ведь вы не говорите ровно ничего нового», замечают рутинные политико-экономы: «по нашей теории ценность точно так же определяется стоимостью производства». — Тем лучше, если так. Разница действительно заключается только в одном обстоятельстве: какие предметы служат регуляторами общего количества ценности, принадлежащей всему производимому количеству предметов каждого разряда. Разница только в количестве, в каком производятся предметы того или другого разряда, как распределяются рабочие силы. У нас последний счет выходил, например, так (А):

Пшеница	900	=	60 четв.	по 15
Сукно	300	=	100 арш.	» 3
Дрова	300	=	10 куб. саж.	» 30
Кирпич	300	=	25 тыс.	» 12
Диваны	900	=	20 штук	» 45
Бархат	300	=	60 арш.	» 5

3 000

А вместо этого, при точно таком же состоянии производительных искусств, иначе сказать, при той же стоимости производства, суммы ценностей могут являться совершенно иные; на пример (В):

Пшеница	720	=	48 четв.	по 15
Сукно	240	=	80 арш.	» 3
Дрова	240	=	8 куб. саж.	» 30
Кирпич	240	=	20 тыс.	» 12
Диваны	900	=	20 штук	» 45
Бархат	760	=	152 арш.	» 5

3 000

Общество В по своему экономическому быту очень различно от общества А, хотя и ценности товаров и стоимость их производства в обоих обществах одинаковы. Разница зависит не от количества населения и не от состояния технических искусств, — эти элементы также одинаковы по нашему предположению об одинаковом состоянии производительных сил, — нет, разница происходит от неодинакового распределения производительных сил между разными занятиями.

Чем же определяется то или другое распределение сил между разными занятиями? При системе производства, основанной прямо на потребностях производителя, или при производстве для личного потребления этот элемент, конечно, определяется прямо потребностями производителя. При системе производства, основанной на обмене, или при производстве на продажу распределение производительных сил между разными занятиями определяется распределением покупательной силы в обществе. Следующая статья наша будет рассматривать свойства покупательной силы при нынешнем устройстве общества. А теперь скажем несколько слов о свойствах той системы производства, которая основывалась бы прямо на потребностях производителя.

Во-первых, бесспорное дело то, что при непосредственной связи между двумя элементами они определяются друг другом гораздо точнее, чем при отношении косвенном, при котором влияние одного элемента на другой оказывается только через длинный ряд посредствующих элементов. Например, ваши мысли будут гораздо точнее известны другому человеку в том случае, когда вы прямо говорите с ним самим, чем в том случае, когда

они доходят от вас до него по слухам, то есть чрез множество посредников. Точно так же вы гораздо точнее установите ваши часы по хронометру главного штаба в том случае, если будете устанавливать их прямо по нему, чем когда сделаете это по часам какого-нибудь встречного человека, у которого часы, впрочем, также находятся в более или менее тесной связи с хронометром, служащим для регулирования хода всех часов в Петербурге. Точно так же характер и количество продукта будут гораздо точнее соответствовать потребностям потребителя в том случае, если производство определяется прямо этими потребностями, чем в том случае, когда это соответствие устанавливается лишь длинным косвенным путем обмена.

Но производство определяется прямо потребностями самого производителя лишь в том случае, когда потребителем бывает сам производитель. При неразвитом состоянии производительных искусств маленькое семейное хозяйство может служить единичною производств. Но по мере усовершенствования техники, с принципом разделения труда исчезает эта возможность для маленькой производительной единицы, каково семейство; производительная единица должна возрастать соответственно прогрессу разделения труда.

Вероятно, не мешает сделать еще одно замечание. Мы говорим вовсе не против обмена продуктов между единицами производительного хозяйства. Как не быть и зачем не быть между ними обмену? Ведь происходит же обмен продуктов и между целыми странами, — тем больше в нем надобности и удобства между отдельными провинциями, городами, селами. Но количество продуктов, посылаемое страной в обмен за границу, или получаемое в обмен из-за границы, составляет лишь меньшую половину и вообще лишь незначительную долю в общей массе потребления и производства страны⁹². Главная масса ее продуктов производится для внутреннего потребления. Только вот об этом мы говорим и по отношению к производительным единицам. Теория требует, чтобы в каждой группе производителей главная масса продуктов производилась на внутреннее потребление самой этой группы; а если затем некоторая часть продукта обменивается, это ничему не мешает, — напротив, может быть очень полезно.

В заключение своего анализа теории ценности Милль представляет краткий перечень главных результатов этого исследования:

I. Ценность есть явление относительное. Ценность предмета — это значит количество какого-нибудь другого предмета или количество предметов вообще, за какое он обменивается. Потому ценности всех предметов не могут одновременно ни подниматься, ни падать. Общее возвышение или понижение ценностей — дело невозможное. Всякое возвышение известной ценности связано с упадком другой ценности, и наоборот.

II. Временная или рыночная ценность предмета определяется уравне-

нием запроса и снабжения, поднимаясь при возвышении запроса, падая при возвышении снабжения. Но запрос изменяется вместе с ценностью, вообще становясь при дешевизне предмета больше, чем бывает при дороговизне его; и ценность всегда приспосабливается к этому так, что запрос бывает равен снабжению.

III. Кроме временной ценности, предметы имеют постоянную или, можно сказать, естественную ценность, к которой постоянно стремится возвратиться рыночная ценность после каждого колебания; и эти колебания взаимно вознаграждаются, так что в среднем выводе товары обмениваются приблизительно по своей естественной ценности.

IV. Естественная ценность некоторых предметов — ценность недостачи; но огромное большинство предметов естественно обменивается друг на друга пропорционально стоимости самого производства или по ценности, которую можно назвать ценностью стоимости.

V. Предметы, естественно и постоянно имеющие ценность недостачи, — те предметы, снабжение которыми или вовсе не может быть увеличено, или не может быть увеличено до количества, достаточного на удовлетворение всего запроса, какой существовал бы на них по ценности их стоимости.

VI. Монопольная ценность значит ценность недостачи. Монополия может придавать ценность предмету лишь ограничением его снабжения.

VII. Каждый товар, снабжение которым может неограниченно увеличиваться через труд и капитал, обменивается за другие предметы пропорционально стоимости производства и доставки на рынок той части требуемого снабжения, которая обходится по наибольшей стоимости. Естественная ценность равнозначительна с ценностью стоимости, а ценность стоимости предмета значит ценность стоимости той части предмета, стоимость которой наиболее велика.

VIII. Стоимость производства состоит из нескольких элементов, между которыми одни постоянны и всеобщы, другие случайны. Всеобщие элементы стоимости производства — рабочая плата за труд и прибыль на капитал. Случайные элементы — налоги и всякая лишняя стоимость, производимая ценностью недостачи каких-нибудь принадлежностей производства.

IX. Рента не составляет элемента в стоимости производства товара, дающего ее; исключением служат лишь случаи (не столько действительные, сколько возможные в отвлеченной теории), когда рента бывает результатом и представительницею ценности недостачи. Но если земля, способная давать ренту в земледелии, употребляется на другое назначение, — рента, которую давала бы она, составляет элемент стоимости производства того товара, на производство которого обращена земля.

X. Если оставить в стороне случайные элементы ценности, то предметы, количество которых может возрасти неопределенно, естественным и постоянным образом обмениваются друг на друга по пропорции количества рабочей платы, какую надобно употребить на их производство, и количеству прибыли, какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату.

XI. Пропорция между количествами рабочей платы не зависит от безотносительной величины рабочей платы. Высокость рабочей платы не возвышает ценностей, низкость ее не понижает их. Пропорция между количествами рабочей платы определяется отчасти пропорциею между количествами требуемого труда и отчасти пропорциею величин вознаграждения за него.

XII. Точно таким же образом относительная доля прибыли определяется не безусловною величиною прибыли: высокий или низкий процент прибыли ни возвышает, ни понижает ценностей. Относительная доля прибыли определяется отчасти относительно продолжительностью времени, на какое занят капитал производством, отчасти относительно величиною прибыли в разных занятиях.

XIII. Если два предмета производятся одинаковым количеством труда, получающего одинаковую плату, и если рабочая плата должна затрачиваться в них на одинаковое время, а сущность занятия не требует постоянной разницы между ними в проценте прибыли, то эти два предмета будут, в среднем

выводе, обмениваться ровно друг за друга, все равно высока или низка будет рабочая плата и прибыль, и велико или мало количество расходуемого труда.

XIV. Если в среднем числе один предмет имеет ценность больше другого, причиною тому должно служить то, что на его производство требуется или большее количество труда, или сорт труда, постоянно получающий высшую пропорцию платы, или что на более долгий срок надобно затрачивать капитал или часть капитала для содержания этого труда, или, наконец, производство сопровождается обстоятельствами, требующими для своего уравнивания постоянный, более высокий процент прибыли.

XV. Из этих элементов самый важный — количество труда, нужного на производство; влияние других элементов не так велико, хотя каждый из них немаловажен.

XVI. Чем ниже прибыль, тем слабее становится влияние второстепенных элементов стоимости производства и тем меньше отклоняются товары от ценности, пропорциональной количеству и качеству нужного на их производство труда.

XVII. Но всякое понижение прибыли несколько понижает ценность стоимости предметов, в выделке которых много участвуют машины или участвуют прочные машины, и возвышает ценность предметов, производимых ручным трудом; а возвышение прибыли действует наоборот⁹³.

Все эти выводы совершенно верны; но читатель видит, что нам теперь можно дополнить их еще несколькими другими выводами, не менее важными.

XVIII. Все предшествующие выводы относятся исключительно к меновой ценности. Она отделяется от внутренней, когда бывает товаром человеческий труд, [иначе сказать, когда работник бывает не хозяин, а трудится по найму]. Но такое состояние вещей невыгодно ни для самого работника, ни для общества при низком качестве наемного труда, сравнительно с трудом на самого себя.

XIX. Если же труд не считать продажным товаром, [каким он и не должен быть], то меновая ценность совпадает с внутренней, и понятие запроса, снабжения, стоимости производства получают точнейший характер, возводясь прямо к основным элементам экономической деятельности, к потребностям человека. Размер снабжения тут определяется количеством производительных сил; размер запроса — интенсивностью надобности производителя в продукте; стоимость производства определяется прямо количеством труда. Уравнение запроса и снабжения получается через расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные силы по разным занятиям, для наилучшего удовлетворения надобностей человека.

А. ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СИЛА

(Гл. VII—XIII)

«Продукты обмениваются на продукты» — вполне признавая правильность этого коренного афоризма господствующей теории, мы сделаем к нему только одно замечание: на каком же основании господствующая теория не хочет знать, что по нынеш-

нему порядку ее коренное правило постоянно нарушается? — При наемной плате продукт обменивается на труд. Разве труд продукт? Нет, он производительная сила. Итак, что-нибудь одно из двух: господствующая теория или должна признать наемную плату за явление, столь же противное здравому экономическому порядку, как цеховое или кастовое устройство, или должна признать, что сама не понимает смысла найденных ею принципов.

Мы говорим это мимоходом. Главная цель наша теперь — исследование понятия покупательной силы, которая играет такую важную роль в быте, основанном не на прямом сочетании производства и потребления, не на тождестве производителя и потребителя, а на обмене, посредствующим термином которого служит покупательная сила. — Господствующая теория очень ясно выставляет затруднительность прямого обмена продукта на продукт и необходимость такого общего орудия обмена всяких продуктов, каким являются деньги. Она превосходно объясняет свойства, нужные для хорошего орудия обменов или для денег, и очень основательно доказывает, что лучше всех других продуктов и предметов годятся для исполнения роли денег благородные металлы. Все, что она говорит об этих сторонах вопроса, мы предполагаем известным читателю или предоставляем ему узнать из обыкновенных курсов политической экономии, а сами обратим внимание на один очень важный вопрос, вникнуть в который забывают авторы этих трактатов, забывает и сам Милль: какое влияние на распределение и потребление продуктов, а через то и на характер производства имеет отделение покупательной силы от частных продуктов, служащих для потребления, — в каком направлении экономический быт общества видоизменяется централизацией, конденсацией и увековечением покупательной силы в деньгах и денежных знаках?

Представим себе отношение между человеком очень богатым и человеком очень зажиточным, при так называемом — в противоположность «денежному» — «естественном» хозяйстве, в котором деньги не играют важной роли. В табунах киргиза Абдаллы 10 000 голов; у киргиза Юсуфа весь табун состоит только из 100 голов. Какую экономическую власть над Юсуфом может иметь Абдалла своим богатством, если они кочуют в такой части степи, куда еще не проникло денежное хозяйство? Предположив Юсуфа человеком обыкновенного характера, мы не можем не сказать, что он не имеет ни малейшего расчета становиться в экономическую зависимость от своего богатого соплеменника. Что такое, особенно нужное для него, может дать ему Абдалла? Лошадей и кумыса у Юсуфа довольно, он не нуждается в этих предметах*.

* От обычной проницательности рутинных политико-экономов надобно предусматривать здесь не меньше целых двух возражений. Во-первых, между полудикими племенами, каковы калмыки, господствует насилие. Абдалла

А кроме их, ничего не может предложить ему Абдалла *. Предположим теперь, что введено в этом племени денежное хозяйство. Пусть лошадь круглым счетом стоит 10 р. Абдалла располагает суммою имущества на 100 тысяч. Юсуф имеет его только на 1 тысячу рублей. Каждому из ежедневного опыта известно, какво при денежном хозяйстве отношение небогатого человека к соседу, который в 100 раз богаче его. Это отношение зависимое. Из чего возникает зависимость? Из того самого, что деньги служат всеобщему покупательному силу, дают возможность удовлетворения не одной какой-нибудь потребности, как дает продукт, прямо служащий для потребления, а общую возможность удовлетворения всяким вообще наклонностям и желаниям. Человек может чувствовать, что ему нет нужды в том или в другом предмете, что этот известный предмет был бы для него лишней; но он никак не может чувствовать уверенности, что ему никогда не понадобится ничего. А чтобы не желать денег, надобно иметь такую уверенность и не только за настоящее или близкое будущее, а за всю свою будущность; мы не даром употребили слово «никогда». Почти все предметы, прямо служащие для потребления, очень недолговечны. Значительным исключением из этого правила можно назвать только благородные металлы, материал, из которого делаются деньги, от которых довольно мало и отличаются золотые или серебряные слитки, хотя бы и не имели штемпеля, делающего их деньгами в строгом смысле слова. Остальные важные в экономическом отношении предметы не имеют свойства долго сохраняться сами собою — это свойство принадлежит только деньгам. Есть многочисленный разряд продуктов, которые не могут быть более нескольких лет сбережены никакою заботливостью. Сюда принадлежит хлеб, во всех земледельческих странах самый главный по своей ценности продукт. Эти продукты сохраняются только воспроизведением, то есть

может, при помощи своей многочисленной дружины, безнаказанно ограбить и убить Юсуфа. Конечно, кроме того, калмыки многоженцы, не имеют литературы, театра и т. д. Помилосердитесь, ведь нельзя же спутывать всего в одну беспорядочную груду. Мы говорим собственно об экономических отношениях, и только о них. Иначе пришлось бы нам рассуждать здесь о лечении чахотки кумысом, как г. Буслаев рассуждает о картинах Микеланджело при разборе какой-нибудь песни о Добрыне Никитиче⁹⁴. Другое возражение такого же достоинства: при страсти Юсуфа к отличным скакунам в табунах Абдаллы найдется такая лошадь, что Юсуф готов будет сделать за нее для Абдаллы все (в доказательство смотри рассказ «Бэла», в романе Лермонтова «Герой нашего времени»). Разумеется, мало ли что случается под влиянием страстей. Но просим не забывать, что мы здесь излагаем не теорию страстей, а экономические законы, основанные на наблюдениях обыкновенной расчетливости, в которой Юсуф не найдет достаточной причины ставить себя в зависимость от Абдаллы.

* Тут может быть сделано третье возражение. ничем не хуже двух первых: «как ничего? Кроме лошадей и кумыса, у Абдаллы есть кибитки, войлоки» и т. д. Разумеется, только все это у Юсуфа также в достаточном количестве.

посредством переработки продукта такую же массой труда, какая была нужна на первое производство. Другие предметы долго остаются целы, — например, каменные здания, — но требуют ремонта, который за несколько лет в сложности составляет сумму труда, равную той массе его, которая требовалась на первоначальное производство предмета. Без того они быстро теряют годность и ценность. Таким образом, говоря вообще, деньги отличаются от других продуктов тем, что продолжают существовать сами собою, без надобности в дальнейшем производительном труде, дают полное увольнение от него человеку, их имеющему, — между тем как сохранение всех других предметов требует продолжения работы, которою они первоначально приобретены. Только в деньгах приобретается человеком экономический источник совершенно праздного наслаждения *. Отчасти по недолговечности, отчасти по громоздкости продуктов, прямо служащих для потребления, их накопление в руках одного лица имеет пределы гораздо более тесные, чем накопление денег, которые занимают мало места и составляют сокровище, можно сказать, нетленное. Собрать в свои амбары десять жатв хлеба — дело едва ли возможное; но деньги за двадцать и тридцать жатв собираются в сундук столь же удобно, как за одну жатву.

Таким образом, сравнительно с системою быта, основанною прямо на потребляемых продуктах, денежная система более благоприятствует сосредоточению богатства в руках отдельного человека, способствует росту неравенств имуществ; дает богатому * более власти над другими людьми, в которых расположение к независимости уменьшается при ней через замещение мыслей об удовлетворении определенных потребностей неопределенною и потому неограниченною мыслью о средствах, удовлетворяющих всяким желаниям; наконец, в быте, основанном на деньгах, является экономическая возможность совершенно праздного наслаждения, [что невозможно без очевидного нарушения всех экономических понятий в быте, основанном не на деньгах].

«Вот вы начинаете читать мораль о губительном влиянии золота на сердце человека и благосостояние общества», скажет политико-эконом рутинной школы. Не совсем так. Восставая против вредных влияний золота, моралисты имеют в виду самое стремление человека к увеличению своего благосостояния, вооружаются против корыстолюбивой расчетливости, называемой у них испорченностью сердца и т. д., — словом сказать, они недо-

* Не мешает напомнить, что мы здесь имеем в виду только явления, основанные на экономических законах, а не на других вещах, подобных завоеванию, праву собственности над человеком и т. п. Насилием и обманом могут жить некоторые люди без производительного труда во всех состояниях общества; но степень законности и экономической полезности таких явлений очевидна без всяких разъяснений. Нам надобно вникать только в те отношения, влияние которых на экономическую жизнь не для всех ясно.

вольны человеческою природою и толкуют об изменении коренного ее стремления. Мы говорим вовсе не о том; бескорыстия мы не думаем требовать от людей, изменять их природы не желаем. В признании принципа личной пользы за основное побуждение и за последнюю норму всей экономической деятельности человека мы не уступаем ни одному писателю школы Адама Смита, и идем гораздо дальше большинства рутинных политико-экономов, которым предоставляем толковать вслед за моралистами о необходимости идеальных стремлений [и возбуждать людей к разным добродетелям патриотизма, к добродетели воздержания от любви и т. д. Мы ничего такого не провозглашаем, находим, что о материальных потребностях надобно заботиться прежде всего и,] пока они не удовлетворены, нельзя с успехом заботиться о чем-либо другом; мы находим, что расчет личной выгоды есть один из главных руководителей человека, и рассуждаем только о том, что наиболее сообразно с личною выгодою человека, а желаем лишь того, чтобы люди стали расчетливее. — Расходясь с моралистами во взгляде на коренные начала человеческой жизни, мы совершенно иными глазами, чем они, смотрим и на вопрос о так называемом господстве золота. Порядок дел, при которых над всем господствуют деньги, мы находим неудовлетворительным не потому, что люди при нем своекорыстны, — они всегда будут, да и должны больше всего думать о своей личной выгоде, — а просто потому, что при нем слишком плохо удовлетворяется потребность материального благосостояния у огромного большинства людей, что для этого огромного большинства он невыгоден. Но мы находим, что сущность дела тут вовсе не в деньгах, а в другом, несравненно более важном факте, из которого возникает и само преобладание денег, — в том, что нынешний экономический быт основан на обмене, а не прямо на тождестве производства с потреблением. Обмен так и должен вестись, как ведется, посредством денег или какой-нибудь другой общей меры ценностей, равносильной деньгам. Иначе вестись ему слишком неудобно, и само по себе употребление денег или равнозначительных им общих законов <знаков> ценностей — дело очень полезное. Восставать против них значит то же самое, что вооружаться против носовых платков, — которые сами по себе тоже вещь превосходная и необходимая в порядочном обществе для дела, к которому предназначена. Мы вовсе не желаем возвратить людей к тому состоянию, когда они «обходились без посредства носового платка». Но совершенно иной вопрос то, хорошая ли вещь насморк, при котором роль носового платка становится очень велика. Мы полагаем, что человеку следует лечиться от насморка, и что когда насморк пройдет, носовой платок сам собою потеряет ту излишнюю занимательность, в которой виноват вовсе не он сам. — Точно так же мы полагаем, что и важность денег в экономической жизни уменьшится, когда главную массу своих про-

дуктов будет потреблять сам производитель и главную массу потребляемых каждым человеком продуктов будет составлять продукт его собственного труда, а в обмен будет идти лишь довольно незначительная часть всей производимой массы продуктов, — словом сказать, когда [возникнет быт, при котором] порядочно будет исполняться принцип экономической теории: «работай каждый больше всего на себя и для себя самого». Мы видели, что главные черты такого порядка: каждому работнику выгоднее быть хозяином, а хозяйственная единица должна иметь очень значительный размер. Мы видели, что по специальному вопросу занимающего теперь нас отдела науки, отдела о ценности, главными противоречиями этому требованию экономической науки являются в нынешнем быте отступление меновой ценности от внутренней, от которой не следует ей отступать, и воззрение на труд, как на товар, подлежащий продаже и покупке, между тем как труду естественнее ни продаваться и покупаться, ни быть товаром. Вот этот нерациональный порядок и есть тот экономический насморк, при котором до неудобной для человека значительности развилась роль нашего метафорического носового платка, денег.

Мы не будем вдаваться в подробное изложение законов, которыми определяется ценность звонкой монеты, потому что они удовлетворительно объясняются в обыкновенных курсах политической экономии. Довольно будет для избежания пробела привести в немногих словах основные черты этого дела. Звонкая монета точно такой же товар, как и все другие товары, от кружева и бриллиантов до хлеба и дров; ценность ее, то есть пропорция, в какой обменивается она на другие товары, иначе сказать, общий уровень цен всех других товаров*, определяется теми же самыми элементами, как и ценность всякого другого товара — уравнением запроса и снабжения и стоимости производства. Выделка этого товара из материала, служащего для него <этого> (из благородных металлов), составляет труд совершенно ничтожный сравнительно с массой труда, нужного на получение самого материала. Потому стоимость звонкой монеты равна стоимости золота или серебра, из которого она вычеканена**. Стоимостью производства*** определяется для монеты, и для других товаров, количество которых может увеличиваться

* Читатель знает, что ценность товара становится его ценою, когда определяется счетом на деньги. Таким образом, ценность денег и цена товаров одно и то же. Цены товаров повысились — это значит, что ценность денег упала; цены товаров понизились — это значит, что ценность денег увеличилась. Под ценностью мы понимаем всегда меновую ценность, если прямо не прибавляем слово «внутренняя».

** Говоря строго, ценность денег выше ценности слитков, но лишь на такую ничтожную долю, которая не имеет почти никакой важности.

*** Или для стран, в которых золото и серебро не домашний, а привозной товар, стоимостью получения этих металлов из-за границы.

при возвышении ценности, прочный или долговременный уровень ценности, а временные колебания этого уровня определяются уравниванием запроса и снабжения. Но благородные металлы — такой долговечный продукт, что накопившееся от прежнего производства количество их несравненно значительнее того количества, какое прибавляется ежегодным производством. Потому чувствительное уменьшение или увеличение в существующем количестве от сокращения или расширения их производства обнаруживается лишь очень медленно, и колебания ценности звонкой монеты, определяемые уравниванием запроса и снабжения, бывают гораздо заметнее этого медленного изменения в постоянном уровне их ценности. Иначе сказать, то повышение или понижение общего уровня цен на товары, которое происходит от колебания запроса и снабжения относительно звонкой монеты, бывает гораздо заметнее того, которое происходит или от постепенного истощения прежних рудников, или открытия новых, изобильнейших рудников. Теперь, в чем же состоит уравнивание запроса и снабжения относительно звонкой монеты? Запрос тут составляется всем количеством товаров, предлагаемых в обмен за монету, то есть готовых идти на продажу, но чем определяется размер снабжения? В продуктах, прямо идущих на потребление, снабжение известным товаром равняется количеству его, предлагаемому в удовлетворение запроса на него. Но монета не идет в потребление, пока остается монетою; она только служит орудием покупки и, сделав одну покупку, тотчас же может для нового своего хозяина сделать новую покупку. Из этого видим, как определяется размер снабжения ею. Положим, что в известный период времени, например в год, сумма покупок, совершаемых на звонкую монету в известном обществе, простирается на 1 000 миллионов рублей. Если каждый рубль в это время идет на покупку только один раз, для совершения покупок должно существовать в этом обществе количество звонкой монеты, равное 1 000 миллионам рублей. Но если каждый рубль идет в год на покупку, средним числом, по 5 раз, — для совершения всей суммы покупок нужно только 200 миллионов рублей. То, сколько раз в известное время обращается рубль звонкой монеты на совершение покупки, называется степенью быстроты обращения денег. Таким образом, относительно звонкой монеты размер снабжения равняется существующему количеству ее, помноженному на быстроту ее обращения на покупки. Именно эту цифру и составляет по счету на звонкую монету сумма предметов, проданных в этот период времени. Положим, например, что количество продаваемых предметов осталось то же самое, какое было при 200 миллионах рублей, обращавшихся с успешностью 5 раз в год, но или быстрота обращения увеличилась до 6 раз, или количество звонкой монеты возросло до 240 миллионов. В том и в другом случае сумма выйдет уже не 1 000,

а 1 200 миллионов рублей (200×6 или 240×5). Итак, по денежному счету сумма продаж составляет уже 1 200 миллионов, то есть общий уровень цен поднимается на одну пятую часть. Четверть пшеницы, стоящая 5 руб., будет стоить 6 руб.; кусок сукна, стоящий 50 руб., будет стоить 60 руб., и т. д. Наоборот будет, цены упадут, когда уменьшится или количество звонкой монеты, или быстрота ее обращения. Например, если вместо 5 раз рубль поступает на покупку только 4 раза, сумма продаж в денежном счете составит только 800 миллионов (200×4), и соразмерно тому упадут цены предметов. Четверть пшеницы будет стоить только 4, кусок сукна только 40 рублей.

Таким образом, ценность звонкой монеты или, что то же самое, общий уровень цен изменяется сообразно уравнению запроса и снабжения. Если количество продаж (запрос на деньги) растет быстрее количества и быстроты обращения денег, идущих на покупку (то есть быстрее снабжения деньгами), ценность денег возвышается, иначе сказать, цены предметов падают. То же бывает, если уменьшается снабжение деньгами, то есть уменьшается быстрота обращения при неизменности количества их или уменьшается количество их при неизменности в быстроте обращения. В обратных случаях бывает обратный результат, то есть ценность денег падает, иначе сказать, цены предметов растут.

Само собою разумеется, что тут идет речь только о тех деньгах, которые идут или готовы идти на покупки. Те деньги, которые хозяин их хранит без употребления, не желая ничего покупать на них, не действуют на цены товаров. Эта часть звонкой монеты находится, так сказать, в латаргическом состоянии.

Написав этот отдел об элементах, определяющих ценность денег, я думаю, не следует ли вычеркнуть его, чтобы не растягивать статьи изложением предмета, который должен я предполагать известным каждому читателю. Но опять я думаю и то: попробуй вычеркнуть, и какой-нибудь рутинист, воображающий это дело о ценности монеты геркулесовыми столпами экономической мудрости, необыкновенно гордящийся тем, что дошел до них, и по трудности, с какою лично он понял эту вовсе не мудрую штуку, полагающий, что обыкновенным смертным во веки веков не уразуметь такую глубокую тайну науки, — вот какой-нибудь господин ученый подобного разряда и вздумает, что она тебе неизвестна. Полноте, господа; да чего же тут не знать-то? Да и вообще, трудно ли узнать всю господствующую теорию во всех ее тонкостях и подробностях? Несравненно легче, чем выучиться вязать чулки. А если вам досталось это понимание дела очень тяжело, то вы уже по край-

ней мере не обнаруживали бы этого факта намеками, что, дескать, вы, профаны, не в состоянии уразуметь такой головоломной мудрости.

Мы до сих пор говорили о таком состоянии общества, в котором единственным орудием обмена служит звонкая монета. Она действительно навсегда остается коренным денежным знаком, по которому измеряется ценность всех других орудий обмена. Но как при известном развитии общества прямая мена продуктов на продукты заменяется продажей и покупкою их на деньги, так при дальнейшем экономическом развитии является на помощь звонкой монете другое орудие обмена — кредитные знаки, которые находятся точно в таком же отношении к золотым и серебряным деньгам, в каком эти деньги находятся ко всем остальным продуктам; звонкая монета — знак, представляющий собою ценность продуктов; кредитная бумага (банковский билет, коммерческий вексель) — знак, представляющий собою ценность звонкой монеты. Отношением кредитных знаков к звонкой монете очень хорошо поясняется и отношение звонкой монеты к другим продуктам, то есть самая сущность назначения, исполняемого ею. Золотая или серебряная монета — тоже ассигнация, отличающаяся от настоящих кредитных билетов только тем, что ручательство за меновую ценность ее лежит в меновой ценности самого материала, из которого она сделана, то есть от стоимости производства этого материала, между тем как в кредитном билете ценность самого материала ничтожна, и ручательством за меновую его ценность служит только обязательство выдающего билет правительственного или частного банка обменивать этот билет на количество золота и серебра, обозначаемое билетом.

Насколько бумажные деньги имеют ценность сравнительно с звонкою монетою, настолько они совершенно заменяют ее в деле покупок. Но сами они составляют лишь одну из многих форм кредита, о котором вообще надобно сказать то же самое: насколько он существует, он во всех своих формах может служить покупательною силою, то есть заменять звонкую монету. Чем деятельнее развивается экономическая жизнь в обществе, быт которого основан на обмене, тем значительно становится в нем часть обменов, совершаемых при посредстве кредита, и потому очень легко рождается иллюзия, ставящая кредит источником экономического прогресса, между тем как на самом деле он — только один из способов, которыми обнаруживается действие сил, производящих этот прогресс. Чтобы увидеть сущность дела, мы начнем с разъяснений, даваемых обыкновенными курсами политической экономии и представляемых Мил-

лем с довольно значительными усовершенствованиями в технических подробностях постановки относящихся сюда вопросов.

Нет в политической экономии вопроса, который представлял бы более недоразумений и спутанности понятий, как вопрос о функциях кредита. Это происходит не от особенной трудности теории кредита, а от сложности некоторых коммерческих феноменов, возникающих из форм, принимаемых кредитом, — эти сложные феномены отвлекают внимание от общих свойств кредита к особенностям его частных форм.

Примером сбивчивости понятий о сущности кредита может служить утрированный тон, которым так часто говорят о его национальной важности. Кредит имеет большую, но не волшебную силу, какую, повидимому, придают ему некоторые. Он не может создать нечто из ничего. Очень часто рассуждают о расширении кредита так, как будто оно равносильно созданию капитала или как будто кредит и есть сам капитал. Странна необходимость доказывать, что, будучи лишь разрешением одному лицу пользоваться капиталом другого, кредит не увеличивает, а лишь переносит средства производства. Насколько увеличиваются кредитом средства к производству и к занятию труда у лица, занявшего их, настолько же уменьшаются они у кредитора. Одной сумме нельзя быть капиталом и для собственника, и для лица, занявшего ее; она не может за один раз вдвойне сполна служить рабочею платою, орудиями и материалами для двух групп работников. Правда, что капитал, занятый А у В и употребляемый в дело А, еще составляет в других отношениях часть богатства В; В может заключать обязательства, обеспечиваемые этим капиталом, и под залог его может, если понадобится, занять равнозначительную ему сумму; таким образом, на поверхностный взгляд может казаться, что и А и В одновременно пользуются этим капиталом. Но если хоть немного вникнем в дело, мы увидим, что когда В отдал свой капитал А, употребление капитала остается уже у одного А, и В не получает от этого капитала никакой иной услуги, кроме той, что право получить этот капитал назад служит ему для получения в пользование другого капитала от третьего лица С. Весь чужой капитал, которым действительно пользуется известный человек, непременно взят из чьего-нибудь капитала.

Но если кредит всегда останется не больше, как только перенесением капитала из одних рук в другие, то по естественному порядку он вообще бывает перенесением капитала в руки, более способные успешно употребить его на производство. Если бы не существовало кредита, или, по общей небезопасности или по недостатку доверия, кредит почти не существовал бы, то не получали бы выгоды от своего капитала многие лица, имеющие более или менее капитал, но, по своим занятиям или по недостатку нужного искусства и знания, не могущие лично наблюдать за его употреблением; собранные ими запасы лежали бы праздно или, быть может, растрачивались и уничтожались бы в неловких опытах получить от них прибыль. Весь этот капитал отдается теперь в проценты и становится пригоден для производства. Часть капитала, находящаяся в таком положении, составляет в каждой промышленной стране значительную часть ее производительных средств; и естественно влечется она к тем производителям или торговцам, которые, живее всех ведя дело, имеют возможность употребить ее с наибольшею выгодною; потому что они и сильнее других желают получить капитал, и лучше всех могут обеспечивать его; потому, хотя производительный фонд страны и не увеличивается кредитом, но вызывается им к полнейшему занятию производительной деятельностью. По мере того как расширяется доверие, на котором основан кредит, развивается возможность служить для производительного употребления даже самым мелким частям капитала, суммам, которые каждый держит при себе на непредвиденный случай. Главными орудиями к тому являются депозитные банки. Где их нет, там рассудительный человек должен держать у себя в руках без занятия сумму, достаточную на уплату по всякому требованию, какое только может представиться ему. Но когда вошло в обычай держать этот резерв

не в своем сундуке, а у банкира, сосредоточилось в руках банкира множество мелких сумм, лежавших прежде пустыми; а банкир, узнав по опыту, какая доля этих сумм может понадобиться в данное время, и зная, что когда один из вкладчиков потребует больше, чем среднюю пропорцию, то другой потребует меньше, может отдавать остаток, то есть гораздо больше половины этих сумм, в ссуду производителям и торговцам; а через это увеличивается количество — не всего существующего, это правда, но количество занятого капитала, и соответственно тому увеличивается сумма производства в обществе.

При такой необходимости своей для обращения всего капитала страны на производство, кредит служит также средством к тому, чтобы из промышленного таланта страны извлекалось больше пользы для производства. Из людей, не имеющих или почти не имеющих собственного капитала, но имеющих деловые способности, известные и оцененные владельцами капитала, многие получают в кредит или деньги или, как чаще бывает, товары, и таким образом промышленные способности их обращаются на увеличение общественного богатства; еще гораздо больше пользы будет получаться таким способом, когда при улучшении законов и воспитания честность в обществе разовьется настолько, что личную репутацию человека можно будет принимать за достаточное обеспечение не только против бесчестного завладения, но и против бесчестного рискования чужим имуществом.

Вот с самой общей точки зрения роль кредита в производительных средствах человечества. Но эти соображения применяются лишь к кредиту, даваемому людям промышленного класса — производителям и торговцам. Кредит, даваемый торговцами непродовольственным потребителям, никогда не бывает прибавлением, а всегда бывает убылью для источников общественного богатства. Он передает во временное пользование не капитал непродовольственного класса производительному, а капитал производительного класса непродовольственному. Если А торговец снабжает В землевладельца или рентьера товарами с отсрочкою уплаты на пять лет, — остается на пять лет непродовольственной частью капитала А, равная ценности этих товаров. При немедленной уплате сумма эта в течение пяти лет была бы несколько раз израсходована и выручена, и несколько раз были бы произведены, потреблены и воспроизведены товары на эту сумму. Следовательно, если В наконец и заплатит 100 фунтов, которые не платил 5 лет, то самая отсрочка платежа равнозначительна была в эти пять лет для работающих сословий общества тому, как если бы они совершенно потеряли эту сумму, и не один раз, а несколько. Сам А лично вознаграждается тем, что полагает за свои товары высшую цену, которую по истечении срока уплачивает ему В; но нет никакого вознаграждения рабочему классу, который больше всех страдает от каждого безвозвратного или временного отклонения капитала на непродовольственное употребление. В эти пять лет капитал страны уменьшился на 100 фунтов оттого, что В взял эту сумму из капитала А и растратил ее непродовольственно, прожив вперед свои средства, а лишь через пять лет отложит из своего дохода сумму на вознаграждение А, и она обратится в капитал.

Вот общая функция кредита в производстве. Сам по себе он не составляет производительной силы, хотя без него существующие производительные силы не могли бы вполне обратиться на занятия. Но влияние кредита на цены — вопрос более запутанный; оно — главная причина почти всех тех коммерческих феноменов, объяснение которых трудно. Когда в торговле обыкновенно дается много кредита, общие цены товаров всегда определяются гораздо больше состоянием кредита, чем количеством денег; потому что кредит, не будучи производительною силою, служит покупательною силою, и лицо, которое, имея кредит, пользуется им в покупке товаров, создает столько же запроса на товары и столько же поднимает их цены, как если бы делало такое же количество покупок на наличные деньги.

Кредит, который мы теперь должны рассматривать, как отдельную покупательную силу, независимую от денег, разумеется, не есть кредит в своей простейшей форме, но кредит в форме денег, даваемых одним лицом в ссуду другому, и притом наличными деньгами: если лицо, получившее такую ссуду,

расходует ее на покупки, оно делает покупки на деньги, а не на кредит, и не проявляет покупательной силы сверх той, какая дается деньгами. Формы кредита, создающие покупательную силу, — те формы, в которых не переходит из рук в руки никаких денег при самой покупке, а очень часто и вовсе никогда, а вся сделка, вместе с массою других сделок, включается в счет, и уплачивается лишь баланс этого счета. Это происходит разными способами; мы поочередно рассмотрим их, начиная, по нашему обыкновению, простейшими.

Во-первых, предположим, что А и В — два торговца, имеющие между собою сделки, в которых бывают оба покупателями, и продавцами. А покупает у В <в> кредит. В покупает у А также <в> кредит. В конце года сумма, какую А должен В, сравнивается с суммою, какую В должен А, и узнается, кто должен заплатить по балансу. Этот баланс, который может быть меньше, чем иная одна сделка, а во всяком случае меньше суммы всех сделок, — только и уплачивается деньгами; а, может быть, и он не уплачивается, а переносится в текущий счет следующего года. Этим способом уплата 100 фунтов может оказаться достаточною на очищении длинного ряда сделок, из которых иные простирались на тысячи фунтов.

Но, во-вторых, А может уплачивать свои долги В без посредства денег, хотя бы В и не был ничего должен А. А может удовлетворить В, переведя на него долг, который имеет сам на третьем лице С. Это удобным образом делается посредством документа, называемого коммерческим векселем; такой вексель в сущности составляет записку кредитора, посредством которой он передает другому свое требование денег с своего должника, и, если эта записка акцептируется должником, то есть свидетельствуется его подписью, она становится признанием долга со стороны должника.

Коммерческие векселя первоначально были введены для сбережения расхода и риска, соединенного с перевозкою золота и серебра. «Предположим, говорит Торнтон, что есть в Лондоне десять фабрикантов, продающих свой товар десяти йоркским купцам, пускающим его в розничную торговлю; и предположим, что в Йорке есть десять фабрикантов другого товара, продающих его десяти лондонским купцам. Если так, не будет надобности для десяти лондонских купцов ежегодно посылать гиней в Йорк на уплату йоркским фабрикантам, а для десяти йоркских купцов ежегодно посылать столько же гиней в Лондон. Надобно только будет йоркским фабрикантам принять в конторах деньги от йоркских купцов, дав им взамен письма, удостоверяющие в получении такой уплаты и говорящие, чтобы деньги, приготовленные их должниками в Лондоне, были уплачены лондонским фабрикантам, чтобы в Лондоне долг уплатился таким же способом, как в Йорке. Весь расход и риск денежных пересылок будет сбережен через это. Письма, по которым передаются долги, называются на нынешнем языке коммерческими векселями. Это расписки, которыми долг одного лица обменивается на долг другого, и точно так же получение долга в одном месте переводится в другое место⁹⁵.

За этим следует у Милля изложение того, каким способом происходят и какое значение имеют различные формы кредита — коммерческий вексель, коммерческая записка об уплате, записка на банкира от лица, не ведущего коммерческих оборотов, продажа в кредит с простою запискою по книге, наконец банковый билет. Нам здесь нет надобности вдаваться в эти подробности, принадлежащие скорее специальному трактату о коммерческих обычаях, чем общей политико-экономической теории. Довольно сказать одно: по внимательном разборе разных форм кредита Милль приходит к заключению, что по своему действию на цены, то есть по своей покупательной силе, все частные формы кредита существенно одинаковы: действует на

цены не собственно то, в какой форме расширяется или сокращается кредит, а только обстоятельство, что он расширяется или сокращается. Этот вывод значительно приближает нас к истинному и простому взгляду на дело, обыкновенно затемняемое в курсах политической экономии смешиванием мелочных подробностей, относящихся только к коммерческой практике, а не к научной теории. Если мы теперь, узнав маловажность этих мелочей для научной теории, постараемся совершенно отвлечь от них наше внимание, чтобы сосредоточить его на сущности дела, мы увидим, что она очень проста.

Кредит — ни больше, ни меньше, как долг, ссуда. Получать кредит значит получать в ссуду, делать долг; давать кредит — давать в долг, в ссуду. Спрашиваем теперь: признаком какого положения служит искание ссуд, заключение долгов? — Признаком затруднительного положения, невозможности извернуться собственными средствами. Признаком чего служит согласие давать в ссуду, в долг? — Признаком нежелания или неспособности человека самому заниматься приложением своих средств к производительному труду. Так ли? Да, это самое можно найти и в приведенном нами отрывке из Милля. Попробуем же не лукавить сами перед собою в ответе на вопрос, что из этого следует? — Из этого следует, что самым прикосновением своим к известному делу кредит свидетельствует о неудовлетворительном состоянии покупательной силы по этому делу, он открывает, что покупательной силы нет там, где она нужна и полезна, и что находится она там, где ненужна и бесполезна *. Говорится ли такое положение дел?

Не говорите о том, что кредит исправляет его, — мы это сами знаем и согласны со всеми вашими похвалами кредиту; мы находим только, что не следует признавать удовлетворительным такой быт, в котором кредит играет постоянную и важную роль. Не говорите также, что в старину, до развития кредита, было еще хуже. Мало ли что было в старину. Вообще, было в старину гораздо хуже. Да не о том теперь речь, а о том, каково ныне.

Какую же роль должен иметь кредит в общественной жизни при удовлетворительном устройстве экономического быта? Чтобы отвечать на это, не мешает подумать о том, в чем собственно состоит экономическая деятельность общества. В об-

* Само собою разумеется, что мы здесь говорим только о кредите, действующем по направлению, одобряемому теорией, переносящем покупательную силу от бесплодного бездействия или расточения к экономической деятельности, о ссудах от непроизводительного класса к производительному. Кредит, действующий в противоположном направлении, в виде ссуд непроизводительному сословию, безусловно осуждает и Милль, как мы видели; следовательно, это дело не нуждается в наших разъяснениях. Что осуждает в нынешнем быте даже господствующая теория, того мы наверное уже не станем хвалить.

мене ли состоит она? Нет, обмен ничего не производит; он — только один из способов, которыми распределяется продукт, — способ, получающий преобладание над другими способами распределения при известных формах быта, но вовсе не единственный; где продукт потребляется теми же лицами, которыми производится, там распределение продукта между ними совершается не косвенным путем обмена, а прямым путем непосредственного расчета, сколько следует получить кому из них. Да и самое распределение — только посредствующее звено между производством и потреблением, имеющими над ним решительное преобладание в экономической деятельности народа даже и при нынешнем устройстве быта, которое, будучи основано на обмене, чрезвычайно сильно развивает его до ненормальной чрезмерности. Выражение «торговый народ» — чистая иллюзия. Торговля оглушает нас своею шумною хлопотливостью, но более тихое дело производства занимает собою массу каждой нации, а торговля все-таки остается занятием лишь довольно незначительной части населения. В самой Англии торговцы малочисленны сравнительно с земледельцами, ремесленниками, фабричными работниками, и даже в этой стране, которую мы, по поверхностному впечатлению, воображаем страною, живущею по преимуществу делом заграничной торговли, масса продуктов, отправляемых в другие земли и получаемых из других земель, едва составляет одну пятую часть всех производимых и потребляемых продуктов*. Теперь представим себе хозяйство, которое продает лишь одну пятую часть своих продуктов и покупает лишь пятую часть потребляемых в нем предметов; должно ли нуждаться такое хозяйство в ссудах? Оно имеет средства производить немедленную уплату по всякой своей покупке, потому что эти уплаты незначительны в сравнении с его доходами. Таким образом, даже заграничная торговля должна была бы вестись при обыкновенных обстоятельствах, без помощи кредита. А если кредит по-настоящему не нужен для обыкновенного хода даже заграничной торговли, в которой он наиболее развит, тем легче должна была бы обходиться без него, в обыкновенных обстоятельствах, внутренняя торговля, которая пользуется его помощью гораздо менее, чем заграничная.

Но мы говорим только про обыкновенные обстоятельства. Самое хорошее хозяйство подвержено нечаянным случайностям;

* Ценность товаров, отпускаемых из Англии в последние пять лет (годы самого сильного развития заграничной торговли), была средним числом менее 140 милл. фунтов стерлинг. в год⁹⁶. Ценность продуктов, производимых самою Англиею, составляла за эти годы никак не меньше, а по всей вероятности, больше 700 милл. фунтов. (Земледелие, занимающее менее одной третьей части всех работников, производит более чем на 200 милл. фунт. Труд ремесленного или фабричного работника производит ценность более значительную, чем труд земледельческого).

иногда заставляющим его делать займы. Таким несчастным случаям подвержена и экономическая жизнь нации. Впрочем, для целой нации теперь остается уже только один источник этих слишком обширных недостатков — неурожай. В неурожайный год может понадобиться привоз такой массы заграничного хлеба, за которую трудно уплатить без некоторой рассрочки. Вот единственный случай натуральной случай надобности в кредите для заграничной торговли. Для отдельных местностей страны существуют другие случаи этой несчастной необходимости. Например, трудно обойтись без займа прибрежью реки, сильно пострадавшему от наводнения, или городу, опустошенному пожаром. Отдельное хозяйство может сильно страдать, сверх этих, и от некоторых других случайностей, — например, от случайного совпадения слишком многих случаев болезни и смерти в его составе. Вот случаи, в которых действительно нужен кредит отдельному хозяйству, округу или целой нации. Это все только случаи чрезвычайных несчастий, очень тяжело ложащихся на жизнь в данную минуту, но заглаживаемых общим ходом жизни. Кредит должен облегчать их, разлагая тяжесть их на более долгий срок времени, чтобы она становилась менее чувствительна.

Словом сказать, кредит — лекарство. Отрицать пользу лекарств никак не следует. Но плохо состояние того человека, жизнь которого — непрерывный ряд принятия микстур и пилюль. Экономическая наука — медицина экономического быта. Но кроме давания лекарств, у медицины есть другая, еще более важная обязанность: разъяснить человеку условия, которые следует ему соблюдать, чтобы не нуждаться в лекарствах. Господствующая теория ограничивается одною патологиею. Гигиеническая часть, — важнейшая часть науки, — пренебрежена в ней. Она не говорит о том, что происходит в худосочном организме, развивающемся в холоде и сырости, в которых нельзя человеку быть здоровым, в организме, преданном хмелю диких страстей, завещанных варварскими нравами старины, в организме, продолжающем питаться вредною пищею, приготовляемою по предрассудкам первобытного невежества. Господствующая теория или сама слишком трусит истины, или слишком угодничает перед дикими капризами, грубыми привычками, нелепою апатиею невежественного быта, призывающего ее на помощь себе. Это нехорошо. Истина должна быть выше всего для науки. Надобно прямо говорить: «ты пичкаешь себя микстурами кредита и других фармацевтических ингредиентов. Этого мало для тебя. Твоя обстановка не годится для здоровья, твой образ жизни нелеп. Измени обстановку, прими другие правила для жизни». И смутимся ли мы, если на эту правду будут отвечать: «я не вижу этой надобности». — «Нынешний образ жизни мне мил». — «У меня недостает средств изменить обста-

новку». — «Вы утописты и невежды». — Смутимся ли мы этим? Разве смущался Стефенсон⁹⁷, когда ему говорили, что железные дороги не нужны, что приятнее мальпостов и шоссе ничего быть не может, что средства механики недостаточны для постройки железных дорог и локомотивов, что он утопист и невежда? Против него говорили все, что говорят против нас. А он настойчиво твердил и твердил свое и добился до торжества своей правды. Наша правда гораздо помногосложнее и поширнее стефенсоновой, — натурально, и хлопот над распространением ее в обществе должно быть для нас гораздо побольше, чем было Стефенсону, — но что ж такое? — Насколько больше нам труда с нашим делом, настолько же и выше оно по своей пользе для людей, настолько же больше и любви к себе внушает оно тем, кто раз постиг прекрасную истину его.

Но само собою разумеется, что кредит постоянно должен играть значительную роль при хозяйстве, основанном на обмене, и чем живее развивается экономическая деятельность при системе денежного хозяйства, тем большая пропорция должна исполняться посредством кредита и кредитных знаков. Звонкая монета — вещь все-таки довольно объемистая, тяжелая, неповоротливая. При быстром ходе огромных коммерческих сделок производить уплаты ею неудобно. Притом же звонкая монета изнашивается от употребления, а это убыточно по дороговизне изнашивающегося материала ее. Потому в странах, пользующихся твердым законным порядком, звонкая монета постепенно заменяется в ежедневном обращении кредитными знаками, и главная масса ее спокойно лежит резервным фондом в учреждениях, выпускающих банковые билеты, которые составляют самую удобную для денежного обращения форму кредита. Этот резервный фонд нужен собственно для обеспечения размена банковых билетов на звонкую монету, представителями которой они служат. Если кредит выпускающего билеты учреждения очень прочен, резервный фонд безопасно может составлять только довольно небольшую долю всего количества билетов, — одну треть, или одну четверть, быть может, даже и меньше. Из этого и разных других обстоятельств явилась мысль о возможности безопасного обращения и таких банковых билетов или бумажных денег, которые не имели бы за собою резервного фонда звонкой монеты или не давали бы владельцам своим права требовать размена их на звонкую монету из кассы выпустившего их учреждения. Эта иллюзия имеет очень многих приверженцев; потому приведем из Милля разбор ее.

Опыт показал, что куски бумаги, не имеющие никакой внутренней ценности, могут быть введены в обращение с ценностью звонкой монеты просто вследствие надписи на них, что они равняются известному числу франков, долларов или фунтов; опыт показал, что лицам, выпускающим их, они при-

носят всю ту выгоду, какую могла бы принести звонкая монета, представителями которой называются эти бумаги; правительства стали думать, что выгодно было бы им присвоить себе эту выгоду, не соблюдая условия, которому подчинены были частные лица, выпускающие эту бумагу, которою заменяются деньги, — не соблюдая обязанности давать по востребованию за этот знак обозначаемую им вещь. Правительства решили сделать попытку, нельзя ли им освободиться от этой неприятной обязанности и дать выпущенному ими куску бумаги ход фунта просто тем, чтобы назвать его фунтом и принимать его в уплату налогов. И влияние почти всех прочных правительств так сильно, что вообще они успели достичь этой цели; кажется, мог бы я сказать, что всегда они успевали в том на некоторое время и теряли эту силу лишь вследствие того, когда слишком неумеренно пользовались ею.

В предполагаемом нами случае роль денег исправляется вещью, которая получает силу исполнять ее единственно по соглашению людей; но для доставления такой силы предмету уже и достаточно такого соглашения; потому что, если человек убежден, что известная вещь будет принимаема другими точно так же, как им, этого уже и довольно, чтобы он принимал какую-нибудь вещь, как деньги, и даже по какой угодно ценности. Вопрос только в том, чем определяется ценность такого орудия обмена, потому что она не может определяться ценностью производства, как определяется ценность золота и серебра или бумаги, размениваемой на них по первому востребованию.

Но мы видели, что даже и ценность звонкой монеты непосредственно определяется количеством этой монеты. Если бы количество ее зависело не от обыкновенных коммерческих расчетов прибыли и убытка, а могло бы определяться по произволу правительства, ценность звонкой монеты определялась бы распоряжением этого правительства, а не стоимостью производства. Количество бумажных денег, не подлежащих размену на золото и серебро по желанию предъявителя, может определяться произвольно, в особенности если выпускаются эти деньги верховным государственным правительством. Потому ценность таких денег совершенно произвольна.

Предположим, что в стране, в которой обращалась только звонкая монета, вдруг выпускаются бумажные деньги на половину той суммы, какую составляла звонкая монета; выпускаются не банковым учреждением и не в форме займа, а правительством в уплату жалованья и в покупку товаров. Количество обращающихся денег вдруг увеличилось на половину; потому понизятся цены всех предметов, и между прочим цены всех предметов, сделанных из золота и серебра. Ценность унции золота в изделиях станет выше ценности унции золотых денег больше, чем на обыкновенную разницу, вознаграждающую за ценность выделки; и будет прибыльно переплавлять монету для переделки в золотые вещи, пока сумма денег уменьшится этою переливкой золотых денег настолько, насколько прибавилось к ней выпуском бумаги. Тогда цены спустятся опять до первоначальной величины, и все будет по-прежнему, кроме той одной перемены, что бумажные деньги заменили собою половину звонкой монеты, существовавшей прежде. Предположим теперь новый выпуск бумаги; возобновится тот же ряд последствий; и от следующих выпусков бумаги исчезнет наконец вся звонкая монета (то есть, если выпускается бумага — наименования, равного самой мелкой монете; а если не выпускается бумаги такого малого наименования, останется столько мелкой звонкой монеты, сколько надобно для мелких платежей). От прибавки в количестве золота и серебра, готового идти на украшение, ценность этого товара на некоторое время несколько понизится; и хотя бы выпущено было бумажных денег на всю первоначальную сумму звонкой монеты, но вместе с бумагою удержится в обращении столько звонкой монеты, сколько нужно, чтобы держать ценность денег наравне с уменьшенною ценностью металлического материала: эта часть звонкой монеты будет держаться в обращении, пока ценность золота и серебра остается ниже прежнего; но ценность этих металлов упала ниже стоимости производства, и снабжение золотом и серебром из рудников остановится или уменьшится; таким образом, излишек

их уничтожится путем обыкновенного уничтожения, и после того благородные металлы и деньги снова приобретут свою естественную ценность. Мы тут предполагаем, как предполагали постоянно до сих пор, что страна имеет собственные рудники и не имеет никаких коммерческих сношений с другими странами, а в стране, имеющей заграничную торговлю, звонкая монета, сделавшаяся излишнею от выпуска бумаги, уносится способом, гораздо более быстрым*.

До сих пор влияние бумажных денег в сущности одинаково, будут ли или не будут иметь они размен на звонкую монету; разница между этими двумя положениями бумажных денег начинается обнаруживаться, когда звонкая монета уже совершенно замещена бумажными деньгами и вытеснена из обращения. Предположим, что когда все золото и серебро уже вышло из обращения, будучи замещено бумажными деньгами на такую же сумму, прибавился еще новый выпуск бумажных денег. Возобновляется прежний ряд явлений: поднимаются цены, между прочим цены золотых и серебряных вещей, и попрежнему является выгода доставать звонкую монету для переплавки в слитки. Звонкой монеты уже нет в обращении; но если бумажные деньги подлежат размену на нее, можно еще, в обмен за билеты, получить ее от учреждения, выпускающего билеты. Потому, все прибавившиеся билеты, которые втапливались в обращение по совершенном замещении золота и серебра бумагою, возвратятся к выпустившему их учреждению для размена на звонкую монету; и если бумага разменивается на металлы, нельзя будет удержать в обращении такого количества бумаги, при которой ценность ее упала бы ниже металла, представляемого ею. Но не так бывает с неразменной бумагою. Возрастанию количества ее нет остановки, если она допущена законом. Она может безгранично размножаться новыми выпусками, понижающими ее ценность и соразмерно тому поднимающими цены, иначе сказать, безгранично роняющими ее. [кому бы ни принадлежала эта власть, она составляет невыносимое зло].

Все перемены в ценности орудия обмена вредны; они нарушают существующие договоры и соображения, и при опасении таких перемен становятся совершенно неверны денежные обязательства на долгий срок. Лицо, покупающее себе или дающее другому пожизненный доход в 100 фунтов, не знает, чему будет равняться эта сумма через несколько лет, — 200 фунтам или 50 фунтам на нынешние деньги.

Чтобы ценность денег была безопасна от преднамеренных изменений и как можно меньше подвергалась случайным колебаниям, во всех цивилизованных странах сделаны нормою денежной ценности товары, менее всех известных товаров подверженные колебанию ценности, — благородные металлы, и не следует существовать бумажным деньгам, ценность которых не соотновалась бы с ценностью этих металлов. Это основное правило никогда и никем не забывалось вполне. Вообще лица или общества, выпускавшие бумажные деньги, объявляли, что намерены когда-нибудь в будущем начать уплаты звонкою монетою за бумажные деньги; а если и не говорили этого, то уже тем самым, что всегда давали своим бумажным деньгам имена металлических монет, они уже делали подразумеваемое обещание держать их в ценности, равной с золотыми и серебряными монетами. Держать в такой ценности даже и неразменные бумажные деньги — дело невозможное. Правда, при неразменности нет той самодействующей остановки размножению бумажных денег, какая дается разменом. Но все-таки есть ясный, несомненный признак, по которому видно бывает, упала ли ценность бумажных денег, и насколько именно упала. Этот признак — цена золота и серебра. Когда уже не остается звонкой монеты в обращении и нельзя доставать ее на переплавку в слитки, цена золота и серебра поднимается и падает, подобно цене других предметов. Если она выше цены, установленной для чеканки денег, если унция золота, из которой вычеканивалось бы 3 фунта, 17 шиллингов, 10¹/₂ пенсов, про-

* То есть уходит за границу.

дается за 4 или 5 фунтов бумажных денег, это значит, что в такой пропорции ценность их упала ниже ценности, какую имела бы звонкая монета. Потому бумажные неразменные деньги не будут иметь ни одного из неудобств, обыкновенно считаемых принадлежащими самой натуре их, если выпуск таких денег подчинен строгим правилам, из которых одним будет, что когда цена слитков поднимается выше монетной цены металла, количество выпущенных бумажных денег должно быть уменьшаемо до того, пока рыночная цена слитков и монетная цена опять сравняются.

Но при такой системе неразменность бумажных денег и не имела бы столько выгоды, чтобы принять ее. Неразменные бумажные деньги, выпуски которых определяются ценою слитков, совершенно сходились бы во всем с бумажными деньгами, подлежащими размену, и выгода от неразменности их была бы та, что при ней не было бы надобности держать никакого резервного фонда из золота и серебра; этот расчет не очень важен, особенно потому, что пока добросовестность правительства не заподозрена, ему не нужно держать такого большого резервного фонда, как частным банкирам по невозможности столь больших и внезапных востребований, серьезных сомнений в его состоятельности никогда быть не может. Эта неважная выгода перевешивается, во-первых, возможностью обманчивых спекуляций над ценою слитков, с целью действовать на цену денег, вроде того, как средние цены хлеба колеблются фиктивными его продажами, на которые так много и справедливо жаловались в Англии при существовании хлебных законов. Но еще сильнее тот расчет, что выгодно держаться простого правила самому необразованному уму. Каждому понятно, что такое бумажные деньги, размениваемые на звонкую монету: каждый видит, что вещь, которую всегда тотчас же можно обменять на 5 фунтов, стоит 5 фунтов. Регулирование бумажных денег ценою слитков — понятие, более сложное и лишенное выгодной связи с обычными представлениями. Масса публики далеко не имела бы доверия к неразменным бумажным деньгам, как при размене бумажных денег на звонкую монету; да и образованнейший человек справедливо мог бы сомневаться, будет ли неуклонно соблюдаясь правило об ограничении количества денег. Основания этого правила не вполне понятны для публики; потому общественное мнение, вероятно, не стало бы совершенно строго вынуждать к его соблюдению, а в затруднительных обстоятельствах обратится против него; а для самого правительства остановить размен на звонкую монету представляется мерою, гораздо более крутою и крайнею, чем представлялось бы отступление от правила, могущего казаться несколько искусственным. Итак, очень сильные причины предпочитать размен на звонкую монету неразменности бумажных денег, хотя бы она регулировалась наилучшим образом. В некоторых финансовых случаях соблазн к выпуску лишнего количества бумажных денег так силен, что нельзя допускать ничего, сколько бы то ни было ведущего к ослаблению преград, удерживающих от этого излишества.

Нет в политической экономии ни одного вывода, основанного на таких очевидных причинах, как вредность бумажных денег, не удерживаемых в одной ценности с звонкою монетою, или своею разменностью, или каким-нибудь равносильным ей принципом ограничения; потому этот вывод, хотя и не без долголетних споров, довольно порядочно вколотен наконец в общественное сознание; но до сих пор еще многочисленны люди, отвергающие его, и беспрестанно появляются прожектеры с планами об исцелении всех экономических бедствий общества посредством неограниченного выпуска неразменных бумажных денег. Правда и то, что есть в этой мысли большая очаровательность. Возможность уплатить государственный долг, покрывать правительственные расходы без налогов и ни больше, ни меньше, как обогатить каждого человека в обществе, — это программа блестящая, если только способен человек думать, что можно исполнить ее печатанием нескольких слов и цифр на лоскутах бумаги. Разве от философского камня можно ждать такой же пользы!

Как ни много раз были убиваемы эти проекты, они постоянно возрождаются; потому не лишним делом будет рассмотреть два-три обольщения, ко-

торыми обманывают самих себя изобретатели их. Одно из самых обыкновенных обольщений тут — мысль, будто бы излишка в выпуске бумажных денег не может быть, пока каждая выпущенная бумажка представляет собою имущество или имеет себе основание в действительно существующем имуществе. С этими словами «представлять собою» и «основываться» редко соединяется ясное или точно определенное понятие; а если бывает оно в них, то смысл их бывает лишь тот, что лица, выпускающие бумагу, должны иметь имущество, свое собственное или вверенное им, на полную ценность всех выпускаемых бумажек; но к чему это нужно, хорошенько разобрать нельзя; потому что не легко разгадать, каким манером простое существование имущества может служить поддержкою ценности бумажек, если этого имущества нельзя требовать в обмен за них. Предположу однакоже, что оно назначено служить для имеющих бумажки гарантию того, что они были бы наконец вознаграждены в случае, если бы какое-нибудь несчастное событие заставило бросить всю эту систему. По этой теории составлено много планов «перечеканить всю землю страны в деньги» и т. п.

Насколько эта мысль имеет хоть какую-нибудь связь с рассудком, она возникает из смешения двух совершенно разных дурных сторон, какие бывают в бумажных деньгах. Первая сторона — несостоятельность лиц, выпустивших бумажки; если бумажки основаны на их кредите, на обещании уплаты звонкою монетою по первому востребованию или в известный срок, эта несостоятельность, конечно, лишает бумажки всей ценности, какую дает обещание размена. Бумажные деньги могут подвергаться этой беде, в каком бы умеренном количестве ни были выпущены; и против нее действительно успешною предосторожностью было бы условие, что всякий выпуск должен «основываться на собственности». Например, что билеты должны выпускаться лишь с залогом под них какого-нибудь ценного предмета, прямо назначенного на их выкуп. Но теория эта не принимает в расчет другой беды, которой могут подвергаться билеты самой состоятельной фирмы, компании или правительства: они могут упасть в цене оттого, что выпущены в чрезмерном количестве. Ассигнаты во время французской революции были примером денег, основанных на этих принципах. Они «представляли» собою громадную массу чрезвычайно ценного имущества, именно коронные, церковные, монастырские земли и земли эмигрантов. Все это вместе составляло, быть может, около половины французской территории. Ассигнаты были закладными записками на эту массу земли или квитанциями на получение земель. Революционное правительство вздумало «перечеканить» эти земли в деньги; но, к чести его, должно сказать, первоначально не думало о безмерном размножении этих билетов, к которому было принуждено силою событий, при исчезновении всех других финансовых средств. Оно думало, что ассигнаты станут быстро возвращаться в руки правительства в обмен за землю и что ему можно будет постоянно выпускать их вновь, пока все земли распродадутся и постоянно будет в обращении очень умеренное количество их. Оно обманулось в этой надежде: земля не продавалась так быстро, как оно ожидало; покупщики не были расположены обращать свои деньги в имущества, которые, вероятно, были бы взяты назад без вознаграждения, если революция была бы подавлена. Лоскуты бумаги, представлявшие собою землю, чрезвычайно размножившись, точно так же не могли сохранить своей ценности, как сохранила бы ее и самая земля, если бы вся вдруг явилась на рынок; результат был тот, что наконец за чашку кофе требовалось платить ассигнат в 500 франков.

Говорят, что пример ассигнатов неубедителен, потому что ассигнат представлял собою только землю вообще, а не какое-нибудь определенное количество земли. Утверждают, что верным средством предотвратить упадок их цены было бы сделать оценку всего конфискованного имущества, по ценности его на звонкую монету, и выпускать ассигнаты до этой суммы, но не выше ее, давая владельцам ассигнатов право брать какой угодно кусок земли по ее кадастровой оценке в обмен за такую же сумму ассигнатов. Не может быть спора о том, что такой план лучше системы, которой тогда следовали. Если бы приняли этот метод, ассигнаты никак не могли бы упасть до неле-

пой цены, до какой упали: они сохранили бы всю свою покупательную силу относительно земли, как бы сильно ни упали относительно других предметов; потому, вероятно, были бы они предъявлены на обмен на землю прежде, чем потеряли бы много из своей рыночной ценности. Но должно не забывать, что если бы они не теряли ценности, это значило бы, что количество их, продолжающее находиться в обращении, не больше того, какое нашлось бы в обращении и при размене их на звонкую монету. Итак, если в революционное время и были очень полезны эти деньги, размениваемые на землю по первому востребованию, как способ быстро продать большое количество земли с наименьшею по возможности потерей, то трудно сказать, какую выгоду для страны, сравнительно с бумажными деньгами, размениваемыми на звонкую монету, имела бы эта система, как постоянное учреждение; а каковы были бы ее невыгоды, вовсе нетрудно сказать; ценность земли гораздо изменчивее ценности золота и серебра; сверх того, для большинства владение землею приятно лишь при возможности обратиться ее в деньги, а без того было бы скорее обременительно, чем приятно; из этого следует, что нужен гораздо больший упадок в ценности денег, чтобы люди стали обменивать их на землю, чем какой достаточен для того, чтобы обменивать их на золото и серебро*.

Одно из самых явных заблуждений, которыми думали опровергнуть надобность в размене бумажных денег на звонкую монету, — ошибка, проникающая всю книгу, недавно изданную Джоном Гре (*Lectures on the Nature and Use of Money by John Gray*⁹³). Из всех планов неразмennых бумажных денег, какие читал я, план Гре самый замысловатый и менее всех других имеет в себе недостатков. Автор очень сильно проникся некоторыми из главных мыслей политической экономии и в том числе важною мыслью, что истинным рынком для товаров служат сами товары и что производство — существенная причина и мера запроса. Но, по его словам, эта теорема, применяющаяся к системе мены, не прилагается к денежной системе, управляемой золотом и серебром, потому что, если сумма товаров возрастает быстрее суммы денег, цены должны падать и все производители подвергаться потерям; а количество золота, серебра «решительно не может быть увеличиваемо по произволу так быстро, как увеличивается общая сумма всех других предметов, имеющих «ценность»; таким образом, произвольно ставится предел сумме производства, какое может быть ведено без потери для производителей; и на этом основании Гре обвиняет существующую систему в том, что от нее продукт Англии становится по крайней мере на 100 миллионов фунтов в год меньше, чем был бы при денежной системе, могущей расширяться совершенно пропорционально возрастанию количества товаров.

Но, во-первых, что мешает количеству золота или какого другого товара, «увеличиваться столь же быстро, как возрастает общая сумма всех других предметов, имеющих ценность?» Когда общая сумма всех производимых на земном шаре товаров удвоилась, что же препятствует также удвоиться годичному производству золота? А ведь только это и было бы нужно, а не то, чтобы (как можно подумать по способу выражения Гре) оно удвоилось столько раз, сколько есть других имеющих ценность предметов, сравниваемых золотом. Пока не будет доказано, что производство благородных металлов не мо-

* Вот один из тех планов относительно денежной системы, которые, странно сказать, оказываются имеющими за себя писателей замечательного ума. Государство должно принимать в залог всякую собственность без ограничения суммы, например, землю, скот и т. д., и выдавать собственникам неразмennые бумажные деньги по сделанной оценке. Такие деньги не имели бы даже и тех достоинств, как воображаемые ассигнаты, о которых говорит наша гипотеза; лица, которым заплатили бы этими билетами люди, получавшие их, не могли бы возвращать их правительству и требовать в обмен за них землю или скот, потому что эти вещи только заложены, а не отчуждены. Такие ассигнаты не возвращались бы в руки правительства, и упадок их цены не имеет границы.

жет увеличиться от увеличения употребляемого на то труда и капитала, останется очевидным делом, что возрастание ценности товара будет точно так же возбуждать к расширению рудокопных операций, как возбуждает (по признанию самого Гре) к расширению операций во всех других отраслях производства.

Но, во-вторых, если б количество денег и вовсе не могло увеличиваться, и если б всякое увеличение в сумме продукта страны необходимо сопровождалось пропорциональным понижением общей высоты цен, то все-таки непонятно, как человек, вникавший в дело, может не видеть, что упадок цены, происходящий от этой причины, не обращается в потерю производителя; они получают меньше денег; но меньшая сумма имеет теперь во всех и производительных и личных расходах ровно такую же силу, какую имела прежде большая сумма. Единственная перемена была бы в том, что увеличилась бы тяжесть неизменяющихся денежных платежей; а при очень медленном ходе, какой имела бы эта перемена, лишь очень малая доля этого обременения упала бы на производительные классы, на которых мало бывает давнишних долгов и которые потерпели бы почти только от увеличения тяжести своей доли в платеже тех налогов, которыми уплачиваются проценты государственного долга.

Третье обольщение, на котором опираются приверженцы неразменных бумажных денег, — мысль, будто бы от увеличения количества денег оживляется промышленность. Эту мысль зарекомендовал Юм в своем «Трактате о деньгах», и с той поры она имела много преданных приверженцев, например писателей, называющихся Бирмингемскою школою (Birmingham Currency School), замечательнейшим представителем которой был некогда Аттвуд. Он утверждал, что возвышение цен, производимое увеличением количества бумажных денег, возбуждает каждого производителя к самой усиленной энергии и вводит в полное занятие весь капитал и труд страны, что это всегда бывало во все периоды возвышения цен, когда возвышение происходило в достаточно большом размере. Но я полагаю, что возбуждением, поощряющим, по словам Аттвуда, к этому необыкновенному усердию всех людей, занятых производством, было ожидание получить в обмен за продукт своего труда вообще большее количество всяких вообще товаров, получить больше реального богатства, а не просто только получить больше лоскутов бумаги. А самая терминология гипотезы показывает, что в этом ожидании люди обманывались; потому что при гипотезе равного возвышения всех цен в сущности никто не получал за свои товары больше прежнего. Писатели, соглашавшиеся с Аттвудом, могли бы склонить людей к этой чрезвычайной деятельности лишь продолжением того, что на самом деле оказывалось бы обольщением, лишь таким устройством дел, чтобы постоянно возрастали денежные цены и каждому производителю постоянно казалось, будто бы он вот уже и получает вознаграждение больше прежнего, чего на самом деле он вовсе не получает. Довольно будет, не приводя других возражений против этого плана, указать только на его совершенную неосуществимость. Он рассчитывает на то, что все вечно будут держаться мнения, будто бы от увеличения в числе лоскутков бумаги они богатеют, и никогда не заметят, что на всю свою бумагу не могут они купить никакого предмета больше, чем покупали прежде. Такого заблуждения не бывало в людях ни в один из тех периодов возвышения цен, опыту которых придает так много важности Бирмингемская школа. В те периоды, которые Аттвуд ошибочно считал временами благоденствия и которые были просто временами спекуляции (как непременно должны быть и все периоды возвышения цен при разменивающихся бумажных деньгах), — в эти периоды спекулянты думали, будто бы они обогащаются не потому, что высокие цены удержатся, а потому что они не удержатся, и что каждый, успевший реализовать во время дороговизны, найдет себя после упадка цен — имеющим большее прежнего количество фунтов стерлингов, которые станут иметь не меньше ценности, чем прежде. Если бы в конце спекуляции сделан был выпуск бумажных денег в таком размере, чтобы удержались цены на крайней высоте, какой достигали, никто не был бы огорчен так сильно, как спекулянты, потому что растаял бы в их руках

барыш, который, как им казалось, приобрели они своевременным реализованием (насчет своих сотоварищей, покупавших, когда они продавали, и ставившихся в необходимость продавать, по упадке цен), и вместо этого барыша не приобрели бы они ничего, кроме того, что приходится им пересчитывать несколько больше лоскутков бумаги, чем прежде.

У Юма эта теория имела несколько иной вид, чем у Аттвуда. Он думал, что не все товары поднимаются в цене одновременно и что потому некоторые люди получают действительный выигрыш, получив за свои проданные товары денег больше прежнего, между тем как еще не все те предметы, которые желают они купить, поднялись в цене. И кажется, он думал так, что достанется этот выигрыш непременно тем, кто покончит дело раньше других. Но очевидно, что на каждого, получающего таким образом больше обыкновенного, непременно должен приходиться кто-нибудь другой, получающий меньше обыкновенного. Если бы дела шли по гипотезе Юма, теряющим лицом был бы продавец товаров, поднимающихся в цене медленнее других; он по этой гипотезе отдаст свои товары за прежние цены покупателям, уже воспользовавшимся новыми ценами; он получил за свой товар лишь прежнее количество денег, между тем как уж есть вещи, которых нельзя купить в прежнем количестве за эти деньги. Потому, если он знает ход дела, он возвысит свою цену, и тогда покупатель не получит барыша, которым, по гипотезе Юма, возбуждается его деятельность. Если же, напротив, продавец не знает положения дел и догадывается о нем, лишь когда найдет при расходовании своих денег, что недостает их на прежние покупки, — если будет так, то он получает за свой труд и капитал вознаграждение меньше обыкновенного, и если деятельность другого торговца поощряется, то надобно думать, что по противоположности его обстоятельств, его деятельность ослабляется.

Общее и прочное возвышение цен или, иными словами, упадок ценности денег — не может никому послужить в выгоду иначе, как с убытком кому-нибудь другому. Замена звонкой монеты бумажными деньгами — выигрыш для нации; всякое увеличение количества бумажных денег сверх этой границы — только особенный вид налога.

Выпуск билетов — явный выигрыш для выпускающих лиц, которые пользуются билетами, как будто билеты эти — действительный капитал; пока не возвращаются к ним на уплату сами билеты; и пока билеты не увеличивают постоянного количества денег, а лишь заменяют равную их сумме сумму золота или серебра, выигрыш лица, выпускающего билеты, не служит убытком никому. Он получается через то, что общество избавляется от издержек на материал, который обходится обществу дороже. Но если уже не остается золота или серебра на замену билетами, если билетами увеличивается количество денег, а не просто заменяется металлическая часть денег, то люди, в руках которых находятся деньги, теряют через упадок их ценности ровно столько же, сколько выиграет выпускающий билеты. В сущности дела, с них берется налог в его пользу. Могут возразить, что выиграивают также производители и торговцы, которые получают ссуды, благодаря вновь выпущенным билетам. Но их выигрыш — не прибавка к выигрышу, получаемому выпускающим билетами лицом на счет всех, у кого в руках были деньги, а составляет лишь часть этого выигрыша. Лицо, выпускающее билеты, не оставляет у себя, а делит с своими клиентами налог, собираемый с публики⁹⁹.

Все это совершенно справедливо, и мысль о возможности прочной системы бумажных денег, не размениваемых по первому востребованию на звонкую монету выпустившим их учреждением, — о возможности обеспечивать прочную ценность бумажных денег чем бы то ни было, кроме звонкой монеты, — эта мысль ни больше, ни меньше, как чистейшие пустяки. Но планы выпуска бумажных денег в огромном количестве имеют еще другое значение, кроме того, какое показывает в них Милль.

Бывают и такие выпуски чрезмерного количества бумажных денег, которые имеют целью одно — покрытие государственных расходов через эту особенную форму беспроцентного займа. Но едва ли найдется хотя один значительный теоретик или публицист, который защищал бы подобные обороты. Но есть многие замечательные теоретики, требующие такого же выпуска бумажных денег совершенно с иною целью, с целью употребить эти деньги на совершение важных реформ в экономическом быте страны.

Постройка железных дорог, устройство дренажа или орошения полей в широком размере, забота о развитии какой-нибудь отрасли промышленности и т. д. и т. д. — словом сказать, всякое улучшение, совместное с коренными принципами нынешнего быта, легко может быть произведено без всяких чрезвычайных мер, каков бы ни был размер затраты, нужной на него. Обычный ход дел сам собою доставляет по мере надобности средства, нужные для его развития. Тут правительству надобно только захотеть, надобно только понять пользу дела и выставить ее биржевому миру, — он или сам исполнит всякое полезное для него дело, или обильно снабдит правительство деньгами на него.

Но есть улучшения совершенно иного рода, которых никогда не захотят совершить собственными средствами господствующие над экономическим бытом силы. Это — реформы, которыми изменялись бы принципы устройства, выгодного для них. При малейшем подозрении, что правительство намерено заняться такими реформами, коммерческий мир тревожится, наступает торговый кризис, и деньги исчезают с биржи. Так было во Франции в 1848 г.: тогда страх и озлобление коммерческого мира были совершенно напрасны; во временном правительстве господствовали люди, решительно не желавшие никаких важных перемен в экономическом быте¹⁰⁰. Но предположим, что оно действительно желало бы совершить какие-нибудь перемены. На всякое дело нужны деньги; на такое большое дело, как изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистам, нужно очень много денег. Разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами, но чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег. Это один из тех экстренных случаев, которыми оправдывается заключение долгов, требуется поставить на ноги миллионы людей, забитых нуждою, избавить их от бедственной судьбы. Чтобы прекратить постоянное несчастье, тяготеющее над массою населения, на это и должен был бы поспешить кредит с своим пособием. Но кредит не может пособить тут, потому что кредита нет. Откуда же взять деньги?

Сообразнее всего с экономической теориею было бы прямое, откровенное решение вопроса, которое рекомендуется тео-

рию и для всяких экстренных государственных расходов: взять нужные для дела деньги посредством налога. Так, если правительство чувствует себя прочным. Но вспомним, что мы говорим о временах, подобных 1848 г. во Франции, когда правительство едва-едва держалось против партий, желавших возвращения к старому порядку. В этом шатком положении приходится лавировать, сообразоваться с господствующими предубеждениями, принимать не тот способ действия, который сам по себе наилучший, а тот, который произведет наименее тяжелое впечатление на общество, хотя в сущности будет тяжело для него. Что делать? Тут задача исполняется не такими людьми, которые спокойно могут рассчитывать на свою будущность, а такими, жизнь которых висит на волоске, и волосок этот оборвется, непременно оборвется, не ныне — завтра оборвется, и погибнет с ними их дело, если волосок оборвется ныне, — во что бы то ни стало надобно продержаться нынешний день, чтобы уметь хотя что-нибудь сделать. — Да, представьте себе это положение, и вы поймете мысль о неограниченном выпуске бумажных денег для произведения коренных реформ в устройстве экономического быта.

В нынешнем году французское правительство должно сделать экстренные расходы на сумму, быть может, равняющуюся всему обыкновенному бюджету. Удвоить налоги? Этого будет мало. Удвоенный налог дает сумму дохода, далеко меньше, чем двойную. Надобно утроить их. Но утроить налоги — как тяжело покажется это каждому! А при заключении займа, равносильного утроению налогов, публика не понимает, что берется с нее и расходуется точно такое количество продуктов, как и при установлении налога, — она не понимает этого, она ропщет гораздо меньше или вовсе не ропщет, даже остается довольна, даже радуется. Обыкновенного займа сделать нельзя по исчезновении кредита, — остается сделать прикрытый заем в форме выпуска бумажных денег. Эта форма самая неудобная, — тут и спора нет, — но что ж делать, когда она одна возможна для совершения дела, которое дороже всего? Нечего жалеть ничего для улучшения судьбы народа: *salus populi lex suprema esto* *.

Рассуждая об этом вопросе в спокойные времена, рассматривая его издали, конечно, рассуждаешь иначе. И мы теперь, когда пишем эту статью, рассуждаем иначе, и всегда будем рассуждать, когда будем писать подобные статьи. Но, господа, мало ли каких вещей не оправдывает историческая необходимость? Все те эпизоды истории, которые называются славными, все те реформы, за которые благодарят наши современники своих предков, — все они имели в себе много, много такого, что гораздо потяжеле слишком большого выпуска бумажных денег.

* Благо народа должно быть наивысшим законом. — *Ред.*

Сладка была бы обязанность верных служителей прогресса, если бы требовала только таких отступлений от безукоризненной чистой теории.

Всякий государственный заем есть прикрытый налог, и притом налог более тяжелый, чем налоги, называющиеся этим именем. Публицисты, предлагавшие выпуск бумажных денег на совершение экономических реформ, предлагали только одну из самых дурных форм займа, — и, разумеется, предлагали ее вовсе не потому, чтобы не знали, насколько она хуже других форм, а потому, что предусматривали обстоятельства, при которых все другие формы займа невозможны. Вот только и всего.

Бывают ли обстоятельства, извиняющие государственный заем? По чистой теории, таких обстоятельств не бывает. По ней налог всегда лучше и легче займа. Но если вы, принимая в соображение господствующие предрассудки, допускаете, что в практике невозможно иногда правительству не прибегать к займу, то нечего и спорить нам с вами о той особенной форме займа, которая называется чрезмерным выпуском бумажных денег. Что она дурна, мы в этом не спорим с вами. А позволительна ли она при невозможности других форм, это зависит уже просто от вашего взгляда на дело, ради которого делается заем; пожертвование тут велико; но если дело стоит пожертвований, люди, не отступавшие перед ними, оправдываются историей.

В. КОЛЕБАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМА ЦЕННОСТЕЙ

(Гл. XIV и XV)

Мы видели, что кредитные бумаги представляют собою только развитие отношений, из которых возникает звонкая монета. Они только живее звонкой монеты исполняют ту же самую функцию, как она; и как она не производит никакой перемены в направлении экономической деятельности, только способствует облегчению оборотов в быте, основанном на обмене, точно так же и кредитные бумаги только еще больше облегчают и развивают эти обороты, не внося в их сущность ровно ничего нового. Но как при некотором развитии быта, основанного на обмене, необходимо является звонкая монета, точно так же, при более высоком его развитии, необходимо являются кредитные бумаги. А при высоком развитии такого быта приобретают поразительную силу явления, почти незаметные при слабом его развитии. По обыкновенной иллюзии поверхностного взгляда, смешивающей внешнюю принадлежность дела с самим делом, симптом или форму явления с причиною явления, очень распространен предрассудок, приписывающий собственно кредитным бумагам те феномены, которые достигают громадного размера только при высоком развитии экономической деятель-

ности. Из числа этих феноменов очень занимательны так называемые коммерческие кризисы. Вот краткое извлечение из отчета, посвященного Миллем разъяснению этих экономических землетрясений, ломающих фирмы, разрушающих фабрики, оставляющих без куска хлеба тысячи бывших богачей и миллионы работников.

При обыкновенных обстоятельствах человек пользуется только частью своей покупательной силы, оставляя другую часть ее в запасе. Но если он воспользуется ею всею, спрос на товары увеличится. Это расположение пользоваться всею своею покупательною силою является у торговца, когда он ждет возвышения цены на товар по предусматриваемому недостатку снабжения или экстренному увеличению потребления; он думает при этом воспользоваться будущим возвышением цены для перепродажи закупленного товара. Но от самого увеличения его закупок цена товара растет. Увлеченные этим, все спекулянты начинают усиленно закупать товар, рассчитывая на дальнейшее возвышение цены. Таким образом, цена поднимается до высоты, на которой не может держаться. Заметив это, спекулянты спешат продавать закупленный товар, цена его быстро падает; спекулянтами овладевает панический страх, они стараются поскорее продавать товар во чтобы то ни стало, пока цена не упала еще ниже, и от этого цена падает чрезвычайно низко. Все, кто не успел продать своих закупок очень рано, терпят очень большие убытки, и очень многие разоряются; — то, что происходит с одним известным товаром, может произойти со всеми вообще товарами, если спекулянты ожидают общего возвышения цен от предполагаемого какого-нибудь особенного оживления торговли. Когда это чрезмерное возвышение цен от закупок на спекуляцию для перепродажи простирается на все товары, то, натурально, подвергнутся все они и чрезмерному упадку цен. Это называется коммерческим кризисом. Очевидным образом, дело тут зависит не от того, какие формы кредита употребляются, и употребляются ли какие-нибудь формы кредита, выпускаются ли или не выпускаются для увеличения закупок новые суммы кредитных бумаг, дело зависит просто от расположения торговцев и спекулянтов пользоваться всею своею покупательною силою для чрезвычайного увеличения закупок. Если не будут выпускаться для этого новые кредитные бумаги, увеличение покупок может точно так же произойти посредством покупки под простую расписку или по простому внесению их в коммерческие счета. Если бы необходимо было производить покупки не в кредит, а с немедленною уплатою звонкою монетою, точно то же могло бы происходить через увеличение быстроты в обращении звонкой монеты. Связь коммерческих кризисов с кредитными бумагами в существе дела только та, что быстрый ход закупок в огромном раз-

мере возможен, конечно, только при высоком развитии экономической жизни, основанной на обмене, а при таком развитии экономической жизни непременно существует и высокое развитие кредита, а в числе других его форм и высокое развитие так называемых кредитных бумаг.

С коммерческими кризисами связан вопрос о так называемом излишке снабжения. Вот как разъясняется он у Милля.

Изложив в предыдущих главах элементарную теорию денег, мы возвратимся к тому вопросу общей теории ценности, которого нельзя было удовлетворительно анализировать, не разъяснив сущности и роли денег, потому что ошибки, с которыми нам придется спорить, возникают главным образом из неверного представления о роли денег.

Мы видели, что ценность каждого предмета тяготеет к известной средней точке, которая названа естественною ценностью, — к величине, при которой предметы обмениваются между собою пропорционально стоимости своего производства. Мы видели также, что действительная или рыночная ценность совпадает или почти совпадает с естественною лишь по среднему чыводу за несколько лет и постоянно поднимается выше или падает ниже естественной ценности по переменам в запросе или случайным колебаниям в снабжении, но что эти отклонения выравниваются тенденциею снабжения приспособляться к запросу, существующему на товар при его естественной ценности. Таким образом, из уравнивания противоположных уклонений происходит общее стремление к одному центру. Дороговизна или недостатка, а с другой стороны, излишек снабжения или завал рынка — явления, случающиеся со всеми товарами. При недостатке, пока тянется она, товар дает производителям или продавцам необыкновенно высокий процент прибыли. При завале рынка продавцы должны довольствоваться прибылью меньше обыкновенной, а в крайних случаях — подвергаться даже убытку, потому что снабжение имеет величину больше той, на какую существует запрос, при ценности, дающей обыкновенную прибыль.

Из того, что феномену излишка снабжения и возникающей из него невыгоде или потере для производителей может подвергаться решительно всякий товар, многие писатели, в том числе и некоторые знаменитые политико-экономы, заключали, что может подвергаться ему вся сумма товаров, что может случаться чрезмерность в общем производстве богатства, что по всей сложности всех товаров снабжение может быть больше запроса, имея своим последствием стеснение для всех разрядов производителей. Против этого мнения, главными проповедниками которого были в Англии Мальтус и доктор Чомерс, а на континенте Сисмонди, я уже спорил в первой книге, но в том периоде нашего исследования нельзя было сделать полного разбора этой ошибки, происходящей, как мне кажется, главным образом от ошибочного понимания феноменов ценности и цены.

Самые понятия, связываемые этою теориею, кажутся мне столь несообразными между собою, что я затрудняюсь найти для нее изложение, которое было бы и удовлетворительно для ее защитников, и с тем вместе ясно. Держащиеся ее писатели утверждают, что может случаться, иногда случается в общей сумме продуктов излишек над запросом на продукты; что когда это случается, нельзя бывает найти покупателей по ценам, оплачивающим с прибылью стоимость производства, что из этого происходит тогда общая низкость цен или ценностей (они вообще смешивают оба эти понятия), так что производители видят себя не богатеющими, а беднеющими сразмерно увеличению своего производства; и потому доктор Чомерс внушает капиталистам, чтобы они подчиняли себя нравственному воздержанию в искании выгоды; а Сисмонди проклинает машины и другие изобретения, увеличивающие производительную силу¹⁰¹. Оба они утверждают, что накопление капитала может идти быстрее, чем требуют не одни только нравствен-

ные, но также и материальные интересы производящих и накапливающих лиц; и оба они рекомендуют богатым предотвращать это зло большим непродовольственным потреблением.

Трудно хорошенько понять, который из двух элементов запроса разумеют эти писатели, когда говорят об излишке снабжения товарами над запросом, — разумеют ли они желание иметь товары, или средства покупать их; то ли хотят сказать они, что при излишке снабжения существует для потребления больше продуктов, чем сколько желает потреблять общество, или только то, что их больше, чем сколько могут купить желающие. Не зная, какую из этих двух гипотез разумеет Чомерс и Сисмонди, мы должны рассмотреть обе.

Сначала предположим, что количество произведенных товаров не больше того, какое была бы рада потребить нация; возможно ли в том случае, чтобы была недостача запроса на все товары по недостатку средств уплаты? Люди, считающие это возможным, не сообразили, в чем собственно состоят средства уплаты за товары. Они состоят просто в товаре. Средства каждого к уплате за товары других людей состоят в тех товарах, которыми владеет он сам. Все продавцы неизбежно и по самому смыслу слова — покупщики. Если бы могли мы вдруг удвоить производительные силы страны, мы удвоили бы снабжение товарами на всех рынках; но тем же самым удвоили бы мы покупательную силу. Каждый явился бы на рынок с удвоенным снабжением, но и с удвоенным запросом; каждый мог бы купить вдвое больше, потому что предлагал бы в обмен вдвое больше прежнего. Конечно, по всей вероятности в некоторых товарах был бы излишек. Общество радо было бы удвоить общую сумму своего потребления, но некоторых товаров оно может быть уже имело и прежде столько, что больше ему не нужно; и оно, вместо того, чтобы удвоить потребление их, захотело бы употребить других товаров больше, чем вдвое, или обратить свою увеличившуюся покупательную силу на новые предметы. В этом случае приспособилось бы к тому снабжение, и ценности предметов продолжали бы быть сообразны с стоимостью производства. А во всяком случае чистая нелепость — говорить, что ценность всех предметов упадет и что поэтому все производители будут получать вознаграждение недостаточное. Если ценности останутся прежние, то перемены цен неважны, потому что вознаграждение производителей определяется не тем, сколько денег, а тем, сколько потребляемых вещей получают они за свои товары. Притом же и деньги также — товар; если мы предположили, что количество всех товаров удвоилось, значит, мы предположили, что удвоилось также и количество денег; а в таком случае не упадут и цены, как не падают ценности.

Мы видим, что общий излишек снабжения всеми товарами над запросом — невозможность, если запрос состоит в средствах уплаты. Но, быть может, предположат недостачу не в средствах покупать, а в желании иметь; предположат, что общий продукт промышленности больше того, сколько желает потреблять общество или по крайней мере та часть общества, которая имеет средства покупать. Дело очевидное, что рынком для продукта служит продукт и что страна имеет довольно богатства на покупку всего находящегося в ней богатства; но у кого есть средства, у тех может не быть надобности, а у кого есть надобность, у тех может не быть средств. Потому часть произведенных товаров может не найти себе рынка по недостатку средств у тех, которые желают потреблять, и по недостатку желания у тех, которые имеют средства.

Вот самая благовидная форма, которую можно придать мнению, нами оспариваемому; в ней оно уже не представляется, как в прежней форме, логическою несообразностью. В действительности легко может быть известного товара больше, чем желают иметь люди, могущие покупать, а в теории возможно предположить это относительно всех товаров. Ошибка происходит оттого, что не замечают одного обстоятельства: лица, могущие покупать, предполагаются имеющими все, какое хотят иметь, количество всех потребляемых товаров; это можно предположить; но тот факт, что они продолжают производить свой товар, показывает, что они еще не имеют такого количества товаров. Возьмем благоприятнейшую для опровергаемой нами теории гипо-

тезу: предположим неразмножающееся общество, каждый член которого имеет столько предметов необходимости и всех известных предметов роскоши, сколько ему хочется иметь. Нелепостью было бы думать, что лица, потребности которых вполне удовлетворены, станут трудиться и сберегать, чтобы получить вещи, которых они не желают. Предположим же, что прибыл иностранец и что он производит прибавочное количество какого-нибудь продукта, которого уже и без того было довольно. «Вот тут и будет, скажут нам, излишек производства». — Правда, отвечаю я: — излишек производства этого отдельного товара; обществу не нужно было увеличивать количество этого товара, но нужно было увеличить количество какого-нибудь другого товара. Прежним жителям не нужно было ничего, я согласен; но не было ли чего нужно самому иностранцу? Производя излишний товар, разве он работал без какого-нибудь побуждения? Он только произвел не то, что было нужно. Быть может ему нужна была пища, а он производил часы, которыми все были достаточно снабжены. Этот приезжий принес в страну с собою запрос на товары, равный всему, что мог он произвести своим трудом, и ему следовало сообразить, чтобы внесенное им снабжение соответствовало этому запросу. Если он не мог произвести чего-нибудь способного возбудить новую потребность или новое желание в обществе, чтобы для удовлетворения этого желания кто-нибудь произвел больше пищи и дал ему ее в обмен продукта, у него была другая возможность: он мог произвести пищу для себя, или распахав новую землю, если есть незанятая земля, или сделавшись фермером, или товарищем или работником какого-нибудь прежнего хозяина, желающего несколько облегчиться от труда. Он произвел ненужную вещь вместо нужной вещи; да, может быть, и сам он — производитель не того рода, какой нужен; но излишка производства тут нет; производство не чрезмерно, а лишь дурно размещено. Мы уже видели, что каждый, кто приносит на рынок прибавку к товарам, приносит прибавку к покупательной силе; теперь мы видим, что он приносит также прибавку и к желанию потреблять; потому что, не имея этого желания, он не стал бы и утруждать себя производством. Таким образом, когда есть прибавка к снабжению, то не может быть недостатка ни в том, ни в другом из двух элементов запроса, — хотя очень может быть, что запрос существует на один предмет, а снабжение состоит, по несчастию, из другого.

Сбитый со всех пунктов, противник, может быть, скажет, что есть люди, производящие и накапливающие просто лишь по привычке, не потому, чтобы имели какую-нибудь цель в увеличении своего богатства, чтобы желали в чем-нибудь увеличить свое потребление, а по силе косности, *vis inertiae* *. Они продолжают производить потому, что машина уж заведена; они сберегают и снова пускают в дело свои сбережения, потому что ни на что не хочется им тратить их. Я согласен, что это возможно и что у некоторых немногих людей оно, вероятно, так и бывает; но эти случаи нисколько не колеблют нашего вывода. Что делают эти люди с своими сбережениями? Они употребляют их на производство, то есть расходуют их на занятие труда. Иными словами, имея у себя покупательной силы больше, чем сколько умеют употреблять на себя, они передают этот излишек в общую пользу рабочего класса. А разве рабочий класс тоже не сумеет употребить ее на себя? Разве предполагать нам, что его потребности также уже совершенно удовлетворены и он продолжает работать только по привычке? Пока этого еще нет, пока рабочий класс еще не достиг этой черты насыщения, не будет недостатка в запросе на продукт капитала, с какою быстротою ни накаплиался бы капитал; он до той поры всегда найдет себе занятие в производстве предметов необходимости или роскоши для рабочего класса, если уж не на что идти ему, кроме этого. А когда и рабочий класс тоже не будет иметь желания увеличивать потребление ни предметов необходимости, ни предметов роскоши, он воспользуется всяким дальнейшим возрастанием рабочей платы для уменьшения своей работы; так что излишек производства, который лишь тут в первый

¹ Сила инерции. — *Ред.*

раз становился бы возможен по теории, не мог бы и тогда явиться фактически — по недостатку работников. Следовательно, в каком бы виде ни представляли мы себе теорию общего излишка в производстве, хотя бы мы дошли до крайнего предела в придумывании благоприятнейшей для нее гипотезы, все-таки теория оказывается нелепостью.

Чем же приведены были к принятию такого нерационального мнения люди, столь много размышлявшие об экономических феноменах и даже способствовавшие своими оригинальными идеями пролитию света на них? Мне кажется, что они были введены в эту ошибку ошибочным пониманием некоторых торговых фактов. Им представлялось, будто возможность излишка в общей сумме снабжения товара доказывается опытом. Они думали, что видят этот феномен в известных состояниях рынка, истинное объяснение которых совершенно иное.

Я уже описывал положение товарных рынков, каким сопровождается так называемый коммерческий кризис. В такие эпохи действительно бывает излишек всех товаров над денежным запросом; иными словами, — бывает недовольства снабжения деньгами. От внезапного уничтожения значительной массы кредита никому не хочется расставаться с наличными деньгами, а много бывает людей, хлопотливо старающихся достать их с каким угодно пожертвованием. Потому почти каждый становится продавцом, а покупателей почти нет; так что действительно может являться (впрочем, только на время кризиса) чрезвычайный общий упадок всех цен, рождающийся от завала рынков товарами или, что то же, от дороговизны денег. Но совершенная ошибка — предполагать с Сисмонди, что коммерческий кризис происходит от общего излишка производства. Он происходит просто от излишка спекулятивных покупок. Тут не постепенно приближаются низкие цены, а внезапно падают цены, сумасбродно высокие; непосредственной причиной кризиса бывает сокращение кредита, и исцеляется он не уменьшением снабжения, а восстановлением доверия. Очевидно также, что это временное расстройство рынков бывает бедствием лишь потому, что оно временное. Тут падают лишь денежные цены; и если бы они не поднимались потом вновь, ни один торговец не потерпел бы убытка, потому что и уменьшавшаяся цена имела бы для него такую же стоимость, как прежде имела большая цена. Этот феномен решительно непохож на картину, в какой изображаются Чомерсом и Сисмонди бедствия излишка производства. Постоянное ухудшение состояния производителей по недостатку рынков, воображаемое этими знаменитыми политико-экономами, — такая мысль, которая нисколько не доказывается сущностью коммерческих кризисов.

Другим основанием для мнения об общем излишке богатства и об излишестве накопления служит, по моему мнению, факт, более постоянный, — естественное падение прибыли и процентов при увеличении населения и производства. Причина этого упадка прибыли — увеличение издержек на содержание труда; а это увеличение происходит оттого, что население и запрос на пищу растут быстрее, чем идет сельскохозяйственное улучшение. Эта важная черта экономического процесса наций будет нами подробно рассмотрена и обсуждена ниже (кн. IV, гл. IV). Очевидно, что этот факт — совершенно иная вещь, чем недостаток рынка для товаров, хотя часто и смешивается с ним в жалобах производителей и промышленных классов. Истинное понятие о нынешнем состоянии общественного быта таково, что можно было бы вести промышленные обороты в чрезвычайно громадном размере, если довольствоваться малою прибылью; но даже люди, покоряющиеся современной необходимости, ропщут на эту необходимость и желают, чтобы уменьшилось количество капитала, или, по их выражению, уменьшилось соперничество, чтобы возможно стало получать больше прибыли. Но низкость прибыли совершенно иная вещь, чем недостаток запроса; то производство и накопление, от которого только уменьшается прибыль, не может быть названо излишком снабжения или производства. Истинный характер этого феномена, его последствия и границы, превышать которых он не может, мы увидим, когда будем рассматривать вопрос о понижении прибыли.

Кроме этих двух, я не знаю ни одного экономического факта, который мог бы подавать собою повод к мнению, что существовал или существует когда-нибудь в действительности общий излишек производства товаров. Я убежден, что в коммерческих делах нет ни одного случая, который для своего объяснения нуждался бы в этой химерической гипотезе.

Дело это имеет коренную важность; из различия во взглядах на него происходят коренные различия в политико-экономических системах, особенно с практической стороны. При одном взгляде нам будет нужно думать лишь о том, как сочетать достаточное производство с наилучшим возможным распределением; при другом взгляде надобно думать еще о третьем элементе, о том, как создать рынок для продукта, или как ограничить производство по размеру рынка. Мало того, теория, столь нелогическая, непременно должна вносить спутанность в самые основные принципы предмета и отнимать всякую возможность ясного понимания очень многих из числа сложных экономических явлений общественной жизни. Мне кажется, что от этой ошибки три великих политико-эконома, о которых я упоминал, — Мальтус, Чомерс и Сисмонди, построили свои системы ошибочным образом; каждый из них превосходно понимал и разъяснил некоторые из элементарных теорем политической экономии; но это основное недоразумение, как туман, закрыло от них многосложнейшие отделы науки, совершенно затемнив их перед ними. Еще более сбиваются и смущаются этим спутанным представлением в своих соображениях люди не столь великого ума. Справедливость требует сказать, что заслуга истинного разъяснения этого чрезвычайно важного дела более всего принадлежит двум знаменитым людям: на континенте проницательному Жану Баптисту Сэ, а в Англии — Джемсу Миллю, который убедительно изложил это дело в своей «Элементарной политической экономии»¹⁰², а прежде того с замечательной силою и ясностью представил правильный взгляд на дело в памфлете, написанном по случаю тогдашних споров, под названием «Защита торговли» (*Commerce Defended*)¹⁰³; с этого сочинения началась его известность, и он тем более дорожит им, что через него приобрел дружбу Рикардо, — дружбу, которая была для него самою дорогою и самою тесною во всю его жизнь¹⁰⁴.

Все, что говорит Милль, — чистая правда. Но неужели такие люди, как Сисмонди и Мальтус, не умели понимать того, что называется коммерческим кризисом? Они дошли до мысли, решительно ошибочной, и когда, для отвращения бедствий коммерческих кризисов, они упрашивают богачей увеличивать непроизводительное потребление, они доходят до нелепости, изумляющей своей колоссальностью. Неужели они [не] могли бы избавиться от своего странного заблуждения таким простым соображением, как мысль о происхождении коммерческого кризиса из чрезмерных спекулятивных закупок? — Но ведь это соображение наврное было им очень хорошо знакомо. Как же могли удержаться в таких головах такие нелепости, какие опровергаются Миллем? — Дело в том, что Милль останавливается только на одной коммерческой стороне процесса, не считая нужным упомянуть о его влиянии на производство и потребление. В первой половине дела, когда цены растут, производители, надеясь на чрезвычайно выгодный и легкий сбыт, усиливают свою деятельность точно таким же необычайным образом, как усиливаются закупки. В два, в три месяца фабрики изготовляют столько товаров, сколько изготовляется при обыкновенном ходе дел в полгода. Но ведь сбыт усиливается возрастанием

только спекулятивных закупок, а не самого потребления; оно, напротив, быть может, даже уменьшается, по чрезмерной дороговизне. Что же бывает с производством, когда цены начинают падать? — В предшествующий период заготовлено товаров в три месяца на полгода; ясно, что производство должно было бы остановиться на три месяца, чтобы запасы уменьшены были до обыкновенного размера обыкновенным потреблением. Но потребление в эпоху кризиса, несмотря на упадок цен, бывает меньше обыкновенного, потому что у всех расстроены денежные дела. От этого чрезмерные запасы еще дольше остаются непотребленными. А пока они не потреблены, не уменьшились до обыкновенного размера, новое производство не находит себе сбыта. Таким образом, с коммерческим кризисом всегда бывает соединен промышленный, во время которого ослабевает производство по излишеству сделанных запасов и недостатку сбыта. Вот этою стороною дела и были смущены Мальтус, Чомерс, Сисмонди. Милль совершенно прав, доказывая против них, что производство не может превышать потребностей человека, что капитал (то есть часть продуктов, употребляемая на новое производство) не может возрастать слишком быстро, что с какою быстротою ни возрастал бы он, всегда можно было бы желать еще быстреего возрастания, потому что всегда нашлось бы ему нужное занятие и т. д., — все это совершенная правда, и в словах Мальтуса, Чомерса, Сисмонди находится противоречие с неопровержимыми принципами экономической теории. Но это противоречие произошло только оттого, что Сисмонди и Мальтус остановились на половине пути, не доискались до коренных фактов, порождающих в самой действительности противоречие с экономической теориею.

Теория предполагает, что производство ведется по расчету сбыта на потребление; в таком случае производство никогда не может оказываться чрезмерным. Но что, если в действительности от сбыта на потребление отделяется сбыт на спекуляцию, на перепродажу, и если производство регулируется этим последним видом сбыта? Тогда, при всяком отклонении в размере сбыта на спекуляцию от сбыта на потребление, будет оказываться несоразмерность производства с потреблением, и мы видели, как это происходит в действительности. Потребление по своей натуре склонно иметь величину постоянную, — оно расположено и иметь довольно медленный и постепенный ход как в случаях возрастания, так и в случаях уменьшения. К такому ходу производство могло бы приспособляться очень удобно, так что не оказывалось бы значительной разницы между количеством производимых и количеством сбываемых продуктов. Но спекуляция расположена, по своей натуре, стремиться к чрезмерным крайностям. Она получает выгоду от разности между нынешнею и завтрашнею ценою; чем больше

эта разница, тем пригоднее она для спекуляции. Потому спекуляция идет порывистыми движениями, все рвется к чрезмерному расширению и потом падает от недостатка сил поддержать свой стремительный порыв. Регулируясь ею, производство также увлекается работать не по расчету потребления, опережать размер сбыта на действительное потребление. От этого происходит периодический излишек производства над потреблением, ведущий к остановке в производстве.

Значит ли это, что люди могут наработать больше продуктов, чем было бы в самом деле нужно для них, чем могли они или желали бы потребить? Говоря вообще о всей массе продуктов, — нет, вовсе не значит. Своими стремительными порывами в периоды чрезмерных спекулятивных закупок, предшествующих кризису, производство достигает излишка не сравнительно с потребностями человека в продуктах, а только сравнительно с обыкновенным умеренным своим ходом, по которому образуется обычный размер потребления. Если бы производство долго пошло в этом усиленном размере, потребление развилось бы соразмерно ему, и от этого люди только выиграли бы. Но ведь усиление производства произошло лишь от минутного порыва спекуляции, которая тотчас же и падает, не дав потреблению приспособиться к этому усиленному размеру. Усиленный поток производства не успел еще дойти до области потребления, как он уже сжимается, сохнет, по бессилию спекуляции питать его долгое время.

Таким образом, производство, которое никогда не может превышать размеры человеческих потребностей, может по временам превышать обычный уровень потребления, и неминуемым следствием такого чрезмерного усилия, вызываемого не развитием самого потребления, а только спекуляцией, бывает временный упадок производства, остановка работ. Корень этого бедствия заключается в отделении покупательной силы от производства и потребления, то есть ни меньше, ни больше, как то, что называется у нас торговлею в отдельности от занятий, чисто производительных.

Коммерческий кризис представляет собою крайность, до которой дело доходит лишь по временам, в сроки, обыкновенно отделяющиеся друг от друга несколькими годами. Но если экономическая жизнь общества основана на торговле, то в меньшем размере непрерывно идет тот же самый процесс поочередной смены чрезмерного возвышения цен с соответственным усилением производства и чрезмерного упадка цен с ослаблением производства. Действительно, мы знаем, что кроме постепенного возрастания или уменьшения от перемен в стоимости труда, — кроме этого медленного изменения натуральной или средней ценности товара, меновая ценность каждого товара беспрерывно колеблется на рынке, если экономическая жизнь

страны идет довольно деятельно. Эти непрерывные колебания возбуждают вопрос: неужели же нет для ценностей никакой общей нормы, которая могла бы их измерять довольно прочным образом? — Взгляд господствующей теории на этот вопрос изложен у Милля довольно подробно:

Много спорили между собою политико-экономы о мере ценности. Вопросу этому придавали больше важности, чем он стоит, и рассуждения о нем послужили одним из главных поводов к упреку в логомахии*, упреку, который очень утрированно, но не совершенно безосновательно делают политико-экономам. Но все-таки необходимо коснуться этого предмета, хотя бы затем, чтобы показать, как мало можно сказать о нем.

Мера ценности, по обыкновенному смыслу слова «мера», должна означать какую-нибудь вещь, по сравнению с которой можно определять ценность всех остальных вещей. А сама ценность—явление относительное, и для него необходимы две вещи, независимо от третьей вещи, которую мы хотим измерять их; сообразив это, мы должны сказать, что мера ценности—такая вещь, сравнивая с которой две другие вещи, мы можем находить ценность этих двух вещей по отношению одной из них к другой.

В этом смысле мерою ценности в данное время, в данном месте может служить всякий товар; зная пропорцию, по какой две вещи обмениваются на какую-нибудь третью вещь, мы всегда можем вывести из этого, в какой пропорции обмениваются они друг на друга. Служить удобно мерою ценности—одна из функций товара, который выбран орудием обмена. На этот товар обыкновенно определяются ценности всех других предметов. Мы говорим, что один предмет стоит два фунта, а другой—три фунта; из этого уже и без особенного определения известно, что первый предмет стоит двух третей другого предмета или что они обмениваются между собою в пропорции 2 к 3. Деньги вполне служат мерою ценности.

Но политико-экономы желают отыскать меру, которой определялась бы не ценность вещей, находящихся одновременно в одном месте, а ценность одной вещи в разное время и в разных местах; найти предмет, по сравнению с которым было бы видно, больше или меньше ценности имеет какая-нибудь вещь ныне, чем 100 лет назад в Англии, или в Англии, чем в Америке или Китае. И для этого деньги или всякий другой товар могут служить точно так же, как для определения ценностей предметов в одном месте в данное время; для этого нужно лишь иметь точно такие же данные, нужно иметь для сравнения с мерою не один товар, а два товара или несколько товаров (потому что из одного товара без другого не возникает понятие ценности). Если квартал пшеницы стоит ныне 40 шиллингов и баран тоже 40 шиллингов, а при Генрике I квартал пшеницы стоил 20 шиллингов, баран 10 шиллингов, мы видим, что квартал пшеницы стоил тогда двух баранов, а ныне стоит лишь одного барана и следовательно баран по оценке на пшеницу стоит ныне вдвое больше, чем при Генрике II; и такой вывод совершенно независим от ценности денег в эти два периода по отношению к этим двум товарам (относительно которых ценность денег, вероятно, понизилась), или по отношению к другим товарам (относительно которых нет надобности и упоминать, повысилась ли или понизилась денежная их ценность).

Но писатели, рассуждавшие об этом предмете, желали, повидимому, найти средство определять ценность товара простым сравнением его с мерою ценности, без сравнения его с каким-нибудь другим товаром. Они желали возможности определять по одному тому факту, что квартал пшеницы стоит 40 шиллингов, а прежде стоил 20, изменилась ли и насколько изменилась ценность пшеницы,—определять это, не выбирая для сравнения с пшеницею никакого другого предмета, как мы брали барана; они желали знать не то,

* Словесная война. — Ред.

как изменилась ценность пшеницы относительно барана, а то, как она изменилась относительно всех предметов вообще.

Первым препятствием этому служит неизбежная неопределенность понятия всеобщей меновой ценности, ценности — не по сравнению с известным товаром, а с товарами вообще. Если бы мы и знали с точностью, на какое количество всякой продажной вещи в отдельности обменивался в известное историческое время квартал пшеницы, если бы мы и узнали, что ныне покупается за него известных вещей больше прежнего, а других меньше прежнего, все-таки часто не умели бы мы сказать, поднялась или упала ценность пшеницы относительно всех товаров вообще. Еще гораздо менее возможности решить это, зная перемены ценности пшеницы лишь относительно меры ценности. Чтобы денежная цена вещи в двух разных периодах могла служить мерою общего количества товаров, обмениваемого за эту вещь, нужно было бы, чтобы известная сумма денег соответствовала в обоих периодах одинаковому количеству предметов вообще, то есть чтобы деньги всегда имели одинаковую меновую ценность, одинаковую общую покупательную силу. А в действительности ни деньги, никакой другой товар не имеют такой неизменности, и нельзя даже предположить таких обстоятельств, при которых была бы такая неизменность.

Мы видим из этого, что мера меновой ценности невозможна, и писатели, говорившие о ней, сформировали себе под словами «мера ценности» понятие, которое вернее будет назвать «мерою стоимости производства». Они воображали товар, неизменно производимый всегда одинаковым количеством труда; к этому условию необходимо прибавить другое, чтобы употребляемый на производство основной капитал оставался в неизменной пропорции к рабочей плате за непосредственный труд, и всегда имел одну и ту же прочность; словом сказать, чтобы одинаковая сумма капитала затрачивалась на одинаковое время, так чтобы оставался неизменным не один тот элемент ценности, который состоит из рабочей платы, но и тот, который состоит из прибыли. Мы имели бы тогда товар, всегда производимый в одном и том же сочетании всех условий, от которых зависит постоянная ценность. Меновая ценность такого товара никак не была бы неизменною. Не считая временных колебаний от перемен в снабжении и запросе, мы видим, что постоянная меновая ценность его изменялась бы от каждой перемены в условиях производства тех вещей, на которые он обменивается. Но если бы существовал такой товар, он давал бы нам ту пользу, что при всех переменах ценности других вещей сравнительно с ним, мы знали бы, что причина перемены не в нем, а в других вещах. Метрою ценности других вещей он все-таки не годился бы служить, но годился бы служить мерою стоимости их производства. Если постоянная покупательная сила известной вещи по отношению к этому неизменному товару увеличивается, это значило бы, что стоимость ее производства увеличивается; а в противном случае стоимость ее производства уменьшается. Говоря о мере ценности, политико-экономы вообще разумели эту меру стоимости.

Но если эту меру ценности очень возможно представить себе теоретически, то в действительности не может быть ее, точно так же как и меры меновой ценности. Нет такого товара, стоимость производства которого была бы неизменна. У золота и у серебра она меньше, чем у других товаров, но и у них она изменяется от истощения прежних источников снабжения, от открытия новых и от улучшений в способе добывания. Если мы станем определять перемены в стоимости производства известного товара по переменам в его денежной цене, то вывод нужно будет по возможности исправлять по соображениям о переменах, происшедших в стоимости производства самых денег.

Адам Смит воображал, что есть два товара, особенно пригодные служить мерою ценности: хлеб и труд. О хлебе он говорил, что ценность его сильно изменяется с года на год, но мало изменяется из столетия в столетие. Теперь мы знаем, что это — ошибка: стоимость производства хлеба имеет тенденцию подниматься с размножением населения и падать от земле-

дельческих улучшений в самой стране или в заграничных землях, из которых берет она часть своего снабжения. Предполагаемая неизменность стоимости производства хлеба требует, чтобы сохранялось полное равновесие между этими противоположными силами, равновесие, которое бывает лишь случайно, если бывает когда-нибудь. О труде, как мере ценности, Адам Смит не везде выражается одинаково. Иногда он говорит, что труд хорошая мера лишь для коротких периодов, что ценность труда (или рабочей платы) мало меняется с году на год, много меняясь из поколения в поколение. В других местах он выражается так, как будто труд, по самой сущности вопроса, удобнейшая мера ценности, потому что обыкновенная подневная мускульная работа одного мужчины может считаться равной для него всегда одинаковому усилию или пожертвованию. Но эта мысль, правильная или неправильная сама по себе все равно, совершенно устраняет понятие меновой ценности, заменяя его совершенно иным понятием, более похожим на внутреннюю ценность. Если за день труда в Америке покупается вдвое больше обыкновенных предметов потребления, чем в Англии, то напрасно тонкостью будет доказывание, что в той и в другой стране труд имеет одинаковую ценность и что различна в них ценность не труда, а других предметов. Справедливо будет сказать, что в этом случае труд и на рынке, и для самого работника имеет в Америке вдвое больше ценности, чем в Англии.

Если бы целью нашею было найти приблизительную меру для оценки внутренней ценности, то, вероятно, лучше всего было бы принять меруко сугочное продовольствие среднего человека, высчитанное на обыкновенную пищу, потребляемую классом чернорабочих. Если в Америке работник продовольствуется фунтом маисовой муки в день, то ценность каждого предмета определялась бы числом фунтов маисовой муки, за какое он обменивается. Если известная вещь сама или покупаемыми за нее вещами может дать сугочное продовольствие работнику, а другая дает ему недельное продовольствие, справедливо будет сказать, что вторая вещь для обыкновенных человеческих нужд имеет ценность в семь раз больше первой вещи. Но через это не измерялась бы важность, какую сам владелец вещи придает ей по своим мыслям, — важность, которая может до неопределенной пропорции быть больше (и не может быть меньше) той важности, какую имеет количество пищи, покупаемое на эту вещь.

Понятие меры ценности не должно смешивать с понятием регулирующего принципа ценности или условий, определяющих ценность. Когда Ричардо и другие политико-экономы говорят, что ценность вещи определяется количеством труда, они говорят не о том количестве труда, за какое обменивается вещь, а о том количестве, какое нужно на ее производство. Они разумеют то, что количеством труда, производящего вещь, определяется ее ценность, что в нем основание, почему ценность вещи бывает такая, а не иная. Но когда Адам Смит и Мальтус говорят, что труд — мера ценности, они разумеют не тот труд, каким была или может быть сделана вещь, а то количество труда, какое обменивается или покупается за эту вещь; иначе сказать, ценность вещи по оценке на труд. И говорят они не то, что этот труд определяет общую меновую ценность вещи или сколько-нибудь участвует в ее определении, — нет, они говорят только, что по нему можно узнавать ценность вещи и степень разницы в ней в разное время и в разных местах. Смешивать эти два понятия значит то же самое, как забывать разницу между термометром и огнем¹⁰⁵.

Мы должны сказать, по обыкновению, что Милль очень справедливо излагает ту сторону дела, о которой говорит; и должны, также по обыкновению, прибавить, что кроме стороны, им излагаемой, есть в деле другая сторона. Вопрос о мере ценности неважен, по мнению Милля. Действительно неважен, если мы хотим добиваться лишь до сравнения пропорций, в ка-

ких находились меновые ценности разных предметов в разные времена: тут мерилом ценностей очень удобно могут служить деньги или какой угодно другой товар; но избранный мерилом других ценностей товар сам изменяется в своей ценности, и невозможно приискать товара, ценность которого оставалась бы всегда неизменна. Но в словах о труде, как верном мериле чего-то похожего не на меновую, а на внутреннюю ценность или на стоимость производства, проглядывает истинный смысл вопроса, которого не умели ясно представить себе Адам Смит и Мальтус, и который понят был их последователями как вопрос о меновой ценности.

При нынешнем быте благосостояние человека всего больше зависит от распределения, которое своею неравномерностью закрывает несоответственность между состоянием производства и степенью благоденствия. В странах, пользующихся высокими успехами технических искусств, масса населения живет немногим лучше, чем в землях, в которых производительные процессы совершаются самыми грубыми и неуспешными способами. Но все-таки, несмотря на заслоняющее влияние неравномерного распределения, связь между размером производства и размером потребления довольно заметна и в действительности, а в теории она очевидна.

В обществе, основанном на системе наемного труда, степень благосостояния работника измеряется величиною рабочей платы. Но рабочая плата составляет только часть продукта; она еще не определяет собою степень производительности труда, а этот элемент был бы очень важен для соображений о том, какой уровень благосостояния возможен был бы в данном обществе в известное время, при данной густоте населения. Зная это, мы имели бы и для исторических и для общественных выводов прочную норму. Например, если бы мы знали, что действительная успешность земледельческого труда в нынешней Франции равняется 5 единицам, а масса населения пользуется земледельческим продуктом, составляющим 4 таких единицы, — мы должны были бы сказать, что устройство экономического быта во Франции удовлетворительно со стороны распределения, — маловажность разницы между 4 и 5 изобличила бы пустоту так называемых демагогических теорий. Если бы мы узнали, что наибольшая возможная успешность земледельческого труда при нынешнем состоянии технических искусств не превышает 6 единиц, пустота этих демагогических теорий обнаружилась бы и в отношении вопросов о производстве; если при наилучшем возможном устройстве производилось бы только 6, а в действительности производится 5, — что ж, это уж очень и очень удовлетворительно. Наоборот, совсем иное оказалось бы дело, если бы мы узнали, что наибольшая возможная успешность земледельческого труда равняется 15 единицам, действительная ус-

пешность только 5, а размер пользования сельскохозяйственным продуктом у массы населения только 2.

Таким образом, неизменная мера ценностей была бы очень важна для суждений об удовлетворительности производства и распределения продукта в известной стране. Адам Смит отчасти предчувствовал важность ее в этом отношении; но еще больше занимала его другая сторона вопроса — найти общую норму для сравнения разных состояний быта и производства в разные времена. Имея такую норму, мы могли бы, например, узнать, скольким единицам ее равнялась успешность сельскохозяйственного труда во Франции при Карле Великом, при Людовике XII, при Людовике XVI, и, сравнивая эти данные с нынешнею величиною, имели бы точную оценку исторической жизни французского народа в отношении к сельскохозяйственному продукту. Словом сказать, Адам Смит, заботясь найти общую норму ценностей, думал не о меновой ценности, а о чем-то прямо пригодном для оценки национального благосостояния и успехов производства.

Но у него самого мысли эти были смутны; а по мере того, как с развитием господствующей теории меновая ценность все больше и больше заслоняла собою все другие понятия, утрачивалось у последователей Смита и сознание надобности в общей норме ценностей.

Мы теперь отчетливо понимаем эту надобность, смутно представлявшуюся Адаму Смиту и забытую его последователями. Основным элементом для сравнения разных экономических состояний должна быть успешность труда. Какое количество труда взять тут за единицу, это в сущности все равно, и каждый из главных сроков счета времени имеет свои особенные удобства, так что трудно сказать, который из них заслуживает безусловного предпочтения перед другими. Час — единица слишком мелкая, но она имеет над другими единицами преимущество полной точности. Рабочий день не только в разные исторические периоды или у разных народов состоит не из одинакового числа часов, но и у одного народа даже в одном и том же занятии имеет неодинаковую продолжительность. Например, работы, производящиеся на открытом воздухе, пользуются среди лета более продолжительным рабочим днем, нежели в раннюю весну или позднюю осень. Самым рациональным сроком единицы труда был бы год, по крайней мере для нашего европейского климата, в котором сельскохозяйственный продукт получается по годовым периодам. Но год у разных народов или у одного народа в разные времена состоит далеко не из одинакового количества рабочих дней. Например, у протестантов гораздо меньше праздников, чем у католиков или у нас. Кроме того, и год и час уступают дню в том отношении, что производить счет по ним значило бы вводить единицу, довольно непри-

вычную в подобных соображениях, между тем как счет по дням каждому привычен. Впрочем, вообще мы полагаем, что нововведений не следует бояться, когда они нужны для удобства самого дела. Если же единицею выбрать, как и следовало бы, не час, и не день, а год, то по неравенству рабочего годовичного времени в разных странах и в разные времена прежде всего надобно установить понятие о нормальном рабочем годе, положив для него известное число рабочих дней и часов, и потом, по приблизительному счету часов, сравнивать с ним обычный рабочий год той страны и того народа, о которых идет речь. Положим, например, что норму 10 часов работы в день мы нашли не чрезмерно обременительною и не слишком ленивою в обыкновенных занятиях, а число 300 рабочих дней в году нашли дающим не слишком мало и не слишком много времени для праздников или отдыхов, которые необходимы человеку, чтобы мог он легко и усердно работать в остальные дни. Если так, рабочий год будет иметь нормальным образом 3 000 рабочих часов. Положим, теперь, что у земледельцев южной Франции сохраняется чрезмерное число праздников, так что они занимают целую треть года, оставляя только 240 дней рабочего времени. Но положим, что в эти дни люди работают до упаду, желая вознаградить теряемое на излишние праздники время, — например, работают по 12 часов в день. Если так, рабочий год южно-французского поселанина имеет только 2 880 ($=240 \times 12$) рабочих часов, и равняется только 96% нормального рабочего года. Иначе сказать, мы должны будем помнить, что народными нравами уменьшается в южной Франции на одну двадцать пятую часть успешность земледельческого труда. То же самое будет, если неудобный климат отнимает известное количество рабочих дней, — например, у нас в России набирается в осеннюю и в весеннюю пору довольно много таких дней, когда почти ничего нельзя делать поселанину, не имеющему ремесла для работы в избе при ростепелях и ненастье.

Читатель видит и сходство и разницу между этим взглядом на количество труда, как норму ценностей, и тем понятием, которое известно в господствующей теории под именем стоимости производства. Близость этих идей так велика, что поражает с первого взгляда: и там и здесь считается количество труда, употребленного на производство предмета. Но в стоимости производства считается, кроме труда, прибыль, да и самый труд принимается только как стоимость рабочей платы. Точка зрения, из которой возникает идея стоимости производства, — точка зрения производителя, и собственно только производителя, покупающего труд у наемных работников. Цель расчета тут — определить продажную ценность предмета. Норма, о которой мы говорим, принадлежит совершенно иной точке зрения, и цель у ней совершенно иная. Мы хотим

знать, какое количество труда нужно потребителю для того, чтобы произвести своим трудом продукт своего потребления. Тут нет отделения прибыли от рабочей платы, нет и понятия об отдельной от самого продукта рабочей плате. Тут вознаграждением за труд принимается весь продукт: но и самое понятие вознаграждения тут не с полной точностью соответствует сущности взгляда: собственно говоря, тут продукт рассматривается не как вознаграждение за труд, а как результат труда. Вознаграждением предполагается какое-то постороннее лицо, усвояющее себе продукт и выделяющее из него производителю известную часть. В излагаемом нами взгляде нет постороннего ценщика, усвояющего себе продукт и отделяющего работнику долю из продукта. Меновая ценность продукта оставляется без всякого внимания; продукт прямо подводится под потребности человека, рассматривается только его годность для их удовлетворения — внутренняя ценность его; приобретение меновой ценности продуктом предполагается делом случайным, исключительным, потому что масса продуктов не идет в продажу или в обмен, а прямо служит на потребление производителя; если же часть продуктов и идет в обмен на продукты других производителей, меновая ценность не является различной от внутренней, — внутренняя ценность прямо превращается в меновую без всякого увеличения или уменьшения. Натуральная вещь, что этот взгляд, предполагающий прямую связь между производством и потреблением, без посредства обмена, предполагающий соединение прибыли с рабочей платою в руках трудящегося, предполагающий тожество потребителя и производителя, отрицающий систему наемного труда, — натуральная вещь, говорим мы, что этот взгляд не был ясно понят ни Адамом Смитом, ни его последователями, не умевшими представить себе систему быта, которая была бы выше трехчленного деления продукта между тремя различными сословиями. А между тем, даже и при нынешнем быте, нельзя не видеть преобладания условий, соответствующих этому взгляду, если обратиться мыслями от частного хозяйства отдельных лиц к национальному хозяйству, для целой нации потребители и производители — одно и то же; потребление прямо определяется производством; рабочая плата, прибыль и рента сливаются в одно целое, в продукт национального труда. Только односторонняя и узкая привычка забывать о национальной или общечеловеческой точке зрения по увлечению ходом дел в частном хозяйстве могла заставить господствующую теорию ограничиваться тем поверхностным понятием о стоимости труда и производства для нанимателя-капиталиста, какое мы находим в ней. При малейшем внимании к национальному хозяйству, как одному экономическому целому, этот поверхностный взгляд на дело заменился бы изложенною нами идеею общей нормы ценностей. Надия, как мы не раз говорили,

обменивает лишь небольшую долю своего продукта на заграничные продукты и получает из-за границы лишь небольшую долю своего потребления. Обмен тут играет роль не очень значительную, и масса производства сливается с массой потребления. Национальный продукт производится национальным трудом. Кажется, очень нетрудно дойти с этой точки зрения до идеи, что количество труда служит общему нормою ценности.

«Но если труд — общее мерило ценностей, то каким же образом доказывали вы в одной из предыдущих статей, что труд не должен иметь меновой ценности?» — Очень легко убедиться, что эти два понятия о труде, как деятельности, которая служит мерилом ценностей и однако не должна сама быть ценностью, — что эти два понятия не противоречат друг другу, а, наоборот, необходимо вытекают одно из другого. Мерилом предмета или понятия, конечно, не может служить сам предмет или само понятие, — для этого нужны другой предмет, другое понятие, находящиеся в тесной связи с измеряемыми, как их источники, причины или результаты, но совершенно различные от них. Например, нормою осадки речных судов служит не глубина какого-нибудь речного судна, а глубина реки; глубина реки и плавающее по реке судно — две вещи, совершенно различные. Нормою одежды служит никак не самая одежда, а очертание человеческой фигуры и климат. Нормою закона служит общественное благо; нормою пищи — желудок и язык человека; нормою помады или духов — обоняние человека. Словом сказать, норма вещи всегда нечто совершенно иное, нежели сама вещь. Таким образом, если ценность должна иметь свою норму (как имеет свою норму все в человеческой жизни), то сама эта норма не может быть ценностью. Господствующая теория только потому и не могла понять норму ценности, что причислила труд к ценностям. Припомним афоризм, который сама господствующая теория ставит верховным принципом учения о ценности и обмене: «продукты обмениваются на продукты». Труд не есть продукт. Он еще только производительная сила, он только источник продукта. Он отличается от продукта, как мускул от поднимаемой мускулом тяжести, как человек от сукна или хлеба.

С. ТОРГОВЛЯ (Гл. XVII—XXII и XXV)

Отделяя покупательную силу от продуктов, создавая для нее специальную представительницу — звонкую монету, заменяя звонкую монету орудием еще более подвижным, кредитными бумагами, люди имеют в виду облегчение торговых оборотов. При системе быта, в которой хозяйственная единица не имеет значительного размера, требуемого теориею, и не может, по недостаточному своему объему, совместить занятие множеством

нужных человеку производств с высоким разделением труда в каждом производстве, — при такой системе быта всякое возвышение экономической деятельности становится увеличением обменов между хозяйственными единицами, так что наконец, при высоком развитии такого быта, торговые обороты владычествуют, повидимому, над всею экономической деятельностью.

Сущность всех торговых оборотов с особенною ясностью выступает на вид в заграничной торговле, которая составляет как будто бы отдельное целое в общей сумме торговых оборотов страны и которую каждый привык рассматривать как нечто целое, между тем как истинный смысл оборотов внутренней торговли несколько затемняется отсутствием такой привычки обозрывать всю совокупность их одним взглядом. Вопросы, относящиеся к внешней торговле, изложены у Милля с чрезвычайною ясностью, так что нам здесь остается только пользоваться с признательностью его изложением¹⁰⁶.

Очевидно, что если уровень успешности производства во всех занятиях одинаков у двух стран, то не может начаться торговля между ними. Если в Англии кусок сукна производится 15 днями труда, кусок полотна 10 днями, в Германии также, — ни для Англии, ни для Германии нет выгоды обмениваться сукном и полотном, — стоимость провоза и другие торговые расходы были бы тут лишь чистою потерею. Точно то же было бы, если бы уровень общей успешности был и неодинаков, но пропорция этой неодинаковости была одна и та же во всех занятиях. Если в Англии успешность труда во всех занятиях вдвое больше, чем в Германии, — если, например, сукно производится в Англии 15 днями, в Германии 30 днями труда, полотно в Англии 10, в Германии 20 днями труда, обмена продуктов также не будет. Англия, послав сукно в Германию, получила бы за него полтора куска полотна (больше этого Германия не даст, потому что сама имеет сукно за такое количество полотна); но полтора куска полотна в самой Англии равны одному куску сукна; следовательно, Англия не получит никакой выгоды от обмена: также не получит никакой выгоды и Германия. Провоз и другие торговые расходы тут были бы чистым убытком. Но предположим, что пропорция успешности труда в разных производствах неодинакова. Пусть, например, в производстве сукна английский труд вдвое успешнее германского, а в производстве полотна только в полтора раза успешнее его. Тогда, если в Германии кусок сукна производится 20 днями, а кусок полотна 15 днями труда, в Англии кусок сукна производится 10 днями и кусок полотна также 10 днями труда. Если английское сукно будет обмениваться на немецкое полотно, произойдет в этом случае уменьшение расходов труда на производство обоих товаров для обеих стран. Положим, что Англия употребляет 1 000 кусков сукна, — по 10 дней труда, это составит 10 000 дней труда;

столько же труда нужно ей, чтобы произвести 1 000 кусков полотна. Итого Англии нужно было до начала торговли 20 000 дней труда, чтобы снабдить себя сукном и полотном. А Германии нужно было, по 20 дней на кусок сукна, 20 000 дней на производство 1 000 кусков сукна и (по 15 дней на кусок) 15 000 дней на производство 1 000 кусков полотна. Итого в обеих странах производилось 2 000 кусков сукна трудом 30 000 дней и 2 000 кусков полотна трудом 25 000 дней; всего на оба продукта обе страны должны были употреблять 55 000 дней. Положим теперь, что начался обмен. Англия производит для Германии сукно (сукно, потому что в этом производстве труд ее имеет выгоднейшую пропорцию сравнительно с германским), получая за то от Германии полотно (в котором пропорция труда наименее невыгодна для Германии по сравнению с Англиею). В Англии на производство 2 000 кусков сукна нужно (по 10 дней на кусок) только 20 000 рабочих дней; в Германии на производство 2 000 кусков полотна (по 15 дней на кусок) только 30 000 рабочих дней. Итого обе страны употребляют на снабжение себя обоими товарами только 50 000 дней вместо прежней суммы 55 000, так что через торговлю выигрывается 5 000 рабочих дней, которые могут быть употреблены или на увеличение снабжения сукном и полотном, или на снабжение торгующих стран другими продуктами, которых не могли они по недостатку времени производить до начала торговли*.

Но эти 5 000 дней — сумма выигрыша, получаемого от торговли обоими странами: как разделится он между ними? Это зависит от сравнительной силы запроса каждой страны на товар, ей предлагаемый другою страню. В Германии 15 кусков сукна обменивались на 20 кусков полотна, — следовательно, ей выгодно будет получать от Англии и 16 кусков сукна за это количество полотна. Если так, Англия будет получать за 16 кусков сукна 20 кусков полотна, а прежде получала только 16; стало быть, при каждом обмене 16 кусков сукна на 20 кусков полотна Германия выигрывает 1 кусок сукна, Англия 4 куска полотна. Но пропорция может установиться и совершенно иная. Англия за 10 кусков сукна имела только 10 кусков полотна; следовательно, ей уже выгодно будет получать и по 11 кусков полотна. Если так, Германия будет иметь за 11 кусков полотна 10 кусков сукна, а прежде имела их не меньше, как за 15 кусков полотна; стало быть, при каждом обмене 10 кусков сукна на 11 кусков полотна Англия будет выигрывать 1 кусок полотна, а Германия 4 куска сукна. По первой пропорции ценностей боль-

* Разумеется, из этого выигрыша 5 000 дней надобно исключить расходы на провоз и другие дела по торговле, — положим на это 1 000 дней, остается чистого выигрыша 4 000 дней. Для краткости изложения мы оставили без внимания эти расходы, которыми легко дополнит наши соображения каждый читатель.

шая часть выигрыша достанется Англии, по второй пропорции — Германии. Но мы знаем, по какому закону устанавливаются меновые ценности, — они определяются уравнением запроса и снабжения. Если для Англии легко увеличить снабжение сукном по запросу из Германии, а запрос Германии на английское сукно слаб, между тем как английский запрос на германское полотно силен, то установится между английским сукном и немецким полотном пропорция ценностей, соответствующая второму нашему случаю, и большая часть выигрыша будет оставаться у Германии. В противном случае, когда английский запрос на германское полотно слаб, а германский запрос на английское сукно силен, будет наоборот, и большая часть выигрыша достанется Англии. Само собою разумеется, что уравнение запроса и снабжения устанавливается в заграничной торговле страны не отдельно по ее торговле с каждою из других стран, а по всей сумме ее торговли со всеми заграничными странами. Способ, которым устанавливается оно, ясен для нас при знакомстве с общим принципом меновых ценностей. Если заграничный запрос на наши товары слишком слаб сравнительно с нашим запросом на заграничные товары, так что ценность ввоза превышает ценность отпуска, наш запрос уменьшается возвышением ценностей заграничных товаров, и ввоз их уменьшается; или запрос заграничных стран на наши товары усиливается понижением ценностей наших товаров, и наш вывоз от этого увеличивается.

Но общею мерою меновых ценностей принята звонкая монета, и очень легко понять, как действует на нее происходящее посредством нее уравнение запроса и снабжения в заграничной торговле. Если ценность ввоза больше ценности вывоза, недостаток уплаты продуктами нашего производства за ввозимые товары покрывается звонкою монетою, — она идет от нас за границу; от этого за границею ценность монеты падает, то есть цены заграничных товаров возвышаются, а у нас ценность монеты возвышается, то есть цены отпускаемых нами товаров падают; от дороговизны заграничных товаров привоз их уменьшается, а от дешевизны наших товаров вывоз их увеличивается, и это изменение ценностей через передвижение звонкой монеты совершается до той поры, пока установится уравнение запроса и снабжения, то есть пока останется у нас лишь такое количество звонкой монеты, при котором цены наших товаров установились бы такие, какие удовлетворяют необходимому равенству ввоза и вывоза. Когда вывоз больше ввоза, происходит наоборот, — звонкая монета идет в нашу страну, дешевеет у нас, и цены наших товаров возвышаются до того, чтобы заграничный запрос на них уменьшился до равенства с ценностью ввозимых нами заграничных товаров. Следовательно, звонкая монета (или, все равно, материал ее, золото и серебро в слитках) переливается из страны в страну так, что общий уровень цен в каждой стране

устанавливается сообразно уравнению запроса и снабжения по заграничной торговле. Когда звонкая монета отчасти заменяется кредитными знаками, с ними происходит то же самое, что происходило бы с нею. Если, например, наш ввоз больше отпуска, в уплату за излишек ввоза должна была бы идти за границу и дешеветь там звонкая монета; но когда она заменяется векселями, идут в излишестве за границу наши векселя и дешевеют от этого излишества на заграничных биржах; а цена такого удобоподвижного товара, как векселя, не может значительно разниться на разных биржах; потому наши векселя дешевеют и на наших биржах, — иначе сказать, цена векселей, даваемых нам от заграничных негодциантов, возвышается над ценою векселей, даваемых нашими негодциантами заграничным их корреспондентам.

Попробуем теперь перевести эти технические выражения на обыкновенный разговорный язык. Мы видели, что вексельный курс и ценность звонкой монеты в стране, имеющей заграничную торговлю, устанавливаются соответственно уравнению запроса и снабжения. На простом языке это будет значить вот что. Положим, что кусок сукна производится в Англии трудом 15 дней, в Германии трудом 30 дней. Но кусок сукна — все тот же кусок сукна, каким бы количеством труда ни производился, — все равно, он должен обмениваться на одинаковое количество других товаров. А представительница меновой ценности всех вообще товаров — звонкая монета. Потому кусок сукна, сработанный в Германии 30 днями труда и сработанный в Англии 15 днями труда, должен иметь одинаковую цену*. Положим, что эта цена — 6 р. сер. Она получается в Англии за 15, а в Германии за 30 дней труда. Стало быть, средняя ценность звонкой монеты в Англии вдвое дешевле, чем в Германии, — 20 коп. серебр. для немца значит не меньше, чем 40 коп. для англичанина. Конечно, если так, то англичанин вдвое богаче немца. Но отчего это произошло? Совсе не от заграничной торговли, не от перехода звонкой монеты из Германии в Англию, не от состояния вексельного курса, — нет, просто от того, что успешность труда в Англии вдвое больше, чем в Германии: англичанин успевает сработать только один кусок, — как же англичанину не быть вдвое богаче немца**? Положим теперь, что немец будет жаловаться на свою бедность, — чем можно пособить ему? Только заботами о том, чтобы его труд стал успешнее, то есть чтобы он занялся работами, наиболее удобными для него по характеру его страны, чтобы он принял в своем производстве улучшенные процессы,

* Разумеется, за исключением разницы, зависящей от расхода на перевозку и соединенные с нею издержки. Но, повторяем, ввести этот элемент может каждый читатель сам.

** Разумеется, сукно тут принимается только как пример общего хода дел во всех производствах.

чтобы законы и обычаи его страны стали благоприятнее для успешности труда. Когда он подобно англичанину станет производить в 15 дней вещь, которую производит теперь в 30, он будет так же богат. Иначе никак не достигнуть ему этого.

Мы видим, что вопрос о распределении звонкой монеты по различным странам при свободной торговле сводится к вопросу об успешности труда в них. Чем успешнее труд страны, тем больше может она получить всяких товаров, в том числе золота и серебра. А при всеобщем значении золота и серебра каждое лицо и каждая группа лиц желает иметь как можно больше этих товаров. Стало быть, чем успешнее труд страны, тем больше в ней золота и серебра, то есть и звонкой монеты; значит, тем выше и уровень цен в ней сравнительно с другими странами *. Возьмем теперь две страны, которые торгуют между собою, и в одной из которых успешность труда вдвое больше, чем в другой. Пусть, например, в Англии успешность труда вдвое выше, чем в Германии. При заграничной торговле между ними мы будем иметь три разряда товаров с тремя разными уровнями цен. Во-первых, английские товары, не идущие в заграничную торговлю, сохранят английский уровень цен, вдвое высший германского. Во-вторых, германские товары, не идущие в заграничную торговлю, сохранят германский уровень цен, вдвое низший английского. В-третьих, товары, которыми ведется торговля между этими двумя странами, будут иметь какой-нибудь уровень цен, одинаковый для обеих стран **. Назовем представителем двух первых разрядов — труд. Труд в Англии будет иметь цену, вдвое высшую, чем в Германии. Если, например, в Англии день труда стоит 50 к., в Германии он стоит только 25 коп. ***. Пусть

* Если в производстве известного товара происходит улучшение, ценность его понижается; но ведь понижение ценности известного товара равнозначительно возвышению ценности всех других товаров сравнительно с ним. Таким образом, общий уровень цен от этого не понижается; напротив, он возвышается, потому что в общей сложности всего производства страны успешность труда увеличилась.

** За исключением разницы, происходящей от стоимости провоза и других торговых издержек. Мы, попрежнему, оставляем без внимания этот элемент, имеющий своим результатом только уменьшение размера, то есть и степени влияния заграничной торговли, а не какую-нибудь перемену в характере ее влияния.

*** Мы говорили, что труду не следует быть товаром; но ведь в нынешнем быте он товар и составляет самую обширную статью в общей сумме всех товаров страны. Общее количество рабочей платы в стране продается за количество денег гораздо большее, чем общее количество хлеба, который превышает своею торговою важностью каждый из остальных товаров. Это ясно из того, что почти вся масса хлеба потребляется простонародьем (количество, потребляемое высшим и средним классом, невелико по их сравнительной малочисленности). А кроме хлеба, простой народ должен покупать многие другие товары на свою рабочую плату. Мы приняли, что труд имеет в каждой стране свою особую цену, не зависящую от заграничной торговли, как будто вовсе не идет в эту торговлю. На самом деле ведется некоторая заграничная торговля и этим товаром. Немецкие работники переселяются

будут представителями товаров заграничной торговли сукно, производимое Англиею, и полотно, производимое Германиею для обеих стран. Пусть кусок сукна продается по 50 рублей, кусок полотна по 8 рублей в той и другой стране. Посылая в Германию 20 кусков сукна (на 1000 р.), Англия получает за него из Германии также на 1000 р. полотна, то есть 125 кусков полотна. По цене труда Англия за 2000 единиц цены своих товаров получила от Германии 4000 единиц цены германских товаров. Ясно, что для Англии немецкое полотно обходится вдвое дешевле, чем английское сукно для Германии. На темном, инстинктивном чувстве этого факта основано заблуждение протекционистов, говорящих, что в этом случае только Англия выигрывает, а Германия проигрывает от заграничной торговли. Нет, выигрывает и Германия. Ведь свое полотно она обменивает на английское сукно только потому, что не могла бы заниматься производством сукна так успешно, как производством полотна. Если производство 125 кусков полотна обходится ей в 4000 единиц ее внутреннего уровня цен, то производство 20 кусков сукна обошлось бы ей дороже, в 5000 таких единиц; а теперь она получает эти 20 кусков из Англии за 4000 таких единиц, то есть выигрывает 1000 единиц. А то что единицы в ней меньше, чем в Англии, зависит уже не от заграничной торговли, а от малой успешности труда, и заграничная торговля не развивает, а исправляет этот недостаток. Исправляет она его двумя способами: во-первых, она обращает германский труд от занятий, в которых был бы он менее успешен, к занятиям более успешным, то есть в общей сложности увеличивает его успешность. Еще важнее для Германии то обстоятельство, что через заграничную торговлю осязательно обнаруживается малая успешность ее труда и указывается надобность заботиться об улучшении производительных процессов для увеличения его успешности. Протекционным тарифом лишь замаскировалось бы это зло малой успешности германского труда. Таким образом, Германия получает от свободы заграничной торговли еще гораздо больше выгоды, чем Англия; в Англии свободная торговля только обращает труд к занятиям более успешным, а в Германии, сверх того, она улучшает производительные процессы.

Самый усердный приверженец свободной торговли останется доволен нашим взглядом на этот предмет. Если же мы безусловно признаем пользу заграничной торговли, о которой с большими оговорками рассуждают очень многие последователи господствующей теории, то, конечно, уже не меньше кого бы то ни

в Англию, то есть привозят свой единственный товар, труд, на продажу в Англию. Но число их, то есть и количество провозимого ими товара, так незначительно перед массою их и их товара в той и другой стране, что цена труда в Германии не возвышается, а в Англии не понижается чувствительным образом.

было из учеников Адама Смита мы ценим выгоды, приносимые в нынешнем быте внутреннею торговлею, против которой не имеют никаких возражений и самые заклятые протекционисты. В быте, основанном на разделении рабочей платы от прибыли, на разделении ренты от рабочей платы и прибыли, почти всякий продукт идет в обмен, почти все производимое продается, почти все потребляемое покупается. Потому развитие торговли тут служит мерилом развития экономической деятельности. При таком быте справедливо говорят, что торговля смягчает нравы, соединяет народы, уничтожает национальные предрассудки, уменьшает возможность войн и т. д. и т. д., — словом, служит могущественнейшею из цивилизующих сил. Тут под торговлею понимается экономическая деятельность, которая вся переходит в торговлю при нынешнем устройстве быта.

Но совершенно иное дело будет, если мы обратим внимание на коренные черты того быта, при котором получает такое безграничное значение торговля, при котором она обнимает собою всю экономическую деятельность. Мы видели, что этот быт несообразен с принципами экономической теории. А в неудовлетворительном механизме производит неудовлетворительный результат своим действием каждая пружина, как бы хороша ни была сама по себе. Всякому известно, что в нынешнем своем виде торговля имеет очень много дурного. Она — дело очень рискованное: убытки в ней очень часты, банкротства очень нередки. Соответственно значительности риска в торговую прибыль должна входить очень значительная страховая премия, и прибыль эта имеет очень большую величину. Потому, пока торговец не подвергается несчастным случаям, он получает очень много выигрыша на свой капитал. От этого происходит два последствия. Вообще говоря, отдельный человек гораздо быстрее может разбогатеть торговлею, чем производством, и дойти через нее до гораздо большего богатства. Второстепенный банкир или оптовый негодант богаче хозяина самой огромной фабрики. Эта перспектива быстрого и громадного обогащения отвлекает самых деятельных и даровитых людей от производства, в котором всего полезнее были бы для общества их способности к торговле, в которой силы их обращены не на увеличение продукта, а только на разные перестановки уже готового продукта. Общество много теряет от этой потери лучших сил для производства. Но и вообще оно теряет слишком много всяких сил при нынешнем ходе торговых дел. Посмотрите на гостинный двор в большом городе: длинным рядом тянутся десятки совершенно одинаковых лавок, например, с шелковыми материями. Зачем нужно обществу такое множество их в одном месте? Чтобы шло между ними соперничество к выгоде покупателей, довольно было бы двух, трех лавок вместо пятидесяти или шестидесяти. Три большие лавки, занимая каких-нибудь 300 квадратных сажен

помещения, имея всего каких-нибудь 60 человек сидельцев, удовлетворяли бы спросу покупателей так же легко, как теперь удовлетворяют 50 не очень больших лавок, которые занимают 1 000 квадратных сажен помещения и имеют 200 человек сидельцев. Работа на возведение и ремонт 700 лишних квадратных сажен торгового помещения и труд лишних 140 сидельцев — чистая потеря для общества. Та же самая пропорция потери во всех отраслях торговли, во всех городах и селах. Тем, на что была бы достаточна работа одной тысячи торговцев, заняты три, четыре тысячи их. Почему их столько? Не потому, что столько их нужно для общественного удобства, а потому, что столько их может прожить в убыток обществу торговую прибыль, которая сама поглощает слишком большую долю продукта между прочим от этой чрезмерной многочисленности своего штата.

Мы говорили только о потерях, заключающихся в самом правильном, честном, благоразумном ходе торговли при нынешнем порядке, не касаясь гибельных крайностей, в которые постоянно вовлекается она. Выше была речь о коммерческих кризисах и о безрассудной спекуляции. Спекуляция постоянно влечется в безрассудство. А спекуляция — душа нынешней торговли. Восставать против спекуляции или стараться обуздать ее при нынешнем порядке — пустая трата слов, напрасная игра в бесплодные стеснительные меры. Наука требует, чтобы, вместо ребяческой борьбы с неизбежным результатом известного устройства, мы занялись разбором и исправлением самого устройства, производящего такой результат.

Нынешняя торговля — частная форма, принимаемая принципом обмена в таком обществе, где покупательная сила отделяется от производительной силы, прибыль от рабочей платы, труд имеет характер товара и продукт имеет своим хозяином не самого работника, а лицо, нанимающее работников. Но когда труд — товар, а работник не хозяин продукта, роль обмена в обществе расширяется гораздо далее границ, допускаемых принципами экономической теории.

Мы видели, каково нормальное условие возникновения обмена. Оно открыто нам господствующею теориею в исследовании заграничной торговли. В заграничной торговле одна из обменивающихся сторон производит для себя и для другой стороны продукт, в котором труд ее более успешен, получая от другой стороны товар, в производстве которого менее успешен труд первой стороны и более успешен труд второй стороны, также производящей его для себя и для первой стороны. В этом сосредоточении сил каждого народа, города или лица на успешнейшем производстве заключается выгода всякого обмена товаров. между различными ли народами, или городами, или лицами. Под этот принцип совершенно подходят те случаи, когда портной или столяр обменивают свой продукт на продукт сапожника или куз-

неца, — подходят все те случаи, когда люди, занимающиеся производством одного продукта, обменивают свой продукт на продукт людей, занимающихся другим производством. Но подходит ли под принцип выгоды обмена тот случай, когда обмен происходит не из разности продуктов, а только из продажи труда? У фермера трудится над производством хлеба наемный работник, получающий рабочую плату, — вот первый обмен; труд обменивается на рабочую плату. Работнику нужно есть, — он покупает на свою плату хлеб, — вот второй обмен. Спрашиваем: к чему привели эти два обмена? Только к тому, чтобы продукт возвратился в руки человека, занимающегося производством этого самого продукта. Спрашиваем: выгоден ли для общества этот лишний оборот? Ведь это все равно, как если бы в заграничной торговле Англия сначала продавала свое сукно в Германию, потом покупала его из Германии. Ведь это верх экономической несообразности. Все торговые расходы* тут совершенно лишние расходы, — ведь это все равно, как если бы весь хлеб из провинций свозить в Петербург, чтобы из Петербурга опять развозить его по Симбирской, Самарской и т. д. губерниям, из которых он привезен в Петербург. Мы видели, что продажа труда противоречит принципу распределения продуктов, противоречит условиям успешного производства продуктов; теперь мы видим, что она противоречит и принципу обмена. Торговля трудом совершенно лишняя торговля. Теория производства и распределения, как мы видели, предполагает работника хозяином продукта. Если работник хозяин, он продает из своего продукта только то, что у него остается за собственным потреблением, а покупает на свое потребление только те продукты, производством которых не занимается*. Мы видели, что при высоком развитии экономической деятельности теория предполагает хозяйственную единицу, имеющую значительный размер и совмещающую в себе множество разнородных производств, так что доля покупаемых ею продуктов была бы тут невелика сравнительно с массой тех потребляемых ею продуктов, которые произвела она сама для себя, а количество продаваемых ею продуктов также невелико сравнительно со всею массой ее производства. Совершенно иное дело, когда работник не хозяин продукта, а только наемник. Тут он покупает все предметы своего потребления, а хозяин продает весь продукт, какой получает. По принципу обмена, только одна пятая или одна десятая часть продуктов должна была бы проходить от производства к потреблению через ступень продажи. Теперь проходит вся масса. Это противоречит экономическому принципу обмена, как мы говорили.

* Совершенно так, как видим в заграничной торговле, которая одна рационально разбирается господствующей теорией, потому что одна имеет хотя несколько рациональный вид при нынешнем быте (в странах, принявших принцип свободной торговли).

Точно так же противоречит ему, по прежним нашим словам, и то, что поступает в продажу труд, — от этого количества продаж и покупок еще увеличивается вдвое против надобности самого дела. Это все равно, как если хлеб продается не один раз, когда собран и обмолочен самим фермером, а еще прежде того продается им на корню какому-нибудь другому капиталисту, который, собрав и обмолотив жатву, продает ее во второй раз. Каждому известно, выгодно ли для сельского хозяина продавать свой хлеб на корню, когда он продает, так сказать, еще не хлеб, а только возможность получения хлеба. Точно так же убыточен для работника порядок, по которому он продает не готовый продукт своего труда, а только возможность получения этого продукта, заключающуюся в труде. Таким образом, продажа труда вдвойне невыгодна. Во-первых, она убыточна для массы населения, продающей свой труд с огромным дисконтом, неизбежным при каждой продаже, которая совершается преждевременно: ведь продажа труда — ни больше, ни меньше, как преждевременная продажа продукта. Во-вторых, продажа труда убыточна для всего общества, торговые расходы которого чрезмерно увеличиваются от чрезмерного увеличения торговых сделок этою преждевременною продажей, совершенно противоречащею экономическому принципу обмена.

Читатель, беспристрастно понимающий наши слова, сам видит нелепость рутинных возражений против разделяемого нами взгляда, — возражений, говорящих, что эта теория враждебна самому принципу обмена, неблагоприятна принципу разделения труда и т. д. Ведь у нас речь вовсе не о том, чтобы не продавать товаров, — напротив, пусть они продаются всегда, когда нужно. Мы говорим только вот о чем: если по сущности дела, по экономическому принципу обмена и по принципу разделения труда нужно продать товара на 100 рублей, то и надобно продать его на 100 рублей, чтобы купить на эту сумму другого товара, которого у нас нет у самих; а не следует нам продавать нашего товара на 500 рублей, чтобы потом его же обратно купить на 400 рублей, — эта продажа на лишние 400 рублей лишняя продажа. Повторяем наше сравнение внутренней торговли с заграничною. Из Англии выходит за границу только то сукно, которого не потребляет она сама. Из рук работника должна выходить на продажу только та часть продукта, которой не потребляет сам работник. Только и всего, — кажется, тут нет ровно ничего противного принципам господствующей теории, и не мы виноваты, если она не умеет подводить частные вопросы под принципы, ею самую провозглашаемые.

От продажи труда возникает громадное количество излишних продаж и покупок, в десять или двадцать раз превышающее ту сумму продаж и покупок, какая оправдывается принципом обмена. Этого одного было бы достаточно, чтобы торговля была

делом запутанным. Но еще больше запутанности вносится в нее нынешним порядком производства, основанным не на расчете потребления, а на шансах сбыта в руки торговцев, скупающих продукт для перепродажи. В статье о соперничестве и об экономическом расчете мы говорили, что нынешний производитель трудится в потемках, наудачу, не зная ни того, сколько товара нужно потребителям, ни того, сколько товара работаетя другими производителями. При таком неверном, загадочном размере нужного производства и действительного потребления сбыт продукта становится делом многосложным, затруднительным, рискованным, и очень натурален тот факт, что посредники между производителями и потребителями являются самостоятельными хозяевами, ведущими посредничество на свой риск. Но известно, что через эту самостоятельность посредников теряется независимость производителей: оптовый торговец становится господином фермера или ремесленника, сбывающего ему товар, биржа владеет над фабрикою. Мы видели, что экономическая теория не одобряет порядка, при котором производство идет наудачу, по неверным шансам сбыта на перепродажу, а не на потребление. Экономический расчет требует, чтобы все было ясно для производителя и для потребителя. Производитель должен знать, сколько его товара нужно потребителю; потребитель должен знать, во сколько обходится товар производителю. Без этой обоюдной известности нет в экономической жизни ничего верного и солидного, производство идет слишком шатко, потребление колеблется между безрасчетною расточительностью (когда товара заготовлено слишком много и цена его падает) и между недостаточностью снабжения. А при обоюдной известности дел потребителя производителю и дел производителя потребителю сбыт товара верен, и производитель не допустит посредника между ним и потребителем занять самостоятельное положение, господствующее над ним, производителем. Где нет риска, там нет охоты передавать дело в чужие руки. Посредник (если остается нужен посредник) становится не больше, как комиссионером, поверенным. Это ясно само собою. Что за охота фабриканту продавать свой товар не прямо потребителю, а купцу, если фабрикант знает, сколько товара будет продано потребителям в таком-то городе, и если потребитель, зная стоимость товара, не даст за него ни копейки больше, чем следует, то есть, если продажа на потребление идет без лавочнических уловок? Фабрикант просто откроет от своей фабрики контору для розничной продажи.

Мы видим, что, при сообразнейшем с экономическими принципами устройстве быта, количество товаров, поступающих в обмен будет составлять в общей сумме производимых и потребляемых продуктов пропорцию гораздо меньшую, чем ныне, и роль обмена в общественной жизни уменьшится, а способ, кото-

рым он станет происходить, будет совершенно различен от запутанного механизма нынешней торговли, если даже и сохранит имя торговли. Покупка на спекуляцию не будет иметь места. Запасы товаров, накапливаемые теперь спекуляцией, будут накапливаться расчетливостью самих потребителей, в том роде, как теперь делаются запасы каждым предусмотрительным хозяином, имеющим возможность жить не со дня на день. Теперь эти средства бывают далеко не в каждом хозяйстве; потому что масса населения живет преждевременною продажей своих продуктов в их зародыше, продажей труда; но если устранится нужда продавать труд, это уже само по себе значит, что исчезнет стеснительность обстоятельств, мешающая ныне развитию хозяйственной предусмотрительности в массе населения.

Д. ОБЩИЙ ОЧЕРК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Книгу об обмене Милль заключает кратким обзором результатов, доставляемых анализом теории обмена для теории распределения. Само собою разумеется, что и выводы эти у него сделаны только в применении к быту, основанному на трехчленном делении продукта, как вообще не идет он в своем исследовании дальше частного видоизменения экономических принципов свойственного этой форме устройства. В применении к ней его заключения совершенно справедливы. Но мы должны будем дополнить их некоторыми замечаниями сообразно характеру наших очерков, постоянно старающихся показывать, в каком отношении находятся нынешние формы экономических явлений к общим принципам науки.

Мы (говорит Милль) изложили механизм, посредством которого продукт страны разделяется между разными классами общества; механизм этот ни больше, ни меньше, как механизм обмена, факторами действий которого служат законы ценности и цены. Воспользуемся же приобретенным знанием, чтобы оглянуться и обозреть всю теорию распределения. Раздел продукта между классами работников, капиталистов и землевладельцев являлся подчиненным силе известных общих законов, когда мы рассматривали его без всякого отношения к обмену. Теперь нам следует сообразить, продолжают ли действовать те же самые законы, когда распределение совершается посредством многосложного механизма обмена и денег, — или основные принципы видоизменяются влиянием особенных свойств этого механизма.

Мы видели, что коренным образом продукт человеческой энергии и умеренности разделяется на три доли: рабочую плату, прибыль и ренту, и что эти части выделяются получающим их лицам в виде денег, процессом обмена; точнее сказать: капиталист, у которого по обыкновенному общественному устройству остается продукт, выплачивает деньгами двум другим участникам рыночную ценность их труда и земли. Рассматривая условия, которыми определяется денежная ценность труда и пользования землею, мы найдем, что эти ценности определяются теми же самыми законами, какими определялась бы рабочая плата и рента в обществе, в котором не было бы ни денег, ни обмена товаров.

Во-первых, очевидно, что закон рабочей платы остается одинаков при

существовании или несуществовании денег. Рабочая плата определяется пропорцией населения к капиталу; определялась бы ею во всяком случае, хотя бы весь капитал на земном шаре был собственностью одной ассоциации, или хотя бы каждый из капиталистов, между которыми он разделен, содержал заведение для производства всех товаров, потребляемых обществом, и обмена товаров не существовало бы. А пропорция между населением и капиталом повсюду (кроме новых колоний) зависит от силы задержек, которыми останавливается слишком быстрое размножение людей; потому для простоты можно сказать, что рабочая плата определяется силой задержек размножения; что если задержкою ему не служит смерть от голода или изнурения, то рабочая плата определяется благоразумием рабочего класса; и что она бывает в известной стране очень низка, если работники ее соглашались на упадок своего положения, не соглашаясь сдерживать своего размножения.

Но под рабочею платою понимается здесь реальный размер благосостояния работников, количество получаемых ими вещей; рабочая плата в том смысле, в каком размер ее важен для получающего; а в том смысле, в каком размер ее важен для платящего, она определяется не исключительно одними этими простыми принципами. Рабочая плата в первом смысле, плата, величиною которой определяется благосостояние работника, будет у нас называться реальная рабочая плата или рабочая плата натурою. Рабочую плату во втором смысле можно в настоящем случае называть нам денежною рабочею платою; при этом будем мы принимать (как имеем право принимать здесь), что деньги в данное время остаются неизменны и что не происходит изменений в условиях, под которыми добывается или получается самое орудие обмена. Если стоимость самих денег не подвергается изменению, то денежная цена труда служит точно мерою стоимости труда и удобно может служить символом для ее обозначения.

Денежная рабочая плата — сложный результат двух элементов: первый из них — реальная рабочая плата или плата натурою, иначе сказать, количество обыкновенных предметов потребления, получаемое работником; второй элемент — денежные цены этих предметов. Во всех старых странах, — во всех странах, где размножение населения более или менее задерживается трудностью добывать пропитание, — обыкновенная денежная цена труда — ровно та, при какой работники в общей сложности только что могут покупать товары, без которых не могли бы или не захотели бы поддерживать свое размножение по привычному проценту. При данной норме их благосостояния (а под нормою благосостояния рабочего класса разумеется та степень благосостояния, отказаться от которой им труднее, чем удержаться от размножения) размер денежной рабочей платы определяется денежною ценою, следовательно, стоимостью производства товаров, обыкновенно потребляемых работниками; иначе, если рабочая плата не доставляет им данного количества этих товаров, их размножение ослабевает и рабочая плата поднимается. Пища и другие сельскохозяйственные продукты составляют такую преобладающую статью в этой сумме, что мало влияния остается другим предметам.

Вот здесь мы можем призвать на помощь себе принципы, изложенные в этой третьей части нашего трактата. В одной из предыдущих глав мы анализировали стоимость производства пищи и других сельскохозяйственных продуктов. Она определяется производительностью наименее плодородной земли или дающей наименьшую выручку части употребленного капитала из той земли или того капитала, какие нужны обществу для сельскохозяйственных надобностей. Стоимостью производства пищи, возделанной в наименее благоприятных обстоятельствах, определяется, как мы видели, меновая ценность и денежная цена всей произведенной пищи. Потому, при данном состоянии привычек работника, денежная плата ему определяется производительностью наименее плодородной земли или наименее производительной части земельного капитала, — тою степенью, до какой спустилось хлебопашество в своем понижающемся ходе, в своем захватывании плохих земель и в своем обременяющемся тяготении над силами более плодородных земель. А мы

знаем, что сила, влекущая хлебопашество в этом понижающемся ходе, — размножение, противодействующей силой которому служит улучшение земледельческой науки и практики, задерживающее этот спуск тем, что дает известной почве силу с прежним количеством труда доставлять выручку, большую прежней. Стоимость той части продукта, возделывание которой самое дорогое, служит выражением того, в каком положении находится в данное время борьба, постоянно происходящая между силою размножения и силою земледельческого искусства.

Доктор Чомерс очень верно замечает, что многие важнейшие истины политической экономии раскрываются на последнем пределе возделывания, на той границе, которой достигло хлебопашество в своей борьбе с самодействующими силами природы. Степень производительности этого предела служит показателем того положения, в каком находится в данное время распределение продукта между делящими его тремя классами — земледельцами, капиталистами и землевладельцами.

Когда запрос возрастающего населения на увеличение количества хлеба не может быть удовлетворен без расширения хлебопашества на менее плодородные земли или без прибавки менее производительных затрат на землю, уже возделываемую, необходимым условием этого увеличения земледельческого продукта служит, чтобы предварительно поднялась ценность и цена этого продукта. Но как скоро цена поднялась настолько, что приходилась обыкновенная прибыль на прибавочную затрату капитала, цена и ценность уже не станут подниматься выше, чтобы от новой земли или от нового расхода на старую землю получалась сверх прибыли еще рента. Последняя потребованная в дело часть земли или капитала, занимающая, по выражению Чомерса, границу хлебопашества, не дает и не даст ренты. Если же она не дает ренты, то рента, доставляемая всеми другими частями земли или земледельческого капитала, будет в точности равняться излишку производимого ими продукта над продуктом этой последней части. Средняя цена хлеба всегда будет такова, чтобы худшая земля и наименее производительная часть капитала, употребленного на лучшую землю, равно давали выручку расхода с обыкновенною прибылью. Если эта часть земли и капитала дает такую выручку, то все другие части земли или капитала будут давать излишек прибыли, равный выручке с получаемого от большей их производительности излишка продукта; и действием соперничества этот излишек прибыли перейдет к землевладельцам. Итак, существованием обмена и денег нимало не изменится закон ренты; он останется тот самый, какой нашли мы первоначально. Рента — излишек выручки на земледельческий капитал, употребляемый с особенною выгодною; она в точности равноценна сбережению в стоимости производства, получаемому производителями от этих выгод, и происходит от того, что ценность и цена продукта устанавливаются стоимостью производства тех производителей, которые не имеют никаких особенных выгод, выручкою с той части земледельческого капитала, которая находится в наименее благоприятных обстоятельствах.

Если же рабочая плата и рента, будучи выплачиваемы деньгами, подчиняются тем же принципам, какими определялись бы, будучи выделяемы продуктом в натуре, то ясно, что таково же и положение прибыли, потому что прибыль составляет излишек, остающийся за покрытием рабочей платы и уплаты ренты.

В последней главе II книги мы нашли, что затраты капиталиста, анализируемые до последних элементов, оказываются состоящими из покупки или содержания труда и из прибылей предшествующих капиталистов, и что поэтому в последнем выводе прибыль определяется стоимостью труда, падая при ее возвышении и возвышаясь при ее понижении. Попробуем теперь подробнее обозначить ход действий этого закона.

Стоимость труда, верно выражаемая (при предположении неизменности денег) денежною платою работника, может увеличиваться двумя способами. Или работник может получать большее благосостояние, то есть может возрастать плата натурою, — реальная рабочая плата; или размножение может

спускать хлебопашество на низшие земли и к более дорогим процессам, возвышая таким образом стоимость производства, ценность и цену главных предметов рабочего потребления. При той и при другой гипотезе величина прибыли падает.

Если работник получает товаров больше прежнего лишь потому, что они удешевились; если при увеличении получаемого им количества не увеличилась сумма стоимости этого количества товаров, то увеличится реальная, но не увеличится денежная рабочая плата, и величине прибыли не отчего будет измениться. Но если он получает товаров больше прежнего, а стоимость производства этих товаров не уменьшилась, он получает большую сумму стоимости, и денежная плата ему увеличивается. Расход от этого увеличения денежной рабочей платы весь падает на капиталиста. Нет возможности вообразить, как бы капиталисту уйти от этого. Могут сказать, да и говорили прежде, — что он избавится от убытка, подняв цену продукта. Но это мнение мы уже опровергли вполне и даже не раз.

В самом деле, мысль, будто бы от возвышения рабочей платы происходит равномерное возвышение цен, противоречит сама себе; при возвышении цен не было бы возвышения рабочей платы; работник не получал бы никакого товара больше прежнего как бы ни возвышалась денежная плата ему; возвышение реальной рабочей платы было бы невозможностью. Это противоречит и теории и факту; потому очевидно, что возвышение рабочей платы не возвышает цен. Общее возвышение рабочей платы падает на прибыль; другой альтернативы тут нет.

Рассмотрев случай, когда денежная рабочая плата и стоимость труда возвышаются оттого, что увеличивается получаемая работником плата натурою, предположим теперь, что денежная рабочая плата и стоимость труда увеличивается от увеличения стоимости производства предметов, потребляемых работником, то есть от размножения, не сопровождаемого равносильным увеличением земледельческого искусства. Прибавка к снабжению, требуемая размножившимся населением, получится лишь при таком возвышении цены хлеба, которым вознаграждается фермер за увеличение стоимости производства. Но фермер в этом случае подвергается двойному убытку. Он должен вести хлебопашество при условиях производительности, менее прежнего благоприятных. Этот убыток относится лишь к нему, как к фермеру, и не разделяется с ним другими хозяевами, — следовательно, по общим принципам ценности фермер будет вознагражден за него возвышением цены своего товара; да он и не представит на рынок требуемой прибавки к продукту, пока не возвысится цена. Но это самое возвышение цены вовлекает его в другую необходимость, за которую он не вознаграждается. Он должен давать своим работникам денежную плату больше прежней. Эту необходимость разделяют с ним все другие капиталисты, потому она не дает основания к возвышению цены. Цена будет подниматься до той степени, чтобы он стал относительно прибыли в положение, равное с другими капиталистами, чтобы он был вознагражден за ту прибавку к употребляемому им труду, какая нужна для производства данного количества хлеба; но увеличение платы за труд — обременение, общее всем капиталистам, и никто из них не может быть вознагражден за него. Оно все будет выплачиваться из прибыли.

Итак, мы видим, что когда увеличение рабочей платы бывает общим для всех производительных работников и действительно выражает собою увеличение стоимости труда, то оно всегда и необходимо бывает на счет прибыли. Сделав гипотезу с обратными условиями, мы точно так же найдем, что когда уменьшение рабочей платы представляет собою реальное уменьшение стоимости производства, оно равнозначительно возвышению прибыли. Но являющаяся тут противоположность денежных выгод между классом капиталистов и классом работников остается в значительной мере лишь видимой противоположностью. Размер реальной рабочей платы — вещь совершенно иная, чем размер стоимости труда; и вообще реальная рабочая плата бывает особенно высока в тех странах и в тех местах, где и когда, по легкости условий, на которых земля еще дает весь требуемый от нее продукт, ценность и цена пищи

низка, а потому, несмотря на значительность вознаграждения за труд, стоимость труда для хозяина очень дешева и потому прибыль высока; пример тому ныне — Соединенные Штаты. Итак, мы получаем полное подтверждение первоначальной нашей теоремы, что величина прибыли определяется стоимостью труда или, выражая еще точнее ту же мысль, величина прибыли и стоимость труда изменяются обратно пропорционально друг другу и составляют совокупный результат действия одних и тех же сил или причин.

Но не надобно ли несколько видоизменить эту теорему, не изменится ли она принятием в расчет той (хотя сравнительно и незначительной) части издержек капиталиста, которая состоит не из рабочей платы, выданной им самим или предшествовавшими капиталистами, вознаграждаемыми от него, а из прибыли этих предшествовавших капиталистов? Предположим, например, что в выделке кож сделано изобретение, при котором стало не нужно оставлять кожу в дубильном чану так долго, как ныне. Сапожники, шорники и другие мастеровые, употребляющие кожу, сэкономят часть той доли стоимости своего материала, которая составляется прибылью дубильщика за то время, на какое затрачивается им капитал; не следует ли сказать, что это сбережение может служить для них источником увеличения прибыли, хотя рабочая плата и стоимость труда нисколько не изменились? Нет, в этом случае всю выгоду получит только потребитель, потому что цены сапог, шорного товара и всех других предметов, делаемых из кожи, упадут настолько, чтобы прибыль производителей спустилась до общего уровня. Чтобы отстранить возражение, предположим, что произошло подобное сбережение издержек вдруг во всех отраслях производства. В этом случае ценности и цены не изменятся; потому прибыль, вероятно, возвысится; но внимательнее всмотревшись в дело, мы найдем, что причину возвышения прибыли тут служит понижение стоимости труда. Прибыль возвысится тут, как и во всяких других случаях возвышения общей производительности труда, если работник будет получать лишь прежнюю реальную плату; но сохранение прежней реальной платы равнозначительно тут уменьшению стоимости труда, потому что, по нашему предположению, уменьшилась стоимость производства всех предметов. Если же, напротив, реальная рабочая плата возрастает соразмерно улучшению производства и стоимость труда для хозяина останется прежняя, то затраты капиталиста будут составлять прежнюю пропорцию к его выручке, и величина прибыли останется прежняя¹⁰⁷.

Действительно, употребление денег нисколько не изменяет характер законов, по которым продукт делится на рабочую плату, прибыль и ренту. Денежное хозяйство просто составляет принадлежность всякой сколько-нибудь высокой степени развития быта, в котором прибыль и рента отделяются от рабочей платы.

Рабочая плата в этом быте действительно определяется уравнением между развитием технических искусств и размножением.

Но при нынешнем состоянии технических искусств обеспечена на несколько поколений возможность высокой рабочей платы при самом быстром размножении населения. Почему же рабочая плата низка?

Рента находится в обратном отношении к успехам земледельческого искусства. Потому, когда она отделяется от рабочей платы, она является силою, противодействующею прогрессу земледельческой техники, а по связи этой техники с другими производственными искусствами и с чистою наукою становится во враждебное отношение ко всякому прогрессу. [Таким образом, она стремится замедлить ход просвещения и всяких других успехов

цивилизации. Несмотря на то, прогресс технических знаний далеко опередил потребность нынешнего и гораздо большего, чем нынешнее, числа людей в земледельческом продукте. Но гораздо успешнее, чем прогрессу знаний, рента мешает их распространению между людьми и применению их к жизни.] Вот коренная причина недостаточности земледельческого продукта. А при недостатке в этом главном отделе потребления расстраивается весь ход производства.

Прибыль, когда отделяется от рабочей платы, имеет интерес как можно больше понижать ее, потому что увеличение реальной рабочей платы служит уменьшением прибыли, а уменьшение реальной рабочей платы — увеличением прибыли. Таким образом, благосостояние работников представляется капиталисту вычетом из его богатства. А успешность производства соразмерна умственному и нравственному развитию работников, которое само соразмерно их благосостоянию. Таким образом, отделение прибыли от рабочей платы действует подобно отделению ренты и рабочей платы: оно замедляет успехи производства и ослабляет успешность труда. [Потому благосостояние общества зависит от соединения прибыли и рабочей платы с рентой.

При соединении ренты и прибыли с рабочей платой роль обмена в экономической жизни уменьшается, и торговая деятельность сводится к простому комиссионерству.]

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

(Милль, книга четвертая)

А. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАБОЧУЮ ПЛАТУ, ПРИБЫЛЬ, РЕНТУ, ЦЕННОСТИ И ЦЕНЫ.— НЕПОДВИЖНОЕ СОСТОЯНИЕ

(Глава I—VI)

В первых трех книгах своего трактата Милль рассматривал законы и взаимные отношения экономических фактов. В четвертой книге он исследует прогрессивное движение экономической жизни. Во всех цивилизованных странах постепенно растет и размер производства и число населения. Надобно рассмотреть характер этого прогрессивного движения, его элементы и его влияние на рабочую плату, прибыль, ренту, ценности и цены.

В каком периоде прогресса находятся теперь передовые страны? — Очень распространено мнение, что они чуть ли не дошли до высшей точки его или по крайней мере близки к ней. У нас очень многие сбивы с толку восхищением перед нынешним состоянием Западной Европы; в ней самой многие довольны им и думают, что дальше идти не надобно. У других наших соотечественников есть мысли о чем-то лучшем нынешнего западноевропейского быта, но тут же примешивается у них мнение о бессилии западных народов осуществить в своей жизни это лучшее. Неосторожные партизаны такого взгляда на Западную Европу прославились фразой о ее гниении¹⁰⁹. Более осмотрительные люди избегают этого выражения, боясь насмешек, но говорят вещи, ничем в сущности не отличающиеся от него. В своей книге «О свободе»¹¹⁰ сам Милль написал несколько очень странных тирад о том, что Западная Европа близка к китайскому застою, и по обыкновенному несчастью умных людей, вставляющих какой-нибудь вздор в дельные книги, успел очаровать этим вздором толпу до того, что она из-за его тирад о китаизме, будто бы угрожающем западному человечеству, забыла все превосходные мысли, изложенные в той же книге и совершенно раз-

рушающие такое удивительное опасение. Но ведь это у него только увлечение чувством, заставившим его забыть о хладнокровном анализе фактов, — анализе, показывающем совершенно противное. В трактате о политической экономии, где он пишет не как публицист, подчиняющийся субъективному впечатлению, а как ученый, солидно исследующий сущность дела, он очень справедливо находит, что нынешняя цивилизация Западной Европы еще только начинает свою карьеру и что все успехи, доселе приобретенные, ничтожны сравнительно с теми, какие не замедлят совершиться и совершатся отчасти еще на наших глазах.

Из принадлежностей, характеризующих это экономическое движение цивилизованных обществ (говорит он), прежде всего возбуждает к себе внимание, по своей тесной связи с феноменами производства, постоянное и, насколько может предусматривать человек, безграничное возрастание власти человека над природой. Нет признаков, которые показали бы, что наши знания о свойствах и законах физических предметов приближаются к пределам возможной полноты, они расширяются быстрее и многостороннее, чем когда-либо прежде, а за границами нынешнего знания открываются нам неисследованные поля, взглядом на которые оправдывается мнение, что наше знакомство с природой находится почти еще во младенчестве. Эти возрастающие физические знания быстрее, чем когда-нибудь, обращаются теперь практическим умом в физическую силу. Чудеснейшее из новых изобретений, не в метафорическом, а в буквальном смысле осуществляющее сказочные дела волшебников, — электро-магнитный телеграф, — явилось не больше как через несколько лет после того, как открыта была научная теория, осуществлением и примером которой оно служит. Наконец исполнительная часть этих великих научных операций никогда не отстает от научной; теперь нетрудно найти или обрисовать в обществе достаточное число работников, имеющих ловкость, требуемую для исполнения самых тонких процессов применения науки к практическим целям. От этого соединения условий невозможно не ожидать длинного ряда многочисленных изобретений для сбережения труда и увеличения его продукта и невозможно не ожидать, что эти изобретения будут все больше входить в практику и приносить пользу.

[Другое изменение, которое всегда было и, наверное, всегда будет характеристическою чертою прогресса цивилизованного общества — постоянное возрастание безопасности лица и имущества. Во всех европейских странах, и в самых отсталых и самых передовых, люди с каждым поколением все лучше и лучше ограждаются от взаимного насилия и хищничества тем, что судилища и полиция все успешнее действуют против преступлений частных лиц, а вредные привилегии, дававшие известным классам общества возможность безнаказанно грабить остальное общество, все ветшают и постепенно уничтожаются. Точно так же с каждым поколением люди все лучше ограждаются учреждениями или нравами и общественным мнением против произвола правительственной власти. Говорят, что даже в полуварварской России имущество у лиц, не навлекших на себя политического неудовольствия, не отнимается так часто, чтобы сильно колебалось в ком-нибудь чувство безопасности. Налоги во всех европейских странах становятся менее произвольными и притеснительными и по своей сущности и по способу взимания. Войны и производимое ими разрушение теперь почти во всех странах ограничиваются теми отдаленными границами владений, где цивилизация соприкасается с дикарями. Благодаря постоянному развитию спасительного страхования даже последствия неверностей счастья, возникающих из неизбежных естественных бедствий, все более и более смягчаются для тех, на кого падают].¹¹¹

Вторая неоспоримая черта прогресса — возрастание безопасности для лица и имущества. В передовых странах с каждым поколением улучшаются законы, уменьшается возможность безнаказанно оскорблять людей или отнимать у них собственность. Войны становятся реже. Даже потери от естественных бедствий сглаживаются расширением страхования. Мы заметим, что прогресс улучшений в политической и даже в экономической жизни не так безостановочен, как принято говорить об этом. Бывают иногда периоды довольно долгого регресса и в самых передовых странах. Например, сама Англия в очень многих отношениях была отодвинута назад реакционным фанатизмом, которому подверглась вследствие войн с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века.

Таких случаев много в истории каждой страны; необходимо помнить это, чтобы наше убеждение в преобладании прогрессивного движения не обратилось в идолопоклонничество перед всякими событиями без разбора. Но периоды реакции служат только временными задержками неизбежного прогресса, который действительно преобладает в истории всех цивилизованных стран, как можно видеть из сравнений всякой данной эпохи с эпохами, настолько далекими от нее, чтобы предположительностью срока сглаживались влияния случайных колебаний народной жизни. Если, например, мыслим состояние какой-нибудь западно-европейской страны в начале IX века с ее положением в начале XI, или это последнее время с началом XIII, мы увидим очень значительный размер улучшений. С конца XVII столетия¹¹² ход прогресса становится еще быстрее, потому что цивилизация уже довольно укрепилась и успешнее прежнего стала бороться с обстоятельствами, мешавшими ее ходу. Тридцатилетняя война задержала прогресс Германии на целое столетие; реакция после наполеоновских войн¹¹³ не могла продержаться долее каких-нибудь тридцати лет. За этими исключениями реакционных задержек, становящихся все менее и менее продолжительными, ход событий действительно имеет прогрессивное направление, которое надобно признать нормальным. Благодаря прогрессу улучшений (продолжает Милль) размер производства в цивилизованных странах растет, и деловые способности людей усиливаются, — не столько оттого, чтобы отдельный человек становился сообразительнее и находчивее, — напротив, дикарь часто превосходит цивилизованного человека гибкостью дарований, — сколько оттого, что люди привыкают к дружному действию.

По мере того, как они теряют качества дикаря, они становятся способны дисциплинироваться, держаться планов, предварительно принятых, в составлении которых сами не участвовали, подчинять свой личный каприз принятому вперед решению, исполнять поодиночке части, назначенные каждому в комбинированном предприятии. Множество дел, невозможных для дикарей или полудицилизованных людей, ежедневно совершаются цивилизованными нациями, не потому чтобы в исполнителях было больше дарований, а благо-

даря тому, что каждый может с уверенностью ждать от других исполнения разных частей дела, за которые берутся они. Словом сказать, характеристическую особенность цивилизованных людей составляет способность к сотрудничеству, которая подобно другим способностям совершенствуется практикой и приобретает силу постоянно расширять круг своих приложений.

Потому достовернейшею принадлежностью прогрессивного изменения, происходящего в обществе, служит постоянное возрастание принципа и практики сотрудничества. Товарищества людей, добровольно соединяющих свои небольшие доли нужных средств, исполняют теперь в промышленной и во многих других сферах такие дела, на совершение которых нестало бы богатства никакого отдельного лица или небольшого числа людей, или за совершение которых немногие лица, имевшие возможность исполнять их, могли прежде брать самое чрезмерное вознаграждение. Мы можем ждать, что, по мере возрастания богатства и развития деловой способности, значительно расширится круг учреждений, составляемых совокупными средствами многочисленных товариществ по промышленным и другим делам, — учреждений, подобных так называемым акционерным компаниям, или не имеющим такого формального существования, но столь многочисленным в Англии товариществам, собирающим суммы для общественных или филантропических целей ¹¹⁴.

В этих словах мы имеем свидетельство знаменитейшего из нынешних учеников Адама Смита о том направлении, в каком идет экономический прогресс. Вторая половина статьи будет заключать в себе подробное изложение взгляда, высказанного им тут мимоходом. Прогресс улучшений открывает беспредельное поле расширению производства и размножению населения. В каком отношении между собою находятся эти два последствия прогресса? — Милль говорит:

Нет оснований опасаться, что размножение населения будет превосходить меру возрастания производства; если же быт беднейших классов народа сколько-нибудь улучшается, то размножение не будет и равняться возрастанию производства. Но очень возможно то, что при большом прогрессе промышленного улучшения, при всех признаках так называемого национального процветания, при значительном возрастании общего богатства страны и даже при улучшении некоторых сторон в его распределении, — когда не только богатые становятся богаче, но и многие из бедных становятся богаты, когда средние классы делаются многочисленнее и сильнее и средства к благосостоятельной жизни разливаются на большее и большее число людей, — огромный класс, служащий фундаментом всего, будет только возрастать числом, а благосостояние и образование его не будет возрастать ¹¹⁵.

Должен ли оставаться такой быт, при котором возможна подобная несообразность? Ответ на это отлагается у Милля до последней главы четвертой книги ¹¹⁶, и прежде чем дать его, он занимается исследованием перемен, производимых прогрессом промышленности в состоянии ценностей, цен, рабочей платы, прибыли и ренты.

Средняя или нормальная ценность продуктов, не составляющих монополии, определяется стоимостью их производства. От увеличения силы человека над природою растет успешность его труда, то есть уменьшается стоимость производства. Но ценность — явление относительное, и если бы стоимость производ-

ства всех товаров уменьшалась в одинаковой степени, ценности их оставались бы неизменны*. Обыкновенно бывает не так. Обыкновенно с увеличением производства размножается население. А из мальтусовой теоремы мы знаем, что само по себе размножение людей ведет к уменьшению успешности труда, обращенного на добывание сырых материалов и на земледелие. Прогресс в этой отрасли промышленности должен бороться с противодействующей ему тенденцией размножения, увеличивающей стоимость производства материалов и пищи, между тем как расширение ремесленного и фабричного производства не имеет этой тенденции, напротив, уже и само по себе почти всегда ведет к уменьшению стоимости производства, давая возможность увеличивать сочетание труда. Таким образом, при прогрессе производительных усовершенствований в размножающемся обществе ценность материалов и земледельческих продуктов обыкновенно возвышается сравнительно с ценностью ремесленных и фабричных продуктов. А золото и серебро — материал, добываемый из земли. Потому, говоря вообще, экономический прогресс ведет к возвышению ценности золота и серебра сравнительно с фабричными товарами, то есть к понижению цен на эти товары.

Таково действие прогресса на ценности и цены. Посмотрим теперь, как он действует на рабочую плату, прибыль и ренту при трехчленном делении продукта. Он имеет три главные черты: возрастание капитала, размножение населения и улучшение производительных процессов. Рассмотрим сначала каждую из этих трех сторон прогресса отдельно, предполагая две остальные стороны неизменяющимися.

Сначала предположим, что возрастает население при неподвижности капитала и производительных искусств. Одно из последствий этого изменения дел очевидно: рабочая плата будет падать; рабочие классы будут впадать в худшее положение. Положение капиталиста, напротив, станет улучшаться. При одинаковом капитале он может покупать больше труда и получать больше продукта. Процент его прибыли возрастает. Количество товаров, получаемое работником, уменьшается, а в ходе их производства, по нашему предположению, нет никакой перемены: потому уменьшение количества составляет уменьшение стоимости. Вознаграждение работника не только становится меньше само по себе, но и становится продуктом меньшего количества труда. Первое обстоятельство важно для самого работника, второе — для его хозяина.

Тут еще не является никаких причин, изменяющих ценность разных товаров, и потому еще не являлось причины для повышения или для понижения ренты. Но если мы взглянем на второй период в ряду действий этого факта, то увидим факт, изменяющий ренту. Число работников размножилось; пропорционально тому понизилось их положение; между увеличившимся числом разделяется продукт прежнего количества труда. Но сократить свои расходы они могут по другим надобностям, а не по продовольствию; каждый, быть мо-

* Изменились ли бы цены, это зависело бы оттого, в какой степени уменьшается стоимость добывания золота и серебра; если в одинаковой пропорции с другими товарами, цены также оставались бы неизменны; если в меньшей, цены возвышались бы; если в большей, цены понижались бы.

жет, потребляет прежнее количество пищи прежней стоимости: а если они и уменьшат потребление пищи, то в меньшей пропорции, чем увеличилось их число. В таком случае, несмотря на уменьшение реальной рабочей платы, размножившееся население потребует большего количества пищи. Но промышленное искусство и знания остаются, по нашему предположению, неподвижны; потому количество пищи можно увеличить только введением обработки худшей земли или способов возделывания, менее производительных пропорционально расходу на них. В капитале на это расширение земледелия не будет недостатка: правда, что, по нашему предположению, нет увеличения в существующем капитале; но достаточное количество его может быть взято из промышленности, прежде удовлетворявшей другие менее настоятельные нужды, в которых работники принуждены теперь отказывать себе. Поэтому будет произведено прибавочное количество пищи, но произведено по увеличившейся стоимости, и меновая ценность земледельческого продукта должна подняться.

Из принципов, уже известных нам, следует, что при таком положении дел рента поднимается. Каждая земля может платить и при свободном соперничестве платит ренту, равную излишку ее продукта над выручкой на такой же капитал с самой худшей земли или в самых выгодных условиях. Потому, если земледелие принуждено спускаться на худшую землю или до более тяжелых процессов, рента возвышается. Возвышается она вдвойне. Во-первых, увеличивается рента в натуре или по хлебному счету, во-вторых, по увеличению ценности земледельческого продукта рента возвышается также по оценке на фабричные или иностранные товары (если ценность их остается без перемен, это увеличение ренты выразится в денежном ее счете).

Если после всего сказанного нужно еще обозреть ход этого процесса, порядок его таков: хлеб поднимается в цене, чтобы оплачивался с обыкновенною прибылью капитал, нужный на производство добавочного хлеба с худшей земли или через более дорогие процессы. Относительно этого добавочного хлеба возвышение цены только равномерно добавочным издержкам. Но распространяясь на весь хлеб, оно дает лишнюю прибыль на всем хлебе, кроме последнего добавочного количества. Если фермер производил прежде 100 кварталов пшеницы по 40 шиллингов, а теперь требуется 120 кварталов, из которых последние 20 нельзя произвести дешевле 45 шиллингов, то он получает по 5 шиллингов прибавки на всех 120 кварталах, а не на одних последних 20. Таким образом, он имеет, сверх обыкновенной прибыли, 500 шиллингов (25 фунтов), и при свободном соперничестве он не удержит в своих руках эту прибавку. Но отдать ее потребителю он не может быть вынужден, потому что цена меньше 45 шиллингов была бы несовместна с производством последних 20 кварталов. Итак, цена останется на 45 шиллингах, и 25 фунтов будут переданы соперничеством не потребителю, а землевладельцу. Потому возвышение ренты служит неизбежным последствием увеличения в запросе на земледельческий продукт, если с этим увеличением запроса не бывает усовершенствования в производстве. После этого окончательного разъяснения мы станем принимать нашу теорему за бесспорную.

Введенный теперь новый элемент, — увеличение запроса на пищу, — кроме того, что возвышает ренту, производит перемену в распределении продукта между капиталистами и работниками. Размножение населения уменьшило плату за труд; и если стоимость труда уменьшилась настолько же, как его действительное вознаграждение, то прибыль увеличится всею разницею между прежною и нынешнею рабочею платою. Если же размножение населения ведет к увеличению производства пищи, невозможному без увеличения стоимости производства, то стоимость труда не уменьшится настолько, как действительное вознаграждение за труд, и потому возвысится не всею разницею между прежною и нынешнею рабочею платою прибыль. Очень может быть, что прибыль и вовсе не увеличится. Быть может, работники имели прежде такие удобства жизни, что вся потеря их может покрыться уменьшением других их удобств, и необходимость или решимость не

дозволяет им потреблять пищи меньше или пищу хуже прежней. Производство пищи для прибылых людей может сопровождаться таким увеличением издержек, что рабочая плата, хотя и уменьшившись в количестве, будет представлять собою такую же стоимость — быть продуктом такого же количества труда, как прежде, и капиталист тогда вовсе не получит выгоды. Тут потеря работника отчасти поглощается прибавочным трудом, нужным на производство последней прибавки сельскохозяйственного продукта, а оставшая часть потери выигрывается землевладельцем, который один всегда получает выгоду от размножения населения.

Переменим теперь гипотезу. Прежде мы предполагали неподвижность капитала при размножении населения, а теперь предположим возрастание капитала при неподвижности населения; естественные и технические условия производства мы попрежнему предположим неизменяющимися. Действительная рабочая плата теперь будет не падать, а возвышаться; стоимость производства вещей, потребляемых работником, не уменьшается; потому возвышение рабочей платы равнозначительно соразмерному увеличению стоимости труда и уменьшению прибыли. Иными словами: работники не стали многочисленнее прежнего, и производительная сила их труда осталась прежняя; потому увеличения в продукте нет; стало быть, возвышение рабочей платы должно обращаться в потерю капиталиста. Очень может быть, что стоимость труда увеличилась больше, чем действительное вознаграждение за него. Улучшение в быте работников, может быть, увеличило запрос на пищу. Быть может, она была прежде так дурна, что работники не имели достаточного продовольствия и теперь стали потреблять больше прежнего; или, быть может, прибавку своих средств они вздумали вполне или отчасти употреблять на более дорогую пищу, требующую больше труда и большего пространства земли, — например, стали есть пшеницу вместо овса или картофеля. Расширение земледелия обыкновенно соединено с возвышением стоимости производства или цены; так что, кроме увеличения стоимости труда от увеличения рабочей платы, стоимость труда увеличится, а прибыль понизится еще от увеличения стоимости товаров, составляющих рабочую плату. От тех же обстоятельств возвысится рента. За вычетом выигрыша работников оставшая потеря капиталистов отчасти пойдет в выгоду землевладельца, отчасти поглотится стоимостью производства пищи на худшей земле или менее производительными способами ¹¹⁷.

Познакомившись с переменами, происходящими в этих двух простейших случаях, когда размножается население без возрастания капитала и когда возрастает капитал без размножения населения, мы легко поймем перемены, происходящие в сложном случае, когда растут вместе и капитал и население. Если один из этих элементов растет быстрее другого, сложный случай обращается в простой случай возрастания одного этого перевешивающего элемента. Следовательно, остается только рассмотреть перемены, происходящие тогда, когда оба элемента растут одинаково быстро, то есть когда на работника приходится прежнее количество продуктов при размножении населения.

Если при размножении населения положение работника остается прежнее, запрос на пищу растет, а производительные искусства, по нашему предположению, не совершенствуются, следовательно, стоимость производства пищи растет, растет цена хлеба, растет и рента. Рабочая плата, сохраняя прежнюю реальную величину, растет в стоимости и в денежной цене, а прибыль уменьшается.

Мы рассмотрели действие прогресса двух элементов, капитала и населения. Теперь перейдем к третьему, к улучшению производства совершенствованием производительных процессов (или получением продукта из мест, где он производится по меньшей стоимости). Для удобства опять предположим сначала, что растет один этот элемент, а два другие остаются неизменны.

Улучшение может относиться к некоторым из предметов необходимости или комфорта, входящих в обыкновенное потребление рабочего класса; может также применяться только к предметам роскоши, потребляемым более богатыми людьми. Но очень редко великие промышленные улучшения принадлежат исключительно к последнему разряду. Земледельческие улучшения относятся прямо к главным предметам расходов работника, если не относятся специально к каким-нибудь редким и особенным продуктам. Паровая машина и все другие изобретения, дающие в распоряжение человека силу, применяясь ко всему, применяются, конечно, и к предметам, потребляемым работниками. Даже паровой станок и ткацкая машина, прилагающиеся к самым нежным материям, ровно столько же прилагаются к грубым бумажным и шерстяным тканям, носимым работниками. Все улучшения в способах передвижения удешевляют перевозку и предметов необходимости вместе с предметами роскоши. Почти каждая новая отрасль промышленности имеет прямым или косвенным следствием удешевление производства или перевозки тех или других предметов, потребляемых массою народа. Таким образом, можно сказать, что улучшения в производстве вообще имеют тенденцию удешевлять товары, на которые расходуется плата рабочего класса.

Касаясь товаров, вообще не потребляемых работниками, улучшение не производит никакой перемены в распределении продукта. Правда, оно удешевляет товары, которых касается; при уменьшении стоимости производства они падают в ценности и цене, и удобства жизни увеличиваются у их потребителей, будут ли эти потребители землевладельцы, капиталисты или специальные работники; находящиеся в привилегированном положении. Но процент прибыли не возвышается. Валовая прибыль по оценке на товары увеличивается; но также увеличилась и ценность капитала по оценке его на эти товары. Прибыль составляет такой же процент на капитал, как прежде. Капиталисты выигрывают не как капиталисты, а как потребители. Точно таким же выигрышем пользуются землевладельцы и привилегированные классы работников, если они потребители того же товара.

Иной характер имеют улучшения, уменьшающие стоимость производства предметов необходимости или товаров, составляющих обычное потребление массы работников. Влияние различных сил в этом случае довольно многочисленное; потому надобно разобрать его подробнее.

Земледельческие усовершенствования бывают двоякого рода. Одни состоят в простом сбережении количества труда, давая возможность производить известное количество пищи с меньшими расходами, но не производить его на меньшем пространстве земли. Другие дают возможность получить с меньшим количеством труда, на данном пространстве земли, продукта не только не меньше, а даже больше прежнего, так что если не требуется увеличения продукта, то становится излишнею часть земли, возделывавшейся прежде. Часть земли, бросаемая в этом случае, будет земля наименее производительная; потому рынок будет зависеть от земли лучшего сорта, чем какой возделывался прежде.

Чтобы разъяснить влияние такого усовершенствования, мы должны предположить, что оно происходит внезапно, так что во время его исполнения не успеет возрасти ни капитал, ни население. Первым результатом такого случая будет понижение ценности и цены земледельческого продукта. Оно необходимо следует за обоими разрядами земледельческих улучшений, но в особенности за улучшениями второго разряда.

Улучшение первого разряда, не увеличивающее продукта, не дает воз-

возможности бросить часть земли; предел возделывания (по выражению Чомерса) не передвигается; цена определяется тою же землею и тем же капиталом, как прежде. Но эта земля или этот капитал производит теперь пищу с меньшею стоимостью и пропорционально тому упадет цена пищи. Если сбережена десятая часть издержек производства, цена продукта падет на десятую часть.

Но предположим, что усовершенствование принадлежит ко второму разряду, дающему земле не только возможность производить прежнее количество пищи с уменьшением труда на десятую часть, но и производить с прежним трудом на десятую часть больше хлеба, чем прежде. Тут результат улучшения будет еще сильнее. Возделываемое пространство может быть теперь уменьшено и запрос рынка удовлетворен меньшим количеством земли. Если б это меньшее пространство земли по среднему качеству и было не выше прежнего большего пространства, цена все-таки упала бы на десятую часть, потому что прежний продукт получался бы теперь количеством труда, уменьшившимся на десятую часть; но покинутая часть земли — наименее плодородная часть, потому цена продукта будет устанавливаться землею лучшего качества, чем прежде. Таким образом, сверх первоначального уменьшения издержек производства на десятую часть, будет еще дальнейшее уменьшение, пропорциональное отступлению «земледельческого предела» на землю, более плодородную. Цена упадет вдвойне.

Рассмотрим теперь действие таких внезапных усовершенствований на распределение продукта и, во-первых, на ренту. Улучшение первого разряда уменьшает ренту; улучшение второго разряда уменьшает ее еще сильнее.

Предположим, что запрос на пищу требует возделывания трех сортов земли, дающих на равном пространстве и при равных расходах по 100, 80 и 60 бушелей пшеницы. Средняя цена пшеницы будет достаточна для того, чтобы земля третьего сорта могла возделываться с обыкновенною прибылью. Потому земля первого сорта будет давать 40, а второго — 20 бушелей излишка прибыли, который составит ренту землевладельца. Предположим теперь сначала, что сделано улучшение, которое, не открывая возможности получать хлеба больше прежнего, дает возможность получать прежнее количество хлеба с уменьшением труда на четвертую долю. Цена хлеба упадет в такой же пропорции, и 80 бушелей будут продаваться за цену, какой стоили прежде 60 бушелей. Но продукт земли, дающей 60 бушелей, остается нужен, а издержки уменьшились соразмерно цене; земля эта еще может возделываться с обыкновенною прибылью. Потому земля первого и второго сорта будет давать попрежнему 40 и 20 бушелей излишка, и хлебная рента останется прежняя. Но хлеб упал в цене на 4-ю долю; потому прежняя хлебная рента потеряла четвертую долю прежней ценности по счету на деньги и все другие товары. В той части дохода, которую землевладелец употреблял на фабричные и иностранные продукты, он потерял четвертую долю. Доход его, как землевладельца, стал равняться только трем четвертям прежней величины, и лишь только как потребитель хлеба он остался в прежнем положении.

Если же улучшение будет второго разряда, рента упадет еще сильнее. Предположим, что требуемое рынком количество продукта может быть получено с уменьшением на четвертую часть не только труда, но и пространства возделываемой земли. Если бы продолжать возделывание всего прежнего пространства, получалось бы продукта гораздо больше, чем надобно. Надобно бросить часть земли, дававшую прежде четвертую часть продукта; земля третьего сорта давала ровно эту четвертую часть (60 бушелей из 240), потому прекратится возделывание земли третьего сорта. 240 бушелей могут теперь получаться с земли одних первых двух сортов: земля первого сорта даст на одну треть больше 100 бушелей, то есть $133\frac{1}{3}$ бушелей, а второго сорта 80 бушелей с прибавкою третьей части, то есть $106\frac{2}{3}$ бушелей; всего 240 бушелей. Теперь низший сорт земли уже не второй, а третий, и он определяет цену. Теперь довольно, если не 60, а $106\frac{2}{3}$ бушелей оплачивают капитал с обыкновенною прибылью. Потому

цена хлеба упадет не с 80 на 60, как в прежнем случае, а с $106\frac{2}{3}$ на 60. Но еще и это не дает нам полного понятия об огромности падения ренты. Весь продукт земли второго сорта надобен теперь на покрытие издержек производства. Это — самый худший сорт возделываемой земли и потому он не дает ренты. А первый сорт дает только разницу между $133\frac{1}{3}$ и $106\frac{2}{3}$ бушелей, то есть только $26\frac{2}{3}$ бушелей, вместо прежних 40. В одной хлебной ренте землевладельцы потеряли $33\frac{1}{3}$ из 60 бушелей, а ценность и цена оставшейся им доли упала по пропорции с $106\frac{2}{3}$ на 60.

Мы видим, таким образом, что выгода землевладельца значительно противна быстрому и всеобщему введению земледельческих улучшений. Этот вывод многие называют парадоксом и обвиняют из-за него в умственной испорченности или в недостатках еще худших Рикардо, который первый высказал такое заключение. В чем тут парадоксальность, — я не могу понять, а умственную испорченность нахожу я не в Рикардо, а в людях, нападающих на него. Вывод Рикардо кажется нелеп лишь тогда, когда излагается в превратном виде. Если бы Рикардо говорил, что землевладельцу убыточно улучшение его поместья, такой мысли нельзя было бы защищать; но говорится вовсе не то; землевладелец терпит убыток от улучшений не его поместья, а других поместий, хотя бы вместе с ними улучшилось и его поместье. Никто не сомневается, что он очень много выиграл бы от улучшений, если бы мог удержать улучшение на одном своем поместье и соединить выигрыш от увеличения продукта своей земли с прежнею высокою ценою. Но если улучшение происходит одновременно на всех землях, то цена не останется на прежней высоте, и нет ничего странного утверждать, что землевладельцы в этом случае не выигрывали бы, а проигрывали бы. Все согласны, что всякая перемена, навсегда понижающая цену продукта, уменьшает ренту; и совершенно согласен с господствующими понятиями вывод, что если бы от увеличения производительности земли понадобилось возделывать меньшее пространство земли, чем прежде, то ценность земли упала бы, как падает ценность всякого другого предмета, запрос на который уменьшается.

Я совершенно готов согласиться, что в действительности рента не понижалась от земледельческих усовершенствований; но почему не было понижения? Потому, что улучшение в действительности никогда не бывало внезапно, а всегда происходило медленно, никогда много не опережало успехов капитала и населения, а часто далеко отставало от них; а увеличение капитала и населения, в противоположность понижающим ренту улучшениям, возвышает ее, и, как мы сейчас увидим, увеличение капитала и населения пользуется самыми земледельческими усовершенствованиями для сильнейшего возвышения ренты, благодаря тому, что расширяется предел возделывания. Но сначала мы должны рассмотреть, какое влияние на прибыль и рабочую плату произвело бы внезапное удешевление земледельческого продукта.

Вначале денежная рабочая плата, по всей вероятности, осталась бы прежняя, и весь выигрыш дешевизны пошел бы в пользу работников. Они могли бы увеличить свое потребление пищи или других предметов и покупали бы за прежнюю стоимость большее количество товаров. Пока это продолжится, прибыль останется без перемены. Но постоянный размер вознаграждения работников зависит от сущности от того, что мы называли обычно нормою их потребления, от размера требований, без удовлетворения которым не хотят они иметь детей. Если их вкусы и потребности прочно изменятся от внезапного улучшения в их положении, то выигрыш сословия работников будет прочен. Но обстоятельство, дающее им возможность покупать большее количество удобств и удовольствий при прежней плате, также дает им возможность покупать большее количество удобств и удовольствий при понижении платы, и население может теперь размножиться без понижения того быта, к которому привыкли работники. До сих пор работники только в этом смысле вообще и пользовались всяким увеличением своих средств к жизни; они принимали его только для того, чтобы разменять

на продовольствие для большего числа детей. Потому надобно полагать, что улучшение в производстве послужит возбуждением к размножению и что в следующем поколении действительная рабочая плата будет не выше той, какая существовала до улучшения; она понизится частью от понижения денежной платы, частью от возвышения цены пищи, стоимость которой снова возрастет от запроса произведенного размножением населения. Прибыль возвысится в той пропорции, в какой упадет денежная рабочая плата, потому что капиталист прежним расходом капитала будет покупать большее количество труда, имеющего прежнюю успешность. Таким образом, мы видим, что когда стоимость предметов необходимости уменьшается от земледельческих улучшений или от ввоза иностранных продуктов, а привычки и потребности работников не возвышаются, то денежная рабочая плата и рента понижается, а общий процент прибыли увеличивается.

О замене дорогого сорта пищи более дешевым надобно сказать то же, что и об улучшениях, удешевляющих производство пищи. Данное количество земли с данным количеством труда производит в форме маиса или картофеля гораздо больше продовольствия, чем в форме пшеницы. Если работники покинут пшеничный хлеб и будут питаться только маисом и картофелем, вознаграждая себя за то не увеличением потребления других предметов, а более ранним браком и рождением большего числа детей, то стоимость труда значительно уменьшится, потому что пищу для целого населения можно будет тогда производить на половине или одной третьей части земли, засеваемой ныне хлебом. Очевидно также, что земля, слишком плохая для пшеницы, может в случае необходимости давать количество картофеля, нужное на продовольствие незначительного труда, возделывающего этот картофель; производительная сила земли допускала населению размножаться гораздо больше нынешнего; потому при картофельной или маисной системе возделывание может напоследок спуститься и ниже, а рента подняться и выше степени, возможной при хлебной системе.

Если улучшение происходит не в производстве пищи, а в производстве фабричного товара, потребляемого рабочим классом, оно будет иметь такое же действие на рабочую плату и прибыль; но оно подействует иначе на ренту. Если окончательным следствием улучшения будет размножение населения, то рента не понизится, а повысится. Причин тому не нужно излагать по их очевидности.

Мы рассматривали, как изменяется распределение продукта на ренту, прибыль и рабочую плату, с одной стороны, от обыкновенного возрастания населения и капитала, а с другой стороны, от улучшений в производстве и особенно в земледелии. Мы нашли, что от перемен первого рода прибыль понижается, а рента и стоимость труда возвышается; что земледельческие усовершенствования имеют тенденцию понижать ренту, а все улучшения, которыми удешевляются предметы, потребляемые работниками, ведут к уменьшению стоимости труда и к возвышению прибыли. Узнав таким образом тенденцию каждой причины, действующей в отдельности, нам легко определить тенденцию действительного хода вещей, в котором одновременно идут оба эти движения: капитал и население возрастают довольно постоянно, происходят по временам земледельческие улучшения, а знание и употребление улучшенных способов постепенно распространяются в обществе.

При данных обычаях и потребностях рабочего класса, служащих нормою реальной рабочей платы, рента, прибыль и денежная рабочая плата в каждое данное время бывают произведением сложного действия этих противоположных сил. Если в известный период земледельческие улучшения развиваются быстрее населения, то рента и денежная рабочая плата в этом периоде будут иметь тенденцию падать, а прибыль возвышаться. Если же население размножается быстрее, чем идет земледельческое улучшение, то возможны два случая: или работники соглашаются на понижение в количестве или в качестве своей пищи, или, когда несогласны они на это, рента и денежная рабочая плата будут постепенно подниматься, а прибыль падать.

Земледельческое искусство и знание растут медленно, а развиваются еще медленнее. Изобретения и открытия также случаются лишь по временам, а возрастание населения и капитала действует постоянно. Потому редко бывает, чтобы усовершенствование даже на короткое время могло так опередить рост населения и капитала, чтобы действительно понизить ренту или повысить процент прибыли. Во многих странах население и капитал растут не быстро; но земледельческое улучшение в них действует еще слабее. Размножение почти везде тяготеет над земледельческим улучшением и сглаживает его действия почти при самом их появлении.

Земледельческое улучшение редко понижает ренту потому, что редко оно удешевляет пищу, а почти всегда только мешает ей дорожать; редко оно выводит из-под обработки землю или и никогда не успевает в этом, — оно только дает возможность земле все низших и низших сортов возделываться на удовлетворение растущего запроса.

Таким образом, земледельческое улучшение можно считать не столько силою, противоборствующею влиянию размножения, сколько силою, отчасти ослабляющею узы, связывающие размножение.

При совокупном влиянии размножения, роста капитала и земледельческих усовершенствований, возрастание производства действует на распределение продукта далеко не так, как действовали различные силы в гипотетических случаях, изложенных нами. В особенности рента подвергается тут изменению, существенно различному от перемен, изложенных нами. Мы говорили, что великое земледельческое улучшение при внезапном и всеобщем введении своем непременно понизило бы ренту, а в действительном развитии общества улучшения дают ренте возможность постепенно подниматься до высоты, недостижимой без них, доставляя средства возделывать гораздо худшие сорта земли. Но в случае, предполагаемом нами теперь и близко соответствующем действительному ходу дел, они немедленно имеют это действие, которое прежде являлось только отдаленным результатом их. Предположим, что возделывание достигло или почти достигло крайнего предела, допускаемого положением технических искусств, и потому рента почти достигла крайней высоты, до какой может подняться возрастанием населения и капитала при существующем размере искусства и знания. Если бы внезапно было введено большое земледельческое улучшение, оно могло бы отсеснить ренту далеко назад, предоставляя ей возвратиться потерянное ею при дальнейшем возрастании населения и капитала и потом подниматься еще выше прежнего. Но если такое улучшение происходит медленно, как и всегда бывает, оно не отсесняет назад ни ренту, ни возделывание; оно только дает возможность ренте подниматься, а земледелию расширяться гораздо дальше предела, на котором они остановились бы без него. Такое действие оно произвело бы и без необходимости спускаться на худший сорт земли, уже одним тем, что при нем земля, возделывавшаяся прежде, начинает давать больше продукта без пропорционального увеличения стоимости. Если бы от земледельческих улучшений все возделываемые земли стали, даже с полным удвоением труда и капитала, давать удвоенный продукт, то все ренты удвоились бы (конечно, предполагая, что по возрастанию населения потребовалось бы это удвоение продукта).

Чтобы увидеть доказательство тому, возвратимся к прежнему нашему числовому примеру. Три сорта земли при одной затрате дают с одинакового пространства по 100, 80 и 60 бушелей. Если не больше, как с удвоением расходов, и потому без увеличения стоимости производства, земля № 1-й станет давать 200, № 2-й — 160, а № 3-й — 120 бушелей, и если население, удвоившись, потребует всей этой прибавки продукта, то рента № 1-й будет не 40, а уже 80 бушелей, рента № 2-й — не 20, а уже 40 бушелей, а цена и ценность бушеля хлеба останется прежняя; таким образом, рента в хлебе и денежная рента удвоится. Нет надобности выставлять разницу между этим результатом, который, как мы прежде показали, происходит от улучшения в производстве, не сопровождаемого увеличением запроса на пищу, — разница эта видна сама собою.

Таким образом, земледельческое улучшение всегда в окончательном результате, по обыкновенному ходу дел и немедленно, бывает выгодно землевладельцу. Можно прибавить, что при обыкновенном ходе дел оно и никому, кроме него, не приносит выгоды. Когда запрос на продукты идет совершенно ровно с возрастанием производительной силы, пища не дешевеет; работники не получают и временной выгоды: стоимость труда не уменьшается, а прибыль не возвышается. Сумма производства увеличилась; между работниками разделяется большее количество продукта, и сумма прибыли больше; но рабочая плата делится между большим числом населения, а прибыль получается с большего капитала, потому положение работника не лучше прежнего, а капиталист получает с известного капитала доход не больше прежнего.

Результат этого длинного исследования можно выразить следующими словами: экономический прогресс общества, состоящего из землевладельцев, капиталистов и работников, ведет к прогрессивному обогащению сословия землевладельцев, между тем как стоимость продовольствия работников имеет вообще тенденцию возрастать, а прибыль падать. Земледельческие усовершенствования противодействуют двум последним результатам; но первый из них, если и может в некоторых случаях на время останавливаться, то в окончательном выводе сильно увеличивается теми же самыми усовершенствованиями, и возрастание населения переносит на одних землевладельцев все выгоды, происходящие от земледельческого улучшения ¹¹⁸.

Мы сделаем два или три замечания к этому совершенно верному очерку дела.

«Величина реальной рабочей платы определяется привычками и требованиями рабочих классов», говорит Милль. — Так. Чем же определяется уровень требований и привычек работника? Весь избыток этого уровня над мерою физической необходимости порождается только уважением работника к самому себе, чувством собственного достоинства в нем, как мы знаем из разбора законов рабочей платы у самого Милля. — В чем же состоит результат экономического прогресса относительно общественного положения работников при нынешнем устройстве, отделяющем ренту и прибыль от рабочей платы? Коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда; все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер. Ремесленник, работающий при помощи своего семейства и двух-трех учеников, заменяется фабрикантом; поселянин-собственник уступает место фермеру-капиталисту. От этого, соразмерно экономическому прогрессу, увеличивается пропорция наемных работников и уменьшается пропорция самостоятельных хозяев в рабочих классах. Теперь спрашиваем: существует ли резкое различие по степени самоуважения между человеком самостоятельным и человеком зависимым, между хозяином и наемником? Да, это различие очень резко, сомневаться в том не может никто, наблюдавший жизнь. Если человек получает 1 000 рублей дохода от собственного хозяйства, он чувствует себя чем-то гораздо более почтенным и высоким, чем когда получает такую же плату от какого-нибудь хозяина. Тут разница между подчиненностью и неподчиненностью, между надобностью смотреть в глаза другому

и гордым сознанием: «я сам себе господин». Стало быть, если мы возьмем работника-хозяина и другого работника, получающего такой же доход от рабочей платы, то в работнике-хозяине (при равенстве других условий) непременно будет больше самоуважения. А если так, плата наемного работника не удержится на уровне дохода, получаемого работником-хозяином: она сравнительно с ним упадет в пропорции, равной тому, насколько меньше находится самоуважения в наемном работнике. Таким образом, техническая сторона экономического прогресса имеет прямую тенденцию понижать доход работников, уменьшая в них чувство собственного достоинства и размер требований через превращение работника-хозяина в наемного работника. Но эту первую степень не кончается дело. Всякий результат имеет свойство становиться в свою очередь действующею силою, каждое последствие бывает причиною новых последствий. Надобно только начать падать, отдельному ли человеку, целому ли сословию, в нравственных ли качествах, в благосостоянии ли, все равно, — раз начавшись, движение к худшему развивается уже само собою, как, наоборот, само собою развивается и всякое движение к лучшему, когда раз начнется. Раз научившись уменьшать свою требовательность, утрачивая часть своего самоуважения, рабочий класс пойдет путем уступок и понижения до последней крайности и остановится не раньше, как дошедши до невыносимого стеснения, если другие влияния не удержат его на этой скользкой дороге. Раз поставленный в необходимость привыкать к положению худшему прежнего при замене своего независимого хозяйского дохода рабочею платою, работник легко допускает и дальнейшее уменьшение своего дохода посредством постепенного понижения рабочей платы.

Кто привык анализировать принципы, найдет неизбежным наш вывод о тенденции технической стороны экономического прогресса понижать благосостояние рабочего класса при нынешнем устройстве быта. Но само собою разумеется, что неоспоримость этой тенденции еще не равносильна историческому и статистическому выводу о действительном ухудшении быта рабочих классов, — например, с какого-нибудь XV или XVII века до настоящей минуты¹¹⁹. Мало ли какие тенденции каких сильных обстоятельств перевешиваются могуществом противодействующих обстоятельств? Например, ведь имеет же зимний холод в нашем климате тенденцию убивать человека. А ведь мы не замерзаем же зимою, — напротив, мы (порядочные люди) меньше терпим от холода в декабре, чем в сентябре. Точно так же может быть, что, несмотря на указываемую нами тенденцию, благосостояние рабочего класса в цивилизованных странах не понизилось, а возвысилось в последние столетия, благодаря силе обстоятельств, противодействующих понижающей тенденции. Ведь эти обстоятельства есть, и притом очень могущественные. Ко-

ренной источник их — развитие знаний и улучшение понятий, цивилизация или общий дух того самого прогресса, который в одном на своих частных применений к быту, устроенному на несоответствующих ему основаниях, обнаруживает тенденцию, совершенно противоположную своему собственному существу. Благодаря прогрессу понятий и знаний, законы и учреждения улучшаются. Ведь теперь закон не позволяет никому и с нищим бездельником обращаться так, как обращался в XVI веке каждый привилегированный с зажиточным поселянином-собственником. Подозрительного бродягу допрашивают во Франции или в Англии не в таких грубых выражениях, как триста, двести лет назад говорили там с почтенным простолюдином, которому еще оказывали честь этим разговором. Мы не бог знает как восхищаемся этим и тому подобными успехами гуманности, потому что они все еще слишком малы и медленны. А все-таки можно ли, не можно ли довольствоваться ими, они очевидны. Уважение к человеку просто как к человеку, независимо от его общественной роли, все-таки развивается законодательными реформами и смягчением нравов от распространения образованности. Мы говорили о манере обращения властей с подвластными, привилегированных сословий с простолюдинами. Возьмем в другой пример другую сферу отношений — семейный быт. Мужчины менее прежнего грубо обращаются с женщинами, родители с детьми. А муж, который не бьет жену, уважает и самого себя больше, чем тот, который бьет ее. Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более сознающим свое достоинство.

Таким образом, если работник, теряя положение хозяина, теряет часть уважения к себе, основанного на его общественной роли, и потому его доход подвергается влиянию понижающей тенденции, то, вообще говоря, с каждым поколением развивается в нем уважение к себе, как просто к человеку, и соразмерно тому обнаруживается тенденция прогресса возвышать его доход. Какая из этих двух противоположных тенденций имела больше силы в данный период в известной стране, — вопрос, требующий изысканий очень внимательных. История экономического быта разработана еще так плохо, что трудно сказать, какие заключения более соответствуют истине: толки ли рутинных экономистов о великолепном возвышении рабочей платы в последние столетия, или представляемые учеными прогрессивной школы доказательства, что средний уровень ее теперь ниже, чем был за сто, за двести, за триста лет. Оставляя здесь без дальнейшего исследования эту сомнительную сторону дела, мы скажем только, что самая сомнительность вопроса уже свидетельствует о чрезмерной силе указываемой нами понижающей тенденции прогресса при нынешнем устройстве быта. Какой огромный вычет из прибавки к благосостоянию работников производится этою тенденциею, если громадные успехи технических искусств и не совершенно нич-

тожные успехи общего просвещения не могли пересиливать ее настолько, чтобы перевес добра над злом был очевиден! С практической точки зрения этой уликой уже и решается дело о нынешних принципах экономического быта. Возможно ли беспристрастному человеку защищать такой порядок вещей, при котором теряется осязательность пользы, приносимой людям прогрессом цивилизации?

Мы говорили, что трудно сказать, возвысился или понизился общий уровень материального благосостояния рабочих классов от экономического прогресса при нынешнем быте, — то есть полнее или скуднее прежнего удовлетворяется вся сумма потребностей, чувствуемых работником; но относительно некоторых отдельных элементов материальной надобности очевидно, что они и у работника удовлетворяются ныне гораздо лучше прежнего, благодаря экономическому прогрессу. Сюда принадлежат все те вещи, пользование которыми удобно делается достоянием всего общества, хотя бы они первоначально устраивались только для некоторых малочисленных сословий или для административного употребления, — вещи, не поглощаемые или слишком в незначительной степени поглощаемые личным потреблением сословий или учреждений, интересами которых создаются. Таковы, например, пути сообщения, почта, освещение улиц, места общественных прогулок, театр. Пути сообщения устраиваются по стратегическим, по административным и по торговым надобностям. Государство или коммерческий класс сооружают их собственно для себя, для передвижения войск, правительственных агентов и посылок или для перевозки товаров. Но невозможно сделать такое шоссе, которое за провозом этих товаров и проездом этих людей не оставалось бы, так сказать, в совершенно праздном излишке, — почему ж не предоставить и простолюдину пользоваться этим излишком, в котором нет надобности уже никому другому? Сообразно малорусской поговорке: «возьми себе, убогий, то, чего мне не нужно», — пусть идет или едет по этому шоссе и простолюдин; точно так же и на железных дорогах; невыгодно делать локомотивы слишком малого размера; а локомотив выгодного размера так тяжел и силен, что мало ему тащить за собою лишь то число вагонов, какое нужно для пассажиров 1 и 2 класса; остается в нем лишняя сила, — почему ж не прицепить к нему и вагоны 3 класса для простолюдинов? Точно так же в театре, за помещением для высшего и среднего сословий остаются разные клочки мест, не пригодных ни для кого из этих сословий по своему неудобству. Отчего же не отдавать такие места простолюдинам за доступную для них цену?

Если мы всмотримся в подобные случаи, когда крохи, лишние или не пригодные для других сословий, падают (выражаясь фигурально) с богатой трапезы материального прогресса на пол, где предоставляется подбирать их бедному Лазарю, то нельзя

нам будет удержаться от сардонического смеха, читая у рутинных политико-экономов панегирические декламации о том, как много делают для блага простолюдинов классы и учреждения, распоряжающиеся делами этого прогресса. Нет, для пользы простолюдина не делается тут почти никогда ничего, — напротив, делается ему всякое неудобство, [всякий вред каждый раз,] когда есть в том распорядителям какая-нибудь выгода, хотя бы самая пустая. Известно, например, что компании железных дорог во Франции нарочно делают помещение в вагонах 3 класса как можно неудобнее, чтобы принуждать садиться во 2 класс каждого, имеющего малейшую возможность к тому. Но зачем ходить так далеко? Эти строки я пишу на одном из пароходов, плавающих по Волге, и стоит мне оглянуться, чтобы увидеть точно такой же пример. Когда я посмотрел в первый раз, как жмутся, мокнут и дрогнут на открытой палубе в наши холодные ночи и под нашим частым ненастьем пассажиры 3-го класса, я подумал: неужели компании нашего речного пароходства не догадываются, что в два-три месяца прибавкою каких-нибудь 10 копеек за 100 верст пути с пассажира окупилась бы ничтожные издержки, которых потребовало бы устройство прикрытия для этих пассажиров? — Мне представилось, сколько простуд, лихорадок, ревматизмов было бы отвращено этою покрывашкою, и я, как человек, подивился жестокосердию пароходных обществ. Но рассудив об этом деле, как политико-эконом, я тотчас же понял нелепость своего удивления. Ведь если будет сносно ездить в 3-м классе, уменьшится число пассажиров, едущих в первых двух классах. Чтобы каждый, кто может, сидел во 2 класс, и чтобы всякий, кто может, переходил из 2-го класса в 1-й для избежания тесноты, надобно 3-му классу быть лишены всяких удобств. И вот тысячи простолюдинов принуждены терпеть холод и сырость, чтобы охота ехать в 3-м классе была отнята у тех десятков из зажиточных людей, которые иначе не захотели бы делать лишний расход на билет 2 класса. Так везде и во всем. Если вы не привыкли соображать принципы нынешнего быта, вы станете недоумевать среди великолепной обстановки, созданной промышленным прогрессом, видя простолюдина, подвергающегося на каждом шагу лишениям и неудобствам, не сообразным с условиями цивилизованной жизни. Начав думать, вы, пораженные всеобщностью этого явления, готовы бываеете приписывать его бог знает каким роковым причинам, вроде знаменитого мальтусова закона. Но теперь, благодаря трудам мыслителей, проникнувших в законы человеческой жизни глубже Адама Смита и его учеников, вы легко можете убедиться, что вся эта путаница происходит от причин, лежащих не в коренных условиях нашей природы, а только в исторических обстоятельствах. [для изменения которых нужна только добрая воля самих людей, подвергающихся неудобствам]. Тут все дело в расчете выгод. Кто ведет экономическое

дело, тот, конечно, думает о своей выгоде. [Если другим этот ход дела невыгоден, значит, они сами должны заняться его ведением, — тогда оно пойдет в их пользу. Вот только и всего.

Мы сказали, что при устройстве, отделяющем рабочую плату от прибыли и ренты, промышленный прогресс доставляет простолюдину пользование теми улучшениями, от участия в которых нельзя исключить его по физической невозможности. Наоборот, есть другие стороны жизни, в которых при существующем быте положение простолюдина становится хуже вследствие промышленного прогресса. Главнейшим образом сюда принадлежит удовольствие, а в большей или меньшей степени принадлежат и все другие удобства, потребление которых одним человеком не дает уже остатка для другого человека, — все те удобства, которые надобно назвать предметами исключительного личного потребления. Мы видели, что при промышленном прогрессе мануфактурные продукты имеют тенденцию понижаться в ценности сравнительно с сельскохозяйственным продуктом; иначе сказать: ценность сельскохозяйственного продукта имеет тенденцию возвышаться сравнительно с одеждою и тому подобными предметами. От дороговизны пищи развивается в простолюдине наклонность как можно более урезывать свое удовольствие, и со временем эта скупость к самому себе относительно пищи доходит до чрезмерной степени. При известном промышленном развитии страны работники ее держат себя, можно сказать, впроголодь. Просим читателя обратить внимание на то, что это последствие развивается совершенно независимо от обстоятельств, на которых основана мальтусова теория. Дело не в том, возвышается или не возвышается абсолютная стоимость производства сельскохозяйственного продукта. Пусть она не возвышается, пусть она даже понижается, это все равно: важность в том, что стоимость производства мануфактурных изделий понижается быстрее, чем стоимость производства пищи. При этом обстоятельстве ценность сельскохозяйственного продукта все равно будет возвышаться, хотя бы стоимость производства его и понижалась в своей абсолютной величине. Не знаю, нужно ли пояснять примером такой простой вывод, но поясним его на всякий случай.

Представим себе такое положение общества, в котором одна четверть пшеницы производится трудом 100 рабочих часов и один кусок коленкора таким же количеством работы. Предположив, сообразно равенству этого главного элемента ценности, равенство других элементов, входящих в нее, мы видим, что четверть хлеба продается тут за одну цену с куском коленкора. Предположим теперь, что вследствие экономического прогресса стоимость производства пшеницы уменьшилась на 20%, а стоимость производства коленкора на 40%, то есть четверть пшеницы производится трудом 80, а кусок коленкора трудом 60 рабочих

часов. Ясно, что кусок коленкора будет стоить теперь не целой четверти пшеницы, как прежде, а только $\frac{3}{4}$ ее.

Положим, что работник имеет в кармане два рубля. При прежнем положении он мог купить на один из этих рублей 20 фунтов хлеба, если на другой рубль покупалось 20 аршин коленкора. Но когда, вследствие промышленного прогресса, ценность коленкора упала сравнительно с ценностью хлеба, он, покупая на рубль 20 арш. коленкора, не может купить больше 15 фунтов хлеба на такую же сумму. Очевидно, что распределение его денег между этими двумя статьями расхода до некоторой степени изменится. У него будет менее расположения покупать хлеб и больше расположения покупать коленкор *. Вот объяснение тому общеизвестному факту, что с промышленным развитием развивается в народе щегольство. Историки-моралисты умеют только порицать этот факт, не умея ни отыскать экономической его причины, ни вывести из него каких-нибудь соображений, кроме бесплодного сетования на человеческую натуру. А дело заключается просто в том, что меновая ценность товаров, служащих для щегольства, понижается промышленным прогрессом, сравнительно с меновой ценностью продуктов, служащих для продовольствия. И натурально, возрастает запрос на те вещи, которые становятся дешевле. Если мы сообразим это, мы увидим, что правильное распределение расходов между разными статьями потребления не иначе может установиться, как через замену меновой ценности внутренней ценностью.

Мы видели, что вследствие промышленного прогресса является у работников расположение уменьшать потребление пищи для увеличения пропорции расходов на мануфактурные товары. Не сообразив всех последствий такой перемены, можно подумать, что при ней увеличится абсолютная цифра расходов, делаемых работниками на эти товары. Но если мы обратим внимание на психологическое и общественное состояние человека, подвергающего себя стеснению в продовольствии, мы убедимся, что не долго останется у него возможность делать больший прежнего расход и на те товары, для которых стал он скуп в своем продовольствии. Кто раз отказался от изобилия в пище, скоро привыкнет подчиняться нужде и во всех других отношениях. Общий уровень его требований понизится. Сам себя он станет считать и общество будет считать его человеком, который должен урезывать все свои расходы, которому нужно только как бы то ни было жить, а не то чтобы жить прилично. А мы знаем из Милля, что

* Мы предположили, что денежная цена коленкора осталась прежняя. Но если она также понизилась подобно его ценности, это все равно. Читатель понимает, что дело тут не в абсолютной цифре копеек, которых стоит аршин коленкора, а только в пропорции этой цифры с цифрой цены фунта хлеба, которая во всяком случае будет на одну треть больше, чем цена аршина коленкора.

размер рабочей платы определяется степенью требовательности работников. С понижением ее падает и рабочая плата. Этот теоретический вывод совершенно соответствует фактам. В самых передовых европейских странах одежда работников плоха. Почему это? Уже никак не вследствие Мальтусава закона, никак не вследствие чрезмерного размножения. От чрезмерного размножения может уменьшиться производительность земледельческого труда; но чтобы уменьшилась от него производительность мануфактурного труда, — не утверждал ни один из самых увлекавшихся последователей Мальтуса; напротив, все они согласны, что она постоянно увеличивается, несмотря ни на какое размножение. Отчего же одежда работников, например в Англии, неудовлетворительна? Ведь успешность труда, обращенного на производство одежды, увеличилась в последние сто лет в несколько раз, — рутинные политико-экономы, распалившись восторгом, доказывают, что она возвысилась со времени Ватта и Аркрайта чуть ли не в сотни, а по иным — чуть ли не в тысячи раз. Положим, что эти слишком пылкие панегирики влиянию улучшенных способов — не больше как восторженный вздор; но все-таки не в два и не в три раза, а гораздо больше увеличилась успешность труда в приготовлении тканей, благодаря прядильным и ткацким машинам; а добывание материалов для тканей в каком угодно количестве не представляет затруднений. Следовало бы, кажется, что нет физических препятствий работнику иметь удовлетворительную одежду. Если он не имеет ее теперь, это просто значит, что реальная плата ему уменьшилась настолько, что доля из нее, употребляемая им на одежду, уменьшилась. А он желал увеличить эту долю. Стало быть, слишком уже понизился общий уровень его материальных требований, если произошло уменьшение даже в той части его расходов, для увеличения которых он сокращал другие свои расходы*.

Мы видели, что возвышение меновой ценности земледельского продукта сравнительно с мануфактурными товарами возбуждает в простолудине склонность уменьшать свое потребление пищи, что от этого понижается уровень требований работника и размер реальной рабочей платы. Но отчего же происходит самое возвышение меновой ценности земледельского продукта,

* Читатель помнит, что мы говорим здесь только об одной стороне промышленного прогресса, — только о том, какой результат производится распределением расходов по соображению не внутренней, а меновой ценности, при понижении меновой ценности мануфактурных товаров сравнительно с земледельским продуктом. Мы говорим только, что в этой стороне промышленного прогресса есть тенденция понижать рабочую плату. Но другую свою сторону тот же самый прогресс стремится возвышать ее, как мы уже говорили выше; мы говорили также, что оставляем здесь без разбора вопрос, которая из этих двух противоположных тенденций прогресса брала перевес в исторической действительности, — например, возвысилась или понизилась реальная рабочая плата в Западной Европе с половины осьмнадцатого века.

то есть, отчего стоимость производства, определяющая меновую ценность, уменьшается в сельскохозяйственном продукте не так быстро, как в мануфактурных товарах? В приведенном нами отрывке Милль справедливо отвечает: оттого, что «сельскохозяйственное искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее». Жаль только, что этот очень справедливый ответ вовсе еще не ответ, а только новый вопрос. Мы спрашиваем: отчего же сельскохозяйственное искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее? — На первую часть вопроса, отчего они *растут медленно*, — ответ можно приискать скоро: сельскохозяйственное производство составляет процесс гораздо более многосложный, чем какая-нибудь фабрикация; натурально, что задача об усовершенствовании простейшего дела требует меньших соображений, чем усовершенствование дела более запутанного. Но ведь и это все еще не ответ. Если одна задача труднее другой, то следовало бы ожидать, что гениальнейшие умы займутся первою, предоставив вторую умам второстепенным. Мудренность дела еще не служит неизбежно причиною тому, чтобы оно исполнялось хуже дела, более легкого; оно может исполняться даже лучше, лишь бы обращены были на него умственные силы того достоинства, какое требуется его трудностию. Например, игра на скрипке многосложнее, чем игра на фортепьяно; но ведь не выходит же из этого, что люди играют на скрипке хуже, чем на фортепьяно. Или, например, постройка корабля дело несравненно многосложнее, чем постройка лодки; но ведь корабли строятся не хуже лодок. Отсталость сельскохозяйственного искусства от фабричного дела имеет свои причины только в том, что до недавнего времени никому из людей первоклассного ума не было охоты подумать об усовершенствовании сельскохозяйственных процессов, да и теперь почти никто из них еще не занимается этим. Всем готовы заниматься гениальные люди; живописью и математикой, историей и медициной, а земледелием теперь занимается только один из них — Либих, да и то занимается так себе, почти что только в свободное время от других трудов; а до Либиха не укажете вы ни одного великого ученого по теории земледелия. Даже из людей второстепенных чуть ли не первый занялся этим делом Таэр в конце прошлого века. Вот это отчего, — скажите нам? Отчего, например, Локк вздумал сделать экскурсию за границы своего специального предмета, своих отвлеченных философских исследований, чтобы помочь добрым советом житейскому быту, — отчего он написал заметки о чеканке монеты, а не о каком-нибудь сельскохозяйственном предмете? Отчего, например, Лейбниц, хватавшийся кроме своей математики за все на свете, — и за китайский язык, и за генеалогические таблицы, и за дипломатические вопросы, и бог знает за сколько других предметов, — отчего он не подумал о земледелии? ¹²⁰ Отчего Кювье писал доклады по юридическим или административным

вопросам, и не написал ни разу ни о каком земледельческом вопросе¹²¹? Ответ простой, и это будет уже коренной ответ: что у кого болит, тот о том и говорит; кто чем не беспокоится, тот о том и не думает. Те классы, интересами которых направлялась до сих пор наука, не нуждаются в хлебе. Любознательность, общая им с остальными людьми, направляла человеческую мысль к отвлеченным наукам; в практических знаниях направляла она ее к усовершенствованию всех дел, по которым не достается чего-нибудь нужного высшему или среднему классу. Мы выучились, как строить корабли, дома, ткать материи; удивительных успехов достигли эти искусства, потому что без очень высокого развития их чувствует неудобство в жизни человек богатый или зажиточный. Но и при самом младенческом состоянии земледелия, дурна ли или недостаточна ли его пища? — слава богу, он ест вкусно и сытно. Разумеется, каждый должен заниматься своим делом, думать о своих надобностях. Усовершенствование земледелия нужно только простолюдину. Пока простолюдины не имели никакого значения в истории, они одни с своим невежеством и хлопотали о земледельческих улучшениях. Появление Таэра, который первый рационально занялся сельским хозяйством, недаром совпадает с концом прошлого века, когда простолюдины сделали попытку заявить свои права в истории. Либих, который первый из великих ученых занялся земледелием, не случайно явился современником так называемых утопистов¹²².

Теперь едва ли нужно приискивать ответ и на вторую часть занявшего нас вопроса: «отчего земледельческое знание распространяется еще медленнее, чем растет». — Сам по себе, без соображения обстоятельств, этот факт должен показаться нелеп до невероятности. Положим, что находятся в сущности самого дела какие-нибудь затруднения к быстрому возрастанию земледельческого знания, — положим, например, что очень трудно придумать какое-нибудь усовершенствование в устройстве плуга; но если раз оно придумано, то как же не распространяться быстро употреблению этого усовершенствованного плуга? Мы ошиблись, сказав, что противоречащий этому факт представляется нелепостью. У рутинистов с незапамятных времен запасено для него очень милое объяснение: «простолюдин — враг нововведений, он любит держаться старины». Это один из сотни тех глупейших афоризмов, упорное существование которых в книгах и в мыслях образованного общества принуждает думать, что вот именно оно, образованное и прогрессивное общество, до безумия любит сохранять всякую нелепость, какая засядет в него. Скажите, например, давно ли появилась в России первая гармоника, и найдется ли теперь такое захолустье, в котором она не победила бы патриархальную балаалайку? Мы помним, как были все убеждены, что русский мужик станет дичиться езды по железной дороге, и до сей поры можете вы встречать просвещенных людей, с похвалой

русскому мужику, удивляющихся тому, что он сел в вагон так же скоро, как и мы. Привязанность к старым обычаям очень сильна во всех сословиях, и в каждой стране история каждого из них представляет множество примеров упорной борьбы против нововведений, так что едва ли можно приписать простолюдинам отличие от других классов в этом отношении. Но старинные обычаи и производительные процессы — вещи совершенно различные. Расчет выгоды во всякой группе людей очень быстро одолевает предрассудки, — кроме одного только случая, когда старина держится вовсе не на предрассудке, а просто на недостатке средств заменить ее чем-нибудь лучшим. Простолюдин часто говорит, что лапти и онучи удобнее для ходьбы и лучше охраняют ногу от сырости и морозов, чем всякая другая обувь. Неужели вы будете так простодушны, что поверите серьезности этого мнения? Да ведь им просто прикрывается невозможность купить сапоги, — это ни больше, ни меньше, как знаменитое выражение басни о том, что виноград зелен. Несмотря на свое мнимое расположение в пользу лаптей, мужик, как только может, тотчас же заменяет их сапогами. Точно так же готов он при первой возможности усвоить себе всякие другие улучшения.

Земледельческие усовершенствования распространяются медленно по той же самой причине, по которой медленно и придумываются они. Они нужны собственно тому классу, который чувствует недостаток в продовольствии; а недостаток в продовольствии чувствует лишь тот человек, который очень беден. А у человека очень бедного, разумеется, нет средств ни к чему, в том числе и к производству земледельческих улучшений. Словом сказать, дело тут не в сущности вещи и не в психологических особенностях и даже не в мальтусовом законе, а просто напросто в распределении покупательной силы.

В приведенном нами отрывке ¹²³ упоминалось о том, что следствием промышленного прогресса бывает понижение прибыли. Разбору причин и последствий этой стороны дела Милль посвящает целые две главы ¹²⁴, но мы коснемся его только мимоходом.

В обыкновенных курсах политической экономии выставляется за несомненную истину, что сбережение было бы невозможно, если бы человек не рассчитывал получать проценты на сберегаемую сумму. Милль понимает нелепость таких безусловных фраз и, признавая полезность процентов при известных состояниях общества, не скрывает от своего читателя, что по сущности дела сбережение возможно и без существования процентов.

Если бы капитал не давал и никакой прибыли, существовали бы достаточные побуждения делать некоторое количество сбережений. Был бы расчет откладывать в хорошее время запас на дурное, сберегать что-нибудь на болезнь и хилые лета, на свободу и независимость в старости, на помощь

детям в начале их карьеры. Но сбережения, делаемые лишь для таких целей, имеют мало тенденции увеличивать постоянно существующий капитал. Эти побуждения склоняют человека лишь сберечь в один период жизни то, что думает он потребить в другом периоде, или что потребят его дети, пока не начнут вполне обеспечивать сами себя. Те сбережения, которыми увеличивается национальный капитал, обыкновенно происходят из желания людей улучшать свое так называемое положение в жизни или готовить детям и другим людям обеспечение, независимое от их усилий. А сила этих наклонностей очень много зависит от того, в какой степени желаемая цель достигается данным количеством и временем пожертвований, — а это зависит от величины прибыли. И в каждой стране есть известная величина прибыли, ниже которой люди вообще не находят достаточных причин сберечь только для своего обогащения или для предоставления другим лучшего состояния. Таким образом, сбережение, от которого увеличивается общая сумма капитала, непременно требует известной величины прибыли, — величины, которая человеку средних свойств казалась бы достаточным вознаграждением за воздержность и давала достаточную страховую премию за риск. Всегда бывает несколько человек, в которых деятельное стремление к накоплению выше среднего уровня и для которых величина, меньшая этого среднего процента прибыли, уже достаточно побуждала бы к накоплению. Но они только уравнивают собою других, у которых любовь к тратам и наслаждениям выше среднего уровня и которые, вместо сбережения, быть может, даже расточают полученное¹²⁵.

На вторую половину этого отрывка мы заметим, что она дает вывод, несогласный с фактом, выставленным в первой половине. «Известная величина прибыли служит непременным условием для всякого накопления, увеличивающего капитал страны», — говорит Милль; но прежде того сам он сказал, что и без процентов люди накапливали бы запас для своего обеспечения. Каким же образом этот запас не содействовал бы увеличению их благосостояния и каким образом стремление сделать этот запас не возбуждало бы к усиленному труду, то есть к увеличению производства, то есть и к увеличению капитала, размером которого определяется и самый размер производства?

Но то справедливо, что при устройстве, отделяющем прибыль от рабочей платы, является особенный класс людей, живущих процентами на свой капитал, и что этому классу нужна известная величина процента для того, чтобы капитал не уходил из их рук в другие руки, а сохранялся у них в целости и даже увеличивался, несмотря на расходы, которые делают они, сами ничего не производя. Эта необходимая для такого порядка дел величина прибыли бывает различна при разных состояниях общества; чем меньше развита в людях предусмотрительность и чем менее обеспечена собственность в обществе, тем выше этот *minimum* прибыли; чем лучше экономическое и административное состояние общества, тем ниже он.

Но как бы низок ни был *minimum* прибыли, без которой не стал бы увеличиваться капитал отдельного сословия, живущего процентами, во всяком высокоразвитом обществе прибыль очень скоро упала бы ниже этого *minimum'a*, если бы все сбережения, достигающиеся в руки капиталистов, сохранялись без произво-

дительной растраты или не переносились для коммерческих предприятий в другие, менее развитые страны. Убедиться в этом очень легко. Если бы при возрастании капитала население не возрастало, то стала бы возвышаться рабочая плата; следовательно, прибыль стала бы составлять все меньший и меньший процент на затраченный капитал, потому что прибыль — остаток из продукта за вычетом рабочей платы. А если бы население размножалось, было бы надобно увеличиваться количеству пищи, то есть надобно было бы земледелию спускаться на земли менее плодородные, земледельческий труд становился бы менее успешным и опять-таки стала бы уменьшаться доля, остающаяся у предпринимателя за вычетом расхода на содержание работника.

Эта тенденция прибыли к понижению задерживается или непроизводительною растратою капитала, или перенесением капитала в другие страны, или улучшениями производительных процессов. Непроизводительною растратою капиталов (напр., от праздной роскошной жизни, или от коммерческих кризисов) уменьшается размер капитала, значит, уменьшается и рабочая плата; а если рабочая плата уменьшается, то, конечно, увеличивается остаток продукта, составляющий прибыль. Перенесением капитала за границу точно так же уменьшается сумма его, остающаяся в стране. Наконец, улучшениями производительных процессов понижается стоимость производства; а ее понижение при нынешнем быте обыкновенно влечет за собою понижение рабочей платы; если же рабочая плата уменьшается, то возрастает остаток продукта, получаемый капиталистом за вычетом рабочей платы.

Из этих соображений Милль делает выводы, большую частью справедливые, — например, он говорит, что эмиграция, во всяком случае, улучшает положение страны, имеющей густое население, хотя бы переселенцы брали с собою очень много капитала¹²⁶. В таких странах прибыль на капитал бывает довольно близка к *minimum*'у, и если часть капитала удаляется из страны, то от возвышения прибыли усиливается накопление капитала, и между населением, уменьшившимся от эмиграции, скоро будет распределяться прежняя сумма капитала, то есть благосостояние работников возрастет. Точно так же действует в богатой стране обращение вновь накапливаемого капитала на постройку железных дорог, машин и так далее. Заметив это, Милль справедливо говорит:

Таким образом следует заключить, что улучшение в производстве и переселение капитала на более плодородную почву и неразработанные рудники ненаселенных и слабо населенных стран не уменьшают на родине валового продукта и запроса на труд (как представляется поверхностному взгляду), а, напротив, должны считаться главным средством к увеличению домашнего продукта и запроса на труд и даже необходимыми условиями для значительного или продолжительного их возрастания. Без преувеличения

можно сказать что в известных и довольно широких пределах чем больше расходует капитала этими двумя путями страна, подобная Англии, тем больше капитала остается в ней¹²⁷.

Но есть у Милля, в числе справедливых соображений, одно место, требующее некоторых замечаний:

Теория эта¹²⁸ должна очень ослабить или, лучше сказать, совершенно уничтожить в странах, где прибыль низка, прежнюю привычку политико-экономов приписывать безмерную важность влияния событий или правилительственных мер на увеличение или уменьшение капитала страны. Низкий процент прибыли служит, как мы видели, доказательством, что энергия духа накопления и быстрота возрастания капитала далеко превосмогают два противоборствующие им элемента, — силу улучшения в производстве и возрастание подвоза дешевых предметов необходимости из-за границы, и что если бы значительная часть ежегодной прибавки к капиталу не уничтожалась периодически или не вывозилась на заграничное употребление, то страна быстро достигла бы той степени, на которой дальнейшее накопление прекратилось бы или по крайней мере само собою ослабилось бы, чтобы не опережать хода изобретений в искусствах, производящих предметы необходимости. При таком положении дел внезапное увеличение капитала страны, не сопровождаемое увеличением производительной силы, сохранится не надолго: уменьшая прибыль и проценты, оно или уменьшит на соответствующую сумму сбережение, какое было бы сделано в следующий год или в два, или заставит выслать такую же сумму за границу, или растратить ее в опрометчивых спекуляциях. Внезапный вычет из капитала также не произведет существенного обеднения страны, если не будет иметь чрезмерной величины. Через несколько месяцев или лет в стране будет существовать столько же капитала, как если бы не было взято из него ничего. Вычет, подняв прибыль и проценты, дает накапливающей силе новое возбуждение, которое быстро пополнит опустевшее место. Единственным результатом будет, вероятно, то, что на несколько времени будет меньше капитала вывозиться или пропадать в рискованных спекуляциях.

Такой взгляд на вещи, во-первых, значительно ослабляет в богатой и промышленной стране силу экономического аргумента против расходования общественных денег на предметы, существенно полезные, хотя бы и непроизводительные в промышленном смысле. Если предполагается взять займом значительную сумму для какого-нибудь великого дела справедливости или филантропии, — например, для промышленного возрождения Ирландии, для обширного плана колонизации или для национального воспитания, политические люди не должны возражать, что поглощение такой массы капитала иссушит постоянные источники богатства страны и уменьшит фонд, из которого содержится рабочее сословие. При самой крайней величине расход, нужный для той или другой из подобных целей, по всей вероятности, не отнимет занятия ни у одного работника и не уменьшит производство следующего года ни одним локтем миткала, ни одним бушелем пшеницы¹²⁹. В бедных странах капитал страны требует заботливых попечений законодателя, обязанного прикасаться к нему лишь с величайшей осторожностью и всеми силами покровительствовать тому, чтоб он накоплялся в самой стране и вносился в нее из-за границы. Но в богатых, многолюдных и высоко возделанных странах недостаток не в капитале, а в плодородной земле, и законодатель должен желать не увеличения в массе накоплений, а увеличения выручки с этих накоплений через улучшения в земледелии или открытие доступа к продукту более плодородной земли других стран, — этому, а не увеличению накоплений, должен помогать законодатель в таких странах. В них правительство может, не уменьшая национального богатства, брать (лишь бы не слишком большую) часть капитала страны и расходовать ее как доход; эта сумма будет взята из той части годовых сбережений, которая иначе пошла бы за границу, или из непроизводительных расходов част-

ных лиц в следующий год или два; каждый взятый таким образом миллион оставляет нации место сберечь другой миллион, не доходя до степени, с которой капитал переливается за границу. Когда цель правительственного расхода заслуживает того, чтобы пожертвовать для нее известною суммою, идущую на мимолетные удовольствия нации, то единственным основательным экономическим возражением против способа брать необходимую сумму прямо из капитала через заем служит возникающее из этого неудобство брать потом суммы посредством налогов на уплату процентов долга¹³⁰.

Вторая половина этого отрывка совершенно справедлива; но в начале его Милль излагает свои мысли так неопределительно, что может подать повод к ошибкам. Может показаться, как будто низкость прибыли воображает он себе каким-то бедствием, от которого надобно обществу спастись во что бы то ни стало, как будто бы даже непроизводительная растрата капитала облегчает положение общества, как будто оно страдает от чрезмерности капитала. Разумеется, Милль вовсе не хотел сказать ничего подобного; он только выразился слишком неопределительно. Если накопление богатств замедляется не от посторонних вредных влияний или обстоятельств, а только от ненадобности слишком горячо заботиться об увеличении богатств, — тут нет еще ничего тяжелого; напротив, надобно полагать, что желание богатеть ослабевает только в людях, совершенно довольных своим положением, то есть пользующихся полным благосостоянием. Развитию этого взгляда Милль посвящает отдельную главу, большую часть которой мы приведем здесь.

Мы видели, что в передовых странах прибыль вообще довольно близка к *minimum*у, а по достижении этого *minimum*а перестает возрастать капитал и начинается так называемое «неподвижное состояние». Прежние экономисты вообще смотрели на эту перспективу с ужасом. Милль не разделяет такого чувства.

Я не могу смотреть на неподвижное состояние капитала и богатства с отвращением, какое обнаруживали к нему политико-экономы старой школы. Я расположен думать, что в сущности оно было бы значительно лучше нашего нынешнего положения. Признаюсь, меня не очаровывает идеал жизни, представляемый писателями, думающими, что нормальное состояние человека, — борьба для своего повышения; что толкаться, карабкаться, расталкивать толпу локтями, ступать друг другу на ноги, — что этот нынешний тип общественной жизни — прекраснейшая для людей участь, а не неприятный симптом одного из фазисов общественного прогресса. Конечно, следует, чтобы дорога к богатству была без всяких привилегий и пристрастий открыта для всех, пока богатство есть могущество и богатеть как можно больше служит предметом всеобщего честолюбия. Но самое лучшее для человеческой природы состояние то, в котором никто не беден, никто не желает стать богаче и не имеет причин опасаться, что будет оттолкнут назад усилиями других пробиться вперед.

Конечно, пока лучшие люди не успели еще воспитать для лучшей жизни других, то лучше силам человека поддерживать в энергической деятельности борьбу за богатство (как прежде поддерживались они военною борьбою), чем гнить в бездействии. Пока люди грубы, им нужны грубые возбуждения, и пусть они имеют их. Но пока это изменится, люди, не считающие нынешней очень низкой степени человеческого развития окончательным

его типом, могут быть извинены в том, что они довольно холодны к нынешнему экономическому прогрессу, с которым поздравляют себя дюжинные публицисты, — к простому возрастанию производства и накопления. Чтобы национальная независимость была безопасна, необходимо для страны не отставать далеко от соседей в этих вещах. Но сами по себе они маловажны, пока размножение или какое другое обстоятельство не допускает массу народа получать долю в их выгодах. Я не знаю, чем тут восхищаться, что люди, которые уже богаче, чем нужно для человека, удваивают свои средства потреблять предметы, которые приносят мало или не приносят вовсе нисколько удовольствия, кроме того, что служат признаками богатства; или что множество отдельных людей переходят каждый год из средних сословий в более богатый класс или из класса занятых делом богачей в класс праздных. Только в отсталых странах возрастание производства еще остается важным делом; в передовых странах экономическая надобность состоит в лучшем распределении, до которого может довести соединенное действие благоразумия и бережливости в отдельных лицах и законодательной системы, благоприятствующей равенству состояний, насколько оно совместно с справедливым требованием каждого, чтобы ему принадлежали плоды его собственного труда, велики ли, малы ли будут они. Можно предположить, например, ограничение суммы, какую дозволяется человеку приобретать через дарение или наследство, количеством достаточным для обеспечения скромной независимости. Под этим двояким влиянием главными чертами общества явились бы следующие: работники, получая хорошую плату, живут изобильно; громадных состояний нет, кроме состояний, выработанных и накопленных в течение жизни одним человеком; но гораздо больше, чем теперь, сословие лиц, избавленных от грубейших видов работы и также пользующихся достаточным физическим и умственным досугом от машинальных мелочей, так что могут они свободно предаваться лучшим сторонам жизни и служить примером изящного для сословий, положение которых менее благоприятно изящному развитию. Такое положение общества, несравненно лучше нынешнего, совершенно совместно с неподвижным состоянием и, как надобно думать, естественнее связано с этим состоянием, чем со всяким другим.

Если технические искусства будут попрежнему улучшаться, а капитал возрастать, то, конечно, есть на свете, и даже в старых странах, место для значительного размножения. Но признаюсь, если оно и безвредно, я вижу мало причин желать его. Страны, наиболее населенные, уже достигли той густоты населения, какая нужна людям, чтобы в полной степени пользоваться всеми выгодами и сотрудничества и общественных сношений. Население может иметь слишком мало простора, хотя бы каждый был обильно снабжен пищею и одеждою. Нехорошо человеку постоянно быть по необходимости среди людей. Мир, из которого изгнано уединение, слишком бедный идеал. Без уединения, без того, чтобы оставаться наедине с самим собою, — невозможны ни глубокое размышление, ни глубина характера; уединение перед лицом красоты и величия природы — колыбель мыслей и стремлений, которые хороши не только для отдельного человека, но без которых нехорошо было бы жить обществу. Мало и удовольствия смотреть на мир, в котором не оставлено ничего естественной деятельности природы, где обращен под пашню каждый фут земли, на которой может расти пища для людей, вспахан всякий кусок, на котором росли дикие цветы или был натуральный луг, истреблены, как соперники человека в пище, все четвероногие и птицы, не сделанные домашними на его пользу, вырублены все рощи и лишние деревья, и едва ли осталось место, на котором мог бы расти дикий куст или цветок, не будучи вырван, как сорная трава, во имя улучшенного земледелия. Если для того, чтоб содержаться на земле более многочисленному, но не более развитому и счастливому населению, должна земля потерять ту великую часть своей привлекательности, которую дают ей вещи, осужденные на истребление при безграничном возрастании богатства и населения, то я искренно надеюсь для блага потомства, что оно захочет оста-

новиться в неподвижном состоянии гораздо раньше, чем принудит его необходимость.

Едва ли надобно замечать, что неподвижное состояние капитала и населения вовсе еще не заключает в себе неподвижности человеческого развития. При нем оставалось бы не меньше, чем прежде, целей для всех направлений умственного образования, нравственного и общественного прогресса, столько же места усовершенствованию искусства жить и гораздо больше возможности совершенствоваться этому искусству, когда мысли перестанут быть поглощаемы искусством пробиться вперед других. Даже промышленные искусства могут развиваться тогда так же деятельно и успешно, с тою только разницею, что промышленные усовершенствования стали бы производить тогда законное свое действие, — сокращать труд вместо того, <чтобы производить то,> что теперь не служит ни к чему, кроме увеличения богатства. До сих пор еще сомнительно, облегчили ли хотя одному человеку труд для насущного хлеба все наши механические изобретения. Они дали возможность большему числу людей жить тою же тяжелою, осторожною жизнью и большему числу фабрикантов с товарищами обогащаться. Они увеличили удобства жизни средних сословий. Но они еще не начали производить в человеческой судьбе те великие перемены, к совершению которых назначены они своей сущностью и своею будущностью. Лишь тогда, когда будут справедливые учреждения, и размножение людей будет обдуманно руководиться здравою предусмотрительностью, победы, одержанные над силами природы умом и энергиею мыслителей и изобретателей, станут общою собственностью человеческого рода и средством к улучшению и возвышению судьбы всех людей ¹³¹.

Советуем поклонникам господствующей теории обратить особенное внимание на те строки, которые находятся почти в самом конце приведенного нами отрывка. Милль прямо говорит, что сомнительно, принесли ли до сих пор какое-нибудь облегчение людям все механические изобретения ¹³². Они увеличили удобства жизни для среднего класса, говорит он, и увеличили число богатых капиталистов, — но еще не начали производить того улучшения в человеческой судьбе, какое должны произвести по своей натуре. — За то, что мы говорим это, нас упрекают рутинисты в незнакомстве с их теориею. Но вот то же самое они могут слышать теперь от замечательнейшего из нынешних учеников Адама Смита. Не придется ли обвинять и Милля в невежестве? Ведь мы в сущности говорим только то же, что сейчас читатель слышал от него. Но нет, действительно правы люди, находящие разницу между его и нашими словами. То признание, которое он делает мимоходом, остается почти без всякого влияния на общий ход его мыслей. Мы, напротив того, постоянно держим в памяти этот факт и выводим из него заключение, чего он не заботится делать.

И опять-таки нет: есть и у него кое-что сходное с мыслями, к каким приводит нас этот факт. Мы сейчас увидим, что его понятие о надлежащем порядке экономического быта как будто бы одинаково с нашим. Оно было бы и совершенно одинаково, если бы не разность в мнениях о том, в чем заключаются препятствия, мешающие человеческому благосостоянию, и в чем нужны перемены для его достижения. Так, например, в последних

строках приведенного отрывка повторяется господствующая мысль Милля, что главным препятствием благосостоянию массы служит теперь чрезмерность размножения; а главным средством улучшить быт массы считает он бережливость и благоразумие работников; под благоразумием тут разумеется то, чтобы они не размножались. Но мы показывали, что сами принципы нынешнего быта мешают благосостоянию массы, совершенно независимо от того, размножается она или не размножается. Если под благоразумием работников понимать не одну воздержность, о которой говорит Милль, а вообще ясное сознание о качествах существующего экономического устройства и о том, как оно должно быть изменено, то, конечно, все зависит от благоразумия самих работников, потому что все в обществе зависит от характера мыслей у населения страны. Но придавать такой общий смысл выражению, за которым укоренился совершенно иной, частный смысл, — значит делать натяжку, ведущую к ошибкам. Потому лучше будет сказать, что благосостояние массы зависит от ее убеждений и не возвысится до тех пор, пока не распространятся между людьми известные убеждения. Главные черты образа мыслей, ведущего к улучшению быта, мы уже знаем. Они состоят в том, что труду не следует быть товаром, что человек работает с полной успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого, что чувство собственного достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина, что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характера улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и что поэтому отдельные хозяева-работники должны соединяться в товарищества. Когда так называемые утописты заговорили об ассоциации, теоретики господствующей школы провозгласили эту новую идею злодейственною нелепостью, точно так же, как сначала провозглашается нелепостью вообще всякая новая мысль. Теперь уже не то. В каждом рутинном курсе политической экономии делается значительная уступка понятиям так называемых утопистов; самый отсталый политико-эконом должен признаваться, что экономическая история движется к развитию принципа товарищества и что оно в некоторых случаях уже оказалось очень полезным. С этим признанием бывают соединены всевозможные жолчные выходки и оно бывает обставлено бесчисленными оговорками. Но смущаться тут нечем: людям, не желающим делать известного признания, естественно сердиться на необходимость, принуждающую к нему; людям, не желающим делать уступок, натурально придумывать крючкотворские кляузы при невозможности избежать уступок. Милль

и в этом случае очень выгодно отличается от других теоретиков господствующей экономической школы. У него нет досады, — он делает признание с готовностью, говорит о наступающем новом порядке быта с любовью. Он воспитался не в той школе, которой принадлежит будущее, и когда он познакомился с нею, поздно уже было ему перестраивать теорию, слишком плотно вошедшую в его мысли. Новым понятиям осталось слишком мало места в его голове, потому что была она уже занята прежними понятиями. Но по своей честной и живой натуре он всегда был расположен сочувствовать улучшениям, и если уже были израсходованы почти все его личные умственные силы на прежнее дело, на усвоение и развитие прежних понятий, то с радостью посвящает он остаток своих усталых сил усвоению новых понятий; переучиваться было ему поздно, — но чему может вновь научиться человек уже установившийся, тому постарался он научиться¹³³.

В. БУДУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Понятие о том, что прибыль имеет тенденцию понижаться, привело Милля, как мы видели, к размышлениям о характере такого общественного состояния, когда от понижения прибыли ослабевает тот позыв к накоплению богатств, который дается расчетом жить на проценты без личной работы и, с тем вместе, без уменьшения сделанных запасов. В мыслях о таком быте больше всего заинтересовался он вопросом о положении массы; это привело его к довольно подробному изложению мыслей «о вероятной будущности рабочих классов». Мы помещаем большую часть этой главы его трактата здесь, не делая к ней на этот раз никаких замечаний.

Когда я говорю здесь или в других местах книги «о рабочих классах» или о рабочих как о «сословии», я употребляю эти выражения в соответствии обычаю и в соответствии существующему, не вовсе необходимому или вечному состоянию общественных отношений. Я не признаю ни справедливости, ни благотворности за такими состояниями общества, в которых есть какой-нибудь «класс» не рабочих, есть люди, изъятые от несения своей доли необходимых трудов человеческой жизни, кроме людей, неспособных работать или правильно заслуживших отдых прежней работой. Но пока существует великое общественное зло — нерабочий класс, работники также составляют класс, и о них можно, — впрочем только временно, — говорить как о сословии.

Состояние работников с нравственной и общественной стороны стало в последнее время гораздо больше, чем прежде, занимать собою мыслителей и общественных людей. И очень распространилось мнение, что теперь их состояние не таково, каким следует ему быть. Обнародованы предположения, возбуждены споры; эти предположения и прения обнаружили, что существуют две противоположные теории о том, какого общественного положения следует желать для рабочих классов. Одну из них можно назвать теориею зависимости и покровительства, другую — теориею самостоятельности.

По первой теории участь бедных во всем, что касается их всех вместе,

должна быть определяема за них, а не ими. Не надобно требовать от них или возбуждать их, чтобы они думали о себе сами; не надобно их мыслями или предсмотрительности давать важного голоса в определении судьбы их. Теория эта говорит, что высшие классы обязаны думать за них, принимать на себя ответственность за их судьбу, как командиры и офицеры армии берут на себя ответственность за составляющих ее солдат. Теория говорит, что высшие классы должны готовиться к добросовестному исполнению этой обязанности и всем своим образом действий внушать бедным уверенность в этом, чтобы, пассивно и активно повинаясь предписанным для них правилам, они во всем могли предаваться доверчивой беззаботности и покоиться под сению своих покровителей. По этой теории (применяемой также к отношению между мужчинами и женщинами) отношение между богатыми и бедными только отчасти должно быть повелительное: оно должно быть также дружеское, нравственное и сентиментальное, — с одной стороны любящее опекунство, с другой почтительное и признательное послушание. Богатые должны быть отцами», *in loco parentis* * бедным, руководя и удерживая их, как детей. Самобытного действия бедным не нужно. Все их призвание в том, чтобы исполнять свою насущную работу и быть нравственными и религиозными. Нравственность и религию должны доставлять им старшие, обязанные наблюдать, чтобы они хорошо обучались этому, и делать все необходимое для обеспечения им за их труд и привязанность надлежащего пропитания, одевания, жилища, духовного назидания и невинного развлечения.

Таков идеал будущности в понятиях людей, у которых недовольство настоящим принимает форму любви к прошедшему и сожаления, что оно миновалось. Подобно другим идеалам, он имеет бессознательное влияние на мысли и чувства множества людей, никогда не руководящихся сознательно никаким идеалом. Сходен он с другими идеалами и в том, что никогда не осуществлялся в истории. Он вызывает к нашим фантастическим симпатиям под видом восстановления добрых наших прадедовских времен. Но нельзя указать никакого времени, когда высшие классы нашей или какой другой страны исполняли роль, хотя отдаленным образом сходную с назначаемой для них по этой теории. Это идеализация, основанная на образе действий и характере некоторых отдельных людей. Все привилегированные и могущественные классы, как классы, пользовались своим могуществом в интересе своего эгоизма и удовольствие своему тщеславию находили в том, чтобы презирать людей, по их мнению униженных необходимостью работать на них, а не в том, чтобы с любовью пеших об этих людях. Я не говорю, что как всегда было, так всегда должно быть, — не говорю, что человеческое развитие не имеет тенденции улучшать сильный эгоизм, порождаемый могуществом; но если зло это и может уменьшиться, то не может оно быть искоренено, пока не отстранено самое могущество. То по крайней мере кажется мне бесспорным, что низшие классы разовьются до невозможности быть управляемыми по этой теории опекунов гораздо раньше, чем высшие классы достаточно улучшатся, чтобы управлять по ней.

Я очень хорошо понимаю всю обольстительность представляемого этою теориею общественного быта. Факты этой картины не имеют прототипа в прошедшем, но есть в нем примеры чувств, о которых она говорит, и в чувствах заключается вся доля реальности этой теории. Очень неприятна для чувства мысль об обществе, связью которому служат лишь отношения и чувства, основанные на одних денежных выгодах, и есть нечто привлекательное для человеческой природы в устройстве общества, изобилующем сильными личными привязанностями и бескорыстным самоотвержением. Обильнейшим источником таких чувств до сих пор было отношение между покровителем и покровительствуемым, — в этом надобно согласиться. Сильнее всего люди вообще привязываются к вещам или лицам, ограждающим их от какого-нибудь страшного зла. Потому в век беззаконного насилия и

* Вместо отца. — *Ред.*

небезопасности, общей жестокости и грубости обычаев, когда жизнь на каждом шагу окружена опасностями и страданиями для людей, не имеющих ни личного могущественного положения, ни права на покровительство от могущественного человека, — в таком веке благородное покровительство и признательное принятие его бывают сильнейшими узами между людьми; чувства, возникающие из этого отношения, — самыми теплыми чувствами; весь энтузиазм и вся нежность людей с пылкою душою сосредоточиваются на этом отношении; преданность с одной стороны, рыцарский дух с другой, бывают принципами, экзальтирующимися до страстности. Я не думаю уменьшать цену этих качеств. Ошибка состоит в том, что не понимают, что эти добродетели и чувства, подобно племенному чувству и гостеприимству кочевому араба, принадлежат в сильнейшей степени грубому и неудовлетворительному состоянию общественного быта, и что чувства между покровителем и покровительствуемым, — будет ли то правитель и управляемый, или богатый и бедный, или мужчина и женщина, — не могут иметь этого обольстительного и милого характера там, где уже нет серьезных опасностей, против которых была бы нужда в покровительстве. Что такого есть в нынешнем состоянии общества, чтобы натурально было людям обыкновенной силы и храбрости пылать жарчайшею благодарностью и преданностью взамен за покровительство? Они находят покровительство в законах, когда законы не изменяют преступно своему долгу. Быть под властью какого-нибудь лица, — это положение прежде бывшее единственным условием безопасности, — теперь, говоря вообще, остается единственным отношением, подвергающим тяжелой несправедливости. Так называемые покровители — теперь единственные лица, против которых в обыкновенных обстоятельствах нужно покровительство. Обиды и тиранства, которыми наполнен каждый список полицейских дел, — обиды мужей женам, родителей детям. Что закон не предупреждает этих жестокостей, что он только теперь делает первую робкую попытку прекращать и наказывать их, это не следствие необходимости, а глубокий стыд тем, которые составили и исполняют закон. Никакой мужчина, никакая женщина, если они могут жить, — или могут чему-нибудь выучиться, чтобы жить — независимым трудом, не нуждаются ни в каком другом покровительстве, кроме того, которое могли бы и обязаны давать законы. При таких обстоятельствах продолжать считать за бесспорное дело, что вечно должны существовать отношения, основанные на покровительстве, — это свидетельствует о глубоком незнании человеческой природы: как не видеть, что принятие роли покровителя и власти, принадлежавшей покровителю, без всякой оправдывающей то надобности, должно порождать чувства, прямо противоположные преданности?

О рабочих людях, — по крайней мере в передовых странах Европы, — можно сказать наверное, что патриархальной или отеческой системы опекуна над ними они вновь уже не подчинятся. Вопрос этот был решен, когда они выучились читать и получили доступ к газетам и политическим брошюрам; когда они допустили диссентерских проповедников¹³⁴ явиться к ним и призывать их ум и чувства, отвлекая их от исповедания, которого держатся и которое поддерживают их старшие; когда их собрали во множестве — вместе работать под одною кровлею, когда железные дороги открыли им возможность переноситься с места на место и перемывать своих патროнов и хозяев так же легко, как перескидывать платье; когда их стали возбуждать искать избирательного права, чтобы иметь участие в управлении. Рабочие классы взяли свои интересы в свои руки и постоянно показывают, что считают интересы своих хозяев противоположными своим, а не одинаковыми с ними. Есть в высших сословиях люди, надеющиеся, что эти тенденции могут быть изменены моральным и религиозным воспитанием; но они пропустили время дать работникам воспитание, которое может соответствовать подобной цели. Принципы реформации¹³⁵ проникли во все слои общества с умением читать и писать, и бедные уже не захотят принимать мораль и религию по предписанию других. Я говорю в частности о Великобритании, особенно о городском населении и о сельских округах

Шотландии и северной Англии, где земледелие ведется самым научным образом, а рабочая плата высока. В южных графствах, где земледельское население апатичнее и патриархальнее, сельское дворянство, быть может, успело бы еще на несколько времени поддержать в бедных следы старинной почтительности и послушности, если бы стало подкупать бедных высокою рабочею платою, не оставляя их никогда без занятия, обеспечивать им средства к жизни и не требовать от них ничего неприятного им. Но эти условия никогда не бывали и не могут быть надолго соединены. Гарантировать средства к жизни практически возможно лишь с возложением обязанности работать и с тем, чтобы сдерживать излишнее размножение, если не физическим, то по крайней мере нравственным стеснением. Взявшись за это, дилетанты, желающие восстановить старину, которой сами не понимают, увидели бы на практике, как безнадежно их намерение. Все здание патриархального или владельческого влияния, проектируемое на фундаменте любезного обращения с бедными, разбилось бы о необходимость наложить на бедных строгий закон против размножения и праздности.

Основа для благосостояния рабочих людей должна отныне быть совершенно иного рода. Бедные уже переросли возможность водить их на помочах, и нельзя поступать с ними, как с детьми. Забота о их судьбе должна быть ныне предоставлена им самим. Нынешним нациям приходится понять, что благосостояние народа должно основываться на справедливости и самоуправлении, *dikaïosynê* и *sôphrosynê* * каждого гражданина. Теория зависимости хочет обойтись без этих качеств в зависимых сословиях. Но теперь, когда и по общественному положению они становятся все менее и менее зависимы, а мысли их все менее и менее довольны и тою степенью зависимости, какая еще остается, им нужны качества, нужные для качества независимых людей. Если дается теперь совет рабочим классам, надобно подавать его им как равным, чтобы они судили о нем собственным умом. Будущность зависит от того, до какой степени они могут стать разумными людьми.

Судя по всему, надобно иметь надежду на будущность. Правда, прогресс до сих пор шел, да и теперь еще идет медленно. Но умы в массе воспитываются по собственному влечению, и это их самовоспитание можно значительно ускорить и улучшить внешним содействием. Образование, приобретаемое из газет и политических брошюр, — не превосходнейший род образования, но все-таки оно гораздо выше, чем отсутствие всякого образования. Публичные лекции, вечера для публичных прений, общие совещания по вопросам общего интереса [рабочнические общества (*trades-unions*) **, политическая агитация], — все это служит к возбуждению общественного духа, распространяет в массе множество понятий, пробуждает мысль и привычку к обдуманности в даровитейших рабочих. Слишком раннее получение политических прав наименее образованным классом могло бы замедлить, а не ускорить его развитие; но то едва ли подлежит сомнению, что желание приобрести политические права сильно поощряет этот класс к развитию. Еще не имея политических прав, рабочие классы уже составляют теперь часть публики; они, или некоторые люди из них, участвуют во всяком обсуждении предметов общественного интереса; каждый пишущий в газете может иметь их читателями своих статей; пути к образованию, которыми достигают средние классы нынешних своих понятий, доступны и работникам, по крайней мере в городах. Имея эти средства, работники, без сомнения, будут просвещаться, если даже и не найдут содействия своим усилиям. Но есть основание надеяться, что важные улучшения в качестве и размере школьного воспитания будут сделаны усилиями правительства или частных лиц и что прогресс массы народа в умственном образовании и в происходящих от него хороших качествах пойдет гораздо быстрее и с меньшими колебаниями, чем пошел бы без постороннего содействия.

* Справедливость и благоразумие. У Милля эти слова напечатаны по-гречески. — *Ред.*

** Профессиональные союзы (трэд-юнионы). — *Ред.*

От развития образованности в массе с уверенностью можно ожидать многих результатов. Во-первых, работники еще меньше нынешнего будут иметь охоты, чтобы другие люди руководили и управляли ими помощью одного авторитета и репутации своего старшинства. Если уже и теперь не имеют они, то после еще меньше будут иметь почтительной робости или суеверной послушности, держащей их в умственном подданстве высшему классу. Теория зависимости и покровительства будет становиться для них все несноснее, и они станут требовать, чтобы в сущности самим им было оставлено определять свое положение и образ своих действий. Очень возможно, что при этом во многих случаях они будут требовать вмешательства законодательной власти в их дела и законодательного регулирования многих касающихся до них предметов и часто будут при этом сами ошибаться относительно своей выгоды. [Но все-таки они будут требовать исполнения своей воли, своих мыслей и предположений, а не принятия правил, составленных для них другими.] Нимало не будет противоречить этому, что они станут чувствовать уважение к людям, превосходящим их знаниями и умственным развитием, и станут во многом полагаться на мнение лиц, считающихся у них хорошо знакомыми с предметом, — это глубоко лежит в человеческой природе; но они сами станут судить о том, какие лица достойны или недостойны подобного доверия.

Непременным последствием умственного развития, просвещения и любви к независимости в рабочих классах я считаю возрастание здравого смысла, обнаруживающегося в предусмотрительных привычках; потому не сомневаюсь, что число населения будет тогда составлять постепенно все меньшую и меньшую пропорцию сравнительно с капиталом и количеством занятия. Ход этого благотворного результата будет значительно ускоряться другою переменою, прямо лежащею на пути лучших тенденций нашего времени, — открытием одинаковой свободы в промышленных занятиях для обоих полов. По тем же самым причинам, по которым прекратилась необходимость бедному быть в зависимости от богатых, прекратилась также необходимость женщине быть в зависимости от мужчины, и наименьшее, чего требует справедливость, состоит в том, чтобы закон и обычай не ставили насильственно женщин (по достижении совершеннолетия) в зависимость своими правилами, по которым женщина, не получившая средств к жизни через наследство, почти не имеет теперь никакой возможности приобретать средства к жизни иначе, как становясь женою и матерью. Пусть женщины, предпочитающие эту карьеру другим, принимают ее; но теперь для огромного большинства женщин нет никакого выбора, никакой возможности другой карьеры, кроме того, как быть служанкою, — это явная и сильная общественная несправедливость. Конечно, недалеко уже время, когда будут признаны величайшим препятствием нравственному, общественному и даже умственному улучшению общества те понятия и учреждения, по которым случайное различие пола служит основанием неравенства юридических прав и вынужденного различия в общественных отношениях. Из числа вероятных последствий промышленной и общественной независимости женщин здесь я укажу только одно — сильное уменьшение чрезмерного размножения. Целую половину человеческого рода мы обрекли исключительно на эту функцию, сделали ее единственным содержанием целой жизни одного пола и переплели ее почти со всякою деятельностью другого пола, — вот причина тому, что животный инстинкт размножения развивается до чрезмерного перевеса, каким до сих пор пользовался в человеческой жизни.

Слишком обширным предметом для нашего трактата было бы изложение политическим результатов того, что растет сила и важность рабочих классов, [и растет значение большинства перед меньшинством, так что даже в Англии при нынешних учреждениях воля большинства быстро приобретает в правительственных делах, если не положительный, то по крайней мере отрицательный характер]. Но ограничиваясь экономическою стороною дела, я полагаю, что, несмотря на перемену в распределении продукта к их выгоде, какая будет произведена развитием образованности в рабочих классах и справед-

ливыми законами, — я полагаю, что, несмотря на эту перемену, они все-таки никак не удовольствуются навсегда тем своим положением, что работают по найму, — не захотят видеть в этом своего окончательного состояния [они могут быть согласны на то, чтобы переходить через положение слуги в положение хозяина, но не оставлять слугами на всю жизнь. Начинать службою по найму, потом через несколько лет начинать работать самому на себя, наконец, самому иметь работников — таково нормальное положение в новой стране, где богатство и население быстро растут, как в Америке или в Австралии. Но в старой и густо заселенной стране люди, начинающие жить наемными работниками, вообще остаются до конца, если не падают еще ниже, в положении людей, содержимых общественной благотворительностью]. В нынешнем периоде человеческого прогресса [когда идеи равенства с каждым годом все шире и шире разливаются между беднейшими классами и когда нельзя задержать их ничем, кроме совершенного уничтожения свободы печатной и даже словесной речи], нельзя ожидать, чтобы навсегда удержалось разделение человеческого рода на два наследственные класса, хозяев и их работников. Это отношение почти столько же неудовлетворительно и для хозяина, дающего плату, как и для работника, получающего ее. Если богатые смотрят на бедных, как будто на людей, от природы назначенных быть их слугами и подчиненными, то бедные в свою очередь смотрят на богатых, просто как на добычу, которую надобно обирать, как на предмет решительно безграничных просьб и ожиданий, возрастающих с каждой уступкою. Совершенный недостаток уважения к справедливости в этих взаимных отношениях столько же заметен и в работниках, сколько в хозяевах. Напрасно ищем мы в массе работников той справедливой гордости, которая хочет давать за хорошую плату хорошую работу; почти все они стараются лишь о том, чтобы получить как можно больше, а возратить в форме работы как можно меньше. Раньше или позже, классу хозяев покажется невыносимо жить в тесном ежеминутном соприкосновении с лицами, интересы и чувства которых враждебны им. Капиталисты почти столько же, как работники, заинтересованы в том, чтобы придать промышленным операциям устройство, при котором люди, работающие на них, имели бы к делу такой же интерес, как имеют люди, работающие сами на себя.

Мнение о мелкой поземельной собственности и поселянах-собственниках, высказанное в одной из предыдущих книг моего трактата, вероятно, заставляет читателя предполагать, что широкое распространение поземельной собственности представляется мне средством вывести по крайней мере сельскохозяйственных работников из-под исключительной зависимости от наемной платы. Но мое мнение не таково. Правда, я полагаю, что эта форма сельскохозяйственного хозяйства опорочена самым неосновательным образом, и что по всей сумме своего влияния на человеческое счастье она далеко выше всех ныне существующих форм наемного труда; размножение сдерживается в ней благоразумием прямее и, как свидетельствует опыт, успешнее; кроме того, по обеспеченности, по независимости, по употреблению в дело всех высших способностей, состояние земледельца-собственника гораздо выше состояния земледельческого работника в Англии и других странах. Где система мелкой поземельной собственности уже существует и действует вообще удовлетворительно, там, кажется мне, жаль было бы при нынешнем состоянии человеческого просвещения видеть, что она уничтожается для замены наемным трудом по педантическому мнению, будто бы улучшенное земледелие должно быть одинаково при всевозможном различии обстоятельств. Где промышленное развитие низко, как в Ирландии, там я желаю введения этой системы предпочтительно перед исключительною системою наемного труда, потому что она могущественнее поднимает население из полудикой небрежности и беспечности к упорному трудолюбию и благоразумной расчетливости.

Но народ, однажды принявший систему производства в большом раз-
мере, — фабричного или земледельческого производства, все равно, — едва ли отступит от нее; и если население сдерживается в должной пропорции к средствам продовольствия, то и не следует желать, чтобы он отступал от нее.

Труд бесспорно производительнее бывает при системе обширных промышленных предприятий, и продукта получается от них больше, если не по абсолютной сумме, то по пропорции к употребленному на нее труду; равное число лиц может содержаться тут в равном благосостоянии с меньшим трудом и большим досугом; а это будет давать полное превосходство обширным предприятиям, когда цивилизация улучшится настолько, что выгода целого дела станет выгодой каждого участвующего в нем. С нравственной стороны вопроса, которая еще важнее экономической, надобно целью промышленного развития ставить нечто лучшее, чем система, которая разбрасывает людей по земле отдельными семействами, находящимися каждое под управлением патриархального деспота, как теперь, и почти не имеющими ни общности интересов, ни необходимого умственного сношения с другими людьми. Владычество главы семейства над другими членами безгранично при этом состоянии, а мысли этого главы ведутся таким порядком к сосредоточению всех выгод на семействе, которое он считает своею принадлежностью, к сосредоточению всех страстей на страсти исключительного обладания, всех забот на заботе об охранении и приобретении. Можно с удовольствием смотреть на такое нравственное состояние, как на шаг из чисто животного состояния к человеческому быту, на шаг от беспечного повиновения животным инстинктам к предусмотрительному благоразумию и самообладанию. Но если мы хотим, чтобы существовали общественные интересы, благородные чувства, истинная справедливость и равенство, то школой, воспитывающею эти качества, служит не разъединение, а ассоциация интересов. Целью улучшений должно быть не одно то, чтобы поставить людей в положение, дающее возможность обходиться друг без друга, но и то, чтобы они могли трудиться друг с другом или друг на друга в отношениях независимых. Людям, живущим своею работою, до сих пор не было другого выбора, как или работать каждому особо от других, или работать на хозяина. Но цивилизирующее и развивающее влияние товарищества, успешности и экономия производства в большом размере могут быть достигнуты без разделения производителей на две партии с враждебными интересами и чувствами, как теперь, когда многие работают простыми служителями под командою одного, дающего средства к работе, и не имеют в деле никакой своей выгоды, кроме той, чтобы получать рабочую плату, работая как можно меньше. Исследования и прения последних 50 лет и события последних десяти лет достаточно разъяснили этот вопрос. [Если военный деспотизм, торжествующий ныне на континенте, не успеет в своих нечестивых усилиях] подвинуть назад человеческую мысль, то нельзя сомневаться, что положение наемных работников будет постепенно идти к тому, что, наконец, останутся в нем лишь те работники, которые по недостатку нравственных качеств неспособны к положению, более независимому; а отношение между хозяевами и работниками постепенно заменится товариществом двух следующих форм: на время и в некоторых случаях ассоциацией работников с капиталистом, а в других случаях, и напоследок во всех, товариществом между самими работниками.

Первая из этих форм ассоциации существует давно, но не как правило, а в виде исключения. В некоторых отраслях промышленности уже встречаются случаи, где каждый участвующий в деле или трудом или денежными средствами имеет в выгодах дела долю, соразмерную с ценностью его участия. Уже вошло во всеобщее обыкновение вознаграждать процентами из прибыли тех, которым хозяева должны особенно доверять; есть случаи, в которых тот же принцип с превосходным успехом распространен и на класс простых чернорабочих.

На американских кораблях, ведущих торговлю с Китаем, давно принято, чтобы каждый матрос имел свой процент из прибыли каждого рейса; этому приписывают факт, что матросы тут вообще держат себя хорошо и чрезвычайно редки столкновения между ними и правительством или народом Китайской империи. Подобным примером в Англии служат корнуэльские рудокопы, положение которых менее знакомо публике, чем следовало бы.

«В Корнуэлле рудники разрабатываются по строгой системе товарищества; партии рудокопов заключают с поверенным владельца рудника условие разработать известную часть рудной жилы и приготовить руду на продажу, получая сами известный процент из суммы, за которую будет продана руда. Контракты эти заключаются на известные сроки, вообще на два месяца, и разработку по их условиям берут на себя артели добровольных участ<ни>-ков, привычных к работе. Система эта имеет свои невыгоды по неверности и неправильности в получении денег работниками, которым приходится иногда жить в долг; но в ней есть выгоды, с избытком перевешивающие это неудобство. Она развивает ту образованность, независимость и нравственность, по которым материальное положение и характер корнуэльского рудокопа гораздо выше обыкновенного между работниками уровня. Доктор Бергем говорит, что «корнуэльские рудокопы вообще не только люди образованные сравнительно с другими работниками, но и безусловно — люди, хорошо образованные; в характере их есть независимость, похожая на американскую, благодаря системе контрактов, оставляющей им полную свободу распоряжаться делом между собою, так что каждый из них, как компаньон своей маленькой фирмы, чувствует себя при встрече с хозяином почти равным ему. Зная образованность и независимость их характера, мы не удивимся, услышав, что очень многие рудокопы имеют теперь свои участки, снятые по контрактам на три жизни или на 99 лет, и живут на этих участках в собственных домах; что 281 541 фунтов находятся в сберегательных кассах Корнуэлла, и две трети из этой суммы принадлежат рудокопам»*.

Бebbэджд, также рассказывающий об этой системе, говорит, что плата матросам на китоловных судах определяется на подобном основании, а «прибыль от ловли рыбы сетями на южном берегу Англии делится таким образом, что половина продукта принадлежит владельцу лодки и сетей; а другая половина, поровну, делится между людьми, ловившими рыбу обязанными также помогать в починке сетей, когда понадобится». Бebbэджду принадлежит та великая заслуга, что он указал возможность и выгодность распространить этот принцип вообще на всю фабричную промышленность (Babbadge, Economy of Machinery and Manufactures, изд. 3, гл. 26).

Довольно большое внимание возбудил опыт этого рода, начатый лет шестнадцать тому назад в Париже подрядчиком — маляром Леклером (заведение которого помещалось Rue Saint Georges, № 11) и описанный им в брошюре, изданной в 1842 г. Леклер говорит в этой брошюре, что у него работают средним числом до двухсот человек, которым он платит обыкновенное определенное жалованье. Себе он назначает, кроме процентов за свой капитал, определенную сумму за свою ответственную работу по управлению делом. В конце года остальная прибыль делится между всеми, считая тут и его самого, пропорционально плате, получаемой каждым**. Очень поучительны причины, заставившие Леклера принять эту систему. Находя своих работников неудовлетворительными, он сначала попробовал дать им больше жалованья и таким образом успел получить превосходных работников, которые уже не променяли бы его ни на какого другого хозяина. «Успев достичь

* Отрывок этот взят из Prize Essays on the Causes and Remedies of National Distress, by Samuel Laing; слова Бepгema, приводимые Ленгом, взяты из приложения к Report of the Children's Employment Commission. — Прим. Милля.

** Но мы видим, что допущенные к этому участию в прибыли работники составляют только часть (несколько менее половины) всего числа людей, работающих у Леклера. Это объясняется тою чертою его системы, что он платит всем своим работникам полное рыночное жалованье. Потому назначенная им доля прибыли служит вся уже прибавкою к обыкновенным доходам работников малярного мастерства, и он очень хорошо поступает, делая ее средством к их улучшению, наградою за усердие или вознаграждением за особенную благонадежность. — Прим. Милля.

таким способом некоторой прочности в делах своего заведения, Леклер ожидал, что теперь ему будет спокойнее (я пользуюсь тут извлечением из брошюры Леклера в Chamber's Journal, for September 27, 1845), но он обманулся в этом. Пока он мог наблюдать сам за всем от общего ведения дел до мельчайших подробностей, дело шло удовлетворительно; но когда по расширению своих оборотов он мог только остаться центром, от которого выходят распоряжения и которому приносятся отчеты, тотчас же подвергся он прежним тревогам и неудовольствиям. Другим источникам промышленных неприятностей он не придает большой важности, но беспорядочное поведение работников выставляет причину ежеминутных потерь. Хозяин имеет работников, равнодушные которых к его интересам таково, что они не исполняют двух третей работы, которую могли бы сделать; потому хозяева беспрестанно раздражаются; видя пренебрежение к своим интересам, они находят себя вправе полагать, что работники постоянно находятся в заговоре разорить людей, дающих им хлеб. Если бы работник был уверен, что не останется без работы, его положение с некоторых сторон было бы приятнее, чем положение хозяина; он вперед знает, что получит известную плату, и получит ее, хорошо ли, дурно ли работает. Он не подвергается риску и возбуждается к добросовестной работе лишь чувством долга. А выручка хозяина, напротив, значительно подвергнута риску; он постоянно имеет неприятности и беспокойства. Далеко не так было бы, если бы интересы хозяина и работников были связаны между собою, соединены какими-нибудь узами взаимного обеспечения, как, например, системою ежегодного раздела прибыли».

Леклер достиг замечательного успеха уже и в первый год полного действия своей попытки. Из работников, работавших все триста дней, ни один не получил в этот год меньше 1500 франков, а некоторые получали значительно больше. Высшая плата у него была 4 франка в день или 1200 фр. за 300 дней; потому остальные 300 фр. следует считать наименьшею суммою, какую поденщик, работающий 300 дней, получил на свою долю из чистой прибыли. Леклер сильными выражениями описывает улучшение, уже и тогда обнаружившееся в привычках и образе действий его работников, не только за работою в отношениях с ним, но и во всех делах, во всех отношениях: в работниках видно стало больше уважения и к другим и к самим себе. В 1847 году эта система еще сохранялась, и мы узнаем из Шевалье, что усердие работников продолжало даже и в денежном смысле вполне вознаграждать Леклера за пожертвование частью прибыли в их пользу*.

Но если человеческий род будет продолжать развиваться, то надобно ожидать, что напоследок станет господствовать не та форма ассоциации, которая может существовать между капиталистом, как главою дела, и ра-

* «Я знаю от г. Леклера, что выгода от чрезвычайного усердия, каким одушевлены его работники со времени принятия системы соучастия в прибыли, с излишком вознаграждает пожертвование, состоящее в сумме паев, которые он назначает им». *Lettres sur l'organisation du travail, par M. Chevalier (1848), письмо XIV.* Один путешественник, недавно бывший на Филиппинских островах, говорит о походе на леклерову систему у китайцев в Манилье. «У китайцев хозяин лавки обыкновенно привлекает к своему делу все усердие служащих в его лавке его соотечественников, давая каждому из них долю из прибыли дела или делая их всех маленькими компаньонами в своей торговле, в которой он, разумеется, не забывает оставлять себе лишнюю часть, так что, принося ему пользу хорошим исполнением дела, они доставляют выгоду себе. Этот принцип развит до того, что даже кули, вместо определенного жалованья, получают долю из прибыли дела, и кажется, что эта система соответствует характеру их; работая за определенную плату, они очень ленивы; но если заинтересованы хотя ничтожнейшею долею из прибыли, то оказываются усерднейшими и полезнейшими работниками». *Mac Micking, Recollections of Manilla and the Philippines during 1848, 1849 and 1859. — Прим. Милля.*

ботниками, не имеющими голоса в управлении, а другая форма — ассоциация самих работников на условиях равенства, с принадлежностью всему их обществу капитала, на который ведутся их операции, и под управлением распорядителей, избираемых и сменяемых ими самими. Пока эта идея еще оставалась только теориею в сочинениях Овена или Луи-Блана, могла она казаться для обыкновенного рассуждения неосуществимой; могло казаться, что попыток к ее осуществлению нельзя сделать иначе, как конфискациею существующего капитала в пользу работников; и в Англии и на континенте есть и до сих пор много людей, воображающих, а еще больше говорящих, что таков смысл и такова цель социализма. Но в массах есть способность к энергии и к самоотречению, выказывающаяся только в тех редких случаях, когда призывают ее во имя какой-нибудь великой идеи или возвышенного чувства. Такой призыв был сделан во Франции в 1848 году. [В первый раз тогда показалось просвещенным и благородным людям рабочих классов великой нации, что они приобрели правительство, искренно желающее свободы и достоинства массы, а не считающее естественным и законным положением массы то, чтобы она служила орудием производства, приводимым в работу для выгоды владетелей капитала. Ободренные этим, выросли и принесли плод посеянные социалистическими писателями идеи об эмансипации труда посредством ассоциации; и] многие работники пришли к решимости работать друг на друга, вместо того, чтобы работать на хозяина-негоцианта или на фабриканта, — пришли и к решимости освободиться, каких бы трудов и лишений ни стоило то, от необходимости платить из продукта своего труда тяжелую дань за пользование капиталом, уничтожить эту подать не отнятием у капиталистов того, что приобрели они или их предшественники посредством труда и сохранили посредством экономии, а честным приобретением капитала для себя. Если б лишь немногие работники взялись за это дело или если бы взялись за него многие, а успели в нем лишь немногие, то можно было бы сказать, что их успех не служит аргументом в пользу их системы, как нормального способа промышленной организации; но кроме всех случаев неудачи, существуют или недавно существовали более ста успешных и в том числе много чрезвычайно цветущих ассоциаций работников в одном Париже, кроме значительного числа в департаментах. Поучительный очерк их истории и принципов издал Фегре под заглавием: *L'Association Ouvrière Industrielle et Agricole*. В Англии газеты часто утверждают, что парижские ассоциации не удалась (люди, пишущие это, как будто по недоразумению приняли предсказания их врагов при их возникновении за свидетельство о последующем результате опыта); потому я считаю нужным показать выписки из Фегре, что эти отзывы не только лишены истины, а прямо противоположны ей.

Почти у всех ассоциаций капитал первоначально ограничивался немногими инструментами, принадлежащими основателям, и маленькими суммами, какие могли быть собраны их сбережениями или получены ими в заем от других работников, таких же бедняков, как они. Некоторым ассоциациям сделаны были ссуды от республиканского правительства; но оказывается, что вовсе не принадлежали к числу успешнейших те ассоциации, которые получили такие ссуды, или по крайней мере те, которые получили их до упреждения своего успеха. Поразительнейшие примеры процветания находятся между теми ассоциациями, у которых не было никакой опоры, кроме их собственных скудных средств и мелких ссуд от других работников, и члены которых сначала питались лишь хлебом с водою, посвящая весь остаток заработка на составление капитала. «Часто касса была совершенно пуста, говорит Фегре (стр. 112), и платы не было никакой. А продажа не шла, а денег за проданное надобно было еще ждать; векселя не принимались к дисконту, а магазин материалов был пуст; и надобно было терпеть лишения, обрезать себя во всех издержках, ограничиваться иногда хлебом с водою... Такими-то мучениями и лишениями, таким-то скорбным путем люди, не имевшие вначале почти никаких средств, кроме твердой воли и своих рук, достигли того, что создали себе круг покупателей, приобрели кредит,

создали, наконец, общественный капитал и основали ассоциации, будущность которых теперь кажется упроченною».

Я вполне приведу замечательную историю одной из таких ассоциаций (Фегре, стр. 113—116).

«Необходимость большого капитала для основания фортепьянной фабрики была вполне сознаваема классом фортепьянных работников, так что в 1848 г. несколько сот их, соединившись для образования большой ассоциации, просили для нее у правительства пособия в 300 000 фр., то есть десятой части всего фонда, назначенного конститутивным собранием¹³⁶ в пособие ассоциациям. Я помню, что, будучи членом комиссии, распределявшей этот фонд, я напрасно старался убедить двух выборных, призванных в комиссию от ассоциации, что просьба их чрезмерна. Все мои слова остались безуспешны; напрасно я толковал с ними часа два. Выборные отвечали мне все одно и то же, — что их промысел находится в исключительном положении, что ассоциация не может основаться с надеждою на успех иначе, как в большом размере и с большим капиталом, что 300 000 фр. — наименьшая сумма, ниже которой не могут они спуститься, — словом сказать, что не могут они уменьшить своего требования ни на один су. Комиссия отказала.

«После этого отказа план большой ассоциации был покинут. Но вот дальнейшая история. 14 человек работников (и, — странное дело, в числе их один из двух выборных) решились одни основать ассоциацию для делания фортепьяно, — это было опрометчивостью, если не безумством со стороны людей, не имевших ни денег, ни кредита; но вера не рассуждает, а действует.

«Итак, эти 14 человек принялись за дело, и вот рассказ о их первых трудах.

«Некоторые из членов ассоциации, работавшие прежде на свой счет, внесли в нее инструментов и материалов тысячи на две франков. Кроме того, нужен был оборотный капитал. Товарищи, не без труда, внесли каждый по 10 фр. Несколько работников, не принадлежавших к ассоциации, выразили ей свое сочувствие слабыми приношениями. Словом сказать, 10 марта 1849 г. набралось 229 фр. 50 сантимов, и ассоциация была объявлена основанною.

«Этой суммы не было достаточно даже для найма квартиры и мелких ежедневных издержек по содержанию мастерской. На плату за работу ничего не оставалось, и около двух месяцев члены ассоциации провели, не получая ни сантима. Как они жили в это критическое время? Как живут работники во время остановки работы, — разделяя обед какого-нибудь товарища, продавая или закладывая вещь за вещь из своего имущества.

«Конечно, было несколько работ. 4 мая получены были деньги за них. Этот день для работников был то же, что для войска первая победа в походе. По уплате всех долгов, требовавших немедленной уплаты, остался на члена ассоциации дивиденд в 6 фр. 61 сантим. Они согласились взять по 5 фр. в зачет рабочей платы, а остальное посвятить на братский обед. Члены ассоциации, большая часть из которых уже год не пили вина, собрались с женами и детьми. Израсходовано было по 1 фр. 60 сантим. на семейство. В мастерских до сих пор говорят об этом дне с чувством, которого трудно не разделять.

«Еще месяц пришлось довольствоваться платою по 5 фр. в неделю. В июне один булочник, меломан или спекулянт, предложил купить фортепьяно с уплатою хлебом. Фортепьяно продали за 480 фр. Это было великим счастьем для ассоциации; теперь она имела по крайней мере необходимое. Хлеб решили не ставить в зачет платы. Каждый брал его по своей надобности или, лучше сказать, по надобности своей семьи, — женатые имели право брать хлеб на дом женам и детям.

«Между тем ассоциация, составленная из отличных работников, постепенно побеждала препятствия и лишения, затруднявшие начало дела. Кассовые книги ее служат лучшим свидетельством успехов, какие приобретались ее работами во мнении покупателей. С августа 1849 г. недельная плата под-

нимается до 10, потом 15, наконец 20 франков. Но эта последняя сумма не представляет еще всей выгоды: каждый член оставлял в общем фонде гораздо больше, чем получал.

«Действительно, положение каждого члена ассоциации надобно определять не по сумме, еженедельно получаемой им, а по доле, какая принадлежит ему в имуществе заведения, уже ставшего большим. Вот счет положения ассоциации, взятый мною из инвентаря 30 декабря 1850 г.

«В это время членов ассоциации считается 32. Обширные мастерские или магазины, нанимаемые за 2 000 франков, уже тесны для них.

	фр.	санти.
Кроме инструментов, ценящихся в	5 922	60
они имеют товаров, и особенно материалов на	22 972	28
В кассе находится	1 021	10
В портфеле ценностей на	3 540	—
По счету должников*	5 861	90

Итого, имущество ассоциации просируется до	39 317	88
---	--------	----

Из этого итога надобно вычесть только 4737 фр.

86 санти. долгов кредиторам и 1650 фр. долгов

24 участникам**, всего	6 387	86
----------------------------------	-------	----

В остатке	32 390	2
---------------------	--------	---

«Таково действительное имущество ассоциации, состоящее из нераздельного капитала и резервного капитала ее членов. Ассоциация имела тогда в постройке 76 фортепьян и получала заказов больше, чем могла принять.

«Удивительные качества, которыми восторжествовали ассоциации над первоначальными затруднениями, все увеличивали потом успех их. Дисциплинарные правила в ассоциациях не слабее, а напротив, строже, чем в обыкновенных мастерских. Но этим правилам работники подчинялись сами, для очевидной выгоды своей общины, а не для удобства хозяина, выгоды которого считают они противоположными своим; потому исполняются эти правила гораздо добросовестнее, и добровольное повиновение пробуждает в рабочих чувство личного достоинства. С удивительной быстротой работники ассоциаций поняли надобность исправить идеи, с которых они начали, когда эти идеи оказывались несогласны с рассудком и опытом. Сначала почти все ассоциации не допускали поштучной работы и давали равную плату, как бы ни была исполнена работа. Почти все они отменили эту систему и, назначив каждому minimum платы, достаточной для жизни, остальное вознаграждение дают они по расчету исполненной работы; и прибыль в конце года почти все они получили пропорционально заработанному жалованью.

«Эти ассоциации прямо говорят, что существуют они не для одной частной выгоды своих членов, а для доставления торжества делу сотрудничества. Потому с каждым расширением своих оборотов они принимают новых членов, — берут их не в наемные работники себе, а прямо дают им полную выгоду товарищества, не требуя от них никакого взноса, кроме их

* Эти последние две статьи состоят из верных векселей, которые почти все уплачены потом.

** Эти участники — работники фортепьянного ремесла, дававшие ссуды при начале ассоциации; часть долгов им уплачена в начале 1851. Счет кредиторов также очень уменьшился: 23 апреля он простирался только до 1 113 франков 59 сантимов.

труда: единственное условие для нового работника лишь то, что он известное недолгое время будет получать меньшую против прежних долю при годовичном разделе прибыли в некоторое вознаграждение за пожертвования прежних членов ассоциации. Когда член покидает ассоциацию, — в чем он всегда волен, — он не получает ничего из капитала, остающегося нераздельною собственностью, которую пользуются члены ассоциации, пока остаются в ней, но которая не в произвольном их распоряжении; по правилу почти всех уставов, даже при разрушении ассоциации капитал не делится, а должен быть употреблен весь на какое-нибудь благотворительное или общественное дело. Определенная и вообще значительная доля годичной прибыли не делится между членами, а прибавляется к капиталу ассоциации или обращается на уплату прежних займов ее; другая доля отлагается на содержание больных и стариков, а третья — на составление фонда для основания новых ассоциаций или на пособие нуждающимся ассоциациям. Распорядители получают, подобно другим членам, жалованье за время, занятое у них должностью обыкновенно по расчету самой высшей платы простым работникам; но принято за правило, что административная власть не дает никакого процента из прибыли».

Грустно думать, что эти общества, основанные самоотвержением парижских работников, упроченные их усердием к общей пользе и рассудительностью, подвергаются теперь опасности уничтожения по влиянию политических событий *. До 2 декабря 1851 г.¹³⁷ об ассоциациях можно было говорить не с одною надеждою, но и с положительными доказательствами, что они могут успешно удерживать соперничество капиталистов. «Ассоциации, основанные два года тому назад, говорил Ферре (стр. 37 и 38), встречали много затруднений, большая часть из них почти вовсе не имела капитала; им представлялось опасности, всегда грозившие нововводителям и начинающим людям. Однакоже во многих из отраслей промышленности, в которых основаны ассоциации, они уже составляют для прежних форм страшное соперничество, даже вызывающее многочисленные жалобы от буржуазии, — не от одних трактирщиков, кондитеров и парикмахеров, не в одних этих отраслях промышленности, где свойство дела позволяет ассоциациям рассчитывать на простонародных покупателей, а также и в других промышленностях, не представляющих им такой выгоды; например, надобно только спросить мебельщиков, делающих кресла, стулья, скамьи, и мы узнаем от них, что в этих отраслях производства самые обширные заведения принадлежат ассоциациям» **.

* Из последующих известий видно, однакоже, что в 1854 году еще существовало 25 ассоциаций в Париже и несколько других в провинциях, и что многие из них были в самом цветущем положении. В счет этот не включены товарищества для оптовой покупке товаров; правительство не преследует их, и они сильно размножились, особенно в южной Франции. — *Прим. Милля.*

** В стране, где родилось это благотворное движение, оно подверглось тяжелому удару; но оно быстро развивается в других странах, которые приобрели некоторую политическую свободу и еще сохраняют ее. Оно уже составляет важную черту в общественном развитии, столь быстро идущем теперь в Пьемонте. В Англии оно также сделало некоторые успехи, благодаря действию, произведенному статьями и личными усилиями дружеского общества, состоящего главным образом из священников и адвокатов. К 15 февраля 1856 г., на основании *Industrial and Provident Societies Act*, было в Англии учреждено 33 товарищества, из которых 17 было промышленных ассоциаций, а другие 16 были обществами для оптовой покупки предметов потребления; в Шотландии также эти ассоциации быстро умножались. Полагают, что теперь все такие общества учреждаются на основании другого закона, *Limited Liabilities Act*¹³⁸, просто под именем акционерных обществ. По последним сведениям оказывается, что производительные ассоциации несколько уменьшились в числе после первого периода этого движения (кроме мукомольных ассоциаций, более подходящих под разряд товариществ

Существующие ассоциации могут быть уничтожены или принуждены эмигрировать, но опыт, ими данный, не погибнет. Они уже просуществовали столько времени, чтобы послужить образцом будущего развития; они показали, каким способом будет произведена в обществе перемена, которая соединит свободу и независимость отдельного работника с нравственными, умственными и экономическими выгодами производства в большом размере и которая без насилия или конфискации, даже и без внезапного нарушения существующих привычек и ожиданий, осуществит в промышленном отношении лучшие стремления [демократического духа, прекратив разделение общества на трудящихся и праздных и сгладив все общественные различия, кроме людей, по своей нерассудительности или по недостатку нравственных качеств неспособных научиться действовать по иной системе, кроме системы узкого своекорыстия]. Ассоциации, подобные описанным у нас, служат по самому процессу своего успеха курсом воспитания работника в тех качествах деятельности и характера, которыми одними и заслуживается и приобретает успех. Размножаясь, промышленные ассоциации пойдут к тому, чтобы обнять собою все рабочее сословие, кроме людей, по своей нерассудительности или по недостатку нравственных качеств неспособных научиться действовать по иной системе, кроме системы узкого своекорыстия. При развитии этой перемены капиталисты постепенно будут находить свою выгоду в том, чтобы, вместо усилий поддержать старую систему с одними работниками самого худшего качества, отдавать свой капитал в ссуду ассоциациям; проценты по таким ссудам будут уменьшаться. Таким или иным подобным способом капитал может честно и натурально стать напоследок общему собственностью всех участвующих в производительном его употреблении; такое преобразование (при котором, конечно, оба пола должны иметь равное участие в правах и в управлении ассоциацией) было бы самым точнейшим осуществлением общественной справедливости и самым благотворным устройством промышленных дел на всю общую <всеобщую> пользу, какое только можно нам теперь предвидеть.

Таким образом, я согласен с социалистическими писателями в понятиях о форме, к принятию которой идет развитие промышленных операций, и совершенно разделяю их мнение, что уже созрело время для начинания этой реформы и что ей надобно помогать и поощрять ее всеми справедливыми и действительно успешными средствами ¹³⁹.

На этих словах я кончаю выписку из Милля, оставляя до другого раза следующие затем его замечания о соперничестве, которые потребовали бы слишком длинных пояснений.

для оптовой закупки); да и нельзя иметь им быстрого развития при нынешнем нравственном состоянии массы населения. Но те ассоциации, которые удержались, ведут свои дела в прежнем размере, а в северной Англии есть примеры блистательного и постоянно возрастающего успеха их: успех и число обществ оптовой покупки возрастает, особенно в северной Англии, и они служат лучшим подготовлением к более широкому приложению принципа. — *Прим. Милля.*

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

(Милль, книга пятая)

А. СФЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

(Гл. I)

Правительство составляет одну из форм общественной силы и деятельности. С той поры, как явилась в экономической науке школа, доказывающая недостаточность разрозненных индивидуальных интересов и усилий для водворения благосостояния в обществе и доставления обеспеченной жизни индивидуальному лицу, получили важность в науке споры о степени участия, какое должна иметь общественная сила в экономической деятельности. V книга Милля посвящена рассмотрению этого вопроса только в одной из частных его форм — в той форме, когда общественная сила является с характером правительства. [Если рассматривать дело с высокой научной точки зрения, такое узкое постановление вопроса надобно назвать слишком односторонним. Нет на свете ничего вечного, и могут возникнуть со временем такие формы быта, в которых или не будет вовсе ничего соответствующего нынешнему понятию о правительстве, или этот вид общественной силы и деятельности будет иметь гораздо меньше значения, чем теперь. Но Милль] вообще не любит отдаляться мыслию от существующих отношений. А в них значение правительства таково, что всякий факт экономической деятельности общества принимает правительственную форму, если достигает серьезного значения. Есть государства, в которых индивидуальная деятельность менее подчинена правительственному влиянию, чем в других; но и в самой Англии эта зависимость очень велика. Например, никакой контракт не имеет силы без предъявления правительству, которое рассматривает его условия и может воспретить его, если он не соответствует правительственным требованиям. Если же люди соединяются для общественной деятельности, они становятся еще в большую зависимость от

правительства. Например, теперь некоторые толкуют в Англии о том, чтобы парламент изменил уставы так называемых *trades-unions*, рабочих обществ. По всей вероятности, парламент не захочет сделать этого, но если захочет, то может. Таким образом, не только над всеми другими формами общественной деятельности, но даже и над индивидуальной жизнью господствует теперь, даже и в таких странах, как Англия, та форма общественной деятельности, которая известна под именем правительственной.

Мы делаем оговорку о возможности других форм общественной деятельности почти только для того, чтобы предупредить читателя насчет разницы между взглядом прогрессивной экономической школы и рутинными толкованиями этого взгляда. Когда прогрессисты, или так называемые утописты, говорят о расширении круга общественной деятельности в экономической жизни, не следует воображать, будто бы они рекомендуют расширение того, что ныне называется правительственной деятельностью. Правда, некоторые из них употребляют слово «правительство», но они соединяют с ним не тот смысл, какой имеет оно в обыкновенном языке; они тут поступают точно так же, как поступил некогда Адам Смит, воспользовавшийся словами разговорного языка для обозначения понятий, различных от разговорного значения этих слов. Как у него и его последователей «капитал» обозначает не монету, которая называется капиталом в разговорном языке, «сбережение» обозначает не сохранение вещи в целости, точно так и у прогрессистов, говорящих о правительстве, это разговорное слово избирается для обозначения их специальной идеи, различной от понятия, принадлежащего ему в обыкновенном языке. По нашему мнению, этот метод обозначения новых понятий старыми словами, имеющими привычный смысл, не соответствующий сущности нового взгляда, ведет к недоразумениям, и, как порицали мы Адама Смита с его последователями за выбор слов вроде «капитал» и «сбережение», точно так же мы порицаем и прогрессистов, употребляющих слово «правительство» для обозначения предполагаемых ими форм общественной деятельности, существенно различных от правительственной формы. Как употребление слова «капитал» сбивает с толку своим привычным меркантильным смыслом, так слово «правительство» вводит в заблуждение своим привычным административным [бюрократическим и централизационным] оттенком, так что считаются многие за регламентаторов мыслители, идеям которых ничто так не противно, как регламентация.

Но этот взгляд, существенно различный от понятий, соответствующих нынешнему быту, мы изложим когда-нибудь в другой раз; а теперь будем рассматривать вещи по нынешнему их виду в том роде, как рассматривает Милль.

Он начинает свою книгу о правительственном влиянии на эко-

номическую жизнь указанием на факт очень замечательный: прежде спорили о формах правительственного устройства, теперь спорят и о том, какие отрасли жизни должны подвергаться правительственному влиянию.

Обозначение надлежащих границ обязанностей и деятельности правительства — один из самых спорных вопросов политической науки и государственной критики в нашу эпоху. В прежние времена предметом спора было то, какое устройство должны иметь правительства, по каким принципам и правилам должны они пользоваться своею властью; а теперь почти столько же разномыслия о том, на какие отрасли человеческих дел должна простирается эта власть. [При нынешней силе стремления к изменениям в правительстве и законодательстве, как средствам улучшить положение людей], важность этих прений скорее должна возрасти, чем уменьшиться. Нетерпеливые реформисты, находящие, что легче и быстрее можно овладеть управлением, чем умами и наклонностями публики, постоянно влекутся расширять сферу правительственного влияния; а с другой стороны, человеческий род так приучен ко вмешательству, имеющим целью не общее благо или порожденным ошибочными понятиями о требованиях этого блага, и столько опрометчивых проектов делается искренними друзьями улучшений, с мыслью достичь принудительным регулированием таких целей, которые с действительным успехом или с пользою может исполнить лишь общественное мнение и прение, что в некоторых странах возник дух сопротивления самому принципу правительственного вмешательства и явилось расположение ограничивать сферу правительственной деятельности самыми тесными пределами¹⁴⁰.

После оговорки, нами сделанной, легко замечается ошибочность такой постановки вопроса, какая сделана у Милля, [повторяющего тут мнение массы публицистов, не успевших понять сущность новых стремлений и отчасти вовлеченных в это недоразумение напрасным употреблением слова «правительство» у некоторых реформаторов для обозначения совершенно иных форм общественной деятельности. Дело должно идти собственно не о правительстве, а вообще о коллективной деятельности. Если правительство представляется, по неточному выражению этих реформаторов, неперменным органом коллективной деятельности, это у них лишь остаток образа мыслей, против которого сами они борются. Но очень натурально, что масса публицистов понимает существенные их стремления в этом ошибочном смысле, более близком к ее разумению. Таким-то образом вопрос о правительственном влиянии большую часть своей важности получает только от недоразумения]. Но как бы то ни было, он возник, приобрел большую важность, и мы, вслед за Миллем, будем рассматривать разные его стороны.

Прежде всего спрашивается, каким общим принципом надобно определять сферу правительственного влияния на экономическую сторону народной жизни. Рутинные политико-экономы в своем усердии опровергать так называемых утопистов, которым ошибочно приписывают наклонность к административной регламентации, придумали теорию, ограничивающую круг правительственных действий охранением общества и частных лиц от насилия и обмана. [Эта школа воображает, что, назначив такую

точную специальность правительственному вмешательству, она чрезвычайно стесняет его сферу, что своим принципом она очень удачно ограждает от правительственного вмешательства экономическую жизнь и чрезвычайно хорошо ограждает им личную свободу. На самом деле выходит совершенно противное. Если допустить, что существенное назначение правительства — ограждать людей от насилия и обмана, то не останется никакого уголка для независимой частной деятельности, все должно стать под правительственную опеку, и за правительством будет признано право, даже обязанность совершенно уничтожить свободу личности. Свобода мысли прямо отрицается этим принципом. Человек, высказывающий ошибочное мнение, вводит или покушается вводить других в обман. Следовательно, по принципу рутинных политико-экономов, правительство обязано было бы следить за каждым печатным и даже изустным словом, чтобы предотвратить обманы. Если высказывающий ошибочное мнение сам разделяет его, от этого нимало не изменяется сущность дела: обманывается или не обманывается он сам, все равно его слова послужат к обману других, значит, должны быть преследуемы правительством. Если же связана мысль, — связана и вся жизнь. Впрочем, и прямо сама по себе каждая отрасль жизни будет подходить под правительственный контроль. Например, правительство должно будет наблюдать за выделкою всяких товаров, чтобы не было в ней обмана; за всякою продажей товара, чтобы не было в ней обмана. Все должно будет делаться под надзором правительственного надсмотрщика. Словом сказать, тут, как и везде, попытка слишком стеснить известную деятельность ведет только к неправильному, преувеличенному ее расширению, и своими намерениями исключить правительственное влияние из экономической стороны быта рутинные политико-экономы достигали бы лишь совершенного подчинения этой стороне жизни вместе со всеми другими сторонами правительственного вмешательства. Вот, по нашему мнению, главная причина отвергать их принцип, предписывающий правительству только одну цель — охранение людей от насилия и обмана. Милль прекрасно доказывает несостоятельность этого принципа с другой точки зрения: он объясняет, что никто из приверженцев этого принципа не думает оспаривать у правительства множества обязанностей и прав, далеко переходящих границы этого узкого принципа, который оказывается единственным плодом легкомысленной несообразительности].

Надобно перечислить (говорит Милль) обязанности, или нераздельные от самой идеи правительства или по общей привычке и без всякого противоречия исполняемые всеми правительствами; я отделяю их от обязанностей, относительно которых существует теперь сомнение, должны ли они принадлежать правительствам. Первые можно назвать необходимыми, [а вторые произвольными функциями правительства. Термином «произвольные» я

хочу сказать не то, что может быть предметом равнодушия или произвольного выбора, берет или не берет на себя правительство такие обязанности; я хочу выразить термином этим лишь то, что надобность исполнять такие обязанности не простирается до необходимости и остается предметом, о котором существуют или могут существовать разные мнения].

Приступая к перечислению необходимых функций правительства, мы находим, что они гораздо многообразнее, чем кажется огромному большинству людей, и что их нельзя подвести под те очень определенные границы, которыми часто думают объять все их в поверхностной полемике. Например, мы слышим иногда, что правительства должны ограничиваться охранением против насилия и обмана; что за исключением этих двух дел люди должны быть свободными деятелями, обязанными заботиться сами о себе, и что пока человек не делает насилия или обмана во вред личности или собственности других, законы и правительства нимало не призваны заниматься им. Но почему люди должны быть охраняемы своим правительством, то есть своею коллективною силою, против насилия и обмана, а не против других зол, если не по той причине, что выгодность охранения тут очевиднее? Если правительству не следует делать для людей ничего, кроме того, чего люди никак не могут сделать сами для себя, то можно сказать, что люди должны охранять себя сами своим искусством и мужеством даже против насилия или выпрашивать и покупать охранение от него, как они и делают там, где правительство не может охранить их; а против обмана каждый имеет охранение в собственном уме. Но, не касаясь принципов, достаточно здесь рассмотреть факты.

Под какой из этих двух разрядов, — отстранение насилия или отстранение обмана, — подведем мы, например, действие законов о наследстве? Какому-нибудь закону о наследстве необходимо существовать во всех обществах. Могут сказать, что в этом деле правительство дает только силу распоряжению, какое сделал человек относительно своего имущества через завещание. Но это чрезвычайно сомнительно, чтобы не сказать: совершенно ложно. Едва ли есть такая страна, по законам которой свобода завещания была бы совершенно неограниченна. И притом, что же сказать об очень обыкновенном случае, когда не сделано никакого завещания? Разве закон, то есть правительство, не решает тут по принципам общей полезности, кому достается наследство? А если наследник почему-нибудь не может управлять сам, разве правительство не назначает известных лиц, и часто своих чиновников, управлять имуществом и употреблять его в пользу наследника? Есть много и других случаев, в которых правительство берет на себя управление имуществом по предположению, что того требует общая польза или даже только польза отдельных лиц, которых касается дело. Часто это делается со спорным имуществом и в случаях судебного признания несостоятельности. Никто никогда не утверждал, что этими действиями правительство переходит границы своей сферы.

Не такое простое дело, как, может быть, кажется, и обязанность закона определить самое понятие имущества. Иному может казаться, что закону надобно только провозгласить и охранять право каждого на то, что произвел сам он или приобрел по добровольному согласию, правильно получил от людей, которыми произведена вещь. Но разве собственностью признается только то, что произведено кем-нибудь? Разве не признается собственностью самая земля с ее лесами или водами и всеми другими естественными богатствами над поверхностью и под поверхностью земли? Это наследие человеческого рода, и должны быть правила для общего пользования ими. Какие права и на каких условиях предоставляются известному человеку над известною частью этого общего наследия, — того нельзя оставить неразрешенным. Нет ни одной функции правительства, которая была бы так необходима и так нераздельна с идеею цивилизованного общества, как определение этих дел.

Идем далее. Признается бесспорным, что должно преследовать насилие и обман; но к которой из этих рубрик мы отнесем принуждение людей к

исполнению заключенных ими договоров? Неисполнение не всегда заключается в себе обман; лицо, заключившее договор, могло иметь искреннее намерение исполнить его; понятие обмана едва ли простирается даже на случаи произвольного нарушения договора, когда не было лжи; а наверно уже не прилагается оно к случаям, когда неисполнение произошло от небрежности. А разве правительство не обязано принуждать к исполнению договоров? Тут приверженцы теории невмешательства сделают небольшую натяжку и скажут, что принуждать к исполнению договоров не значит давать правила для дел частных лиц по соображению правительства, а значит только давать силу собственному желанию, выраженному этими лицами. Допустим такое расширение ограничивающей теории, — но мы уже видим, что ее надобно расширить. Притом же правительства не ограничивают своего отношения к договорам простым вынуждением исполнять их. Они берут на себя определять, к исполнению каких договоров следует вынуждать людей. Мало того, что человек, не будучи обманут и добровольно, дает другому обещание. Есть такие обещания, которыми не должны иметь права связывать себя люди, — того требует общее благо. Не говоря об обязательствах сделать что-нибудь противное закону, есть обязательства, вынуждать исполнение которых закон отказывается по причинам, касающимся пользы обязавшегося или общего государственного устройства. Договор, по которому человек продал себя другому в невольники, был бы объявлен недействительным в судилищах Англии и почти всех других европейских земель. Мало найдется таких земель, законы которых вынуждали бы исполнять договор о деле, считающемся в них проституцией, или о брачном обязательстве, условия которого несогласны с правилами, считающимися за нужные по закону. Если же раз признано, что есть обязательства, исполнение которых закон не должен вынуждать по причине общей пользы, — тот же вопрос необходимо открывается относительно всех обязательств. Например, должен ли закон вынуждать исполнение договора о работе, когда плата слишком низка или число рабочих часов слишком тяжело; или договора, по которому лицо обязывается оставаться в службе известного человека на срок, превышающий очень ограниченное время; должно ли выполнение брачного договора, заключенного на всю жизнь, быть вынуждаемо против обдуманного желания обоих лиц или одного из лиц, заключивших его. Каждый вопрос, могущий появиться относительно договоров и устанавливаемых ими между людьми отношений, касается законодательной власти, которая не может уклониться от разрешения его в том или другом смысле.

Далее: предупреждение и подавление насилия и обмана служит делом солдат, полиции и уголовных судей; но сверх того есть гражданские судилища. Наказание дурных поступков — одно дело правосудия, а решение споров — другое. Бесчисленные споры возникают между людьми без всякой недобросовестности, по ошибочному мнению о законных правах или от несогласия относительно фактов, от доказательства которых юридически зависят эти права. Разве общий интерес не требует, чтобы государство назначало людей для разъяснения таких сомнений и для окончания таких споров? Нельзя сказать, что это безусловно необходимо. Спорящие могли бы выбрать посредника, обязываясь подчиняться его решению; так они и делают там, где нет судилища или где нет доверия к судилищам, или их медленность, убыточность и нерациональность требуемых ими доказательств отвращает людей от них. Но все-таки все согласны, что государство должно учреждать гражданские судилища; и если их недостатки часто заставляют людей заменять их другими средствами, все-таки главную силу этим другим средствам дает возможность перенести дело в законно-учрежденное судилище.

Мало того, что государство берет на себя решение споров, — оно заранее принимает предосторожности, чтобы не возникало споров. Почти во всех странах постановлены законом определенные правила для многих вещей не потому, чтобы важно было определить эти вещи именно тем или другим способом, а для того, чтобы они были как-нибудь определены и не могло быть недоумений о том. Закон предписывает для многих родов договора форму

выражений, чтобы не возникло споров или недоразумений о их смысле; закон наперед заботится, чтобы при возникновении спора могло быть получено основание к его решению, — для этого он требует, чтобы документ был засвидетельствован несколькими лицами и подвергнут известным формальностям. Закон хранит подлинные доказательства фактам, из которых возникают юридические последствия, — для этого он ведет реестр таким фактам; например, ведет списки рождающимся, умирающим и вступающим в брак, завещаниям, контрактам и судебным действиям. Никто никогда не говорил, что правительство переступает надлежащие границы своих обязанностей, делая таким образом.

Далее, какое широкое значение ни придавать теории, что отдельный человек — лучший оберегатель своих интересов и что правительство не обязано перед ним ничем, кроме охранения его от вмешательства других, эта теория все-таки приложима только к тем лицам, которые способны действовать сами за себя. Но есть дети, есть помешанные, есть люди, ослабевшие умом. Закон, конечно, обязан заботиться об интересах таких лиц. Нет ему необходимости делать это через своих чиновников. Часто он поверяет эту заботу какому-нибудь родственнику или другу. Но кончается ли тем его обязанность? Может ли он поручить интересы известного лица наблюдению другого и быть избавлен от контроля над поверенным, от подчинения этого поверенного отчету в исполнении возложенной обязанности?

Есть множество случаев, в которых правительства с общего одобрения принимают на себя власть и исполняют обязанности, которым нельзя найти никакого основания, кроме той простой причины, что при этом для всех бывает удобнее. Возьмем в пример обязанность (которая притом и монополия) чеканить монету. Она присвоена правительством ни больше, ни меньше, как для того, чтобы избавить каждого от хлопот, промедлений и издержек поверять вес и пробу монеты. Однакоже, никто из самых горячих противников государственного вмешательства не называл этого излишним расширением правительственных действий. Другой пример — установление нормальных весов и мер. Третий пример — мощение, освещение и содержание в чистоте улиц и переулков или центральным правительством, или, как чаще бывает, и вообще бывает удобнее, городским начальством. Другими примерами служат: устройство или улучшение пристаней, постройка маяков, топографические и гидрографические работы для составления верных карт, устройство плотин для сдерживания морских и речных наводнений.

Число таких примеров можно бы увеличить до бесконечности, не приводя ни одного сомнительного случая. Но довольно и приведенных, чтобы показать, что бесспорные обязанности правительства обнимают такое обширное поле, которого нельзя обвести межою никакого стесняющего определения, и что едва ли можно найти для них какое-нибудь общее основание, кроме многообъемлющего основания: всеобщая выгода; наконец, что нельзя назначить границ правительственному вмешательству никаким общим правилом, кроме простого и неопределенного правила, что вмешательство это должно быть допускаемо лишь тогда, когда польза от него очевидна¹⁴¹.

Само собою разумеется, что с выводом Милля совершенно согласны мы, постоянно старающиеся возводить каждый частный случай к единственному верховному принципу всех общественных наук — к пользе человека. Экономическая наука в своей специальности рассматривает материальную пользу человека, насколько она зависит от внешних предметов. Потому с частной точки зрения экономической науки правительственное участие требуется во всех тех случаях, когда оно полезно для материального благосостояния людей.

В. НАЛОГИ

(Гл. II—VI)

Каков бы ни был круг действий правительства, ему нужны известные экономические средства для их исполнения. Средства эти получает оно посредством налогов.

Еще Адам Смит определил четыре условия, которым должны удовлетворять налоги, чтобы соответствовать требованиям экономической теории¹⁴²:

1. Каждый подданный должен платить на содержание правительства соразмерно своим средствам; в этом состоит равномерность налогов.

2. Величина налога и все относящиеся к его уплате обстоятельства должны быть с точностью определены и известны платящему.

3. Налог должен взиматься в такое время и таким способом, когда и как удобнее всего уплачивать его.

4. Способ взимания налога должен быть такой, чтобы он брал у народа как можно меньше сверх той суммы, какую доставляет казне; чтобы не поглощалась слишком значительная часть собираемой суммы расходами на самое взимание ее; чтобы не мешал налог экономическим силам страны направляться к выгоднейшим занятиям, не развивал контрабанды и других способов обманывать государство.

Последние три правила (замечает Милль) достаточно ясны сами по себе, но вопрос о равномерности налога подает причину к мнениям очень различным.

Равномерность налога состоит в том, чтобы на каждое лицо ложился он точно такую же тяжестью, как и на всякое другое лицо, соответственно средствам каждого к уплате. Но достигается ли эта справедливая соразмерность тем, когда налог берет одинаковый процент из доходов каждого, как бы велики или малы ни были они? Есть целая школа, думающая иначе. Она говорит, что для человека, получающего 100 рублей дохода, гораздо тяжелее уплачивать из них 10 р., чем для человека, получающего 10 000 рублей, уплачивать из них 1 000 рублей; что поэтому равномерность соблюдается только тогда, когда от первого мы будем требовать менее, чем 10 рублей, или от второго более, чем 1 000 р. Из этого выводится, что налог бывает равномерен лишь тогда, когда бывает прогрессивным.

Прогрессивным налогом называется тот, который берет тем больший процент из дохода отдельного лица, чем значительнее доход. Например, лица, имеющие менее 1 000 р. дохода, платят 1%; лица, имеющие от 1 000 р. до 2 000 р., платят 2%; имеющие от 2 000 до 3 000 р. платят 3% и так далее.

Милль восстает против прогрессивного налога; но мы увидим, что он отвергает его только из предпочтения других зако-

нодательных мер, прямее ведущих к тому же результату, какого надеются в известной степени достигнуть прогрессивным налогом приверженцы этой системы.

Адвокаты прогрессивного налога говорят, что несправедливо брать такую же часть из дохода, едва достаточного на удовлетворение необходимых потребностей, какая берется из дохода, большая часть которого идет на предметы роскоши. Милль вполне принимает это соображение. Он говорит: если берется 1 000 фунтов у человека, имеющего 10 000 фунтов дохода, он не лишается ничего нужного для удобства или довольства жизни; а если для удовлетворения первых необходимостей нужно 50 фунтов, то брать из них 5 фунтов — значит отнимать у человека совершенно необходимое ему, значит требовать у него пожертвования неизмеримо большего, чем какое требуется от человека, платящего тысячу фунтов из десяти тысяч фунтов. По мнению Милля, следует совершенно освобождать от налога всякий доход, не превышающий сумму, необходимую для существования. Эту сумму для Англии определяет он примерно в 50 фунтов, около 300 р.¹⁴³ Доходы, превышающие этот *minimum*, должны платить с излишка, которым превышают его. Например, при налоге в 10% лицо, имеющее 60 фунтов дохода, должно платить 1 фунт с 10 фунтов, подвергающихся налогу, за исключением 50, освобождаемых от него. Лицо, получающее 1 000 фунтов дохода, будет платить налог в 95 фунтов с 950 фунтов. Определение этого *minimum'a*, освобождаемого от налога, вполне удовлетворяет, по мнению Милля, требование справедливости. Он не допускает, чтобы излишек в 10 фунтов, остающийся в доходе 60 фунтов, платил налог меньшего процента, чем платит вторая тысяча фунтов дохода у человека, имеющего 2 000 дохода.

Мы увидим, что если принимать окончательный взгляд Милля на эти вещи, то можно отказаться от спора с ним за мнение, которое мы сейчас изложили. Но само по себе оно неудовлетворительно. Он видит в расходах только два разряда: расходы на предметы необходимости и расходы на предметы роскоши; потому и доход делит он только на две доли: часть, служащую для необходимости, и часть, служащую для роскоши. На самом же деле, эти два крайние звена соединяются множеством переходных ступеней, составляемых предметами удобства; да и сами предметы роскоши делятся на множество разрядов по большему или меньшему преобладанию в них элемента роскоши над элементом простого удобства. Если первые 50 фунтов идут на хлеб и говядину, то вторые 50 фунтов идут на приобретение хорошего хлеба вместо дурного и на приправы, от которых говядина делается и здоровее и действительно вкуснее. Этих расходов никак нельзя сравнивать с расходом второй тысячи фунтов на столовый сервиз и тому подобные вещи, не нужные ни для здоровья, ни для вкуса, а требуемые только тщеславием. Точно

так же нельзя сравнивать вторую тысячу фунтов с двадцатой тысячею, которая может идти уж только на вещи совершенно пустые, — на то, чтобы в городе говорили о каком-нибудь пышном обеде, который был равно скучен как для самого хозяина, так и для гостей. Нам кажется, что если признавать за первыми 50-ю фунтами право на совершенное освобождение от налога, то за вторыми 50 фунтами надобно, по той же причине, признавать право платить меньший процент налога, чем какой платится со второй сотни фунтов, а этой второй сотне фунтов надобно присвоивать подобное же преимущество перед третьей сотнею, и так далее. Мы говорим это с точки зрения, совершенно чуждой вопросу о наилучшем распределении имуществ, основываясь только на внутреннем различии самих расходов, характер которых считает нужным принимать в соображение Милль.

Но, независимо от этого основания, приводятся другие причины в защиту прогрессивного налога. Говорят, что от одинакового процента вычета из дохода человек с умеренным доходом более понижается в своем общественном положении, нежели человек с большим доходом. Например: если из 200 фунтов будет взято налогом 20 фунтов, то человек, может быть, лишается возможности носить перчатки и от этого потеряет часть примет, по которым считаются люди принадлежащими к порядочному обществу. Если же из 10 000 фунтов берется налогом 1 000 фунтов, то от этого не происходит никакой заметной перемены в образе жизни человека и нисколько не понижается его место в светском обществе. Против этого аргумента Милль говорит, что правительство не обязано уважать вредного предрассудка, определяющего степень уважения к человеку размером его доходов. Совершенная правда то, что предрассудок этот дурен и вреден. Но он очень силен; он лежит в основании всей нынешней нашей жизни. Мы не имеем ничего против желания, чтобы правительство пренебрегло им. Но если исполнят это желание Милля, то придется переделывать всю нынешнюю жизнь. А пока она не переделана, нельзя не принимать в соображение существующих в ней фактов. По этим фактам мы действительно подвергаем человека гораздо большему пожертвованию, когда лишаем его внешнего признака принадлежности к известному кругу общества, чем тогда, когда место его в обществе не изменяется от нашего требования с него.

Впрочем, не в этом желании щадить самолюбие людей среднего класса заключается главная причина привязанности многих публицистов к прогрессивному налогу. Она порождается желанием изменить существующее распределение богатств. По мнению своих защитников, прогрессивный налог поведет к этому двояким образом. Когда из большего количества будет вычитаться налогом больший процент, чем из меньшего, то умень-

шится разница между размером средств, остающихся у богатого и бедного. Сверх того, прогрессивный налог даст государству возможность отменить те налоги, которые берут одну и ту же сумму денег с каждого — и богатого, и бедного. Надобно заметить, что по плану приверженцев прогрессивного налога, он должен расти по прогрессии довольно быстрой и иметь очень значительную величину в своих высших степенях, достигать, например, до 50 или даже больше процентов в богатейшем классе; при такой системе его действие в обоих указанных нами смыслах было бы довольно чувствительно. Чтобы показать это нагляднее, сделаем примерный план прогрессивного налога в Великобритании и Ирландии, на основании цифр, относящихся к 1855—1857 финансовому году (Kolb, стр. 30) ¹⁴⁴.

Величина дохода, фунтов	Число лиц, имеющих такой до- ход	Средняя величина их доходов, фунтов	По второй сред- ней величине сумма дохода всех этих лиц будет, пример- но, около	С второй суммы на- лог будет, примерно	Сумма налога при этих при- мерных вели- чинах
100— 150	128 030	125	16 003 750	1%	160 037
150— 200	42 340	175	7 409 500	2 »	148 190
200— 300	34 869	250	8 717 250	3 »	261 517
300— 400	15 991	350	5 796 850	4 »	231 874
400— 500	7 943	450	3 574 350	5 »	188 717
500— 600	5 841	550	3 212 550	6 »	192 753
600— 700	3 314	650	2 154 100	7 »	150 780
700— 800	2 207	750	1 655 250	8 »	132 420
800— 900	1 861	850	1 581 850	9 »	142 367
900— 1 000	870	950	826 500	10 »	82 650
1 000— 2 000	5 741	1 500	8 611 500	15 »	1 291 725
2 000— 3 000	1 657	2 500	4 142 500	20 »	828 500
3 000— 4 000	816	3 500	2 859 000	25 »	714 750
4 000— 5 000	466	4 500	2 097 000	30 »	629 100
5 000— 10 000	841	7 500	6 307 500	35 »	2 208 125
10 000— 50 000	465	30 000	13 950 000	40 »	5 580 000
более 50 000	47	100 000	4 700 000	50 »	2 350 000
Итого		253 299	93 599 450 ¹⁴⁵		15 293 505

Читатель, конечно, понимает, что эта таблица представлена лишь для примера и без всякого притязания на точность. Кто несколько знаком с английским бюджетом, тот видит, что не только суммы доходов, выведенные нами по приблизительному среднему числу, но и самые цифры количества лиц, имеющих доход от такой-то до такой-то величины, — цифры, взятые Кольбом из официальных отчетов, далеко не точны. Например, вся сумма доходов составляет у нас менее 95 милл. фунтов и не могла бы составить больше 120 милл., хотя бы мы вместо среднего числа брали для своего вывода самую высшую цифру дохода по каждому разряду; а между тем не подлежит сомнению,

что в 1856—1857 финансовом году в Великобритании с Ирландию доход лиц, получающих более 100 фунтов в год, составлял сумму, по крайней мере 250 миллионов фунтов. Разъяснять здесь причины этой разности взятых нами цифр от действительных было бы слишком длинно, да и не совсем нужно, потому что наша таблица, как мы сказали, только примерная, и в ней важны не абсолютные величины цифр, а пропорции между ними. Посмотрим же на эти пропорции, чтобы сообразить силу прогрессивного налога.

Сумма доходов свыше 100 фунтов простирается почти до 95 милл., а сумма налога превышает 15 милл. фунтов; при таком отношении государственные надобности берут около 16%, или около $\frac{1}{6}$ дохода лиц, имеющих доход более, чем в 100 фунтов.

Если бы государственные надобности такой величины покрывались пропорциональным, а не прогрессивным налогом, лица, получающие от 100 до 300 фунтов дохода, должны были бы уплатить целую третью часть всей суммы налога, потому что сумма их доходов составляет 32 милл., целую треть всей суммы доходов, подлежащих налогу. Таким образом, лица этих разрядов в числе 170 000¹⁴⁶ человек должны были бы уплатить более 5 000 000 фунтов налога; а при прогрессивном налоге они платят менее 600 000 фунтов, и выигрыш их, сравнительно с пропорциональным налогом, простирается почти до 4 500 000 фунтов, то есть $\frac{1}{7}$ всего их дохода.

С другой стороны, лица, получающие более 3 000 фунтов дохода, должны были бы, при пропорциональном налоге, уплатить также только одну треть общей суммы налога, потому что сумма их доходов также составляет около одной трети (около 30 000 000) всей суммы доходов, подлежащих налогу. А при прогрессивном налоге они, вместо 5 000 000, платят 11 500 000 фунтов налога; таким образом, бремя, лежащее на людях менее богатых, облегчается суммою около 6 500 000 фунтов, то есть более чем $\frac{2}{5}$ всей суммы налога переносится с реальных удобств жизни на расходы, которые служили бы для одного тщеславия.

Мы предполагали, что государственные надобности берут около $\frac{1}{6}$ части из всей суммы доходов, превышающих 100 фунтов¹⁴⁷. Таким образом, прогрессивный налог, растущий по норме вроде той, какая выставлена у нас, давал бы государству 50 милл. фунтов, а государственный бюджет Англии не превышает 60 милл. фунтов¹⁴⁸ в годы, когда нет чрезвычайных военных расходов; при строгой экономии он не превышал бы в такие годы 50 милл. Из этого видно, что при полном развитии прогрессивного налога можно было бы отменить в Англии решительно все другие налоги, как и предполагают приверженцы прогрессивного налога.

Словом сказать, мы не видим, чтобы прогрессивный налог не соответствовал ожиданиям своих приверженцев или чтобы

он противоречил тем основаниям справедливости, силу которых признает Милль своим требованием освобождения от налога всех доходов ниже известного *minimum*'а; мы заметили, что только по невнимательности он не увидел, что из этого требования само собою вытекает признание прогрессивного налога за единственно справедливый.

Но есть против прогрессивного налога еще одно возражение, основанное не на принципах общей справедливости, которым он не противоречит, а на соображениях экономической выгоды. Говорят, что подвергать человека высшему проценту налога по мере обогащения, значит отвращать людей от накопления богатства, склонять их к расточительности, ослаблять в них энергию труда. Милль повторяет это возражение рутинных политико-экономов, но не слишком настаивает на нем, как заметно из того, что приводит его лишь вскользь, как будто только для перехода к другим мыслям (это увидит читатель из отрывка, который будет сообщен нами ниже). Нам кажется, что это возражение предполагает в плане приверженцев прогрессивного налога такую черту, какой они не думают в него вводить.

Рутинные политико-экономы толкуют обыкновенно, что большая часть прибавки дохода при возрастании богатства человека будет поглощаться возрастанием процента, требуемого налогом. Это неверно. В нашей примерной таблице возрастание налога идет быстрее, чем во многих планах, действительно предлагавшихся приверженцами этого налога. Посмотрим, однакоже, какая часть прибавки доходов поглощается возрастанием налога и по нашей таблице. С особенною быстротою растет в ней налог в разрядах дохода от 1 000 фунтов до 5 000 фунтов. С 1 000 фунтов дохода платится 10 %, то есть 100 фунтов налога. С дохода в 2 000 фунтов платится 15 %, то есть 300 фунтов налога; валовой доход увеличился на 1 000 фунтов, налог на 200 фунтов; чистой прибавки к доходу остается 800 фунтов; возрастание налога поглотило только $\frac{1}{5}$ часть всей валовой прибавки дохода. С дохода в 3 000 фунтов платится 20 %, то есть 600 фунтов налога; его возрастание поглотило 300 фунтов; чистой прибавки остается 700 фунтов. Читатель видит, что чистая выгода, остающаяся у обогащающегося, сохраняет огромный перевес над возрастанием налога. Но таблица наша составлена из градаций слишком крупных; в ней слишком мало посредствующих звеньев, которые находятся в действительных планах прогрессивного налога: в этих планах разные величины доходов распределяются на множество классов, и разрастание налога идет гораздо нечувствительнее. Надобно притом сказать, что во всяком случае прогрессивный налог будет быстро возрастать только на высших ступенях градации, когда растет доход, уже и до возрастания бывший огромным, так что налог будет сколько-нибудь мешать лишь охоте к увеличению огромных богатств, нисколько не

стесняя возрастания капитала средней и даже довольно большой величины; напротив, при нем будет меньше помехи возрастанию малых и средних состояний, чем при пропорциональном налоге, потому что с этих состояний он будет брать гораздо меньший процент, чем берет пропорциональный налог.

Таким образом, если смотреть с чисто экономической точки зрения, прогрессивный налог представляется самым благоприятным для возбуждения людей к энергическому стремлению увеличивать свои доходы: рутинные политико-экономы думают, что он стал бы мешать накоплению богатств только потому, что не потрудились вникнуть в цифры, против которых вопиют.

Но будучи единственным соответственным общему требованию справедливости и будучи сообразнее всякого другого налога с экономической заботой об усилении энергии накопления, прогрессивный налог имеет совершенно иной недостаток: он не радикальная, а только паллиативная мера, и притом установить его в значительном размере было бы гораздо труднее, чем принять меры, прямее и полнее ведущие к той же цели.

Мы приводили основания, по которым некоторые экономисты находят наилучшим порядком такой быт, который существенно разнится от нынешнего; содействовать введению этого лучшего быта можно, не нарушая заметным образом никаких существующих интересов; а прогрессивный налог значительного размера был бы явно противоположен интересу богатых сословий, которые всеми силами боролись бы против него, между тем как прочное и благоразумное правительство могло бы, нисколько не раздражая их, вести дело коренной реформы быта. Надобно предпочитать реформы более легкие и более существенные прогрессивному налогу, который, не уничтожая источников нынешнего зла, только стал бы грубым образом обрезать крайние его проявления.

С этой точки зрения недоволен прогрессивным налогом и Милль. Он предпочитает ему меры более решительные, против которых мы, впрочем, имеем то же самое возражение, как и против прогрессивного налога: они слишком трудны и не довольно решительны. В начале трактата о распределении, во 2-й главе II книги, рассматривая общий вопрос о собственности, Милль развивает мысль, что наилучшим законом о наследстве было бы правило, устанавливающее известный *taximum* суммы, какую может человек получать по наследству, с тем, чтобы остальное свое имущество умирающий мог завещать другим лицам, каждому также не выше этого *taximum*, а в случае смерти без завещания этот излишек обращался в собственность государства. Предпочтение этой меры, точно так же ведущей к уменьшению неравенства состояний, служит для Милля главной причиной нерасположения к прогрессивному налогу. Вот слова Милля, относящиеся к этому предмету:

Я не меньше, чем кто-нибудь, желаю, чтобы принимаемы были средства к уменьшению этих неравенств, но не желаю таких средств, которыми давалась бы моту льгота насчет бережливого. Брать налог большего процента с больших доходов и меньшего с меньших значит брать налог с трудолюбия и бережливости; значит налагать на человека штраф за то, что он работал усерднее и сберегал заботливее своего соседа. Общественное благо требует подвергать ограничению не то богатство, которое приобретается трудом, а то, которое достается человеку задаром. Справедливое и мудрое законодательство не захочет возбудить к тому, чтобы плоды честного труда не сберегались, а расточались. Его беспристрастие между соперниками будет состоять в заботе о том, чтобы не имел один выгоды пред другим при начале бега, а не в том, чтобы вешать гирию на быстрого, чтобы меньше опережал он медленного. Правда, часто бывает, что иной терпит неудачу при больших усилиях, чем при каких достигает успеха другой; и не потому, чтобы меньше было у него достоинств, а потому, что меньше было для него удачных случаев; но если бы правительство и сделало все, что может сделать заботами о воспитании и законами для смягчения этих неравенств случая, то неравенство состояния, происходящее от разницы в достоинстве самих людей, уже не было бы справедливою причиною к ропоту. Относительно больших состояний, приобретаемых по наследству или в подарок, власть делать завещания — одна из привилегий собственности, которые удобно могут быть для общей пользы ограничены правилами; и я уже указывал наилучший способ уменьшать накопление огромных состояний в руках людей, не получивших эти богатства своим трудом; я говорил, что должна быть ограничена сумма, какую дозволяется человеку приобретать по подарку, наследству или завещанию. Кроме этого и кроме предложения Бентама¹⁴⁹ об уничтожении наследства по боковым линиям и о переходе имущества к государству в этом случае, — кроме этих двух правил, я полагаю, что чрезвычайно удобным предметом налога были бы наследства по завещанию или без завещания, все равно, — превышающие известную сумму; и что пошлину с них надобно положить такую, которая бы лишь не порождала в слишком сильной степени уклонений от нее дарственными записями при жизни или утайкою собственности. Принцип так называемой прогрессивности, то есть возвышение процента налога соразмерно увеличению суммы, не признаваемый мною в применении к налогу вообще, будет и справедлив и полезен в применении к пошлинам с наследства¹⁵⁰.

Мы совершенно согласны с Миллем в том, что гораздо лучше действовать на самый источник невыгодных для общества явлений, чем только бороться с их результатами. Но ведь предлагаемые Миллем меры относительно наследства точно так же, как и прогрессивный налог, прилагаются к невыгодному явлению в слишком поздней поре его развития, к факту уже выросшему, а не к зародышу этого факта. Очевидно, что они, подобно прогрессивному налогу, имеют только характер паллиативного средства, и рекомендовать их принятие надобно только в тех случаях, когда нет надежды на проведение мер более широких. Только в подобных случаях надобно рекомендовать и прогрессивный налог. Он годится, как переходная мера, прилагаемая к такому быту, который не соответствует условиям экономической выгоды и который нельзя же в один день заменить бытом, соответственным требованию теории.

К этому неудовлетворительному быту прилагается и другая переходная мера, безусловно рекомендуемая Миллем. По тео-

рии, силы природы должны принадлежать обществу людей, а не отдельному человеку. Господствующая теория сама не одобрила бы попыток монополизировать, обратить в частную собственность силу пара, или силу электричества, или дождь, — попыток, которые очень легко представить себе в теории и которые оказались бы удобоисполнимы даже в практике, если бы явилась и укоренилась в обществе мысль о их законности *. По принципу совершенно таков же случай права частной собственности над силами, лежащими в земле, и Милль смотрит на порядок, обративший ренту в частную собственность, как на порядок, не соответствующий принципам экономической науки. Но, думает он, при быте, установившемся в Западной Европе, нельзя ожидать скорого выхода всей ренты из частной собственности, и на первое время надобно в этом деле ограничиваться тем, чтобы не возрастал существующий размер этого неосновательного отношения. Поэтому, кроме общего (прогрессивного ли, или только пропорционального) налога со всех доходов, должен быть установлен специальный налог на ренту, налог, который брал бы все постепенное увеличение ренты сверх ее существующего размера. Вот страницы, на которых Милль развивает свою мысль.

Предположим, что есть известного рода доход, имеющий постоянную тенденцию увеличиваться без всякого усилия или пожертвования со стороны владельца; владельцы таких доходов будут составлять в обществе класс, прогрессивно обогащающийся естественным ходом дел, без всяких усилий. Тут не будет нарушением принципов, на которых основана частная собственность, если государство будет присваивать себе эту прибавку к богатству или часть ее, по мере того, как она возникает. Государство тут ничего ни у кого не берет; оно только употребляет в пользу общества прибавку к богатству, создаваемую обстоятельствами, вместо того, чтобы давать оставлять эту прибавку в незаслуженное увеличение богатств одного сословия.

Вот это самое и надобно сказать о ренте. Обыкновенный прогресс обогащающегося общества неизменно имеет тенденцию увеличивать доходы землевладельцев; давать им, независимо от всякого их труда или расхода, все больше богатства, — больше и по абсолютной массе, и по сравнению с общою суммою общественного богатства. Они богатеют, можно сказать, во сне, без всякого труда, риска и сбережения. Какое право имеют они по общим принципам общественной справедливости на эту прибавку богатств? В чем была бы несправедливость перед ними, если бы общество с самого

* Например, разве нельзя составить правил, при которых стал бы частною собственностью дождь? Количество упавшего дождя очень легко измеряется простыми инструментами. Почему же нельзя с лица, владеющего участком или возделывающего участок, брать плату соразмерно количеству упавшего дождя? Право на получение такой платы могло бы передаваться от одного лица другому по наследству, продаже и всеми другими способами, какими передается право на получение ренты. Капитализированная ценность ренты составляет то, что называется поземельною собственностью. Капитализированная ценность платы по упавшему дождю точно так же составила бы право собственности над дождем. Еще удобнее обратить в частную собственность силу пара или силу электричества; стоило бы только поставить в зависимость от чьего-нибудь согласия право устроить и приобретать паровые машины и электро-гальванические аппараты; лицо, дающее это разрешение, стало бы собственником этих сил.

начала оставило за собою право брать себе посредством налога всю требуемую финансовыми надобностями сумму из натурального возрастания ренты? Я согласен, что несправедливо было бы брать налогом всю эту прибавку с каждого поместья, в котором рента возросла; потому что не было бы тут различия между возрастанием ренты исключительно от общего прогресса страны и возрастанием ее, произошедшим от искусства и расходов собственника. Единственный правильный способ тут был бы — руководиться общею нормой. Первым шагом должна быть оценка всех земель в стране. Нынешняя ценность земли должна быть изъята от налога; но по прошествии известного срока, во время которого общество возросло и населением, и капиталом, следовало бы сделать приблизительную оценку натурального возрастания ренты с той поры, как произведен был первый кадастр. Пособием для этого измерения может служить средняя цена продукта: если она поднялась, то наверное увеличилась и рента. По этим и по другим данным можно приблизительно оценить, сколько ценности приобрела земля страны от естественных причин; и, определяя общий поземельный налог (размер которого следует постановить значительно ниже полученного вывода, потому что в нем есть риск ошибки), мы уже будем иметь уверенность, что нимаало не коснулись тех увеличений дохода, которые произошли от затраты капитала или от работы собственника над землею.

Не могло бы быть и спора о справедливости брать в налог увеличение ренты, если бы общество положительно оставило за собою это право; но не утратило ли оно его через то, что не пользовалось им? В Англии, например, вот уже лет 100 или больше каждый, покупающий землю, платит не за одну ценность настоящего дохода, но и за перспективу будущего его увеличения, будучи косвенно уверяем законодательством, что поземельный доход будет платить налог не больше, как соразмерный с другими доходами. В этом возражении есть некоторая доля основательности, и в иных странах доля эта меньше, в других больше, смотря по тому, до какой степени забылось в обществе право, некогда несомненно принадлежавшее обществу. В большей части европейских стран никогда не было допускаемо до забвения право брать посредством налога такую часть ренты, какая понадобится государству. В некоторых частях континента поземельный налог составляет значительную часть государственных доходов, и постоянно признавалось за правительством право увеличивать или уменьшать его и без увеличения или уменьшения других налогов. В этих странах никто не может утверждать, что, делаясь собственником земли, имел уверенность, что поземельный налог не увеличится. В Англии величина поземельного налога оставалась неизменною почти с начала прошлого века. Последний относившийся к нему акт законодательной власти состоял в том, что он был уменьшен; с той поры рента в Англии колоссально возросла и от успехов земледелия и, кроме того, от возрастания городов и увеличения числа построек; но сила землевладельцев в законодательной власти не позволяла подвергнуть справедливому налогу ту громадную часть увеличения ренты, которая возникла без участия собственников, сама собою. Мне кажется, что ожидания, основанные на этом, будут уже достаточно вознаграждены, если вся прибавка к доходу, нараставшая в течение этого долгого периода, только силою естественного закона, без всякого труда и жертвования, будет оставлена изъятью от всякого особенного налога. Я не вижу никаких возражений против того, чтобы объявить, что с нынешнего дня или с того дня, в который законодательная власть рассудит воспользоваться своим правом, всякое дальнейшее увеличение ренты будет подлежать особенному налогу; тут не будет никакой несправедливости относительно землевладельцев, если сохранится нынешняя рыночная цена их земли, потому что в этой цене уже включена нынешняя ценность всех ожиданий будущего увеличения дохода.

Пропорция, в какой возвышается общий уровень цены земли, вероятно, будет еще лучшею нормою такого налога, чем возвышение ренты или цены хлеба. Легко будет соразмерять налог так, чтобы рыночная ценность земли не падала ниже первоначальной оценки; а пока цена земли не падает ниже

этой оценки, не будет сделано налогом никакой несправедливости перед собственниками, каков бы ни был размер налога.

Но как бы ни думали мы о законности того, чтобы дать государству участие во всяком будущем увеличении ренты от естественных причин, все равно нынешний поземельный налог надобно считать не налогом, а платою аренды в пользу публики; частью ренты, с самого начала оставленную государством в свою пользу, частью, которая никогда не принадлежала землевладельцам и не составляла части их дохода, которую потому и не должны они считать налогом, взимаемым с них и дающим землевладельцам право на льготу от других налогов. Это все равно, что десятина, которая не была налогом на землевладельцев; это — дело похожее на то, что видим в Бенгале, где государство, имеющее право на всю ренту, отдало десятую долю ренты частным лицам, удержав за собою остальные $\frac{9}{10}$. Эти $\frac{9}{10}$ не могут считаться неравным и несправедливым налогом на людей, которым подарена десятая часть ренты. Если частное лицо получило в собственность часть ренты, из этого не следует, что оно имеет право на остальную часть ренты и что оно несправедливо лишается этой остальной части. Первоначально землевладельцы владели поместьями под условием исправлять феодальные повинности, за которые нынешний поземельный налог служит чрезвычайно незначительною заменою и за освобождение от которых можно было бы требовать от них гораздо большей платы. Каждый, кто покупал землю при существовании налога, покупал ее подверженною налогу. Нет ни малейшего основания считать налог платежом, требуемым с нынешнего поколения землевладельцев.

Эти замечания прилагаются лишь к той части поземельного налога, которая служит особенным налогом, а не к той, которая служит только способом взимания с землевладельцев платежа, который был бы равномерен взимаемому с других сословий. Во Франции, например, есть особенные налоги на другие разряды собственности и дохода (налог на движимое имущество и патентный сбор); если поземельный налог не больше, как равномерен этим налогам, то нельзя сказать, что государство оставило за собою часть поземельной ренты. Но если доход от земли прямо подвергается вычету на общественные надобности, превышающему размер налогов, взимаемых с других доходов, то излишек поземельного налога над другими уже не налог в собственном смысле, а доля поземельной собственности, оставленная за собою государством. В Англии нет особенных налогов на другие классы, соответствующих поземельному налогу или предназначенных уравновешивать его. Потому весь поземельный налог в Англии не собственно налог, а доля из ренты, и равнозначителен тому, как бы государство удержало за собою не часть ренты, а часть земли. Он вовсе не лежит обременением на землевладельцев, как не лежит бременем на одном из совладельцев доля, принадлежащая другому. Землевладельцы не имеют права на вознаграждение за этот платеж, и не следует давать им никакого вознаграждения за него льготою от других налогов. Продолжать взимание этого налога в существующем размере вовсе не служит нарушением принципа равенства налогов ¹⁵¹.

Прямой налог, пропорциональный или прогрессивный, может взиматься по двум разным основаниям: или по величине дохода, или по величине имущества (налог с дохода или налог с капитала). Милль отдает безусловное предпочтение налогу с дохода, потому что, если брать основанием налога имущество (капитал), то несправедливым образом будет дана привилегия не платить налога тем лицам, которые получают доход не от внешней собственности, а от общественных отношений и личных преимуществ; например, медик, адвокат, художник, актер будут совершенно освобождены от налога, хотя бы получали по не-

скольку десятков тысяч рублей в год от своей профессии, и от этого чрезмерно обременится доля, требуемая налогом с другого источника доходов — с внешней собственности. Милль не забывает сделать оговорку, отстраняющую всякое серьезное возражение против предпочтения налога с дохода налогу с капитала. Он говорит, что если по особенному желанию владельца собственность не приносит ему такого дохода, какой могла бы приносить при употреблении на производительные дела, эта собственность должна платить налог, соразмерный с капитальной своею ценностью. Например, если парк имеет ценность в 100 000 и если участок поля, находящегося под хлебопашеством, при такой же ценности платит 1 000 рублей налога, то надобно брать 1 000 и с парка, хотя он не приносит своему владельцу никакого дохода, а, напротив, стоит ему больших расходов. Переходя к подробностям вопроса о налоге с доходов, Милль говорит:

Мы уже рассмотрели условия, необходимые для того, чтобы он был согласен с справедливостью. Предположим же теперь, что эти условия исполнены. Первое из них: доходы ниже известной суммы должны быть совершенно освобождены от налога. Этот *minimum* не должен превышать сумму, достаточную на предметы необходимости при существующей степени размножения людей. По нынешним правилам подоходного налога, от него освобождены все доходы ниже 100 фунтов, а с доходов от 100 до 150 фунтов берется налог в уменьшенном размере; такую широту льготы можно оправдывать лишь тем, что почти все московские налоги тяготеют над доходами от 50 до 150 фунтов обременительнее, чем над доходами других размеров. Второе условие то, что из доходов выше *minimum*'а должна платить налог лишь та часть, которая в них превышает *minimum*. Третье условие то, чтобы освобождены были от налога все сберегаемые и употребляемые на покупку фондов суммы, если же это оказывается неудобноисполнимым, то пожизненные доходы и доходы от коммерческих дел и профессий должны платить меньший процент налога, чем наследственные доходы, и размер этого облегчения должен как можно ближе соответствовать тому, насколько больше надобности в сбережении при доходах временных; а для доходов переменчивой величины должна делаться льгота, сообразная их неверности.

Подоходный налог, установленный по этим принципам, был бы со стороны справедливости наименее дурным из всех налогов. При нынешнем низком состоянии общественной нравственности есть в нем то неудобство, что невозможно узнать действительный доход лиц, с которых берется налог. Говорят, что принуждать людей объявлять величину своих доходов значит слишком стеснять их; мне кажется, что это возражение не имеет большой важности. В Англии есть привычка, ставшая почти обязательным обычаем, жить или стараться жить так, чтобы казалось, будто у человека больше дохода, чем сколько он имеет; но этот обычай вреден для общества; и для лиц, поддающихся такой слабости, было бы гораздо полезнее, если бы размер их средств стал всем известен с точностью и был устранен соблазн тратить больше, чем дозволяют средства, и отказывать себе в действительно нужном для фальшивого внешнего блеска. [Притом же, смотря на дело и с той точки зрения, с какой делается возражение, можно отыскать доводы и в пользу дела, а не только против него, как предполагают некоторые. Пока масса людей в стране находится в том низком умственном состоянии, какое предполагается подобным обычаем, пока уважение (если можно применить здесь такое слово) свое к человеку соразмеряют люди с тем, сколько денежных средств предполагают у него, всякое условие, отстраняющее сомнение

в денежных средствах, вероятно, стало бы значительно увеличивать надменность и тщеславие пошлых богачей и наглость их перед людьми, которые выше их по уму и честности, но ниже их по богатству].

Надобно сказать еще, что, несмотря на так называемый инквизиторский характер этого налога, агенты, им заведывающие, не могут распределять его с действительным знанием денежных обстоятельств каждого, хотя бы имели всю ту инквизиторскую власть, какую только может вынести народ, самый расположенный подчиняться ей. Величину ренты, жалованья, пенсий и всех определенных доходов можно узнать с точностью. Но не всегда с точностью может определить доход от профессии, а тем более выгоду от коммерческих дел, и сам человек, получающий этот доход, а еще меньше возможности сборщику налога оценить такие доходы, хотя с приблизительною верностью. Главным основанием тут должно быть и всегда принималось показание самого лица. Рассмотрение счетов может быть полезно только в случаях слишком очевидного обмана; да и против него эта проверка очень недостаточна, потому что если человек хочет обмануть, он почти всегда может составить фальшивые счета так, что нельзя будет изобличить их никакими средствами проверки, находящимися у сборщиков налога. Тут часто бывает достаточен легкий способ — не вписывать в счетную книгу получения денег, не прибегая и к тому, чтобы вписывать в нее фиктивные долги или расходы. Таким образом, подоходный налог, на каких бы справедливых принципах равенства ни был установлен, имеет на практике самое дурное неравенство, тяжелее всего падая на людей, наиболее честных. Человек без совести успевает избавиться от значительной части платежа, какой бы следовал с него; даже люди, в обыкновенных своих делах честные, подвергаются искушению кривить душою, по крайней мере в том, что решают в свою пользу все те вопросы, относительно которых может явиться хотя малейшее сомнение; а люди, строго правдивые, часто принуждены бывают платить больше, чем хочет брать государство, потому что агентам, распределяющим налог, необходимо вверяется произвольная власть, как последнее охранительное средство против утайки со стороны платящих налог лиц.

Итак, подоходный налог представляет ту опасность, что нельзя придать ему на практике ту справедливость, какую имеет он в своем принципе; что, будучи, повидимому, справедливейшим из всех способов собирать доход, он в действительности будет несправедливее многих других налогов, на первый взгляд кажущихся менее справедливыми.

Затруднительность установить подоходный налог справедливым образом — вызвала мысль о прямом налоге в известное число процентов не с дохода, а с расхода. Сумму расхода у каждого лица предполагается тут определять по показанию самого лица, как определяется теперь сумма дохода. Но лишь немногие статьи годовичного расхода у большей части семейств могут быть определены с приблизительною верностью по внешним признакам. Единственною гарантиею и тут осталась бы правдивость каждого, и нельзя предполагать, что показания о расходах будут достовернее показаний о доходах; это тем невероятнее, что почти у каждого расход состоит из гораздо большего числа статей, чем доход, потому в перечислении расходов было бы больше простора для утайки, чем в самом перечислении доходов.

Нынешние налоги на расход и в Англии, и в других странах падают лишь на некоторые отрасли расхода и отличаются от налогов на товары лишь тем, что уплачиваются прямо лицом, потребляющим товар, вместо того, чтобы преждевременно взиматься с производителя или продавца, вознаграждающего себя повышением цены. Таковы налоги на лошадей и экипажи, на собак, на прислугу. Очевидно, они падают на те лица, с которых взимаются, на лица, употребляющие товар, обложенный налогом. К этому же разряду принадлежит более важный налог, — налог на дома; о нем надобно поговорить несколько подробнее¹⁵².

Часть этого налога, падающую на жильца, надобно назвать одним из лучших и справедливейших налогов, если она правильно соразмеряется с

ценностью квартиры. Плата за квартиру служит вернейшим мерилом средств человека, и вообще говоря, нет в расходах ни одной статьи, которая составила бы такую одинаковую долю в расходах каждого. Налог на дома подходит к справедливому подоходному налогу так близко, что трудно придать подобную близость подоходному налогу в прямой его форме; налог на дома имеет то важное преимущество, что при нем сами собою делаются все те льготы, которые так трудно делать и так невозможно делать с точностью при распределении подоходного налога: действительно, если платою за квартиру измеряется что-нибудь, то измеряется не сумма имущества лица, а сумма, какую считает возможным расходовать это лицо¹⁵³.

По нашему мнению, взимание налога с дохода под формою налога на квартиры гораздо хуже прямого способа определять налог оценкою всей суммы дохода. Налог тут падает только на одну отрасль расхода, и притом на такую отрасль, относительно которой надобно желать, чтобы у огромного большинства людей она увеличилась насчет некоторых других статей их расхода. Хорошее помещение имеет такую важность в наших климатах, в средней и северной Европе, что едва ли не больше страдают люди от дурного помещения, чем от недостаточной пищи. Налог с квартир не слишком многим лучше налога с окон, безусловно порицаемого Миллем. Он также принуждает массу лишиться чистого воздуха, заставляя людей не очень богатых слишком тесниться. Конечно, Милль сам очень хорошо понимает это, но он принужден быть снисходителен к налогу с квартир потому, что видит слишком важное неудобство в прямом налоге с дохода. Милль очень сильно поражается трудностью оценить некоторые отрасли дохода и легкостью недобросовестной утайки в них.

Читатель заметит, что это возражение, довольно сильно применяющееся к такой системе раскладки, при которой действуют только правительственные агенты, значительно ослабляется, если все члены общества призываются к участию в этом деле. Каждый знает по опыту, как близко известно количество доходов и имущество каждого из нас людям того круга, в котором мы живем. Если этот круг будет иметь прямой интерес в том, чтобы каждый платил не меньше того, сколько приходится ему по справедливости, утайка части имущества или дохода будет очень трудна. Следовательно, дело должно состоять не в том, чтобы вознаграждать неравномерную раскладку прямого налога установлением косвенных налогов, еще более неравномерных, а в том, чтобы устранить самый источник неравномерности прямого налога, заключающийся только в нежелании общества наблюдать за равномерностью раскладки. Задача эта очень легко разрешается при тех формах экономического быта, которых требует наука. Мы видели, что при этих формах каждая группа производителей ведет свои хозяйственные дела открытым образом и каждый член ее имеет прямой интерес не допускать никаких утаек в делах, в которых он участвует. При нынешних формах быта может достигаться подобный результат, если каж-

дый член небольшого общества, — прихода, квартала, села, — будет прямо видеть, что на него упадет та часть уплаты, которую несправедливо отстранит от себя другой член того же кружка утайкою своего имущества или дохода. Отчасти достигается это во Франции тем, что раскладка прямого налога между членами каждой части населения производится не агентами правительства, а самими жителями. Так, например, центральная законодательная власть определяет только сумму прямого налога, какую должен заплатить тот или другой департамент. Жители департамента через своих выборных распределяют этот общий взнос целого департамента между округами; жители каждого округа между его общинами и, наконец, уже жители общины между собою. Сколько мы знаем, эта система действует удовлетворительно. Но если бы и оказалась при ней какая-нибудь неравномерность в распределении налогов, это происходило бы только от непривычки французов принимать надлежащее участие в общественных делах, — непривычки, которая объясняется их прежнею историею и постепенно уступает место другому образу действий по мере развития и укоренения законов и учреждений, соответствующих духу нового времени. Конечно, не будет принимать деятельного участия и в раскладке налога такой гражданин, который не принимает участия вообще во всяких общественных делах, касающихся его выгоды, который еще не привык смотреть на себя, как на гражданина, и продолжает во всем следовать внешней инициативе. Но в таком случае практическая неравномерность прямого налога нисколько не составляет специального недостатка этого налога, а влагается в него общим характером неудовлетворительных национальных обычаев, и вопрос будет относиться не к налогу, а к средствам, какими могут улучшаться общие национальные обычаи, равно касающиеся всяких дел: и налогов, и правосудия, и администрации, и торговли и так далее.

Словом сказать, рассматриваемый нами частный вопрос едва ли не приведет читателя к мысли, появившейся в наших очерках чуть ли не при каждом случае, когда речь шла об удовлетворении какой бы то ни было, частной ли, или общественной надобности: вообще оказывается, что качества нынешнего экономического быта слишком неудобны для удовлетворения этой надобности способом, который один только и хорош. Если же так, то следует ли ограничиваться придумыванием другого способа, менее хорошего или прямо дурного, но более удобного при существующей обстановке? Не надобно ли столько же, или гораздо больше заботы обратить на разъяснение надобности изменить самую экономическую обстановку, чтобы явилась возможность поступать так, как следует?

Главный недостаток обычаев во всех без исключения странах состоит в том, что люди слишком мало занимаются обществен-

ными экономическими делами, слишком мало понимают вред, приносимый их частным делам общему неудовлетворительной экономической обстановкою. Каждый порядочный человек заботится о чистоте воздуха в своей квартире; но почти никто не обращает надлежащего внимания на то, что не меньше, чем от порядка в самых комнатах, зависит она от чистоты целого дома, целого квартала и всего города. Пока не разовьется в людях убеждение, которого теперь недостает, пока не создадутся разнообразные ему обычаи, мало будет на свете хорошего, и каждый политико-эконом должен был бы находить особенно полезным для общественного и индивидуального благосостояния те способы удовлетворения существующим надобностям, которыми развивается в людях желание серьезно заниматься общественными экономическими делами. С этой стороны нынешняя затруднительность совершенно равномерной раскладки подоходного налога служит даже не возражением против него, а рекомендацию ему, потому что эта затруднительность происходит только от безучастия частных лиц в общественном деле и устранится, если способ раскладки будет избран такой, чтобы каждый член известной общественной группы имел интерес не допускать в своей группе тех утаек, которыми смущается Милль и которые быстро исчезнут в этом случае.

До сих пор мы говорили о прямых налогах, то есть таких, при которых требуемая сумма берется непосредственно из рук человека, из доходов которого в действительности уплачивается. Косвенные налоги, при которых налог берется не с этого, а с какого-нибудь посредствующего лица, вознаграждающего себя за уплату взиманием известной прибавки за свои услуги или товары с лица, в действительности платящего налог, но не имеющего прямых сношений с сборщиком налога, — эти косвенные налоги имеют вообще много недостатков сравнительно с прямыми. В большей части случаев сбор косвенного налога обходится правительству гораздо дороже, чем сбор прямого, потому что дело это гораздо хлопотливее. Если, например, для получения чистого дохода в миллион рублей от прямого налога государству бывает надобно собирать 1 100 000 — потому что 100 000 поглощаются расходами самого взимания, — то при косвенном налоге, для получения такого же чистого остатка, нужно бывает собирать 1 200 000, или гораздо больше. Таким образом, лишние расходы сбора подвергают при косвенных налогах общество лишнему обременению. Еще более убытка, пропадающего без всякой пользы правительству, терпит общество при почти всех косвенных налогах от того, что они или стесняют производство мелочным вмешательством и неподвижной регламентацией, или обращают национальный труд от производств более выгодных к менее выгодным. Эти недостатки косвенных налогов удовлетворительно излагаются политико-экономами господствующими

щей школы, потому нам нет необходимости подробно излагать их здесь.

Но независимо от неудовлетворительности косвенных налогов, прямые налоги имеют в себе положительное достоинство, по которому прогрессивная часть приверженцев господствующей теории очень горячо защищает их. Милль удовлетворительно излагает причину этого предпочтения. Заметив, что в Англии (как и везде) прямые налоги непопулярны и что это происходит отчасти от нерасположения англичанина (как и всякого другого человека) иметь сношения с сборщиком податей, с которым он не имеет прямого дела при косвенных налогах, Милль продолжает:

Есть и другая причина нелюбви англичанина к прямым налогам. Быть может, он твердо знает, что платит налог лишь тогда, когда прямо платит его из своего кармана. Разумеется, неоспоримая вещь, что пошлина в 2 шиллинга с фунта чая или 3 шиллинга с бутылки французского вина возвышает на всю свою сумму и даже больше, чем на всю свою сумму, цену каждого фунта чаю и каждой бутылки вина, которые он потребляет; это факт, без этого налог и не бывает, и англичанин по временам очень хорошо знает это; но это не производит почти никакого практического впечатления на его мысли, так что дело это служит примером разницы между сознанием о факте и живым чувством факта. Непопулярность прямых налогов и легкость, с какою общество соглашается на то, чтобы обирали его в цене товаров, часто заставляет друзей прогресса рассуждать способом, прямо противоположным приведенному нами. Они доказывают, что прямые налоги лучше косвенных именно по той самой причине, от которой происходит их непопулярность. При прямом налоге каждый знает, сколько платит он на самом деле; и если он подает голос в пользу войны или другой убыточной национальной роскоши, он решается на дело с ясным понятием о том, сколько оно стоит ему. Если бы все налоги были прямые, масса их замечалась бы гораздо лучше нынешнего, и для экономии в общественных расходах было бы обеспечение, которого теперь нет ¹⁵⁴.

По нашему мнению, этот расчет совершенно правилен, решает дело безоговорочным образом. При прямых налогах каждый англичанин прямо знает, сколько он платит, знает точным образом, что деньги на государственные расходы не получают задаром, а берутся с него; потому такой англичанин более расположен рассчитывать, действительно ли необходим расход, на который берутся деньги, и действительно ли соблюдается экономия в их расходовании. Непосредственное чувство всегда гораздо осязательнее сложных умозаключений, и его влияние гораздо неотступнее. Но Милль пробует находить оговорки, ослабляющие важность изложенного им довода. Он говорит, что люди в наше время умнеют и научаются вникать в сущность вещей, так что с этой стороны уменьшается разница впечатлений, производимого на них прямым и косвенным налогом. Так, люди умнеют, но не очень быстро, к несчастью; а во всяком случае еще очень далеко им до такой привычки понимать и помнить сущность дела, чтобы маловажна стала разница между прямым

соприкосновением с нею или отдалением ее от нашего внимания, скрывающими ее косвенными отношениями. Впрочем, дело не в одном недостатке экономического развития: причина разницы лежит также и в коренных свойствах нашей природы: чувственное впечатление всегда должно действовать сильнее отвлеченного понятия, и, как бы твердо ни знал я, что, покупая вещь, обложенную пошлиной, я плачу часть денег не за эту вещь, а за какой-нибудь государственный расход, я все-таки не буду чувствовать этого платежа в казну так резко, как при прямой уплате сборщику налогов. Впрочем, сам Милль обнаруживает незначительность своего первого возражения важностью, какую придает второму возражению: он говорит, что если бы вся сумма нынешнего английского государственного дохода взималась прямыми налогами, люди не захотели бы жертвовать такою значительною частью своих средств.

Если бы нынешний английский бюджет, превышающий 60 милл. фунтов, весь доставлялся прямыми налогами, наверное возникло бы чрезвычайное недовольство тем, что приходится платить так много; а пока человеческие мысли так мало руководятся рассудком, как надобно заключать из подобной перемены их от такой неважной причины, слишком большое неудовольствие на налоги могло бы иметь и нехорошую сторону. Из 60 милл. английского государственного дохода около 30 должны отдаваться по самым бесспорным обязательствам лицам, имущество которых было занято и израсходовано государством; а пока этот долг остается не уплачен, от слишком усиленного недовольства огромностью налога являлась бы большая опасность нарушить данное обязательство, как по той же самой причине нарушили его те штаты Северной Америки, которые отреклись от своего государственного долга, — иные из них отрекаются от него и до сих пор. Та часть общественных расходов, которая употребляется на содержание гражданских и военных учреждений (то есть все расходы кроме процентов государственного долга), действительно представляет большой простор для сокращений. Но при такой значительной трате доходов под пустыми предложениями остаются неисполненными так много важнейших правительственных дел, что все сбережения от бесполезных расходов настоятельно нужны на полезные расходы. Воспитание, — лучшее и доступнейшее отправление правосудия, — эмиграция и колонизация, — всякие реформы, требующие вознаграждения частных интересов, как освобождение невольников, — или дело не менее важное — содержание достаточного числа способных и образованных людей на государственной службе, чтобы они вели законодательство и администрацию лучше нынешнего жалкого порядка, — каждое из этих дел требует значительных расходов, и многие из них много раз отлагались по нежеланию правительства просить у парламента увеличения расходов, хотя расходы эти оплачивались бы во сто раз и чисто денежною выгодною от них для всего общества. При увеличении общественного нерасположения к налогам от исключительного потребления прямых налогов классы, получающие себе выгоду от дурного расходования государственных денег, вероятно, успели бы сохранить расходы для них на счет расходов, полезных только для публики.

Но сильнейшее возражение против взимания всего государственного налога или большей половины его прямыми налогами — невозможность правильной раскладки их без добросовестного содействия платящих, на которое нельзя надеяться при нынешнем низком состоянии общественной нравственности; справедливость и расчет одинаково не одобряют того, чтобы все неравенства сосредоточивать на одних и те же лицах покрыванием всего или почти всего государственного расхода одним налогом¹⁵³.

Всмотримся точнее в эти замечания. Они касаются двух предметов. Первый предмет — уплата процентов государственного долга. Они могут составить очень значительную статью расхода только в таких государствах, которые давно пользуются значительным кредитом. А им пользуются только такие государства, в которых экономическая жизнь достигла довольно высокого развития. А в таких государствах биржевое сословие имеет такую силу над обществом, что при обыкновенных обстоятельствах всегда удержит его от нарушения правил коммерческой честности. Что же касается слишком сильных внутренних потрясений, во время которых бывают случаи государственного банкротства, эти переломы вызываются причинами более значительными, чем разница прямого налога от косвенного, и она ничему тут ни повредить, ни пособить не может. Но важно влияние, какое имела бы она на предотвращение подобных взрывов, или, если взрыв уже произошел, на его отклонение от насильственного уничтожения государственных долгов. Какова бы ни была в данное время величина государственного долга и какую бы часть расхода ни составляли его проценты, значение этих цифр довольно быстро уменьшается в стране, богатство которой растет. С концом наполеоновских войн население Великобритании удвоилось¹⁵⁶; ценность имущества, заключающегося в ней, возросла по денежному счету в три или четыре раза; сумма доходов, получаемых населением страны, увеличилась на столько же. Из этого следует, что английский государственный долг и его проценты имеют теперь для Англии втрое меньшую реальную величину, чем какую имели при конце наполеоновских войн, хотя денежная цифра их остается почти прежняя. Значит, чем дальше идет время, тем меньше становится опасность, что нация в минуту общественного потрясения захочет искать себе облегчения именно в насильственном уничтожении государственного долга или платежа процентов на него, если только не будут возрастать эти цифры от заключения новых долгов. А чтобы не делались лишние новые долги, очень полезно было бы, когда бы англичане прямо чувствовали, какую тяжесть налагает на них каждый новый заем; а это гораздо виднее при прямых налогах, чем при косвенных. Но заключение займов бывает лишь одною частною стороною финансового расстройства, которое, кроме долгов, ведет и к увеличению налогов, [а само всегда происходит только от ненужных растрат и никогда от действительных надобностей]. Излишнее увеличение прямых налогов замечается скорее и задерживается общественным мнением успешнее, чем такое же увеличение косвенных. Следовательно, при прямых налогах скорее удерживается и напрасная трата государственных денег; значит, прямые налоги служат предохранением от финансового расстройства, [то есть от дурного управления, без кото-

рого никогда не бывает финансового расстройтва и] которое служит причиною потрясений.

Словом сказать, преобладание прямых налогов не уменьшало бы, как думает Милль, а, напротив, увеличивало бы прочность уплаты по денежным обязательствам, лежащим на правительстве, оставляя менее простора ненужному возрастанию этих обязательств.

Точно так же в пользу прямых налогов обращается и другое обстоятельство, выставляемое против них Миллем. Действительно, есть очень много полезных предметов, требующих значительного увеличения государственного расхода на них. Но это увеличение всегда может совершаться в желаемой степени без увеличения общего итога государственных расходов, лишь бы только производимы были требуемые государственною пользою сбережения в статьях чрезмерного расхода, — статьях, на которые указывает сам Милль. Этот чрезвычайно обильный источник сбережения — военные расходы. Они почти во всех европейских государствах так велики, что все остальные расходы, за исключением процентов государственного долга, едва равняются им¹⁵⁷. А между этими остальными расходами, конечно, есть очень многие, которые также требуют не увеличения, а уменьшения или по чрезмерности своей, или по совершенной бесполезности. Из этого видим, что расходы на предметы действительно полезные могут быть увеличены в несколько раз без увеличения общей суммы расходов.

Все выгоды, указываемые в косвенных налогах, ничтожны пред тем преимуществом прямого налога, что он никого не вводит в заблуждение, открыто обнаруживает свою истинную величину, заставляет каждого с точностью знать степень своей легкости или обременительности [и непосредственно возбуждает в каждом охоту размышлять о степени надобности и экономности делаемых расходов].

Из косвенных налогов теория допускает только налоги на предметы роскоши. По особенному характеру предметов, с которых взимаются, они имеют такое внутреннее достоинство, которым далеко перевешивается неудобство косвенной формы взимания. Если человек платит часть тех денег, которые употребил на предметы необходимости или удобства, он подвергается известному лишению, и налог бывает с его стороны более или менее серьезным пожертвованием. Но ровно никакой невыгоды не терпит человек, если государство берет у него какую бы то ни было часть денег, предназначенных на предметы роскоши. Даже чувство тщеславия, служащее единственною причиною и целью расходов на предметы роскоши, удовлетворяется совершенно в одинаковой степени, хотя бы не брало правительство никакой части, или хотя бы брало бóльшую половину из денег, имеющих такое назначе-

ние. Потому, чем больше правительство возьмет из них, тем лучше, и так как при двойной форме взимания, прямой и косвенной, можно взять больше, чем при одной прямой, то, следовательно, кроме прямых налогов на предметы роскоши, полезно существовать и косвенным налогам на эти предметы. Вот из Милля отрывок, очень хорошо объясняющий сущность дела:

Налоги на предметы роскоши имеют свойства, сильно говорящие в их пользу. Во-первых, никак и ни в каком случае не могут они касаться лиц, весь доход которых употребляется на предметы необходимости, а ложатся на лица, расходующие на предметы роскоши то, что следовало бы расходовать им на предметы необходимости. Во-вторых, иногда они служат полезным и единственно полезным видом законов против роскоши. Я отвергаю всякий аскетизм и вовсе не желаю того, чтобы законом или общественным мнением отвлекались люди от удобств и удовольствий, к которым влекутся неподдельною склонностью к известному удобству или удовольствию. (лишь бы оно было совместно со средствами и обязанностями пользующегося им лица); но почти во всех странах значительная часть, а в Англии огромнейшая доля расхода, делаемого высшим и средним классами, делается не ради удовольствия, доставляемого вещами, на которые расходуются деньги, а в угождение общему мнению и той мысли, что оно идет от человека в известном положении известных расходов, как принадлежности его положения; а я непоколебимо думаю, что такой расход всего лучше подвергать налогу. Если налог отбивает охоту от него, это полезно; а если и не отбивает, — вреда нет, потому что никому не бывает убытка от тех налогов, которые взимаются с предметов, бывающих целью желания и приобретения по таким побуждениям. Когда вещь покупается не сама за себя, а за свою дороговизну, то дешевизна напрасна. По справедливому замечанию Сисмонди, когда предметы тщеславия удешевляются, результат бывает не тот, что уменьшается расход на такие предметы, а то, что удешевившийся предмет покупщики заменяют другим, более дорогим предметом, или изысканнейшим сортом того же предмета; а прежний сорт точно так же удовлетворял тщеславию, когда был дорог; стало быть, налог на этот предмет не ложится в сущности ни на кого: он создает государству доход без убытка кому бы то ни было. «Если предположить, что брильянты можно было бы получать из одной и отдаленной местности, и жемчуг также из одной, и что по естественным причинам добывание рудопроизводящего продукта в первой стране и добывание рыболовного продукта во второй стало вдвое труднее, результат был бы лишь тот, что через несколько времени для обозначения известной пышности и важности достаточно сделалась бы половина того количества брильянтов и жемчуга, какое было нужно для этого прежде. На получение этой половины нужна стала бы такая же сумма другого товара (то есть в последнем анализе такая же сумма труда), какая прежде нужна была на вдвое большее количество. Если бы трудность произведена была законодательными правилами, половина прежнего количества точно так же удовлетворяла бы тщеславию». Предположим, что найдено средство по произволу вызывать физиологический процесс, от которого рождается жемчуг, так что от этого добывание каждой жемчужины стало бы стоить в 500 раз меньше труда, «Окончательный результат этой перемены зависел бы от того, свободна или несвободна ловля раковин. Если она совершенно свободна, то есть жемчуг получается просто за стоимость труда ловли его, нитка жемчуга покупалась бы за несколько пенсов; потому беднейший класс общества мог бы наряжаться в жемчуг. Жемчуг скоро стал бы чрезвычайно вульгарен, вышел бы из моды и наконец потерял бы всякую ценность. Но если предположить, что ловля раковин не свободна, а присвоена правительству, и что оно может отратить всякую контрабандную ловлю на том единственном месте, где добывается жемчуг, то по мере развития новооткрытого способа правительство могло бы облагать жемчуг пошлиною, соразмерно уменьше-

нию труда, нужного на его добывание. Тогда жемчуг продолжал бы цениться попрежнему. Собственная красота его осталась бы прежняя. Трудность его получения была бы иного рода, чем прежде, но велика попрежнему, и оттого жемчуг попрежнему служил бы для обозначения пышности носящих его». Чистый доход, доставляемый таким налогом, «не стоил бы обществу ничего. Если бы не было злоупотреблений в его применении, он был бы весь чистою прибавкою к общественным средствам». Rae, *New Principles of Political Economy*, стр. 369—371¹⁵⁸.

Все другие косвенные налоги далеко уступают в экономическом достоинстве прямым налогам, так что теория собственно должна была бы предлагать совершенную замену их прямыми. Но в нынешней практике непреодолимым затруднением к тому представляется размер бюджета. В Англии, например, количество доходов, подлежащих прямому налогу, простирается до 300 миллионов фунтов, а бюджет расходов превышает 60 миллионов фунтов. Значит, если бы покрывать расход только прямыми налогами, пришлось бы прямо требовать около 20% пожертвования в казну от каждого платящего ныне налог с дохода. Во Франции пропорция пожертвования была бы, вероятно, еще больше, потому что доходы, превышающие *minimum*, который надобно освобождать от прямого налога, составляют во Франции большую пропорцию общей массы национальных доходов, чем в Англии. Очень сомнительно, чтобы столь значительную часть дохода можно было взять одним приемом. Не говорим уже о чрезвычайном сопротивлении, которое встретила бы во всех богатых людях реформа, заменяющая одним падающим большею частью на них налогом огромное количество нынешних налогов, при которых $\frac{3}{4}$ государственного бюджета, или больше, взимаются с людей недостаточных и совершенно бедных; без чрезвычайных событий, дающих экстренную силу народным мыслям, едва ли возможно победить это сопротивление. Но положим, что оно побеждено; предположим случай еще менее вероятный, что за подобным потрясением не последует реакция, которая по обыкновению уничтожит большую часть сделанного во время напряжения народной энергии. Все-таки очень трудно предположить, что богатые классы при нынешнем порядке своей жизни могли бы исправно уплачивать налог, равняющийся $\frac{1}{5}$ или $\frac{1}{3}$ части всего их дохода. Известно, что хозяйство богатых людей редко идет хорошим порядком: обыкновенно оно обременено долгами; обыкновенно поглощаются требованиями кредиторов или «необходимым» мотовством деньги, попадающие в руки богачу, так что он почти всегда сам сидит без денег. При подобном беспорядке требование огромного налога тотчас повело бы к неоплатным недоимкам и продажам с аукциона. Реформа в системе налогов, вытекающая из принципов экономической науки, повела бы к совершенному перевороту всех существующих отношений и результатом ее были бы только беспрестанные потрясения.

Словом сказать, вопрос о налогах последовательным образом

разрешается в тот вывод, что удовлетворительное его решение невозможно при существующем быте. И мы имеем перед собою два заключения: пока этот быт не будет существенно преобразован, поневоле приходится допускать множество налогов, решительно отвергаемых наукою; так делает и Милль. Кроме прямого налога с дохода, кроме налога с квартир, кроме специального налога на ренту и кроме налога на предметы роскоши, он принимает и таможенные пошлины, и внутренние акцизы с предметов первой необходимости, и пошлины с торговых сделок и т. д. Видя невозможность желать, чтобы система налогов была хороша, он желает только, чтобы она не была чрезмерно дурна. Другое заключение — то самое, к какому приводил нас и всякий другой частный вопрос: должны измениться самые основания экономического быта.

[Отдел о налогах написан у Милля с постоянным применением теоретических его соображений к налогам, действительно существующим в Англии, всю систему которых он пересматривает. Чтобы наши очерки имели такой же смысл для наших читателей, какой имеет книга Милля для английских, мы должны были бы говорить о налогах, существующих у нас. Но читатель не взыщет с нас за неисполнение этой обязанности, получив, конечно, достаточный навык видеть, что мы вообще не расположены исполнять свои обязанности перед ним].

С. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

(Гл. VII)

Почти во всех европейских государствах национальный долг достиг такой величины, что уже одна уплата процентов его составляет очень обременительную статью государственного расхода. Если, например, взять бюджеты четырех великих держав: Великобритании, Франции, России и Австрии за 1859 год, то мы увидим, что вся сумма государственного дохода этих четырех правительств составляет около 1 300 миллионов рублей серебром, и на уплату процентов по их долгам, простирающимся почти до 11 000 миллионов рубл. сер., идет около 450 миллионов рублей, то есть несколько более целой трети всего дохода¹⁵⁹. За исключением расходов на военные силы, поглощающих столько же денег, ни один из остальных предметов государственного расхода не имеет важной величины сравнительно с этими двумя статьями, да и все вместе эти остальные расходы составляют только 400 миллионов рублей. Понятно после этого, что публицисты, желающие уменьшения налогов, думают больше всего об уменьшении расходов на войско и на проценты государственного долга. Соображения о военных реформах для уменьшения расходов на армию и флот переходят за границы специального экономического исследования, находясь в зависимости от других политиче-

ских наук и от теории военного дела. Но задача, представляемая государственным долгом, принадлежит почти исключительно политической экономии.

Прежде всего спрашивается: позволяет ли здравая теория государству, не имеющему долга, входить в долг или имеющему долг увеличивать его? Разумеется, дело тут идет не о небольших займах, являющихся только отсрочкою действительных уплат на несколько месяцев, каковы внутренние займы, делаемые, например, английским правительством через выпуск так называемых билетов государственного казначейства, которые выкупаются через год, много через два года, и никогда не составляют огромных сумм. Если в известном году явился непредвиденный излишек расхода, который в следующем году будет покрыт излишком обыкновенного дохода, не стоит учреждать для небольших надобностей одного года особенный налог. Речь идет о займе огромных сумм, уплаты которых нельзя предвидеть в скором времени, — о тех займах, которые до сих пор обращались в вечный долг.

Надобно начать с того, что заключение государственного займа обыкновенно вовсе не уменьшает суммы пожертвований, действительно взимаемых от нации в год заключения займа, вовсе не составляет для нации никакой отсрочки в платеже суммы расхода, делаемого на заем. Чтобы оказалось это ясным и бесспорным, надобно только проникнуть сквозь формальность денежных расчетов до реальной сущности происходящего тут дела. Положим, что в 1815 году Англия для низвержения возвратившегося с Эльбы Наполеона должна была выставить лишних 100 000 войска и 100 военных кораблей и употребить известное лишнее количество свинцу, пороха и т. д. Положим, что приобретение этих военных материалов и содержание этих людей, превышавших обыкновенную норму, стоило ей 50 миллионов фунтов сверх обыкновенного расхода, покрывавшегося обыкновенным доходом. В чем действительно состоял этот лишний расход, формально или отвлеченно выражаемый денежным счетом? Действительно он состоял вот в чем. Взято 100 000 работников от земледельческого, ремесленного и фабричного производства на военную службу. По этому обстоятельству осталось не произведено в 1815 г., сравнительно с обыкновенными годами, некоторое количество продуктов, — миллион кварталов пшеницы, 100 000 кусков сукна и так далее, и так далее; этот недочет уменьшил для английской нации норму продовольствия всеми продуктами, в которых <он> оказался. Но одним этим не ограничилось дело 100 000 работников, которые без войны увеличили бы своими продуктами сумму национального продовольствия, теперь должны были сами содержаться продуктами остальных национальных работников, из продукта которых взято на содержание этих 100 000 человек известное количество хлеба, сукна и так далее.

Кроме того, нужно было для их военных действий остальным работникам произвести известное лишнее количество кораблей, свинцу, пороха и так далее. На эти работы было отвлечено известное количество остававшихся работников, которые иначе производили бы продукты для продовольствия. Если мы хотим наглядно сообразить перемену, произошедшую от того в балансе английского хозяйства, мы не поскучаем просмотреть следующую выкладку.

По нашему обыкновению переведем все предметы продовольствия в один счет на пшеницу; точно так же переведем все виды поглощенных войною военных материалов в один счет, например, на порох.

Положим, что каждый работник производит 10 кварталов пшеницы или 1 тонну пороха. Положим, что Англия в данное время имела миллион людей, способных к работе. Положим, что в мирное время ей было нужно содержать 50 000 войска и потреблять сумму военных припасов, равнявшуюся 50 000 тонн пороха. Баланс английского хозяйства в мирный год будет у нас таков:

50 000 солдат и 50 000 работников, занятых приготовлением военных материалов, не производят ничего для национального продовольствия; напротив, на их собственное продовольствие должно быть взято из продукта остальных работников по 10 кварталов пшеницы, то есть 1 000 000 кварталов

Остаются 900 000 производительных работников, продукт которых, по 10 кварталов от труда каждого, составляет 9 000 000 кварталов

Из этого продукта на содержание военных сил надобно взять, как мы видели, 1 000 000 кварталов, и на продовольствие каждого производительного работника остается по 8,8888... квартера

Посмотрим теперь баланс военного года, предположив, что понадобилось удвоить количество солдат и утроить приготовление военных материалов.

100 000 солдат и 150 000 работников, занятых приготовлением военных материалов, не производит ничего для национального продовольствия; напротив, на их собственное продовольствие должно быть взято из продукта остальных работников по 10 кварталов пшеницы, то есть 2 500 000 кварталов

Остаются 750 000 производительных работников, продукт которых, по 10 кварталов от труда каждого, составляет 7 500 000 кварталов

Из этого продукта на содержание военных сил надобно взять, как мы видели, 2 500 000 кварталов, и на продовольствие производительных работников остается 5 000 000 кварталов, то есть на каждого производительного работника 6,6666... квартера

Сличим теперь эти цифры. В мирный год отвлекалась от производства продовольствия одна десятая часть рабочих сил нации; а в военный год отвлекается целая четвертая часть этих сил. От этого в военный год производится только 7 500 000 кварталеров пшеницы, между тем как в мирный год производилось 9 000 000, и в массе населения на каждого остается в военный год только $6\frac{2}{3}$ кварталеров, а в мирный год оставалось $8\frac{8}{9}$ кварталеров. Таким образом, сумма лишнего пожертвования, делаемого нацией в военный год, простирается до 1 500 000 кварталеров пшеницы, и каждый из мирных граждан в эту сумму пожертвования отдает $2\frac{2}{9}$ квартала пшеницы из прежних $8\frac{8}{9}$ кварталеров, то есть отдает четвертую долю своего прежнего продовольствия.

Вот в этих переменах и недочетах и состоит реальное пожертвование; никаким образом нельзя отсрочить его с военного года на следующие годы, потому что именно в этот год происходит все отвлечение рабочих рук, все уменьшение суммы продовольствия, все непроизводительное потребление. А через какую форму будут произведены эти недочеты и взяты эти жертвования, для реальной сущности дела все равно. [Если государство имеет невольников, как были, например, государственные невольники в Афинах, или ведет войну феодальными средствами, как было в средние века, то не понадобится государству ни делать займа, ни взимать налогов. Отвлечение рабочих рук и уменьшение продовольствия будет произведено прямо через принудительное обращение невольников или вассалов от производства продовольствия на занятия, не дающие продовольствия. И военное обременение все-таки ляжет всею своею силою на военный год, хотя не будет ни займов, ни новых налогов. Оно будет чувствоваться под формою обязанности мирного гражданина прямо содержать на свой счет родственника или односельца, пошедшего на войну, и под формою обязанности употреблять часть своего времени на изготовление военных материалов.

Точно так же не отсрочивается и не уменьшается пожертвование во время военного года, если при денежном хозяйстве военные расходы покрываются займом, а не налогом. Все-таки на столько же уменьшится в этот год продовольствие и такой же пропорции лишений подвергнется мирный гражданин]. Чтобы яснее было для нас это заключение, посмотрим, какими формами произойдет обременительная перемена при налоге и при займе.

Мы знаем, что при денежном хозяйстве экономические действия производятся через средство покупательной силы, сосредоточиваемой в деньгах. Что нужно государству по реальной сущности дела? Ему нужно для наличных военных расходов количество продуктов и работ, равняющееся 1 500 000 кварталеров пшеницы, сверх обыкновенной его нужды, простиравшейся до 1 000 000 кварталеров. Положим, что квартал пшеницы стоит 10 руб. сер. Итак, в мирный год государству нужно 10 000 000

рублей дохода. Если экстренный военный расход покрывается установлением налога, с каждого гражданина прямо берется нужное количество денег, так чтобы новый налог принес государству лишние 15 000 000 руб. сер. на покупку 1 500 000 кварталов пшеницы.

Если же не устанавливается налог, а получают эти 15 000 000 руб. посредством займа, они все-таки употребляются точно так же на отвлечение рабочих рук и покупку пшеницы.

Таким образом, между действием займа и действием налога во время военного года нет никакой разницы. Разница относится только к следующим мирным годам. Если лишний расход был сделан посредством налога, налог отменяется по окончании военного года, и нация переходит к мирному состоянию, не имея на себе остатков перенесенного пожертвования. Если же расход был сделан посредством займа, на нации остается долг и обязанность платить проценты. Этот остаток составляет совершенно лишнее обременение для следующих лет.

Мы говорили о займах, производимых на войну, потому что таков источник почти всей массы государственных долгов. Но если заем делается и не для содержания военных сил, а для каких-нибудь других дел, хотя бы самых производительных и полезных, невыгода его перед налогом остается все та же. Словом сказать, какого бы рода ни был экстренный расход, представляющийся нужным государству, для нации всегда гораздо менее обременения будет, если он будет произведен посредством налога, а не займа.

Мы вовсе не о том говорим, что не может представляться основательной надобности в экстренных расходах. Не упоминая уже о расходах на дела всегда полезные по своей сущности, на какие-нибудь реформы или улучшения, нельзя забывать, что бывают иногда и войны, совершенно оправдываемые экономическим расчетом. Таковы войны на защиту или возвращение национальной независимости. Мы только говорим, что если дозволительно по рассудку и по экономическому расчету произвести экстренный расход, то всегда лучше бывает собрать средства для него не займом, а налогом.

Разумеется, бывают разные роды займа, как бывают разные роды налога, и некоторые из них более обременительны для нации, чем другие. Но место не позволяет нам здесь вдаваться в эти подробности, которые, впрочем, теряют значительную часть своей важности для теоретического исследования, если мы твердо убедимся в общей невыгодности самого принципа заменять налог займом. Теория говорит, что займов не следует заключать; после этого какую степень серьезности могли бы иметь рассуждения о том, в каких обстоятельствах и в каком размере можно заключать займы?

Теория может говорить без нарушения собственных прин-

ципов только о долгах, уже сделанных, как о результате ошибочного взгляда, как о следствии фактов, которых не следует повторять, а которые надобно по возможности исправлять. Следует ли и можно ли государству заботиться об освобождении себя от долга, если оно по несчастию уже обременено им? К сожалению, и тут, как во многих других предметах, самый тот факт, что люди рассуждают о пользе или возможности отстранить зло, служит доказательством трудности справиться с этим злом. Есть государства, у которых долг невелик, так что возможность заплатить его не подлежит сомнению. Например, по бюджету Швейцарии за 1860 год государственный долг простирался до 10 000 000 франков, между тем как доходы простирались до 16 000 000 франков, а расходы были несколько меньше¹⁶⁰. Конечно, Швейцария легко могла уплатить свой долг. Но не у таких наций возникают вопросы об уплате его, потому что Швейцария без всяких споров хочет уплатить и уплатит свой долг. Вопросы об этом предмете очень занимают публицистов только таких государств, как Англия, у которой государственный долг в одиннадцать или двенадцать раз превышает собою сумму годичного дохода, на половину поглощаемого одною уплатою процентов, или таких государств, как Франция, в которой долг уже возрос до величины, в шесть раз превышающей сумму дохода, и с каждым годом быстро растет, так что при продолжении подобного порядка дел скоро превысит собою долг самой Англии. Вот для таких государств интересно узнать, должны ли и могут ли избавиться они от этой обременяющей их тяжести. Но тут с первого же взгляда видно, что избавиться им от нее очень тяжело.

Представим себе человека, который, получая 1 000 рублей дохода, имеет на себе 12 000 долга, — таково положение Англии. Представим себе человека, который, получая 1 000 рублей дохода, имеет на себе 6 000 рублей долга и с каждым новым годом увеличивает его на несколько сот рублей, — таково нынешнее положение Франции. Ясно, что эти люди не могут уплатить своего долга иначе, как прибегнув к геройским средствам.

Таких средств существует — три очень быстрых и одно довольно медленное. Два из трех быстрых средств имеют своих многочисленных приверженцев; к сожалению, малочисленные серьезные приверженцы медленного средства, потому что оно требует трудного самообладания.

Первое быстрое средство — государственное банкротство. Рассуждать о его дозволительности или недозволительности мы не будем, потому что нет людей, формальным образом защищающих его. Зато очень часты в Западной Европе примеры, что государствами управляли люди, не заботившиеся на практике об отстранении отношений, из которых оно необходимо вытекало. Если долги растут среди обыкновенных обстоятельств или ход истории ведется так, что постоянно выказываются экстренные

обстоятельства, увеличивающие долг, правительство идет к банкротству. Но это, как мы сказали, дело практики, а не теории; исторической практике, а не экономической теории, принадлежит и отыскание средств к избежанию такой развязки.

Другое быстрое средство — установить нечто вроде всеобщей контрибуции для погашения долга. Милль довольно подробно занимается проектами такой развязки дела, доказывая несправедливость одного и непрактичность другого способа совершить ее. Первый способ состоит в том, чтобы раскладка долга была произведена исключительно по размеру имущества или доходов с имущества. Проценты английского долга простираются приблизительно до 30 000 000 фунтов. Доходы с имущества, принадлежащего английским собственникам, простираются до 300 000 000 фунтов. Таким образом, если бы парламент, поддерживаемый общественным мнением, пришел к требуемому убеждению, он определил бы, что государство устанавливает единовременный налог на все имущества, равняющийся $\frac{1}{10}$ всякой собственности¹⁶¹. Доля эта была бы передана государственным кредиторам. Прежние собственники ничего не потеряли бы от этого пожертвования, когда, по уплате государственного долга, были бы отменены взимавшиеся с них налоги в размере, равном тому доходу, какой получали они с части имущества, пошедшей на уплату долга. Напротив, они даже могли бы выиграть, потому что государство получило бы возможность отменить налогов на сумму больше той, какая требовалась уплатою процентов: взимание денег, шедших на уплату процентов, требовало значительного расхода, то есть дополнительных налогов, надобность в которых теперь также устранилась бы. Лицо, получающее ныне 10 000 фунтов доходу и платящее 1 000 фунтов налога на уплату процентов и 200 фунтов дополнительного налога на издержки по этому сбору, потеряло бы 1 000 фунтов дохода, зато было бы избавлено от налогов на 1 200 фунтов; значит, в сущности, выиграло бы 200 фунтов в чистом ежегодном своем доходе. Но Милль думает, что возложить уплату всего долга на имущество было бы несправедливо: часть уплаты следовало бы, по его мнению, возложить и на людей, не имеющих собственности, живущих со дня на день платою за труд. Он говорит, что ведь и эти люди очень многим обязаны труду предшествующих поколений, следовательно, получив от них многое, не должны быть совершенно избавлены и от обязанности принять на себя часть долга, оставленного прошедшим. Для нас такое заключение кажется не совсем логичным. Милль говорит: наследники прошедшего не одни люди, получившие материальное наследство; они только получили еще особенное наследство, кроме общего всем членам нации умственного и нравственного наследства. Так; но мы прибавляем: и долги, оставленные прошедшим, состоят не из одного материального долга, по которому

платятся денежные проценты. Если называть наследством техническое теоретическое знание, хорошие учреждения, хорошие обычаи и так далее, то следует признать нематериальным долгом предрассудки, общественные недостатки и тому подобные отрицательные факты, переданные нынешнему поколению предками. Тяжесть этого долга достаточно несут на себе и люди, не получавшие материального наследства. Итак, кто получил только нематериальное наследство, должен считаться сонаследником и долга также только нематериального. А материальный долг связан исключительно с материальным наследством. Поэтому нет ничего несправедливого в мысли, чтобы он был выплачен только из материального имущества.

Но Милль, как мы сказали, отвергает такой взгляд, и уплата долга единовременною раскладкою кажется ему справедливою лишь в том случае, если раскладка будет производиться и на людей, не владеющих имуществом. А в таком случае, по справедливому его замечанию, план уплаты рушится. Люди, живущие не доходом с имущества, не имеют средств уплатить той части капитала, потребовать которую пришлось бы с них. Они в состоянии платить только проценты, потому что имеют только доход, не имея капитала.

Мы сказали, что не находим надобностей искать этого второго невозможного способа уплаты, признавая справедливым первый способ, не представляющий физической невозможности. Но мы не полагаем, чтобы когда-нибудь осуществился и он. Его принятие требует такой твердой привычки к точным экономическим соображениям и такой настойчивости в общественном мнении, что гораздо раньше, нежели достигнет общество подобной высоты экономического знания и благоразумия, пересоздадутся все черты нынешнего быта учреждениями, для которых достаточно и гораздо меньшее усилие здравого экономического смысла; а еще гораздо раньше того погасятся государственные долги постепенным преобразованием бюджета. Однакоже прежде, чем будем мы говорить о постепенном погашении государственного долга, нам надобно сказать о третьем способе быстрой уплаты его.

Этот способ имеет и в теории, не только на практике, столь же многочисленных приверженцев, как банкротство имеет их только на практике. Он состоит в продаже государственного имущества¹⁶². Рутинные политико-экономы очень любят рекомендовать такое средство; к ним присоединяется на этот раз и Милль. Мы не станем говорить о том, что есть страны, в которых у государства уже не осталось значительной собственности, все продано или отдано в частные руки, так что жалкие остатки слишком ничтожны сравнительно с суммою государственного долга. Но если взять и такую страну, в которой еще сохранилась у государства собственность, превышающая долг, все-таки

нельзя согласиться на меру, о которой мы говорим. Мы не будем выставлять здесь соображений, основанных на преданности взгляду, не согласному с господствующею теориею. Приведем только два замечания, вытекающих из нее самой. Во-первых, быстрая продажа огромного количества государственной собственности уронила бы цену частной собственности, потрясла бы весь существующий хозяйственный быт, разорила бы одну половину и обеднила бы другую половину всех прежних владельцев недвижимой собственности; а при таком упадке цен и сама государственная собственность шла бы в продажу по цене слишком нерасчетливой для государства. Чтобы осязательнее был этот вывод, представим себе совершение подобного факта в маленькой сфере. Вообразим себе, что правительству принадлежит третья или четвертая часть всех домов какого-нибудь города и что оно вздумало в короткое время продать все эти дома. Каково отзовется эта мера на всех частных домовладельцах города? Те из них, дома которых были в залоге, совершенно разорятся: цена их имущества окажется недостаточной на уплату долга. Все другие домовладельцы увидят свои дома потерявшими более половины прежней цены. А правительство не получит за свои дома и третьей доли нормальной их цены.

Другое замечание состоит в том, что цена и рента земли быстро растет во всех цивилизованных странах, а с особенною быстротою растет в странах малонаселенных, в которых одних и сохраняются значительные массы государственной собственности. Наоборот, величина процентов по денежным долгам имеет тенденцию падать. Таким образом, продажа государственной собственности на выкуп государственного долга означала бы отказ от постоянно возрастающей статьи дохода для уничтожения постоянно уменьшающейся статьи расхода.

Таким образом, из трех быстрых средств к уничтожению долга два должны быть отвергаемы теориею, а третье требует такой энергии и распространенности здравых понятий, что нельзя надеяться на его успех в близком будущем, а с течением времени надобность в нем будет устранена реформами более существенными и, однакоже, более легкими. Остается рассмотреть медленный способ, принять который вовсе нетрудно, но трудно выдержать с продолжительным постоянством, которого он требует. Этот способ — знаменитая система погашения государственных долгов постепенным выкупом их облигаций на излишек, остающийся от обыкновенных доходов.

В государствах, [финансы которых управляются способом, подобным] французскому или австрийскому, не может быть серьезной речи об употреблении излишков дохода на выкуп долга, потому что, вместо излишков, обыкновенно там бывает дефицит, требующий новых займов. Но есть государства, пользующиеся более хорошим финансовым управлением. В них по-

стоянно образуется излишек доходов над расходами по общему экономическому закону, говорящему, что необходимые издержки на управление делом возрастают в меньшей пропорции, чем расширяется размер дела, то есть и доход от него. Благодаря экономическому прогрессу, возрастанию населения и богатства, общему Англии с другими передовыми странами, сумма, достаемая каждым существующим налогом; увеличивается в Англии довольно быстро, а издержки по делам, которыми продолжает правительство заниматься в прежнем размере, увеличиваются гораздо медленнее, благодаря отсутствию чрезмерной склонности к мотовству. Какое же употребление надобно давать излишку доходов, образуемому при этом благоразумном управлении? Употребление для него можно найти троякое: во-первых, он может быть обращен на улучшение таких отраслей жизни, которыми прежде не могло в надлежащей мере заниматься правительство по недостатку средств; во-вторых, этот излишек дает возможность постепенно отменять или уменьшать неудобнейшие или обременительнейшие из прежних налогов; в-третьих, наконец, можно обратить его на выкуп части государственного долга. Милль имеет в виду выбор только между вторым и третьим назначениями, забывая на этот раз о первом. Но вопрос о сравнительных преимуществах второго и третьего назначения он излагает очень верно.

Само по себе бесспорно то, что полезно сохранять излишек доходов для постепенного выкупа государственного долга. Но, — продолжает он, — не во всяких обстоятельствах хорошо оставлять излишек дохода на уплату долга. Например, для Англии выгода от уплаты национального долга — та, что она дала бы нам возможность избавиться от худшей половины наших нынешних налогов. Но в этой худшей половине, конечно, есть части, которые еще хуже других, и избавиться от них было бы, сравнительно говоря, полезнее, чем избавиться от остальных. Если, отказавшись от излишка дохода, мы могли бы обойтись без какого-нибудь налога, то мы должны считать, что именно тот из наших налогов, который хуже всех, сохраняется нами для того, чтобы, наконец, отменить налоги, не столь дурные, как он. В стране, богатство которой увеличивается и возрастание доходов дает возможность от времени до времени отбрасывать неудобнейшие части своей системы налогов, возрастанием дохода, по-моему, лучше пользоваться для отмены налогов, чем для ликвидации долга, пока остаются какие-нибудь очень дурные налоги. Потому я считаю при нынешнем положении Англии хорошим правительственным расчетом, при появлении излишка, кажущегося немолетным, отменять налоги, лишь бы налоги эти выбиравались верно. Да и когда остаются уже только такие налоги, которые годятся на сохранение в постоянной бюджетной системе, хорошо продолжать тот же образ действий опытами уменьшения этих налогов, пока найдется предел, на котором данная сумма дохода может получаться государством с наименьшим обременением для платящих.

Затем излишек доходов, могущий возникать из дальнейшего увеличения производительности этих налогов, не надобно уничтожать их уменьшением, а следует, мне кажется, обращать на выкуп долга ¹⁶³.

Сами англичане жалуются на отяготительность некоторых своих налогов. Но, по континентальному масштабу ¹⁶⁴, си-

стема их налогов уже не имеет частей, слишком противных общественному благосостоянию. При размере не слишком тяжелом налоги не слишком дурные дают им около 70 миллионов фунтов дохода. Нынешний расход простирается до такой же суммы; но значительная часть его происходит от временных обстоятельств, принуждающих Англию делать гораздо больше, чем она хотела бы, расходов на армию и флот¹⁶⁵. Эта необходимость не может быть продолжительна. Она развяжется или войною, за которою последует мир, или мирным устранением опасностей, возникающих для Англии от системы, которой следует нынешнее французское правительство и которая уже оказывается слишком тяжела для самой Франции. А когда минуют опасения войны с Франциею¹⁶⁶, уменьшение армии и флота до обыкновенных размеров оставит в английском казначействе излишек по крайней мере в 10 миллионов фунтов при сохранении нынешних налогов. Он постепенно стал бы увеличиваться по закону, о котором говорили мы выше. Но если предположить, что новое возрастание было бы употребляемо на облегчение прежних налогов и на дела улучшений и что достанет у английской нации терпения сохранять хотя первоначальный излишек в 10 миллионов фунтов на постепенное погашение государственного долга, каков был бы результат этой терпеливости при известном принципе погашения, по которому сумма, шедшая на проценты выкупленной части долга, обращается на усиление выкупных средств?

Все количество английского долга составляет теперь около 800 миллионов фунтов¹⁶⁷. Процентов по нем уплачивается около 28 милл. фунтов. Если, при таком отношении процентов к капиталу, будет с 1862 г. употребляемо на выкуп капитала ежегодное погашение в 10 миллионов, с прибавкою к нему процентов, сберегаемых постепенным выкупом, ход дела будет следующий (в тысячах фунтов):

Годы	Уплачено долга	Остается долга	По остающемуся долгу остается процентов	Тяжесть процентов уменьшилась на
1862	—	800 000	28 000	—
1872	117 310	682 690	23 894	4 106
1882	282 800	517 200	18 102	9 892
1892	516 230	283 770	9 932	18 068
1902	800 000	—	—	28 000

Из этой небольшой таблицы мы видим, что через 20 лет английский бюджет навсегда освободился бы от расхода, почти равного пожертвованию, делавшемуся на выкуп долга; через 30 лет это облегчение стало бы вдвое больше делавшегося пожертвования, а в 40 лет весь долг был бы уплачен и бюджет навсегда сократился бы почти вдвое.

Из этого мы видим, что английскому народу очень стоило бы проникнуться не очень значительным терпением, какое было

бы нужно для сохранения нынешних налогов, которыми, по устранению нынешних причин экстренного военного расхода, давался бы излишек в 10 миллионов фунтов на постепенное погашение государственного долга. Мы видим, что если бы Англия прониклась подобною энергиею терпения по окончании наполеоновских войн, то давно бы уже уплатила она весь свой долг и давно уже могла бы облегчить тяжесть своих налогов на целую половину обыкновенного размера, какой они имели до крымской войны¹⁶⁸ *.

Мы видим, что есть государства, уже настолько улучшившие свою систему налогов, что могли бы заняться образованием излишка доходов на погашение своего долга, если выбор находился только между обращением этого излишка на погашение долга или на уменьшение существующих налогов. Если бы круг соображений ограничивался только этими данными, как ограничивается он у Милля, мы должны были бы сказать, что, например, для Англии уже наступило время деятельно заняться выкупом своего долга. Но мы заметили, что существует для излишка доходов при подобном положении дел еще иное употребление — служить к улучшению тех отраслей национальной жизни, которыми не могло заняться правительство в прежнее время по недостатку средств. Конечно, подобное назначение государственных доходов отвергается тою школою политико-экономов, которая, по вопросу об отношениях правительства к обществу, исключительно предана заботе суживать круг действий правительства. При таком воззрении не может быть и речи о занятии правительства новыми делами, какими не занималось оно прежде. Но если мы будем рассматривать вопрос о сфере правительственных действий хладнокровно, не забывая из-за излишка правительственного вмешательства в одни дела о пользе, какую могло бы получить общество от усиления правительственной заботы в других вещах, мы найдем, что есть много дел, требующих увеличения государственного расхода на них. Чтобы не подавать здесь поводов к спору, который удобнее будет отложить до другого места, мы выберем примеры, против которых нельзя найти никаких сомнений. Хорошее отправление правосудия стоит очень дорого, и нет ни одной страны, в которой небогатые люди могли бы вполне пользоваться всеми его выгодами. Медицинские пособия также еще очень мало доступны массе населения в самых передовых странах. Конечно, правительственная забота о достав-

* К 1 января 1817 г. государственный долг Англии простирался до 840 миллионов фунтов¹⁶⁹, а процентов по нем платилось около 32 миллионов фунтов. При переходе от военного положения к мирному было около того времени отменено налогов на сумму около 40 миллионов фунтов. Если бы англичане удовольствовались несколько меньшим облегчением налогов, оставив излишек в 10 миллионов фунтов на погашение долга, то, при существовавшем тогда отношении процентов к капиталу, вся сумма английского долга была бы уплачена в 1855 году.

лении небогатым людям возможности пользоваться помощью хороших адвокатов и медиков была бы делом невинным. Можно найти десятки таких дел, в которых польза увеличения правительственной заботы признается и самыми крайними противниками правительственного вмешательства в общественную жизнь. Расходы на них очень долго могут поглощать весь излишек дохода, и для самой Англии значительно отдалается этим срок, когда не останется правительству ничего лучшего, кроме забот о погашении государственного долга.

Но сильнее всего мешает рекомендовать сильные меры к его выкупу то обстоятельство, что расходование национальных средств на выкуп долга в течение известного периода едва ли поведет, при нынешнем состоянии общественного мнения, к чему-нибудь другому, кроме открытия более широкого поля для национальной и преимущественно военной расточительности в следующий период. Общество и в передовых странах еще так нерасчетливо, что удерживается от безрассудств не столько соображением о их вреде, сколько физическою невозможностью продолжать их. Возьмем в пример даже Англию, население которой самое рассудительное из населений всех великих держав. В последние десять лет много раз общественное мнение в Англии увлекалось раздражением против косвенных угроз и мелких оскорблений, которым подвергалась Англия от французского правительства. Не будь у англичан государственного долга, не будь их бюджет обременен процентами его, они стали бы тратить на свои вооружения вдвое больше денег и во сто раз скорее решились бы на войну с Францией. Народы самые цивилизованные еще похожи на тех нерасчетливых юношей, которые воздерживаются от большого мотовства только невозможностью доставать больше денег. Есть такие люди, что уплачивайте вы хоть каждый год наделанные ими долги, они не замедлят каждый год снова увязать по уши в долгах. Конечно, положение таких людей очень стеснено долгами, но прежде, чем помогать им в этом отношении, надобно внушить им благоразумные мысли, без которых ничто им не пособит.

По вопросу о государственном долге история заставляет нас думать таким образом: те западные государства, которые обременены значительными долгами, обязаны возникновением этих долгов не какой-нибудь действительной надобности и не каким-нибудь несчастьем, постигавшим их независимо от их воли, а только своему расточительному тщеславию. Например, английский долг возник от войн с Людовиком XIV, в которых Англия могла бы не принимать никакого участия, если бы думала только о своей безопасности и выгоде. Увеличился он от участия Англии в семилетней войне, до которой собственно не было англичанам никакого дела, и потом от войны с северо-американскими колониями, которую англичане возбудили только своим тщесла-

вием. По окончании войны с северо-американскими колониями английский долг простирался до 250 миллионов фунтов; из них целая половина была занята для северо-американской войны, из прежней половины опять почти целая половина была занята для семилетней войны, перед которою Англия имела 75 миллионов долга. Как произошли эти 75 миллионов долга — можно увидеть из одной цифры: война за наследство испанского престола стоила англичанам 69 миллионов фунтов стерлингов. Повторяем, что ни в одной из этих войн не было прямой надобности участвовать англичанам. После того было занято еще 600 миллионов на войны с Франциею при республике и первой империи, и теперь все говорят, что Англии также не было надобности вести эти войны¹⁷⁰. В периоды мира Англия иногда старалась уменьшать сделанный долг. Так, в промежуток между семилетнею и северо-американскою войнами было ею уплачено около 10 миллионов долга; в промежуток от северо-американской войны до начала войн против французской революции также было уплачено около 10 миллионов фунтов¹⁷¹. Но результаты этих усилий совершенно исчезали от следовавших за ними безрассудных войн. История английского долга может служить образцом истории государственных долгов вообще. Пока народ остается подвержен таким безрассудствам, какими сочинила себе долг Англия, напрасно рассуждать о том, как этому народу избавиться от сделанного долга. Следует на первый раз радоваться уже и тому, когда является надежда, что он устоит в решимости не делать новых безрассудств, от которых вновь увеличился бы его долг. Англия теперь как будто подает такую надежду. Впрочем, надобно сказать и то, что со времени первой империи еще не было всеобщих войн на континенте Западной Европы, то есть не было повода слишком сильно искушаться благоразумию Англии. Если она выдержит характер еще несколько десятков лет, тогда можно будет сказать, что выкуп прежнего долга не поведет ее к заключению новых долгов. А теперь это еще сомнительно. Но есть государства, как, например, Франция, для которых великим успехом было бы уже и то, когда бы можно было иметь хотя сомнение в их тенденции увеличивать свой долг без всякой надобности¹⁷².

Всякий заметит, что и о государственном долге и о различных других вопросах по государственному бюджету мы говорили вовсе не таким тоном, в каком излагается наш взгляд на большую часть вопросов экономической науки. Мы не приходили в этих случаях ни к какому непреклонному решению, даже не предлагали мнений, резко отличающихся от обыкновенной практики. Напротив, слова наши отзывались как будто бы консерватизмом: «конечно, тут есть своего рода неудобства, но трудно устранить их и нельзя предложить верного способа к их отстранению», — вот что говорили мы в сущности о каждом таком

предмете, которого не порицают решительным образом самые рутинные политико-экономы.

Этот видимый консерватизм объясняется очень просто. Мы должны были говорить о разрешении представляемых нынешним бытом затруднений по принципам того же самого быта. Мы должны были предполагать данное устройство, из которого возникает бюджет с обыкновенными своими качествами, и при котором очень трудно народу воздерживаться от соблазнов тщеславного мотовства, и должны были рассуждать, как отстранить те или другие результаты подобного порядка без изменения его оснований. Но рассуждая таким способом, невозможно, по нашему мнению, найти верного выхода из существующих затруднений.

[Дело совершенно иного рода, если мы захотим вспомнить, каким изменениям подвергнется от экономического прогресса существующий быт. Если читатель ясно представляет себе результаты этих перемен, он видит, что ими устраняются и самые вопросы, о которых мы до сих пор говорили. Как сделать, чтобы хинин не имел горького вкуса? Эта задача очень затруднительная, и едва ли можно решить ее удовлетворительным образом. Но если человек будет вести известный образ жизни, то не представится ему надобности много хлопотать о вкусе хинина. Мы видим, что экономическая расчетливость возрастает в обществе. Мы видим, что масса населения постепенно проникается сознанием прекрасного принципа господствующей теории: «Дела каждого могут идти удовлетворительно для него лишь тогда, когда он сам хозяин своих дел». Читатель знает, что принятие этого принципа ведет к устройству, вовсе не похожему на то, при котором существуют в значительном размере и могут возникать значительные государственные долги].

D. ГРАНИЦЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДА

(Гл. XI)

Рассмотрев вопрос о средствах, которыми правительство получает доходы на покрытие издержек по исполнению своих обязанностей, Милль разбирает важнейшие для экономического быта отрасли тех обязанностей или действий правительства, которые называются у него необходимыми, то есть тех, исполнением которых всегда во всех странах занималось каждое правительство и которые никогда не оспаривались у него никакою теориею. Многие из этих предметов имеют очень сильное влияние на экономический быт; например, законы о наследстве и вообще гражданские законы; законы о договорах и вообще коммерческие законы. Милль рассматривает их довольно подробно.

Но мы не будем представлять здесь извлечения из этих его глав, потому что разбираемые в них вопросы, при всей своей важности, относятся только к подробностям экономического устройства, а наши очерки занимаются изложением только самых общих принципов его. Мы перейдем прямо к последнему отделу V книги, определяющему границы между правительственным вмешательством и совершенно независимым от него частною деятельностью. Спор об этом предмете занимает самое видное место в полемике континентальных последователей экономической рутины против прогрессивной школы. Читателю известно, что французские политико-экономы господствующей школы выставляют верховным принципом науки знаменитое правило — *laissez faire*, обозначающее на их языке, что правительство не должно ни под каким видом вмешиваться ни в какую частную экономическую деятельность. От французов заимствовались этим понятием последователи смитовской теории в других странах.

Зародыш наклонности к безусловному отрицанию правительственного контроля над экономическими делами лежал в самом характере учения, изложенного Адамом Смитом: он обращал все свое внимание на индивидуальную деятельность, заслонявшую от его взгляда другой неизбежный элемент экономической жизни, коллективную деятельность, одною из форм которой служит при нынешнем быте правительственное вмешательство. Но в системе Адама Смита непризнание коллективной деятельности не составляло важной черты. На первый план оно выдвинулось во Франции под влиянием двух обстоятельств. Английское правительство уже и во времена Адама Смита мало чем, кроме протекционизма, грешило против свободы частной экономической деятельности. А на континенте, и между прочим во Франции, оставалось гораздо больше случаев невыгодного правительственного вмешательства, которое регламентировало там и внутреннюю промышленность. Видя вокруг себя множество неудобств и стеснений от напрасного регламентирования, французские политико-экономы прониклись безусловною враждою к правительственному вмешательству. А тут с другой стороны явились социальные теории, не разделявшие восхищение результатами исключительно индивидуальной деятельности. Из этих теорий первая наделала большого шума доктрина сен-симонистов, превозносивших пользу авторитета¹⁷³. Вообразив, что сен-симонистское поклонение авторитету сходно с средневековым учением о патриархальном и опекунствующем правительстве, французские политико-экономы получили наклонность видеть такое же пристрастие к опекунствующему управлению и в последующих теориях, имевших родство с сен-симонизмом. Они до сих пор думают, что социалисты очень любят административную регламентацию; а социалисты могут не ныне — завтра захватить власть во Франции, и в 1848 году были близки к тому (если не

на самом деле, то по мнению толпы)¹⁷⁴. Запуганные этим фантомом регламентации, политико-экономы господствующей школы окончательно вооружились против всяких мыслей, которые казались им ведущими к принятию такой вредной замашки.

Но в Англии нет практического опасения, что на-днях может произойти переворот, отдающий власть в руки каких-нибудь коммунистов; нет в Англии и раздражения от склонности существующего правительства регламентировать экономическую жизнь; потому Милль очень хладнокровно рассуждает о предмете, при одном имени которого выходят из себя французские политико-экономы. [Раздраженные мысли этих политико-экономов беспрестанно повторяются у нас журналами и писателями, не понимающими разницы между нашим и французским бытом. Русский читатель ежедневно слышит тирады, отзывающиеся ненавистью к теориям, вовсе не столь страшным для нас, как для народов, утративших общинное землевладение. Потому мы думаем, что не бесполезно будет привести здесь почти вполне главу Милля о правительственном вмешательстве, чтобы читатель видел,] что может человек говорить об этом деле спокойно и беспристрастно, не будучи ни невеждою в политической экономии, ни другом опекуновствующей регламентации, ни врагом индивидуальной свободы.

Трактат свой о границах правительственного вмешательства Милль начинает следующими общими замечаниями:

Нет предмета, о котором велись бы в нашем веке такие жаркие споры, как об этом; но они велись главным образом только о некоторых частных сторонах, лишь с беглыми замечками об общем принципе. Разумеется, люди, разбиравшие какой-нибудь частный случай правительственного вмешательства, например, учреждение светских или духовных школ от правительства, регламентацию часов работы, содержание бедных на счет общества и т. д., часто и подробно доказывали свой взгляд общими соображениями, обнимающими гораздо больше, чем один этот частный вопрос, и обнаруживали довольно сильное предпочтение к принципу вмешательства или к принципу невмешательства; но редко у них высказывалось и, повидимому, редко было решено даже в их мыслях, до какой степени они хотят применять к практике предпочитаемый принцип. Защитники вмешательства довольствовались доказыванием, что правительство вообще имеет право и обязанность вмешательства во все дела, в которых его участие будет полезно; а когда школа так называемого принципа *laissez faire* пыталась в точности определить круг правительственного действия, она обыкновенно ограничивала его охранением личности и имущества от обмана и насилия, — определение, которого не станет ни сама она, никто другой держаться, если вникнет в него, потому что под него, как мы показали, не подходят некоторые из неизбежнейших обязанностей правительства, предоставляемых ему всеми единодушно.

Я не скажу, что совершенно восполно недостаток общей теории по предмету, не допускающему, как мне кажется, всеобщего решения; но я попытаюсь представить хотя некоторые материалы для решения вопросов, возникающих при рассмотрении выгод и невыгод или вреда от правительственного вмешательства с самой общей точки зрения.

Мы должны начать различием двух видов правительственного вмешательства, которые могут относиться и к одному делу, но очень различны по своей сущности и последствиям и для оправдания которых нужны побуж-

дения далеко не одинаковой силы. Правительство может запрещать всем делать то или другое или делать без его дозволения; оно может также предписывать людям делать то или другое или делать или не делать известным способом то, что оставляет на их волю делать или не делать. Но иное дело, когда правительство, вместо того, чтобы приказывать под страхом наказаний, обращается к способу действий, который принимается правительствами так редко и которым можно бы пользоваться с такою выгодой, — когда оно дает советы и обнаруживает сведения, или когда, оставляя частным лицам идти к известной общепользительной цели частными их силами, не вступаясь в их действия, но не веря дело исключительно их заботе, оно рядом с частными учреждениями устраивает собственное учреждение для той же цели. Так, например, содержать официальную англиканскую церковь — одно дело; а отказывать в терпимости другим исповеданиям или людям, не держащимся никакого исповедания, — другое дело. Национальный банк или правительственная фабрика может существовать без всякой монополии против частных банков и фабрик. Почта может существовать без штрафов против пересылки писем другими способами. Правительство может содержать штат гражданских инженеров, оставляя каждому свободу становиться частным инженером. Правительственные госпитали могут существовать без всякого стеснения медицинской или хирургической практики.

С первого же взгляда очевидно, что круг полезного действия для первой формы правительственного вмешательства гораздо ограниченнее, чем для последней. Для своего оправдания она всегда требует гораздо сильнейшей необходимости; а есть в человеческой жизни обширные области, из которых она бывает безусловно исключена. Какую бы теорию ни приняли мы относительно оснований общественного союза, и под какими бы политическими учреждениями мы ни жили, всегда есть около каждого частного человека круг, которого не может переступить никакое правительственное вмешательство ни монархическое, ни аристократическое, ни демократическое; есть в жизни каждого взрослого человека часть, в которой должна царствовать личность этого человека, без всякого, чьего бы то ни было, частного или общественного контроля. Никто, хотя сколько-нибудь признающий свободу или достоинство человека, не станет спорить, что есть или должно быть в человеческом существовании пространство, огражденное от постороннего вторжения и не доступное ему; вопрос лишь о том, где поставить границу этого пространства, как велика в человеческой жизни область, которая должна находиться в этой недоступной другим территории. Мне кажется, что она должна обнимать всю ту часть внутренней и внешней жизни человека, которая касается только самого этого человека, не затрагивая интересы других или затрагивая их лишь через нравственное влияние примера.

Даже в тех частях жизни, которые касаются интересов других, защитники юридических запрещений должны относительно каждого случая представить особенные доводы, что запрещение тут полезно. Одна возможность вреда для других от свободы человека в известном деле еще не оправдывает вмешательства закона. Кроме безусловной необходимости, ничто не оправдывает запретительной регламентации, если она не одобряется и общим сознанием, если обыкновенные честные люди не думают или не могут быть склонены думать, что запрещаемое дело — такое дело, которое не хорошо для них совершать. Если этого нет, нужна для запрещения полнейшая необходимость, а одною полезностью оно еще не оправдывается.

Иное дело то правительственное вмешательство, которое не стесняет личной свободы человека. Нет никакого нарушения свободы, нет ни обременительного, ни унижительного стеснения, если правительство приговаривает средства к достижению известной цели, оставляя частному лицу свободу пользоваться к тому другими средствами, какие кажутся ему лучшими. Тогда тут нет одного из главных неудобств правительственного вмешательства. Но все-таки почти во всех формах правительственного действия есть принудительная сторона — получение денежных средств. Они доставляются налогом; или, если предпочитается форма отдачи на известное дело

части доходов с общественного имущества, налог все-таки увеличивается настолько, насколько иначе заменялся бы продажей или доходом этого имущества *. А неудобство, необходимо принадлежащее принудительному взиманию денег, почти всегда значительно увеличивается убыточными предосторожностями и обременительными стеснениями, необходимыми, чтобы предотвратить уклонения от платежа налога.

Другое возражение против правительственного вмешательства основывается на принципе разделения труда. Всякая новая обязанность, принимаемая правительством, составляет новое занятие для учреждения, уже и без того слишком обремененного обязанностями. Естественный результат этого тот, что многое исполняется неудовлетворительно; многие вещи вовсе не исполняются, потому что правительство не может вести их без промедлений, губительных для дела; более хлопотливые и менее блестящие из принятых обязанностей отлагаются или пренебрегаются; и пренебрежение всегда извиняется готовым предлогом; мысли главных администраторов всегда так наполнены официальными подробностями дел, как бы поверхностно ни занимались они ими, что не остается у них ни времени, ни свободы мыслей для великих государственных интересов и для приготовления широких мер к общественному улучшению.

Эти неудобства действительны и серьезны; но происходят они не столько от обширности или разнообразия обязанностей, принимаемых на себя правительством, сколько от дурной организации правительства. Правительство не значит один сановник или известное число сановников: количество соучастников в нем может увеличиваться по надобности, и между самими чиновниками разделение труда может быть развиваемо почти безгранично до того, что легко будет справиться с делами в такой стране, где обязанности как следует распределены между центральными и местными правительственными учреждениями и где центральное правительство разделено на достаточное число отраслей. Когда парламент почел нужным поручить английскому правительству надзор за железными дорогами и отчасти ревизовку их дел, он не прибавил этого дела к занятиям министра внутренних дел, а учредил особенную комиссию железных дорог. Когда он решил поручить центральной власти власть контроля над исполнением закона о пособиях бедным, он учредил для этого также особенную комиссию (Poor Law Commission). Мало стран, в которых на правительственных агентах лежало бы так много обязанностей, как в некоторых штатах Американского Союза, особенно в штатах Новой Англии; но разделение труда в общественных делах там чрезвычайно развито: почти все эти агенты даже и не имеют над собой общих начальников, а исполняют свои обязанности независимо под двойным контролем: выбора своими согражданами и ответственности перед гражданским и уголовным судом.

Конечно, необходимое условие хорошего управления — чтобы главные правители, будут ли они постоянными или временными, все равно, имели господствующий, но только общий надзор за общим ходом всех интересов, в большей или меньшей степени вверенных ответственности центральной власти. Но если внутренняя организация административного механизма устроена искусно, предоставляет подчиненным и по возможности местным подчиненным не только исполнение, но в значительной степени и контроль подробностей; требует у них отчета собственно за результаты их действий, а не самые действия, кроме того случая, когда сами действия подлежат

* Единственными случаями, в которых правительственное действие не имеет ничего принудительного, — те редкие случаи, в которых расходы на дело покрываются им самим, без всякой искусственной монополии. Пример тому — мост, построенный государством, если пошлина за проезд и проход по мосту достаточна на покрытие текущих издержек и процентов первоначального расхода. Другой пример — правительственные железные дороги в Бельгии и Германии. Почта была бы третьим примером, если бы по отмене ее монополии доходом с нее продолжали покрываться ее расходы.

суду; если приняты все наилучшие меры для обеспечения, чтобы назначались люди честные и способные; если открыта широкая дорога повышению с низших ступеней административной лестницы на высшие; если с каждой высшею ступенью предоставляется чиновнику все больше простора принимать новые меры, не дожидаясь приказаний, так что мысли каждого из главных правителей могут быть сосредоточены на великих общественных интересах страны по его части; если устроено так, правительство наверное не будет чрезмерно обременено количеством дел, какое бы количество дел ни оказалось полезно возлагать на него; но излишнее обременение останется серьезным новым неудобством в прибавок к другим неудобствам.

Улучшением правительственной организации сильно уменьшается затруднительность, происходящая от простого размножения правительственных обязанностей; но все-таки правда — то, что в обществах, значительно развитых, огромное большинство дел исполняется правительственным участием хуже того, чем исполнялось бы трудом или надзором частных лиц, прямо заинтересованных в деле, при оставлении дела на их долю. Основания этой истины довольно точно выражаются обыкновенною фразой, что каждый знает свои дела и свои интересы лучше всех и заботится о себе больше всех. Например, в обыкновенных промышленных и торговых операциях правительственная деятельность почти никогда не может выдержать соперничества с частными промышленниками и купцами, где у частных людей есть нужная степень промышленной предприимчивости и запас всех необходимых средств. Нет нужды, что правительству удобнее получать самые полные сведения, что у него есть средства вознаграждать, то есть и приобретать самые лучшие таланты, какие можно найти, — всем этим не вознаграждается та великая невыгода, что оно меньше частного предпринимателя заинтересовано результатом дела.

[Не забудем также, что если бы правительство и превосходило умом и знанием каждого отдельного человека в нации, оно все-таки непременно ниже всех частных людей целой нации. По каждому делу само иметь и взять на службу себе оно может лишь только часть знаний и способностей, пригодных для этого дела в целой нации. Если правительство даже станет выбирать людей для своей службы единственно по их пригодности к делу, все-таки останется много людей, способных к делу не меньше тех, которые выбраны правительством. А система частной деятельности по обыкновенному ходу вещей стремится передать дело именно в руки этих людей, потому что они лучше и дешевле других могут исполнять его. С этой стороны вопроса очевидно, что правительство, уменьшая или вовсе прекращая частную деятельность, или заменяет лучших деятелей менее хорошими, или, если даже нет этого, заменяет одним своим способом все разнообразные способы исполнения дела, какие были бы испытаны множеством не менее способных лиц, имеющих ту же цель, то есть заменяет однообразием соперничества, несравненно благоприятнейшее прогрессу улучшений.

Я оставил под самый конец один из сильнейших доводов против расширения правительственной деятельности. Если бы правительство даже и могло совмещать в себе по каждому роду дел все замечательнейшие умственные силы и практические таланты всей нации, все-таки лучше было бы оставить значительнейшую часть общественных дел в руках лиц, прямо заинтересованных ими].

Деловая жизнь — существенный элемент практического воспитания народа; без нее книжное и школьное образование, хотя оно чрезвычайно нужно, еще не дает людям нужных для жизни качеств и умения приспособлять средства к цели. Научное образование — лишь одно из двух условий умственного развития; другое условие — почти столь же необходимое — здоровая практика для силы деятельности, для труда, находчивости, рассудительности, самообладания; а естественным возбуждением к тому служат житейские трудности. Этот взгляд не надобно смешивать с консервативным оптимизмом, который бедствия жизни выставляет вещами хорошими, потому что ими развиваются качества, нужные для борьбы с ними.

Качества, нужные для борьбы с тяжелыми обстоятельствами, получают свою ценность лишь потому, что существуют эти обстоятельства. С практической стороны дело человека — по возможности освобождать жизнь от трудных обстоятельств, а не то, чтобы сбергать запас их, как охотники сберегают дичь для упражнения в охоте за нею. Но какие бы благоприятные обстоятельства ни предположить, в действительных способностях и в практической рассудительности по житейским делам надобность может только уменьшиться, а не устраниться; потому нужно, чтобы эти качества развивались не в одних лишь немногих избранных, а во всех людях; а для их развития нужно такое разнообразие и полнота практики, каких почти никто не может встретить в тесном кругу своих чисто личных интересов. У народа, привыкшего ждать от правительства возбуждений во всех общественных делах, ожидающего, что правительство станет делать за него все, выходящее из круга привычки и рутины, — у такого народа способности развиваются лишь наполовину; в его воспитании недостает одной из главнейших сторон.

[Мало того, что воспитание практических способностей заботами о делах, распространенными по всему обществу, само по себе — одно из драгоценнейших национальных имуществ: оно становится еще нужнее, когда высокая степень этого необходимого развития систематически поддерживается в государственных сановниках и агентах. Нет сочетания обстоятельств, более опасного человеческому благосостоянию, как то, когда ум и способность сохраняются на высоком уровне в управляющем сословии, а вне его круга гложут и подавляют. Такая система самым полнейшим образом воплощает идею деспотизма, вооружая людей, уже имеющих юридическую власть, еще и умственным превосходством, как прибавочным оружием. Тут, насколько допускается органическим различием между человеком и другими животными, дело подходит к управлению баранов пастухом, но нет тут такого сильного интереса в благосостоянии стада, какое есть у пастуха. Единственная гарантия против политического рабства — контроль над правителями, обусловливаемый развитием умственных сил, энергии и общественного духа между управляемыми. Опыт показывает, что чрезвычайно трудно держаться прочным образом этим качествам на уровне довольно высоком; трудность эта возрастает по мере того, как прогрессом цивилизации и безопасности устраняются друг за другом бедствия, затруднения и опасности, против которых единственное оружие отдельный человек имел прежде всего только в своих личных силах, искусстве и мужестве. Потому чрезвычайно важно, чтобы всем классам общества, до самого низшего, надобно было много делать самим для себя; чтобы была им надобность во всех тех силах ума и характера, какие только могут иметь они, чтобы правительство как можно больше предоставляло собственным способностям каждого человека ведение всех дел, касающихся лично его, — и, мало того, чтобы оно пускало, или, лучше сказать, возбуждало людей как можно больше дел их вести добровольным сотрудничеством. Сопоставления об общих интересах и управление ими — великая школа того общественного духа и великий источник того знакомства с национальными делами, которые всегда считались отличительным признаком общества свободных стран.

Демократическая конституция, не поддерживаемая демократическими учреждениями во всех отраслях жизни, а ограничивающаяся демократическим устройством центральной власти, еще не дает политической свободы, — напротив, часто создает противоположный ей дух, распространяя до низших ступеней общества желание политического господства. В одних странах народ желает того, чтобы его не притесняли, а в других он желает просто того, чтобы каждый имел одинаковые шансы стать притеснителем. К несчастью, это второе желание столь же естественно человеку, как и первое, и в известные эпохи оно встречается гораздо чаще первого даже в цивилизованных обществах. По мере того, как люди привыкают не предоставлять забот о своих делах правительству, а вести их собственною деятельностью, желание притеснять других заменяется в людях желанием не допускать притеснения; если же находится у правительства вся действительная инициатива и на-

правление дел, и частные лица имеют привычку думать и действовать как бы под вечною его опекою, демократические учреждения развивают в людях не желание свободы, а необузданную алчность к должностям и власти, отвращая мысли и деятельность страны от главного ее дела к дрянному соперничеству за корыстные расчеты и мелкую официальную суетность.

Мы изложили важнейшие из общих оснований того принципа, что вмешательство общественной власти в дела общества должно ограничиваться как можно более тесным кругом; и едва ли кто не согласится, что этих доводов слишком достаточно, чтобы по каждому данному вопросу надобно было оправдывать свое мнение сильными доводами не тем, которые не желают, а тем, которые желают правительственного вмешательства в какое-нибудь дело, словом сказать, *laissez faire* должно быть общим правилом, а каждое отступление от этого правила наверное вредно, если не вынуждается какою-нибудь великою пользою]¹⁷⁵.

[У нас нет ни малейшей охоты оспаривать хотя бы одну какую-нибудь фразу из всего длинного отрывка, приведенного нами. Мы совершенно признаем основательность соображений, которыми доказывает Милль, что надобно желать возможного ограничения правительственных вмешательств в экономическую жизнь и] к немалому удивлению людей, верящих полемическим фразам наших обличителей о нашей зараженности регламентационными наклонностями¹⁷⁶, мы скажем, что вполне принимаем общий вывод Милля: [невмешательство должно быть общим правилом, а вмешательство только исключением. Сказать по правде, мы даже идем гораздо дальше Милля и в общих соображениях, ограничивающих сферу вмешательства, и в выводе из них. Относительно вывода речь у нас будет впереди; а что касается соображений, говорящих о надобности ограничивать вмешательство случаями крайней необходимости, мы готовы сейчас же прибавить новые аргументы к тем, которые целиком принимаем от Милля; и, если не ошибаемся, наши доводы имеют объем, гораздо более обширный, чем соображения Милля.

Коренною нормою вопроса о правительственном вмешательстве в экономическую жизнь мы ставим основной принцип экономической науки: не надобно делать ничего лишнего, потому что расходование сил на всякое лишнее дело или всякую лишнюю часть дела составляет напрасную растрату, от которой уменьшаются средства для деятельности нужной и полезной. Если одна лошадь хорошо повезет телегу с известным грузом, то не надобно припрягать к ней другую лошадь. Если известная вещь стоит два рубля, то не надобно давать за нее трех. Если человек может хорошо идти без посторонней поддержки, то не надобно подсовывать ему ненужную руку помощи. По этому общему правилу не должно и правительство заниматься такими делами, которые хорошо идут без его содействия или контроля].

Но приняв такой принцип, мы возлагаем на себя обязанность внимательно рассматривать каждый представляющийся случай и отнимаем у себя право решать дела голословными фразами какого бы то ни было рода, в пользу ли вмешательства или про-

тив него. Возьмем не то что денежные отношения между людьми, посторонними друг другу, а интимную часть отношений между людьми самыми близкими, — например, мужа и жены или родителей и детей. Мы самым энергическим образом утверждаем, что эти отношения должны быть до высочайшей степени неприкосновенны никакому постороннему вмешательству. Прекрасно; но положим, что вы, посторонний человек, входите в комнату и видите мужчину, который таскает за волосы женщину. По всей вероятности, вы не сочтете преступлением укротить этого мужчину. Если вы не частный человек, а официальное лицо, от этого не уменьшается ваша обязанность прекратить побои. Кроме драки, существует множество других обстоятельств, в которых ваше вмешательство будет совершенно основательно. Потому во всех государствах признается за правительством право вмешиваться даже в семейную жизнь. Разумеется, вмешательство должно тут ограничиваться случаями крайней необходимости.

[Имеет ли кто-нибудь право назвать нас регламентаторами, если мы скажем, что дозволительно правительству вмешиваться в экономические дела между посторонними людьми настолько же, насколько не больше, насколько допускается это право относительно семейной жизни? А большего мы не требуем и готовы спорить против того, кто потребовал бы большего].

Но будучи столь умеренны в принципе, мы зато хотим, чтобы смотрели на эти вещи серьезно. Если муж обращается с женою жестоко, закон дает жене право отделиться от мужа; если ей нужна правительственная помощь, чтобы воспользоваться этим правом, оно посылает официальных защитников. Если дети слишком сильно страдают от родителей, правительство берет на себя заботу о воспитании детей и управлении их имуществом. Видите ли, как серьезно вмешивается оно в эту интимную сферу, когда нужно? Оно коренным образом изменяет существовавшие отношения, если требует того польза людей.

Конечно, оно делает это только в случаях необходимости. Но ведь мы с того и начали, что не нужно делать вещей, без которых можно обойтись. Только не надобно забывать одного важного обстоятельства: смотря по различию ролей, играемых различными лицами в известном деле, бывают различны и мнения их о надобности или ненадобности постороннего вмешательства в дело. Если, например, пьяный муж бьет жену, то, по всей вероятности, ему кажется не нужным чье бы то ни было вмешательство для защиты жены. Если отец проигрывает в карты имущество детей, то, вероятно, не считает он нужным, чтобы лишали его управления этим имуществом. Останавливается ли закон протестациями этих людей?

Известное экономическое отношение хорошо для одних, тяжело для других. Если первые говорят, что правительству не нужно вмешиваться в это дело, их мнение еще ничего не доказывает.

Если же коренной принцип, выставляющий невмешательство общим правилом, еще недостаточен для решения частных случаев действительной жизни, то еще меньше могут уничтожать надобность в серьезном рассмотрении каждого данного случая частные замечания, которые приводятся Миллем. Например: деньги для правительственного вмешательства доставляются налогом; из этого, конечно, следует, что необходима бережливость. Но что же из этого-то следует? Правительство не должно тратить денег на такие дела экономического вмешательства, которые не стоят требуемого ими расхода. Конечно, так; но и вообще на всякие другие дела [правительство не должно] тратить денег, если цель не стоит расходов. Из факта, что деньги получают правительством через налог, выводится только общее правило о бережливости во всех делах, а не какое-нибудь особенное заключение о правительственном вмешательстве в экономические дела.

Далее Милль говорит о надобности развивать самобытную и оригинальную жизнь в отдельных людях. Это превосходно. Но самобытность и оригинальность, подобно здоровью, образованию и всяким другим хорошим качествам, требуют известных средств; и если правительственное вмешательство направляется к обеспечению этих средств отдельному человеку, оно содействует развитию самостоятельности в нем.

Экономические дела в руках правительства (продолжает Милль) вообще идут хуже, чем дела частных лиц. Он приписывает это действию принципа разделения труда. Но насколько зависит от этого принципа указываемая им невыгода, она может быть устранена, как замечает и сам он. Обыкновенно говорят также о недостатке личной заинтересованности правительственных агентов в успехе дела. Но это обстоятельство подходит под общий вопрос о сравнительных невыгодах большого и малого хозяйства: при нынешнем порядке в каждом большом предприятии частного человека управители и работники так же не заинтересованы успехом предприятия, как и в правительственном предприятии; между тем большое хозяйство все-таки имеет огромное экономическое преимущество перед малым предприятием. Из этого следует, что, если правительственные предприятия идут хуже частных, причина разницы находится не в сущности отношений, а в каких-нибудь случайных недостатках, которые могут быть устранены. Вопрос о правительственном ведении экономических дел, сообразном с принципами науки, — вопрос новый, и немудрено, что еще не приобретено достаточно опытности для хорошего практического его решения. Это тем натуральнее, что в прежние времена государственное хозяйство велось на основаниях совершенно ошибочных, отделаться от которых трудно. [Но во всех тех случаях, когда правительственное ведение экономических предприятий устроивается сообразно экономическим принципам, оно дает

хорошие экономические результаты. В пример можно указать на администрацию государственных железных дорог в Бельгии. Мы думаем, что мнение о неспособности правительства удовлетворительно вести экономические дела основано главным образом на впечатлении, производимом теми бесчисленными случаями, когда дела эти устроивались по ошибочным принципам, при которых и частные предприятия идут так же дурно. Но если частный человек заводит предприятие с нарушением здравых экономических понятий и его предприятие падает, эта частная неудача остается незамеченной по своей ничтожности, между тем как каждая неудача правительственного предприятия служит предметом всеобщего внимания. «Но отчего же правительственные предприятия вообще не выдерживают соперничества с частными при свободе соперничества?» Между прочим вот отчего. Возьмем оружейное дело. Частных оружейных фабрик существует множество. На одних дела идут хорошо; эти фабрики расширяются и захватывают рынок. Другие фабрики, на которых дела идут плохо, подвергаются банкротству и уничтожаются; затраченный на них капитал погибает. Но если фабрикант А потерял 100 тысяч рублей, фабрикант В, ведущий свои дела хорошо, нисколько не потерял от неудачи своего соперника. Напротив, правительственная фабрикация имеет общий счет по оборотам всех своих распорядителей, и если у одного из них дела идут так же успешно, как у фабриканта В, то из выгод, доставляемых его операциями, должны покрываться убытки, нанесенные делу другим распорядителем, подобно фабриканту А. Поэтому, если результат правительственной фабрикации оказывается менее успешен, чем обороты частных фабрикантов, пользующихся успехом, не следует еще заключать о меньшей успешности правительственной фабрикации: ее надобно сравнивать не с делами одних фабрикантов, пользующихся успехом, как сравнивают обыкновенно, а с общемою суммою дел всех частных фабрикантов — и пользующихся успехом, и разоряющихся. Такого сравнения еще никто не делал, и мы до сих пор не имеем данных, чтобы основательно решить вопрос, в какой фабрикации меньше бывает напрасных растрат, в частной (если брать всю сумму ее предприятий) или в правительственной (когда администрация устроивается с надлежащею внимательностью).

«Класс правительственных агентов соединяет в себе только часть знаний и способностей, существующих в целом обществе», говорит Милль. Конечно, так; но ведь и дела, управляемые этими агентами, составляют только часть дел, производящихся в обществе. Для знаний и талантов, принадлежащих лицам, остающимся частными людьми, остаются частные дела. Мы не видим, каким же образом тут для общества уменьшается польза, приносимая талантами и знаниями. — «Многоразличие способов производства полезнее для экономического прогресса, чем одно-

образии». Конечно, так; но ведь эта выгода отнимается только в том случае, когда правительство присвоивает себе монополию; если же оно оставляет свободу соперничеству частных предприятий, правительственная фабрика нисколько не мешает разнообразию способов производства.

«Для нации очень полезна привычка к самобытной деятельности», продолжает Милль. Конечно, так; но мы не видим, чем разнится это замечание от одного из тех, которые нами уже рассмотрены. Правительственное содействие в экономических делах может быть направлено прямо к тому, чтобы отдельные люди приобретали возможность самостоятельного действия. Если когда-нибудь бывали противоположные результаты, это происходило только от ошибочного направления, которое одинаково возможно во всяких сферах деятельности: ошибочные принципы и дурные меры могут существовать и в гражданской администрации, и в судопроизводстве, точно так же как и в экономической жизни. О всех этих случаях надобно говорить только об изменении принципов деятельности, а не о ее прекращении.

Трудно было бы понять, как могли политико-экономы господствующей школы дойти до безусловного отрицания пользы правительственных забот об экономической жизни общества, если бы не знали мы, как многочисленны и обременительны для общества были ошибки тех времен, когда правительства не имели верных понятий о законах экономической жизни. Только чрезмерность вреда от этих заблуждений заставила думать, что для блага общества нужно совершенное прекращение правительственных забот об экономических делах. Милль приводит несколько примеров тому, какие вредные заблуждения еще не очень давно господствовали во Франции, в которой и возникло от них полное отрицание надобности какого бы то ни было правительственного вмешательства в экономическую жизнь¹⁷⁷. Сказав, что невмешательство должно быть общим правилом, а вмешательство исключением, он продолжает:

Будущие века, конечно, с трудом станут верить тому, до какой степени нарушается до сих пор эта аксиома даже в тех случаях, в которых применяется очевиднейшим образом. Некоторое понятие об этом можно составить себе из следующего очерка стеснений, которым вмешивающийся и регламентирующий дух законодательства подвергал фабричные операции при старом правительстве во Франции.

«Общество имело безграничную и произвольнейшую власть над фабриками: оно, не церемонясь, располагало способностями фабрикантов; решало, кто может работать, какую вещь может он выделывать, какие материалы должен употреблять, каким способом следовать в работе, какие формы давать продуктам и проч. Мало было работать хорошо, работать лучше правил, — следовало работать по правилам. Кто не знает регламент 1670 г., предписывающий конфисковать и прибавлять к позорному столбу, с именем фабриканта, материи, не сходные с правилами, а при вторичной уликѣ выставлять к позорному столбу и самого фабриканта? Купцу следовало соотноситься не со вкусом потребителя, а с волею закона. Легионы инспекторов, комиссаров, контролеров, присяжных, сторожей наблюдали за исполне-

нием закона. Ломали станки, жгли материи, не сходные с правилами; за улучшения наказывали; изобретателей подвергали штрафу. Выделка предметов, назначенных для внутреннего потребления, была подчинена одним правилам, назначенных для заграничной торговли — другим. Ремесленник не мог выбирать место для своей мастерской, должен был работать лишь в известное время года, лишь для известных покупателей. Декрет 30 марта 1700 г. ограничивает 18-ю городами число мест, в которых можно ткать чулки; решение 18 июня 1723 г. повелевает руанским фабрикантам останавливать фабричные работы с 1 июля до 15 сентября, чтобы облегчить уборку хлеба; Людовик XIV, начиная строить луврскую колоннаду, запретил, под страхом штрафа в 10 000 ливров, частным лицам нанимать работников без его разрешения, а работникам — работать на частных людей под страхом тюремного заключения на первый раз и ссылки на галеры за второй» (Dunoyer. De la liberté du Travail, том 2, стр. 353—354).

Что подобные регламентации не были мертвой буквой и что официальное стеснительное вмешательство продолжалось до французской революции, об этом мы имеем свидетельство жирондистского министра Ролана: «Я видел, что 80, 90, 100 кусков бумажной или шерстяной материи изрезаются или совершенно уничтожаются. Я видел такие сцены каждую неделю в течение многих лет. Я видел, что конфискуют мануфактурные изделия, налагают тяжелые штрафы на фабрикантов, жгут материи на площадях в рыночные часы; прибывают другие материи к позорному столбу, написав на них имя фабриканта, и грозят самому фабриканту позорным столбом за вторичное преступление. Все это делалось на моих глазах в Руане, сообразно указам или министерским приказам. Какое преступление подвергалось такому жестокому наказанию? Какой-нибудь недостаток материала или выделки материи или недостача нескольких ниток в ее основе.

«Часто я видел, как посещают фабрикантов толпы сбирров, приводя все в беспорядок на фабрике, ужаса семейство фабриканта; как они срезывают материю с рамы, рвут основу со станка и уносят с собою, как улику преступления; после того фабрикантов призывают к суду; судят, осуждают; имущество их конфискуется; экземпляры приговора публикуются по всем улицам; состояние, репутация, кредит — все погибло, уничтожено. И за что же? За то, что они сделали известную шерстяную материю из такой шерстяной пряжи, из какой делается она в Англии (и эта английская ткань даже продается во Франции!); по французским правилам эта материя должна делаться из пряжи другого сорта. Я видел, что точно так же поступают с другими фабрикантами за то, что они делали камлот такой ширины, как в Англии и в Германии, — той ширины, какая сильно требуется в Испанию, Португалию, другие страны и в разные провинции самой Франции, между тем как по французским правилам установлена для камлота другая ширина».

Прошло время возможности попыток к такому применению принципа «патриархального управления» даже в наименее просвещенной из европейских наций. К подобным случаям прилагаются все общие возражения против правительственного вмешательства, и некоторые из них почти во всей своей крайней силе. Но теперь нам должно перейти ко второй нашей задаче, обратить внимание на те случаи, к которым нимало не применяются многие из этих общих возражений, а другие, — от которых никогда правительственное вмешательство не может быть совершенно свободно, — пересиливаются противоположными соображениями, более важными.

Общее правило, как мы замечали, таково, что житейские дела исполняются лучше, когда люди, прямо заинтересованные в них, предоставляются собственной воле, не стесняемой ни законодательными приказами, ни вмешательством чиновников. Лица, занимающиеся делом, или некоторые из них, по всей вероятности, лучше правительства могут судить о средствах к достижению той специальной цели, к которой стремятся. Если предположить случай, не очень вероятный, что само правительство владеет полнейшим знанием предмета, какое только приобретено в известную эпоху искуснейшими в этом знании людьми, — даже и тут частные люди, будучи заинте-

ресованы в результате гораздо сильнее и прямее, по всей вероятности, гораздо скорее усовершенствуют операции дела, если они будут предоставлены их независимому рассуждению. Но если работник вообще лучше всех умеет выбирать средства к делу, то можно ли признать таким же общим правилом, что потребитель или лицо, для которого делается дело, — самый знающий судья в нем? Всегда ли покупатель способен различать товар? А если нет, то не прилагается к этому делу довод, основанный на соперничестве рынка; и если товар таков, что от его качества много зависит общественное благосостояние, то перевес выгод может склониться на сторону некоторого вмешательства официальных представителей общего общественного интереса. А мысль, что потребитель — хороший судья товара, можно принять лишь с многочисленными оговорками и исключениями. Вообще (хотя и это не всегда) он лучший судья материальных предметов, производимых для него. Они назначены на удовлетворение известной материальной надобности или склонности, относительно которой никто не может спорить с человеком, ее чувствующим; или, если они служат средствами или принадлежностями для какого-нибудь занятия, человек, живущий этим занятием, справедливо может считаться знатоком вещей, нужных в его обычном занятии. Но есть другие предметы, рыночный запрос на которые еще не свидетельствует о их достоинстве, — предметы, польза которых состоит не в удовлетворении наклонностей, не в служении ежедневным житейским надобностям, и недостаток которых чувствуется тем меньше, чем больше бывает. В особенности надобно сказать это о предметах, главная польза которых та, что они возвышают достоинство человека. Необразованные люди не могут быть хорошими судьями образования. Тот, кому наиболее нужно стать просвещеннее и лучше, обыкновенно меньше всех желает этого; а если б и желал, не способен найти себе дорогу собственным рассуждением. При системе невмешательства постоянно будет происходить, что от недостатка стремления к цели вовсе не будет заготовляться для нее средств, или что люди, желающие развития, имея неполные и совершенно ошибочные понятия о том, чего хотят, будут своим рыночным запросом вызывать снабжение, которое совершенно не таково, как действительно нужно. А правительство благомеренное и достаточно цивилизованное справедливо может думать, что имеет или должно иметь степень образования, превышающую уровень образованности в обществе, которым оно управляет, и что поэтому оно способно предлагать людям лучшее воспитание и образование, чем какого станет само собою искать большинство людей. Потому воспитание — один из тех предметов, в которых можно принять принцип, что правительство должно снабжать народ средствами. Это один из тех вопросов, к которым принцип невмешательства не применяется безусловно всегда и везде*.

В элементарном образовании отступление от обыкновенного правила может, мне кажется, быть еще значительнее. Есть известные элементы и средства знания, которые чрезвычайно полезно с детства приобретать каж-

* Против этих мнений писатель, с которым я во многом согласен, но в враждебность которого к правительственному вмешательству кажется мне слишком неразборчиво и безусловно, Дюнон, замечает, что как бы хорошо ни было преподавание само по себе, но полезно обществу оно бывает лишь настолько, насколько общество желает пользоваться им, и что денежный успех преподавания служит лучшим признаком сообразности его с общественной надобностью. Этот аргумент, кажется мне, точно так же слаб относительно умственного образования, как был бы относительно физического лечения. Никакое лекарство не принесет пользы больному, если нельзя уговорить его принять лекарство; но мы не обязаны заключать из этого, что сам больной без чужого пособия выберет себе лекарство. Разве не может бывать того, что рекомендация от уважаемых им лиц склонит его принимать лекарство лучше, чем выбрал бы сам он? В деле образования вот об этом именно и спор. Разумеется, если преподавание настолько выше народа, что нельзя его убедить пользоваться им, оно ему приносит так же мало пользы,

дому, рождающемуся в обществе. Если родители или заменяющие их лица имеют средства дать ребенку это образование, но не дают, они совершают двойное нарушение обязанности: к самому ребенку и ко всему обществу, которое все сильно страдает от невежества и неразвитости своих сограждан; потому можно сказать, что правительство поступает хорошо, налагая на родителей юридическую обязанность давать первоначальное воспитание детям. Но обязывать к этому нельзя иначе, как приняв меры, обеспечивающие, что элементарное воспитание каждому будет доступно или даром, или с ничтожными издержками.

Могут возразить, что воспитание детей — один из тех расходов, которые должны лежать на родителях даже и в рабочем сословии; что полезно, чтобы родители чувствовали надобность исполнять свои обязанности собственными средствами; что давать воспитание на чужой счет — то же самое, как давать пособие; что соразмерно величине этого понижается норма необходимой рабочей платы и ослабляются побуждения к энергии и самообладанию. Аргумент этот шел бы к делу разве лишь тогда, если бы речь была о замене государственными средствами того, что сделали бы без них для себя сами частные лица, если бы все родители в рабочем классе признавали и исполняли обязанности образовывать детей на свой счет. Но родители не исполняют этой обязанности и не включают обучения детей в число необходимых издержек, которые должны покрываться рабочей платою; следовательно, общая величина рабочей платы не так высока, чтобы доставало ее на этот расход, и надобно покрывать его из другого источника. Притом же дело это не принадлежит к тем, в которых оказывать вспоможение значит увековечивать порядок вещей, требующий вспоможения. Если обучение действительно стоит своего имени, оно не ослабляет, а усиливает и расширяет энергию деятельности; каким бы образом ни было оно приобретено, его влияние на человека благоприятно духу независимости; и если бы человек вовсе не получил его, когда не получил бы его задаром, то пособие в этой форме имеет тенденцию, противоположную той, по которой оно вредно в столь многих других случаях: это пособие тому, чтобы обходиться без пособия.

В Англии, да и почти во всех других европейских странах чернорабочие не могут оплачивать все расходы первоначального воспитания из своей платы, и не захотели бы делать этого, если бы могли. Потому вопрос тут не о преимуществах частной спекуляции и правительственного вмешательства, а о преимуществах правительственного действия или частной благотворительности, правительственного вмешательства или вмешательства частных ассоциаций, собирающих на то деньги по добровольной подписке, как английские общества элементарного первоначального обучения. Разумеется, на деньги, получаемые принудительным налогом, не надобно делать ничего такого, что достаточно уже хорошо делается щедростью частных людей. Насколько делается это в первоначальном воспитании там или здесь — во-

как бы вовсе не существовало. Но между образованием, какое выбрал бы себе сам человек, и образованием, от которого он откажется, когда оно ему будет предложено, существует пространство, широкость которого соразмерна уважению человека к рекомендателю. Кроме того, если люди — плохие судьи об известном предмете, нужно иногда бывает долго показывать им этот предмет, долго обращать на него внимание, доказывать выгоды его долгим опытом, чтобы они научились ценить его, и они напоследок научатся; но, быть может, не научились бы никогда, если бы предмет не навязывался им практически, а только рекомендовался в теории. А денежная спекуляция не может ждать успеха годы или, быть может, целые поколения; она должна получить быстрый успех или исчезнет. Другое соображение, повидимому, забытое Дьюной, то, что есть виды образования, которые никогда не могут стать настолько популярны, чтобы с прибылью оплачивались расходы на них, а между тем имеют неоценимую пользу, давая самое высокое образование немногим и сохраняя непрерывный ряд людей высшего развития, ведущих вперед науку и подвигающих вперед цивилизацию общества.

прос об отдельном факте. Обучение, даваемое в Англии по принципу добровольности, в последнее время обсуждалось так много, что здесь не нужно разбирать его в подробностях, и я здесь просто выражу свое убеждение, что даже в количестве оно совершенно недостаточно и, вероятно, останется таково, а в качестве оно бывает хорошо лишь по какому-нибудь редкому особенному случаю; вообще же, хотя несколько и улучшается (впрочем, слабо), оно так плохо, что почти только называется обучением. Потому я считаю обязанностью правительства восполнить этот недостаток назначением денежного пособия первоначальным школам, чтобы они стали доступны всем детям бедного сословия или бесплатно, или с платою, нечувствительною по своей незначительности.

Настойчиво должно желать одного: чтобы правительство не присвоивало себе монополию обучения ни в низших, ни в высших школах; не употребляло ни власти, ни влияния своего на то, чтобы люди учились в его школах предпочтительно перед другими и чтобы никаких особенных преимуществ не давалось воспитанникам этих школ. Правительственные преподаватели, по всей вероятности, будут выше среднего уровня частных, но не будут же совмещать в себе всего знания и искусства, какое находится во всем сословии преподавателей, и полезно оставлять как можно больше путей к желаемой цели. Потому правительство может и во многих случаях должно учреждать первоначальные и другие училища; но право частных лиц основывать соперничающие училища не должно нимало зависеть от правительства.

В обучении правительственное вмешательство оправдывается тем, что дело это не принадлежит к предметам, в которых интересом и соображением потребителя достаточно обеспечивается качество товара. Рассмотрим теперь случаи другого рода, в которых нет лица, находящегося в положении потребителя, и надобно полагаться на интерес и соображение самого занимающегося делом; таково, например, ведение дел, в которых заинтересован исключительно сам ведущий их, или вступление в обязательства и договоры, которыми связывается сам заключающий.

Основанием принципа невмешательства для практики должно здесь быть то, что почти каждый понимает свою выгоду и средства к ее достижению вернее и проникательнее, чем можно предписать ему ее общим законодательным постановлением или указать ее в данном случае чрез государственного чиновника. В общем правиле это бесспорно справедливо; но не трудно заметить очень обширные и видные исключения из него. Их можно разделить на несколько классов.

Во-первых, человек, предполагаемый наилучшим судьей своих выгод, быть может, не способен судить и действовать самобытно; быть может, он помешанный, идиот, дитя; или хотя он не вовсе не способен к этому, но он может быть несовершеннолетен возрастом и рассудком. В этом случае принцип невмешательства совершенно лишается своего основания. Лицо, наиболее заинтересованное в деле, не лучший судья и вовсе не компетентный судья о нем. Повсюду признается, что о сумасшедших должно заботиться государство. О детях и несовершеннолетних обыкновенно говорят, что хотя они не могут сами заботиться о себе, но есть у них родители или родственники, чтоб заботиться о них. Этот вопрос переносится в другую категорию; он идет уже не о том, должно ли правительство вмешиваться в распоряжение частного человека его собственными действиями и выгодами, а о том, должно ли оно предоставлять в безусловную власть частного человека действия и интересы другого человека. Родительскою властью можно злоупотреблять точно так же, как и всякою другою, и фактически известно, что ею постоянно злоупотребляют. Если законы не успевают удерживать родителей от жестокого обращения с детьми, и даже от убийства их, то еще меньше можно предполагать, что интересы детей никогда не будут принесены в жертву эгоизму или предрассудку родителей более обыденными и менее возмутительными способами. Если закон может, то он имеет право и вообще имеет обязанность принуждать родителей делать для детей все, что, очевидно, должны они делать, и не делать того, чего, очевидно не

должны они делать для выгоды детей. Возьмем пример из сферы собственно экономической. Государству следует, насколько может оно знать и исполнять, охранять детей и несовершеннолетних от чрезмерного обременения работой. Им не должно быть позволено работать слишком много часов или работать сверх сил; потому что если дозволить это, они всегда могут быть вынуждаемы к тому. Свобода договора в применении к детям — значит просто свобода насилия против них. Родители или родственники не должны также иметь права, по беспечности, завистливости или скупости, лишать детей образования, какое только могут получить они по своим средствам.

Доводы о надобности правительственного вмешательства в пользу детей применяются с такою же силою и к низшим животным, этим несчастным рабам и жертвам грубейшей части человеческого рода. Лишь самое грубейшее непонимание принципов свободы могло называть вмешательством правительства в дела ему не принадлежащие, вмешательством в домашнюю жизнь то, что стали подвергаться примерному наказанию жестокие поступки с этими беззащитными существами. Домашняя жизнь домашних тиранов — это одна из тех вещей, в которые всего необходимее вмешиваться закону; и жал, что метафизические тонкости о сущности и источнике правительственной власти заставляют иных жарких защитников закона против жестокого обращения с животными искать оправдания этому закону не во внутреннем характере самого дела, а в его случайных последствиях, в том, что привычка к жестокости может быть вредною для человеческих интересов. Чего человек, имеющий нужную физическую силу, обязан не допускать делать в своем присутствии, против чего он должен употребить свою силу, то обязано преследовать так же сильно и все общество. Главный недостаток нынешних английских законов об этом деле — ничтожность наказания за эти поступки.

Многие хотят причислять женщин к тем членам общества, свобода которых в заключении договоров должна подлежать законодательному контролю для их собственного ограждения, по причине (как говорят) их зависимого положения; недавно изданный закон о работе на фабриках (Factory Act)¹⁷⁸ поставил работу женщин под особенные ограничения, наравне с работою несовершеннолетних. Но ставить тут и в других случаях женщин вместе с детьми кажется мне вещью фальшивой в теории и вредной в практике. Дети ниже известных лет вовсе не могут рассуждать и действовать самостоятельно, потом еще довольно долго они могут управлять собою лишь не вполне; но женщины, точно так же, как и мужчины, способны обсуждать свои дела и управлять ими, и единственное препятствие к этому — несправедливость нынешнего их общественного положения. Пока все, приобретаемое женою, закон делает собственностью мужа, пока, принуждая ее жить с ним, он заставляет ее подвергаться всякому нравственному и даже физическому тиранству, какое муж вздумает совершать над нею, — не совсем напрасно считается каждое ее действие совершающимся по принуждению. Но сильно ошибаются те реформаторы и филантропы, которые в нашу эпоху хотят подрезывать следствия несправедливой власти, вместо того, чтобы устранить самую несправедливость. Если женщины будут иметь такую же, как мужчины, безусловную власть над своею личностью и над имуществом, какое наследуют или приобретают, то не будет никакого предлога ограничивать часы их работы самих на себя, чтобы они имели время работать на мужа по так называемому у защитников этого ограничения *мужнину хозяйству*. Женщины, работающие на фабриках, — единственные женщины в рабочих сословиях, не находящиеся в положении рабынь и вьючных животных; и это именно оттого, что не легко заставлять их работать и зарабатывать деньги на фабриках против их воли. По моему мнению, чтобы улучшить положение женщин, надобно не закрывать или не стеснять доступ им в те независимые промышленные занятия, которые уже открыты для них, а, напротив, давать им свободнейший доступ к таким занятиям.

Второе исключение из правил, что каждый сам бывает наилучшим судьбою о своих выгодах, — тот случай, когда человек пытается безвозвратно

решить теперь, что будет наиболее полезно для него в отдаленном будущем. Предположение о здравости личного соображения справедливо лишь там, где соображение основывается на действительном и в особенности на настоящем личном опыте; а не там, где оно делается предварительно, раньше опыта, и не допускает отказа даже и по осуждении его опытом. Когда человек обязался договором — не то, что исполнить одно известное дело, а продолжать исполнять что-нибудь навек или на долгий период, без возможности уничтожить это обязательство, то уже нет возможности считать выгодным для него это положение только по тому признаку, что он остается в нем, — признаку, который без безвозвратного обязательства свидетельствовал бы об этом; а тот аргумент, что он вступил в обязательство добровольно, — вступил, быть может, в ранней молодости и вовсе не зная того, к чему обязывается, — этот аргумент обыкновенно равняется нулю. Практический принцип невмешательства в свободу договоров лишь с большими ограничениями может прилагаться к вечным обязательствам, и закон должен смотреть на такие обязательства чрезвычайно недоверчиво; он должен отказывать им в своем утверждении, когда человек принимает на себя такие обязанности, о которых не может судить основательным образом; а если закон утверждает какие-нибудь из этих договоров, он должен требовать всевозможных обеспечений в том, что они заключаются по основательному соображению о будущем; и в вознаграждение за то, что не дозволяется самим договаривающимся разорвать свое обязательство, он должен давать им освобождение от него, когда будет приведена достаточная причина к тому перед беспристрастной властью. Эти соображения в особенности применяются к браку, важнейшему из всех вечных обязательств.

Третье исключение из правила, что правительство не может вести дела частного человека так хорошо, как он сам, относится к многочисленным случаям, когда частный человек может вести дело только через поверенного, и когда так называемое ведение дела заинтересованными лицами в сущности едва ли лучше ведения их чиновником правительства. Все дела, которые, будучи предоставлены частной деятельности, могут вестись лишь акционерными компаниями, не хуже, а иногда и лучше того для существенных своих результатов будут ведены правительством. Правда, казенное управление вошло в поговорку медленностью, беспечностью и неуспешностью; но точно так же вошло в поговорку и акционерное управление. Правда, что директора акционерного общества — всегда акционеры; но члены правительства также всегда — участники в платеже налогов; и у директоров точно так же, как и у агентов правительства, доля в выгодах от хорошего хозяйства не равняется выгоде, какую они могут иметь от злоупотреблений, не говоря уже о том, что быть беспечным — спокойнее для них. Могут возразить, что акционеры в целом своем составе имеют некоторый контроль над директорами и почти всегда имеют полную власть отрешать их от должности. Но в практике контроль над действиями директоров оказывается так затруднителен, что акционеры почти никогда не пользуются этим правом, кроме случаев такой явной неловкости или такой безуспешности управления, которая вообще повела бы за собою удаление от должности и распорядителей, назначенных правительством. Взамен гарантии, представляемой собраниями акционеров, и личных наблюдений и изысканий того или другого из акционеров, можно выставить, что надобно ожидать большей публичности, более деятельных прений и замечаний о делах, в которых участвует общее правительство, чем о делах частной компании. Потому недостатки казенного управления не бывают необходимо много больше, а быть может, и вовсе не больше недостатков акционерного управления.

Если надобно, вообще говоря, предоставлять добровольным товариществам почти все те дела, которые могут исполняться ими хотя посредственно, то из этого еще не следует, чтобы правительство следовало оставлять без всякого контроля ведение дел этими товариществами. Во многих случаях, чьим бы силам ни было оставлено дело, лицо или товарищество, его исполняющее, будет по самому характеру дела в сущности пользоваться монопо-

лию, и никак нельзя уничтожить эту практическую монополию с принадлежащей ей силою брать налог с общества. Я уже не раз указывал на газовые и водопроводные общества, между которыми на деле нет соперничества, хотя предоставлена полная свобода соперничеству, и на практике они оказываются еще безответственнее правительства, еще менее его доступны частным жалобам. Тут существование нескольких производителей, вместо одного, не доставляет никаких выгод, а ведет лишь к увеличению расходов; и плата за предмет, без которого нельзя обойтись, становится тут таким же принудительным налогом, как бы устанавливалась она законом. В этих делах перевес выгод на той стороне, чтобы они, подобно мощению и чистке улиц, исполнялись правительством; разумеется, не центральным государственным правительством, а городским управлением, а издержки покрывались бы, как оно и теперь в сущности есть, местным налогом. Но во многих подобных случаях, когда лучше оставить дело частным лицам, обществу нужна еще другая гарантия хорошего исполнения дела, кроме выгоды распорядителей; и правительство должно или установить для этого дела надлежащие условия к общей выгоде, или оставить за собою такую власть над ним, чтобы общество не лишалось, по крайней мере, тех выгод, какие имеет монополия. Это надобно сказать о каналах и железных дорогах. На практике они всегда в значительной степени бывают монополиями; и правительство, безусловно предоставляющее такую монополию частной компании, делает то же самое, как если бы позволяло отдельному лицу или обществу брать в свою пользу какой угодно налог со всего производимого в Англии солода или со всей привозимой в нее хлопчатой бумаги. Уступать дорогу или канал во временное пользование строителям можно по той же причине, которою оправдывается выдача привилегий изобретателям; но государство или должно постановлять, что по прошествии срока дорога или канал переходят в его собственность, или должно оставлять за собою свободное право определять максимум платы за проезд и за провоз, с тем чтобы от времени до времени изменять этот максимум.

На четвертое исключение я должен обратить особенное внимание читателя, потому что прежние политико-экономы слишком мало обращали внимания на дела этого рода. Есть вещи, в которые вмешательство закона нужно не затем, чтобы устранять соображение частного лица о своих выгодах, а затем, чтобы могло исполняться это соображение, и нужно это потому, что воля частных лиц может осуществляться тут лишь по соглашению между ними, а самое соглашение будет иметь силу лишь тогда, когда поддерживается и защищается законом. Возьму в пример уменьшение часов рабочего дня, — только в пример, не споря о том, следует или не следует быть этому уменьшению. Предположим, — ведь можно хотя сделать это предположение, не решая, верно ли оно или неверно, — что общее уменьшение дня фабричной работы с 12 часов на 10 было бы выгодно для работников, что они за 10 часов работы стали бы получать такую же или почти такую же плату, как теперь за 12 часов. Если предположить это и предположить, что все работники убеждены в этом, то иной скажет, что уменьшение произойдет само собою и что не нужно будет узаконять его юридическим постановлением. Я отвечаю: оно произойдет лишь тогда, если все работники обяжутся друг перед другом держаться этого уменьшения. Если работник отказывается работать больше 10 часов, между тем как другие работают по 12, он или вовсе не будет нанят, или плата ему будет уменьшена на шестую долю. Потому, как бы твердо ни был он убежден, что 10-часовая работа выгоднее 12-часовой для его сословия, его интересу будет противно подавать этот пример, если он не уверен вполне, что все или почти все последуют за ним. Но предположим, что и все сословие работников вступило в такое соглашение, — будет ли соглашение иметь силу без законодательной санкции? Лишь в том случае, если общественное мнение охраняет его со строгостью, на практике равняющееся юридическому наказанию. Ведь как ни полезно соблюдение этого правила для всего сословия, но прямая выгода каждого отдельного работника — нарушать его; и чем многочисленнее лица,

вступившие в соглашение, тем больше будет число людей, могущих выиграть, отступив от него. Если даже почти все держится правила работать 10 часов, люди, которые захотят работать 12 часов, получат полную выгоду от уменьшенного времени работы и, кроме того, прибыль за его нарушение: за 10-часовую работу они получают прежнюю 12-часовую плату и сверх того еще плату за два часа. Согласен, что вреда от этого не будет, если огромное большинство станет держаться 10-часовой работы: почти вся выгода, какая могла быть от этого, останется за сословием работников, а люди, желающие работать и вырабатывать больше, будут иметь возможность к тому. Разумеется, такого порядка вещей и следовало бы желать; и если предположить, что уменьшение часов с сохранением прежней платы возможно без того, чтоб товар не лишился некоторых своих рынков (этот вопрос решается, смотря по обстоятельствам каждого данного случая, а не по общему принципу), — если предположить это, то, конечно, наилучшим способом осуществления была бы тихая перемена в общем фабричном обычае, чтобы 10-часовая работа вошла в общую практику по доброй воле каждого; а кто хочет отступать от нее, тот имел бы полнейшую свободу работать больше. Но число людей, которые захотят по новой высшей плате работать 12 часов, будет так велико, что 10-часовая работа не удержится в общем обычае: кто один стал делать по доброй воле, то другой скоро принужден будет делать по необходимости, и люди, захотевшие работать по 12 часов для получения большей платы, будут, наконец, принуждены работать по 12 часов за прежнюю плату. Значит, если предположить, что каждому было бы выгодно работать лишь 10 часов, когда мог бы он быть уверен, что все другие станут работать не больше; все-таки единственным средством достичь этой цели могло бы оказаться для работников то, чтобы обратить свое взаимное соглашение в юридическое обязательство с наказаниями по закону за нарушение правила. Я не то, что говорю в пользу такого постановления, — оно служит у меня лишь примером того, как известному сословию может нужна быть помощь закона для осуществления общего мнения этих людей о их выгоде, — нужна для того, чтобы каждому дать гарантию, что его соперники будут держаться того же правила, которое нельзя принять и ему без такой гарантии. Другой пример того же принципа — так называемая уэксфильдова система колонизации.

Если безусловно понимать принцип, что каждый сам наилучший судья своих выгод, это будет значить, что правительствам не следует исполнять ни одной из бесспорных их обязанностей, — не следует им и вовсе существовать. Целому обществу и каждому члену его очень выгодно то, чтобы люди не грабили и не воровали друг у друга; но все-таки необходимы законы, наказывающие грабеж и воровство, потому что если и выгодно каждому, чтобы никто не грабил и не воровал, то никому невыгодно удерживаться от грабежа и воровства, когда всем другим дозволено грабить и обворовывать его. В этом и есть главная причина существования уголовных законов. Самое единодушное мнение, что известный образ действий выгоден для всех, — не всегда достаточно, чтобы расчет каждого соответствовал этому образу действий.

Пятое исключение. Аргумент против правительственного вмешательства, основанный на принципе, что каждый сам — наилучший судья своих выгод, не может применяться к очень обширному разряду тех случаев, в которых присваивается правительству контроль над действиями частного лица, совершаемыми им не в свою пользу, а в пользу других. Сюда принадлежит, между прочим, важный вопрос об общественной благотворительности, возбуждавший столько споров. Вообще следует каждому оставлять свободу делать все, к чему он предполагается имеющим достаточно способностей; но когда никак нельзя предоставить человека самому себе, а нужна ему помощь других, является вопрос: лучше ли, чтобы он получал эту помощь исключительно от частных лиц, то есть помощь неверную и случайную, или получал ее по систематическому устройству, по распоряжению общества, через его орган — государственную власть.

Это приводит нас к разбору законов о пособии, вопрос о которых был

бы очень неважен, если бы привычки всех сословий в Англии были умеренны и благоразумны, а распределение собственности удовлетворительно; но он чрезвычайно важен при порядке дел, столь противоположном этим общим условиям, как порядок дел на Британских островах.

Независимо от метафизических взглядов на сущность нравственности и общественного союза, каждый согласится, что люди должны помогать друг другу; что обязанность эта тем сильнее, чем настоятельнее нужда, и что никому помощь не нужна так настоятельно, как умирающему с голода. Потому право на пособие, происходящее от крайней бедности, — одно из сильнейших прав на свете; следовательно, при первом же взгляде на дело мы видим сильнейшее основание устроить для людей, столь сильно нуждающихся в пособии, самый верный способ доставки им пособий, какой только может быть устроен общественными мерами.

С другой стороны, при каждом пособии надобно брать во внимание два рода последствий: последствия самого пособия и последствия уверенности в том, что оно будет оказано. Последствия первого рода вообще полезны; но последствия второго рода почти всегда вредны; часто вредны до того, что далеко перевешивают всю пользу, и скорее всего это бывает именно в тех случаях, в которых надобность пособия — самая настоятельная. Одна из самых вредных надежд на постоянное пособие — надежда на получение пищи, и, к несчастью, нет истины, в которой легче было бы убедиться. Поэтому решение этой важной задачи требует большой осмотрительности; а задача в том, как оказывать наибольшее количество нужной помощи с наименьшим возбуждением вредной надежды на нее.

Но энергия человека и надежда его на самого себя могут и недостатком пособия ослабляться точно так же, как излишеством. Безнадежность еще губительнее для энергии труда, чем расчет прожить без труда. Когда положение человека так бедственно, что силы его парализуются отчаянием, пособие не усыпляет, а возбуждает, укрепляет, а не расслабляет энергию: разумеется, если оно не таково, чтобы устранять надобность собственных усилий, если оно не заменяет человеку его личного труда, искусства и благоразумия, а ограничивается доставлением ему лучшей надежды обеспечить себя этими законными средствами успеха. Вот критерий, по которому надобно судить о всех филантропических и гуманитарных проектах, все равно, на облегчение ли судьбы отдельных лиц или целых сословий предназначаются они, и добровольно ли, правительственного ли деятельностью должны исполняться.

Насколько может тут быть общее правило, мне кажется, что правило это — таково: если пособие дается в такой форме, что положение человека, получающего пособие, не хуже того, в каком находится человек, приобретающий такое же обеспечение без пособия, то пособие вредно, когда люди вперед уверены, что получат его; но если оно, будучи доступно каждому, оставляет человеку сильное побуждение обойтись, если возможно, без пособия, то оно почти всегда полезно. Если положение человека, получающего пособие, ничем не хуже положения работника, содержащегося своим трудом, — это система, истребляющая в самом корне всякое личное трудолюбие и самоуправление; и если бы вполне осуществлялся такой метод, он требовал бы в дополнение к себе организованной системы принуждения, чтобы управлять, как скотом, людьми, выведенными из-под влияния побуждений, действующих на людей, и заставлять их работать, как скот. Но если, обеспечивая людей от крайней нужды, можно сделать, чтобы положение человека, содержащегося на общественный счет, было значительно хуже, чем положение человека, содержащегося своим трудом, закон, устраняющий возможность умереть с голода иначе как по собственной воле, будет иметь только одни хорошие последствия. Что в Англии можно осуществить это условие, доказывается опытом долгих лет, предшествовавших концу прошлого века, и в новые времена опытом многих округов, в которых было очень много нищеты и которые избавились от нее к великой и вечной пользе всего рабочего сословия, приняв строгие правила в оказывании пособия. Если видоизменить правила сообразно народному характеру, вероятно, и во всякой

стране можно обеспечить неимущих правительственным пособием, не нарушая условий, необходимых для того, чтобы от пособия не было вреда.

При соблюдении этих условий я считаю очень полезным, чтобы закон обеспечивал средства существования находящимся в крайности здоровым людям, и чтобы эти средства не зависели от частной благотворительности. Во-первых, благотворительность всегда дает или слишком много, или слишком мало; расточает свою щедрость в одном месте, а в другом оставляет людей умирать с голоду. Во-вторых, государство обязано же по необходимости содержать бедного преступника, пока он сидит в тюрьме; значит, если оно не содержит невинного бедняка, оно назначает награду за преступление. Наконец, если неимущие предоставлены частной благотворительности, неизбежно нищенство в обширном размере. Забота различать разные разряды неимущих — вот дело, которое государство должно предоставить частной благотворительности. Она может давать больше заслуживающему большего пособия. Государство должно действовать по общим правилам. Оно не может брать на себя разбора, какой нуждающийся заслуживает, какой не заслуживает участия. Оно не обязано давать ничего сверх необходимого для жизни первому, и не может давать второму меньше необходимого. Говорят о несправедливости закона, который бедняку, невинно обвинявшему, дает не больше того, чем обвинявшему от безнравственности, — говорить это значит не понимать, что такое закон и общественная власть. Чиновники, заведующие общественным пособием, не инквизиторы. Им нельзя вверять власти давать или не давать чужих денег по их приговору о нравственности лица, просящего денег. Предполагая, что они даже способны составлять себе разумное суждение о прошедшем поведении нуждающегося, — случай, почти невозможный, — все-таки нельзя предположить, что они примут на себя труд разузнать и разобрать это прошедшее, — значит, совершенно не знать человеческой природы. Частная благотворительность может делать этот разбор, и, давая свои деньги, человек имеет право давать их по собственному соображению. Надобно понимать, что это — особенное дело, принадлежащее собственно частной благотворительности, и что оно полезно или вредно, смотря по тому, рассудительно или нерассудительно исполняется. Но распорядители общественных денег не должны никому давать больше того *tipum*, какой обязаны давать и самому дурному человеку. Иначе излишество очень скоро станет правилом, а отказ более или менее капризным деспотическим исключением.

Под одинаковый с общественной благотворительностью принцип подходят случаи другого рода, — те случаи, когда дело частного лица, хотя и совершается им только в свою пользу, влечет за собою следствия, несравненно обширнейшие для всей нации или потомства, о котором только общество в целом своем составе может и обязано заботиться. Одно из таких дел — колонизация. Никто не станет спорить, что дело основания колоний следует вести не в исключительном интересе частных выгод первых поселенцев, а с обдуманным расчетом для прочного блага наций, которые впоследствии возникнут из этих маленьких зародышей; а это может обеспечиваться лишь тем, когда дело с самого начала ведется по правилам, составленным предупредительностью и широкими понятиями просвещенных законодателей; одно правительство имеет силу составить эти правила и охранить их от нарушения.

Множество разных других случаев подходит под тот принцип, по которому, как мы видели, не применяется к делам колонизации и пособия нуждающимся главнейшее возражение против правительственного вмешательства; это случаи, в которых дело должно принести важную пользу обществу, но никто из частных людей не имеет особенной выгоды исполнять его, потому что само собою не дает оно частному лицу надлежащего вознаграждения. Возьмем в пример путешествие с географическою или другою ученою целью. Сведения, которые должно оно доставить, могут быть очень полезны для общества, но частный человек не извлекает из них выгоды, которой вознаградились бы издержки на экспедицию, и нет возможности ему взимать с пользующихся приобретенными сведениями эту уплату, нельзя брать пош-

лины с них в свое вознаграждение. Такие путешествия устраиваются или могли бы устраиваться по частной подписке; но это ресурс редкий и неверный. Часто случалось, что расходы эти брали на себя какие-нибудь общества, ученые, торговые или человеколюбивые. Но вообще эти предприятия совершаются на счет правительства, которое притом может и вверять их лицам, наиболее способным к делу по его мнению. Точно так же правительству следует строить и содержать маяки, ставить вехи и т. д. для безопасности плавания: никто не может собирать пошлину с кораблей, получающих пользу от маяка, за то, что они им воспользовались; потому никто не стал бы по личному расчету строить маяков.

Вообще можно сказать, что правительству следует брать на себя все те дела, исполнение которых не дает вознаграждения частному лицу или частной компании за расход на них, но которые нужны для общей пользы человечества или будущих поколений, или для настоящей выгоды частей общества, нуждающихся в посторонней помощи. Но прежде, чем брать на себя такое дело, правительство всегда должно рассмотреть, не существует ли вероятность, что дело это может исполниться по так называемому добровольному принципу, и если может, то следует ли ожидать, что правительственной деятельностью станет исполняться оно лучше или успешнее, чем ревностью и щедростью частных людей.

Предшествующие параграфы обнимают собою, как мне кажется, все исключения из той практической аксиомы, что общественные дела лучше всего могут исполняться частною и добровольною деятельностью. Но необходимо прибавить, что в действительности правительственное вмешательство не всегда может останавливаться на границе дел, по самой своей сущности требующих его. Бывают такие времена и такие положения нации, что почти всякому делу, действительно важному для общей пользы, полезно и необходимо бывает исполняться правительством, потому что частные люди хотя и могут, но не хотят исполнять это дело. Есть такие времена и места, что не будет ни дорог, ни доков, ни каналов, ни пристаней, ни работ для орошения, ни больниц, ни первоначальных, ни высших училищ, ни типографий, если не устроит их правительство: публика или так бедна, что не имеет средств к тому, или так неразвита умственно, что не может оценить их пользы, или так непривычна к общему действию, что не умеет распоряжаться этими делами. [Это надобно в большей или меньшей степени сказать о всех странах, привыкших к деспотизму, в особенности о тех, в которых разница по цивилизации между народом и правительством очень велика, — например о странах, завоеванных и управляемых народом более энергичным и образованным]. Много есть таких земель, в которых сами жители не могут сделать для себя ничего, требующего больших средств и организованного действия, и все такие дела остаются у них не исполненными, если не исполняются государством. В этих случаях искренность своих забот о благе подданных правительство вернее всего докажет тем, что дела, возлагаемые на него беспомощностью публики, станет совершать таким способом, чтобы эта беспомощность прекращалась от него, а не увеличивалась и не увековечивалась. Хорошее правительство будет содействовать публике так, чтобы ободрялись и развивались все находящиеся в ней зародыши частной деятельности. Оно будет ревностно устранять препятствия к добровольной деятельности, облегчать ее в случае нужды советами и руководством; свои денежные средства оно будет, когда можно, употреблять не на устранение надобности в частных усилиях, а на содействие им. Когда правительственное пособие оказывается только по недостатку частной предприимчивости, оно должно оказываться так, чтобы по возможности служить для народа курсом воспитания в искусстве достигать великих целей индивидуальную энергию и добровольным соединением сил.

Я не считал нужным говорить здесь о той части правительственных действий, необходимость которой признается всеми, — об обязанности правительства запрещать и наказывать такие действия свободных людей, которые очевидно вредны для других людей, будет ли этот вред происходить от на-

сия, обмана и небрежности, все равно. Прискорбно думать, какая огромная пропорция человеческих усилий и способностей употребляется только на нейтрализацию других усилий и способностей даже и в наилучшем из всех существующих положений общества. Истинное назначение правительства — уменьшать эту пропорцию до наименьшего возможного размера, принимая меры к тому, чтобы энергия, растрчиваемая ныне людьми на нанесение вреда друг другу или на защиту себя от этого вреда, обращалась к надлежащей цели человеческих способностей, — к тому, чтобы принуждать силы природы все более и более служить материальному и нравственному благу¹⁷⁹.

Вот последние слова, которыми заканчивается трактат Милля. Пора и нам кончить ряд статей, получивших уже размер, едва ли не слишком обременительный для журнала. Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке. Критикую господствующих понятий нам удавалось приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществиться эти принципы и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему устройству своих материальных отношений. Нам пришлось в этом отношении довольствоваться неопределенными очерками, представленными у Милля в главе о вероятной будущности рабочих сословий. Мысли его верны, но слишком бледны. И мы очень жалеем о том, что не успели дополнить их очерками, более точными. Но что же делать! [Будем довольствоваться тем, что удалось нам сделать, хотя эта исполненная часть задачи незначительна по сравнению с неисполненной.

Итак, не теряя времени на сожаления о невыполнении задуманного плана, обратим внимание на ту часть дела, которою удалось нам заняться в этот последний раз. Во всем длинном отрывке, которым закончились наши выписки из Милля, существенно несправедливы только три или четыре строки, подтверждающие, будто бы теоретически полон представляемый Миллем перечень главных исключений из правила, предписывающего оставлять отдельным людям самим всю заботу об их экономических делах. Милль прямым образом имеет в виду только Англию, и очень может быть, что он не позабыл ни одного из предметов, в которых особенно важно правительственное вмешательство для нее при нынешнем ее положении. Но если Англия имеет очень сильные надобности, до которых еще не дошли другие страны, — например, для Австрии, для Франции, Испании, России нет еще надобности так много заботиться о колонизации, как для Англии, — то в каждой из этих стран могут быть свои особенные обстоятельства, по которым очень важно правительственное влияние на дела, или не существующие в Англии или не имеющие для нее особенной важности. Если, например, справедливо, что испанцами овладела лень, то очень полезно было бы, когда бы испанское правительство позаботилось об увеличении побуждений к энергическому труду, недостаток которого более всего

виноват в бедности испанцев по известиям, принимаемым нами здесь на веру. О некоторых частях Австрии — в особенности о Тироле — говорят, будто бы народ там слишком пристрастен к старине; если это правда, очень важны были бы правительственные заботы о разъяснении пользы новых вещей, познакомиться с которыми не думают сами тирольтцы. Мы не разбираем здесь основательности приводимых нами мнений об испанцах и тирольтцах: мы приводим их только для примера тому, что могут существовать в той или другой стране потребности, не имеющие важного значения для Англии, в которой народ трудолюбив и не слишком ослеплен пристрастием к старине. Эти примеры служат нам только для того, чтобы не представилось читателю странным, когда мы скажем, что, например, и в России могут существовать особенные случаи большой надобности правительственного влияния, — случаи, не вошедшие в перечень Милля. Теперь все у нас согласны в том, что крепостные отношения были делом, требовавшим правительственного влияния для своей развязки. Нам кажется, что, насколько нужно было оно для их прекращения, настолько же нужно оно для поддержания другой черты нашего экономического быта. Мы говорим о нашем обычном способе землевладения, по которому земля, принадлежащая поселянам, не разделена отдельными лицами в полную последовательную собственность, а остается общественным имуществом, пользование которым равномерно распределяется между всеми членами общества. Много статей было написано нами в защиту общинного землевладения¹⁸⁰, и нет нам надобности вновь перечислять здесь его преимущества. Мы хотим только сказать, что, если это учреждение на самом деле полезно, то для его сохранения нужна правительственная забота, потому что без законодательного охранения оно не может удержаться против частных интересов. Этот случай подходит под принцип, выставляемый Миллем по поводу законодательного определения рабочих часов на фабриках. Просим читателя внимательнее пересмотреть доводы, которыми тут Милль доказывает, что есть общепользные учреждения и обычаи, не могущие сохраниться без прямого законодательного ограждения. Совершенно в том же духе, в каком рассуждает он о часах работы, мы скажем про общинное землевладение: для целого общества оно полезно, но каждому из членов общества может представляться временная выгода от превращения своего пользования частью общественной земли в полную собственность над этою частью ее. Эта мимолетная выгода несомненно приведет в худшее положение почти каждого из людей, которые соблазнились ею, но она может иметь столько соблазнительности, что приведет к разрушению выгоднейшего для всех порядка, если достаточен будет минутный интерес отдельного члена общины, чтобы участок, находящийся в его пользовании, был выделен ему в полную собственность].